

СОКРОВИЩА
МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

РУССКАЯ СКАЗКА

Тт. I, II

КНИГА 1001 НОЧИ

т. III

ДАНИЭЛЬ ДЕФО

РОБИНЗОН КРУЗО

ЕГО ЖЕ

МОЛЛЬ ФЛЕНДЕРС

АББАТ ПРЕВО

МАНОН ЛЕСКО

«А С А Д Е М И А»

Москва: Кузнецкий мост, 18
тел. 4-34-37

Ленинград: Социалистическ. 14
тел. 138-98



«Дон Кихот» Сервантеса — один из самых популярных, с детства каждому знакомых, памятников мировой литературы. Будучи блестящей социальной сатирой, роман этот вместе с тем является несравненным образцом художественной прозы. Мало можно найти произведений, в которых так гармонично сочетались бы занимательность сюжета, острота мысли и совершенство стиля.

Стремясь к распространению среди широких масс знакомства с «Дон Кихотом» в его подлинном и неискаженном виде, издательство «Academia» предприняло новый перевод романа Сервантеса. Перевод этот, сделанный с последнего критического издания испанского текста, помимо полноты, ставит себе задачей передать все главные особенности стилистического мастерства, характерные для эпохи позднего Возрождения.

СЕРВЪ И ПЕСЪ

ДОН
КУХОМ



А СЕРВЪ И ПЕСЪ









СОКРОВИЩА МИРОВОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ

ДОН КИХОТ
ЛАМАНЧСКИЙ



А С А Д Е М И А
МОСКВА ЛЕНИНГРАД
I ♣ 9 ♣ 3 ♣ 2



МИГЕЛЬ ДЕ СЕРВАНТЕС СААВЕДРА

ХИТРОУМНЫЙ ИДАЛЬГО
ДОН КИХОТ
ЛАМАНЧСКИЙ



ПЕРЕВОД
ПОД РЕДАКЦИЕЙ
И С ВСТУП. СТАТЬЯМИ
Б.А. КРЖЕВСКОГО
и А.А. СМИРНОВА,
ВВЕДЕНИЕ
П.И. НОВИЦКОГО,
67 ИЛЛЮСТРАЦИЙ



ТОМ
ВТОРОЙ

А С А Д Е М И А

МОСКВА & ЛЕНИНГРАД

1 + 9 + 3 + 2

MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA
EL INGENIOSO HIDALGO
DON QUIJOTE DE LA MANCHA

ОРНАМЕНТАЦИЯ КНИГИ
С. М. ПОЖАРСКОГО



ПОСВЯЩЕНИЕ
ГРАФУ ДЕ ЛЕМОС *

Посылая не так давно вашей светлости мои комедии,* напечатанные раньше, чем они были представлены, я сказал, мне помнится, что дон Кихот надевает шпоры, собираясь ехать поцеловать руки вашей светлости. Теперь же я скажу, что он их надел и отправился в дорогу; и если он доедет, то, мне думается, я этим окажу вашей светлости маленькую услугу, так как меня со всех сторон торопят скорее прислать его, чтобы изгладить противное и пошлоторное воспоминание о другом дон Кихоте, который под именем второй части, нарядившись в чужое платье, разгуливал по свету.* И больше всего торопит меня с этим великий император китайский:* с месяц тому назад он прислал мне с гонцом письмо, написанное на китайском языке, в котором просит, а вернее сказать, умоляет, прислать ему дон Кихота, так как он желает основать коллегию, где преподавался бы испанский язык и текстом для этого служила бы история дон Кихота; а вместе с тем он приглашает меня быть ректором этой коллегии. Я спросил посланца, не передало ли его величество для меня какого-нибудь денежного вспомоществования. Гонец ответил мне, что императору мысль эта даже в голову не приходила.

— В таком случае, братец, — сказал я, — вы можете возвращаться в ваш Китай со скоростью десяти, двадцати или сколько вам будет угодно миль; потому что здоровье мне не позволяет пускаться в такой далекий путь; а кроме того что я немогущ, я еще больше страдаю от безденежья; но у меня в Неаполе есть великий граф де Лемос, заменяющий мне всех императоров и монархов на свете, который без всяких коллегий и ректоратов помогает мне, покровительствует и оказывает больше милостей, чем я мог бы желать.

На этом мы распростились с ним, как и сейчас я прощаюсь с вашей светлостью, в намерении поднести ей «Испытания Персилеса и Сихсисмунды»* — книгу, которую я, deo volente,* закончу через четыре месяца. И прибавлю, что книга эта будет либо самой плохой, либо самой хорошей из всех написанных на нашем языке, по крайней мере, — из служащих для развлечения. Но, пожалуй, я напрасно сказал: самой плохой, потому что, по отзывам моих друзей, книга эта достигнет предела совершенства.

Возвращайтесь,* ваша светлость, в желанном здравии, и к этому времени «Персилес» будет уже готов, чтобы поцеловать вам руки, как я сейчас, в качестве вашего слуги, целую вам ноги. Писано в Мадриде, в последний день октября тысяча шестьсот пятнадцатого года.

Слуга вашей светлости

Мигель де Сервантес Сааведра



К ЧИТАТЕЛЮ



ог мой, с каким, должно быть, любопытством ждешь ты, высоко-родный, а может быть и безродный, читатель, этого пролога, думая найти в нем угрозы, брань и отповедь автору второго *Дон Кихота*, того, что был зачат, как говорят, в Тордесильяс и родился в Таррагоне!* Но, право же, я лишу тебя этого удовольствия; ибо хотя обиды рождают гнев в самых кротких сердцах, мое сердце в этом отношении представляет исключение. Ты хотел бы, чтобы я назвал этого автора ослом, болваном или нахалом? Отнюдь не стану этого делать. Он нашел наказание в собственном грехе. Скушал его? На здоровье! Но единственное, что меня задело, это — то, что он изволил назвать меня стариком, и еще безруким,* — словно в моей власти удержать время, увлекающее меня за собой, и словно я получил свое увечье в какой-нибудь таверне, а не в самом славном из всех боев, какие только мыслимы в прошлые века, нынешние и, можно думать, в грядущие. Если мои раны и не придадут мне блеск в глазах каждого, кто их видит, то, по крайней мере, они внушают уважение тем, кто знает, где я их приобрел; ибо лучше солдату пасть мертвым на поле брани, чем остаться

невредимым с помощью бегства; и я так проникнут этим убеждением, что если бы мне сейчас предложили чудом изменить прошлое, я предпочел бы, чтобы я тогда участвовал в этом изумительном сражении, нежели был теперь здоровым и не раненым, не участвовав в нем. Шрамы, покрывающие лицо и грудь солдата, — это звезды, призывающие других к небу чести и жажде заслуженных похвал. И еще скажу, что писатель творит не сединами, а разумом, который возрастает с годами. Еще задело меня то, что он называет меня завистником и, как, невежде, объясняет мне, что такое зависть. Но, по правде и по истине, из двух существующих видов зависти мне знакома только зависть святая, чистая и благородная; а раз это так, как оно есть, невозможно, чтобы я преследовал какое-либо духовное лицо, особенно если оно состоит членом святейшего судилища; * и если названный автор намекал на то лицо, которое я имею в виду, то он глубоко ошибся; потому что я преклоняюсь перед его умом, восхищаюсь его твореньями и добродетельной жизнью, которую он неизменно ведет. * Впрочем, я благодарен сеньору автору за его отзыв о моих новеллах — что хотя в них и больше сатиры, чем назидания, но все же они хороши. А хороши — так, значит, в них есть все, что требуется.

Пожалуй, ты мне скажешь, читатель, что я слишком сдержан и чересчур ограничиваю себя по своей скромности, понимая, что не следует добивать человека, и без того уже угнетенного, — а сеньор этот, без сомнения, сильно угнетен, если он не решается выступить в открытом поле и при дневном свете, а скрывает свое имя и придумывает себе родину, словно совершивший госу-

дарственное преступление. Если случайно он лично знаком тебе, передай ему от моего имени, что я не считаю себя оскорбленным; потому что я хорошо знаю, что такое дьявольские искушения, из них же величайшее — это впустить человеку, что он в состоянии написать книгу, которая принесет ему и деньги и славу, и славу и деньги. И я хотел бы, чтобы в подтверждение этого ты мило и весело, как ты умеешь это делать, рассказал ему следующую побасенку.

Был в Севилье сумасшедший, помешавшийся на самой странной и забавной выдумке, какая только может быть на свете. Дело в том, что, выдолбив остроконечную тростинку, он ловил на улице, или в каком-нибудь другом месте, собаку и, наступив ей ногой на одну заднюю лапу, другую приподнимал рукой и старательно вставлял тростинку в известное место, а затем дул в нее, пока собака не становилась круглой, как мяч; доводя ее до такого состояния, он хлопал ее раза два по животу и отпускал, говоря зрителям, всегда толпившимся вокруг него: «Ну как, по-вашему, легкое дело надуть собаку?» — Ну, как, по-вашему, легкое дело написать книгу?

А если, дорогой читатель, этот рассказ ему не понравится, то вот другой, тоже про сумасшедшего и собаку.

Был в Кордове другой сумасшедший, имевший обыкновение посить на голове обломок мраморной плиты или просто увесистый камень. Когда он замечал зазевавшуюся собаку, он подходил к ней вплотную и отвесно сбрасывал на нее свой груз; и пострадавшая собака, визжа и воя, убегала за три улицы. Но однажды ему случилось сбросить свой груз на собаку шапочника, который очень

ее любил. Камень угодил ей в голову; ушибленная собака завывала; ее хозяин, видя это, схватил аршин и так отделал им сумасшедшего, что у того кости заболели; и при каждом ударе он приговаривал: «Ах ты, подлая собака! Так-то ты мою гончую? Не видел ты, что ли, негодяй, что моя собака — гончая?» И, повторив раз двадцать слово *гончая*, он отпустил сумасшедшего, сделав из него котлету. Хорошо проученный, сумасшедший скрылся и больше месяца не показывался на площади. Но затем он снова вышел и снова принялся за свое: подойдя к какой-нибудь собаке, он долго ее рассматривал, но так и не находил в себе смелости и решимости сбросить на нее свой камень, всякий раз говоря: «Это — гончая: будем осторожны!» И всякая собака, которую он встречал, хотя бы это был сторожевой пес или шавка, для него была гончая, и он не сбрасывал на нее камень. Возможно, что нечто подобное произойдет и с нашим историком, который не дерзнет больше изливать избыток своего ума в твореньях, которые, при своей плохости, тверже скал.

Передай ему также, что его угрозу лишить меня дохода изданием своей книги я ни в грош не ставлю; ибо я отвечаю ему вроде того, как говорится в превосходной интермедии *Перенденга*: «Да здравствует, мне на благо, сеньор Вейнтикуатро,* и Христос с вами всеми!» Да здравствует великий граф де Лемос, христианская добродетель которого и хорошо известная щедрость защищают меня против всех ударов моей злой судьбы, и да здравствует, мне на благо, величайшее милосердие архиепископа Толедского, дон Бернардо де Сандоваль-и-Рохас,* — хотя бы не было

на свете ни одной печатни, или печаталось против меня больше книг, чем содержится букв в стихках Минго Ревульго!* Эти два высокородных сеньора, без всякого искательства или лести с моей стороны, но единственно из своего великодушия, пожелали оказать мне милость и благоволение, благодаря которым я считаю себя более счастливым и богатым, чем если бы Фортуна вознесла меня на вершину благополучия обычным путем. Честью может обладать и бедняк, но не человек порочный; ибо бедность может омрачить благородство, но не может затмить его совсем. А так как добродетель излучает собственный свет даже сквозь щели тягостной нищеты, то она снискивает уважение высоких и благородных умов, а тем самым — и их благоволение.

Не говори ему ничего больше, читатель, да и я не прибавлю тебе больше ничего, а только попрошу тебя принять к сведению, что эта вторая часть *Дон Кихота*, предлагаемая тебе мною, скроена тем же мастером и из того же сукна, что и первая, и что в ней я даю тебе всего дон Кихота, вплоть до его смерти и погребения, — что бы никто не заводил снова о нем речь. Довольно того, что уже есть; и достаточно того, что порядочный человек поведал тебе об этих разумных безумствах и не желает возвращаться к ним еще раз; потому что излишество даже в самых лучших вещах приводит к тому, что они теряют цену, между тем как плохое, когда его мало, начинает цениться. Да, чуть было не забыл тебе сказать, чтобы ты ждал теперь *Персилеса*, которого я заканчиваю, а так же вторую часть *Галатеи*.

ГЛАВА I

о том, что произошло между священником, цырюльником и дон Кихотом во время его болезни



о второй части этой истории, излагающей третью поездку дон Кихота, Сид Амат Бенехели рассказывает, что священник и цырюльник почти целый месяц не навещали нашего рыцаря, чтобы не возобновлять и не воскрешать в его памяти минувших событий; но зато они посещали его племянницу и экономку, прося их окружать его заботами и выбирать для него пищу подкрепительную и полезную для сердца и мозга, откуда, если здраво рассудить, и происходило все его несчастье. Женщины уверяли, что они и делают это, и будут делать со всей возможной старательностью и готовностью, потому что им кажется, что их господин от времени до времени ведет себя, как человек в здравом уме; эта новость весьма обрадовала наших друзей, ибо они решили, что недаром привезли дон Кихота заколдованным, в телеге, запряженной волами, как об этом было рассказано в последней главе первой части нашей великой и точной истории; и вот сговорились они посетить его и лично убедиться в том, что ему лучше —

хотя такое улучшение казалось им почти невозможным, — условившись между собой не касаться ничего такого, что имело бы отношение к страстующему рыцарству, дабы не бередить его еще свежую рану.

Итак, пришли они к дон Кихоту и застали его сидящим на постели в зеленом байковом камзоле, с красным толедским колпаком на голове, — и



был он так худ и тощ, что можно было принять его за иссохшую мумию. Он встретил их очень приветливо, и, когда они справились о его здоровье, он рассказал им о себе и своем самочувствии весьма разумно и в самых изящных выражениях; наконец, беседа зашла о делах государственных и о мерах правительства; одни злоупотребления наши друзья исправляли, другие — осуждали, одни обычаи переделывали, другие — упраздняли, причем каждый из трюх собеседников чувствовал

себя новым законодателем, современным Ликургом и новоиспеченным Солоном; и они обновили государство так основательно, что, казалось, будто они бросили его в горы и вынули оттуда совсем непохожим на старое. По всем вопросам, которые обсуждались, дон Кихот высказывался чрезвычайно умно, и испытывавшие его твердо уверились, что он в полном рассудке и совершенно здоров.

При этой беседе присутствовали племянница и экономка, без устали благодарившие господа бога за то, что господин их рассуждает так здраво; но священник, изменив свое первоначальное намерение—не касаться вопроса о странствующем рыцарстве, решил окончательно убедиться, действительно ли дон Кихот выздоровел, или это только кажется, и постепенно свел разговор к последним столичным новостям и, между прочим, сообщил, что по достоверным сведениям турецкий султан выступил в поход с огромным флотом, но только эти замыслы его пока еще никому неизвестны, и неведомо, где разразится эта страшная гроза; и опять весь христианский мир в тревоге, как это случается почти каждый год, и его величество велел укрепить берега Неаполя, Сицилии и острова Мальты. На это дон Кихот ответил:

— Укрепляя заблаговременно свои владения, его величество поступает как благоразумнейший воин, заботящийся о том, чтобы неприятель не застиг его врасплох; но если бы он спросил моего совета, я бы предложил ему принять некоторые меры, о которых в настоящее время его величеству и в голову не приходит подумать.

Как только священник услышал эти слова, он сказал про себя:

«Да хранит тебя господь бог, бедный дон Кихот; кажется, ты снова низвергаешься с высокой вершины безумия в глубокую бездну простодушия».

А дырюльник, уже смекнувший, куда клонит священник, спросил дон Кихота, какие именно меры он посоветовал бы королю; а что, если его совет окажется таким, что придется отнести его к разряду тех бессмысленных предложений,* которые обычно делаются государям?

— Мой совет, сеньор брадобрей, — ответил дон Кихот, — не бессмыслен, а даже очень осмыслен.

— Я не хотел сказать ничего плохого, — возразил дырюльник, — но только опыт показывает, что все или большая часть планов, предлагаемых его величеству, или неосуществимы, или нелепы, или же направлены во вред королю и королевству.

— Мой план, — ответил дон Кихот, — не неосуществим и не нелеп, и ни одному планировщику на свете не может прийти на ум план более легкий, правильный, удобоисполнимый и краткий.

— Нам не терпится узнать его, ваша милость сеньор дон Кихот, — сказал священник.

— Мне не хотелось бы излагать его здесь и сейчас, иначе завтра же он дойдет до сведения королевских советников, и за мой труд другой получит и благодарность и награду.

— Что касается меня, — сказал дырюльник, — то клянусь перед богом и перед вами, что не передам слов вашей милости ни королю, ни руху* и ни единому живому человеку на земле: эту клятву я выучил из романа о священнике, который во вступлении к мессе указал королю на вора,

укравшего у этого священнослужителя сто дублонов и мула скорохода.

— Побасенок этих я не знаю, — сказал дон Кихот, — но думаю, что клятва эта верная, так как сеньор дырюльник — человек честный.

— Даже если бы он и не был честным человеком, — промолвил священник, — я отвечаю и ручаюсь за него, что он будет молчать, как немой, а не то придется ему заплатить так называемые расходы и судебные издержки.

— А за вашу милость, сеньор священник, кто ручается? — спросил дон Кихот.

— Мой сан, — ответил священник, — повелевающий мне хранить тайны.

— Чорт побери! — воскликнул тогда дон Кихот, — да пусть только его величество объявит через глашатаев, чтобы все странствующие рыцари, скитающиеся по Испании, в назначенный день собрались в столицу, и, хотя бы собралось их не более полудюжины, возможно, что среди них окажется такой, что он один сокрушит все турецкие полчища. Слушайте меня внимательно, сеньоры, и следите за моею мыслью. Неужели вы никогда не слыхали, что один странствующий рыцарь может перерезать войско в двести тысяч человек, как если бы у них было одно горло, и все они были сделаны из помадки? Нет, скажите мне, разве множество романов не переполнено подобными чудесами? Да если бы теперь, — пропади я на этом месте (другим я пропадать не желаю) — жил знаменитый дон Бельянис или другой кто из бесчисленного потомства Амадиса Гальского, — так вот, если бы кто-нибудь из них был жив и померялся силами с турками, честное

слово, я бы не пожелал быть на месте султана! Но господь позаботится о своем народе и пошлет ему защитника, если и не столь могучего, как бывшие странствующие рыцари, то уж во всяком случае не уступающего им в храбрости. Бог меня понимает,— и больше я ничего не скажу.

— Ох,— вскричала в эту минуту племянница,— убейте меня, если господин мой не задумал опята сделаться странствующим рыцарем.

На это дон Кихот ответил:

— Странствующим рыцарем я и умру, а турецкий султан пусть себе ходит и выходит со всей своей страшной силой; про себя же еще раз скажу: бог меня понимает.

Тут вмешался дырюльник:

— Умоляю вас, сеньоры, разрешите мне рассказать вам небольшую историю, случившуюся в Севилье, — она будет сейчас как нельзя более кстати, и мне очень хочется ее рассказать.

Дон Кихот разрешил, священник и все остальные приготовились слушать, и дырюльник начал так:

— В госпитале для сумасшедших в Севилье находился один человек, которого посадили туда его родственники, так как он лишился рассудка. Он получил ученую степень по каноническому праву в Осуне; * по, получи он ее в самой Саламанке, все равно, по мнению многих, не миновать бы ему сумасшествия. После нескольких лет заключения наш лицензиат решил, что он здоров и в полном рассудке, и, вообразивши это, написал архиепископу, умоляя его в настойчивых и вполне разумных выражениях извлечь его из бедственного положения, в котором он находится, ибо

милосердие божие возвратило ему потерянный рассудок; он прибавлял, что родственники заперли его в госпиталь с намерением воспользоваться его долей наследства и желают, вопреки истине, чтобы его до самой смерти считали сумасшедшим. Архиепископ, убежденный его многочисленными посланиями, написанными здраво и рассудительно, послал капеллана узнать от управляющего госпиталем, правда ли то, что пишет лицензиат; капеллан должен был также побеседовать с сумасшедшим и, если обнаружится, что он в здравом уме, увести его оттуда и отпустить на свободу. Капеллан исполнил поручение, и управляющий сообщил ему, что лицензиат все еще безумен; правда, часто говорит он как человек вполне разумный, но всегда кончается тем, что он впадает в нелепости, которые у него так же велики и часты, как и разумные речи; впрочем, стоит только поговорить с ним, чтобы убедиться в этом на деле. Капеллан пожелал произвести опыт и, запершись с сумасшедшим, беседовал с ним больше часа, и за все это время безумец не сказал ничего вздорного или бессмысленного; напротив, он говорил так разумно, что капеллан был принужден признать его вполне здравомыслящим; между прочим сумасшедший заявил, что управляющий его оговаривает, потому что не желает лишиться подарков, которыми его подкупают родственники, склоняющие его говорить, будто лицензиат все еще безумен, несмотря на бывающие у него минуты просветления; больной прибавил, что несчастьем своим он больше всего обязан своему богатству, из-за которого враги его пускаются на всяческие козни и не хотят поверить, что господь бог послал

ему милость, превратив его снова из скота в человека. Одним словом, он изобразил управляющего человеком ненадежным, родственников своих — корыстными и бессердечными, а себя самого — вполне здоровым, вследствие чего капеллан решил отвезти его к архиепископу, дабы тот мог увидеть и обнаружить полную правду. Положившись на эти слова, капеллан попросил управляющего возвратить лиценциату платью, в котором тот впервые приехал; управляющий снова стал убеждать его подумать о том, что он делает; не могло быть никакого сомнения, что лиценциат все еще безумен. Но, несмотря на все советы и предостережения управляющего, капеллан все-таки пожелал увести беднягу с собой; а так как приказание это исходило от архиепископа, то управляющий повиновался, и лиценциата одели в приличную и новую одежду; он же, увидев, что больничное платье с него сняли, а прежнее выдали обратно, попросил капеллана, в виде милости, разрешить ему попрощаться с товарищами-сумасшедшими. Капеллан ответил, что он желает его сопровождать, чтобы посмотреть, какие сумасшедшие сидят в этом доме. Они отправились, а вместе с ними и кое-кто из присутствовавших; лиценциат подошел к клетке, в которой сидел буйно-помешанный, находившийся в ту пору в спокойном и кротком состоянии, и сказал ему:

« — Братец, не будет ли у вас ко мне какого-нибудь поручения? Я уйду домой, ибо господа богу, по бесконечной его доброте и милосердию, было угодно возвратить мне разум, хотя я этого и не заслужил; я уже здоров и в полном рассудке, — ведь для всемогущества божия нет ничего невоз-

возможно; надейтесь и верьте в господа: он вернул меня в мое прежнее состояние, а со временем вернет и вас, если вы доверитесь ему всем сердцем; а я позабочусь о том, чтобы послать вам чего-нибудь вкусного поесть, и вы непременно поешьте, ибо должен вам сказать, как человек, испытавший это на собственном опыте, что по моему мнению все наши безумства происходят от того, что желудки у нас пусты, а головы наполнены воздухом. Итак, мужайтесь, мужайтесь, ибо кто поддается несчастью, тот портит себе здоровье и ускоряет свой конец.

«Эту речь лиценциата слышал сумасшедший, сидевший в другой клетке против буйно-помешанного, и, поднявшись со старой дыновки, на которой он валялся совсем нагишом, он спросил громким голосом, кто это уходит домой здоровый и в полном рассудке. Лиценциат ответил:

«— Это я, братец, ухожу; мне больше незачем здесь оставаться, а потому я возношу бесконечные благодарения небу, пославшему мне столь великую милость.

«— Подумайте, лиценциат, что вы говорите; смотрите, как бы дьявол вас не обманул, — ответил сумасшедший: — незачем вам спешить, сидите спокойно дома, не то все равно вам придется сюда возвратиться.

«— Я уверен, что я здоров, — возразил лиценциат, — и не вернусь больше сюда, чтобы снова ходить по мытарствам.

«— Это вы-то здоровы? — воскликнул сумасшедший. — Ну, ладно, посмотрим; ступайте себе с богом; но клянусь вам Юпитером, чье величие я представляю на земле, что за один этот грех,

который ныне совершает Севилья, выпуская вас из госпиталя как здорового, я покараю ее так, что память об этом пребудет во-веки веков, аминь. И тебе должно быть известно, жалкий лиценциантишка, что я это могу совершить, ибо, как мною уже сказано, я — Юпитер-Громовержец, держащий в руках огненные молнии, посылающие горе и гибель вселенной! Но я накажу это невежественное селение, и вот как: в течение целых трех лет, считая с того дня и часа, в которой я произношу эту угрозу, я не пошлю дождя ни на город, ни на его окрестности, ни на область. Как, ты свободен, ты здоров, ты в полном уме, а я сумасшедший, я болен, я взнерпти? Да я скорее повешусь, чем пошлю хоть каплю дождя!

«Все присутствовавшие внимательно слушали речи и крики сумасшедшего; а наш лиценциат, обратившись к капеллану и схватив его за руки, сказал:

«— Не огорчайтесь, ваша милость, сеньор, и не придавайте значения речам этого сумасшедшего; ибо если он — Юпитер — не пошлет вам дождя, то я — как Нептун, как отец и бог вод, — я буду вам посылать столько дождя, сколько понадобится и когда мне это вздумается.

«А капеллан на это ответил:

«— И все-таки, сеньор Нептун, не следует раздражать сеньора Юпитера: оставайтесь-ка вы, ваша милость, дома, а когда у нас будет досуг и удобный случай, мы еще вернемся за вашей милостью.

«Управляющий и все присутствующие рассмеялись, и их смех чуть было не рассердил капел-

лана; потом лиценциата раздели, он остался в госпитале и на этом история кончилась».

— Так это и есть та самая история, сеньор цырюльник, — спросил дон Кихот, — которая подходила к случаю как нельзя более кстати и которую вы не могли нам не рассказать? Ах, сеньор брадобрей, сеньор брадобрей, поистине слеп тот человек, который даже сквозь сито ничего не видит! Неужели же ваша милость не знает, что сравнения одного ума с другим, одной доблести с другой, одной красоты с другой и одного знатного рода с другим всегда неприятны и никому не нравятся? Я, сеньор цырюльник, не Нептун и не бог вод, но, не будучи умным, я однако и не выдаю себя за умника; я стараюсь лишь о том, чтобы объяснить людям, в каком они пребывают заблуждении; не желая возродить тех счастливейших времен, когда на земле подвизался орден странствующего рыцарства; наш испорченный век не достоин наслаждаться столь великим благом, каким наслаждались времена, когда странствующие рыцари вменяли себе в обязанность и брали на себя защиту королевства, охрану дев, помощь сирым и малым, наказание гордецов и награждение кротких. Большинство же современных рыцарей любят шуршать шелками, парчою и прочими богатыми тканями, а вовсе не бранной кольчугой; рыцари не спят больше на голой земле, вооруженные с головы до ног, не подвергаются жестокостям непогоды; и никто уже, подобно странствующим рыцарям, не пытается, как говорится, стреножить сон, опершись на кошке и не вынимая ноги из стремени. Никто теперь не поступит так, как делалось в старину: выйдет,

бывало, такой рыцарь из лесу и, поднявшись на гору, спустится затем на дикий и пустынный берег моря, — по большей части изволнованного и бурного, — и там, завидев челнок без весел, паруса, мачты и снастей, с бесстрашной отвагой прыгнет в него, предавшись воле беспощадных волн глубокого моря, которые то подбрасывают его к небу, то низвергают в бездну, а рыцарь борется грудью с неодолимой бурей, и вот неожиданно-негаданно оказывается он за три тысячи, а то и более миль от того места, откуда отправился, там выходит он на далекую и неведомую землю, и с ним случаются происшествия, достойные быть увековеченными не только на пергаменте, но и на бронзе. Меж тем как в наше время леность торжествует над усердием, праздность над трудом, порок над добродетелью, наглость над доблестью и теория над военной практикой, которая блистала и процветала в золотой век и в век странствующих рыцарей. Если вы не согласны, то скажите мне: кто пристойнее и храбрее знаменитого Амадиса Гальского? Кто умнее Пальмерина Английского? Кто умереннее и обходительнее Тиранта Белого? Кто галантнее Лисуарте Греческого? Кто получал и наносил больше ударов, чем дон Бельянис? Кто бесстрашнее Персона Гальского? Кто преодолел больше опасностей, чем Фелисмарте Гирканский? Кто искреннее Эспандиана? Кто отважнее дон Спронхильо Фракийского? Кто смелее Родамонте? Кто мудрее короля Собрино? Кто дерзновенней Рейнальдо? Кто непобедимее Роланда? Кто любезней и изящней Ружеро, от которого, по словам Турпина в его *Космографии*,* ведут свой род герцоги Феррар-

ские? Все эти рыцари, сеньор священник, — а я бы мог назвать еще многих — были странствующими рыцарями, светом и славой рыцарства. Вот этих-то рыцарей или им подобных я и советовал пригласить, ибо они славно, и без больших затрат послужили бы его величеству, а турецкому султану пришлось бы тогда вырвать себе бороду. В заключение же мне, повидимому, придется остаться дома, поскольку сеньор капеллан меня с собой не берет; а если, как нам рассказал цырюльник, Юпитер не захочет послать нам дождя, так я сам буду его посылать, когда только мне вздумается. Говорю я это к тому, чтобы сеньор Бритвенный Таз знал, что я его понял.

— Честное слово, сеньор дон Кихот, я совсем в другом смысле вам это рассказал, — ответил цырюльник, — видит бог, что у меня было доброе намерение, а потому ваша милость напрасно сердится.

— Ну, напрасно или не напрасно, — сказал дон Кихот, — это уж мое дело.

Тут заговорил священник:

— Хотя я до сих пор не произнес и двух слов, все же мне хотелось бы избавиться от одного сомнения, которое грызет и гложет мою совесть; а возникло оно по поводу того, что нам только-что сказал сеньор дон Кихот.

— Вам можно разрешить не только это, но и многое другое, сеньор священник, — сказал дон Кихот. — Изложите нам ваше сомнение, ибо не хорошо, когда наша совесть чем-нибудь обременена.

— Тогда, с вашего разрешения, — ответил священник, — я скажу: мое сомнение заключается в том, что я никоим образом не могу допустить,

чтобы вся эта свора странствующих рыцарей, которых вы, ваша милость, сеньор дон Кихот, только-что перечислили, действительно и подлинно жила на свете, как люди из плоти и крови; напротив, я полагаю, что все это вымысел, сочинение и ложь, что все это — грезы, о которых люди рассказывают паяву, а вернее — в полусне.

— Вот заблуждение, — отвечал дон Кихот, — в которое впадали многие, не верившие, будто такие рыцари существовали на свете, и я неоднократно старался при различных обстоятельствах и с разными людьми правдиво осветить эту почти всеобщую ошибку; иногда, укрепив ее на плечах истины, мне удавалось достичь своей цели, иногда — нет; а между тем истина эта самоочевидна, и я берусь утверждать, что видел собственными глазами Амадиса Гальского: это был человек высокого роста, с белым лицом и красивой, хотя и черной,* бородой, с взглядом наполовину ласковым, наполовину суровым, скупой на слова, с трудом приходивший в гнев и быстро успокаивавшийся; и мне кажется, что точно так же, как я описал Амадиса, я мог бы изобразить и нарисовать странствующих рыцарей всех романов на свете; исходя из догадки, что они были такими, какими их описали, и, основываясь на их характере и совершенных ими подвигах, всякий с помощью разумной философии может определить их черты, окраску тела и рост.

— Ну, а как вы думаете, ваша милость, сеньор мой дон Кихот, какого роста должен был быть великан Морганте?* — спросил цырюльник.

— Относительно великанов существуют различные мнения: одни признают, что великаны суще-

ствовали, другие это отрицают; однако священное писание, каждая буква которого — чистейшая истина, говорит нам о том, что они существовали: ибо там рассказывается история филистимлянина Голнафа, который был ростом в семь с половиной локтей, то есть величины непомерной. А затем на острове Сицилии были найдены берцовые и плечевые кости такой величины, что по размерам их можно заключить, что они принадлежали великанам ростом в высокую башню: геометрия делает эту истину не подлежащей сомнению. И все же, несмотря на все это, я не берусь сказать определенно, какой величины был Морганте, хотя и полагаю, что он не должен был быть особенно высоким; мнение мое основывается на книге, подробно описывающей его деяния и отмечающей, что он много раз ночевал под кровлей, а раз он находил такие дома, где мог поместиться, то, значит, он не был непомерной величины.

— Вы правы, — сказал священник, которому было забавно слушать великие нелепости дон Кихота. Поэтому он спросил нашего рыцаря, как он представляет себе наружность Рейнальдо Монтальбанского, дон Роланда и остальных пэров Франции, которые все были странствующими рыцарями.

— Я решаюсь утверждать, — ответил дон Кихот, — что у Рейнальдо было широкое лицо, румяные щеки и бегающие глаза, немного навывкате; он был крайне обидчив и вспыльчив, водился с разбойниками и отпетыми людьми. Что же касается Роланда, Ротоланда или Орландо,* — ибо в романах он называется всеми этими тремя именами, — то я полагаю и утверждаю, что был он

среднего роста, широк в плечах, немного кривоног, имел смуглое лицо, рыжую бороду, волосатое тело и грозный взгляд; он был скуп на слова, но очень благовоспитан и вежлив.

— Если Роланд был столь мало привлекателен, как ваша милость его описывает, — ответил священник, — то не удивительно, что сеньора Анжелика Прекрасная пренебрегла им и предпочла ему любезность, грацию и изящество юнобородого мавра, которому она отдалась, совершенно разумно вручив пальму первенства нежному Медоро, а не шершавому Роланду.

— Эта Анжелика, сеньор священник, — ответил дон Кихот, — была девидей легкомысленной, непоседливой и довольно-таки привередливой: весь мир наполнила она молвой о своих сумасбродствах и славою своей красоты. Она отвергла тысячи вельмож, тысячи доблестных и умных людей и выбрала себе смазливое пажа, не имевшего никакого величания, кроме прозвища «Преданный», полученного им за верность своему другу. * Великий певец ее красоты, знаменитый Арносто, не осмелившись или не пожелав воспеть то, что приключилось с этой сеньорой после ее постыдного выбора (а приключились с ней дела, наверное, не очень почтенные), расстался с ней со словами:

О том, как ей достался трон Катая,
Искусней лира вам сплет другая.

И несомненно слова эти были пророческими; * недаром ведь поэтов обозначают словом *vates*, что значит *прорицатели*. А что все это оказалось чистой правдой, видно из того, что впоследствии один знаменитый андалузский поэт оплакал и

воспел ее слезы, а другой знаменитый и несравненный кастильский поэт воспел ее красоту.*

— Скажите мне, сеньор дон Кихот, — спросил в это время дырюльник, — неужели среди всех многочисленных поэтов, восхвалявших эту сеньору Анджелику, не нашлось ни одного, кто бы напсал на нее сатиру?

— Не сомпеваюсь, — ответил дон Кихот, — что если бы Сакрипанте* или Роланд были поэтами, то они бы здорово пробрали эту девицу, ибо поэтам, прогнанным и отвергнутым их дамами, все равно вымышленными или не вымышленными, словом, теми, кого они выбрали во властительницы своих помыслов, — поэтам, повторяю, свойственно и естественно отомщать сатирами и памфлетами, хотя такая месть, конечно, недостойна благородных душ; но до сих пор до моего сведения не дошло ни одного стихотворения, позорящего честь сеньоры Анджелики, которая так переполошила весь мир.

— Какое чудо! — сказал священник.

Но в эту минуту во дворе раздался громкий крик племянницы и экономки, которые еще раньше покинули наших друзей; тут и все выбежали на шум.

ГЛАВА II

в которой рассказывается о великом препирательстве Санчо Пансы с племянницей и экономкой дон Кихота и о других забавных предметах



стория наша рассказывает, что дон Кихот, священник и дырюльник услышали крики племянницы и экономки; кричали же они потому, что Санчо Панса требовал, чтобы его впустили повидаться с дон Кихотом, а женщины загораживали ему дорогу.

— Чего этому бродяге нужно в нашем доме? Убирайтесь пожалуйста, во-свосяси, вы только и делаете, братец, что смущаете и соблазняете нашего господина да таскаете его по трущобам.

А на это Санчо ответил:

— Нет, чортова экономка, если уж кого смущали соблазняли и таскали по трущобам, так не твоего хозяина, а меня; это он меня потащил бродить по свету; обе вы обсчитались на все полденны; это он своими посудами увел меня из дому, пообещав мне остров, которого я до сих пор дождаюсь.

— Чтоб этот окаянный остров тебя задушил, проклятый Санчо, — ответила племянница. — И

что это еще такое за остров? Ты, должно быть, думаешь, что это едят, обжора несчастный, чревоугодник!

— И вовсе не едят его, — возразил Санчо, — а им управляют, и я бы управился с ним получше, чем целых четыре городских совета или четыре столпных алькальда.

— А все-таки вы сюда не войдете, — сказала экономка, — вы, кошель злобы и мешок злоpravия. Ступайте управлять своим хозяйством и пахать землю, а обо всех этих островах забудьте!

Священник и дырюльник от всей души потешались, слушая трех спорщиков; дон Кихот же, боясь, как бы Санчо не наболтал и не нашел кучу всякого вздора и не коснулся кой-каких обстоятельств, способных повредить его доброй славе, позвал его и велел женщинам замолчать и впустить гостя.

Санчо вошел, а священник и дырюльник распродались с дон Кихотом, в выздоровлении которого они отчаялись, видя, как он упорствует в своих сумасбродных мыслях и простодушно увлечен злополучным рыцарством. Поэтому священник сказал дырюльнику:

— Вы увидите, кум, что наш идалго пустится снова рыскать по свету, когда мы меньше всего будем этого ожидать.

— Я в этом не сомневаюсь, — ответил дырюльник, — и не столько меня удивляет безумие рыцаря, сколько простота оруженосца: он так крепко уверовал в остров, что цельзя себе представить таких разочарований, которые бы вышибли из его башки эту мысль.

— Да исцелит их обоих господь, — сказал священник. — Будем наблюдать за ними и посмотрим, к чему приведет все это нагромождение сумас-



бродств рыцаря и оруженосца; право, кажется, что их выковали по одинаковому образцу и что безумие господина без глупости слуги гроша бы не стоило.

— Вы правы, — ответил дырюльник: — любопытно было бы узнать, о чем они сейчас толкуют.

— Я уверен, — ответил священник, — что племянница и экономка нам потом все расскажут: уж такой у них характер, что они не преминут подслушать.

Тем временем дон Кихот заперся с Санчо в своей комнате и, оставшись с ним наедине, сказал ему:

— Меня очень печалит, Санчо, что ты говорил и продолжаешь говорить, будто я увлек тебя из твоей хижины, а между тем ты знаешь, что я сам тоже не оставался дома: вместе мы отправились, вместе поехали, вместе и скитались; ту же судьбу и тот же жребий мы разделяли оба; и если тебя один раз подкидывали на одеяле, то меня колотили сто раз, — вот и все мои преимуществы перед тобой.

— Да ведь так этому и надлежало быть, — ответил Санчо, — ибо, как говорит ваша милость, бедствия чаще обрушиваются на странствующих рыцарей, чем на их оруженосцев.

— Ошибаешься, Санчо, — сказал дон Кихот, — ибо, как говорится, когда *caput dolet* * и т. д.

— Никакого языка, кроме родного, я не понимаю, — вставил Санчо.

— Я хочу сказать, — продолжал дон Кихот, — что, когда болит голова, болят и все члены; и так как я твой господин и сеньор, то я — голова, а ты, мой слуга — один из моих членов; и по этой причине если со мной случается несчастье, то оно случается и с тобой, и ты должен чувствовать мою боль, а я твою.

— Так бы оно, собственно, и полагалось, — ответил Санчо, — но только когда меня, то есть один из ваших членов, подкидывали на одеяле, то голова моя стояла себе за забором, поглядывала, как я взлетаю на воздух, и не испытывала при этом никакой боли; а раз члены обязаны разделять боль головы, то и голова обязана разделять боль членов.

— Так ты теперь утверждаешь, — воскликнул дон Кихот, — что мне не было больно, когда тебя подкидывали? Нет, не говори так и не думай, ибо в ту минуту я страдал душой больше, чем ты телом. Но теперь оставим это, — у нас еще будет время все это обсудить и выяснить; а скажи мне, друг Санчо, что говорят обо мне в деревне? Какого мнения обо мне народ, идальго и кабальеро? Что говорят о моей доблести, о моих подвигах, о моей учтивости? Какие толки ходят о моем замысле воскресить и вернуть миру забытый орден рыцарства? Словом, я прошу тебя, Санчо, рассказать мне все, что по этому поводу дошло до твоего сведения; ты должен передавать мне все, не преувеличивая хорошего и не уменьшая плохого! Ибо верные вассалы должны говорить своим сеньорам правду в том виде, как она есть, не украшая ее из угодливости и не смягчая из излишней почтительности; и тебе следует знать, Санчо, что если бы нагая правда без всяких покровов лести доходила до слуха правителей, то наступили бы другие времена, и минувшие века по сравнению с нашим стали бы называться железными, а наш век по сравнению со всеми другими был бы наименован золотым. Пусть же эти слова послужат тебе

предупреждением, Санчо, дабы ты рассудительно и добросовестно сообщил мне всю правду о том, о чем я тебя спрашиваю.

— Я сделаю это с большой охотой, сеньор мой, — ответил Санчо, — по при условии, что ваша милость не рассердится на мои слова; ведь вы сами желаете, чтобы я вам передал правду в голом виде, не паряжая ее ни в какие уборы, кроме тех, в каких она до меня дошла.

— Я ни в коем случае не рассержусь, — сказал дон Кихот: — ты можешь, Санчо, говорить вполне свободно и без обиняков.

— Итак, первое, что я вам доложу, — сказал Санчо, — это то, что народ считает вашу милость совсем сумасшедшим, а меня — по меньшей мере рехнувшимся. Идальго говорят, что ваша милость переступила права идальго, произведя себя в доньи и выскочив в рыцаря, хотя у вас всего-то навсего несколько виноградных лоз, две-три югады* земли и одна тряпица на животе, а другая сзади. Кабальеро говорят, что не желают, чтобы с ними равнялись идальго, а особенно идальго, годные быть лишь оруженосцами,* подкрашивающие башмаки сажей и штопающие черные чулки зеленым шелком...

— Это ко мне не относится, — прервал дон Кихот, — я всегда хорошо одет и не ношу ничего почтенного; платье мое может быть разорвано, но и то скорее от оружия, чем от времени.

— Что же касается доблести, учтивости, подвигов и замыслов вашей милости, — продолжал Санчо, — то об этом мнения расходятся; одни говорят: «безумец, но забавный», другие: «храбрый, но неудачник»; третьи: «учтив, но сума-

сброден»; и тут пачинаются такие толки и пересуды, что после них ни у вашей милости, ни у меня живой косточки не останется.

— Заметь себе Санчо, — сказал дон Кихот, — что как только добродетель где-нибудь достигает высокой степени, ее тотчас же пачинают преследовать. Почти никто из славных мужей древности не избежал злобной клеветы: Юлий Цезарь, храбрый, благоразумнейший и отважнейший полководец, был заподозрен в честолюбии, неопрятности и двусмысленных правах. Об Александре, заслужившем своими деяниями прозвище Великого, говорят, что он был порочный пьяница. О многооблестном Геркулесе передают, будто он был изнежен и сладострастен. О дон Галаоре, брате Амадиса Галльского, сплетничают, что он был слишком драчлив, а о брате его — что он был плаксою. А потому, Санчо, при паличии клеветы на столь славных мужей никто не обратит внимания на все эти враки, если только ты все мне полностью сказал.

— В том-то и заковыка, провались мой родной батюшка! — ответил Санчо.

— Значит, это не все? — спросил дон Кихот.

— Нет, самый-то хвост еще не ободрап, — ответил Санчо. — Все, что я до сих пор сказал, были прожки да печатные пряники; а если вашей милости угодно знать всю клевету, которую про вас распространяют, я сейчас приведу вам одного человека, который расскажет вам все подробно, не пропустив ни одной мелочи. Вчера вечером приехал сын Бартоломè Карраско — тот, что учился в Саламанке и получил звание бакалавра. Я пошел поздравить его с воз-

вращением, а он сказал мне, что уже появилась книга с «историей» вашей милости под заглавием: «*Хитроумный идальго дон Кихот Ламанчский*»; он прибавил, что в этой истории выведен под собственным именем — Санчо Панся и сеньора Дульсинея Тобосская тоже, и что рассказано в ней все, что происходило между нами двумя без свидетелей, так что я стал от ужаса креститься, не понимая, как мог об этом узнать написавший эту книгу историк.

— Уверяю тебя, Санчо, — сказал дон Кихот, — что автором нашей истории оказался, должно быть, какой-нибудь мудрый волшебник, от которого ничто не укроется, что бы он ни вздумал описать.

— Да как же он мог быть мудрым и волшебником, если, по словам бакалавра Самсона Карраско, — так зовут человека, о котором я говорю, — автор этой истории называется Сид Амет Беренхена.

— Имя это — мавританское, — сказал дон Кихот.

— Должно быть, — ответил Санчо, — ибо я не раз слышал, что мавры — любители беренхен.*

— Ты, наверное, Санчо, перепутал прозвище этого *Сиды*, что по-арабски обозначает «господин».

— Очень возможно, — ответил Санчо: — а вот, если вашей милости угодно, чтобы я привел сюда этого бакалавра, я мигом за ним слетаю.

— Ты доставишь мне этим большое удовольствие, друг мой, — сказал дон Кихот: — меня очень заинтересовали твои слова, и мне кусок в горло не полезет, пока я не узнаю все в точности.

— Так я схожу за ним, — ответил Санчо.

И, оставив своего господина, он отправился в путь и вскоре вернулся вместе с бакалавром, — и тут между ними тремя произошла забавнейшая беседа.

ГЛАВА III

о смешном разговоре, происшедшем между дон Кихотом, Санчо Пансой и бакалавром Самсоном Карраско



он Кихот пребывал в глубокой задумчивости, поджидая бакалавра Карраско, от которого, в согласии с сообщением Санчо, ему предстояло узнать, как его описали в книге; он никак не мог поверить, что подобная книга уже издана: ведь на лезвии его меча не успела еще высохнуть кровь убитых им врагов, а тут говорят, что история его высоких рыцарских подвигов уже напечатана. Поэтому он решил, что напечатал эту историю какой-то мудрец — не то друг, не то недруг — с помощью волшебства; если друг — то для того, чтобы возвеличить и прославить его деяния превыше всех самых замечательных достижений странствующих рыцарей; если недруг — то для того, чтобы изничтожить их и поставить их ниже самых презренных дел презреннейших оруженосцев, о которых когда-либо писалось. «Впрочем, — рассуждал он про себя, — никто никогда не описывал деяний оруженосцев; и если правда, что моя история уже написана, то она

несомненно краспоречива, возвышенна, примечательна, великолепна и правдива, ибо дело в ней идет о странствующем рыцаре».

Эта мысль его несколько утешила; но он снова впал в отчаяние, вспомнив, что, судя по имени *Сид*, автор истории — мавр, а от мавров нельзя ожидать никакой правды, ибо все они обманщики, лжецы и выдумщики. Дон Кихот опасался, как бы этот автор не изобразил его любви без должной пристойности, что могло нанести вред и ущерб доброму имени госпожи его, Дульсинеи Тобосской; ему же хотелось, чтобы в книге было показано, как он всегда соблюдал верность и почтительность к даме, отвергая ради нее императриц, королев и девиц всех сословий и вечно обуздывая страстные порывы, свойственные человеку; о многом другом еще думал и передумывал он, когда, наконец, появились Санчо вместе с Карраско, которого дон Кихот встретил с изысканной любезностью.

Бакалавр, хотя и звался Самсоном, был небольшого роста, но большой пройдоха; с вялым цветом лица, но с живым умом, на вид лет двадцати четырех; круглолицый, курносый и большеротый, что явно свидетельствовало о насмешливости нрава и склонности к шуткам и проказам; эти свойства его сразу же обнаружались, ибо, увидев дон Кихота, он опустился перед ним на колени и сказал:

— О сеньор дон Кихот Ламанчский, да соблаговолит ваше величие протянуть мне руки для поцелуя, ибо, клянусь орденским платьем святого Петра, * — которое я ношу, хотя, впрочем, я не пошел еще дальше четвертой степени, * — ваша милость — один из самых знаменитых странствующ-

ших рыцарей, которые когда-либо разъезжали или будут разъезжать по лицу земли. Да благословит бог Сида Амета Бененхели, написавшего историю ва-



ших великих дел, и да благословит он сугубо того любознательного человека, который взял на себя труд перевести ее с арабского языка на наш народный кастильский для утехи всем людям на свете.

Дон Кихот велел ему встать и сказал:

— Значит, правда, что история моя уже написана и что автор ее — мудрец и мавр?

— До такой степени правда, сеньор, — ответил Самсон, — что, по моему мнению, в настоящее время напечатано не меньше двенадцати тысяч книг этой истории; подумайте только: ее отпечатали в Португалии, Барселоне и Валенсии, и ходит слух, что сейчас печатают в Антверпене; и мне думается, что скоро все народы переведут ее на свои языки.

— Человека добродетельного и выдающегося, — сказал на это дон Кихот, — должно особенно удовлетворять, что еще при жизни добрая слава его звучит на языках разных народов, издающих и печатающих его историю. Я говорю: *добрая слава*, а если слава о нем идет дурная, то такое положение не сравнится ни с какой смертью.

— Что касается доброй славы и доброго имени, — сказал бакалавр, — то у вас одного, ваша милость, лавров больше, чем у всех странствующих рыцарей, взятых вместе; ибо мавр на своем языке, а христианин на своем постарались яркими красками описать нам изящное сложение вашей милости, ваше великое мужество в опасностях, терпение в невзгодах, стойкость, с которой вы переносите несчастья и ранения, и, наконец, благоприличие и сдержанность столь платонической любви вашей милости к сеньоре донье Дульсинея Тобосской.

— Я никогда не слышал, — вмешался тут Санчо Панса, — чтобы сеньору Дульсинею звали «донья»; зовут ее просто сеньора Дульсинея Тобосская; вот вам историк и ошибся.

— Ваше возражение несущественно, — ответил Карраско.

— Конечно, нет, — поддержал его дон Кихот: — но скажите мне, ваша милость, сеньор бакалавр, какие из моих подвигов особенно восхваляются в этой истории?

— На этот счет, — ответил бакалавр, — мнения расходятся, ибо вкусы у людей бывают различные: одни предпочитают приключение ваше с ветряными мельницами, которые вашей милости показались Бриарееми * и великанами; другие — приключение на сукновальне; одним нравятся описание двух армий, которые впоследствии оказались стадами баранов; другие восхищаются приключением с покойником, которого несли хоронить в Сеговию; одни говорят, что лучше всего приключение с освобождением каторжников, другие — что ничто не сравнится с историей о двух великанах-бenedиктинцах и о вашем поединке с доблестным бискайцем.

— Скажите-ка мне, сеньор бакалавр, — перебил тут Санчо, — а попало ли в книгу приключение с ягуэсдами, когда нашему доброму Росинанту взбрело вдруг в голову искать груш на дне моря?

— Мудрый автор ничего не припрятал в своей чернильнице; он обо всем рассказал и ничего не пропустил, упомянув даже и о том, как добрый Санчо летал на одеяле, — ответил Самсон.

— Ни на каком одеяле я не летал, — возразил Санчо, — а летал в воздухе и гораздо дольше, чем мне бы того хотелось.

— А я так полагаю, — сказал дон Кихот, — что в каждой человеческой истории на свете бывают свои превратности, а особенно в историях о рыцарских похождениях; не могут же они быть наполнены одними благополучными происшествиями.

— И тем не менее, — продолжал бакалавр, — некоторые из читавших эту историю говорят, что они предпочли бы, чтобы авторы не описывали всего бесконечного множества палочных ударов, которые при различных схватках сыпались на сеньора дон Кихота.

— Да ведь история должна быть правдивой, — сказал Санчо.

— И все же они могли бы умолчать об этом во имя беспристрастия, — заметил дон Кихот, — ибо незачем описывать действия, которые не меняют и не искажают правдивости истории, но вместе с тем унижают для героя. Ведь, по чести говоря, Эней не был так благочестив, как описал это Вергилий, а Улисс не так хитроумен, как описывает Гомер.

— Совершенно верно, — ответил Самсон, — но одно дело писать как поэт, а другое — как историк; поэт может рассказывать и петь о событиях не в том виде, в каком они действительно были, а в том, как они должны были быть, между тем как историк обязан описывать их не такими, какими они должны были быть, а какими действительно были, причём он не может ни прибавить, ни убавить от истины ни одного слова.

— Ну, раз уж этому сеньору мавру понадобилось говорить одну правду, — сказал Санчо, — тогда я уверен, что среди ударов, сыпавшихся на моего господина, указаны и те, что попадали в меня, потому что всякий раз, когда у его милости меряли палками спшу, у меня меряли все тело; да и дивиться нечему, потому что, как говорит мой господин, боль головы передается всем членам.

— Ну и плут же вы, Санчо, — ответил дон Ки-

хот, — когда вам этого хочется, у вас отличная память.

— Да сжали бы я и хотел забыть о полученных тумаках, — ответил Санчо, — синяки бы не позволили: у меня до сих пор еще они на боках не зажили.

— Помолчите, Санчо, — сказал дон Кихот, — и не перебивайте сеньора бакалавра; а его я попрошу продолжать и рассказать, что еще говорится обо мне в этой истории.

— И обо мне, — сказал Санчо: — ведь про меня говорят, что я один из главных пресонажей этой истории.

— *Персонажей*, а не *пресонажей*, дружище Санчо, — поправил его Самсон.

— Еще один правщик слов выискался! — воскликнул Санчо. — Если мы такими делами будем заниматься, так мы и в жизнь не кончим.

— Накажи меня создатель, Санчо, — ответил бакалавр, — если вы не являетесь вторым лицом в этой истории; находятся даже люди, которым больше нравится слушать вас, чем самого первого человека, в ней выведенного; есть, правда, и такие, кто заявляет, что вы обнаружили порядочную доверчивость, приняв всерьез губернаторство над островом, обещанное вам сеньором дон Кихотом.

— Время терпит: солнце еще за забором, — ответил дон Кихот: — Санчо станет взрослее, с годами у него прибавится опыта, и тогда он будет более способным и пригодным к управлению островом, чем сейчас.

— Клянусь вам богом сеньор, — возразил Санчо, — что если мне в мои годы не под силу управиться с островом, так, значит, я не управлюсь

с ним и в возрасте Мафусаила. * Горе не в том, что мне не хватает смекалки для управления, а в том, что этот остров болтается неизвестно где.

— Доверься во всем господу, Санчо, — сказал дон Кихот, — все устроится и, может быть, лучше, чем ты предполагаешь, ибо без божьей воли ни один лист не падает с дерева.

— Истинная правда, — прибавил Самсон: — если господу захочется, так Санчо будет управлять не одним островом, а целой тысячей.

— Видывал я тут разных губернаторов, — сказал Санчо, — все они, на мой взгляд, в подметки мне не годятся, а тем не менее их величают сеньорами и едят они на серебре.

— Это не островные губернаторы, — возразил Самсон: — они управляют менее значительными областями; губернаторы же островов по крайней мере должны знать грамматику. *

— Что до *грамма*, то это я понимаю, — ответил Санчо, — а вот про *тику* судить не берусь, ибо я не знаю, что это такое; впрочем, оставим это губернаторство в руках господина, — и да пошлет он меня туда, где я особенно пригожусь! — мне хочется сказать вам другое, сеньор бакалавр Самсон Карраско: мне очень приятно, если автор этой истории говорит обо мне так, что читателю не скучно слушать про мои делишки; ибо, клянусь честью доброго оруженосца, если бы он рассказал обо мне вещи, неприличествующие такому старому христианину, как я, то я так раскричался бы, что и глухие бы меня услышали.

— Ну, это значило бы сотворить чудо, — заметил Самсон.

— Чудо там или не чудо, — ответил Санчо, —

а только каждый должен с толком говорить или писать о *пресонажах*, а не валять без разбора все, что придет ему в башку.

— Автора этой истории, — продолжал бакалавр, — упрекают еще в том, что он вставил в нее новеллу под заглавием: «Безрассудно-любопытный», — и не потому, чтобы новелла эта была плоха или плохо рассказана, а просто она неуместна и не имеет ничего общего с историей его милости сеньора дон Кихота.

— Бьюсь об заклад, — сказал Санчо, — что этот собачий сын все свалил в кучу: и капусту и репу.

— В таком случае я скажу, — заявил дон Кихот, — что автор моей истории — не мудрец, а просто невежественный болтун, и взялся он ее писать как попало и наугад, — что выйдет, то и выйдет; совсем как Орбанеха, живописец из Убеды, который на вопрос о том, что он пишет, отвечал: «а что выйдет». Раз нарисовал он петуха — и так плохо и непохоже, что под ним было необходимо написать готическими буквами «се — петух». Должно быть, и моя история в таком же роде, и, чтобы понять ее, потребуется комментарий.

— О нет, — возразил Самсон, — она так ясна, что не представляет никаких трудностей: дети не выпускают ее из рук, юноши ее читают, взрослые понимают, и старики восхваляют; словом, люди всех сословий так ее захватили, так читали и перечитывали, что стоит кому-нибудь увидеть тощую клячу, как тотчас говорят: «Вот Росиант!» Особенно же увлекаются этим чтением пажи: нет ни одной передней в барском доме,

где бы не нашелся *Дон Кихот*; не успеет один выпустить его из рук, как другой уже его подхватывает, его выпрашивают, вырывают друг у друга. Словом, не было до сих пор на свете истории, которая доставляла бы людям столько приятного и безвредного развлечения, ибо на всем ее протяжении нельзя отыскать даже тени непристойного слова или не вполне католической мысли.

— Если бы автор написал ее иначе, — ответил дон Кихот, — то это была бы не правда, а ложь — а историков, прибегающих ко лжи, следовало бы сжигать, как фальшивомонетчиков; не понимаю только, что заставило автора вставить посторонние новеллы и повести, когда у него было столько моих приключений; вероятно он поступил по пословице: «хоть соломой да сеном, лишь бы брюхо набить». Стоило бы ему описать одни мои мысли, вздохи, слезы, добрые намерения и предприятия, и у него бы вышла книга потолще, чем полное собрание творений Тостадо.* И, право, я думаю, сеньор бакалавр, что для сочинения романов и вообще каких бы то ни было книг необходимо обладать тонким суждением и зрелым разумом; только великие умы способны говорить веселые и писать остроумные вещи. В комедии самая умная роль — это шут, ибо тот, кто хочет сойти за него, сам не должен быть дураком. История есть нечто священное, так как она должна быть правдивой, а где правда, там и бог, ибо бог есть правда; и тем не менее находятся люди, которые сочиняют и пекут книги как оладьи.

— Однако, — возразил бакалавр, — нет такой плохой книги, в которой не было бы чего-нибудь хорошего.

— Это несомненно, — ответил дон Кихот, — но часто случается, что люди, по заслугам достигшие и добившиеся своими писаниями большой славы, вредят ей и даже совсем ее теряют, когда их сочинения появляются в печати.

— А это потому, — ответил Самсон, — что напечатанные произведения просматриваются не спеша и таким способом все недостатки их обнаруживаются с легкостью: ведь чем больше слава автора, тем пристальнее изучаются его сочинения. Людям, прославленным своим талантом, великим поэтам и знаменитым историкам всегда завидуют все те, которые с наслаждением и особым увлечением критикуют творчество других, хотя сами не подарили миру ни одного произведения.

— И это не удивительно, — ответил дон Кихот, — ибо много есть на свете теологов, которые сами не годятся в проповедники, но зато прекрасно умеют подметить, чего не хватает в чужой проповеди или что в ней лишнего.

— Все это так, сеньор дон Кихот, — сказал Карраско, — но мне бы хотелось, чтобы эти критики были более снисходительны и менее придирчивы; пусть они не обращают внимания на крохотные пятнышки на лучезарном солнце и не шепчут: *aliquando bonus dormitat Homerus*. * Нет, пусть они лучше подумают, сколько Гомеру пришлось поборствовать, чтобы создать произведение, в котором столько света и так мало теней; и тогда, быть может, окажется, что пятна, которые им не нравятся, — только родинки, увеличивающие красоту лица; итак, повторяю, тот, кто издает свою книгу, подвергается величайшему

риску, ибо совершенно невозможно написать произведение, которое удовлетворило бы всех читателей.

— История моих приключений, — сказал дон Кихот, — удовлетворит немногих.

— Совсем напротив, ибо *stultorum infinitus est numerus*,* а потому ваша история понравилась множеству читателей; правда, некоторые упрекают автора в недостатке памяти, ибо он забыл сообщить, кто был вор, похитивший у Санчо его серого; он его не называет, и только по смыслу можно заключить, что серый украден, а потом, через некоторое время, мы видим, что Санчо снова едет верхом на своем осле, неизвестно откуда взявшемся;* и еще говорят, что автор забыл сообщить, как Санчо распорядился той сотней червонцев, которую он нашел в чемодане в Сьерра-Морене, — он ни разу больше о ней не упоминает, а между тем многим хотелось бы узнать, что он сделал и на что истратил эти деньги, — и вот этой существенной подробности в истории не хватает.

Санчо ответил:

— Сеньор Самсон, я сейчас не в состоянии вести счета и давать отчеты, — я вдруг почувствовал такую слабость в желудке, что если я не подлечу ее двумя глотками старого вина, то отошью, как тернии святой Люции;* вино у меня дома, — там меня поджидает жена, — я пообедаю, вернусь сюда и отвечу вашей милости и всякому, кто пожелает меня спросить насчет пропажи осла и того, как я распорядился сотней червонцев.

И, не сказав больше ни слова и не дожидаясь ответа, Санчо ушел домой.

А дон Кихот попросил бакалавра остаться и разделить с ним его скудную трапезу. Бакалавр принял приглашение и остался. К обычным блюдам была прибавлена пара голубей; за столом говорили о рыцарстве; Карраско подлаживался к причудам дон Кихота; пир кончился, все легли соснуть; вернулся Санчо, и прерванная беседа возобновилась.

ГЛАВА IV

в которой рассказывается о том, как Санчо Панса разрешил недоуменные вопросы бакалавра Самсона Карраско, а также о других событиях, о которых стоит узнать и рассказать



анчо вернулся в дом дон Кихота и, продолжая прерванный рассказ, сказал:

— Сеньор Самсон говорит, что ему хотелось бы узнать, кто, как и когда украл у меня осла; чтобы ответить ему, скажу, что в ту же ночь, когда, убегая от Санта Эрмандад, мы удалились в Сьерра-Морену после злосчастного приключения с каторжниками и встречи с покойником, которого несли в Сеговию, мой господин и я укрылись в лесок; из передрыги мы оба вышли такими разбитыми и изнуренными, что сразу же заснули, как на четырех пуховиках: он — опершись на свое копьё, а я — сидя верхом на сером; особенно же я заснул таким глубоким сном, что неведомый человек смог подойти ко мне, подставить под седло со всех четырех сторон по палке и незаметно вытащить из-под меня осла, а я так и остался сидеть верхом на седле.

«Дело не хитрое, а самое происшествие не



новое: ведь то же самое случилось с Сакрипанте, когда он находился при осаде Альбраки, и знаменитый разбойник, по имени Брунело, увел из-под него коня с помощью точно такой же уловки.

«Наконец, рассвело, — продолжал Санчо, — и, как только я пошевелинулся, палки рухнули, и я всей тяжестью грохнулся об землю; стал искать осла, — его не было; слезы хлынули у меня из глаз, и я начал причитать; если автор нашей истории не поместил моих причитаний, так уж тогда наверное в книжке его нет ничего путного. Прошло не помню сколько там дней, и вот, путешествуя с принцессой Микомиконой, я вдруг признал моего осла, на котором, в цыганском платье, ехал Хинес де Пасамонте, тот самый отъявленный мошенник и плут, которого мы с моим господином освободили от цепи.

— Ошибка не в этом, — ответил Самсон, — а в том, что, по словам автора, Санчо еще до появления осла ехал на нем верхом.

— На это я не могу вам ответить, — сказал Санчо: — должно быть, историк ошибся, или наборщик напугал.

— Без сомнения это так, — сказал Самсон. — Ну, а куда девались сто червонцев? Растаяли?

Санчо ответил:

— Я истратил их на себя самого, на жену и на детей; вот поэтому-то жена моя и не ругается, что я брожу по путям и дорогам, служа моему господину дон Кихоту; да если бы я после такого долгого отсутствия вернулся домой без осла и без гроша в кармане, она бы меня со свету сжила; хотите еще что-нибудь обо мне узнать, — извольте, я весь тут; я отвечу хоть

самому королю, собственной его персоне. И какое кому дело, имел ли я деньги или не имел, истратил или не истратил? Ведь если бы за все удары, которые сыпались на меня во время наших походов, мне платили деньги, с расчетом хотя бы по четыре мараведиса за каждый удар, мне бы следовало дополучить еще сто червонцев — и то не за все, а только за половину; пусть каждый положит сначала руку на сердце, а потом уж называет белое черным, а черное белым: все мы такие, какими нас бог создал, а иной раз и того хуже.

— Я позабочусь о том, — сказал Карраско, — чтобы автор во втором издании своей истории не забыл привести всего, что высказал здесь добрый Санчо; от этого добавления она значительно выиграет.

— А есть еще и другие места в книге, которые следовало бы исправить, сеньор бакалавр? — спросил дон Кихот.

— Вероятно есть, — ответил тот, — но все они не столь важны, как те, которые я отметил.

— Кстати сказать, не обещает ли автор второй части? — сказал дон Кихот.

— Да, обещает, — отвечал Самсон, — но только он говорит, что еще не нашел ее и не знает, где она находится; так мы и не знаем, появится ли вторая часть или нет. К тому же одни говорят, что вторые части никогда не бывают удачными, а иные полагают, что написанного о дон Кихоте вполне достаточно, и потому я сомневаюсь, чтобы она когда-нибудь появилась; хотя, правда, люди права веселого, а не меланхолического, просят: «Расскажите нам еще что-нибудь о дон Кихоте;

пусть дон Кихот повоюет, а Санчо Панса поговорит; нам все понравится, о чем бы нам автор ни рассказал».

— Ну, а как решил автор? — спросил дон Кихот.

— Как он решил? — ответил Самсон. — Он с необыкновенным усердием разыскивает эту историю, и если только найдет ее, то непременно напечатает; ведь его интересуют не столько похвалы, сколько доход, который он может получить от своей книги.

На это Санчо заметил:

— Значит, автор заботится о деньгах и прибыли? Ну, тогда будет удивительно, если он сделает что-нибудь путное: сошьет он свою историю на живую нитку, как портной накануне Пасхи, а произведения, написанные наспех, никогда не достигают должного совершенства. Пускай этот сеньор мавр, или кто он там такой, подумает хорошенько о своем деле, а уж мы с моим господином припасем для него такой ворох всяких приключений и событий, что он сможет написать не только вторую часть, а целых сто частей. Должно быть, этот добрый человек думает, что мы тут подрёмываем на соломе, — а посмотрел бы он на нас, когда нас подковывают и увидел бы, на какую такую ногу мы хромаем. А пока скажу только, что ежели бы господин мой послушался моего совета, давно бы мы уже были в чистом поле, искореняя обиды и исправляя неправду, как это привычно и свойственно добрым странствующим рыцарям.

Не успел Санчо произнести эти слова, как до слуха их долетело ржанье Росинанта; дон Кихот

счел это ржание счастливейшим предзнаменованием и порешил через три-четыре дня снова выступить в поход; сообщая о своем намерении бакалавру, идалго спросил, в какую сторону он посоветует ему отправиться; на что тот ответил, что хорошо бы поехать в Арагонское королевство, в город Сарагосу, где через несколько дней, в праздник святого Георгия, должен состояться торжественнейший турнир: там дон Кихот сможет прославиться над всеми арагонскими рыцарями, а это значит — прославиться над всеми рыцарями на свете. Затем он похвалил его за такое великодушное и доблестное решение и просил вести себя осторожнее в опасных делах, ибо жизнь его принадлежит не ему, а всем тем несчастным, которые нуждаются в нем, как в защитнике и помощнике.

— Против этого я всегда восставал, сеньор Самсон, — вмешался тут Санчо, — мой господин набрасывается на сотню вооруженных неприятелей с такой же поспешностью, как какой-нибудь лакомка-мальчишка на полдюжину дынь. Да, черт возьми, сеньор бакалавр, на все свое время! Иногда впору напасть, а иногда и отступить, нельзя же вечно орать: «Вперед, Сант-Яго и Испания!»* К тому же я слышал, — и, кажется, если не ошибаюсь, от моего же собственного господина, — что середину между двумя крайностями — трусостью и безрассудством — занимает храбрость, а если это так, то не следует ни улепетывать без причины, ни бросаться в бой, когда превосходство неприятельских сил этого не позволяет. Но, прежде всего, я предупреждаю моего господина, что, если ему будет угодно взять меня с собою, я соглашусь на это только при одном условии:

драться он будет один, а на моей обязанности будет только следить за тем, чтобы он был чисто одет и накормлен, и в этом-то я охумки на руку не положу; а воображать, будто я когда-нибудь подниму меч хотя бы против подлых разбойников, бродящих с топором и в капюшонах,—дело совершенно излишнее. Я, сеньор Самсон, собираюсь прославиться не своей храбростью, а тем, что был самым лучшим и самым верным оруженосцем из всех, когда-либо служивших странствующим рыцарям; и если мой господин дон Кихот в награду за мою долгую и верную службу пожелает мне один из тех многочисленных островов, которые ему на пути встретятся, я буду ему очень благодарен; если же не пожелает, — что ж — я человек, а человек на этом свете не должен уповать ни на кого другого, кроме бога. А что, если без губернаторства кусок хлеба так же вкусен, а то, пожалуй, и еще вкуснее, чем при губернаторстве? И почему знать, что в этом самом губернаторстве дьявол не собирается подставить мне ножку, чтоб я споткнулся, упал и расшиб себе все зубы? Родился я Санчо и хочу умереть Санчо. Но если, тем не менее, без особого риска и хлопот, так, ни с того ни с сего, свалится мне с неба остров или что-нибудь в этом роде, я не такой дурак, чтобы от него отказаться; недаром говорится: «подарили коровку, — беги за веревкой», и «привалило добро, — волочи прямо в дом».

— Вы, братец Санчо, изложили свою мысль как профессор; — сказал Карраско, — но все же положитесь на господа бога и на сеньора дон Кихота: он пожелает вам не то, что остров, а целое королевство.

— Много ли, мало ли — все едино, — ответил Санчо, — но осмелюсь доложить сеньору Карраско, что пожаловать мне королевство — не то же самое, что швырнуть его в дырявый мешок; я уже пощупал себе пульс и знаю, что у меня хватит здоровья, чтобы управлять и королевствами и островами; я уж об этом не раз говорил моему господину.

— Смотрите, Санчо, — сказал Самсон, — должности меняют нрав; весьма возможно, что, сделавшись губернатором, вы не признаете собственной матери, родившей вас на свет.

— Это сказано про тех, — ответил Санчо, — кто родился в чертополохе, мое же сердце на четыре пальца обросло старым христианским жиром. Присмотритесь к моему характеру, и вы увидите, способен ли я выказать к кому-нибудь неблагодарность.

— Дай-то бог, — сказал Дон Кихот, — посмотрим, что будет, когда он станет губернатором, а губернаторство это так и стоит у меня перед глазами.

И, сказав это, он попросил бакалавра, буде он поэт, оказать ему любезность и сочинить стихи на предстоящую разлуку с сеньорой Дульсинеей Тобосской, причем каждый стих должен был начинаться с одной из букв ее имени, а от соединения первых букв получалось: *Дульсиния Тобосская*.

Бакалавр ответил, что он не принадлежит к числу знаменитых поэтов Испании, которых, как говорят, всего-на-всего три с половиной, но что, тем не менее, он не преминет сочинить эти стихи, хотя и полагает, что сочинить их будет весьма

трудно, ибо в имени дамы содержится семнадцать букв, так что если написать четыре строфы по пяти строк (то, что называется *дэсимы* или *редондилли**), то трех букв не хватит; но все же он попытается одну букву как-нибудь проглотить, для того чтобы Дульсинея Тобосская поместилась в четырех четырехстрочных строфах.

— Непременно так сделайте, — сказал дон Кихот, — ибо ни одна женщина на свете не поверит, что стихи посвящены ей, если имя ее не названо в них ясно и полностью.

Так они и условились, и было решено, что дон Кихот выступит в поход через неделю. Он попросил бакалавра держать это в тайне, особенно от священника и мастера Николаса, а также от племянницы и экономки, чтобы они не помешали его благородному и доблестному решению. Карраско обещал и на том распрощался, прося дон Кихота при случае сообщать ему обо всех его удачах и неудачах; они расстались, а Санчо отправился распорядиться обо всем необходимом для путешествия.

ГЛАВА V

о рассудительном и забавном разговоре, происшедшем между Санчо Пансой и его женой Тересой Пансой, и о других событиях, заслуживающих счастливого упоминания



ойдя до пятой главы, переводчик этой истории заявляет, что считает ее подложной, ибо в ней Санчо Панса разговаривает в таком стиле, какого нельзя было бы ожидать от его ограниченного ума, и говорит вещи столь тонкие, что невозможно допустить, чтобы они исходили от него; но, выполняя возложенный на себя долг, переводчик все же решает ее перевести. Итак, он продолжает.

Санчо вернулся домой такой веселый и радостный, что жена почувала его веселье на расстоянии выстрела из арбалета и не преминула спросить:

— Что с вами, друг мой Санчо, почему вы так веселы?

А он ответил:

— Жenuшка, если бы бог позволил, мне было бы куда приятнее не чувствовать себя таким довольным, как это вам кажется.

— Я вас не понимаю, мужечек, — ответила

она, — не понимаю, что вы хотите сказать, заявляя, что, если бы бог позволил, вам было бы приятнее не быть довольным; хоть я женщина и необразованная, а все же знаю, что быть довольным не может быть неприятно.

— Послушайте, Тереса, — сказал Санчо, — я весел потому, что решил вернуться на службу к господину моему Дон Кихоту, который желает в третий раз отправиться на поиски приключений, и я отправлюсь вместе с ним, ибо того требует необходимость, а к ней прибавляется радостная надежда на то, что я еще раз найду сто червонцев, — ведь первые сто мы уже истратили; но, с другой стороны, мне печально расставаться с тобой и с детьми; и если бы богу было угодно, чтобы я мог заработать на кусок хлеба у себя дома, не утруждая ног и не таскаясь по дорогам и трущобам (а ведь ему не трудно было бы это сделать — стоило бы только захотеть), то, понятно, моя радость была бы покрепче и посильней, ибо теперешнее мое веселье смешано с печалью разлуки с тобой; итак, я сказал правильно, что, если бы бог позволил, мне было бы приятнее не быть довольным.

— Знаете, Санчо, — ответила Тереса, — с тех пор как вы стали членом странствующего рыцаря, вы говорите так возвышенно, что никто вас не может понять.

— С меня довольно, женушка, что господь бог меня понимает, — ответил Санчо, — ибо ему понятно все на свете; но оставим это, а теперь, матушка, заметьте себе, что вам придется в течение трех дней хорошенько поухаживать за серым, чтобы привести его в боевую готовность; удвойте

ему порцию овса, осмотрите его седло и прочие снасти, — ведь мы едем не на свадьбу: нам предстоит рыскать по свету, меряться силами с великанами, андриаками * и чудовищами, слышать шипение, рыканье, мычанье и вопли; все это было бы цветочками лаванды, если бы нам не приходилось еще разделяться с янгуэсдами и очарованными маврами.

— Думается мне, муженек, — сказала Тереса, — что оруженосцы странствующих рыцарей не даром едят хлеб, и я буду молить господу, чтобы он поскорей избавил вас от этих напастей.

— Признáюсь вам, женушка, — ответил Санчо, — что не надеюсь я в ближайшем будущем сделаться губернатором острова, так я тут же на месте упал бы и помер.

— Что ты, милый муженек, — воскликнула Тереса, — живи, живи, курица, хоть и с типуном на языке! Живите и вы себе на здоровье, и пусть чорт поберет все губернаторства на свете; не губернатором вышли вы из чрева матери, не губернатором прожили до сегодняшнего дня и не губернатором помрете и отойдете в землю, когда бог пошлет вам конец; не все же на свете губернаторы, и что ж, живут себе помаленьку, и все считают их за людей. Самая лучшая приправа на свете — голод, а он бедняков не покидает, и потому едят они всегда с удовольствием. Но смотрите, Санчо, если вы случайно сделаетесь где-нибудь губернатором, не забудьте про меня и про своих детей. Помните, что Санчи́ко исполнилось уже пятнадцать лет и ему пора уже ходить в школу, — ведь его дядюшка-аббат обещал ему устроить духовную должность. Помните также,

что дочка ваша Марисанча * не помрет, если мы выдадим ее замуж, а сдастся мне, что ей хочется муженька не меньше, чем вам губернаторства; и что там ни говори, а для девушки лучше худой муж, чем хороший полюбовщик.

— Честное слово, — ответил Санчо, — если бог пошлет мне что-нибудь вроде губернаторства, так я, женушка, просватаю Марисанчу за такого вельможу, что ее иначе и называть не будут, как сеньора.

— Ну нет, Санчо, — ответила Тереса, — сватайте ее за человека ей равного, — это самое верное; а то, если вместо деревянных башмаков будет она носить высокие туфли, вместо серой суконной юбки — фижмы и шелковые платья, если из Марики, которой все тыкают, она превратится в донью такую-то и в сеньору, так девчонка совсем растеряется, на каждом шагу будет попадать впросак, и тогда по пряже всякий ее грубую и толстую дерюгу распознает.

— Молчи, глупая, — прервал ее Санчо, — пробудет она в барах года два или три, а уж там знатность и важность придутся и ей, как по мерке; а не придутся — и то не беда! Была б она только барыней, а остальное — пустяки.

— Всяк сверчок знай свой шесток, Санчо, — ответила Тереса, — не тянитесь наверх и помните пословицу: «вытри нос сыну соседа и vedi его к себе в дом». Подумаешь, какое удовольствие — выдать Марию за какого-нибудь большущего графа или рыцаря, чтобы он потом, когда ему взбредет в голову, называл ее мужичкой и попрекал тем, что отец ее оральщик, а мать пряха. Нет, муженек, ей богу, не для этого растила я свою

дочку! Добывайте побольше денег, Санчо, а выдать ее замуж — это уж вы поручите мне: есть у нас тут в деревне Лопе Точо, сын Хуана Точо, парень дородный и здоровый, все мы его уже знаем, и мне известно, что он на девушку нашу



часто поглядывает; с ним она будет счастлива, так как он ей ровня; и будут они всегда у нас перед глазами, — заживем мы все вместе: родители, дети, зять и внуки, и тогда мир и благословение божие будет со всеми нами; и незачем ей выходить замуж в столице или в каком-нибудь

высоченном дворце, — ведь ее там люди не поймут, да и она ничего не разберет.

— Пойди-ка сюда, бестия, Варравина жена! — закричал Санчо: — Почему это тебе ни с того ни с сего захотелось помешать мне выдать дочку за человека, что найдет мне внуков, которых будут величать сеньорами? Знаешь, Тереса, старые люди говорят: «если ты не умеешь пользоваться счастьем, когда оно плывет тебе в руки, не жалуйся, когда оно пройдет мимо». Теперь счастье стучится к нам в дверь, и мы должны его впустить: подул попутный ветер — так пусть он нас и несет.

Подобного рода речи и некоторые фразы Санчо в дальнейшем побудили переводчика предположить, что эта глава подложная.

— Да неужто ты будешь недовольна, скотина — продолжал Санчо, — если я попаду на какое-нибудь доходное губернаторство, и мы, наконец, вылезем из болота? Ведь если мы выдадим Марисанчу за кого мне хочется, так тебя же все будут величать — донья Тереса Панса, и в церкви ты будешь сидеть на коврах, на подушках, да на шелковых тканях, и пусть себе злятся и досадают все дворянки нашего села. А не нравится, так и оставайся на прежнем месте, не разрастаясь ни вверх, ни вниз, точь вточь как образина на помосте;* и больше мы об этом говорить не станем; что бы ты мне ни возражала, а Санчика будет графиней.

— Да подумайте, что вы такое говорите, муженек! — сказала Тереса. — Ох, боюсь я, как бы это графство не стало для нашей дочки погибелью. Делайте, что хотите, выдавайте ее хоть за герцога или за принца, но только заявляю вам, что никогда

не будет на это моей воли и согласия. Всегда я, дружок, любила равенство и терпеть не могу чванства без всякого основания. При крещении дали мне имя Тереса, имя простое и чистое, без прибавок, украшений и погремущек вроде всех этих *донов и передонов*; отца моего звали Каскахо, а меня, как вашу жену, зовут Тереса Панса (хотя по-настоящему следовало бы звать Тереса Каскахо; ну, да ведь «туда клонит закон, куда король хочет»); я этим именем довольна и не желаю, чтобы мне приставили еще *донью* — тяжесть будет не по плечу; и не хочу я, чтобы обо мне сплетничали, — ведь если я выряджусь графиней или губернаторшей, сейчас же станут говорить: «Посмотрите, как эта свинюха заважничала; вчера еще с утра до вечера она паклю драла, на мессу ходила, прикрыв голову подолом вместо накидки, а сегодня разгуливает в фижмах и расшитом платье и задирает нос, будто мы ее не знаем». Пока господь бог не лишил еще меня шести или пяти чувств, — не знаю, сколько их полагается, — никогда я себя не допущу до такого несчастья; а вы, дружок, берите себе губернаторство или остров и чваньтесь, сколько душе угодно; но, клянусь жизнью моей матушки, ни я, ни дочка моя — никуда мы из деревни не двинемся; честная женщина сидит дома, как будто у нее нога сломана, и для честной девушки всякая работа — праздник. Ступайте себе с вашим дон Кихотом на поиски ваших приключений, а нам оставьте нашу горькую долю; будем жить честно, так господь нам поможет; а между прочим я, право, не знаю, кто это вашему господину приставил *дона*, — ведь ни отец его, ни дед *донами* не были.

— Сдается мне, — ответил Санчо, — что в тебя бес вселился. Господи, помилуй, жена; чего ты только не напела, — и неизвестно, где во всем этом хвост и где голова! Ну, что общего между тем, что я говорю, и какими-то Каскахо, нарядами, пословицами и чванством? Подойди-ка сюда, глупая и темная женщина (ты заслуживаешь этого имени, ибо ты не понимаешь моих слов и сама бежишь от своего счастья); если бы я захотел, чтобы моя дочка бросилась с башни вниз головой или пошла скитаться по свету, как инфанта донья Уррака,* ты была бы в праве со мной не соглашаться; но если я одним ударом, так что ты даже глазом моргнуть не успеешь, возведу ее в *доньи* и знатные *сеньоры*, стащу с соломы и посажу под навес да на вышку, в парадную горницу, в которой бархатных подушек будет больше, чем в роду Альмоадов Марокканских* было мавров, почему же тебе со мной не согласиться и не пожелать того, чего я желаю?

— А знаете почему, муженек? — ответила Тереса. — Потому, что есть пословица: «платье тебя и одевает и раздевает». На бедняка люди смотрят так, мимоходом, а на богача глядят пристально; если же этот самый богач был раньше бедным, вот тут-то начинаются и пересуды и сплетни, и сплетням этим не бывает конца, тем более что сплетников у нас на улице целые толпы, целые пчелиные рои.

— Погоди, Тереса, — ответил Санчо, — выслушай, что я теперь тебе скажу. Ты таких слов, должно быть, за всю свою жизнь не слышала; да это и не мои слова, а изречения отда-проповедника, который прошлым постом проповедывал у нас

в ссле, — так вот, если я правильно вспоминаю, он говорил, что настоящее и все, на что мы смотрим собственными глазами, содержится, заключается и присутствует в нашей памяти гораздо сильнее, чем прошлое.

Вышеприведенные слова Санчо являются второй причиной, по которой переводчик считает эту главу подложной, ибо они явно превосходят разумение Санчо; последний же продолжал говорить:

— Оттого и происходит, что, когда мы видим особу разряженную, одетую в роскошное платье и окруженную множеством слуг, нам кажется, что какая-то сила побуждает и заставляет нас оказывать ей почести, хотя в эту же самую минуту нам приходит на память, что эту особу мы видели раньше в ничтожестве; быть может, она была бедна или низкого происхождения, но все эти постыдные обстоятельства не существуют, ибо это — прошлое, а существует только то, что у нас перед глазами; так что если человек, которого Фортуна из низин ничтожества (это точное выражение отца-проповедника) возвела на высоты благополучия, — будет со всеми приветлив, щедр и вежлив и не станет тягаться со старинной знатью, то ты можешь быть уверена, Тереса, что никто и не вспомнит, кем он был, а все будут уважать его новое звание, кроме, конечно, завистников, — ну, да от них никакую счастливую судьбу не убережешь.

— Не понимаю я вас, муженек, — ответила Тереса, — поступайте, как знаете, и не морочьте меня больше вашими проповедями и риториками; и если вы непоклонны в вашем решении...

— Нужно сказать *непреклонны*, а не *непоклонны*, женушка, — перебил ее Санчо.

— Пожалуйста, муженек, вы со мной не спорьте, — ответила Тереса. — Говорю я так, как угодно господу богу, и ни в какие тонкости не пускаюсь; итак, повторяю, если вы упорствуете в намерении получить губернаторство, так захватите с собой вашего сынка Санчо, чтобы не теряя времени поучить его губернаторствовать, ибо полагается, чтобы дети наследовали и обучались ремеслу отца.

— Когда я буду губернатором, — ответил Санчо, — я пошлю за ним почтовых лошадей, а тебе пришлю денег; недостатка в них у меня не будет, так как ежели у губернатора и нет денег, то всегда найдется кто-нибудь, кто ему их ссудит; а ты наряди мальчика так, чтобы не видно было, какого он звания, и чтобы он был, каким ему теперь быть надлежит.

— Только денег пришлите, — сказал Тереса, — а уж я его наряжу потеплее.

— Наконец-то ты со мной согласилась, — заявил Санчо, — что наша дочка должна быть графиней.

— В тот день, когда я увижу ее графиней, — ответила Тереса, — я буду считать, что я ее похоронила; но повторяю, поступайте, как вам угодно; мы, женщины, родились на свет с обязательством повиноваться мужьям, хотя бы и тупоголовым.

И тут принялась она плакать, как будто Санчика и вправду уже померла и была похоронена. Санчо утешал ее, сказав, что ничего не поделаешь, Санчику он все-таки графиней сделает, но только постарается сделать это возможно позже. На том и кончилась их беседа, и Санчо возвратился к дон Кихоту, чтобы распорядиться насчет отъезда.

Г Л А В А VI

о том, что произошло между дон Кихотом, его племянницей и экономкой, — одна из самых важных глав во всей истории



то время как Санчо Панса вел со своей женой Тересой Каскахо нелепый разговор, который мы привели выше, племянница и экономка дон Кихота тоже не сидели без дела, ибо по тысяче признаков они догадались, что их дядя и господин готовится в третий раз вырваться на свободу и снова превратиться в злополучного, по их мнению, странствующего рыцаря. Всеми возможными способами они старались отвлечь его от этой вредной мысли; но напрасно они вопияли в пустыне и ковали холодное железо. Все же экономка наговорила ему множество разных слов и между прочим сказала:

— Честное слово, господин мой, если ваша милость не будет сидеть дома, спокойно вытянув ноги, а начнет бродить по горам и долам, как неприкаянная душа, и искать тех самых штук, которые вы называете приключениями, а я называю просто напастями, так я непременно стану

кричать, плакать и жаловаться богу и королю, чтоб они этому помешали.

На это дон Кихот ответил:

— Экономка, я не знаю, что на твои жалобы ответит бог, не знаю также, что скажет и его величество; знаю только, что, если бы я был королем, я бы не стал отвечать на все бесконечное множество бессмысленных прошений, каждый день присылаемых во дворец; у короля много трудов, но самый тяжкий из всех, — это обязанность всех выслушивать и всем отвечать, а потому я не хотел бы докучать ему своими делами.

На это экономка сказала:

— Скажите нам, сеньор, а есть ли рыцари в столице его величества?

— Есть, — ответил дон Кихот, — и много; они существуют для того, чтобы придавать блеск и пышность двору и поддерживать величие королевской власти.

— А почему же вы, ваша милость, не желаете служить вашему королю и сеньору, спокойно живя в столице?

— Заметь себе, почтеннейшая, — ответил дон Кихот, — что не все рыцари могут состоять при дворе и не все придворные могут и должны быть странствующими рыцарями: в жизни требуются и те и другие; и хоть и все мы рыцари, но между нами существует большое различие; ибо придворные, не выходя из своих покоев и не переступая через порог дворца, смотрят себе на карту и таким образом разгуливают по всему свету; это не стоит им ни гроша, и не терпят они ни жара, ни холода, ни жажды; мы же, подлинные странствующие рыцари, меряем лицо

земли собственными ногами, в зной и холод, без крова над головой, в непогоду, ночью и днем, пешком и на лошади; и врагов мы знаем не по картинкам, а на самом деле, и при каждой встрече, при каждом подходящем случае мы нападаем на них, не обращая внимания ни на какие правила поединков и прочие ребячества вроде того, что: не короче ли у одного из противников шпага или копьё; не припрятана ли у него на груди реликвия или какой-нибудь тайный подвох; кому из двух стать лицом к солнцу и кому спиной, и прочие церемонии подобного рода, соблюдаемые обыкновенно при поединках и единоборствах, — ты всего этого не знаешь, но я-то знаю; а кроме того узнай еще и то, что странствующий рыцарь ничуть не пугается, если встретится ему десять великанов, головы которых не только касаются туч, но скрываются за ними, ноги которых — огромнейшие башни, руки похожи на мачты самых громадных и мощных кораблей, а глаза точно мельничные жернова и раскалены, как печи с расплавленным стеклом; рыцарь нападает и атакует их с полным самообладанием и бесстрашным мужеством, и, если возможно, в одно мгновение побеждает и сокрушает, хотя бы они были одеты в чешую какой-то особой рыбы (говорят, что чешуя эта тверже алмаза), и вместо шпаг вооружены острыми саблями из дамасской стали или железными палицами с остриями из гой же стали, — я такое оружие видел не раз и не два. Все это, хозяйюшка, я говорю к тому, что бы ты поняла различие между разрядом придворных рыцарей и нашим. И было бы справедливо, чтобы государи почитали больше этот второй или, вер-

нее сказать, наипервейший из всех разряд страпствующих рыцарей, ибо в истории мы читаем, что некоторым из них обязано было своим спасением не одно королевство, а даже очень и очень многие.

— Ах, сеньор мой, — воскликнула тут племянница, — да поймите же вы, ваша милость, что все эти истории про странствующих рыцарей — басни и выдумки, что их следовало бы сжечь или, по крайней мере, надеть на них инквизиционные рубашки или наложить клейма, чтобы всем было видно, что они заслуживают позора и портят добрые нравы.

— Клянусь господом, который питает меня, — воскликнул дон Кихот, — если бы ты не была моей родной племянницей, дочерью моей собственной сестры, я бы тебя за твои кощунственные слова наказал так, что весь мир об этом узнал бы. Возможно ли? Девченка, которая не умеет еще как следует управиться с дюжиной коклюшек, осмеливается раскрывать рот и осуждать истории странствующих рыцарей! Что сказал бы сеньор Амадис, если бы он это услышал! А впрочем, наверное он бы тебя простил, ибо он был самым кротким и любезным рыцарем своего времени и к тому же горячим защитником девиц; но если бы тебя услышал кто-нибудь другой, тебе бы не поздоровилось! Ведь не все рыцари были вежливыми и благовоспитанными; были среди них и невежи и грубияны; ибо, не все, именующие себя рыцарями, на самом деле таковы: одни сделаны из настоящего золота, другие из поддельного; все на вид кажутся рыцарями, но не все выдерживают испытание на пробном камне истины. Есть люди низкого происхождения, которые из себя выле-

зают, желая казаться рыцарями; есть знатные рыцари, выбывающие из сил, чтобы казаться простолюдинами: первые поднимаются с помощью честолюбия и добродетели, вторые опускаются вследствие слабостей и пороков; нужно очень тонкое понимание, чтобы различить эти два вида рыцарей, — до того они сходны по имени и различны по поступкам.

— Господи, помилуй! — воскликнула племянница, — ваша милость, сеньор дядя, вы так много знаете, что, если бы подвернулась нужда, вы могли бы взойти на кафедру или пойти проповедовать на площадях, — и, несмотря на это, слепота ваша так велика и безумие так явно, что вы уверены в своей храбрости и силе, между тем как вы стары и немощны; вы хотите выпрямить, все то, что на свете криво, а сами вы согнуты годами, и самое главное — вы утверждаете, что вы рыцарь, меж тем, как вы совсем не рыцарь, ибо хотя идальго и может им стать, но человек бедный — никогда!

— В твоих словах есть много правды, племянница, — ответил дон Кихот, — и относительно родословных я мог бы рассказать тебе такие вещи, что ты пришла бы в изумление; по я не стану рассказывать, ибо не хочу соединять божеское с человеческим. Слушайте, милые мои, и будьте внимательны. Все роды на свете можно свести к следующим четырем разрядам: к первому относятся те, происхождение которых скромно, но которые постепенно расширились и разрослись и достигли величайшего блеска; ко второму — те, происхождение которых величественно; это величие они постоянно сохраняли и хранят и по

сей день в том виде, в каком оно было в начале; к третьему — роды высокого происхождения, но сошедшие на нет, точно острие пирамиды; они постепенно хирели и уменьшались и докатились наконец до ничтожества, то есть до острия пирамиды, ибо оно по сравнению со своей базой или основанием есть ничто; к четвертому разряду относятся наиболее многочисленные роды, не имевшие ни примечательного начала, ни порядочной середины, конец их будет столь же бесславен, — это средняя плебейская масса. Примером первого разряда, то есть рода скромного происхождения, достигшего блеска и хранящего его и поныне, может тебе служить отоманская династия: произошла она от простого и убогого пастуха, но мы видим, каких она достигла высот. Примером второго, то есть рода величественного происхождения, хранящего это величие, не приумножая его, могут служить многие государи, унаследовавшие свой титул и хранящие его без ущерба и приумножения, миролюбиво соблюдая границы своих государств. Наконец, есть тысячи примеров и таких родов, которые начались величественно, а кончились «острием»; ибо все фараоны и Птоломеи египетские, все Цезари римские и вся бесконечная орава (если только можно так выразиться) государей, монархов и сеньоров ассирийских, персидских, греческих и варварских, все эти знатные семьи и роды (то есть и сами они и их родоначальники) кончились «острием» и ничтожеством, так как в настоящее время мы не можем отыскать ни одного из их потомков, а если какой-нибудь и отыщется, то уж наверное в самом низменном и убогом состоянии. О роде

плебеев мне нечего сказать, разве только что служит он для увеличения числа живущих, и его многочисленность не заслуживает ни славы, ни похвал. Из всего мною сказанного, дурочки мои, вы должны уразуметь, что между родами существует большая путаница, и что только те из них кажутся нам великими и славными, члены которых отличаются добродетелью, богатством и щедростью. Я сказал — добродетель, богатство и щедрость, ибо порочный вельможа — это исчадие зла, а щедрый богач — тоже самое, что скупой нищий: ибо для владеющего богатством счастье не в том, чтобы обладать им, а в том, чтобы его тратить, и тратить не как попало, а с умением. Бедный же рыцарь лишь на одном пути может показать, что он рыцарь: на пути добродетели; он должен быть приветливым, благовоспитанным, любезным, вежливым и услужливым; не гордым, не падменным, не клеветником, но особенно ему полагается быть милостивым, ибо если он с радостной душой даст бедному два мараведиса, он обнаружит не меньшую щедрость, чем тот, кто, творя милостыню, трезвонит во все колокола; и если он будет украшен всеми вышеупомянутыми добродетелями, то всякий, кто его увидит, даже не зная, сочтет его человеком благородного происхождения; всякая другая оценка показалась бы невероятной; ибо всегда похвала была наградой за добродетель, и добродетельных людей все неизменно хвалили. — Существуют две дороги, дети мои, по которым люди могут прийти до богатства и почестей; одна из них — наука, другая — военное искусство. Я более сведущ в военном искусстве, чем в науках, и поскольку я

склоняюсь к нему, я несомненно родился под знаком планеты Марса, и тем самым я почти что вынужден идти по этому пути, — и я пойду, хотя бы весь мир был против меня; напрасно стали бы вы утруждать себя, убеждая меня не желать того, чего желает само небо, что велит мне судьба, чего требует разум и к чему направлена вся моя воля: ибо я знаю, что со странствующим рыцарством связаны бесчисленные труды, но я знаю также, что в нем можно приобрести бесконечные блага; я знаю, что трона добродетели очень узка, а дорога порока широка и просторна; и что цели и пределы их — различны: ибо привольная и просторная дорога порока приводит к смерти, а тесная и крутая тропа добродетели — к жизни, и при этом не к той жизни, которая имеет конец, но к жизни бесконечной; и я помню слова великого нашего кастильского поэта, гласящие:

По этим крутизнам лежат дороги
К высокому подножию бессмертья,
Доступны тем, кто не знавал тревоги.*

— Ах, горе мне несчастной! — воскликнула племянница. — Мой дядя в довершение всего еще и поэт! Все-то он знает, умеет; бьюсь об заклад, что если бы он пожелал стать каменщиком, то построить дом ему было бы не трудней, чем смастерить клетку.

— Уверю тебя, племянница, — ответил доң Кихот — что если бы мысли о рыцарстве не владели всеми моими чувствами, я бы мог делать все, что угодно, и мастерить всевозможные любопытные вещицы — особенно клетки и зубочистки.*

В эту минуту кто-то постучал в дверь; спросили, кто там, и Санчо Панса ответил, что это он. Не успела экономка услышать это имя, как убежала спрятаться, чтобы не видеть Санчо: до такой степени она его не терпела. Племянница открыла дверь, дон Кихот вышел и встретил оруженосца с распростертыми объятиями, затем они заперлись вдвоем в комнате, и между ними началась беседа, ни в чем не уступающая предыдущей.

ГЛАВА VII

о том, что произошло между дон Кихотом и его оруженосцем и о других поразительнейших событиях



Как только экономка увидела, что дон Кихот и Санчо Панса заперлись в комнате, она тотчас же догадалась, к чему клонится дело, и полагая, что на этом совещании будет принято решение выступить в третий поход, она схватила свою накидку и в тревоге и печали побежала к бакалавру Самсону Карраско: ей казалось, что тот, как человек красноречивый и новый друг ее господина, сможет уговорить его оставить этот безумный план. Карраско гулял у себя во дворе, и экономка, увидев его, упала к его ногам, обливаясь потом и задыхаясь от беспокойства. А тот, увидав ее в такой тревоге и печали, спросил:

— Что с вами, сеньора экономка? Что с вами случилось? Можно подумать, что вы при последнем издыхании.

— Ничего, дорогой сеньор Самсон, а только господин мой выезжает, наверное выезжает.

— Откуда выезжает? — спросил Самсон. — Уж не из собственного ли тела? Разбился он, что ли?

— Да не из тела, — отвечала она, а из ворот своего безумия; я хочу сказать, дорогой мой сеньор бакалавр, что он намерен снова, вот уже в третий раз, отправиться в путь, чтобы искать то самое, что он зовет приключением, а я никак не могу понять, почему это так называется. В первый раз он вернулся, лежа на осле и избитый палками; во второй — его привезли посаженным и запертым в клетку, которую тащили волы, а он утверждал, что его околдовали; и был он в таком печальном виде, что сама мать, родившая его на свет, его бы не признала: желтый, тощий, глаза ввалились в самую глубину черепа; и, чтобы немножко привести его в порядок, я ухлопала больше шести сотен яиц, свидетель бог, наши соседи и мои куры, которые не позволяют мне солгать.

— О, я вполне в них уверен, — ответил бакалавр. — Ваши куры такие славные, жирные и благовоспитанные, что они скорей лопнут, чем скажут неправду. Итак, сеньора экономка, вся беда и все горе в том, что вы опасаетесь замыслов сеньора доп Кихота?

— Да, сеньор, — ответила она.

— Ну, тогда не беспокойтесь, — сказал бакалавр, — ступайте в час добрый домой, приготовьте мне чего-нибудь горяченького закусить, а по дороге прочтите молитву святой Аполлонии, если вы ее знаете; я сейчас к вам приду, и вы увидите чудеса.

— Грешная моя душа! — ответила экономка. — Ваша милость велит мне прочесть молитву

святой Аполлонии? Да ведь она помогла бы, если бы у моего господина болели зубы, а у него не зубы, а голова не в порядке.

— Я знаю, что говорю, сеньора экономка; ступайте и не пускайтесь в препирательства со мной; вам ведь известно, что я бакалавр из Саламанки, а значит, нечего вам разглагольствовать, — ответил Карраско.

С тем экономка и удалилась, а бакалавр немедленно отправился к священнику, чтобы обсудить с ним то, о чем в свое время будет рассказано.

А в ту пору дон Кихот и Санчо, завершись, вели беседу, о которой в нашей истории дается весьма точный и правдивый отчет.

Санчо сказал своему господину:

— Сеньор, наконец-то мне удалось пояснить моей жене, что я обязан следовать за вашей милостью, куда бы вам ни угодно было отправиться.

— Ты должен был сказать: *разъяснить*, а не *пояснить*, Санчо, — заметил дон Кихот.

— Помнится мне, — ответил Санчо, — я уже раза два умолял вашу милость не исправлять моих слов, если вы понимаете, что я хочу сказать; а коли не понимаете, так скажите: «Санчо или там чорт, дьявол, я тебя не понимаю», и тогда, если я не смогу объяснить, вы меня и поправите: я ведь человек *подкладистый*.

— Санчо, я тебя не понимаю, — сказал тотчас же дон Кихот, — я не знаю, что значит: «я человек *подкладистый*».

— *Подкладистый*, — ответил Санчо, — значит — такой уж я есть.

— Теперь я еще меньше понимаю, — возразил дон Кихот.

— Ну, раз вы меня не можете понять, — ответил Санчо, — так я уж и не знаю, как сказать яснее; не знаю и все тут, и да простит меня господь бог!

— Ладно, я уже догадался, — ответил дон Кихот: — ты хочешь сказать, что ты такой *покладистый*, кроткий и мягкий человек, что согласишься со всеми моими словами и сделаешь все, что я скажу.

— Бьюсь об заклад, — сказал Санчо, — что вы поняли и уразумели меня с самого начала, а только хотели меня смутить и послушать, какого я еще наболтаю вздора.

— Возможно, — ответил дон Кихот. — Итак, что говорит Тереса?

— Тереса говорит, — ответил Санчо, — чтобы я крепко завязал узелок с вашей милостью, ибо «что написано пером, того не вырубишь топором», «ежели снял карты, тасовать не приходится», и что «спинца в руках лучше, чем журавль в небе». Я знаю, что женские советы малого стоят, но кто их не слушает, тот дурак.

— Я с тобой согласен, — ответил дон Кихот, — говори, друг Санчо, продолжай; сегодня каждое твое слово — жемчужина.

— Дело в том, — продолжал Санчо, — что все мы подвержены смерти, и ваша милость знает об этом лучше меня; сегодня мы живы, а завтра померли, ягненок не долговечнее барана, и ничто на этом свете не проживет и часа больше, чем будет угодно господа; ибо смерть — глуха, и, когда она стучит в двери нашей жизни, она вечно торопится, ничто не может ее удержать — ни мольбы, ни сила, ни скипетры, ни митры, — так по крайней мере все говорят, и об этом нам проповедуют в церкви,

— Все это правда, — ответил дон Кихот, — но я не понимаю, к чему ты клонишь.

— А клоню я к тому, — сказал Санчо, чтобы ваша милость сообщила мне, какое месячное жалованье вы собираетесь платить мне в течение всей моей службы, и чтобы это определенное жалованье вы платили мне наличными, ибо за награды служить я не желаю, так как приходят они или поздно, или нестати, или вовсе не приходят; лучше иметь свое, тогда и бог поможет. Одним словом, мало ли, много ли, а я хочу знать, сколько я зарабатываю: ведь «курица по зернышку клюет и сыта бывает», а из многих «мало» выходит одно большое «много», и раз ты что-нибудь заработал, так, значит, ничего не потерял. Конечно, если случится (хоть я не верю в это и не надеюсь), что ваша милость подарит мне обещанный остров, я не буду неблагодарным и жадным; нет, я попрошу точно определить сумму дохода с этого острова и удержать часть из моего жалованья по всем правилам начета.

— Дружище Санчо, — ответил дон Кихот, — выходит так, что *начет* ничем не хуже, чем *учет*.

— Я уже понял, — сказал Санчо, — бьюсь об заклад, что мне следовало сказать *учет*, а не *начет*; ну, да это не важно, раз ваша милость все равно меня поняли.

— Я тебя понял, — ответил дон Кихот, — и проник в самую глубину твоих мыслей: знаю, в какую мишень пускаешь ты бесчисленные стрелы своих поговорок. Слушай, Санчо, я охотно бы назначил тебе жалованье, если бы в романах о странствующих рыцарях мне припомнился хотя

бы один пример, который позволил бы мне подглядеть, как в щелочку, и увидеть, сколько обычно оруженосцы зарабатывали в месяц или в год; но я прочел все или почти все романы и не помню, чтобы когда-нибудь странствующий



рыцарь назначал своему оруженосцу определенное жалованье; мне известно, что за службу они получали только награды; и, когда они меньше всего ожидали, судьба вдруг улыбалась их господину, и он жаловал им или остров, или что-нибудь равноценное этому, или по меньшей мере

титул и звание сеньора. Если этих надежд и ожиданий с вас достаточно, Санчо, и вы желаете вернуться ко мне на службу, — в час добрый; но если вы думаете, что я стану подрывать основы и устои древних обычаев странствующего рыцарства, то вы заблуждаетесь; а потому, друг Санчо, возвратитесь домой и объявите мое решение вашей Тересе; если и она и вы согласитесь служить мне за награды, *bene quidem*;* если же нет, мы попрежнему останемся друзьями: «было бы на голубятне зерно, а голуби найдутся»; и заметьте, дружок, что «добрая надежда лучше худого надеда», и что «из-за хорошей тяжбы стоит полушку упустить». Выражаюсь я так, Санчо, для того, чтобы показать вам, что и у меня пословицы могут литься дождем. А в заключение хочу вам сказать и скажу вот что: если вам не угодно служить за награды и разделять со мной мою судьбу, так оставайтесь с богом и наживайте себе царство небесное, а у меня найдутся оруженосцы послушнее вас и ревностнее, и не такие неуклюжие и болтливые, как вы.

Когда Санчо выслушал твердое решение своего господина, свет затмился в его глазах, и храбрость его опустила крылья, потому что он был уверен, что ни за какие сокровища на свете господин без него не уйдет; так и стоял он в смущении и раздумьи, когда вошли Самсон Карраско, экономка и племянница: женщинам хотелось послушать, как бакалавр будет уговаривать дон Кихота не ездить на поиски приключений. А Карраско, известный шутник, подошел к нему, обнял, как и в прошлый раз, и громким голосом сказал:

— О цвет странствующего рыцарства! О сия-

ющий свет военного искусства! О честь и зеркало испанского народа! Да будет угодно всемогущему богу (как если бы он был передо мной),* чтобы тот или те, кто замыслиют помешать и воспрепятствовать третьему вашему выезду, заблудились в лабиринте собственных желаний и никогда не дождались исполнения того, чего они больше всего хотят.

И, обратившись к экономке, он продолжал:

— Сеньора экономка может больше не читать молитв святой Аполлонии, ибо мне ведомо, что таково бесповоротное решение планет; сеньор дон Кихот должен продолжать осуществление своих возвышенных и несбываемых замыслов. Я бы взял на свою душу великий грех, если бы не убеждал и не уговаривал этого рыцаря прервать, наконец, бездействие и скованность его мочучей руки и доблести его отважнейшего духа; ибо, пока он медлит, несправедливости остаются не отомщенными, сироты не защищенными, девушки обещанными, вдовы без покровительства, замужние женщины без опоры и прочее тому подобное, что присуще, свойственно, принадлежит и подобает ордену странствующего рыцарства. Вперед, прекрасный и смелый сеньор мой дон Кихот, пусть ваша милость во всем своем величии выступит в путь не завтра, а сегодня; и если вы не можете этого сделать потому, что вам чего-нибудь не хватает, я готов помочь вам своей особой и своим имуществом; и если бы ваше великоление нуждалось в оруженосце, я почел бы для себя величайшим счастьем служить вам.

Тут дон Кихот обратился к Санчо и сказал:

— Ну, что, Санчо, разве я тебе не говорил,

что оруженосцы у меня всегда найдутся? Посмотри, кто предлагает мне свои услуги: сам несравненный бакалавр Самсон Карраско, зачинщик всех забав и веселий во дворах саламанских школ, здоровый телом, ловкий в движениях, умеющий молчать и переносить жар и холод, голод и жажду, обладающий всеми качествами, потребными для оруженосца странствующего рыцаря. Но небо не позволит, чтобы я ради собственного удовольствия сломал и сокрушил этот столп наук и сосуд ученных и свободных искусств; пусть сей новый Самсон останется у себя на родине и, прославляя ее, прославит вместе с тем седицы своих престарелых родителей, а я удовольствуюсь любым оруженосцем, раз уж Санчо не соизволит меня сопровождать.

— Нет, соизволит, — вскричал Санчо, растроганный и весь в слезах. — Никто про меня не скажет, сеньор, что «поел, мол, вашего хлеба и был таков». Я веду свое начало не из неблагодарного рода; все на свете, а особенно наша деревня, знают, кто такие были Панса, от которых я происхожу; к тому же, по вашим добрым делам и отличным словам я понял и уразумел, что вашей милости угодно даровать мне награду, а если я принялся было высчитывать, какое такое будет у меня жалованье, то делал я это только в угоду жене; уж если она заберет себе что-нибудь в голову, то уж так гвоздит, будто молоток по обручам бочки, чтобы непременно было, как ей хочется. Но в конце концов мужчина должен быть мужчиной, а баба — бабой; и раз по всем признакам, которых я не могу отрицать,

я мужчина, так и в доме своем я желаю быть женщиной, — и пусть она себе злится, сколько ей угодно. Итак, вашей милости остается только составить завещание с припиской, чтобы никто не мог его *наспорить* — и скорей в путь-дорогу; пусть не страдает душа сеньора Самсона, который говорит, что совесть велит ему убеждать вашу милость в третий раз пуститься по свету, — я снова обещаю вашей милости служить вам верой и правдой, да еще, пожалуй, лучше, чем служили когда-либо оруженосцы странствующих рыцарей прошедших и настоящих времен.

Бакалавр был удивлен, слыша, каким слогом и языком выражался Санчо Панса; ибо, хоть он и читал первую историю дон Кихота, он все же не думал, что Санчо так забавен, как он там изображается; но теперь, когда он услышал, что оруженосец говорит: «завещание с *припиской*, которого нельзя *наспорить*», вместо «завещание с припиской, которого нельзя оспорить», он поверил всему, что о нем читал, и утвердился в убеждении, что и господин и слуга — первостатейные безумцы нашего века; а про себя подумал, что таких двух сумасшедших еще свет не видывал. В конце концов дон Кихот и Санчо обнялись и снова стали друзьями, и по совету и благоусмотрению великого Карраско, уже успевшего стать для них оракулом, было решено, что отъезд состоится через три дня; за это время будет приготовлено все необходимое для путешествия, и подыскан шлем с забралом, так как дон Кихот заявил, что он во что бы то ни стало должен его иметь. Самсон вызвался раздобыть его, ибо он знал, что такой шлем имеется у одного его

приятеля и что тот согласится его отдать, так как шлем весь почернел от ржавчины и плесени и нечистая сталь его совсем перестала блестеть и сверкать. Невозможно исчислить все проклятия, которыми экономка и племянница осыпали бакалавра; они рвали на себе волосы, царапали лицо и, на манер наемных плакальщиц, оплакивали отъезд своего господина, словно его кончину. А Самсон, убеждая дон Кихота снова выехать из дому, имел свой план, о котором будет рассказано дальше, и действовал в согласии со священником и цырюльником, с которыми раньше сговорился. Итак, через три дня дон Кихот и Санчо приготовили все, что им казалось необходимым. Санчо успокоил свою жену, дон Кихот — племянницу и экономку, и вот, под вечер, незаметно для всех, кроме бакалавра, который пожелал проводить их с полмили, выехали они по дороге в Тобосо: дон Кихот на своем добром Росинанте, а Санчо — на прежнем ослике; дорожные сумки его были набиты всякими съестными вещами, а кошелек полон денег, переданных ему дон Кихотом на случай надобности. Самсон обнял нашего рыцаря и просил его сообщать обо всех удачах и неудачах: этим последним он будет радоваться, а о первых горевать,* как того требуют законы дружбы. Дон Кихот обещал, Самсон повернул обратно в деревню, и оба путника двинулись дальше в сторону великого города Тобосо,

ГЛАВА VIII

в которой рассказывается о том, что случилось с дон Кихотом во время поездки его к сеньоре Дульсинее Тобосской



а будет благословен могучий Аллах! — восклицает Амет Бенхели в начале этой восьмой главы, — да будет благословен Аллах! — повторяет он трижды, поясняя, что произносит он эти благословения потому, что дон Кихот и Санчо уже находятся в открытом поле и что читатели этой приятной истории могут считать, что с этого самого мгновения начинаются подвиги дон Кихота и балагурства его оруженосца; он советует читателям забыть о прошлых рыцарских деяниях хитроумного идальго и устремить взоры на грядущие его дела, которые ныне начинаются на дороге в Тобосо, в то время как прежние начались на полях Монтельских — и просьба его не так уж обременительна по сравнению с тем, что он обещает; а затем он продолжает так:

— Дон Кихот и Санчо остались вдвоем, и не успел Самсон удалиться, как Росинант начал ржать, а осел реветь; рыцарь и оруженосец при-

няли это за добрую примету и счастливейшее предзнаменование. Но если уж говорить правду, то вздохи и рев осла были гораздо продолжительнее, чем ржание клячи, и из этого Санчо заключил, что его счастье превысит и превзойдет счастье его господина; по всей вероятности, он основывался на своих познаниях в судебной астрологии, хотя история этого не объясняет; известно только, что когда Санчо спотыкался или падал, он всегда говорил, что было бы лучше не выходить из дому, ибо от падения и спотыкания ничего не может получиться, кроме порчи башмаков или перелома ребер; и хоть был он глуп, а в этом не совсем заблуждался.

Сказал ему дон Кихот:

— Друг мой Санчо, чем дальше мы едем, тем больше приближается ночь, и становится уже так темно, что вряд ли мы на рассвете доберемся до Тобосо; а я решил побывать там прежде, чем пускаться на поиски других приключений; там получу я напутствие и милостивое разрешение от несравненной Дульсины, а с этим разрешением я надеюсь и твердо рассчитываю выйти с удачей и победой из любого опасного приключения, ибо ничто на этом свете не внушает странствующим рыцарям такой отваги, как благосклонность их дам.

— Я тоже так думаю, — ответил Санчо, — но мне кажется затруднительным, чтобы ваша милость могла побеседовать или увидеться с ней в таком месте, где можно получить напутствие, разве что она пошлет вам его через стенку скотного двора: там я ее видел в прошлый раз, когда относил письмо с описанием безумств и не-

истовств, которые ваша милость проделывала в самом сердце Сиерра-Морены.

— Неужели же место, в котором или за которым ты видел эту превышающую восхваление грацию и красоту, показалось тебе стеной скотного двора? Нет, то были галереи, балконы, портики (или как их там еще?) пышного королевского дворца!

— Может быть и так, — ответил Санчо, — только оно показалось мне стеной скотного двора, если память мне не изменяет.

— Как бы там ни было, едем туда, Санчо, — сказал дон Кихот, — и где бы я ее ни увидел: в окне ли, у стены, через щель или садовую решетку, — все едино: пусть только маленький луч солнца ее красоты достигнет моих очей, — тотчас же ум мой прояснится, дух окрепнет, и никто более не сравнится со мной по уму и храбрости.

— Сказать по правде, сеньор, — возразил Санчо, — когда я видел это солнце — сеньору Дульспинею Тобосскую, оно было не особенно яркое и не испускало никаких лучей, — должно быть оттого, что ее милость просеивала зерно, и густая пыль окружала ее облаком, заволакивая ей лицо.

— А ты, Санчо, все еще продолжаешь говорить, думать, верить и утверждать, что сеньора Дульспинея просеивала зерно, — сказал дон Кихот, — между тем как подобная работа и занятие совсем не соответствуют тому, что делают и должны делать знатные особы, ибо они созданы и предназначены для других утех и занятий, по которым на расстоянии арбалетного выстрела обнаруживается их знатность? Плохо же ты помнишь, Санчо, стихи нашего поэта, где изображается,

каким трудам предавались в своих хрустальных дворцах четыре нимфы: * вот появились их головы из вод любимого Тахо, вот уселись они на зеленом лугу и стали ткать драгоценные ткани, о которых искусный поэт сообщает, что были они из золота, шелка и жемчуга. Таким делом и занималась, наверное, моя сеньора, когда ты ее увидел, если только злой волшебник, завидующий моим подвигам, не превратил и тут отрадное для меня видение в другое, совсем на него не похожее; я даже боюсь, как бы в истории моих деланий (которая, как говорят, уже напечатана) автор, оказавшийся, чего доброго, враждебным мне мудрецом, не подменил одни события другими, не примешал к правде тысячи выдумок и не увлекся тем, что стал рассказывать о других происшествиях, не относящихся к продолжению этой правдивой истории. О зависть, корень бесконечных бедствий, червь, гложущий добродетель! Все пороки, Санчо, несут в себе нечто приятное; одна только зависть приносит огорчения, злопыхательство и ярость.

— Да и я то же самое сказал бы, — ответил Санчо, — и думается мне, что в книжке или истории, которую, как уверяет бакалавр Карраско, он читал про нас, мою честь наверное шпыняют как пного лядащего борова, а он идет, упирается, точно ногами дорогу метет. А между тем, ей богу, я ни про одного волшебника не говорил ничего дурного, и богатств у меня таких нет, чтобы мне можно было бы завидовать. Правда, я немного себе на уме и капельку плутоват, но все это прикрито и закутано широким плащом моего простодушия, всегда естественного и никогда не

притворного; да если бы у меня и не было других достоинств, кроме того, что я всегда твердо и истинно верю в бога и во все то, чего придерживается и во что верит святая римская католическая церковь, и что я — смертельный враг евреев, так уж за одно это историки должны бы были помиловать и в своих книгах отнестись ко мне благосклонно, * впрочем, пускай их говорят, что хотят, — голым я родился и останусь, не выиграл я и не проиграл, — и хоть написано обо мне в книгах и хоть пошел я теперь гулять по всему свету, но я и фиги не дам за все, что людям вздумается про меня рассказывать.

— Это похоже на то, Санчо, — сказал дон Кихот, — что случилось с одним знаменитым поэтом нашего времени: он сочинил злую сатиру на всех куртизанок, одну только он не назвал и не упомянул, так что осталось неясно, куртизанка она или нет; и вот, увидев, что имени ее нет в списке остальных дам, она пожаловалась поэту и спросила, что он такое в ней подметил и почему не поместил ее вместе с другими; она попросила его расширить свою сатиру и вставить дополнительно ее имя, а иначе — ему плохо придется. Поэт послушался, отделал ее так, как той и не снилось, и она была вполне удовлетворена, удостоившись славы, которую ей стяжало бесславие. И еще слова твои напоминают рассказ о пастухе, который поджег и превратил в пепел знаменитый храм Дианы, считавшийся одним из семи чудес света, а сделал он это только для того, чтобы имя его осталось жить в грядущих веках; и хоть было велено не называть и не упоминать ни письменно, ни устно его имени, дабы он не достиг цели, к

которой стремился, все же стало известно, что звали его Герострат. Припоминается мне еще то, что произошло между великим императором Карлом Пятым и одним римским дворянином. Император пожелал увидеть знаменитый храм *Ротонду*,* который в древности назывался храмом всех богов, а теперь с большим правом именуется храмом всех святых: из всех зданий, воздвигнутых в Риме во времена язычества, он сохранился в наибольшей целости и лучше других свидетельствует о великолепии и пышности его строителей; он имеет форму половинки апельсина, необыкновенно велик и очень светел, хоть свет проникает в него только через одно окно или, вернее сказать, через одно круглое отверстие, находящееся на самом верху. Оттуда-то император и рассматривал здание, а рядом с ним стоял один римский дворянин, объявлявший ему красоты и тонкости этой грандиозной и достославной архитектуры; и вот когда они отошли от круглого окна, дворянин сказал императору: «Ваше священное величество, тысячу раз появлялось во мне желание обнять ваше величество и броситься вместе с вами вниз, дабы оставить по себе вечную славу в мире». — «Благодарю вас, — ответил император, — за то, что вы не осуществили вашего дурного помысла; отныне вам не представится больше случая испытывать свои верноподданнические чувства, ибо я приказываю вам никогда больше со мною не говорить и не появляться там, где я буду находиться». И после этих слов он пожаловал ему богатую награду. Я хочу этим сказать, Санчо, что желание прославиться в нас чрезвычайно сильно. Как ты думаешь, что заставило Горадия броситься в полном

вооружении с моста в глубины Тибра? Что сожгло руку Муция? Что побудило Курция низвергнуться в глубокую огненную пропасть, появившуюся посредине Рима? Что внушило Цезарю решение перейти Рубикон, вопреки всем грозившим ему дурным предзнаменованиям? Переходя к примерам более современным: что заставило в Новом Свете отважных испанцев предводительствуемых учтивейшим Кортесом, затопить свои корабли и остаться на пустынном берегу? Все эти, а равно и другие великие и разнообразные деяния были, есть и будут деяниями славы, в которой смертные усматривают высшую награду и частичное бессмертие, заслуженное их знаменитыми подвигами; правда, нам, христианам-католикам и странствующим рыцарям, гораздо больше подобает стремиться к славе в будущей жизни, ибо она вечна в небесных эфирных пространствах, чем к суетной славе, которой можно достигнуть в преходящей жизни здесь на земле; ибо земная слава, как бы долго она ни продолжалась, все равно окончится вместе с миром, конец которого нам предуказан; поэтому, Санчо, дела наши не должны преступать границ, положенных христианской верой, которую мы исповедуем; мы должны, поражая великанов, истреблять гордость, великодушием доброго сердца побеждать зависть, самообладанием и душевным спокойствием преодолевать гнев, воздержанием в пище и постоянным бодрствованием бороться с обжорством и сонливостью; сохраняя верность дамам, которых мы сделали владычицами наших помыслов, мы уничтожаем сладострастие и похоть; наконец, мы осиливаем лень, скитаясь по всем странам света, в поис-

ках опасностей, которые помогли бы нам стать не только христианами, но и славными рыцарями. Вот каковы способы, Санчо, для снискания наивысших похвал, всегда сопутствующих доброй славе.

— Все, что ваша милость только-что мне рассказала, — ответил Санчо, — я понял очень хорошо; и все-таки я попросил бы вашу милость перерешить одно мое сомнение, которое в эту самую минуту пришло мне на ум.

— Ты хотел сказать, Санчо, *разрешить сомнение*, — поправил дон Кихот; — говори в добрый час; если я смогу, я тебе отвечу.

— Скажите мне, сеньор, — продолжал Санчо, — эти Юлии и Августы и эти доблестные рыцари, которых вы называли, — ведь все они уже померли, где же они сейчас находятся?

— Язычники, — ответил дон Кихот, — без сомнения, находятся в аду, а христиане, если только они были добрыми христианами, пребывают либо в чистилище, либо на небе.

— Хорошо, — сказал Санчо, — а теперь скажите мне: перед гробницами, в которых покоятся тела этих вельмож, горят ли серебряные лампы, и стены их канел украшены ли костылями, саванами, прядями волос, восковыми ногами и глазами? * А если нет, то чем же они украшены?

На это дон Кихот ответил:

— Гробницы язычников большей частью были роскошными храмами: прах Юлия Цезаря был заключен в каменную пирамиду огромных размеров, которую теперь в Риме называют Иглою Святого Петра; * а императору Адриану гробницей служит замок, величиной в большое село;

раньше звали его *Moles Hadriani*,* а теперь это — замок святого Ангела в Риме. Царица Артемиза похоронила своего супруга Мавзола в гробнице, считавшейся одним из семи чудес света. Но ни одна из перечисленных мною гробниц, ни прочие языческие усыпальницы не украшались ни саванами, ни дарами, ни приношениями, по которым можно было бы заключить, что погребенные в них почитались святыми.

— Этого-то я и добивался, — ответил Санчо; — а теперь, скажите: что больше — воскресить мертвого или убить великана?

— Ответить на это не трудно, — сказал дон Кихот, — конечно, больше — воскресить мертвого.

— Тут-то я вас и поймал! — воскликнул Санчо: — значит, воскрешать мертвых, делать зрячими слепцов, исцелять хромых, возвращать здорovie больным и иметь гробницы, перед которыми горят лампадки и толпы набожных людей на коленях молятся мощам, — значит, все это приносит лучшую славу и в здешней и в будущей жизни, чем та слава, которую оставили и оставляют после себя все языческие императоры и страствующие рыцари на свете?

— Я вполне с тобой согласен, — ответил дон Кихот.

— Итак, тела и мощи святых, — продолжал Санчо, — обладают такой славой, благодатью или, как еще по-иному называют, прерогативой, что с разрешения и одобрения святой нашей матери-церкви их украшают лампадками, свечами, саванами, костылями, картинами, прядями волос, глазами и ногами, — и все это укрепляет набожность и увеличивает их христианскую славу. Ведь даже

короли носят на своих плечах тела или мощи святых, лобызают кусочки их костей, украшают и обогащают ими свои моельни и наиболее почитаемые алтари.

— Но какой же вывод из того, что ты сказал, Санчо? — спросил дон Кихот.

— А вывод такой, — ответил Санчо, — что нам с вами нужно сделаться святыми; тогда мы в короткий срок достигнем доброй славы, к которой стремимся; и знаете ли, сеньор, вчера или третьего дня (выражаюсь так потому, что это было совсем недавно) канонизировали и произвели в святые двух босых монахов, и теперь считается большим счастьем приложиться или прикоснуться к железным цепям, которыми они подносявались, умерщвляя свою плоть; они теперь в большем почете, чем меч Роланда, хранящийся в арсенале нашего сеньора короля, да хранит его бог. Так-то, мой сеньор, куда выгоднее быть смиренным монахом какого угодно ордена, чем отважным странствующим рыцарем; две дюжины плетей при самобичевании угоднее богу, чем две тысячи ударов копьём все равно против кого — великанов ли, чудовищ или андриаков.

— Все это так, — ответил дон Кихот, — но не все могут быть монахами, и различны пути, которыми господь ведет избранных своих на небо, рыцарство — тоже религиозный орден, и среди рыцарей есть святые, пребывающие во славе.

— Да, — ответил Санчо, — но я слышал, что на небе больше монахов, чем странствующих рыцарей.

— А это потому, — сказал дон Кихот, — что монахов больше, чем рыцарей.

— Ну, и странствующих рыцарей тоже немало, — возразил Санчо.

— Конечно, немало, — ответил дон Кихот, — но лишь немногие из них заслуживают имя рыцарей.

В таких-то и подобных им беседах прошли ночь и следующий день, без каких-либо происшествий, достойных упоминания, чем дон Кихот был очень огорчен. Наконец, на другой день к вечеру открылся перед ними великий город Тобосо; от этого вида дух дон Кихота возрадовался, а дух Санчо опечалился, ибо наш оруженосец не знал, где живет Дульсинея, да и сроду ее не видывал, как, впрочем, и его господин. Итак, оба они были взволнованы; один — оттого, что жаждал ее увидеть, другой — оттого, что никогда ее не видел. Санчо не знал, что он станет делать, когда господин пошлет его в Тобосо. Наконец, дон Кихот порешил не въезжать в город до наступления ночи, и в ожидании темноты они расположились в дубовой роще, находившейся близ Тобосо; когда же пришел назначенный срок, они вступили в город, где случилось с ними то, о чем речь впереди.

ГЛАВА IX

в которой рассказывается то, что вы сами увидите



это время, ровно в полпочь, или около того, дон Кихот и Санчо покинули рошу и въехали в Тобосо. Селение было погружено в мирное молчание, ибо все жители спали, протянув, как говорится, пожки. Ночь была довольно светлая, но Санчо предпочел бы полнейший мрак, ибо темнота могла бы послужить оправданием его твердолюбости. Во всем селении ничего не было слышно, кроме лая собак, оглушавшего слух дон Кихота и смущавшего мужество Санчо. От времени до времени ревел осел, хрюкали свиньи, мяукали коты, — и звуки этих разнообразных голосов, казалось, еще усливались от ночного безмолвия; наш влюбленный рыцарь почел это дурным предзнаменованием, но тем не менее сказал Санчо:

— Санчо, братец, веди меня ко дворцу Дульсинеи; кто знает, быть может, она уже проснулась.

— В какой это дворец вас вести, чорт меня побори? — ответил Санчо. — Я видел ее величие не во дворце, а в крохотном домишке,

— Значит, — сказал дон Кихот, — в ту пору она удалилась в малые покои своего замка и отдыхала там со своими придворными дамами, согласно нравам и обычаям всех знатных сеньор и принцесс.



— Сеньор, — заявил Санчо, — раз уж вашей милости угодно на зло мне утверждать, что домишко сеньоры Дульсиней — замок, так подумайте: неужели же ворота могут быть открыты в такой час? И подобает ли нам стучать, чтобы нас услышали и отперли? Ведь мы переполошим и поднимем на ноги все селение! Что же вы думаете, там живут такие девицы, к которым в

любой час ночи приходят дружки, — кликнут, и их сейчас же впускают?

— Прежде всего отыщем дворец, — ответил дон Кихот, — а тогда, Санчо, я тебе скажу, что нам следует делать. Да взгляни-ка, Санчо; или я ничего не вижу, или же это огромное темное здание, видное даже отсюда, — дворец Дульсинен.

— Ну, тогда вы и ведите, ваша милость, — ответил Санчо, — кто его знает, может, оно и так, а я, если даже увижу этот дворец собственными глазами и пощупаю руками, все равно поверю в него не больше, чем тому, что сейчас уже день.

Дон Кихот повел Санчо, и, пройдя шагов двести, подошли они к темному зданию, рассмотрели, что это высокая башня, и сразу же догадались, что перед ними не дворец, а главная церковь селения. Тогда дон Кихот сказал:

— Мы наткнулись на церковь, Санчо.

— Да уж я вижу, — отвечал тот, — дай-то бог, чтоб мы не наткнулись на нашу могилу, ибо это дурной знак бродить по кладбищам в такое время; но, если память меня не обманывает, я ведь говорю вашей милости, что дом нашей сеньоры находится в улочке, кончающейся тупиком.

— Чтоб тебя бог покарал, болван! — вскричал дон Кихот. — Где ж ты видел, чтобы замки и королевские дворцы строились в улочках с тупиками?

— Сеньор, — ответил Санчо, — в каждой стране свой обычай: может быть, здесь, в Тобосо, принято строить дворцы и громадные здания в переулках; а потому, ваша милость, пожалуйста, позвольте мне поискать по улочкам и переулкам,

которые находятся перед нами: возможно, что в каком-нибудь закоулке я и натолкнусь на этот дворед, чтоб его собаки съели, до чего он нас сбил с ног и загонял.

— Обо всем, что относится к моей сеньоре, — сказал дон Кихот, — ты должен говорить с уважением; и вообще, будем соблюдать полное спокойствие, ибо не зачем нам бросать вслед за ведром и веревку.

— Я буду удерживаться, — ответил Санчо, — но как же у меня может хватить терпения, если ваша милость требует, чтобы я с одного раза навсегда запомнил дом нашей хозяйки и был в состоянии отыскать его в полночь, когда вы сами, ваша милость, не можете его найти, хоть, должно быть, видели его тысячи раз!

— Ты доведешь меня до отчаяния, Санчо, — сказал дон Кихот. — Иди-ка сюда, еретик; не говорил ли я тебе тысячу раз, что я за всю свою жизнь никогда не видал несравненной Дульсиныи и что нога моя никогда не переступала порога ее дворца? Я влюбился в нее только по слухам, так как об уме и красоте ее ходит громкая слава.

— Теперь-то я это знаю, — ответил Санчо, — и признаюсь вам: если ваша милость ее никогда не видела, так и я тоже не видел.

— Не может этого быть, — возразил дон Кихот, — ведь ты же мне говорил, что она просеивала зерно, и на письмо, которое я послал ей с тобой, ты принес мне ответ.

— Это не так уж важно, сеньор, — ответил Санчо, — ибо, должен вам сказать, что и видел я ее и ответ вам принес тоже по слухам, и я с таким

же успехом могу узнать сеньору Дульсиною, как ударить кулаком в небо.

— Санчо, Санчо, — сказал дон Кихот, — для шуток нужно уметь находить время, иначе же они выходят нелепыми и неуместными; если я даже и сказал, что никогда не виделся и не разговаривал с владычицей моей души, то тебе никак не пристало говорить, будто и ты тоже не виделся и не разговаривал с нею, ибо ты знаешь, что это неправда.

В то время, как они об этом беседовали, проходил какой-то человек, с двумя мулами; по лягу, который производил его плуг, тащившийся по земле, они заключили, что человек этот — крестьянин и что поднялся он до рассвета, торопясь отправиться на работу; так оно и было на самом деле. Крестьянин шел и пел следующий романс:

Плохо вам пришлось, франдузы,
В Ронсевальском славном деле.*

— Умри я на этом месте, Санчо, — сказал дон Кихот, услышав песню, — а только сегодняшнюю ночью с нами случится что-то хорошее. Слышишь, что поет этот поселянин?

— Слышу, — ответил Санчо, — а только что общего между нашими делами и охотой в Ронсевале? Он мог бы петь и про мавра Калаиноса,* не все ли равно — от этого не будет ни худа, ни добра.

В эту минуту крестьянин приблизился, и дон Кихот спросил его:

— Да пошлет вам бог удачи, добрый человек, не могли бы вы мне сказать, где тут находится

дворец несравненной принцессы доньи Дульсиниен Тобосской?

— Сеньор, — ответил парень, — я нездешний: всего несколько дней, как я живу в этом селе и работаю на поле у одного богатого землевладельца;



но в этом доме напротив живут местный священник и пономарь; один из них, а то и оба, смогут дать вашей милости все справки насчет этой сеньоры принцессы, — ведь у них записаны все жители Тобосо. Мне же сдается, что во всем городе не проживает никакой принцессы, но зато тут есть

важные дамы; ведь каждая женщина в своем доме может чувствовать себя принцессой.

— Должно быть, среди них находится и та дама, о которой я тебя спрашиваю, дружок, — сказал дон Кихот.

— Возможно, — ответил парень, — и на этом прощайте, ведь уже светает.

И он погнал своих мулов, не дожидаясь дальнейших расспросов.

А Санчо, видя, что господин его озадачен и очень недоволен, сказал:

— Сеньор, вот уж день наступает; было бы неблагоприятно дожидаться света посреди улицы; не лучше ли выехать из города? Ваша милость спрячется в одной из ближайших рощ, а я вернусь в город днем и стану шарить по всем закоулкам, покуда не найду дом, дворец или замок нашей госпожи; если не найду, — ну, тогда, значит, мне на редкость не везет, а найду, — так поговорю с ее милостью и скажу ей, где вы находитесь, в каком вы состоянии, и что вы ждете ее воли и указания, где можно было бы увидеть ее без ущерба для ее чести и доброго имени.

— Санчо, — воскликнул дон Кихот, — тебе удалось в немногих кратких словах выразить тысячу мыслей! Я с жаром и величайшей готовностью принимаю твой совет. Иди же, сынок, мы поедем в лес, я останусь там, а ты вернешься в город и, как только что обещал, разыщешь и увидишь мою сеньору и поговоришь с ней; а от ее ума и любезности я жду самых чудесных милостей.

Санчо из себя выходил, так ему не терпелось увести своего господина из селения, дабы не выяснилось, как он обманул его, принеся в Сьерра-Мо-

рену ответ от имени Дульсинеи; поэтому он торопился с отъездом, и вот вскоре выехали они и в двух милях от села нашли лес или рощу. Дон Кихот там спрятался, а Санчо вернулся в город поговорить с Дульсинеей; во время этого посольства случилось с ним происшествие, требующее особого внимания и особого доверия.

ГЛАВА X

в которой рассказывается, каким хитрым способом Санчо околдовал сеньору Дульсинею и какие еще произошли события, столь же смешные, сколь и истинные



риготовившись рассказывать о происшествиях, заключающихся в этой главе, автор нашей великой истории высказал было желание обойти все это молчанием из опасения, что ему не поверят, ибо здесь безумства дон Кихота достигают таких граней и пределов, каких и вообразить невозможно, и опережают на два арбалетных выстрела самые великие безумства на свете.

Однако, со страхом и трепетом он все же решается описать точь в точь, как дон Кихот их проделывал, не прибавляя и не убавляя в своей истории ни одного атома правды, и не заботясь о том, что этим он, пожалуй, навлечет на себя обвинение в лживости; и он вполне прав, ибо истина иной раз гнется, но никогда не ломается, и неизменно оказывается выше лжи, как масло поверх воды.

И так, продолжая свою историю, он говорит, что дон Кихот, углубившись в рошу, бор или

лес по соседству с великим Тобосо, велел Санчо вернуться в город и не являться к нему на глаза, прежде чем он не переговорит от его имени с его госпожей и не умолит ее показаться, наконец, плененному ею рыцарю, дабы дать ему свое благословение, с помощью которого он сможет наименее счастливейшим образом выйти из всех столкновений и трудных предприятий. Санчо пообещал исполнить эти поручения и принести ему такой же благоприятный ответ, как и в первый раз.

— Ступай же, сынок, — сказал дон Кихот, — и не смущайся, если глаза твои ослепит блеск солнца красоты этой дамы, к которой ты отправляешься. О, счастливейший из всех оруженосцев на свете! Будь же внимателен и не забудь, как она тебя примет: переменится ли в лице в то время, как ты будешь передавать мои поручения, взволнуется ли и смутится, услышав мое имя; если она будет сидеть на богатом настиле, как подобает ее величию, то обрати внимание, не задвигается ли она на подушках; если она будет стоять, посмотри, не станет ли она переступить с ноги на ногу; заметь, повторит ли она свой ответ два или три раза, превратится ли она из нежной в суровую или из нелюбезной в чувствительную, поднимет ли руку, чтобы оправить волосы, хотя бы они и были в полном порядке; наконец, сынок, изучи все ее действия и движения, ибо если ты опишешь мне все, как было, я по этим признакам заключу о том, что скрыто в тайнике ее сердца и как относится она к моей любви; ибо следует тебе знать, Санчо, если ты еще не знаешь, что поступки и внешние движения любовников в те минуты, когда дело касается их любви, есть

надежнейшая почта, несущая вести о том, что происходит внутри души. Иди же, друг мой, и да будет судьба твоя счастливее моей; да закончится твое путешествие более успешно, чем о том говорят надежды человека, остающегося здесь без тебя, в тревоге и горьком одиночестве.

— Иду и скоро вернусь, — сказал Санчо, — вы, ваша милость, содержите в порядке ваше сердечко; должно быть, оно у вас так сжалось, что стало не более ореха; и вспомните пословицу: смелость в сердце побеждает злую судьбину, а у кого нет сала, у того нет и крючка, чтоб его подвесить; и еще говорится: заяц выскакивает, когда меньше всего его ожидаешь; говорю я это к тому, что ночью нам трудно было отыскать дворцы и замки нашей сеньоры, зато уж днем я их найду, если даже о них совсем не буду думать; лишь бы только найти, а поговорить с нею я сумею.

— Право, Санчо, — сказал дон Кихот, — ты по всякому поводу умеешь удачно ввернуть свои поговорки; если бы бог послал и мне такую же удачу в моих начинаниях!

После этих слов Санчо повернул своего серого и погнался за ним, а дон Кихот остался верхом на лошади, вложив ноги в стремя и опершись на копы, полный грустных и смутных мыслей. Таким мы его и оставим и последуем за Санчо Пансой, который покинул своего господина тоже в большом унынии и печали. Выехав из родни, он повернул голову и, когда убедился, что дон Кихота больше не видно, спрыгнул с осла и, усевшись у подножия дерева, принялся разговаривать сам с собой:

— Ну, теперь скажи-ка мне, братец Санчо, куда

ваша милость отправляется? Отправляешься ли ты искать осла, которого потерял? — Нет, конечно. — Так что же ты ищешь? — Я иду искать не более не менее, как принцессу, которая — и солнце красоты и, вместе с тем, все небо. — И где же ты думаешь все это найти, Санчо? — Где? — В великом городе Тобосо. — Ну, ладно, а от чьего имени ты ее ищешь? — От имени знаменитого рыцаря дон Кихота Ламанчского, который восстанавливает справедливость, кормит жаждущих и поит голодных.* — Все это отлично. А знаешь ли ты, Санчо, где ее дом? — Мой господин говорит, что живет она в королевском дворце и в пышном замке. — А ты, что же, видел ее когда-нибудь? — Нет, ни я, ни мой господин никогда ее не видели. — А не думаешь ли ты, что будет уместно и вполне справедливо, если жители Тобосо, узнав, что ты бродишь тут с намерением соблазнять их принцесс и смакивать их знатных дам, — сокрушат тебе ребра хорошими дубинками и не оставят во всем твоём теле ни одной целой косточки? — Да, конечно, они будут совершенно правы, если только не примут во внимание, что я всего-на-всего посланец:

Вы гондом сюда явились, —

Нет вины на вас, мой друг.*

Не очень-то на это полагайся, Санчо, ибо ламанчцы столь же раздражительны, сколь и честны, и терпеть не могут щекотки. Видит бог, если они тебя выведут на чистую воду, тебе не слобровать. — Чур меня, чур! Грими, грими гром, да не над моим домком! И что это меня дернуло ради чужого удовольствия, искать у кота пятой ноги?

А разыскивать в Тобосо Дульсинею — все равно что искать в Равенне Марику, или в Саламашке бакалавра. * Да, сам дьявол, не иначе, как дьявол, впутал меня в эту историю!

Такую беседу вел Санчо с самим собою, а заключение вывел из нее следующее:

— Ну ладно, все на свете можно исправить, кроме смерти, под ярмом которой всем нам придется пройти в конце нашей жизни, хочешь не хочешь. Я вижу по тысяче признаков, что мой господин — сумасшедший, которого следует связать, да и я ни в чем ему не уступаю: я еще безумнее его, так как служу и сопутствую ему, а ведь правду говорит пословица: «скажи мне, с кем ты водишься, и я скажу тебе, кто ты таков», и другая: «Не в том суть, от кого ты родился, а с кем ты пасешься». Итак, он сумасшедший, и сумасшествие заставляет его постоянно принимать одни вещи за другие, белое почитать черным и черное белым, — стоит только вспомнить, как ветряные мельницы называл он великанами, поповских мулов — верблюдами, а стада баранов — неприятельскими войсками, и прочее в таком же роде, — а если так, то не трудно будет уверить его, что первая же крестьянка, которая попадется мне здесь на глаза, и есть сеньора Дульсинея; если он не поверит, я поклянусь, если он сам станет клясться, я снова поклянусь; он будет настаивать, а я еще больше, а так как у меня такой нрав, что меня не переспоришь, то будь что будет. Очень возможно, что своим упорством я добьюсь того, что он больше не станет посылать меня с подобными поручениями, так как убедится, что ничего путевого у меня не выходит; а еще, может быть, он

подумает (как я надеюсь), что какой-нибудь злой волшебник из числа его недоброжелателей изменил облик его дамы, чтобы причинить ему обиду и огорчение.

Эти размышления успокоили душу Санчо, и он решил, что дело его уже сделано; он просидел под деревом до вечера, для того чтобы дон Кихот не сомневался, что он действительно был в Тобосо и успел оттуда вернуться; и вышло все так удачно, что как раз в ту минуту, когда он встал и собирался сесть на серого, он посмотрел в сторону Тобосо и увидел трех крестьянок, ехавших оттуда на ослах или на ослицах. Автор не дает на этот счет точного указания, но можно предположить, что ехали они на ослицах, которые, обычно служат крестьянкам скакунами: впрочем, это не имеет большого значения, а потому нам не стоит тратить времени на выяснение этого вопроса.

Итак, увидев крестьянок, Санчо быстрым ходом направился к своему господину дон Кихоту, который все еще продолжал вздыхать и разливаться в любовных жалобах. Завидев Санчо, дон Кихот сказал:

— Ну что, друг Санчо? Каким камушком отметить мне этот день — белым или черным?

— Да уж лучше, — ответил Санчо, — отметьте его, ваша милость, красненьким, как величания для профессоров, чтобы всем было хорошо видно.

— Значит, — сказал дон Кихот, — ты приносишь хорошие вести!

— До того хорошие, — ответил Санчо, — что вашей милости остается только прищипорить Росинанта и выехать в чистое поле: сеньора Дульсиinea

Тобосская с двумя своими прислужницами едет в гости к вашей милости.

— Боже милосердный! — воскликнул дон Кихот. — Что говоришь ты, друг Санчо? Смотри, не обманывай меня и не пытайся ложной радостью облегчить мою неподдельную печаль.

— Да какой мне прок обманывать вашу милость, — возразил Санчо, — тем более, что вам так не трудно обнаружить правду? Пришпорьте коня, поезжайте за мной, и вы увидите госпожу нашу принцессу в наряде и убранстве, достойном ее величия. И она и ее прислужницы так и горят золотом, жемчужными нитями, алмазами, рубинами и десятипрядными парчевыми тканями; волосы их распущены по плечам и развеваются по ветру, как лучи солнца; а самое главное, едут они на чубарых разноходцах, лучше которых на свете не сыщешь.

— Ты хочешь сказать — на иноходцах, Санчо?

— Разница не велика, разноходцы или иноходцы, — возразил Санчо, — но на чем бы они ни ехали, а только более изящных дам нельзя себе представить, особенно же наша госпожа принцесса Дульсинея — от нее можно просто сомлеть.

— Поедем, друг Санчо, — ответил дон Кихот, — а в награду за эти неожиданные добрые вести я отдам тебе лучший трофей, который захвачу в первом же приключении; а если этого тебе недостаточно, я жалую тебе жеребят, которые родятся от трех моих кобыл, — ты ведь знаешь, что они на общественном выгоне в нашем селе и скоро должны ожеребиться.

— Я больше стою за жеребят, — сказал Сан-

чо, — так как не очень уверен, что трофеи, которые вы захватите в первом приключении, будут хороши.

Тут они выехали из леса и увидели неподалеку трех крестьянок. Дон Кихот тщательно оглядел всю тобосскую дорогу и, увидев одних только крестьянок, крайне смутился и спросил Санчо, действительно ли Дульсинея и ее спутницы выехали из города.

— Как так выехали из города? — воскликнул тот. — Да что, у вашей милости глаза на затылке, что ли? Как же вы не видите, что это они и есть, и что едут они прямо нам навстречу, сияя точно солнце в полдень?

— Я вижу только трех крестьянок верхом на трех ослах, Санчо, — ответил дон Кихот.

— Господи, спаси нас от дьявольского навождения! — сказал Санчо. — Как же это может быть, чтобы три иноходца, — или как их там зовут, — белые, как только что выпавший снег, казались вашей милости ослами. Господи, помилуй, да я готов себе бороду вырвать, коли это правда.

— Говорю тебе, друг Санчо, — возразил дон Кихот, — что пред нами ослы или ослицы, и это такая же правда, как и то, что я дон Кихот, а ты Санчо Панса, по крайней мере мне так кажется.

— Замолчите, сеньор, — сказал Санчо, — не говорите таких слов, протрите лучше глаза и ступайте приветствовать владычицу ваших мыслей, — вот уж она подъезжает.

И с этими словами он отправился вперед, чтобы встретить крестьянок; и, спешившись, схватил за уздечку осла одной из них и, упав на оба колена, сказал:

— Королева, принцесса и герцогиня красоты,

да соблаговолит ваше великое вельможество милостиво и благомысленно принять плененного вами рыцаря; вот стоит он, как мраморный столп, смятенный и оцепенелый перед лицом вашего великолепия. Я — его оруженосец, Санчо Панса, а он сам — блуждающий рыцарь дон Кихот Ламанчский, иначе прозывающийся рыцарем Печального образа.

Тут и дон Кихот опустился на колени рядом с Санчо и широко вытаращенными помутневшими глазами смотрел на ту, кого Санчо называл сеньорой и королевой; видя перед собой всего только крестьянскую девушку, довольно некрасивую, круглолицую и курносую, он пребывал в изумлении, удивлялся и не решался произнести ни слова. А крестьянки тоже были поражены, заметив, что два столь не похожих друг на друга человека стоят на коленях перед одной из них и не дают ей ехать дальше; наконец, остановившаяся было девушка резко и сердито закричала:

— Не загораживайте, анафемы, дорогу и сейчас же пропустите нас; мы торопимся.

На это Санчо ответил:

— О, принцесса и верховная владычица Тобосо! Неужели великодушное сердце ваше не смягчится при виде того, как перед вашим превосходительным ликом склонил колени сей столп и утверждение странствующего рыцарства?

Услышав эти слова, другая крестьянка сказала:

— К свёкрову ослу с скребницей не подходи! Полюбуйтесь, пожалуйста, как эти господчики издеваются над крестьянами! Не беспокойтесь, мы тоже умеем брехать не хуже вас. Ступайте своей дорогой, оставьте нас в покое и езжайте себе на здоровье.

— Встань, Санчо, — сказал тут дон Кихот, — я теперь вижу, что судьба еще не насытилась моими несчастьями и что для бедственной души моей, томящейся в теле, отрезаны все пути к радости. А ты, о высочайшая добродетель, о какой только можно мечтать, о предел человеческого



благородства и единственная отрада обожающего тебя опечаленного сердца, — хоть злокозненный волшебник, преследующий меня, наложил на мои глаза пелену и закрыл их туманом, и мне одному только кажется, что твое несравненное по красоте лицо превратилось в лицо бедной крестьянки, — но если только он и меня не превратил в како-

шибудь чудище, чтобы сделать мой вид ненавистным для очей твоих, — посмотри на меня нежно и любовно, я смиренно, на коленях, стою перед твоей претворенной красотой, и ты видишь, с какой покорностью душа моя тебя обожает.

— Рассказывайте это моему дедушке! — ответила крестьянка. — Очень мне нужны ваши заигрывания! Ступайте прочь, не загораживайте дорогу — честью прошу.

Санчо отошел в сторону, пропустил крестьянку и был радехонек, что его затея так благополучно кончилась. А девушка, игравшая роль Дульсины, освободившись, ткнула своего *разноходца* в бок острием палки, которую держала в руках, и погнала его по полю; но ослица, почувяв острие, вонзившееся глубже, чем обыкновенно, стала лягаться и сбросила сеньору Дульсинею на землю. Увидев это, дон Кихот подбежал ее поднять, а Санчо — поправить и привязать седло, съехавшее ослице на брюхо. Когда седло было подтянуто, дон Кихот собирался уже взять на руки свою заколдованную сеньору и усадить ее, но сеньора избавила его от этого труда, поднялась сама, отошла немного назад и, взяв разбег, уперлась обеими руками в круп ослицы, легче сокола вскочила в седло и села верхом по-мужски. Тогда Санчо сказал:

— Клянусь святым Роке, наша госпожа легче кречета; она могла бы поучить верховой езде самых ловких кордобанцев или мексиканцев! Одним махом перелетала она через заднюю луку седла, а теперь без шпор погнала своего иноходца, как зебру, да и прислужницы от нее не отстают — ишь как они помчались, словно ветер.

И Санчо говорил правду, потому что две дру-

гие крестьянки, увидев, что Дульсинея сидит верхом, погнали ослиц и помчались во всю прыть, не оборачиваясь на расстоянии больше полумили.

Дон-Кихот проводил их глазами, а когда они скрылись, обратился к Санчо и сказал:

— Санчо, что ты на это скажешь? Вот что я терплю от волшебников. Подумай только, до чего доходит их коварство и ненависть: ведь они лишили меня радости лицезреть мою сеньору в подлинном ее образе. Да, я родился, чтобы служить примером всем несчастливцам на свете и чтобы быть целью и мишенью, куда устремляются и падают все стрелы злой судьбы: и заместя себе, Санчо, эти предатели не удовольствовались тем, что изменили и превратили мою Дульсинею, — нет, им понадобилось придать ей низкий и некрасивый образ этой крестьянки, а вместе с тем они отняли у нее то, что столь свойственно высокородным сеньорам, живущим среди цветов и амбры, именно их приятный запах, ибо должен тебе сказать, Санчо, когда я подошел к Дульсинею, чтобы подсадить ее на иноходца (по крайней мере, ты утверждаешь, что это был иноходец, а мне он показался ослицей), то от нее так сильно пахнуло сырым чесноком, что у меня закружилась голова и я чуть не задохся.

— Какие мерзавцы! — воскликнул в ответ Санчо. — Ах, зловредные и злокозненные волшебники, взять бы вас всех под жабры да и нанизать на тростинку, как сардинок! Много вы знаете, много можете, а еще больше зла делаете. Мало того, негодяи, что вы превратили жемчужные очи моей сеньоры в чернильные орешки, волосы из

чистейшего золота — в щитину рыжего бычьего хвоста, прелестные черты ее лица — в одно безобразие, — вам понадобилась еще и запах ее изменить, чтобы мы по ее благоуханию не смогли догадаться, что скрыто под этой гадкой корой; хотя, по правде говоря, я видел отнюдь не безобразие ее, а одну красоту, и красота ее была как бы усилена и увеличена родимым пятном, сидевшим у нее вроде уса справа над губой, с торчащими из него семью или восемью белокурыми, как нити чистого золота, волосками, длиною в пядь.

— Между лицом нашим и телом существует полное соответствие, — сказал дон Кихот, — и такое же родимое пятно должно быть у Дульсини посредине ляжки с той же стороны, что и на лице; только длина волосиков, которую ты назвал, слишком велика для родимых пятен.

— Уверяю вас, ваша милость, — ответил Санчо, — что они сидели там, как вылитые.

— Верю тебе, друг мой, — сказал дон Кихот, — ибо природа не одарила Дульсинею ни одной чертой, которая не была бы законченной и совершенной; а если бы у нее было не одно родимое пятно, как говоришь ты, а целых сто, то и тогда казались бы они не родинками, а лунами и сверкающими звездами. Но скажи мне, Санчо, то, что показалось мне ослиным седлом, — было ли это простое седло или седло со спинкой?

— Да нет же, — ответил Санчо, — это было седло с короткими стременами, в богатой дорожной попоне, стоившей не меньше полдарства.

— А я всего этого не видел, Санчо! — вос-

кликнул дон Кихот. — Повторяю и повторю тысячу раз, что я несчастнейший из смертных.

А плут Санчо с трудом удерживался от смеха, слыша сумасбродства своего господина, которого он так ловко одурачил. Наконец, поговорив еще о многом другом, они сели верхом на своих скакунов и поехали дальше в сторону Сарагосы, надеясь прибыть туда во-время, чтобы принять участие в торжественных празднествах, которые ежегодно устраиваются в этом славном городе; но прежде чем они туда попали, приключилось с ними такое множество великих и невиданных происшествий, что стоит о них и написать и прочесть, как вы сами увидите дальше.

ГЛАВА XI

о странном приключении, случившемся у доблестного дон Кихота с колесницей или тележкой «Дворца Смерти»



огруженный в глубокое раздумье, ехал дон Кихот по дороге, вспоминая о злой шутке, которую сыграли с ним волшебники, превратившие его госпожу Дульсинею в безобразную крестьянку, и все не мог придумать, каким способом возвратить ей ее первоначальный облик; и эти мысли так его поглощали, что он незаметно для себя отпустил узду Росинанта, а тот, почувяв, что ему дают свободу, на каждом шагу останавливался и щипал зеленую травку, в изобилии росшую в поле. Наконец Санчо вывел его из одури, сказав следующее:

— Сеньор, печали созданы не для животных, а для людей, но если люди чрезмерно им предаются, они превращаются в животных; возьмите себя в руки, ваша милость, придите в себя, натяните узду Росинанту, оживитесь, проснитесь и проявите бодрость, как это полагается странствующему рыцарю. Что за чорт! К чему такое уныние? Да где мы — здесь или во Франции?

Пускай себе сатана унесет всех Дульсиной на свете; здоровье одного странствующего рыцаря дороже, чем все волшебства и превращения в мире.

— Замолчи, Санчо,— ответил дон Кихот довольно твердым голосом,— говорю тебе, замолчи, и не изрекай кощунств против нашей очарованной сеньоры, ибо я один виноват в ее несчастии и бедствии: злключения ее произошли от того, что злодеи мне завидуют.

— Да и я то же говорю,— ответил Санчо,— кто видел, чем она была, и видит, чем она стала, у того все сердце слезами изойдет.

— Да, ты можешь так говорить, Санчо,— сказал дон Кихот,— ведь ты видел во всей полноте ее красоту, чары на тебя не распространились, не затуманили твоего взгляда, не укрыли от тебя ее прелесть, вся сила этого яда была направлена только против меня и моих глаз: и все же, одна вещь меня смущает, Санчо: ты плохо описывал ее красоту; ты ведь сказал, если я помню, что глаза у нее были словно жемчуг, а глаза вроде жемчуга бывают скорее у рыб, чем у женщин; мне же кажется, что очи Дульсиной должны были походить на зеленые изумруды, рассеченные пополам и осененные двумя небесными арками, служащими ей бровями; а жемчуг твой к глазам не относится, ты его прибереги для зубов; наверное Санчо, ты ошибся, и глаза принял за зубы.

— И то возможно,— ответил Санчо,— ведь ее красота поразила меня столь же сильно, как вашу милость ее безобразие; но предоставим все это господа богу,— он знает все, чему суждено быть в этой юдоли слез, в нашем грешном мире, в котором ни одной вещи не найдешь без при-

меси зла, обмана и подлости. Но одно обстоятельство тревожит меня больше всех остальных, сеньор мой; если теперь ваша милость победит какого-нибудь великана или рыцаря и велит им предстать перед красотой сеньоры Дульсинеи, то где этот бедный великан или бедный, несчастный и побежденный рыцарь ее отыщут? Я как сейчас их вижу: слоняются они, как болваны, по Тобосо и ищут сеньору Дульсинею; ведь повстречай ее они даже посреди улицы, все равно узнают они ее не больше, чем моего батюшку.

— Возможно, Санчо, — ответил дон Кихот, — что чары эти не простираются на побеждаемых мною великанов и рыцарей, которых я посылаю к Дульсинее; проделаем опыт с одним или двумя из числа тех, кого я в первую очередь одолею и пошлю в Тобосо, и мы узнаем, видели они ее или нет: стоит только велеть им вернуться и сообщить мне обо всем, что с ними при встрече случилось.

— Скажу вам, сеньор, — ответил Санчо, — что я вполне одобряю ваши слова и что с помощью этой хитрости мы выясним все, что нам хочется; если окажется, что сеньора Дульсинея скрыта только от глаз вашей милости, — ну, тогда беда будет не столько ее, сколько ваша; лишь бы она пребывала во здравии и благополучии, а сами мы как-нибудь обойдемся и управимся, стараясь искать как можно больше приключений, остальное же предоставим времени; оно — лучший врач, излечивающий болезни и похуже этого.

Дон Кихот собирался было ответить Санчо Пансе, но ему помешала это сделать выехавшая на дорогу телега, наполненная такими странными

и разнообразными лицами и фигурами, что и представить себе трудно.

Погонял мулов и исполнял обязанность кучера какой-то безобразный демон; телега была открытая, без полотняного верха и без плетеных сте-



нок. Первой фигурой, представшей глазам дон Кихота, была сама Смерть с лицом человека; а рядом с ней ехал Ангел с большими размаляванными крыльями; с другой стороны стоял Император, и на голове его была корона, на вид из чистого золота; у ног Смерти сидел божок,

которого зовут Купидоном, без повязки на глазах, с луком, колчаном и стрелами; далее стоял рыцарь, вооруженный с ног до головы, только вместо шлема или шишака на нем была шляпа, украшенная разноцветными перьями; а дальше находилось много других лиц разного вида и по-разному одетых.

Дон Кихот совсем не ожидал такого зрелища и несколько смутился, а у Санчо сердце сжалось от страха; но через мгновение рыцарь наш воспрянул духом, решив, что ему предстоит новое и опасное приключение; и вот, подумав об этом, с полной готовностью ринуться на любую опасность, он остановил коня перед тележкой и закричал громким и грозным голосом:

— Кто бы ты ни был — погонщик, кучер или сам дьявол, объясни мне немедленно, кто ты, куда едешь и каких людей везешь в своей повозке, которая столько же похожа на обыкновенную телегу, сколько на ладью Харона.

Тут дьявол придержал вожжи и кротко ответил:

— Сеньор, мы актеры из труппы Ангуло Плохого;* сегодня утром, в восьмой день после праздника тела господня, мы играли в деревне, что там за этим холмом, действие о *Дворце Смерти*,* а вечером мы будем его играть в другой деревне, которая отсюда виднеется. Ехать нам недалеко, и мы решили, что раздеваться и снова одеваться — лишний труд, а потому и едем в костюмах, в которых представляем. Этот парень изображает Смерть, этот — Ангела, эта женщина, жена хозяйина, — Королеву, вон тот — Солдата, этот — Императора, а я — Дьявола, и моя роль одна из главных в этом действе, ибо в нашей труппе я

исполняю первые роли; если вашей милости желательно узнать о нас еще что-нибудь, пожалуйста, спросите, и я отвечу вам с полной точностью, ибо я — дьявол, и для меня нет ничего невозможного.

— Клянусь честью странствующего рыцаря, — ответил дон Кихот, — когда я увидел вашу повозку, я подумал, что судьба посылает мне какое-то великое приключение, но теперь я понимаю, что стоит только коснуться видимости рукою, и она тотчас же окажется обманом. Ступайте с богом, добрые люди, давайте ваше представление и подумайте, не могу ли я быть вам чем-нибудь полезен, — я охотно от чистого сердца исполню вашу просьбу, ибо с самого детства я почитал театральную маску, а в юности глаза проглядел на комедиантов.*

Пока они таким образом беседовали, судьбе заблагорассудилось подвести к ним одного из актеров труппы, одетого шутом и увешенного бубенчиками; в руках он держал палку, к концу которой было привязано три надутых бычьих пузыря, и подойдя к дон Кихоту, этот скоморох принялся фехтовать своей палкой, хлопая по земле пузырями и высоко подпрыгивать, потрясая бубенцами; это опасное зрелище так испугало Росинанта, что, несмотря на усилия дон Кихота сдерживать его, он закусил удила и помчался по полю с таким проворством, какого никак нельзя было ожидать от костей его скелета. Санчо, увидев, что господину его угрожает опасность быть сброшенным на землю, вскочил на своего серого и во весь дух помчался ему на помощь; но когда он прискакал, тот лежал уже на земле,

а рядом с ним растянулся Росинант; таков был неизменный конец и исход причуд и дерзновенный Росинанта.

Не успел Санчо спрыгнуть с осла и подбежать к дон Кихоту, как пляшущий дьявол вскочил на его серого и начал хлопать его пузырями по спине; не столько от боли, сколько от страха перед гулкими ударами, осел понесся по полю в сторону той деревни, где должен был состояться праздник. А Санчо смотрел на мчащегося осла и на упавшего господина и не знал, какой беде пособить раньше; но он был добрым оруженосцем и добрым слугой, а потому любовь к господину победила в нем, наконец, привязанность к серому; и все же, всякий раз, как пузыри взлетали на воздух и опускались на круп ослика, они отдавались в его сердце смертельными ударами, и ему больше хотелось, чтобы эти удары поразили его собственные зрачки, чем волоски на хвосте его ослика.

В мучительном замешательстве он подошел к дон Кихоту, находившемуся в более плачевном состоянии, чем он сам желал бы и, помогая ему сесть на Росинанта, сказал:

— Сеньор, Чорт угнал моего серого.

— Какой чорт? — спросил дон Кихот.

— Да тот, с пузырями, — ответил Санчо.

— Ничего, я его добуду, — сказал дон Кихот, — даже если его упрячут в самые глубокие и темные бездны ада. Ступай за мной, Санчо, повозка их едет медленно; вместо пропавшего серого ты получишь их мулов.

— Нам незачем торопиться, сеньор, — ответил Санчо, — умерьте гнев, ваша милость, сдается мне,

что Чорт уже бросил серого, и тот возвращается обратно.

Так оно и было на самом деле, ибо, подражая в этом дон Кихоту и Росинанту, Чорт свалился наземь и побрел в деревню пешком, а осел вернулся к своему хозяину.

— И все же, — сказал дон Кихот, — за наглость этого Чорта, следовало бы проучить кого-нибудь из едущих в повозке, хотя бы, например, самого Императора.

— Бросьте об этом думать, ваша милость, — возразил Санчо, — и послушайте моего совета: никогда не следует связываться с актерами, потому что все им покровительствуют. Я раз видел, как одного актера посадили в тюрьму за двойное убийство — и немедленно же выпустили на свободу без всякого штрафа. Вашей милости следует помнить, что актеры — народ веселый и потешный, а потому все их ласкают, защищают, любят, все им помогают, особенно ежели они принадлежат к королевским и княжеским труппам, в которых все или большинство актеров по осанке и по одежде кажутся принцами.

— И тем не менее, — ответил дон Кихот, — этот скоморошествоющий демон не очень-то у меня расхвастается, хотя бы ему покровительствовал весь род человеческий.

С этими словами он подъехал к повозке, которая уже приближалась к деревне, и закричал громким голосом:

— Стойте, погодите, весельчаки и потешники, я хочу показать вам, как следует обращаться с ослами и скотами, на которых ездят оруженосцы странствующих рыцарей!

Дон Кихот кричал так громко, что актеры, сидевшие в повозке, услышали, разобрали его слова и догадались о его враждебных намерениях; тогда в одну минуту из повозки выпрыгнула Смерть, за ней Император, возница-Чорт, Ангел и, наконец, Королева и божок Купидон, — все они запаслись камнями и выстроились в боевом порядке, собираясь встретить дон Кихота градом булыжников. А дон Кихот, увидав, что они отважно приготовились к бою и подняли руки, намереваясь изо всех сил швырять в него камнями, натянул узду Росинанта и стал обдумывать, с какой бы стороны напасть на них, наименее подвергая опасности свою особу. А пока он раздумывал, подошел Санчо и, увидев, что господин его собирается атаковать такой стройный отряд, сказал:

— Какое безумие ввязываться в подобные предприятия: ведь против такого каменного дождя нет другого оборонительного средства, кроме как присесть на землю и прикрыться бронзовым колоколом; а к тому же, подумайте: одному человеку нападать на войско, в котором находится сама Смерть, собственнолично сражаются императоры и ратоборствуют добрые и злые ангелы, — ведь это уж не храбрость, а безрассудство! Если же мои доводы не в силах заставить вас успокоиться, то вспомните, что среди ваших неприятелей, на вид кажущихся королями, принцами и императорами, наверное нет ни одного странствующего рыцаря.

— Вот теперь, Санчо, — сказал дон Кихот, — ты действительно попал в точку, и этот довод может и должен изменить мое твердое решение. Я уже много раз тебе говорил, что не могу и не

должен обнажать меч против тех, кто не посвящен в рыцари. Тебе, Санчо, подобает биться с ними, если ты хочешь отомстить за оскорбление, которое они нанесли твоему серому, а я издали буду помогать тебе словами и спасительными советами.

— Нет, сеньор, — ответил Санчо, никогда не следует никому мстить, ибо добрым христианам не приличествует мстить за обиды; и я уговорю осла предать его обиду в руки моей воли, а воля моя — прожить мирно все дни жизни, назначенные мне небом.

— Ну раз ты так решил, — сказал дон Кихот, — мой добрый, мой разумный, христиански настроенный и чистый сердцем Санчо, то оставим в покое эти чучела и поищем приключений получше и поблагороднее, ибо мне кажется, что в этих краях нас ждет множество самых чудесных происшествий.

Он тут же повернул Росинанта, Санчо сел снова на своего осла, а Смерть со своим летучим отрядом вернулась к повозке, чтобы ехать дальше; вот как счастливо окончилось это страшное приключение с повозкой Смерти. Возблагодарим же Санчу Пансу за спасительный совет, данный им дон Кихоту!

А у того на следующей день случилось новое приключение с одним влюбленным и странствующим рыцарем, и было оно не менее удивительно, чем предыдущее.

ГЛАВА XII

о странном приключении, случившемся у доблестного дон Кихота с отважным рыцарем Зеркал



очь после встречи со Смертью дон Кихот и его оруженосец провели под высокими и тенистыми деревьями, а перед этим Санчо уговорил дон Кихота отведать тех запасов, которые вез в котомке ослик, и во время ужина Санчо сказал своему господину:

— Сеньор, каким бы я был простофилей, если бы в награду себе я выбрал трофей, захваченные вашей милостью в первом военном деле, вместо жеребочков от ваших трех кобыл! Подлинно, вот уж подлинно сказано: «лучше воробей в руки, чем коршун в бебе».

— Однако, Санчо, — возразил дон Кихот, — если бы ты не помешал мне довершить мой подвиг, ты, во всяком случае, получил бы в виде трофея золотую корону Императрицы и размалеванные крылья Купидона; уж я бы этих плутов погладил против шерсти, и все их добро попало бы в твои руки.

— Никогда ни скипетры, ни короны скомо-

рошых императоров, — возразил Санчо Панса, — не бывают из чистого золота; все это или мштура, или кусочки жести.

— Да, правда твоя, — сказал дон Кихот, — ибо не полагается, чтобы принадлежности комедии были подлинными; они всего только подражание и видимость, как и она сама; но я бы хотел, Санчо, чтобы ты любил комедию и одинаково взыскал своею милостью и се и тех, кто сочиняет и разыгрывает комедии, ибо все они приносят великую пользу государству, постоянно показывая зеркало, в котором ярко отражаются дела человеческой жизни, и ничто не обрисует с такой яркостью, как комедия и комедианты, каковы мы на самом деле и каковыми нам быть надлежит. Если это не так, скажи: разве ты никогда не видел на сцене комедий, где выводятся короли, императоры, папы, рыцари, дамы и другие различные персонажи? Один изображает распутного бандита, другой — обманщика, третий — купца, четвертый — солдата, пятый — хитрого простака, шестой — простодушного влюбленного, а когда комедия кончается и актеры сбрасывают свои костюмы, — все они между собой равны.

— Да, видел, — ответил Санчо.

— Ведь то же самое, что в комедии, происходит и в нашей жизни, где одни играют роль императоров, другие — пап, словом, всех персонажей, которые могут встретиться в комедии; а когда наступает развязка, то есть, когда кончается жизнь, смерть снимает эти разнообразные костюмы, и в могиле все между собой равны.

— Отличное сравнение! — воскликнул Санчо, —

хотя и не такое уж новое, и я слышал его много раз и при разных обстоятельствах, равно как уподобление жизни игре в шахматы: пока продолжается эта игра, каждая фигура имеет свое особое значение, а когда игра кончена, все фигуры смешиваются, собираются вместе, перепутываются и попадают в один мешок, вроде того как все живое попадает в могилу.

— С каждым днем, Санчо, — сказал дон Кихот, — ты делаешься все менее простоватым и все более разумным.

— Да ведь не может же быть, чтобы ко мне не пристало чего-нибудь из премудрости вашей милости, — ответил Санчо. — Бывают земли от природы бесплодные и сухие, а ежели их хорошенько унавозить и обработать, они дают хороший урожай; я хочу сказать, что беседы вашей милости были тем навозом, который падал на бесплодную почву моего сухого разума, а то время, что я служил вам и общался с вами, было обработкой земли; вот почему я надеюсь, что скоро от меня уродятся благословенные плоды и что будут они приличны и достойны тех тропок доброго воспитания, которые ваша милость проложила на выжженном поле моего разума.

Дон Кихот посмеялся высокопарным речам Санчо, но все же нашел, что Санчо действительно сделал большие успехи, ибо иногда говорил он так складно, что нельзя было не удивляться; впрочем, почти всякий раз, когда Санчо хотел говорить по-ученому и по-придворному, дело кончалось тем, что он свергался с вершин своего простодушия в бездны невежества; но особенное изящество и памятьливость проявлял он, посто-

ленно приводя пословицы без всякой заботы о том, кстати ли они или некстати, как уже читатель видел и отметил это на протяжении нашей истории.

В таких-то или весьма сходных беседах провели они большую часть ночи, и наконец Санчо захотелось опустить шлюзы своих глаз, — так он выражался, желая сказать, что ему хочется спать; поэтому он расседлал серого и оставил его свободно пасть на сочной траве. С Росинанта же седла он не снял, ибо господин его строго запретил расседлывать Росинанта все время, пока они находятся в походе и спят под открытым небом: известно, что страстующие рыцари установили и всегда соблюдали древний обычай снимать с коня уздечку и привязывать ее к луке седла, но снимать седло — храни бог! Санчо так и поступил и позволил Росинанту свободно пасть вместе с осликом, — а дружба этих животных была тесная и единственная в своем роде, так что даже существует предание, переходящее по наследству от отца к сыну, что автор этой правдивой истории посвятил их дружбе несколько особых глав, но, дабы соблюсти приличие и пристойность, подобающие столь героической истории, он не включил их в свою книгу; впрочем, в иные минуты он не считается с этим решением и сообщает, что, как только коню и ослику удавалось сойтись вместе, они начинали друг друга почесывать, а потом усталый и довольный Росинант клал свою шею на шею ослика, так что с другой стороны она торчала по крайней мере на локоть, и, задумчиво смотря в землю, простаивали они в таком положении дня по три или во всяком случае все

время, когда они были свободны и когда голод не заставлял их искать пропитания. Говорят даже, будто автор оставил сочинение, в котором дружба их сравнивалась с дружбой Низа и Эвриала, а также Пилада и Ореста; если это так, то ко всеобщему удивлению оказывается, что дружба между этими смиренными животными была так крепка, что людям следовало бы устыдиться, ибо сами они не умеют хранить взаимной привязанности. Потому-то и сказано:

Нет для друга в мире друга:
В конья встали тростники*

и еще:

Добрый друг от друга стерпит
И клопа в своем глазу.

И пусть никто не думает, что автор сбился несколько с пути истины, сравнив дружбу этих животных с человеческой дружбой, ибо от животных люди получили много назидательных уроков и узнали множество важных вещей: аисты научили нас употреблению клистирных трубок, собаки — блеванию и благодарности, журавли — бдительности, муравьи — предусмотрительности, слоны — благопристойности, а лошади — верности.*

Наконец, Санчо заснул у подножия пробкового дерева, а дон Кихот задремал под могучим дубом; но прошло немало времени, как вдруг он проснулся, услышав за своей спиной какой-то шум; он переполошился, вскочил на ноги и принялся всматриваться и вслушиваться, желая понять, откуда доносится шум; тут увидел он двух всадников, один из которых соскочил с седла и сказал другому:

— Сойди с коня, друг мой, и разнуздай лошадей; мне кажется, что в этом месте в изобилии найдется для них трава, а для моих любовных



мыслей—то, что им больше всего нужно—тишина и уединение.

Сказать эти слова и разлечься на траве — было для него делом одной минуты, и, когда он бросился наземь, загремели надстык на нем доспехи— явный признак, по которому дон Кихот заклю-

чил, что незнакомец — странствующий рыцарь; подойдя к спящему Санчо, он потянул его за руку, с большим трудом привел его в чувство, а затем шопотом сказал:

— Братец Санчо, вот и приключение!

— Дай-то бог, чтоб хорошее! — ответил Санчо. — А где же, сеньор мой, господчик-то этот самый, то есть приключение?

— Где, оно Санчо? — ответил дон Кихот. — А поверни-ка голову и посмотри, — вон там на траве лежит странствующий рыцарь и, насколько я могу понять, он не слишком весел; я видел, как он соскочил с лошади и разлегся на земле, повидимому, чем-то очень расстроенный, а когда он ложился, доспехи его загремели.

— Но почему же вашей милости кажется, — спросил Санчо, — что это — приключение?

— Я не хочу сказать, — ответил дон Кихот, — что это уже и есть само приключение, — нет, это только его начало, ибо все приключения так начинаются. Но слушай, он, кажется, настраивает лютню или виолу, слезывает и прочищает горло, как будто готовясь что-то спеть.

— Честное слово, вы правы, — ответил Санчо, — это не иначе, как влюбленный рыцарь.

— Странствующий рыцарь не может не быть влюбленным, — заявил дон Кихот. — Послушаем же: если он станет петь, мы, ухватившись за нитку, распутаем весь клубок, ведь от избытка сердца наши уста глаголют.

Санчо собирался возразить своему господину, но тут помешал ему голос рыцаря Леса, который был не то, чтобы плох, и не то, чтобы хорош; наши друзья со вниманием выслушали следующий сонет:

СОНЕТ

Сеньора, дайте мне для исполненья
Наказ, согласный вашей точной воле, —
В таком почете будет он и холе,
Что ни на шаг не встретит отклоненья.
Угодно ль вам, чтоб, скрыв свои мученья,
Я умер? — Нет меня на свете боле!
Хотите ль вновь о злополучной доле
Слыхать? — Амур исполнит порученье.
Я мягкий воск в душе соединяю
С алмазом крепким, — и готовы оба
Любви высокой слушать приказанья.
Вот — воск, иль камень, — вам предоставляю:
На сердце вырежьте свое желанье —
И сохранять его клянусь до гроба.

Кончив свою песню, рыцарь Леса воскликнул «ах!» — и казалось, что стон этот вырвался из самой глубины его сердца, — а вскоре затем заговорил он жалобным и скорбным голосом:

— О прекраснейшая и бесчувственнейшая из всех женщин на свете! Неужели, светлейшая Касильдея Вандальская, * ты позволишь плененному тобой рыцарю измучиться и погибнуть в вечных странствиях и в тяжелых и суровых трудах? Разве для тебя недостаточно того, что по моему приказу все рыцари Наварры, Леона, Тартесии, Кастилии и, наконец, Ламанчи признали тебя прекраснейшей дамой во всем мире?

— Это неправда! — вскричал тут дон Кихот. — Я — рыцарь из Ламанчи, и я никогда этого не признавал, да и не мог и не должен был признавать того, что наносит ущерб красоте моей дамы. Теперь ты видишь, Санчо, что этот рыцарь бре-

дит. Впрочем, послушаем дальше, быть может, он выскажется еще яснее.

— Конечно, выскажется, — ответил Санчо, — по всему видно, что он готов голосить хоть целый месяц под рыд.

Но произошло иначе, ибо рыцарь Леса услышал, что кто-то разговаривает неподалеку от него, и, перестав жаловаться, поднялся на ноги и сказал звонким и приветливым голосом:

— Кто там? Что за люди? Принадлежите ли вы к числу радостных или скорбящих?

— Скорбящих, — ответил дон Кихот.

— Тогда подойдите ко мне, — сказал рыцарь Леса, — и знайте, что вы подходите к воплощению печали и скорби.

Услышав столь ласковый и учтивый ответ, дон Кихот подошел поближе, и Санчо следом за ним. Возносивший жалобы рыцарь схватил дон Кихота за руку и сказал:

— Присядьте сюда, сеньор рыцарь; ибо, чтобы догадаться, что вы рыцарь и принадлежите к странствующему ордену, мне достаточно того, что я встречаю вас здесь, где вам сопутствует одно лишь уединение да ясное небо — естественное ложе и привычные покои странствующих рыцарей.

На это дон Кихот ответил:

— Вы правы, я рыцарь этого ордена, и хотя в душе моей как в своем собственном жилище поселились печали, бедствия и невзгоды, несмотря на это в сердце моем не угасло сострадание к чужому горю; из песни, которую вы недавно пели, я заключил, что ваши страдания — любовные, — я хочу сказать, что причина их — любовь к той

жестокой красавице, имя которой вы призывали в ваших жалобах.

И, беседуя таким образом, они сидели рядом на твердой земле в мире и согласии, не подозревая о том, что на рассвете они примутся тужить друг друга по голове.

— А скажите, сеньор рыцарь,—спросил рыцарь Леса дон Кихота, — не влюблены ли и вы?

— К несчастью, да,—ответил дон Кихот,—впрочем, любя достойную даму, мы должны почитать наши любовные страдания благодатью, а не бедствием.

— Это чистая правда,—сказал рыцарь Леса,—если бы только презрение наших дам, в своей чрезмерности похожее на месть, не помрачало нашего рассудка и мыслей.

— Моя дама никогда меня не презирала,—возразил дон Кихот.

— Конечно, не презирала,—подтвердил стоявший поблизости Санчо,—ибо моя госпожа кротка как овечка и мягка как масло.

— Это — ваш оруженосец? — спросил рыцарь Леса.

— Да,—отвечал дон Кихот.

— Я никогда еще не видел,—сказал рыцарь Леса,—чтобы оруженосец осмеливался говорить в то время, как говорит его господин. Вот стоит мой оруженосец, и ростом он не ниже своего собственного отца, а я смело утверждаю, что он никогда в жизни не раскрывал рта, когда говорил я.

— Ну, а я говорю,—возразил Санчо,—и не побоюсь говорить перед таким... ну, не буду доканчивать,—лучше этого дела не трогать.

Оруженосец рыцаря Леса схватил Санчо за руку и сказал:

— Отойдем-ка в сторону, и поговорим как простые оруженосцы, о чем нам захочется, а сеньоры, наши господа, пусть себе ломают копья, рассказывая друг другу о своих любовных историях; наверное проговорят они до рассвета, да и то не кончат.

— В добрый час, — ответил Санчо, — а я расскажу вашей милости, кто я такой, и вы поймете, что меня нельзя валить в одну кучу с болтливыми оруженосцами.

Тут двое оруженосцев удалились в сторону и начали разговор, забавность которого ни в чем не уступила серьезности, с которой беседовали их господа.

ГЛАВА XIII

в которой продолжается приключение с рыцарем Леса и рассказывается о разумной, необычной и усладительной беседе, происшедшей между двумя оруженосцами



так, оруженосцы отделились от рыцарей, и первые принялись рассказывать друг другу о своей жизни, а вторые — о своей любви; но в истории приводится сначала беседа слуг, а уж потом идет беседа господ; автор говорит, что когда оруженосцы отошли немного в сторону, слуга рыцаря Леса сказал Санчо:

— Нелегкую жизнь ведем мы, оруженосцы странствующих рыцарей, сеньор мой: уж подлинно едим мы хлеб в поте лица своего, а ведь это — одно из проклятий, наложенных господом богом на наших праотцев.

— Вы бы также могли сказать, — ответил Санчо, — что мы едим хлеб в холоде нашего тела, ибо кто больше несчастных оруженосцев странствующего рыцарства страдает от жары и стужи? Добро бы еще мы этот хлеб ели — ведь с хлебом и беда в полбеда! — а то ведь нередко случается,

что целый день, а то и два, закусываем мы одним только ветерком.

— Все это можно перенести и претерпеть в надежде на ожидающие нас награды, — возразил слуга рыцаря Леса, — ибо если странствующий рыцарь, которому служит оруженосец, — не самый злополучный из смертных, то в непродолжительном времени слуга его может получить в награду управление каким-нибудь славеньким островом или весьма приятным графством.

— Я уже заявлял своему господину, — ответил Санчо, — что меня вполне удовлетворит управление островом; и мой господин так благороден и щедр, что неоднократно мне его обещал.

— А я буду доволен, — сказал оруженосец рыцаря Леса, — если за мою службу сделают меня капонином, и мой господин уже пообещал мне отличный приход.

— Значит, — сказал Санчо, — господин вашей милости — не иначе как рыцарь духовного ордена, раз он может жаловать такие награды своим добрым оруженосцам. А мой господин — лицо чисто светское, хотя, помнится мне, многие умные люди, правда, казавшиеся мне недоброжелателями, пытались уговорить его сделаться архиепископом; но он соглашался тогда только на императора, — а я в то время прямо дрожал, как бы ему не приглянулось духовное звание, ибо не чувствовал себя способным на владение бенефициями; должен я вам сказать, ваша милость, что хоть я с виду и человек, но к духовным должностям пригоден не более скотины.

— Истинное слово, вы заблуждаетесь, ваша милость, — возразил другой оруженосец, — ибо не все

островные владения — хорошего сорта: бывают среди них кривые, бедные, унылые, да, наконец, даже самые ладные и благополучные влекут за собой тяжелое бремя забот и неудобств, сваливающихся на плечи того несчастного, которому довелось их получить. Куда выгоднее было бы нам, томящимся в этом проклятом рабстве, вернуться к себе домой и заняться там более приятными делами, к примеру сказать — охотой или рыбной ловлей; ведь у всякого оруженосца на свете, как бы беден он ни был, найдется своя кляча, пара борзых и удочки, и, значит, ему есть чем поразвлечься у себя в деревне.

— Все это у меня есть, — ответил Санчо, — правда, нет клячи, но зато есть ослик, который раза в два будет лучше коня моего господина. Пусть господь не даст мне счастливо встретить первую Пасху, если я когда-нибудь соглашусь променять моего осла на его коня, хотя бы в придачу он дал мне еще четыре меры ячменя. Ваша милость подумает, что я шучу, если я стану перечислять все достоинства моего серого (такой уж масти мой ослик). И борзые у меня найдутся, ведь у нас в деревне их больше чем достаточно, а охота особенно приятна, когда она идет за чужой счет.

— Вот вам истинная правда, сеньор оруженосец, — ответил слуга рыцаря Леса, — что я положил и надумал бросить все эти рыцарские ахинеи, вернуться к себе в деревню и воспитывать детишек, — у меня их трое, и все — как восточные жемчужины.

— А у меня — двое, — сказал Санчо, — и их не стыдно подать на стол самому папе; особенно

же девчонка, которую я собираюсь, наперекор матери, сделать графиней, ежели будет на то милость божия.

— А сколько лет этой сеньоре, которая готовится в графини? — спросил другой оруженосец.

— Около пятнадцати, — ответил Санчо, — но она ростом не ниже копыя, свежа, как апрельское утро, и сильна точно поденщик.

— Да с такими достоинствами, — сказал слуга рыцаря Леса, — она может сделаться не только графиней, но и нимфой зеленой рощи. Ишь ты, плюшка, шлюхина дочь, — ну и силища же должна быть у этой твари!

На что Санчо ответил с некоторой обидой:

— Она не плюшка, и мать ее такой не была, да с помощью божьей, пока я жив, ни одна из них ею не станет. Говорите повежливей, ведь вы, ваша милость, получили воспитание среди странствующих рыцарей, которые — воплощение всяческой вежливости, а между тем речи ваши не очень-то пристойны.

— Плохо же вы разбираетесь в тонкостях похвал, ваша милость, сеньор оруженосец! — воскликнул собеседник. — Как, неужели вы не знаете, что всякий раз, когда рыцарь наносит быку на арене славный удар копьём, или когда кто-нибудь удачно справляется со своим делом, народ обычно кричит: «Ишь ты, плюха, шлюхин сынок, ну и ловко же это он сделал!» — и то, что в этом выражении кажется поношением, на самом деле является особенной честью? Да ежели ваш сын или дочь не сделают ничего такого, за что бы родителям их воздали такую хвалу, то от таких детей, сеньор, следует просто отречься.

— Да я и отрекаюсь, — ответил Санчо. — Если так, то вы, ваша милость, можете преспокойно обложить шляхами и жену мою, и меня, и всех моих детей, ибо все их слова и поступки таковы, что в высшей степени достойны подобной оценки; и я все молю бога, чтобы он привел меня свидеться с ними и избавил от смертного греха или (что то же самое) от опасной службы оруженосца, в которую был я вовлечен во второй раз, ибо сманил и соблазнил меня на это кошелек с сотней дукатов, найденный мною однажды в самых недрах Сьерра-Морены, и с тех пор дьявол так и водит у меня перед глазами — то туда, то сюда, а то вот куда — мешком, набитым дублонами, и каждую минуту мерещится мне, что я хватаю его руками, прижимаю к груди и тащу домой, а там покупаю себе земли, приобретаю ренты и живу как принц; и когда я об этом думаю, легкими и необременительными делаются для меня мучения, претерпеваемые на службе у моего свихнувшегося хозяина, про которого скажу, что он больше похож на умалишенного, чем на рыцаря.

— Вот поэтому и говорится, — ответил второй оруженосец, — что жадность мешки рвет; но раз мы уже заговорили о сумасшедших, то скажу вам, что большего безумца, чем мой господин, на свете не сыщешь, ибо он принадлежит к тому роду людей, о которых говорится: «поддыхает осел от чужих забот»; ведь для того, чтобы к другому рыцарю вернулся здравый рассудок, он сам сделался сумасшедшим и отправился на поиски того, от чего ему, быть может, при встрече и не поздоровится.

— А не влюблен ли он ненароком?

— Да, — ответил слуга рыцаря Леса, — он влюблен в некую Каспльдею Вандальскую, и другой такой крутой и переваренной сеньоры во всем мире не сыщется; впрочем, крутоватостью дамы его еще не испугаешь; в груди его урчит множество других козней, как это вскоре обнаружится.

— На самой прямой дороге водятся бугры и ухабы, — возразил Санчо, — в других домах только варят бобы, а у меня их полные котлы; у безумия, видно, больше спутников и домочадцев, чем у мудрости; но если справедлива поговорка, что товарищи по несчастью приносят нам облегчение, то, значит, и я могу утешиться в обществе вашей милости, раз рыцарь, которому вы служите, такой же безумец, как мой господин.

— Он безумец, но зато храбреец, — возразил другой оруженосец, — а хитрости в нем будет побольше, чем безумства и храбрости.

— Ну, мой-то совсем не такой, — ответил Санчо, — никакой хитрости в нем нет: душа у него открыта, как кувшин; никому он зла не делает, всем делает добро, и нет в нем ни капли лукавства; любой ребенок убедит его, что сейчас ночь, когда на самом деле полдень, и за все это простодушие я его люблю, как зеницу ока, и, несмотря на все его сумасбродства, никак не могу решиться его покинуть.

— А все-таки, братец мой и сеньор, — возразил слуга рыцаря Леса, — когда один слепец ведет другого, оба рискуют свалиться в яму; не лучше ли было бы нам резвой рысдой удалиться и вернуться во-свояси; ведь искатели приключений находят нередко приключения не совсем приятные.

А между тем Санчо каждую минуту слезывал слюну, на вид как будто лишнюю и довольно густую; увидев и подметив это, сострадательный оруженосец рыцаря Леса сказал:

— Мне кажется, что мы так много говорили, что у нас языки прилипли к гортани; но у меня на луке седла висит неплохое средство, от которого они тотчас отлипнут.

Он встал и вскоре же возвратился обратно с большим бурдюком вина и пирогом длиной в целый локоть; и это не преувеличение, ибо в пироге был запечен белый кролик таких размеров, что Санчо, пощупав его, решил, что это даже не козленок, а целый козел; и, увидев такое угощение, он спросил:

— И этикие предметы, сеньор, ваша милость всегда возит с собой?

— А вы что же думали? — ответил тот. Разве я похож на какого-нибудь завалящего оруженосца? Ни один генерал в походе не возит с собой таких запасов, какие навьючены на круп моей лошади.

Не заставляя себя упрашивать, Санчо стал есть и, глотая впопыхах куски величиной с канатные узлы, сказал:

— Вы, ваша милость, поистине верный и преданный оруженосец, заправский и настоящий, великолепный и пышный, как это доказывает пир, устроенный вами, вроде как бы по волшебству; не то, что я, жалкий и несчастный, везущий у себя в сумках всего-на-всего твердый кусок сыра, которым можно проломить голову любому великану, да в придачу к нему — четыре дюжины сладких рожков и столько же десных и грецких

орехов, а все это потому, что господин мой беден и держится того мнения, что странствующие рыцари должны соблюдать правило: в рот не брать и не вкушать ничего другого, кроме сухих плодов и полевых трав.

— Клянусь честью, братец, — возразил оруженосец рыцаря Леса, — желудок мой не приспособлен для чертополоха, диких груш и лесных корней; пускай себе наши господа держатся каких угодно мнений и рыцарских законов и едят, что им вздумается; а у меня припасено холодное мясо и на всякий случай к седлу подвешен бурдючок с вином, и так я его люблю и обожаю, что то и дело целую и обнимаю его тысячу раз.

С этими словами он сунул в руки Санчо бурдючок, и тот, прижавши ртом к его горлышку, с четверть часа смотрел на звезды; когда-же кончил пить, склонил голову на бок и с глубоким вздохом сказал:

— Ах ты, подлое шлюхино отродье, — до чего оно вкусное, до чего католическое!

А оруженосец рыцаря Леса, услышав, что Санчо называет вино *шлюхиным отродьем*, сказал:

— Вот видите, вы тоже, хваля вино, называете его *шлюхиным!*

— Да, называю, — ответил Санчо, — и сознаюсь, что теперь мне понятно, что в названии *шлюхин* нет ничего позорного, когда его дают в виде похвалы. Но скажите мне, сеньор, ради всего дорогого для вас на свете, это вино не из Сьюдад Реаль? *

— Да вы знаток вин! — воскликнул тот. — Оно действительно оттуда, и ему уж немало лет от роду.

— Ну, насчет вин, — ответил Сапчо, — уж можете быть уверены, что я их мигом распознаю. Представьте себе, сеньор оруженосец, у меня такая огромная прирожденная способность узнавать вина, что, стоит мне только понюхать вино, и я сейчас же вам скажу, из какой оно области, какого оно сорта, какой у него вкус и выдержанность, какие перемены могут с ним произойти, одним словом, все подробности, до него касающиеся! Да этому и не следует удивляться, ибо у меня в роду со стороны отца было два таких замечательных знатока, каких уже много, много лет не бывало в Ламанче; а в доказательство расскажу вам то, что с ними однажды случилось. Как-то раз дали им на пробу вина из одной бочки и попросили сказать свое мнение относительно его состояния, качества, достоинств и недостатков. Первый попробовал вино кончиком языка, а другой только поднес его к носу. Первый сказал, что оно отдает железом, а второй сказал, что скорее оно пахнет кожей. Хозяин вина заявил, что бочка — чистая, что вино еще не было разлито и что ему не с чего пахнуть ни железом, ни кожей. А два знаменитых знатока тем не менее упорно стояли на своем. Прошло время, вино было продано, и когда опорожнили бочку, то на дне ее нашли маленький ключик на кожаном ремешке. Теперь вы понимаете, ваша милость, что человек такой породы, как я, может кое-что смыслить в подобных вещах.

— Вот потому-то я и говорю, — ответил другой оруженосец, — что нам пора бросить искать приключения; к чему нам пирожки, когда есть короваи? Итак, вернемся в свои хи-

жины, а если богу будет угодно, то он и там нас найдет.

— Пока мой господин не доедет до Сарагосы, я буду продолжать ему служить, а там уж мы обо всем сговоримся.

Наконец, наши добрые оруженосцы наговорились и напились до того, что сну пришлось связать им языки и умерить их жажду, которую удовлетворить не было никакой возможности; так они оба и заснули, ухватившись за почти пустой бурдючок с недожеванными кусками пирога во рту. Теперь мы их оставим и расскажем о том, что произошло между рыцарем Леса и рыцарем Печального образа.

ГЛАВА XIV

*в которой продолжается приключение с рыцарем
Леса*



нашей истории рассказывается, что после долгой беседы с дон-Кихотом, рыцарь Бора, наконец, сказал ему следующее:

— Сеньор рыцарь, да будет вам известно, что по воле судьбы или, лучше сказать, по собственному моему выбору, я полюбил несравненную Касильдею Вандальскую; я называю ее несравненной, ибо никто не может сравниться с нею ни высотой роста, ни благородством происхождения, ни красотой. И вот эта Касильдея, о которой я вам говорю, за все мои честные намеренья и учтивые чувства отплатила тем, что, уподобившись мачехе Геркулеса, велела мне преодолеть множество различных опасностей, и, когда я выходил победителем из одного испытания, она уверяла, что следующее будет последним и что она, наконец, увенчает мои надежды; но цепь моих подвигов все удлиняется, и я уже не в силах их сосчитать и не знаю, который из них будет последним и положит начало исполнению моих

скромных желаний. Однажды она велела мне вызвать на поединок знаменитую великаншу в Севилье по имени Хиральду, * которая столь отважна и могуча, что тело ее кажется вылитым из бронзы; всегда она остается на одном месте, а между тем нет на свете женщины более изменчивой и вертлявой. Я пришел, увидел и победил ее, и заставил стоять спокойно и не шевелиться, ибо в течении целой недели все время дул северный ветер. В другой раз она приказала мне поднять и взвесить древние камни огромных Быков Гисандо * — дело, более приличествующее грузчикам, чем рыцарям. Затем она велела мне броситься в пропасть на горе Кабра, * — неслыханное и опаснейшее предприятие! — и потом явиться к ней с подробным допесением о том, что скрывается в этой мрачной бездне. Я остановил вращение Хиральды, я взвесил Быков Гисандо, я бросился в пропасть и выпес на свет все тайны этих глубин — и что же? — мои надежды мертвы попрежнему, а ее приказы и презрение попрежнему живы. Наконец, недавно она велела мне объехать все провинции Испании и вынудить у всех блуждающих там странствующих рыцарей признание в том, что красотой своей она превзошла всех женщин, ныне живущих на свете, а я — самый отважный и влюбленный рыцарь в мире; по ее приказу я объездил уже почти всю Испанию и победил множество рыцарей, осмелившихся мне противоречить. Но особенно горжусь и похваляюсь я тем, что победил на поединке прославленного рыцаря доп Кихота Ламанчского и заставил его признать, что моя Касильдея прекраснее его Дульсиней; считаю, что одна эта победа равняется победам

над всеми рыцарями на свете, ибо дон Кихот, о котором я вам рассказываю, всех их победил, и, следовательно, раз я победил его, то его слава, честь и величие передаются и переходят к моей особе:

Ведь победителям тем больше чести,
Чем в высшем состоит противник месте, *

так что бесчисленные подвиги упомянутого дон Кихота записываются на мой счет и становятся как бы моими.

Дон Кихот с изумлением слушал рыцаря Леса, тысячу раз порываясь сказать ему, что он лжет, и слово «лжете» уже вертелось у него на кончике языка, но он сделал усилие и сдержал себя для того, чтобы тот своими же устами сознался во лжи, а поэтому спокойно ответил:

— Что вы, ваша милость, сеньор рыцарь, победили почти всех страстнолюбующих рыцарей Испании и, если угодно, всего света, против этого я не стану возражать; но я сомневаюсь в том, что вы победили дон Кихота Ламапчского. Быть может, вы победили кого-нибудь другого, похожего на него, хотя, впрочем, мало есть людей на него похожих.

— Как так не победил? — воскликнул рыцарь Леса. — Клянусь небом, что над нашими головами, я бился с дон Кихотом, победил его, и он просил у меня пощады; это — человек высокого роста, лицом худощавый, фигурой тощий и долговязый, волосы с проседью, нос орлиный и с небольшой горбинкой, большие черные, падающие вниз усы. Сражается он под именем рыцаря Печального образа, и в качестве оруженосца состоит

при нем один крестьянин по имени Санчо Панса; он сжимает бока и правит поводьями знаменитого копя, зовущегося Росинантом, и, наконец, его лама сердца — некая Дульсинея Тобосская, в свое время называвшаяся Альдонсой Лоренсо; точно так же и я свою даму именую Касильдеей Вандальской, а настоящее имя ее Касильда, и родом она из Андалузии. Если все эти признаки не убеждают вас в том, что я говорю правду, то вот мой меч, — он заставит уверовать и само неверие.

— Потипше, сеньор рыцарь, — сказал дон Кихот; — послушайте, что я вам скажу. Следует вам знать, что дон Кихот, о котором вы рассказываете, приходится мне самым близким другом на свете, и мы так с ним дружны, что можно сказать, он и я — как бы одно лицо; признаки, которые вы привели, настолько точны и безошибочны, что мне приходится считать, что вы победили именно его. Но, с другой стороны, мои глаза и осязание моих рук убеждают меня в том, что этого не могло быть, — разве только его многочисленные враги-волшебники (скорей всего один из них, постоянно его преследующий) обернулись им, чтобы позволить вам одержать эту победу и тем лишить его славы, которую он приобрел и снискал во всем известном нам мире своими высокими деяниями. В подтверждение этого я сообщу вам, что эти враждующие с ним волшебники несколько дней тому назад исказили облик и внешний вид прекрасной Дульсины Тобосской, превратив ее в грубую и грязную крестьянку; вероятно, таким же образом превратили они и дон Кихота; если же всего этого недоста-

точно, чтобы убедить вас в истине моих слов, то вот перед вами сам дон Кихот, и он докажет вам это с оружием в руках, в пешем или конном бою или как вам будет вообще угодно.

С этими словами он вскочил на ноги и схватился за меч, выжидая, как поведет себя рыцарь Леса, но тот ответил не менее спокойным голосом:

— Хороший плательщик никогда не боится залога, сеньор дон Кихот; и тот, кто уже однажды мог победить вас в превращенном виде, в праве питать надежду одолеть вас в вашем подлинном облике. Но не пристало рыцарям драться в потемках, подобно вора́м и гнусным бандитам, а потому дождемся дня, и да будет солнце свидетелем наших подвигов. Мы вступим в бой с таким условием, что побежденный признает волю победителя и будет повиноваться всем его приказаниям, если только последние не будут унижительными для рыцаря.

— Я вполне удовлетворен таким условием и уговором, — сказал дон Кихот.

После этих слов они отправились к своим оруженосцам и застали их храпящими в тех самых позах, в которых настиг их сон. Рыцари разбудили их и велели приготовить коней, ибо на рассвете между ними должна была произойти неслыханная кровавая и опаснейшая битва; при этой вести Санчо испугался и обомлел, ибо оруженосец рыцаря Леса столько наговорил ему о доблести своего господина, что Санчо стал опасаться за жизнь дон Кихота; тем не менее, оруженосцы, не проронив ни слова, пошли к своему табуну, ибо ослик и три коня уже успели тем временем обнюхать друг друга и держались все вместе.

По дороге оруженосец рыцаря Леса сказал Санчо:

— Должен вам сообщить, братец, что у нас в Андалузии водится обычай, что на поединках понятые люди не стоят без дела, сложа руки, в то время как стороны дерутся между собой. Говорю я это к тому, чтобы вы имели в виду, что во время единоборства наших господ мы с вами тоже обязаны бить и тузить друг дружку.

— Этот обычай, сеньор оруженосец, — ответил Санчо, — несомненно может соблюдаться и поддерживаться в среде забияк и понятых, о которых вы мне рассказываете, но никоим образом не применим к оруженосцам странствующих рыцарей. По крайней мере мой господин никогда не говорил мне о подобных обычаях, а он наизусть знает устав странствующего рыцарства. Но пускай даже все это правда и действительно имеется точное правило о том, чтобы оруженосцы дрались во время поединка своих господ, — все же я предпочитаю не исполнять его и заплатить пеню, налагаемую на миролюбивых оруженосцев, — я уверен, что она не превышает каких-нибудь двух фунтов воска; так лучше я отдам эти два фунта, ибо это обойдется мне дешевле, чем корпия, которой мне придется залечивать голову; мне уж и сейчас кажется, что череп у меня проломлен и разрублен на две половинки. И еще есть одна причина, по которой я не могу драться: у меня нет меча, да и от рода его не бывало.

— Ну, этой беде не трудно пособить, — ответил оруженосец рыцаря Леса: — я захватил с собой два полотняных мешка одинаковых размеров; вы возьмете один, я другой, и мы будем сражаться равным оружием.

— Это другое дело, — ответил Санчо; — в таком бою раненых не будет, мы только выколотим пыль друг из дружки.

— Нет, не совсем так, — возразил тот, — для того чтобы ветер не унес наших мешков, мы положим в них по полдюжине гладких и ровненьких камешков, и притом одинакового веса, и тогда мы сможем пошлепать друг дружку без всякого вреда и ущерба.

— Полюбуйтесь, пожалуйста, пропади прахом мой батюшка, — воскликнул Санчо, — какие собольи шкурки и ватные шарики хочет он наложить в мешки, чтобы башки у нас не были проломлены, а из костей не получилась каша! Да если бы даже наполнили вы их, сеньор мой, шелковыми коконами, то и тогда я не стал бы драться; пускай себе дерутся наши господа, дай им бог здоровья, а мы будем пить и жить в свое удовольствие; ведь время и так позаботится пресечь нашу жизнь, и незачем нам искать способов скончать свои дни раньше положенного срока; когда созреем, тогда и упадем с дерева.

— А все-таки, — возразил оруженосец рыцаря Леса, — нам следует подраться хотя бы с полчаса.

— Ни за что, — ответил Санчо; — не такой уж я неблагодарный невежа, чтобы хоть в чем-нибудь повздорить с человеком, с которым вместе я пил и ел; тем более, что я ничем не обижен и не рассержен, — а кой чорт полезет драться всухую?

— И против этого у меня есть подходящее средство, — сказал тот, — перед началом боя я тихонько подойду к вашей милости и залеплю

вам три или четыре оплеухи, так что вы свалитесь с ног, и тогда гнев ваш разгорится, хотя бы вы были сонливы, как сурок.

— Против такого выпада, — ответил Санчо, — у меня тоже найдется защита: сгребу я дубинку и прежде, чем ваша милость успеет разбудить во мне гнев, я надаю вам таких затрепчин, что ваш гнев заснет и проснется разве только на том свете, где, я думаю, всякому известно, что не такой я человек, чтобы позволить щекотать себе под носом. Пусть всякий держит ухо востро, а главное — пусть никогда не приводит своего ближнего в ярость: ведь никто не знает, что у другого на душе, и бывает, что пойдешь стричь барана, а тебя самого остригут; господь благословил мир и проклял ссоры; если загнанный, затравленный и притиснутый к стене кот превращается в льва, то ведь я-то человек, и одному богу известно, во что я могу превратиться; а потому я заранее заявляю вашей милости, сеньор оруженосец, что вы будете отвечать за все убытки и изъяды, которые произойдут от нашей распри.

— Ну ладно, — ответил тот, — утро вечера мудренее.

А тем временем на ветвях деревьев уже начали щекотать тысячи всевозможных пестрых птичек, и казалось, что они своими разнообразными песенками приветствуют и встречают прохладную зарю, а она уже появилась во вратах и в окнах Востока, открывая красоту своего лица и отряхая с своих волос бесконечное множество влажных перлов, при чем на траве, орошенной этой сладостной влагой, казалось, выросстал и распускался тончайший сверкающий жемчуг; ивы источали сладкую манну,

источники смеялись, ручьи журчали, леса ликова-
вали, а поля еще богаче зеленели, встречая
зарю.



Но лишь только рассвело и стало возможно
видеть и различать предметы, первое, что пред-
стало глазам Санчо Пансы, был нос оруженосца
рыцаря Леса: он был так велик, что тень от него

покрывала почти все тело его обладателя. Действительно, в истории нашей говорится, что этот нос необыкновенной величины был лилового цвета, подобно баклажану, с горбом по середине, и весь покрыт бородавками; он свешивался на два пальца ниже рта; величина, цвет, кривизна и бородавки носа делали лицо оруженосца до того безобразным, что Санчо задрыгал руками и ногами как ребенок, с которым приключился родимчик, и в сердце своем решил, что скорее он согласится получить двести пощечин, чем возбуждать к себе гнев этого чудища и вступать с ним в драку.

Дон Кихот в свою очередь взглянул на противника, но тот был уже в шлеме с опущенным забралом, так что наш рыцарь не мог разглядеть его лица; однако он заметил, что незнакомец — человек коренастый и не очень высокого роста. Поверк доспехов на нем был надет камзол или епанча, сотканная, казалось, из нитей чистого золота и вся усеянная множеством маленьких сверкающих зеркалец в форме луночек, что придавало всему наряду вид чрезвычайно изящный и пышный; на шлеме развевалось множество зеленых, желтых и белых перьев; копьё, прислоненное к дереву, было длинное и толстое, с железным острием величиной в пядь.

Дон Кихот все рассмотрел и подметил, и по тому, что он рассмотрел и увидел, заключил, что рыцарь этот должен обладать громадной силой; но это не устрасило его, подобно Санчо Пансе; напротив, он непринужденно и смело обратился к рыцарю Зеркал и сказал ему:

— Если воинственный пыл, сеньор рыцарь, не

помрачает вашей любезности, то прошу вас — поднимите немного забрало и позвольте мне убедиться, что ваше лицо столь же отважно, как и весь ваш облик.

— Чем бы ни окончился наш бой, сеньор рыцарь, — ответил рыцарь Зеркал, — вашей победой или поражением, у вас будет достаточно времени и досуга, чтобы меня рассмотреть; сейчас же я не могу удовлетворить ваше желание: мне кажется, что я нанесу явную обиду прекрасной Касильдее Вандальской, если буду тратить время на то, чтобы поднимать забрало, ибо я обязан немедленно же вынудить у вас известное вам признание.

— Но все-таки, пока мы будем садиться на коней, — ответил дон Кихот, — вы можете мне сказать, действительно ли я тот самый дон Кихот, которого, по вашим словам, вы победили.

— На это мы вам ответим, — сказал рыцарь Зеркал, — что вы похожи на побежденного мною рыцаря, как одно яйцо похоже на другое; но так как вы сообщаете, что его преследуют волшебники, то я не решусь утверждать, что вы то самое лицо.

— Этого с меня достаточно, — ответил дон Кихот, — чтобы убедиться в вашем заблуждении; но оно сейчас же рассеется, как только нам приведут наших коней; с помощью божьей, моей дамы и моего меча, мне понадобится меньше времени, чтобы увидеть ваше лицо, чем понадобилось бы вам, чтобы поднять забрало, и тогда вы убедитесь, что я — не тот побежденный вами дон Кихот, за которого вы меня принимаете.

На этом разговор их кончился, они вскочили на коней, и дон Кихот повернул Росинанта, чтобы

взять надлежащий разбег для нападения на противника; то же сделал и рыцарь Зеркал. Но не успел дон Кихот отъехать на двадцать шагов, как рыцарь Зеркал, остановившись тоже на полпути, закричал ему:

— Помните же, сеньор рыцарь, что мы сражаемся с таким уговором, что побежденный отдает себя во власть победителя, как я уже вам раньше говорил.

— Я это помню, — отвечал дон Кихот, — но при этом победитель не может приказать и повелеть побежденному ничего такого, что противоречило бы правилам рыцарства.

— Разумеется, — сказал рыцарь Зеркал.

В это время взгляд дон Кихота упал на необычайный нос оруженосца, и вид его удивил нашего рыцаря не менее Санчо; он решил, что это какое-то чудовище, или новая порода человека, еще не встречавшаяся на свете. Санчо же, увидев, что господин его отъехал, чтобы взять разбег, не пожелал оставаться наедине с носачом, боясь, что тот треснет его своим носом по носу и тут их схватке наступит конец, ибо от удара или с перепуга он тотчас же свалится на землю; поэтому он последовал за своим господином, уцепившись за стремя Росинанта, и когда по его расчету было пора повернуть назад, он сказал:

— Умоляю вас, ваша милость, мой сеньор, — прежде, чем вы устремитесь навстречу врагу, подсобите мне взобраться на этот дуб, откуда мне будет удобнее, чем с земли, наблюдать за отважным поединком вашей милости с этим рыцарем.

— Вернее было бы сказать, Санчо, — ответил

дон Кихот, — что ты хочешь влезть и взобраться на подмости, чтобы в полной безопасности смотреть на бой быков.

— Скажу вам правду, — ответил Санчо, — чудовищный нос этого оруженосца наполняет меня таким страхом и ужасом, что я не решаюсь остаться с ним наедине.

— Да, нос у него такой, — сказал дон Кихот, — что, не будь я дон Кихотом, он бы и меня испугал; ну, что же, иди сюда, я помогу тебе взобраться на дерево.

Пока дон Кихот мешкал, подсаживая Санчо на дуб, рыцарь Зеркал отъехал на положенное расстояние; и, думая, что дон Кихот успел сделать то же самое, он, не дожидаясь трубы или другого какого-нибудь сигнала, повернул своего коня, который был не быстрее и не лучше Росинанта, и во весь опор, то есть средней рысцой, помчался навстречу противнику; но, увидя, что дон Кихот занят подсаживанием Санчо на дерево, он натянул поводья и остановился на полпути, за что конь был ему крайне благодарен, ибо он не мог больше двигаться. А дон Кихоту показалось, что противник уже налетает на него, и он яростно вонзил шпоры в тощие бока Росинанта и так разгорячил его, что, по словам нашего автора, конь дон Кихота поскакал в первый раз в жизни, ибо до тех пор иначе как обыкновенной рысью он никогда не бегал; и вот, с невиданной стремительностью налетел он на рыцаря Зеркал, который всаживал в бока своей лошади шпоры до самого конца и тем не менее ни на палец не мог сдвинуть ее с того места, где она остановила свой бег. При таких благоприятных обстоятель-

ствах и в эту удачную минуту дон Кихот напал на своего противника, который, возясь с лошадьо, никак не мог сладить с копьем, и то ли не сумел, то ли не успел взять его наперевес. Дон Кихот, не обращая внимания на его замешательство, без всякой для себя опасности и риска, нанес рыцарю Зеркал такой могучий удар, что тому поневоле пришлось перелететь через круп лошади и так грохнуться оземь, что после этого он уже не мог более пошевелить ни рукой, ни ногой, как человек, убитый насмерть. Как только Санчо заметил, что противник дон Кихота упал, он слез с дуба и опрометью бросился к своему господину; а тот, спрыгнув с Роспнанта, подбежал к рыцарю Зеркал и принялся отстегивать его шлем, чтобы узнать, не убит ли он, и в случае, если он еще жив, помочь ему отдышаться; и вдруг увидел... Но как сказать, кого он увидел, не возбуждив в читателе удивления, изумления и ужаса? Он увидел, говорит автор, лицо, облик, внешность, наружность, образ и подобие самого бакалавра Самсона Карраско; и, увидев это, вскричал громким голосом:

— Беги сюда, Санчо, взгляни на него, и ты не поверишь своим глазам! Скорей, сынок, посмотри, что может сделать магия, и как могущественны колдуны и волшебники!

Санчо подошел и, увидев лицо бакалавра Карраско, принялся без счета креститься и поминать святых. И так как поверженный рыцарь не подавал признаков жизни, то Санчо сказал дон Кихоту:

— Мое мнение таково, сеньор мой, что на всякий случай вам бы следовало всуцуть и вбить



меч в рот этого оборотня, прикинувшегoся бакалавром Самсоном Карраско; быть может, вы таким способом уничтожите одного из ваших врагов-волшебников.

— Ты говоришь дело, — ответил дон Кихот, — ибо чем меньше врагов, тем лучше.

И он обнажил меч, чтобы привести в исполнение совет и указание Санчо; но тут подбежал оруженосец рыцаря Зеркал — уже без носа, столь безобразившего его лицо, и закричал:

— Остановитесь, ваша милость, сеньор дон Кихот! Что вы делаете? Ведь у ваших ног лежит ваш друг бакалавр, Самсон Карраско, а я его оруженосец.

Но Санчо, увидев его без прежнего украшения на лице, спросил:

— А где нос?

На что тот ответил:

— Он у меня здесь, в подвесном кармане.

Тут он просунул руку направо и вытащил маскарadный нос из лакированного картона, — совсем такой, как мы уже описали. А Санчо, взглядевши пристально в оруженосца, громко и изумленно воскликнул:

— Святая Мария, помилуй меня! Да ведь это мой сосед и кум Томé Сесьяль!

— Как же мне не быть им? — отвечал освободившийся от носа оруженосец. — Да, я Томе Сесьяль, друг мой и кум Санчо Панса, и сейчас я расскажу вам о всех проделках, хитростях и кознях, вследствие которых я сюда пошaл, а пока упросите и умолите сеньора вашего господина, чтобы он не трогал, не обижал, не ранил и не убивал простертого у его ног рыцаря Зеркал,

ибо уверяю вас, что это не кто иной, как дерзкий и безрассудный бакалавр Самсон Карраско, наш односельчанин.

Между тем рыцарь Зеркал пришел в себя, и



дон Кихот, увидев это, приставил к его лицу острие обнаженного меча и сказал:

— Вы умрете, рыцарь, если не признаете, что несравненная Дульсинея Тобосская превосходит своей красотой вашу Касильдею Вандальскую, и сверх того вы должны мне обещать, — если

только останетесь живы после этого поражения и падения, — что вы отправитесь в город Тобосо и предстанете пред ней от моего имени, а она уже распорядится вами, как ей заблагорассудится; но, если даже она дарует вам свободу, вы все равно должны будете ко мне вернуться, — слух о моих подвигах послужит вам путеводной нитью и приведет вас туда, где я буду, — и рассказать мне о том, как вы с ней встретились; все эти условия, согласно нашему уговору перед битвой, не нарушают законов странствующего рыцарства.

— Признаю, — отвечал поверженный рыцарь, — что грязный и рваный башмак сеньоры Дульсини Тобосской лучше, чем нечесаная, но опрятная борода Касильдеи, и обещаю отправиться к вашей даме, вернуться к вам обратно и дать подробный отчет, которого вы от меня требуете.

— Кроме того вы должны признать и поверить, — продолжал дон Кихот, — что побежденный вами рыцарь не был и не мог быть дон Кихотом Ламанчским, несмотря на свое сходство с ним, равно как и я признаю и верю, что хотя вы и кажетесь бакалавром Самсоном Карраско, но все же вы — не он, а кто-то другой; ибо мои враги придали вам его вид для того, чтобы я сдержал и укротил порыв моего гнева и с кротостью воспользовался плодами моей победы.

— Все это я признаю, допускаю и принимаю, как признаете, допускаете и принимаете это вы, — ответил лежавший на земле рыцарь. — А теперь позвольте мне встать, если только я найду в себе для этого силы после ушиба от падения; я чувствую себя сильно помятым.

Дон Кихот вместе с оружьеосцем Томе Сесья-

дем помог ему подняться, а Санчо не спускал с последнего глаз и все время его расспрашивал, причем ответы оруженосца давали ему очевидное доказательство, что перед ним был действительно Томе Сесьяль; но слова дон Кихота о том, что волшебники превратили рыцаря Зеркал в бакалавра Карраско, настроили его так подозрительно, что он никак не мог поверить свидетельству своих собственных глаз. Так и остались при своем заблуждении и господин и его слуга, а рыцарь Зеркал со своим оруженосцем, помятые и раздосадованные, расстались с дон Кихотом и Санчо и отправились искать места, где можно было бы вправить и перевязать пострадавшие ребра. Дон Кихот же и Санчо продолжали свой путь в Сарагосу, и тут автор их покидает, для того, чтобы рассказать читателям, кто такие были рыцарь Зеркал и его носатый оруженосец.

ГЛАВА XV

в которой рассказывается и сообщается о том, кто такие были рыцарь Зеркал и его оруженосец.



он Кихот ехал весьма довольный-с собой, гордясь и чванясь одержанной победой, ибо он воображал, что рыцарь Зеркал был очень могучим воином, и, полагаясь на его рыцарское слово, надеялся узнать, все ли еще делятся чары над его дамой: ибо такой рыцарь, после поражения, не мог не вернуться и не дать ему отчета о своем свидании с Дульсинеей, — не то он перестал бы быть рыцарем. Но одно думал дон Кихот, а другое — рыцарь Зеркал, ибо, как уже было сказано, в ту пору он думал только об одном: где бы ему перевязать свои раны. Дело в том, что в истории нашей рассказывается, как бакалавр Самсон Карраско... посоветовал дон Кихоту продолжать оставленную им жизнь странствующего рыцаря; сделал он это потому, что предварительно долго совещался со священником и дырюльником о мерах, которые следовало принять, чтобы заставить дон Кихота тихо и мирно сидеть дома и не гоняться за злополучными при-

ключениями; на этом совете все сообща, а Карраско в особенности, пришли к заключению, что поскольку дон Кихота удержать невозможно, то пусть он себе едет, а впоследствии Самсон, под видом странствующего рыцаря, встретит его на дороге, вступит с ним в бой, — повод к бою всегда найдется, — и победит: последнее казалось им делом нетрудным; перед боем же он должен был уговориться и условиться с дон Кихотом, что побежденный отдаст себя во власть победителя; а победив его, бакалавр-рыцарь должен был приказать ему вернуться во-свои в деревню и не отлучаться из нее в течение двух лет, или до тех пор, пока он не даст ему другого приказа; было ясно, что побежденный дон Кихот несомненно исполнит это приказание, дабы не нарушать и не преступать законов рыцарства, а там, за время своего заточения, он, быть может, и забудет о своих сумасбродствах, или же его друзьям удастся раздобыть какое-нибудь подходящее лекарство от его безумия.

Карраско на все это согласился, а в качестве оруженосца предложил ему свои услуги Томе Сесьяль, кум и сосед Санчо Пансы, человек веселый и дурачливый. Самсон нарядился, как уже было описано, а Томе Сесьяль примостил себе поверх настоящего приставной маскарадный нос, о котором мы уже упоминали, для того чтобы кум его не узнал при встрече; затем поехали они по той же дороге, что и дон Кихот, и настигли его почти в ту самую минуту, когда он столкнулся с колесницей Смерти; наконец они встретились в лесу, где и произошло между ними все то, о чем внимательный читатель уже знает; и

если бы не удивительная фантазия дон Кихота, заставившая его поверить, что бакалавр не был бакалавром, — сеньор бакалавр навсегда лишился бы возможности дойти до степени лиценциата, ибо там, где он собирался найти птиц, он не нашел даже гнезд. Томе Сесьяль, увидев, как плохо кончилась их затея и как печально завершилось их путешествие, сказал бакалавру:

— Право, сеньор Самсон Карраско, мы наказаны по заслугам; легко задумать и предпринять какое-нибудь дело, но часто бывает трудно из него выпутаться: дон Кихот сумасшедший, а мы с вами в здравом рассудке, между тем он остался невредим и посмеивается, а ваша милость побита и в огорчении. Скажите вы мне теперь, кто более безумен, — тот ли, кому иначе и быть нельзя, или тот, кто безумствует по доброй воле?

На это Самсон ответил:

— Разница между этими двумя сумасшедшими состоит в том, что безумец поневоле — всегда таковым и останется, а добровольный безумец может стать здравомыслящим, когда ему вздумается.

— Раз это так, — ответил Томе Сесьяль, — то я, который по доброй воле сделался безумцем, пожелав стать оруженосцем вашей милости, теперь столь же добровольно желаю бросить эту службу и вернуться к себе домой.

— Поступайте, как знаете, — ответил Самсон, — только не воображайте понапрасну, будто я вернусь домой до того, как поколочу дон Кихота; теперь я буду преследовать его не из желания вернуть ему рассудок, а из мести, ибо ребра мои так сильно болят, что мне не приходится думать о сострадании.

Так беседуя, доехали они до деревни, где им посчастливилось найти костоправа, который подлечил злополучного Самсона. Томе Сесьяль покинул его и вернулся домой, а бакалавр, оставшись один, стал обдумывать свою будущую месть; в свое время наша история еще вернется к нему, теперь же она спешит потешить себя дон Кихотом.

ГЛАВА XVI

о том, что произошло между дон Кихотом и одним разумным рыцарем из Ламанчи



Как мы уже сказали, дон Кихот продолжал свой путь, веселый, довольный и гордый, воображая, что одержанная им победа сделала его самым доблестным странствующим рыцарем своего времени; ему казалось, что все предстоящие ему подвиги уже совершены им и доведены до счастливого конца; он презирал все козни волшебников, забывал о бесчисленных палочных ударах, сыпавшихся на него в течение его рыцарского служения, о камне, выбившем ему половину зубов, о неблагодарности каторжников, о наглости, с которой янгвэсцы исколотили его дубинками; словом, он говорил себе, что, стоит ему только придумать уловку, прием и способ, чтобы расколдовать сеньору Дульсинею, — и он перестанет завидовать величайшим удачам, выпавшим на долю самым удачливым странствующим рыцарям минувших веков. Он ехал, глубоко погруженный в эти мысли, как вдруг Санчо сказал:

— Разве не забавно, сеньор, что у меня все еще перед глазами этот огромный, чудовищный нос моего кума Томе Сесьяля?

— Не думаешь же ты в самом деле, Санчо, что рыцарь Зеркал — бакалавр Карраско, а его оруженосец — твой кум Томе Сесьяль?

— Уж не знаю, что и сказать, — ответил Санчо, — знаю только, что никто, кроме него, не мог бы так точно описать мой дом, жену и детей, а когда он снял свой нос, то лицо у него оказалось точь в точь как у Томе Сесьяля, — я ведь постоянно встречаюсь с ним у нас в деревне, живем мы с ним стена об стену, да и голос у него совсем такой же.

— Будем говорить здраво, Санчо, — сказал дон Кихот; — пойди-ка сюда: ну, чего ради бакалавр Самсон Карраско стал бы выражаться странною странным рыцарем, добывать себе наступательное и оборонительное оружие и драться со мной? Разве я когда-нибудь был его врагом? Разве я дал ему повод ненавидеть меня? Разве я его соперник? И разве он был когда-нибудь воином, чтобы завидовать славе, которую я снискал себе в военном деле?

— Ну, а как же вы объясните необыкновенное сходство этого рыцаря, — будь он кто угодно, — с бакалавром Карраско и его оруженосца с Томе Сесьялем, моим кумом? И если, как ваша милость полагает, все это — волшебство, то почему они похожи именно на этих двух молодых?

— Все это наваждение и козни коварных магов, которые меня преследуют, — ответил дон Кихот, — они предвидели, что из этого боя я выйду победителем, и позаботились придать побежден-

ному мною рыцарю полное сходство с другом моим бакалавром, дабы связующая нас дружба встала между лезвием моего меча и суровостью моей руки, смягчив справедливый гнев моего сердца, и дабы таким образом они сохранили на свете того, кто обманом и уловками пытался отнять у меня жизнь. Ты можешь подтвердить это, Санчо, ибо тебе известно по собственному опыту, который не лжет и не обманывает, что волшебники с величайшей легкостью из одного лица делают другое, из прекрасного — безобразное и из безобразного — прекрасное; ведь не прошло и двух дней, как ты видел своими собственными глазами красоту и прелесть несравненной Дульсиныи во всей ее полноте и природном совершенстве, а мне она показалась жалкой, уродливой и грубой крестьянкой с мутными глазами и дурным запахом изо рта; и если в тот раз преступный волшебник осмелился проделать столь гнусное превращение, то не удивительно, что и теперь он подсунул сюда Самсона Карраско и твоего кума, чтобы вырвать у меня из рук славу победы. Но, несмотря на все это, я утешен, ибо, какую бы личину ни принял мой враг, я все-таки его победил.

— Один бог знает всю правду, — ответил Санчо.

Ему было ведомо, что превращение Дульсиныи было плодом его собственных хитростей и проделок, и потому сумасбродные доводы дон Кихота его не убеждали; но он не возражал, боясь проговориться и выдать свой обман.

Так они беседовали, как вдруг нагнал их всадник, ехавший на красивой серой кобыле по той же дороге, что и они; на нем был дорожный

плащ из тонкого зеленого сукна, с нашивками из рыжеватого бархата, и берет из такого же бархата; легкая дорожная сбруя на его кобыле, так же как и седло, были темно-лилового и зеленого цвета; на широкой перевязи, зеленой с золотом, висела у него мавританская сабля; его мягкие сапоги были отделаны так же, как и перевязь; шпоры не золоченые, а покрытые зеленым лаком, отличались такой полировкой и блеском и так подходили ко всему костюму, что вид у них был лучше, чем у настоящих золотых. Поровнявшись с нашими путниками, он учтиво поклонился и, прищиприв кобылу, проехал мимо, но тут дон Кихот сказал ему:

— Любезный сеньор, если ваша милость едет в ту сторону, что и мы, и не очень торопится, мне было бы очень приятно проехаться с вами вместе.

— Скажу вам правду, — ответил незнакомец, — я так поспешно проехал мимо вас потому, что боялся, как бы общество моей кобылы не потревожило вашего коня.

— О, нет сеньор, — заметил на это Санчо, — вы можете спокойно придерживать поводья вашей кобылы, ибо наш конь — самое воспитанное и учтивое животное на свете; при сходных обстоятельствах он никогда еще не совершал никакой неприятности, а единственный раз, когда ему вздумалось поозорничать, мы с моим господином заплатились за это сторпдей. Еще раз повторяю, — если вы вообще не возражаете, — что вы свободно можете придерживать свою кобылу: поднесите ее нашему коню на блюде — он и то к ней не потянется.

Спутник подобрал поводья и стал удивленно разглядывать лицо и фигуру дон Кихота, который ехал с непокрытой головой, ибо шлем его, как

поклажу, Санчо привязал к передней луке своего седла; и хотя зеленый всадник внимательно разглядывал дон Кихота, дон Кихот еще внимательнее разглядывал зеленого всадника, казавшегося ему человеком немаловажным. На вид тому было лет пятьдесят; у него было длинное и тонкое лицо, волосы с проседью, выражение глаз — степенное и вместе с тем веселое; словом, и по костюму и по осанке его можно было заключить, что он человек почтенный. А зеленый всадник, глядя на дон Кихота Ламанчского, думал о том, что ему еще никогда не доводилось встречать человека такого вида и наружности; все удивляло его: вытянутая шея нашего рыцаря, долговязая фигура его, тощее, желтое лицо, вооружение, осанка, манеры; такого обличья и внешности с незапамятных пор не видывали в этих краях. Дон Кихот заметил, что путник с особенным вниманием его разглядывает, и догадался, что ему не терпится узнать, кто он такой; будучи человеком вежливым и весьма склонным к услугам, он, не дожидаясь вопроса, сам пошел навстречу желанию незнакомца и сказал:

— Не удивляюсь, если вашу милость поразил мой облик, ибо я знаю, что он необычен и не похож на внешность обыкновенных людей; но ваша милость перестанет удивляться, когда я скажу, — а я сейчас это и сделаю, — что я принадлежу к числу рыцарей,

Столь прославленных в народе
Тем, что приключений ищут.

Я покинул родину, заложил свое имение, отказался от удовольствий жизни и передал себя в

руки Фортуны, предоставив ей вести меня, куда ей вздумается. Я пожелал воскресить угасшее в наше время странствующее рыцарство, и уже много дней живу я, спотыкаясь в одном месте и падая в другом, низвергаясь здесь и поднимаясь там; за это время я в значительной степени выполнил свое намерение, помогая вдовам, защищая дев, покровительствуя замужним дамам, сиротам и малолетним, то есть занимаясь естественным и законным делом странствующих рыцарей: своими многочисленными, отважными и христианскими деяниями я добился того, что история моя напечатана и стала известна всем или почти всем народам на свете. История моя разошлась в количестве тридцати тысяч томов, и если небо тому не воспрепятствует, то вскоре будут напечатаны еще тысяча раз тридцать тысяч томов. Наконец, чтобы объяснить вам все это в кратких словах или даже в одном только слове, скажу вам, что я — дон Кихот Ламанчский, иначе называемый рыцарем Печального образа; и хотя собственная похвала унижает человека, я все же принужден иногда это делать, — понятно, в тех случаях, когда никто другой не берет этого на себя; итак, сеньор дворянин, отныне вас не может удивлять ни эта лошадь, ни это копье, ни этот щит, ни этот оруженосец, ни все мои доспехи, ни желтизна моего лица, ни моя исключительная худоба, ибо теперь вы знаете, кто я и какова моя служба.

Сказав это, дон Кихот замолчал, а зеленый всадник так долго медлил с ответом, что, казалось, не находил, что сказать; наконец, после долгого молчания он заговорил:

— По моему вопрошающему виду, сеньор рыцарь, вам удалось догадаться о моем желании; но вам не удалось заставить меня не удивляться тому, что я вас встретил; вы говорите, сеньор, что, узнав, кто вы, я должен перестать удивляться, но это не так; напротив, именно теперь, когда я это знаю, я еще больше удивлен и поражен. Как, неужели возможно, чтобы в наше время на свете существовали страпствующие рыцари и печатались истории подлинных рыцарских деяний? Я не могу поверить, что на земле есть люди, которые покровительствуют вдовам, защищают дев, служат замужним дамам и помогают сиротам, и я так бы и не поверил этому, если бы не увидел собственными глазами вашу милость. Благодарение небу, если история ваших высоких и подлинных рыцарских деяний, которые, по словам вашей милости, уже напечатаны, предаст забвению все бесчисленные романы о вымышленных странствующих рыцарях: они переполнили собою мир, вредя добрым нравам и подрывая доверие к хорошим сочинениям.

— О том, что романы о странствующих рыцарях вымышлены, — ответил дон Кихот, — можно было бы еще поспорить.

— Да кто же сомневается, — возразил зеленый, — что эти романы — одна ложь?

— В этом сомневаюсь я, — ответил дон Кихот, — но оставим это на время; ибо, если наше совместное путешествие продлится, я надеюсь с помощью божьей убедить вас, что вы ошибочно разделяете мнение, настаивающее на том, будто романы эти не правдивы.

После этих слов дон Кихота в душу незна-

компа запало подозрение, что спутник его — помешанный, и он ждал продолжения беседы, чтобы утвердиться в своих догадках; но, прежде чем продолжать начатый разговор, дон Кихот спросил его, кто он, и напомнил, что он уже, со своей стороны, сообщил ему и о своем званьи и о своей жизни. На это всадник в зеленом плаще ответил:

— Сеньор, рыцарь Печального образа, я — идалго, родом из села, где мы сегодня будем обедать, если господь позволит. У меня более, чем средний достаток, и зовут меня дон Дяго де Миранда; жизнь свою я провожу в обществе жены, детей и нескольких друзей; любимые мои занятия — охота и рыбная ловля; но я не завожу у себя ни соколов, ни борзых, зато у меня есть прирученные куропатки и забияки-хорьки. В библиотеке моей найдется около шести дюжин испанских и латинских книг, как художественного, так и душевспасительного склада; рыцарские романы никогда не переступали порога моей двери. Духовному чтению я предпочитаю светское, если только оно развлекает нас благопристойно, услаждает хорошим слогом, восхищает и удивляет фабулой, — впрочем, таких книг в Испании немного. Иногда я обедаю с соседями и друзьями и часто потчую их у себя: обеды мои опрятны, хорошо поданы и отнюдь не скудны; я не злоязычив и не терплю, чтобы в моем присутствии злословили; я не подсматриваю, как живут другие, и не вмешиваюсь в чужие дела; каждый день я слушаю мессу; делюсь своим добром с бедными и не выставляю напоказ своих добрых дел, дабы в сердце мое не проникли лицемерие и тщесла-

вие — эти наши враги, исподтишка овладевающие самыми испытанными сердцами; я стараюсь помирить тех, о чьем несогласии до меня доходят слухи; свято чту божью мать и всегда уповаю на бесконечное милосердие господина нашего бога.

С большим вниманием слушал Санчо рассказ идальго о его жизни и занятиях; жизнь эта показалась ему доброй и святой, и он решил, что такой человек должен творить чудеса; поэтому он спрыгнул с серого, с большой поспешностью ухватился за правое стремя незнакомца и с благоговением и почти со слезами несколько раз поцеловал его ноги.

Идальго, увидев это, спросил его:

— Что вы делаете, братец? К чему эти поцелуи?

— Не мешайте мне целовать, — ответил Санчо, — ведь ваша милость — первый святой верхом на лошади, которого мне удалось повстречать в моей жизни.

— Да я — не святой, — ответил идальго, — а большой грешник; а вот вы, братец, должно быть, добрый человек, ибо ваше простодушие это доказывает.

Санчо снова влез на свое вьючное седло, заставив рассмеяться своего глубоко-печального господина и снова подивив дон Диэго. Дон Кихот спросил своего спутника, много ли у него детей, и заметил, что древние философы, лишенные истинного познания бога, почитали величайшими благами мира дары природы, милости Фортуны, обилие друзей и большое число хороших детей.

— У меня, сеньор дон Кихот, — ответил идальго, — один сын, но, может быть я был бы счаст-

ливее, если бы его у меня не было; и не потому, что он плох, а просто он не настолько хорош, как мне бы того хотелось. Ему восемнадцать лет; шесть лет он провел в Саламанке, изучая латинский и греческий языки, и когда я решил, что ему пора заняться другими предметами, я увидел, что он до того увлечен наукой (если только можно ее так назвать) поэзии, что невозможно склонить его к изучению права, а между тем мне хотелось, чтобы он посвятил себя юриспруденции; столь же мало привлекает его дарица всех наук — теология. Я хотел бы, чтобы он увенчал собой весь наш род, ибо мы живем в такой век, когда наши короли богато награждают достойных и добродетельных ученых: ведь ученость без добродетели — все равно, что жемчужина в навозной куче. Целые дни проводит он, проверяя, хорошо или худо выразился Гомер в таком-то стихе *Илиады*, пристойна ли или непристойна такая-то эпиграмма Марциала, таким или уже иным способом следует толковать те или иные строки Вергилия. Одним словом, он беседует только с творениями вышеназванных поэтов и, кроме них, еще с Горацием, Персием, Ювеналом и Тибуллом; современных же испанских поэтов он не очень почитает; но, несмотря на свою неприязнь к испанской поэзии, в настоящее время он весь поглощен составлением глоссы на четверостишие, которое ему прислали из Саламанки, — мне кажется, оно было предложено на литературном состязании.

На это дон Кихот ответил:

— Дети, сеньор, есть часть утробы родительской, и мы должны их любить, хороши ли они или плохи, как мы любим душу, дающую жизнь

нашему телу; долг родителей — направить их еще в младенчестве на стезю добродетели, благоспитанности и добрых христианских нравов, дабы, выросши, они стали посохом их старости и славой для всего потомства; и я не считаю разумным принуждать их изучать эту, а не другую науку, хотя добрые увещания и не могут принести вреда; и если студент так счастлив, что небо даровало ему родителей, которые оставят ему на хлеб и ему не приходится работать *pauē lucrando*, то я полагаю, что следует разрешить ему заниматься той наукой, к которой он более всего чувствует склонность; и хотя наука поэзии более приятна, чем полезна, она тем не менее не может обесчестить того, кто посвящает себя ей. Поэзия, на мой взгляд, сеньор идалго, подобна нежной и юной деве, обладающей необыкновенной красотой, которую стараются одарить, нарядить и украсить множество других девиц, — иначе говоря, все остальные науки, — и она должна пользоваться услугами их всех, а они — заимствовать у нее блеск; но эта девушка не желает, чтобы ею помыкали, чтобы таскали ее по улицам, кричали о ней на углах площадей и в закоулках дворцов. Искусственный слав, из которого она сделана, обладает такими свойствами, что человек, умеющий с ним обходиться, может превратить его в чистейшее золото, которому цены нет; он должен держать поэзию в строгости и не позволять ей тратить силы на гнусные сатиры и омерзительные сонеты; она никоим образом не должна продавать своих произведений, делая исключение только для героических поэм, скорбных трагедий и веселых и художественных комедий; ей не следует знаться

с шутами и с невежественной чернью, неспособной понять и оценить сокровища, в ней таящиеся. И не думайте, сеньор, что чернью я называю лишь низкую плебейскую толпу; нет, всякий невежда, будь он сеньором и князем, может и должен быть причислен к черни; итак, если кто-либо станет владеть и обращаться с поэзией с той заботливостью, о которой я уже говорил, его имя будет прославлено и почтено среди всех просвещенных народов мира. Что же касается того, сеньор, что ваш сын не высоко ставит испанскую поэзию, то я полагаю, что в этом он не вполне прав, и вот почему: великий Гомер не писал по-латыни, ибо был греком, Вергилий же не писал по-гречески, так как был римлянином. Одним словом, все древние поэты писали на тех языках, которые они впитали в себя с молоком матери, и не обращались к иностранным наречиям для того, чтобы выразить свои возвышенные замыслы; а если так, то было бы разумно распространить этот обычай на все нации, с тем, чтобы немецкие поэты не считали для себя позором писать на своем языке, равно как и кастильские и даже бискайские. Впрочем, сеньор, мне представляется, что сын ваш плохого мнения не о самой испанской поэзии, а только о поэтах, пишущих по-испански и не знающих других языков и наук, которые украшают, пробуждают и поддерживают природное дарование; но и в этом он, вероятно, заблуждается, ибо — по справедливому замечанию — поэтами рождаются: это означает, что прирожденный поэт уже из чрева матери выходит поэтом; его призвание предопределено свыше, и без образования и без знания искусства он

творит произведения, на которых оправдывается изречение: *est Deus in nobis* * и т. д. Я еще прибавлю, что прирожденный поэт, помогающий себе искусством, превзойдет и станет лучше того поэта, который достигает этого звания одним только изучением искусства; и это потому, что искусство не может превзойти природы, — оно может только усовершенствовать ее; так что, присоединив к природе искусство и к искусству природу, можно воспитать совершеннейшего поэта. Вывод из всей моей речи, сеньор идалго, таков: пусть ваша милость не препятствует своему сыну итти в ту сторону, куда его влечет его звезда, а так как несомненно он добрый школяр и уже успел благополучно взойти на первую ступень наук, то есть овладеть языками, то, конечно, он собственными силами взойдет и на вершину светской литературы, которая столь же приличествует дворянину в плаще и при шпаге и столь же его украшает, возвеличивает и прославляет, как митры — епископов или мантии — испытанных юрисконсультов. Если ваш сын станет писать сатиры, оскорбительные для других людей, то отчитайте его, ваша милость, накажите его и разорвите его стихи; но если он начнет сочинять нравоучения в духе Горация и будет в них бичевать пороки вообще с таким же изяществом, как и римский поэт, то похвалите его, ибо поэтам дозволено писать против зависти и клеймить в стихах завистников, а также и прочие пороки, при условии не касаться личностей; хотя есть и такие поэты, которые, ради удовольствия сказать какое-нибудь злое слово, готовы подвергнуться опасности быть сосланными на острова Понта.* Если поэт цело-

мудрен в жизни, он целомудрен и в стихах; перо есть язык души; каковы замыслы, зарождающиеся в душе поэта, таковы и его писания; и когда короли и князья видят, что чудесной наукой поэзии владеют люди мудрые, добродетельные и серьезные, они почитают, уважают и одаряют их и даже венчают поэтов листьями того дерева, которое никогда не поражает молния, * в знак того, что никто не смеет обидеть поэта, чье чело украшено этим венцом славы.

Дворянин в зеленом плаще был поражен рассуждениями дон Кихота и притом настолько, что его первоначальное предположение о безумии нашего рыцаря начало рассеиваться. В самой середине этой беседы Санчо, которому этот разговор пришелся не по вкусу, отъехал в сторону от дороги, чтобы попросить молока у пастухов, доивших поблизости своих овец; и вот, когда идальго, крайне удовлетворенный умом и красноречием дон Кихота, собирался возобновить с ним беседу, рыцарь поднял голову и увидел, что навстречу им по дороге едет повозка, разукрашенная королевскими флагами; решив, что судьба посылает ему новое приключение, он громким голосом позвал Санчо и приказал ему подать шлем. Санчо, услышав, что его зовут, оставил пастухов, поспешно пришпорил своего серого и подъехал к своему господину, с которым тут-же произошло ужасное и нелепое приключение.

ГЛАВА XVII

в которой обнаруживается, до какого последнего и крайнего предела могло дойти и дошло неслыханное мужество дон Кихота в благополучно законченном им приключении со львами



истории нашей рассказывается, что в ту минуту, когда дон Кихот громким голосом велел Санчо принести ему шлем, оруженосец покупал у пастухов творог, и, подгоняемый крайней поспешностью своего господина, не знал, что ему с этим творогом делать и куда положить; бросать его он не хотел, так как деньги за него уже были заплачены, и потому он решил спрятать его в шлем своего господина; приняв эти меры предосторожности, он подъехал к дон Кихоту, чтобы узнать что ему нужно; а тот сказал ему:

— Друг мой, дай мне шлем; или я ничего не смыслю в приключениях, или то, что виднеется там вдали, несомненно сулит нам хорошую встречу, поэтому мне понадобится, да и сейчас уже надобно, мое оружие

Дворянин в зеленом плаще, услышав эти слова, начал всматриваться во все стороны, но ничего

не мог обнаружить, кроме повозки, украшенной двумя-тремя маленькими флажками и двигавшейся им навстречу; по этому признаку он сразу же догадался, что в повозке, должно быть, везут казну его величества, и сообщил об этом дон Кихоту; но тот ему не поверил, продолжая думать и воображать, что с ним могут случаться только одни приключения, и так ответил дворянину:

— Кто приготовился к бою, тот его наполовину выиграл; от своих приготовлений я ничего не потеряю, ибо я знаю по опыту, что у меня есть враги видимые и невидимые, но мне неизвестно, когда, где, в какое время и в каком виде они на меня нападут.

И, обратившись к Санчо, он потребовал у него шлем; а тот не успел вынуть из него творог и был принужден отдать шлем вместе с его содержимым. Дон Кихот взял его и, не заметив, что там было внутри, с большой поспешностью насадил его себе на голову; и так как творог сплюснулся и отжался, то сыворотка потекла по лицу и бороде дон Кихота, которого это так ужаснуло, что он сказал Санчо:

— Что это, Санчо? У меня, кажется, размягчился череп или растаял мозг, или же я вспотел с головы до ног. Если я вспотел, то уж, честное слово, не от страха, хоть я и не сомневаюсь, что предстоящее мне приключение будет ужасным. Если можешь, дай мне чем-нибудь обтереть лицо, ибо этот обильный пот слепит мне глаза.

Санчо промолчал, подал ему платок и возблагодарил бога за то, что господин его не догадался, в чем было дело. Дон Кихот вытер лицо и снял шлем, чтобы посмотреть, что там такое холодит

ему голову; и, увидев внутри шлема белую кашицу, он поднес ее к носу и, понюхав, сказал:

— Клянусь жизнью моей сеньоры Дульсиней Тобосской, ты, предатель, бродяга, косолапый оруженосец, подложил мне в шлем творог.

На это Санчо ответил с притворной невозмутимостью:

— Если это творог, дайте его мне, ваша милость, — я его съем. Впрочем, пускай лучше ест его дьявол, — ведь это он его, должно быть, подсунул. Чтобы я осмелился замарать шлем вашей милости? Нашли тоже смельчака! Ей богу, сеньор, если только я правильно понимаю, у меня тоже, должно быть, есть свои волшебники, и они преследуют меня, ибо я — творение и член вашей милости; паверное они подкинули сюда эту дрянь для того, чтобы вывести вас из терпения, распалить гневом и заставить по обыкновению пересчитать мне ребра; но на этот раз они останутся с носом, ибо я полагаюсь на здравый смысл моего господина и уверен, что он поймет, что нет у меня ни творога, ни молока, ни другого чего-нибудь в этом роде; а если бы у меня оно и было, то я скорее отправил бы его себе в живот, чем вам в шлем.

— Все может быть, — ответил дон Кихот.

На все это смотрел идалго и всему этому дивился, особенно когда дон Кихот, отерев голову, лицо, бороду и шлем, снова надел свой головной убор и, укрепившись в стремянах, осмотрел меч, схватил копьё и сказал:

— А теперь будь что будет; я готов сейчас же схватиться с самим сатаной во плоти.

В это время подъехала повозка с флажками;

на мулах ехал погонщик, а на передке сидел какой-то человек, — никого другого не было. Дон Кихот стал перед повозкой и сказал:



— Куда же вы едете, братцы? Что это за повозка, что вы в ней везете и что это за флаги?

На это погонщик ответил:

— Повозка — моя собственная; а везем мы на ней клетку со свирепыми львами, которых Оранский губернатор посылает в столицу в подарок его величеству; флаги эти — господина нашего короля, и означают они, что везем мы королевское имущество.

— А большие эти львы? — спросил дон Кихот.

— Такие большие, — ответил человек, сидевший на передке повозки, — что крупнее их и даже таких, как эти, еще никогда не присылали из Африки в Европу. Я приставлен ухаживать за львами и много их уже перевез, но таких еще ни разу не бывало; тут у нас лев и львица; лев сидит в передней клетке, львица в задней, и сейчас они оба очень голодны, так как сегодня еще ничего не ели; поэтому пропустите нас, ваша милость, мы торошимся доехать до какого-нибудь места, где можно будет их покормить.

На эти слова дон Кихот ответил, слегка улыбувшись:

— Итак, значит львята? На меня — львята, да еще в такую минуту? Клянусь богом, сеньоры, пославшие их сюда, сейчас увидят, такой ли я человек, чтобы у бояться львов! Слезьте с повозки, добрый человек, и раз вы ухаживаете за ними, так откройте же клетки, выпустите зверей на волю, и я среди этого поля покажу им, кто такой дон Кихот Ламанчский, и пускай себе злятся и бешутся волшебники, пославшие на меня этих львов.

— Те-те-те! — сказал тут про себя идальго. — Наш добрый рыцарь наконец-то себя выдал; от твораго у него несомненно размягчился череп и прокисли мозги.

В то время к нему подошел Санчо и сказал:

— Ради самого бога, сеньор, сделайте, ваша милость, так, чтобы мой господин дон Кихот не связывался с этими львами; ведь если он с ними свяжется, так они всех нас растерзают в клочки.

— Неужели ваш господин такой безумец, — ответил идалго, — неужели вы думаете и боитесь, что он свяжется с этими свирепыми зверями?

— Он не безумец, а забияка, — ответил Санчо.

— Я постараюсь умерить его задор, — сказал идалго.

Затем он подошел к дон Кихоту, который торопил надсмотрщика открыть клетки, и сказал ему:

— Сеньор рыцарь, странствующие рыцари должны пускаться на приключения, которые внушают им надежду на благополучное их завершение, а не на такие, которые не сулят ни малейшей надежды на успех, ибо отвага, граничащая с безрассудством, заключает в себе больше безумия, чем мужества. Тем более, что этим львам и во сне не снилось на вас нападать; они подарены его величеству, и неприлично их задерживать и препятствовать их перевозке.

— Ступайте-ка, ваша милость, сеньор идалго, потолкуйте с вашей прирученной куропаткой и забиякой-хорьком и не мешайте другим делать свое дело. Мне надлежит здесь исполнить свой долг, и я знаю, кому посланы эти сеньоры-львы: мне или не мне.

И, обратившись к надсмотрщику за львами, он сказал:

— Чорт побери, дон бездельник, если вы немедленно не отворите клеток, то я вот этим копьём пришиллю вас к повозке.

Возница, увидев решительность, с которой говорило это вооруженное пугало, сказал ему:

— Мой сеньор, я исполню волю вашей милости, но помилосердствуйте и позвольте мне сперва распречь мулов и укрыться вместе с ними в безопасное место, прежде чем львы окажутся на свободе, ибо если звери растерзают моих животных, они накажут меня на всю жизнь: ведь эта повозка и мулы — все мое достояние.

— О, малoverный, — воскликнул дон Кихот, — ну, слезай на землю, распрягай и поступай, как знаешь, но ты скоро увидишь, что трудился понапрасну и вполне мог бы обойтись без этих предосторожностей.

Возница спешился, и быстро распряг мулов, а надсмотрщик закричал громким голосом:

— Призываю в свидетели всех здесь присутствующих, что я против воли и по принуждению отворяю клетки и выпускаю львов, и заявляю этому сеньору, что все зло и убытки, которые причинят эти звери, он оплатит из своего кармана, включая мое жалованье и другие доходы. Но, прежде чем я отопру, спрячьтесь подалее, ваши милости, сеньоры; что же касается меня, то я уверен, что звери не сделают мне никакого зла.

Снова идалго стал уговаривать дон Кихота не совершать подобного безумия и не испытывать милосердия божьего, идя на столь целепое дело. Но дон Кихот на это ответил, что он знает, что делает. Идалго просил его подумать хорошенько, ибо он наврное ошибается.

— Если вам, сеньор, — возразил дон Кихот, — не угодно быть зрителем этой, по вашему мнению,

трагедии, то припшорьте вашу серую кобылу и спрячьтесь в безопасном месте.

Услышав эти слова, Санчо со слезами на глазах стал просить своего господина воздержаться от предприятия, по сравнению с которым и приключение с ветряными мельницами, и страшное приключение на сукновальне, и вообще все деяния, совершенные им в течение всей его жизни, не больше, как пирожки да печатные пряники.

— Заметьте себе, сеньор, — говорил Санчо, — что тут нет ни волшебства, ни чего-либо в этом роде; я сквозь щелку в решетку клетки успел увидеть коготь самого настоящего льва и заключаю, что лев, у которого такие когти, должен быть вышиной с гору.

— От страха, — ответил дон Кихот, — он тебе мог показаться величиной с пол-мира. Удались, Санчо, и оставь меня, и если я погибну, то не забудь о нашем старинном уговоре: отправляйся к Дульсинее, а про остальное говорить нечего.

К этому он прибавил еще другие слова, так что присутствующие, наконец, потеряли надежду отговорить его от столь несуразного замысла. Дворянин в зеленом плаще охотно оказал бы сопротивление дону Кихоту, но он видел, что противник его лучше вооружен, да и считал неразумным связываться с сумасшедшим, — а что дон Кихот сумасшедший, в этом он уже окончательно убедился; поэтому тот снова принялся торопить надсмотрщика и повторять свои угрозы; идалго припшорил свою кобыду, Санчо своего серого, возница мулов, и все вместе постарались отъехать как можно дальше от повозки, пока львы еще не выпущены на свободу. Санчо оплакивал гибель своего

господина и был уверен, что на этот раз ему не уделеть в когтях львов; он поносил свою судьбу и проклинал тот час, когда ему пришлось в голову вернуться на службу к дон Кихоту; однако слезы и причитания не мешали ему понукать серого и гнать его подалее от повозки.

Когда надсмотрщик убедился, что беглецы отъехали на значительное расстояние, он снова принялся заклинять и умолять дон Кихота о том же, о чем заклинал и умолял его раньше, но тот ответил, что советует ему оставить заклипания и мольбы, ибо они ни к чему не приведут, и поторопиться отпереть клетки. Пока надсмотрщик возился, отпирая первую клетку, дон Кихот обдумывал, как ему лучше сражаться, пешком или на коне, и наконец решил, что пешком — лучше, ибо он опасался, как бы вид львов не устрасил Росинанта; поэтому, соскочив с лошади, он отбросил копьё, схватил щит, обнажил меч и медленным шагом, с изумительной отвагой и душевной твердостью, направился прямо к повозке, от всего сердца поручив себя сначала богу, а затем своей госпоже Дульсине. И следует вам знать, что автор сей подлинной истории, дойдя до этого места, восклицает и говорит: «О, недостижимый для похвал! О, могучий и храбрый дон Кихот Ламанчский! Зерцало, в которое могут глядеться все храбрецы в мире, второй и невиданный дон Мануэль де Леон,* сия слава и честь испанского рыцарства! Где найду я слова, чтоб описать это ужасное дело? Какими речами заставлю поверить ему грядущие поколения? Найдутся ли чрезмерные и не приличествующие тебе похвалы, будь они гиперболические всяких гипербол? Вот ты — пеший, одинокий, бес-

страшный, великодушный, вооружившись одним лишь мечом, да и то не высшего качества (не с Собачкой* на клинке), прикрывшись щитом, да и то не из самой ясной и сверкающей стали — стоишь, поджидая львов, свирепее которых никогда еще не производили африканские леса. Да послужат тебе хвалой, доблестный ламанчед, твои собственные деяния, я же могу только довести изложение до твоего апогея, ибо у меня не хватает слов прославлять тебя».

Здесь кончается приводимое нами восклицание автора, и он, соединяя прерванную было нить повествования, продолжает следующим образом: когда надсмотрщик увидел, что дон Кихот стоит уже в боевой позиции и что ему придется выпустить на волю самца во избежание немилости гневного и отважного рыцаря, он распахнул настежь дверцы первой клетки, в которой, как мы уже говорили, сидел лев; он был необычайно велик и с виду грозен и ужасен. Первым его движением было повернуться в клетке, в которой он был заключен, раскинуть лапы и потянуться всем телом; затем он открыл пасть, медленно зевнул, высунул язык длиной почти в две пяди и облизал себе глаза и всю морду; сделав это, он выставил голову из клетки и огляделся на все стороны глазами, сверкавшими, как угли; его вид и движения могли ужаснуть само бесстрашие, и тем не менее дон Кихот внимательно всматривался в него и желал, чтобы лев поскорее выпрыгнул из повозки и вступил с ним в рукопашный бой, ибо рыцарь наш был уверен, что изрубит его в мелкие куски.

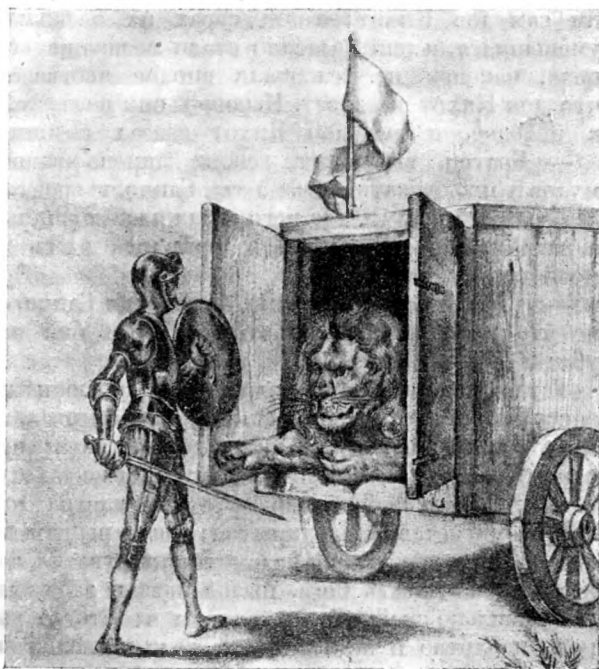
Вот до какой крайности дошло его неви-

данное безумие. Однако благородный лев был более вежлив, чем дерзок; он не обратил внимания на ребяческий задор дон Кихота, поглядел, как было уже указано, на все стороны, повернулся и показал нашему рыцарю свои задние части, затем спокойно и невозмутимо снова растянулся в клетке; дон Кихот, увидев это, приказал надсмотрщику дать льву несколько палочных ударов, чтобы разозлить его и выгнать из клетки.

— Этого я не сделаю, — ответил надсмотрщик, — ведь если я его разозлю, так он прежде всего растерзает меня самого. Довольно с вашей милости, сеньор рыцарь, и того, что было; ведь в смысле храбрости ничего лучшего не придумаешь, а потому не следует испытывать судьбу дважды. Дверцы клетки открыты, лев может выйти, если ему захочется, но раз он до сих пор не вышел, то уж конечно, и до вечера не выйдет. Вы, ваша милость, вполне доказали храбрость вашего сердца; все, чего можно требовать от смелого воина, это — по моему разумению, вызвать врага на бой и ожидать его в поле; если враг не явится, он покрыл себя позором, а тот, кто его ждал, получает победный венец.

— Да, это правда, — ответил дон Кихот, запирайте дверцы, друг мой, и выдайте мне свидетельство, составленное в самой лучшей форме, обо всем том, что вы только что видели, а именно как вы отперли дверцы, как я ждал выхода льва, а он не вышел, как я все ожидал, а он попрежнему не выходил и наконец разлегся в клетке. Я исполнил свой долг; прочь всякие волшебства, и да поможет господь разуму, правде и истинному ры-

дарству! Итак, повторяю, запри клетку, а я тем временем подзову знаками тех, кто бежал и скрылся, и пусть они из твоих уст узнают про этот подвиг.



Так надсмотрщик и сделал, а дон Кихот поднял на острие копья платок, которым он вытирал себе лицо после творожного дождя, и стал призывать беглецов, а те все еще улепетывали, оборачиваясь назад каждую минуту, причем впе-

реди всех скакал идалго; но Санчо, заметив, что дон Кихот делает знаги белым платком, сказал:

— Убейте меня, если мой господин не победил этих свирепых зверей; ведь это он нас зовет.

Те приостановились и убедились, что знаки делал им сам дон Кихот; тогда страх их несколько уменьшился, и они медленно стали возвращаться, пока, наконец, не услышали вполне явственно, что дон Кихот их зовет. Наконец, они подъехали к повозке, и тут дон Кихот сказал вознице:

— Братец, вы можете снова запретить ваших мулов и продолжать путь; а ты, Санчо, выдай ему два золотых эскудо, для него и для надсмотрщика, в награду за то, что они задержались здесь по моей вине.

— Я дам их очень охотно, — ответил Санчо, — но что же случилось со львами? Живы они или убиты?

Тогда надсмотрщик подробно и исторопливо рассказал об исходе сражения, преувеличивая, по мере сил и уменья, доблесть дон Кихота; при одном его виде лев будто бы струсил и не захотел или не посмел выйти наружу, хотя клетка долгое время оставалась открытой; тогда рыцарь велел его раздражить, но надсмотрщик ответил, что нельзя испытывать бога, дразня льва и заставляя его насильно выйти из клетки, и что тогда рыцарь неохотно и против своей воли позволил запереть дверцы клетки.

— Ну, что ты скажешь, Санчо? — спросил дон Кихот. — Какое колдовство может устоять против истинной доблести? Волшебники могут лишить меня удачи, но отнять у меня мужество и отвагу им не под силу.

Санчо отдал два эскудо, возница впряг мулов, надсмотрщик поцеловал руки дон Кихота, благодаря за оказанную ему милость, и пообещал рассказать об этом подвиге самому королю, как только прибудет в столицу.

— А если его величество случайно спросит, кто совершил этот подвиг, то скажите ему: *рыцарь Львов*, ибо отныне я желаю, чтобы название *рыцарь Печального образа*, которое я доселе носил, было изменено, переделано, переправлено и превращено в это новое прозвище; в данном случае я следую древнему обычаю странствующих рыцарей, которые меняли имена, когда им этого хотелось или когда это было кстати.

Повозка поехала по своей дороге, а дон Кихот, Санчо и дворянин в зеленом плаще продолжали свой путь. За все это время дон Диэго де Миранда не проронил ни слова, а только внимательно наблюдал и отмечал слова и поступки дон Кихота, и казалось ему, что перед ним здравомыслящий безумец или сумасшедший, смахивающий на здравомыслящего. До его сведения не дошла еще первая часть истории дон Кихота, а если бы он успел ее прочитать, то ни слова, ни поступки дон Кихота не вызвали бы в нем такого удивления, ибо тогда он бы понял, какого рода было безумие нашего рыцаря; но всего этого он не знал и потому принимал его то за здравомыслящего, то за сумасшедшего, ибо речи дон Кихота были складны, изящны и толковы, а поступки — нелепы, безрассудны и несерьезны; идалго говорил про себя: «Возможно ли большее безумие, чем надеть себе на голову плем, полный творога, и подумать, будто волшебники размягли тебе

мозги? И возможно ли худшее безрассудство и глупость, чем насильно лезть в драку со львами?»

Дон Кихот прервал его размышления и беседу с самим собой, сказав следующее:

— Несомненно, сеньор дон Диэго де Миранда, ваша милость считает меня человеком сумасбродным и безумным? Да и не удивительно, что вы так думаете, ибо все мои дела как будто свидетельствуют об этом. Но тем не менее я хотел бы, чтобы ваша милость поверила, что я вовсе не такой безумец и не такой помешанный, как могу вам показаться. Приятно смотреть на статного рыцаря, когда он на глазах самого короля посреди широкой арены ловко поражает копьём могучего быка; приятно смотреть на рыцаря, молчаливого в блестящие доспехи, когда он на веселом турнире выезжает на поле в присутствии дам; приятно смотреть на всех тех рыцарей, которые военными потехами и другими подобными упражнениями развлекают, увеселяют и, если можно так выразиться, прославляют своих князей; но куда приятнее смотреть на странствующего рыцаря, который по пустыням, тущобам и перенутьям, по лесам и горам странствует в поисках опасных приключений, в надежде завершить их счастливо и благополучно только для того, чтобы снискать славную и прочную известность; повторяю, приятнее смотреть на странствующего рыцаря, помогающего где-нибудь в пустынном краю бедной вдове, чем на придворного кабальеро, ухаживающего в городе за какой-нибудь благородной девицей. У каждого рыцаря — свои особые обязанности: пусть придворные рыцари служат дамам, украшают дворы королей пышностью своего наряда,

поддерживают бедных рыцарей роскошными яствами своего стола, устраивают турниры, поощряют состязания, проявляют щедрость, величие и великолепие, а больше всего христианские добродетели, — и тогда они исполняют свои священные обязанности; а странствующие рыцари пусть рыщут по всем уголкам мира, попадают в непроходимые дебри, пытаются совершить невозможное; переносят в разгар лета в пустынных краях жгучие лучи солнца, а зимой — жестокою ярость ветров и морозов; пусть не устрашают их львы, не пугают чудовища, не тревожат андриаки, ибо главным и подлинным их делом является — розыскивать первых, нападать на вторых, и побеждать всех прочих. И, раз на долю мою выпало вступить в ряды странствующих рыцарей, я не могу не предпринимать дел, кои, по моему мнению, входят в число моих обязанностей; что же касается того, что я сегодня напал на львов, то, нападая на них, я исполнил свой прямой долг, хоть я и понимал, что это — безрассудная дерзость; ибо я хорошо знаю, что храбрость есть добродетель, находящаяся посредине между двумя порочными крайностями: трусостью и безрассудством; по гораздо меньшим злом будет, если храбрый человек уклонится и дойдет до грани безрассудства, чем если уклонение это поведет его вниз, в сторону трусости; как расточителю легче, чем скупому, сделаться щедрым, так и безрассудному легче превратиться в истинного храбреца, чем трусу достигнуть истинной храбрости; что же касается искания приключений, то поверьте мне, ваша милость, сеньор дон Диэго, если уж проигрывать, то лучше с лишними кар-

тами на руках, чем из-за их недостатка; ибо в ушах слушателей слова: «Этот рыцарь безрассуден и забияка» звучат лучше, чем слова: «Этот рыцарь робок и труслив».

— Скажу вам, сеньор дон Кихот, — ответил ему дон Диэго, — что все сказанное и совершенное вашей милостью взвешено на весах самого разума, и я уверен, что если бы правила и законы странствующего рыцарства были утрачены, то их можно было бы найти в вашем сердце, где они хранятся, как в своем естественном месте — в лицевом и архиве; а теперь поторопимся, ибо час уже поздний; поедем ко мне в деревню, и там, в моем доме, ваша милость сможет отдохнуть от перенесенных трудов: правда, они были не телесного, а духовного рода, но ведь и духовные труды нередко приводят к телесной усталости.

— Считаю ваше предложение за великую милость и честь, сеньор дон Диэго, — ответил дон Кихот.

Тут они посильнее прищипорили своих лошадей и около двух часов дня прибыли в деревню, где жил дон Диэго, которого дон Кихот прозвал рыцарем Зеленого плаща.

ГЛАВА XVIII

о том, что случилось с дон Кихотом в замке или доме рыцаря Зеленого плаща и о других необычайных вещах



ом дон Диэго де Миранда, куда попал дон Кихот, был совсем не высок и походил на самый обыкновенный усадебный дом; но все же над воротами, выходящими на улицу, из грубого камня был высечен герб; во дворе находился винный подвал,* а в подворотне стояло множество глиняных бочек; так как местом изготовления их были Тобосо, то рыцарь наш снова вспомнил о своей очарованной и превращенной Дульсине; и, не думая о том, что и где он говорит, он произнес со вздохом:

— Я сладкий клад нашел себе на горе;
Он в пору счастья радовал меня.*

О, тобосские бочки, вы привели мне на память сладкую виновницу моей великой горечи!

Студент-поэт, сын дон Диэго, вышедший с матерью навстречу гостям, услышал эти слова; и мать и сын были изумлены странной фигурой

дон Кихота, который спрыгнул с Росинанта и, с большой учтивостью приблизившись к жене дон Диэго, попросил позволения поцеловать ей руку; дон Диэго сказал:

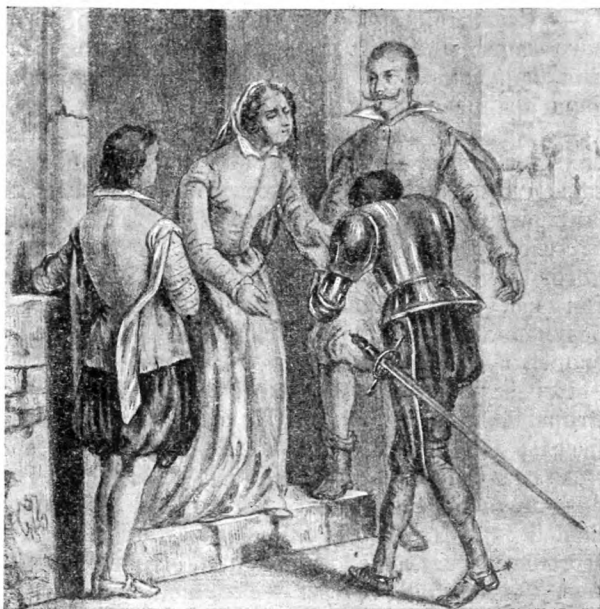
— Примите, сеньора, с вашей обычной приветливостью сеньора дон Кихота Ламанчского, стоящего сейчас перед вами; он — странствующий рыцарь, отважнейший и умнейший из всех рыцарей на свете.

Сеньора, которую звали донья Кристина, приветствовала гостя весьма ласково и учтиво, а дон Кихот ответил ей в самых отменных и обходительных выражениях. Подобными же любезностями обменялся он со студентом, который, слыша его речи, счел его человеком не глупым и остроумным.

Здесь автор описывает весьма обстоятельно дом дон Диэго; перечисляя нам все предметы, которые обычно можно найти в доме богатого деревенского дворянина; но переводчик этой истории решил обойти молчанием эти подробности, ибо они не относятся к главному предмету истории, вся сила которой состоит в ее правдивости, а не в холодных отступлениях.

Дон Кихота провели в комнату, где Санчо его разоружил, после чего рыцарь остался в шароварах и верблюьем камзоле, покрытом грязными пятнами от доспехов; брыжжи у него были не накрахмалены и без прошивок, на студенческий лад; поверх желтых мягких сапог — провощенные башмаки; * опоясался он своим добрым мечом, висевшим на перевязи из тюленьей кожи * (говорят, что наш рыцарь долгие годы страдал болезнью почек); набросил на себя епанчу из хо-

рошего серого сукна; но прежде всего он вымыл себе лицо и голову в пяти или шести котлах воды (относительно количества котлов существует некоторое разногласие), хотя даже последняя вода



приобрела цвет сыворотки: все это благодаря чревоугодию Санчо и попытке им проклятого творога, который так выбелил его господина. И вот, в таком наряде, с приятной и изящной непринужденностью, дон Кихот вошел в другую комнату, где ждал его студент, чтобы занять его разговором, пока накроют на стол; ибо сеньора

донья Кристина желала показать столь знатному посетителю, что она знает и понимает, как надо принимать гостей. А пока дон Кихот разоружался, дон Лоренсо (так звали сына дон Диэго) улучил минуту, чтобы спросить отца:

— Скажите, сеньор, кто этот кабальеро, которого ваша милость привела к нам в дом? Его имя, наружность и звание странствующего рыцаря крайне озадачили и меня и матушку.

— Не знаю, как тебе сказать, сын мой, — ответил дон Диэго, — только я могу засвидетельствовать, что он на моих глазах вел себя как величайший безумец на свете, а рассуждал так разумно, что слова его отрицают и исключают его попустки; поговори с ним, пощупай пульс его знаний и, так как ты разумен, реши сам, умен он или безумен, хотя, если говорить правду, я считаю его скорей сумасшедшим, чем здравомыслящим.

После этого, как мы уже сказали, дон Лоренсо отправился занимать дон Кихота, и во время их беседы дон Кихот сказал дон Лоренсо между прочим следующее:

— Сеньор дон Диэго де Миранда, батюшка вашей милости, сообщил мне о редком даровании и тонком уме вашей милости и, что самое важное, сказал мне, что вы — большой поэт.

— Поэт — это возможно, — ответил дон Лоренсо, — но большой — ни в коем случае; правда, я имею некоторую склонность к поэзии и к чтению хороших поэтов; но всего этого недостаточно, чтобы назвать меня большим поэтом, как выразился мой батюшка.

— Мне нравится ваша скромность, — сказал дон Кихот, — ибо все стихотворцы самоуверен-

ны и считают, что они лучшие поэты на свете.

— Нет правил без исключения, — ответил дон Лоренсо, — и несомненно бывают хорошие поэты, не считающие себя таковыми.

— Таких мало, — возразил дон Кихот. — Но скажите мне, ваша милость, над какими стихами вы сейчас работаете? Ибо сеньор ваш батюшка говорил мне, что вы ими очень заняты и озабочены. Если это какая-нибудь глосса,* то в этом деле я кое-что смыслю, и мне было бы очень приятно выслушать ваши стихи; и если вы предназначаете их для литературного состязания, то постарайтесь, ваша милость, получить вторую премию, ибо первая всегда присуждается особам влиятельным и высокопоставленным, а вторая дается по чистой справедливости, так что третий в сущности является вторым, а первый, при таком счете, становится третьим, совсем так, как это происходит в наших университетах со степенью лиценциата; однако при всем том — большая честь получить первую премию.

«До сих пор, — подумал про себя дон Лоренсо, — я не могу признать его сумасшедшим, но пойдем дальше», и, обратившись к дону Кихоту, он сказал:

— Мне кажется, что ваша милость посещала высшие школы. Какую науку вы изучали?

— Науку странствующего рыцарства, — ответил дон Кихот, — которая будет не хуже поэзии, и, пожалуй, даже чуточку лучше.

— Я не знаю такой науки, — сказал дон Лоренсо, — я ничего до сих пор о ней не слышал.

— Эта наука, — начал дон Кихот, — включает в себя все или большую часть наук на свете по

той причине, что человек, занимающийся ею, обязан быть юристом и знать законы распределяющего и возмещающего правосудия, * дабы воздавать каждому то, что ему полагается и принадлежит; он должен быть богословом, чтобы уметь ясно и отчетливо объяснить исповедуемую им христианскую веру, если где-нибудь у него этого объяснения потребуют; он должен быть врачом и особенно знатоком трав, чтобы в безлюдных и пустынных местах распознать травы, обладающие свойством лечить раны, ибо странствующий рыцарь не может каждую минуту розыскивать лекаря; он должен быть астрологом, чтобы узнавать по звездам, сколько уже прошло часов ночи, и определять, в какой стране и в какой части света он находится; он должен знать математику, ибо на каждом шагу она может ему понадобиться; не распространяясь о том, что он должен быть украшен всеми богословскими и кардинальными * добродетелями, и перейдя к мелочам, скажу, что он должен уметь плавать, как плавал, говорят, **Николас** или **Николао-рыба**; * он должен уметь подковать коня, починить седло и уздечку; далее, возвращаясь к высоким предметам, прибавлю, что он обязан хранить верность богу и своей даме; он должен быть целомудрен в помыслах, благопристойен в словах, щедр в делах, храбр в подвигах, терпелив в трудах, сострадательн к нуждающимся и, наконец, бойцом за правду, хотя бы такая защита стоила ему жизни. Из всех этих великих и малых свойств и состоит должность странствующего рыцаря, а теперь посудите сами, ваша милость, сеньор дон Лоренсо, пустячная ли вещь та наука, которую изучает и осуществляет

рыцарь, и можно ли сравнить ее с самыми обширными науками, преподаваемыми в гимназиях и школах.

— Если это так, — ответил дон Лоренсо, — то я утверждаю, что эта наука превосходит все остальные.

— Что значит: «если это так?» — воскликнул дон Кихот.

— Я хочу сказать, — ответил дон Лоренсо, — что я сомневаюсь, чтобы теперь или когда-либо раньше существовали странствующие рыцари, украшенные столькими добродетелями.

— Я скажу вам то, что мне приходилось уже говорить много раз, — возразил дон Кихот, — а именно: большинство людей на свете полагают, что в мире никогда не было странствующих рыцарей; мне кажется, что если небо чудесным образом не откроет им, что странствующие рыцари воистину существовали и существуют, то тщетны будут все старания убедить их в этом, как я неоднократно испытал это на собственном опыте; поэтому я не намерен терять время, чтобы опровергать заблуждение, которое ваша милость разделяет со многими лицами; мне остается только молить небо, чтобы оно просветило вас и показало вам, сколь выгодно и необходимо людям было странствующее рыцарство минувших времен и сколь полезно было бы оно и сейчас, если бы было в ходу; но теперь в наказание за наши грехи торжествуют лень, праздность, чревоугодие и изнеженность.

«Ну, теперь наш гость себя выдал, — подумал дон Лоренсо, — но это — благородное безумие, и я сам был бы жалким тупицей, если бы думал иначе».

Тут беседа их кончилась, так как их позвали обедать. Дон Диэго спросил сына, что он выяснил относительно душевного состояния их гостя. На это юноша ответил:

— Все лекари и грамотей на свете не сбросят его с конька его безумия; это — сумасшествие перемежающееся, с проблесками здравого смысла.

Все сели за стол, и обед был именно таков, каким во время путешествия описал его дон Диэго: опрятный, обильный и вкусный; особенно же понравилось дону Кихоту, что во всем доме царил удивительная тишина, как в картезианском монастыре.* Когда же было убрано со стола, все вымыли руки и возблагодарили бога, а дон Кихот стал настойчиво просить дон Лоренсо прочесть стихи, предназначенные для литературного состязания. И тот ответил:

— Я не хочу походить на тех поэтов, которые отказываются читать стихи, когда их упрощают, и извергают стихи потоками, когда никто их не просит; поэтому я прочту вам свою глоссу, за которую я не надеюсь получить премию, ибо я написал ее только для того, чтобы поупражняться в этом роде искусства.

— Один мой приятель, человек не глупый, — сказал дон Кихот, — полагает, что не стоит утруждать себя сочинением глосс; и это потому, прибавляет он, что глосса никогда не может сравниться с заданным текстом и что в большинстве случаев глосса не отвечает замыслу и плану первоначальных стихов; к тому же правила для глосс слишком строги: они не допускают вопросов, слов: *он сказал, я скажу*, образования существительных от глаголов, изменения смысла;

все эти ограничения и путы связывают сочинителей глосс, как вашей милости это должно быть известно.

— Признаюсь вам, сеньор дон Кихот, — ответил дон Лоренсо, — я все время хочу поймать вашу милость на каком-нибудь мелком промахе и никак не могу, ибо вы, как угорь, ускользаете из рук.

— Не понимаю, — сказал дон Кихот, — о чем ваша милость говорит или хочет сказать, употребляя слово «ускользаете».

— Я вам потом объясню, — ответил дон Лоренсо, — а теперь послушайте, ваша милость, заданные стихи и мою глоссу на них. Вот они.

*Если б «было» стало «есть»,
Не меняясь никогда,
Иль свершилось навсегда
То, что смерть должна принести!*

ГЛОССА

Как исчезнет все, что было
Так исчезли те дары,
Что судьба и мне судила
И ни щедро с той поры,
Ни скупясь — не возвратила.
О судьба, веков не счесть,
Как я жажду счастья весть!
Дай мне снова быть беспечным!
Я бы жил блаженством вечным,
Если б «было» стало «есть».

Нет превыше ликованья,
Ни триумфа, ни награды,
Ни венца, ни обладанья,

Как вернуться к дням отрады,
К горьким снам воспоминанья.
Если я вернусь туда,
Умягчится без труда
Все мое терзанье злое,
Лишь бы вновь пришло бывшее,
Не меняясь никогда.

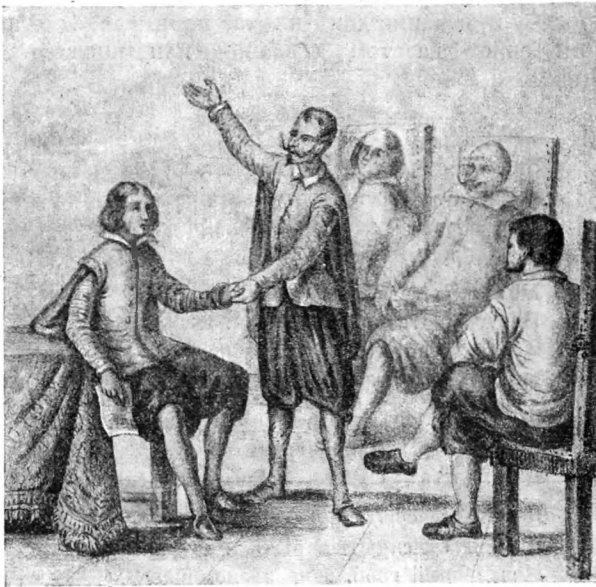
Сколько б сердце ни просило,
Но воззвать из небытья
К новой жизни то, что было, —
На земле еще ничья
Не отваживалась сила.
Мчатся легкие года,
Исчезая без следа,
И безумен, кто б молился,
Чтобы час остановился
Иль свершился навсегда.

Жить в тревоге год за годом
То надеждой, то сомненьем —
Горше сна под вечным сводом,
И объятому томленьем
Лучше смерть избрать исходом.
Легче мне, чем муку несть,
Гибель вольную обрести,
И давно я стал бы прахом,
Но сжимает душу страхом
То, что смерть должна принести.

Когда дон Лоренсо кончил читать свою глоссу,
дон Кихот встал и, схватив его за правую руку,
громко сказал или, вернее, воскликнул:

— Да будет благословенно всемогущее небо, о
благородный юноша! Вы — лучший поэт в мире

и достойны быть увенчанным лаврами — не на Кипре или в Гаэте,* как сказал один поэт, — да простит его господь, — а в афинской академии, если бы она еще существовала, и в парижской, болонской и саламанской академиях, ныне суще-



ствующих! Если судьи лишат вас первой премии, то да будет угодно небу, чтобы Феб пронзил их своими стрелами и чтобы Музы никогда не переступили порога их жилищ. Сделайте милость, прочтите какие-нибудь пятистопные стихи, так как мне хочется в полной мере оценить ваш удивительный талант.

Странное дело, но говорят, что дону Лоренсо были приятны похвалы дон Кихота, хотя он и считал его сумашедшим. О, могущество лести, как далеко ты простираешься и как обширны пределы твоей сладостной власти! Дон Лоренсо подтвердил эту истину, так как удовлетворил просьбу и желание дон Кихота, прочитав следующий сонет на тему сказания или повести о Пираме и Тисбе:

СО Н Е Т

Краса-девица стену пробивает,
 Любовь поразивши грудь Пирама:
 Полюбоваться этой брешью прямо
 Амур крылатый с Кипра поспешает.

Молчание туда лишь проникает,
 Не услышать ни шопота, ни гама;
 Но для души то — путь: любовь упрямо
 Труднейшие дела нам облегчает.

Но мер не знают зовы возбужденья, —
 И дева неразумная стремится
 На радость к смерти... Чем же не сказанье?

Им вместе суждено (о, совпадение!)
 Погибнуть, скрытым быть и сохраниться, —
 Меч, общий гроб, одно воспоминанье.

— Благодарение богу! — воскликнул дон Кихот, — выслушав сонет дон Лоренсо. — Среди множества ныне существующих конченных поэтов я увидел, наконец, одного поэта законченного, — я говорю о вас, ваша милость, сеньор мой, ибо мастерство этого сонета — лучшее тому доказательство.

Четыре дня роскошествовал дон Кихот в доме дон Диэго, а на пятый попросил разрешения уехать и поблагодарил за ласку и прекрасный прием, который был ему здесь оказан; но, прибавил он, странствующим рыцарям не полагается предаваться слишком долгое время бездействию и роскоши, а потому он намерен вернуться к своим обязанностям и снова пуститься на поиски приключений; по его сведениям, край этот кишит приключениями, и он займется ими, пока не наступит день турнира в Сарагосе, куда лежит прямой его путь; но прежде он собирается проникнуть в пещеру Монтесиноса, * о которой местные жители рассказывали столько чудес, а также изучить и исследовать подлинные истоки и место зарождения семи озер, называемых обычно Руидера. * Дон Диэго с сыном одобрили его благородный замысел и просили взять из их дома и имущества все, что ему понравится; они от всего сердца предлагали ему свои услуги, так как это им вменили в обязанность и его личные достоинства и его почетное рыцарское служение.

Наконец наступил день отъезда, радостный для дон Кихота, но печальный и горький для Санчо Пансы, который отлично себя чувствовал в богатом доме дон Диэго и не очень-то хотел вернуться к голодной жизни в лесах и пустынях и к скудным припасам своей тощей сумки. Но все же он туго набил ее самую необходимую снедь, а дон Кихот на прощанье сказал дон Лоренсо:

— Не помню, говорил ли я уже об этом вашей милости, но если говорил, то повторю еще раз: если ваша милость пожелает сократить дорогу и труды при восхождении на недостижимую вер-

пшну храма Славы, вам необходимо сделать следующее: оставить в стороне тесную стезю поэзии и вступить на теснейший путь странствующего рыцарства, на котором вы в мгновение ока можете сделаться императором.

Этими словами дон Кихот окончательно расписался в своем безумии, но то, что он прибавил, было еще почище:

— Одному богу известно, — сказал он, — как бы мне хотелось увести с собой сеньора дон Лоренсо и показать ему, что значит щадить покорных, а также громить и угнетать мятежных, иначе говоря, научить добродетелям, связанным с моим рыцарским служением; но раз этого не допускает его ранняя юность и не позволяют его похвальные занятия, я удовлетворюсь только одним замечанием: ваша милость может прославиться как поэт, если будет руководствоваться не собственным, а чужим мнением; ибо каждому отцу и матери собственное чадо никогда не кажется безобразным, а когда дело касается созданий нашего духа, то такого рода заблуждение становится несколько опасным.

Отец с сыном снова подивились тому, как странно в речах дон Кихота чередуются рассудительность и вздорность и с каким упорством и настойчивостью стремится он во что бы то ни стало на поиски своих злополучных приключений, считая их единственной целью всех желаний. Они снова обменялись заверениями и любезностями, и с милостивого разрешения властительницы замка друзья наши отбыли: дон Кихот верхом на Росинанте, а Санчо на сером.

ГЛАВА XIX

в которой рассказывается о приключении с влюбленным пастухом и о других поистине забавных происшествиях



е успел дон Кихот далеко отъехать от деревни дон Диэго, как ему повстречались два человека, не то духовные лица, не то студенты, и с ними два крестьянина; все четверо ехали верхом на животных ослиной породы. Один из студентов вез в покрывшке из зеленой холстинки, заменявшей дорожный чехол, одежку из белого сукна и две пары грубых шерстяных чулок; другой — лишь две новенькие учебные рапиры с надетыми на них пуговицами. Крестьяне же везли другие предметы, по которым можно было заключить и определить, что они были в большом поселке, накупили там всякого добра и теперь направлялись к себе в деревню; и студенты и крестьяне были поражены видом дон Кихота (как бывали поражены все, встречавшиеся с ним в первый раз) и умирали от желания узнать, кто этот человек, столь мало похожий на обыкновенных смертных. Дон Кихот приветствовал их и,

узнав, что едут они в ту же сторону, куда и он, предложил им себя в попутчики и попросил их придержать ослиц, обгонявших его коня. Предупреждая их любопытство, он в кратких словах объяснил, кто он такой и что по званию и роду занятий он — странствующий рыцарь, ищущий приключений во всех частях света. Он прибавил, что его имя — дон Кихот Ламанчский, а прозвище — *рыцарь Львов*. Для крестьян все это было так же понятно, как греческий язык или какая-нибудь тарабарщина, но студенты поняли дон Кихота и сразу же смекнули, что он не в своем уме; тем не менее они глядели на него с удивлением и уважением, и один из них сказал:

— Если ваша милость, сеньор рыцарь, странствует без определенной цели, как это принято у искателей приключений, то поезжайте, ваша милость, с нами, и мы повезем вас на свадьбу, лучше и богаче которой не праздновалось доселе ни в Ламанче, ни на много миль в округе.

Дон Кихот заметил, что, вероятно, дело идет о свадьбе какого-нибудь князя, раз он так ее расхваливает.

— Нет, я говорю о свадьбе крестьянина с крестьянкой, — ответил студент: — жених — самый богатый человек в наших краях, а такой красавицы, как невеста, никто на свете не видывал. Для этой свадьбы делаются необычайные и неслыханные приготовления, ибо она будет отпразднована на лугу по соседству с деревней, где живет невеста, которую обычно называют Прекрасной Китерией, а жених зовется Богачом Камачо; ей восемнадцать лет, а ему двадцать два; это прекрасная пара, хотя, впрочем, любо-

пытные люди, помнящие паизусть все родословные на свете, утверждают, что род прекрасной Китерии древнее рода Камачо; но это не беда, ибо деньги — вещь сильная, и ими можно замазать все трещины. И, действительно, Камачо щедр, и он вздумал покрыть весь луг беседкой из ветвей деревьев, так что лучи солнца лишь с большим трудом могут туда проникнуть и поиграть на зеленой травке, которая одевает там землю. Он приготовил также танцы со шпагами и мелкими бубенцами, так как в его деревне есть плясуны, которые великолепно умеют потрясать и звесеть бубенчиками; о танцорах, хлопающих по каблукам руками,* я уж не говорю: ходят слухи, что у Камачо припасено их целое полчище; по все эти забавы, которые я вам перечислил, и многие другие, о которых я умолчал, — ничто по сравнению с тем зрелищем, которое, как мне кажется, будет являть собой отчаянье Басилио, — вот что сделает эту свадьбу особенно достопамятной. Этот Басилио — пастух из той же деревни, что и Китерия, и ее сосед; одна стена отделяет его дом от дома родителей Китерии, и любовь воспользовалась этим случаем, чтобы воскресить в мире давно забытую страсть Пирама и Тисбы: дело в том, что с самых юных лет Басилио влюбился в Китерию, а она достойно и милостиво отвечала его любви; так что в деревне любовь этих детей — Басилио и Китерии — для всех служила развлечением. Когда они подросли, отец Китерии решил запретить Басилио бывать у них в доме и, чтобы оградить себя от постоянных тревог и подозрений, надумал выдать свою дочь за богача Камачо, не сочувствуя ее браку с Ба-

силию, так как последний был куда богаче дарами природы, чем дарами Фортуны;* ведь если говорить правду без всякой зависти, Басилио — самый ловкий юноша во всей деревне: он отлично мечет барру,* превосходно борется и играет в мяч, бегаёт, как олень, прыгает, как коза, чудесно сбивает кегли, поёт, как жаворонок; гитара под его руками говорит человеческим голосом, а самое главное — он в совершенстве владеет шпагой.

— Одного этого качества уже довольно, — перебил тут дон Кихот, — чтоб юноша был достоин жениться не только на прекрасной Китерии, но на самой королеве Джиневре, если бы она была ещё жива, на зло Ланселоту и всем, кто бы вздумал этому препятствовать.

— Попробуйте-ка сказать это моей жене, — вмешался тут Санчо Панса, который до сих пор слушал молча, — она ведь утверждает, что следует жениться только на ровне, согласно пословице: «две овцы — пара». Мне бы очень хотелось, чтобы этот добрый Басилио, которого я уже успел полюбить, женился на сеньоре Китерии, и да пошлет бог долгую и спокойную жизнь (он хотел сказать наоборот) тем, кто мешает любящим пожениться.

— Если бы все любящие всегда сочетались браком, — возразил дон Кихот, — то родители лишились бы права и власти женить своих детей тогда, когда это им покажется подходящим; и если бы девушкам была дана воля выбирать себе мужей, то многие повыходили бы замуж за слуг своих родителей, а другие — за первого самоуверенного франта, который повстречался бы им на улице, хотя бы он был головорезом и распутником; ведь любовь и увлечение с легкостью осле-

пляют взоры разума, а в каждом серьезном деле необходимо видеть ясно; вступая в брак, мы всегда рискуем ошибиться, и нужна большая осмотрительность и особая милость неба, чтобы сделать удачный выбор. Предположим, что кто-нибудь собирается предпринять большое путешествие: если он человек благоразумный, то, прежде чем пускаться в дорогу, он подыщет себе верных и приятных спутников; так почему бы и тем, кому суждено странствовать вместе до самых врат могилы, не поступать так же, тем более, что им придется делить и ложе, и стол, и все прочее, ибо жена делит все это с мужем. Законная жена не есть товар, который после покупки можно возвратить, переменить или отдать обратно; она — ваш неразлучный спутник, не покидающий вас до самой смерти; она — петля, которую вы накинули себе на шею и которая превратилась в гордиев узел; и уж вы не развяжете его, пока смерть не перережет его своей косой. Я бы многое еще мог сказать по этому поводу, но мне слишком не терпится узнать о том, что сеньор лицензиат сообщит нам еще об истории Басилио.

На это студент-бакалавр, или, как его назвал дон Кихот, лицензиат, ответил следующее:

— Мне остается только сказать вам, что с тех самых пор, как Басилио узнал, что прекрасная Китерия выходит замуж за богача Камачо, он уже больше не смеется и не говорит разумно: бродит он задумчивый и печальный и разговаривает сам с собой; по всем ясным и несомненным признакам он лишился ума; ест он мало и спит мало, причем ест одни плоды, а спит, — если это

можно назвать спом, — только в поле, на голой земле, как дикий зверь; по временам поглядывает он на небо, а иногда устремляет глаза в землю в таком оцепенении, что кажется он одетой статуей, платье которой развевается по ветру. Одним словом, все его поведение доказывает, что сердце его охвачено страстью, и мы все, знающие его, уверены, что, когда завтра прекрасная Китерия произнесет «да», он сочтет это своим смертным приговором.

— Бог ему поможет, — сказал Санчо. — Бог пошлест рану, но он же ее и исцеляет; никто не знает того, что может случиться; до завтра еще много времени, а ведь довольно одного часа и даже одной минуты, чтобы обвалился дом; мне приходилось видеть, как в одно и то же мгновение шел дождь и светило солнце; бывает, что ложишься спать здоровым, а утром не можешь пошевелинуться. Скажите-ка мне, кто похвалится, что ему удалось вбить гвоздь в колесо Фортуны? Наверное, никто; между женским «да» и «нет» я бы не взялся продеть даже кончик булавки — он бы там не поместился. Вы мне только скажите, что Китерия от чистого сердца и по своей доброй воле любит Басилию, — и я отсыплю ему полный мешок всяческого счастья: я слышал, что любовь носит такие очки, сквозь которые медь кажется золотом, бедность — богатством, а капли гноя — жемчужинами.

— И к чему ты все это плетешь, Санчо, будь ты проклят? — сказал дон Кихот. — Когда ты примешься панизовать свои поговорки и прибаутки, нужно быть самым Иудой, чтобы дожидаться, когда ты кончишь, чорт тебя поберет! Скажи мне,

животное, что ты смыслишь в гвоздях, колесах и во всем прочем?

— О, раз вы меня не понимаете, — ответил Санчо, — то не удивительно, что мои изречения кажутся вам вздором. Но это не беда: я сам себя понимаю и знаю, что в моих словах никаких особенных глупостей не было, а только вы, ваша милость, сеньор мой, всегда критикуете мои слова и поступки.

— Не *критикуете*, а *критикуете*, — перебил дон Кихот. — Эх ты, извратитель правильной речи, покарай тебя бог!

— Вы, ваша милость, не придирайтесь ко мне, — ответил Санчо, — вы ведь знаете, что воспитывался я не в столице и учился не в Саламанке, — что же тут особенного, если я одну букву пропущу или прибавлю? И к чему вам, ей богу, заставлять сайягэзда* говорить по-толедски? Да и в Толедо далеко не все собаку съели по языковой-то части.

— Это верно, — сказал лицензиат, — тот, кто проводит время у Кожевен и на Сокодовэре,* не может говорить столь чисто, как человек каждый лишь гуляющий по дворику Собора,* а между тем все они толедцы. Чистый, правильный, изящный и ясный язык встречается у просвещенных столичных жителей, хотя бы они и родились в Махалаонде;* я говорю *просвещенных*, ибо многие из них люди не просвещенные, а просвещенность, подкрепленная обычаем, есть грамматика всякого правильного языка. Я, сеньоры, с вашего позволения, учился каноническому праву в Саламанке и льщу себя надеждой, что выражаю свои мысли в ясных, простых и выразительных словах.

— Если бы вы налегали на правильную речь так же, как налегаете на рапиры, — перебил другой студент, — то в лиценциаты вы вышли бы первым и не остались бы в хвосте.

— Вы держитесь, бакалавр, — возразил лиценциат, — крайне ошибочного мнения, полагая, что ловкость в обращении со шпагой — дело праздное.

— Для меня это не мненье, а непоколебимая истина, — ответил Корчуэло, — и если вы желаете, чтобы я показал вам это на деле, это можно устроить сейчас же: у вас есть шпага, у меня крепость руки и сила; прибавьте к ним мою изрядную храбрость, и я без труда докажу вам мою правоту. Сойдите-ка на землю и покажите нам всю вашу науку: позиции ног, круги и углы, а я надеюсь показать вам звезды в самый полдень; хотя искусство мое грубое и несложное, но я уповаю на него, как на бога, и уверен, что не родился еще тот человек, который заставит меня повернуть спину, и что любого бойца на свете я сумею спшибить с ног.

— Ни слова не говорю; возможно, вам не придется поворачивать спину, — заметил фехтовальщик, — но вполне может случиться, что вам выруют могилу там, куда вы первый раз поставите ногу, я хочу сказать, что, не сходя с места, вы падете бездыханным в наказание за то, что презираете фехтование.

— Сейчас увидим, — сказал Корчуэло.

И, быстро соскочив с осла, он как бешеный схватил одну из рапир, которые лиценциат вез на своем седле.

— Так делать не годится, — вмешался тут дон Кихот, — ибо я хочу играть роль учителя фех-

тования и судьи в этом, много раз уже ставившемся на разрешение, споре.

И, сойдя с Роспапта и схватив копые, он стал посреди дороги в ту самую минуту, как лиценцпат с пзашной непринужденностью двинулся на-



встречу Корчуэло, переставляя ноги по правилам искусства, а тот пошел на него и, как говорится, метал из глаз искры. Двое сопровождавших их крестьян продолжали сидеть верхом на ослицах, как зрители этой смертельной трагедии. Корчуэло делал бесчисленные выпады, рубил, колол, разил наотмашь и сбоку, брал рапиру в обе руки;

удары его, тягучие, как печошка, сыпались градом. Он напал, как разъяренный лев, но повсюду пуговица рапиры лиценциата лезла ему в рот, как затычка, и охлаждала его пыл; ему приходилось прикладываться к ней, как к мощам, хотя и не с тем благоговением, с каким обычно к ним прикладываются. Наконец, лиценциат пересчитал своей рапирой все пуговицы короткой рясы своего противника и разрезал ему полы на узкие полоски вроде щупальцев морского спрута; он дважды сбил с него шляпу и, в заключение, до того измучил его, что Корчуэло от досады, ярости и гнева схватил свою рапиру за рукоятку и с такой силой отшвырнул ее от себя, что один из присутствовавших крестьян, бывший писарем, отправившись за ней, впоследствии засвидетельствовал, что она отлетела почти на три четверти мили, и выданное им таким образом удостоверение подтверждает и доказывает — и в тот раз и ныне — истинность того, что искусство побеждает силу.

Корчуэло присел в изнеможении, а Санчо подошел к нему и сказал:

— Честное слово, сеньор бакалавр, если ваша милость желает моего совета, то вот что я вам скажу: впредь вызывайте ваших противников не на фехтование, а на борьбу или на метанье барры; это вам и по возрасту, и по силам; а что до этих, как их называют, ловкачей, то слышал я, что они продевают кончик шпаги в игольное ушко.

— Я доволен, — ответил Корчуэло, — что вы меня отрезвили и что я на опыте убедился, как далек я был от истины.

Тут он встал и обнял лиценциата, и они стали еще большими друзьями, чем были прежде; они

не пожелали дожидаться писаря, отправившегося за раппррой, ибо им казалось, что это их слишком задержит, и потому они решили продолжать путь, чтобы пораньше приехать в деревню, где жила прекрасная Киптерия и откуда все они были родом.

Во время всего остального путешествия лицензиат рассказывал им о преимуществах искусства фехтования и приводил столько очевидных доводов, примеров и математических доказательств, что все его слушатели уразумели важность этой науки, а Корчуэло раскаялся в своем упрямстве.

Уже смерклось, но когда они подъезжали к деревне, им показалось, что все небо над ней усеяно бесчисленными блестящими звездами. Одновременно услышали они неясные и мягкие звуки разных инструментов: сопелок, барабанов, гуслей, медных тарелок, бубенцов и бубен; а когда подъехали ближе, то увидели большой лиственный свод из насаженных деревьев около въезда в село; все ветки были увешаны фонариками, и ветер их не задувал, ибо дыхание его было так тихо, что листья деревьев почти не шевелились. Музыкантам было поручено увеселять гостей, приглашенных на свадьбу, и они разбились на группы среди этой прелестной лужайки; одни из них танцевали, другие пели, третьи играли на перечисленных нами разнообразных инструментах. И подлинно, казалось, что на этом луже резвилась сама Радость и прыгало Веселье. Множество людей было занято постройкой подмостков, чтобы на следующий день гостям было удобнее смотреть оттуда на представления и танцы, которые должны были состояться в этом месте, предназначенном для

свадебного торжества богача Камачо и похорон Басилио. Как ни упрашивали его один крестьянин и бакалавр, дон Кихот не пожелал въехать в село; по его мнению, у него было вполне достаточное оправдание: ведь у странствующих рыцарей было в обычае ночевать в полях и лесах, а не в селениях, хотя бы и под золоченой кровлей. С этими словами он отъехал немного от дороги, к большому неудовольствию Санчо, который все еще не мог забыть о том, как славно им жилось в замке или доме дон Диэго.

ГЛАВА XX

*в которой рассказывается о свадьбе богача Камачо
и об участи бедняка Басилло*



ишь только белая Аврора позволила блистающему Фебу жаром своих горячих лучей высушить влажные жемчужины в ее золотых кудрях, дон Кихот, отрянув со своих членов негу сна, вскочил на ноги и позвал своего оруженосца Санчо, который продолжал еще храпеть; увидев это, дон Кихот, прежде чем его будить, сказал:

— О ты, блаженнейший из всех живущих на лице земли, ибо ты спишь со спокойной душой, никому не завидуя и ни в ком не вызывая зависти, так как тебя не преследуют волшебники и не тревожат волшебства! Спи же, повторяю я и готов повторить сотню раз: ведь ревнивая мысль о твоей даме не заставляет тебя вечно бодрствовать, ведь тебя не будят заботы об уплате долгов и мысли о том, будет ли завтра что поесть тебе и твоему маленькому бедственному семейству. Ни честолюбие тебя не беспокоит, ни праздная суета мира тебя не тревожит, ибо же-

лания твои не переходят за пределы попечений о твоём осле; попечения же о своей собственной особе ты возложил на мои плечи: сама природа и обычаи позаботились о равновесии, возложив это бремя на господ. Слуга спит, а господин бодрствует и размышляет, как ему прокормить его, улучшить его судьбу, вознаградить за службу. Если небо становится бронзовым и лишает землю необходимой для неё росы, то это тревожит и печалит не слугу, а господина, ибо ему надлежит позаботиться в бесплодный год о прокормлении того, кто служил ему в обильные и урожайные годы.

На эти речи Санчо ничего не отвечал, потому что спал, и он не очень бы скоро очнулся, если бы дон Кихот не толкнул его кончиком своего копья и не привел его в чувство. Наконец он проснулся и лениво спросонок огляделся по сторонам.

— Если я не ошибаюсь, — сказал он, — со стороны зеленого павеса доносится благоухание, но не жонкилий или тмина, а скорее жареного сала; клянусь всеми святыми, должно быть, это — щедрая и обильная свадьба, раз она начинается такими запахами.

— Замолчи, обжора, — сказал дон Кихот, — иди-ка сюда, сейчас мы отправимся на венчанье, чтобы посмотреть, что будет делать отвергнутый, Басилло.

— Да пускай его делает, что хочет, — возразил Санчо; — был бы он богат, так и женился бы на Китерии. Скажите, пожалуйста, у самого ни гроша, а хочет жениться выше облаков! Ей богу, сеньор, я так полагаю, что бедняки должны довольствоваться чем придется, а не искать груш

на дне моря. Даю руку на отсечение, что Камачо мог бы этого Басилио засыпать реалами; а если так, то Китерня была бы дурой, если бы отвергла наряды и драгоценности, которыми ее, должно быть, одарил и еще может одарить Камачо, и предпочла бы Басилио за то, что тот умест хорошо метать барру и драться на рапирах. Ведь за то, что ты ловко кипешь барру или панесешь славный удар рапирой, тебе в таверне не поднесут и полкварти вина. Коли таланты и способности не приносят никакого барыша, плевать я на них хочу! Но ежели эти достоинства принадлежат тем, у кого денег много, вот это — настоящая красота! На крепком цементе можно построить хорошее здание, а лучший цемент и фундамент на свете — это деньги.

— Ради самого бога, Санчо,— перебил его в эту минуту Дон Кихот,— кончай ты свою речь; я уверен, что если тебе позволить продолжать без помех все те проповеди, которые ты на каждом шагу начинаешь, то у тебя не останется времени ни на еду, ни на сон: все твоё время ушло бы на болтовню.

— Если бы у вашей милости была хорошая память,— ответил Санчо,— то вы бы вспомнили все подробности соглашения, которое мы заключили перед нашим последним выездом из дому; один из пунктов его гласит, что мне дается право говорить все, что мне вздумается, если только это не идет в ущерб ближнему или достоинству вашей милости; а мне кажется, что до сих пор я этого пункта не нарушал.

— Я не помню этого пункта, Санчо,— сказал Дон Кихот,— но если даже ты и прав, все же за-

молчи и следуй за мной; инструменты, которые мы слышали вчера вечером, уже снова начали весело оглашать долины, и несомненно свадьба будет отпразднована при утренней прохладе, а не в послеполуденный зной.

Санчо исполнил приказание своего господина и оседлал Росинанта и серого; они двинулись в путь и медленным шагом въехали под сень листвы. Первое, что представилось взорам Санчо, был молодой бык, насаженный на вертел из дельного вяза, а под ним горела порядочная гора дров; горшки, стоявшие вокруг костра, не были сделаны по мере обыкновенных горшков: скорей это были глиняные бочки, и в каждой из них помещались груды мяса; бараны туши поглощались и втягивались этими сосудами так незаметно, точно дело шло о каких-нибудь голубях; ободранные зайцы и ощипанные куры в несметном количестве были развешаны на деревьях и ждали своего погребения в горшках; не перечесть было всевозможных сортов дичины и битой птицы, повешенной на деревьях для освежения. Санчо насчитал более шестидесяти бурдюков, каждый больше чем в две арробы весом, и, как потом оказалось, все они были наполнены благородными винами, белейший хлеб был навален кучами, как обычно сваливают на гумне зерно; из сыров, как из кирпичей, была выстроена целая стена; два чана с маслом размерами побольше, чем чаны красильщиков, служили для жаренья лепешек; поджаренное тесто вытаскивали громадными лопатами и бросали в стоявший рядом чан с приготовленным медом. Поваров и поварих было более пятидесяти, и все они казались

опрятными, усердными и довольными. В просторном брюхе быка было зашито двенадцать нежных маленьких поросят, чтобы сделать масо его более вкусным и нежным. В огромном ящике находились пряности всех сортов, и было видно, что покупались они не фунтами, а целыми арробами. Одним словом, свадебное угощение, хоть и деревенское, было так изобильно, что могло бы накормить целую армию.

Санчо Панса все это рассматривал, все это созерцал, и всем этим соблазнялся. Прежде всего пленили и докорили его горшки, из которых он с величайшим удовольствием налил бы себе добрую миску; затем взволновали его чувства бурдюки; наконец — сковородочные изделия, если только позволительно назвать сковородками такие огромные чаши; и вот, не будучи в силах стерпеть и поступить иначе, подошел он к одному из рачительных поваров и со всей вежливостью голодного человека попросил у него разрешения обмакнуть ломоть хлеба в один из горшков. На это повар ответил:

— Братец, благодаря богачу Камачо сегодня голод не имеет больше никакой власти. Подойдите и отыщите себе уполовник, а затем выловите парочку кур и кушайте их на здоровье.

— Нигде не вижу уполовника, — ответил Санчо.

— Погодите, — сказал повар. — Бог ты мой, должно быть, вы большой недотепа и ломака!

С этими словами он схватил кастрюлю и, погрузив ее в глиняную полубочку, вытащил оттуда трех кур и двух гусей; затем сказал Санчо:

— Кушайте, дружок, полагаетесь этими пенками в ожидании, пока наступит время обеда.

— Да мне некуда их положить,—ответил Санчо.

— Так забирайте и кастрюлю и содержимое,—сказал повар.— Камачо так богат и счастлив, что ему ничего не жаль.

Пока Санчо занимался этими делами, внимание дон Кихота было привлечено двенадцатью крестьянами, которые въезжали под лиственный свод верхом на прекраснейших кобылицах, украшенных богатой и роскошной дорожной сбруей и множеством бубенчиков на нагрудниках; всадники, одетые в парадное и праздничное платье, стройным отрядом прогарцовали несколько раз по полянке с радостными криками и возгласами: «Да здравствует Камачо и Китерия! У него столько же богатств, сколько у нее красоты, а она — самая красивая девушка на свете!»

Услышав это, дон Кихот сказал про себя: «Сразу видно, что эти люди не видели моей Дульсиной Тобосской; ибо, если бы они ее видели, они бы постеснялись так восхвалять эту Китерию».

Вскоре после этого под лиственный свод с разных сторон стали собираться участники многочисленных и разнообразных плясок, среди которых было около двадцати четырех ловких и лихих исполнителей танца мечей, все одетые в платье из тонкого белоснежного полотна с головными повязками из отличного шелка самых пестрых цветов. Один из крестьян, приехавших на кобылицах, спросил юношу, являвшегося вожаком танцоров, не поранился ли кто-нибудь из них.

— Слава богу, до сих пор никто еще из нас не ранен, все целы и невредимы.

И тотчас же он, увлекая за собой остальных товарищей, стал кружиться с таким мастерством,

что дон Кихот, привычный к подобного рода зрелищам, должен был признать, что ничего лучшего ему никогда не случалось видеть. Столь же понравилась ему и пляска прелестнейших девушек, таких юных на вид, что каждой из них можно было дать от четырнадцати до восемнадцати лет; все они были одеты в платье из зеленого сукна; волосы у них были частью заплетены в косы,



частью распущены и своим золотистым блеском ни в чем не уступали лучам солнца; головы девушек были украшены венками, сплетенными из жасминов, роз, амаранта и жимолости. Вожаками пляски являлись почтенный старец и престарелая матрона; но, несмотря на пожилой возраст, оба они были легки и гибки. Под звуки саморской волынки эти девушки плясали, как лучшие танцовщицы на свете, и притом на лицах их и в глазах было не менее скромности, чем в погах — резвости.

Затем последовал другой искусный танец, из числа «разговорных». Его исполняли восемь нимф, составлявшие две группы; одну из них возглавлял бог Купидон, другую — бог Корысти; Купидон был украшен крыльями, луком, колчаном и стрелами; бог Корысти был одет в богатую разноцветную одежду, сотканную из золота и шелка. У нимф, предводительствуемых Амуром, висели на плечах таблички из белого пергамента, на которых большими буквами были написаны их имена. Первая звалась *Поэзией*, вторая *Мудростью*, третья *Знатностью* и четвертая *Доблестью*. Нимфы, следовавшие за богом Корысти, тоже имели свои имена. Первая именовалась *Щедростью*, вторая *Подарком*, третья *Сокровищем* и четвертая *Мирным обладанием*. А впереди их двигался деревянный замок, который тащили четыре дикаря, увитые листьями плюща и одетые в костюмы из пеньки, выкрашенной в зеленый цвет, — все это было сделано так правдоподобно, что Санчо чуть не перепугался. На фронтоне замка и на всех четырех его сторонах виднелись надписи: Замок Благодравия. Шествие сопровождали четыре искусных музыканта, игравших на сопелках и барабанчиках. Танец был начат *Купидоном*, который после двух фигур устремил взоры на девицу, появившуюся за зубцами замка, и натянул лук, прицелившись прямо на нее; затем он обратился к ней со следующими стихами:

Я — владыка повсеместный, —
 Будь то воздух, будь земля то,
 Море, волнами богато,
 Преисподней область тесной,
 Где всем грешникам расплата.

Что такое страх, — не знаю,
 Что хочу, то исполняю,
 Даже если невозможно;
 Для того же, что возможно,
 Позволяю, запрещаю.

Окончив свой куплет, он пустил стрелу в верхушку замка и затем вернулся на свое место. Тотчас же выступил вперед бог *Корысти* и исполнил также две фигуры; когда тамбурины смолкли, он произнес:

Сам Амур, подручный мой,
 Правит всеми он шагами.
 Жизнь дает мне ствол земной,
 Возращенный небесами,
 Знаменитый и большой.

Я, Корысть, сильнее богинь,
 Честным быть — надежду кинь.
 Без меня жить — удивленье,
 Предаюсь в распоряженье
 На века-веков. Аминь.

Затем бог *Корысти* удалился, и выступила *Поэзия*, которая, исполнив, подобно предыдущим, свои две фигуры, устремила взоры на девицу, находившуюся в замке, и сказала:

С роем сладостных приветов
 Поэзийное искусство,
 Полно мыслей и обетов,
 Шлет тебе, сеньора, чувства
 Под вуалями сонетов.

А случится, — без страданья
 Встретишь ты мои признанья,

Зависть в прочих явно чужа,
 Жребий твой превознесу я
 Выше лунного сиянья.

После этого *Поэзия* отошла, и со стороны бога *Корысти* выступила *Щедрость*, которая, протанцовав свои фигуры, сказала:

Всякий Щедростью зовет
 Дар такой, где не опасен
 Расточительности плод,
 Да и скупость, где нам ясен
 В чувствах пыла недочет.

Чтоб тебе воздвигнуть храм.
 Крайности себя отдам.
 Хоть порок, но из законных
 И приличный для влюбленных,
 Что судимы по дарам.

Таким образом, танцовщицы отделялись от своего отряда по очереди и удалялись, исполнив фигуры пляски и прочитав стихи, из которых одни были изящны, другие потешны, но дон Кихот, обладавший отличной памятью, запомнил только те из них, которые мы привели выше. Затем плясуньи смешались, стали сплетаться в цепи и расплетаться с необыкновенной грацией и блеском; когда Амур проходил перед замком, каждый раз он пускал в воздух стрелы, а бог *Корысти* разбивал об его стены копилки из золоченой глины. Наконец, после довольно продолжительного танца бог *корысти* вытащил и швырнул в замок кошелек, сделанный из шкурки большого полосатого кота и, повидимому, наби-

тый деньгами; от этого удара стенки замка распались и рухнули, и девица осталась без всякого прикрытия и защиты. Бог корысти приблизился к ней с плюсунями из своей свиты, набросил ей на шею большую золотую цепь и сделал вид, что намеревается захватить ее, поработить и увести в плен; но как только Амур и его приближенные это увидели, они сделали вид, что бросаются ей на выручку; все эти движения сопровождались звуками барабанчиков, и исполнители плясали и представляли в такт музыке. Наконец, дикари помирили противников; с большим проворством они подняли и установили стенки замка, девица снова заперлась в своей крепости, и на этом танец окончился, и все зрители остались им весьма довольны.

Дон Кихот спросил у одной из нимф, кто сочинил и поставил это представление. Она ответила, что автор его — священник из их села, большой мастер на подобного рода выдумки.

— Бьюсь об заклад, — сказал дон Кихот, — что этот бакалавр или священник более расположен к Камачо, чем к Василию, и что он охотнее сочиняет сатиры, чем служит вечерню; но он очень удачно использовал для своего танца и таланты Василию и богатство Камачо.

А Санчо Панса, присутствовавший при этом, сказал:

— Король и никаких петухов! я предпочитаю Камачо.

— Что же, — ответил дон Кихот, — ты этим только доказываешь, что ты мужлан и льнешь к тем, кто всегда орет: «Да здравствует победивший!»

— Не, знаю, к кому это, по-вашему, я льну, —

сказал Санчо, — знаю только, что с горшков Басилио я никогда не сниму такую важпедкую пену, как с горшков Камачо.

Тут он показал дон Кихоту кастрюлю с гусями и курами и, вытащив из нее курицу, принялся уписывать ее с большой расторопностью и охотой, приговаривая:

— К чорту все эти диковинные таланты Басилио: сколько ты имеешь в кармане, столько ты и стоишь, и сколько стоишь, столько и имеешь. Моя бабушка говаривала, что все люди на свете делятся на два сорта — имущих и неимущих, и сама она стояла за имущих; а в настоящее время, сеньор мой дон Кихот, выгоднее иметь пустую голову, чем пустой карман: покрытый золотом осел много приятнее, чем конь под выючным седлом. Поэтому повторяю: я предпочитаю Камачо, с горшков которого можно снять обильную пену из гусей, кур, зайцев и кроликов, между тем как в горшках Басилио если что и найдешь, то только одни помои.

— Ты кончил свою речь, Санчо? — спросил дон Кихот.

— Поневоле кончил, — ответил Санчо, — так как вижу, что она вашей милости не правится, а если бы не эта помеха, так у меня бы на три дня запаса хватило.

— Дай-то, господи, Санчо, — воскликнул дон Кихот, — чтобы мне еще до моей смерти довелось увидеть тебя немым!

— Дела наши идут так плохо, — возразил Санчо, — что мне еще при жизни вашей милости, пожалуй, придется отойти в землю, а уж тогда я, должно быть, опемсею и не выговорю ни сло-

вечка до самого конца света или по крайней мере до дня страшного суда.

— Если бы даже это случилось, Санчо, — ответил дон Кихот, — никогда твое молчание не уравновесит твоей прошлой, настоящей и будущей болтовни; но так как, согласно закону природы, следует предположить, что моя смерть наступит раньше, чем твоя, то я уж и не знаю, придется ли мне насладиться твоей немотой хотя бы только в те минуты, когда ты пьешь или спишь, — большего я бы и просить не стал.

— Сказать по правде, сеньор, — ответил Санчо, — никому не следует полагаться на эту костлявую старуху, — я говорю о смерти: она всегда готова пожрать и ягненка и барана; а наш священник говаривал, что она одинаково посещает и высокие башни королей, и убогие хижины бедняков. У этой сеньоры больше власти, чем деликатности, — вот уж кто ничуть не привередлив: все для нее годно, все она кушает и набирает свою сумку людьми самых различных возрастов и положений. Эта жница в полдень не захрапит: во все часы косит и срезает траву, и зеленую, и сухую, и, видимо, никогда не разжевывает, а просто глотает и жрет все, что подвернется под руку, ибо голод у нее собачий и ничем его нельзя насытить; и хоть нет у нее брюха, а все же можно подумать, что она страдает водянкой, ибо из всех нас, живущих на земле, она высасывает жизнь с такой же жадностью, с какой мы с вами выпили бы ковшик холодной воды.

— Стой, Санчо, — воскликнул тут дон Кихот, — держись на высоте и не свались с откоса; ибо,

поистине, все, что ты со своей деревенской простотой сказал о смерти, мог бы повторить самый лучший проповедник. Скажу тебе, Санчо: если бы к твоим природным качествам прибавить толлику знаний, ты бы мог взять подмышку кафедру и разъезжать по свету с превосходными проповедями.

— Праведная жизнь — наилучшая проповедь, — ответил Санчо, — вот и все мое богословие.

— Да никакого богословия тебе и не надобно, — возразил дон Кихот, — одного только я никак не могу взять в толк и разобрать: если основа мудрости есть страх божий, то как ты можешь понимать трудные вещи, если любой ящерицы ты боишься гораздо больше, чем господа бога?

— Рассуждайте себе, ваша милость, о рыцарских делах и не беритесь судить о чужой храбрости и боязни. А по части страха божия я берусь пережеголять первого встречного; и разрешите мне, ваша милость, прикончить эту пену, а все прочее — одно праздное суесловие, за которое на том свете нас притянут к ответу.

Сказав это, он опять с такой лихостью бросился в атаку на кастрюлю, что и у дон Кихота стало просыпаться мужество, и он, несомненно, помог бы Санчо в этом деле, не помешай ему то, о чем нам придется рассказать в следующей главе.

ГЛАВА XXI

*где продолжается рассказ о свадьбе Камачо и
о других интересных событиях*



то время как дон Кихот и Санчо вели беседу, изложенную в предыдущей главе, вдруг послышались громкие возгласы и большой шум; а производили их крестьяне, приехавшие на кобылах; с криками помчались они во весь опор навстречу молодым, которые, в окружении бесчисленных инструментов и всяких веселых затей, приближались в сопровождении священника, родителей жениха и невесты и самых видных жителей окружных деревень — все в праздничных одеждах. Когда Санчо увидел невесту, он воскликнул:

— Ей богу, одета она не как крестьянка, а как придворная шеголиха. Тьфу пропасть, если я правильно разглядел, то на ней ведь не патены,* а дорогие кораллы, и не зеленое куэнкское сукно, а тончайший бархат! И, гляди-ка, белая оторочка сделана не из полотна, а, честное слово, из атласа! Дурак будет тот, кто подумает, что на руках у нее гагатовые перстни! Пусть я лопну на этом месте, если колечки эти не золотые, да еще какого золота! А заправлены в них жемчу-

жины, белые как простокваша, и каждая из них должна стоять дороже, чем оба мои глаза! Ах, ты, шлюшкина дочь, какие у нее волосы! Если только они не накладные, я в жизнь свою не видывал таких длинных и золотистых! И где тот олух, который охает ее стан или осанку и не скажет, что это живая пальма, увешенная гроздьями фиников: до того похожи на финики ви-сюльки, болтающиеся у нее в волосах и на шес. Клянусь спасением моей души, девица она видная и на соеновой кровати лицом в грязь не ударит.

Дон Кихот посмеялся мужицким похвалам Санчо Пансы; однако и ему показалось, что за исключением госпожи своей Дульсини Тобосской он никогда не видел женщины более прекрасной. Красавица Китерия была немного бледна, и, повидимому, это объяснялось тем, что все невесты, готовя подвенечные уборы, обыкновенно плохо спят накануне свадьбы. Общество направилось к помосту, находившемуся поодаль на лужайке; он был украшен коврами и ветками, и на нем должно было состояться венчание, после которого гостям предстояло любоваться оттуда танцами и веселыми затеями; в то самое время, как они приближались к этому месту, за спиной их раздался громкий голос, воскликнувший:

— Подождите немного, опрометчивые и торопливые люди!

Все повернули головы в сторону, откуда доносилась эта речь и возглас, и увидели человека, одетого в черный камзол с красными нашивками в виде языков пламени; на голове его (как вскоре разглядели) был венок из траурного кипариса, а в руках он держал длинный посох. Когда он по-

дошел ближе, все узнали в нем красавца Басилио и замерли, не зная, к чему ведут выкрикнутые им слова, явно чуя, что его появление в подобную минуту предвещает какое-то несчастье. Наконец, истомленный и запыхавшийся Басилио добежал, остановился прямо против молодых, воткнул в землю посох, острие которого было из стали, побледнел, устремил свои глаза на Китерию и заговорил дрожащим и глухим голосом:

— Ты хорошо знаешь, бесчувственная Китерия, что по законам святой веры, которую мы исповедуем, ты не можешь выйти замуж, пока я жив; и вместе с тем тебе не безызвестно, что в ожидании той минуты, когда время и мои труды увеличат мое благосостояние, я ни разу не возымел желания покуиться на уважение, которого заслуживала твоя честь; ты же, пренебрегши всеми своими обязательствами в отношении моей чистой любви, желаешь сделать другого господином того, что принадлежит мне, благо своим богатством он может купить не только роскошь, но и самое счастье; и вот, чтобы счастье его было полным (хотя я не думаю, чтобы он его заслуживал — просто небо пожелало его даровать ему), я собственной рукой уничтожу помеху или препятствия, мешающие его благополучию: я устраню самого себя. Пусть живут, пусть здравствуют богач Камачо и бессердечная Китерия долгие и счастливые годы; и пусть умрет и скончат дни бедняга Басилио, которого бедность, подрезав крылья его удачи, довела до могилы!

С этими словами он схватил посох, воткнувший в землю, и, когда одна половина его осталась в земле, все увидели, что в нем, как в ножнах,

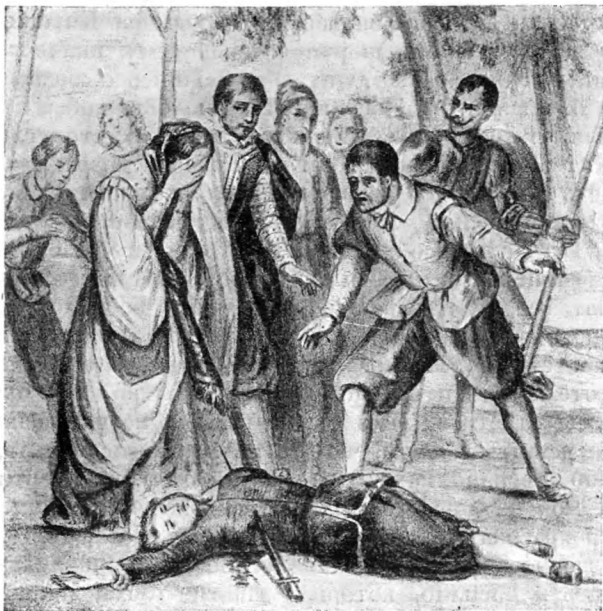
скрывалась короткая шпага; укрепив в земле один конец ее, соответствовавший рукоятке, Басилио с отважной легкостью и твердой решимостью бросился на другой; через мгновение окровавленное острие с половиной стального лезвия прошли насквозь через его спину, и несчастный, пронзенный собственным своим оружием, лежал на земле, обливаясь кровью.

Тотчас же на помощь к нему бросились его друзья, удрученные его бедствиями и горестной гибелью; а дон Кихот, прыгнув с Росинапта, подбежал помочь Басилио, поднял его на руки и убедился, что он едва дышет. Хотели было вытащить из его груди шпагу; но присутствовавший при этом священник заявил, что не следует извлекать шпаги, прежде чем умирающий исповедуется, ибо как только вытащат шпагу, он сейчас же испустит дух. Однако Басилио, прида немного в себя, сказал горестным и слабым голосом:

— Если бы ты согласилась, жестокая Китерия, в эту последнюю роковую минуту удостоить меня руки, как супруга, я бы подумал, что мое безрассудство имеет оправдание, ибо благодаря ему я достиг бы блаженства быть твоим.

Услышав эти слова, священник сказал Басилио, что ему надлежит думать о спасении души, а не об угождении плоти, и что он должен горячо молить бога простить ему его грехи и его отчаянный поступок. На это Басилио ответил, что он ни за что не приступит к исповеди, если Китерия предварительно не протянет ему руку в качестве его супруги, ибо только эта радость может укрепить в нем волю и поддержать силы для исповеди.

Дон Кихот, услышав слова раненого, заявил громким голосом, что просьба Басилио справедлива и разумна и что желание его вполне ис-



полнимо, ибо честь сеньора Камачо несколько не пострадает, если он женится на сеньоре Китерии, как вдове доблестного Басилио, вместо того чтобы получить ее из рук ее отца. Ведь здесь требуется только сказать «да», и произнесение его не будет иметь никаких последствий,

ибо брачным ложем жениху послужит могила.

Все это слышал Камачо, и все это повергло его в такое изумление и смущение, что он не знал, что ему сделать и что сказать; но уговоры друзей Басилио были столь настойчивы, они так просили его согласиться на то, чтобы Китерия в знак союза отдала руку умирающему, иначе же он погубит свою душу, расставшись с жизнью в отчаянии, что наконец Камачо был побежден и, верней, был вынужден заявить, что если Китерия согласна, то и он тоже не возражает: ведь от этого свершение его желаний будет отсрочено лишь на короткое мгновение.

Тотчас же все побежали к Китерии и мольбами, слезами и убедительными доводами стали склонять ее отдать свою руку бедняку Басилио; но она, бесчувственная как мрамор и неподвижная как статуя, казалось, не умела, не могла и не хотела ответить ни слова; и, вероятно, она бы и не ответила, если бы священник не попросил ее решиться на то, что ей надлежало исполнить, ибо Басилио находился уже в объятиях смерти и мог не дожидаться конца ее колебаний. Тогда прекрасная Китерия, не отвечая ни слова, с виду взволнованная, печальная и огорченная, приблизилась к Басилио, который, закатив глаза, дышал прерывисто и часто, шептал краями губ имя Китерии и по всем признакам готовился умереть как язычник, а не как христианин. Китерия подошла, опустила на колени и знаками, без слов, попросила его дать ей руку. Басилио открыл глаза и, внимательно посмотрев на нее, сказал:

— О, Китерия, какое сострадание выказываешь ты в эту минуту, когда оно является для меня

ножом, пресекающим нить моей жизни, ибо у меня нет больше сил, чтобы насладиться блаженством, которое ты даришь мне, избрав меня супругом; увы! сострадание твое не может прекратить мои мучения, ибо зловещая тень смерти поспешно заволакивает мне очи! Но об одном молю тебя, о, роковая звезда моя; беря мою руку и, предлагая мне свою, не делай этого из снисхождения, чтобы обмануть меня еще раз, а признай и объяви, что, не насилуя своей воли, ты протягиваешь и даешь мне свою руку как законному супругу; ибо не надлежит в эту смертную минуту прибегать к обману и притворяться перед тем, кто всегда относился к тебе с великой правдивостью.

Во время этой речи он несколько раз лишился чувств, и при каждом его обмороке присутствующим казалось, что вот-вот он испустит дух. Китерия с большей скромностью и стыдливостью вложила свою правую руку в руку Басилио и сказала ему:

— Никакая сила в мире не могла бы сломить мою волю; итак, вполне свободно я даю тебе руку, как законная супруга, и принимаю твое познание, если только ты даешь его мне в ясном уме, не омраченном и не потревоженном тем бедствием, в которое ввергло тебя твое поспешное решение.

— Я даю тебе свою руку, — ответил Басилио, — неомраченным и несмятым, а в полном рассудке, который даровало мне небо, именно так я соединяюсь и обручаюсь с тобой как супруг.

— А я — как твоя супруга, — ответила Китерия, — независимо от того, проживешь ли ты

долгие годы, или будешь отнесен из моих объятий в могилу.

— Для тяжело раненого, — промолвил тут Санчо Панса, — этот юноша слишком много говорит. Довольно ему объясняться в любви, пускай лучше позаботится о душе; сдается мне, что она у него совсем из тела не просится, а крепко-накрепко засела в языке.

В то время как Басилио и Китерия держали друг друга таким образом за руки, священник, растроганный, со слезами на глазах дал им свое благословение и стал молить небо упокоить в раю душу новобрачного; но тот, приняв благословение, быстрым прыжком вскочил на ноги и с невиданной легкостью извлек из своей груди шпагу, сидевшую там, как в ножнах. Все зрители были изумлены, а некоторые, люди простодушные и совсем не пытливые, принялись громко кричать:

— Чудо! Чудо!

Но Басилио заявил:

— Не чудо, не чудо, а хитрость, хитрость.

Священник, пораженный и растерянный, подбежал к нему, обеими руками стал ощупывать рану и обнаружил, что шпага прошла не через трудь и ребра Басилио, а сквозь железную трубочку, ловко припрятанную и наполненную кровью, которая, как впоследствии выяснилось, была приготовлена особенным способом так, чтобы она не сворачивалась. В конце концов священник, Камачо и большинство гостей догадались, что их разыграли и одурачили. Невеста, казалось, не досадовала на эту шутку; напротив, узнав, что брак ее считается недействительным, так как был совершен с помощью обмана, она подтвердила, что еще раз

даёт на него свое согласие, из чего все заключили, что проделка эта была предпринята с ведома и согласия обоих влюбленных; и все это так разгневало Камачо и его поручителей, что они решили мстить с оружием в руках и, обнажив множество шпаг, набросились на Басилио, но в защиту его в одно мгновение сверкнуло шпаг не меньше; впереди всех дон Кихот, верхом, с копьем наперевес, хорошо прикрывшись щитом, прокладывая себе дорогу. А Санчо, которого никогда не веселили и не забавляли подобные побоища, спрятался за глиняным котлом, в которого он недавно снял столь вкусную пену, полагая, что место это священо и что никто не нарушит его неприкосновенности. Дон Кихот громким голосом воскликнул:

— Остановитесь, сеньоры, остановитесь; несправедливо мстить за обиды, которые наносит нам любовь; заметьте, что любовь и война — одно и то же; и как на войне пользоваться хитростями и ловушками для победы над врагом — является обычаем вполне дозволенным, так и в любовных битвах и состязаниях разрешается прибегать к уловкам и обманам, чтобы достичь желанной цели, если только подобные проделки не бесчестят и не позорят любимой женщины. Китерия принадлежала Басилио, а Басилио — Китерии по справедливому и благосклонному решению небес. Камачо богат, он может купить себе все, что ему понравится, когда, где и как ему захочется. А у Басилио — одна только овечка, и никто на свете, как бы могуществен он ни был, не отнимет ее у него, ибо кого бог соединил, человек не разлучает; а кто попы-

тается это сделать, тот сперва испробует острие моего копья.

При этом он с такой силой и ловкостью стал размахивать копьем, что все, кто его не знал, были охвачены страхом; а в памяти Камачо так живо запечатлелось пренебрежение Китерии, что он тотчас же изгнал ее образ из своих мыслей, и потому увещания священника, человека разумного и благонамеренного, одержали верх, и Камачо со всеми своими сторонниками скоро успокоился и притих; а поэтому они вложили шпаги в ножны и гораздо больше осуждали податливость Китерии, чем хитрую удловку Басилио. Камачо рассуждал так: раз Китерия любила Басилио, будучи девушкой, то и по выходе замуж она продолжала бы его любить, так что ему следует гораздо больше благодарить небо за то, что оно отняло от него, а не даровало ему эту девушку. Когда Камачо и его сторонники утешились и успокоились, наступил мир и среди дружины Басилио; богач Камачо, чтобы доказать, что он не сердится на шутку и не придает ей значения, объявил, что празднества будут продолжаться, как если бы он и на самом деле справлял свадьбу; но Басилио с супругой и друзьями не пожелали оставаться и отправились в деревню, где жил Басилио; ибо и бедняки, если они люди добродетельные и умные, находят себе друзей, которые сопровождают их, почитают и защищают, совершенно так же, как и богачи, всегда окружающие себя льстецами и приверженцами. Они увели с собой и дон Кихота, которого считали человеком отважным и доблестным. Только у Санчо омрачилась душа, когда

он понял, что ему так и не дожидаться роскошного пира и праздника Камачо, которые должны были продолжаться до самой ночи; обесилешный и унылый, плелся он за своим господином, ехавшим среди приятелей Басилио, и оставлял за собой «котлы египетские», * заплывшие его душу, ибо пена, которая была им съедена и поглощена почти целиком, свидетельствовала о пышности и изобилии благ, которых он лишился; так и ехал он на своем сером по следам Росинанта, тревожный и задумчивый, хотя и не голодный.

ГЛАВА XXII

в которой рассказывается о великом приключении в пещере Монтесинос, находящейся в самом сердце Ламанчи, и о том, как доблестный дон Кихот Ламанчский счастливо завершил его



олодые приняли дон Кихота крайне радушно и ласково в благодарность за то, что он выступил на их защиту, и в равной мере восхваляли его ум и храбрость, считая его по доблести Сидом, а по красноречию Цицероном. Добрый Санчо ублажал себя три дня за счет молодых; выяснилось, что притворное ранение было придумано одним Басилио и что об этой проделке он не сговаривался с прекрасной Китерией, ибо надеялся, что все произойдет именно так, как оно и произошло; правда, он признался, что открыл свой замысел кое-кому из друзей для того, чтобы в надлежащее время они помогли его хитрости и поддержали обман.

— Нельзя и не следует называть обманом, — возразил дон Кихот, — то, что делается ради похвальной цели. А брак двух влюбленных есть цель самая достойная, причем следует заметить, что злейшими противниками любви являются

голод и постоянная нужда; ибо любовь есть веселье, радость и довольство, особенно же когда любовник обладает той, которую любит, и тогда его заклятыми и явными врагами являются нужда и бедность. Все это я говорю к тому, чтобы сеньор Басилио бросил заниматься искусствами, которые приносят ему славу, но не приносят денег, и постарался бы увеличить свой достаток всякого рода дозволенными и остроумными способами, а человек благоразумный и трудолюбивый всегда такие способы отыщет. Почтенный бедняк (если только бедняка можно называть почтенным), имея красавицу жену, обладает целым сокровищем; кто похитит ее у него, похитит и убьет его честь. Красивая и честная женщина, муж которой беден, достойна венчания лаврами и пальмовыми ветвями в ознаменование ее победы и триумфа. Красота сама по себе влечет сердце всех, кто ее видит и знает; к ней, как к сладкой приманке, слетаются царственные орлы и другие птицы высокого полета; но если с красотой соединяется нужда и бедность, тогда нападают на нее вороны, коршуны и прочие хищные птицы, и женщина, способная устоять среди всех этих испытаний, по справедливости может быть названа венцом своего супруга.*
Послушайте, Басилио, — прибавил дон Кихот, — какой-то мудрец утверждал, что на свете существует только одна достойная женщина, и советовал каждому мужу верить, что эта единственная достойная женщина и есть его жена, а потому и жить себе спокойно. Я не женат и до сего дня мысль о жепитьбе не приходила мне в голову, но тем не менее я дерзнул бы дать совет, если бы

кто-нибудь меня спросил, как можно отыскать себе достойную жену. Прежде всего я посоветовал бы ему более заботиться о доброй славе, чем о богатстве, ибо достойная женщина достигает доброй славы не только потому, что она такова в действительности, но также и потому, что она такой кажется; славе женщины гораздо более вредят вольности и необдуманное поведение на людях, чем все тайные недостатки. Если ты приведешь в дом достойную жену, тебе не трудно будет уберечь и даже улучшить ее добрые свойства; но если ты женишься на дурной, не легко будет ее исправить, ибо почти неисполнимо для человека из одной крайности перейти к другой. Я не говорю, что это невозможно, но считаю это дело крайне трудным.

Слушая все это, Санчо говорил про себя:

— Когда я что-нибудь обмозгую и говорю путные вещи, господин мой обычно уверяет, что я мог бы взять под мышку кафедру и разъезжать по свету; читая отличные проповеди, а я скажу, что, когда он начинает нанизывать поучения и давать советы, ему впору взять не то что одну кафедру, а по две кафедры на каждый палец и расхаживать по площадям, проповедуя направо и налево. Чорт побери, чего, чего он только не знает, этот странствующий рыцарь! Я-то про себя думал, что ему могут быть известны дела, касающиеся одного рыцарства; а оказывается, ему до всего есть дело, и всюду он сует свой нос.

Санчо бормотал эти слова, а господин его услышал и спросил:

— Что ты бормочешь, Санчо?

— Ничего я не говорю и ничего не бормочу,—

ответил Санчо, — а только твержу про себя, как было бы хорошо, если бы я прослушал речь вашей милости еще до женитьбы; может быть и бы теперь говорил: «непривязанному бычку ловчей облизываться!»

— Да разве твоя Тереса так уже плоха, Санчо? — спросил дон Кихот.

— Не очень плоха, — ответил Санчо, — но и не очень хороша; по крайней мере мне бы хотелось, чтобы она была получше.

— Нехорошо ты делаешь, Санчо, — сказал дон Кихот, — что дурно отзываешься о своей жене, ведь она мать твоих детей.

— Мы с ней в расчете, — ответил Санчо: — когда ей взбредет на ум, она тоже обо мне дурно отзывается, особенно же когда ревнует, — тогда сам сатана ей не брат.

Наши путешественники пробывли у молодых три дня и их чествовали и угощали, как принцев. Дон Кихот попросил лиценциата, искусника по фехтовальной части, дать им проводника, который бы довел их до пещеры Монтеспиноса, ибо ему очень хотелось побывать в ней и увериться собственными глазами, правду ли рассказывают во всей округе об ее чудесах. Лиценциат сказал, что он отправит с ними своего двоюродного брата, ученейшего студента и большого любителя рыцарских романов, который охотно доведет их до самого входа в пещеру, а также покажет им лагуны Руидеры, знаменитые не только во всей Ламапче, но и на всю Испанию; он прибавил, что дон Кихоту будет приятно побеседовать с этим юношей, ибо он сочиняет книги, достойные быть напечатанными и посвященными князьям,

Итак, появился двоюродный брат верхом на жеребой ослице; седло которой было покрыто пестрым ковром или холстинкой. Санчо оседлал Росинанта, снарядил серого, набил свои дорожные сумки, к которым были присоединены тоже основательно набитые сумки двоюродного брата, и наши спутники, поручив себя воле божьей и попрощавшись с хозяевами, тронулись в путь по направлению к знаменитой пещере Монтесиноса.

По дороге дон Кихот спросил студента, какого рода и свойства его занятия, труды и упражнения. Тот ответил, что по занятиям своим он гуманист, а труды и упражнения его заключаются в том, что он пишет книги, дабы напечатать их к великой пользе и не меньшей утехе для государства; что одна из его книг называется *О костюмах*, и в ней описывается семьсот три костюма с их цветами, девизами и шифрами, так что придворные кабалеры во время празднеств и состязаний могут выбирать себе любой по вкусу, вместо того, чтобы выпрашивать у других или, как говорится, ломать себе голову над костюмами, отвечающими их желаниям и намерениям.

— У меня, — прибавил он, — найдутся подходящие костюмы и для Ревнивого, и для Отверженного, и для Забытого, и для Отсутствующего, и придутся они им прямо по мерке. Есть у меня и другая книга, которую я собираюсь озаглавить *Метаморфозы, или Испанский Овидий*, содержание ее особенное и редкостное; в ней, подражая Овидию на потешный лад, я рассказываю, что такое Хиральда Севильская, Ангел святой Магдалины, Каньо-де-Весингерра в Кордове, быки

Гисандо, Сьерра-Морена, источники Лсганитос и Лавашес в Мадриде, а также и прочие его фонтаны: Пьохо, Кауья Дорада и Приора;* все это украшено аллегориями, метафорами и фигурами, так что чтение это одновременно увеселяет, изумляет и поучает. Есть у меня еще книга, названная мною *Дополнением к Вергилию Полидору** и повествующая об изобретении разных вещей; на эту книгу я потратил много труда и учености по той причине, что в ней я изъясняю и излагаю изящным слогом все вопросы, на которых Полидор не останавливался подробно. Например, Вергилий позабыл сообщить нам, кто первый на свете получил насморк, кто первый прибег к втираниям, дабы излечиться от французской болезни; я же объясняю все это подробнейшим образом, ссылаясь более чем на двадцать пять авторов, из чего ваша милость может заключить, сколько мне пришлось поработать и как будет полезна людям моя книга.

Санчо, с большим вниманием слушавший рассказ студента, сказал ему:

— Скажите мне, сеньор, — и да пошлет вам бог удачу в деле печатания ваших книг, — не можете ли вы мне сообщить (впрочем, конечно, можете, так как вы все знаете), кто первый почесал у себя в голове? Я лично полагаю, что это был наш праотец Адам.

— Наверное он, — ответил студент, — ибо нет сомнения, что у Адама были голова и волосы; а раз это так и раз он был первым человеком на свете, то, должно быть, от времени до времени он почесывал у себя в голове.

— Я так и думал, — ответил Санчо, — а теперь

скажите мне, кто был первым канатным плясуном на свете?

— Поистине, братец, — ответил студент, — я не решусь ответить вам немедленно, не изучив этого вопроса; когда я возвращусь к своим книгам, я займусь этим и при ближайшей встрече удовлетворю ваше любопытство, ибо я надеюсь, что эта наша встреча не последняя.

— Послушайте, сеньор, — возразил Санчо, — не стоит вам утруждать себя, потому что я уже сам нашел ответ на свой вопрос. Знайте же, что первым канатным плясуном на свете был Люцифер: когда его сбросили или выпшвырнули с неба, он кувыркался до тех пор, пока не добрался до самой преисподней.

— Ты прав, друг мой, — ответил студент.

А дон Кихот сказал:

— Этот вопрос и ответ выдуманы не тобой, Санчо, ты их где-нибудь слышал.

— Замолчите, сеньор, — возразил Санчо, — даю вам слово, что если только я примусь спрашивать и отвечать, так я и до завтра не кончу. Уверяю вас, для того, чтобы спрашивать о глупостях и отвечать всякий вздор, мне не к чему ходить за помощью к соседям.

— Санчо, ты сказал больше, чем сам понимаешь, — ответил дон Кихот, — ибо много есть людей, которые трудятся над тем, чтобы познать и проверить разные вещи, а когда эти вещи познаны и проверены, то оказывается, что для нашего разума и памяти они и гроша не стоят.

В подобных приятных беседах провели они день, а на ночь остановились в небольшой деревеньке, и студент сказал дону Кихоту, что от

этого места до пещеры Монтесиноса не больше двух миль и что если решение его неизменно, то ему следует запастись веревками для того, чтобы потом, обвязавшись ими, спуститься в глубину. Дон Кихот ответил, что он готов опуститься в самую бездну, лишь бы только узнать, где она кончается. После этого они купили около ста сажней веревок и на следующий день, часа в два пополудни, подошли к пещере, вход в которую был широк и просторен, но весь зарос терновником, дикой смоквой, боярышником и кустарником, до того густыми и переплетенными между собой, что они совершенно закрывали и замуравывали отверстие. Увидев пещеру, студент, Санчо и дон Кихот спешились, а затем решено было крепко-накрепко обвязать нашего рыцаря веревкой. И в то время как его вязали и прикручивали, Санчо сказал:

— Подумайте, ваша милость, сеньор, что вы делаете; смотрите, не хорошите себя заживо и не уподобляйтесь бутылки, которую спускают в колодезь для охлаждения. Не ваше это дело и не ваша работа, ваша милость, исследовать пещеру, которая наверно окажется похуже басурманского подземелья.

— Вяжи и молчи, — ответил дон Кихот, — ибо подобное предприятие, друг Санчо, предназначено именно для меня.

Тогда проводник сказал:

— Умоляю вашу милость, сеньор дон Кихот, взглядывайтесь хорошенько и смотрите во сто глаз на все, что вам встретится; быть может, там найдется что-нибудь такое, о чем я смогу написать в моей книге о *Превращениях*.

— Знайте, что бубен—в руках хорошего музыканта, который с ним управится, — ответил Санчо Панса.

Когда кончились эти разговоры и когда дон Кихот был хорошо привязан (его обвязали не поверх вооружения, а поверх камзола), он сказал:

— Мы поступили неблагоприятно, позабыв заставить колокольчиком: я бы привязал его на веревку около себя и звоном давал бы вам знать, что я все еще жив и продолжаю спускаться; но раз теперь это уже невозможно, то да поможет мне бог, в руки которого я предаю себя.

Тут он опустился на колени и вполголоса прочитал молитву, прося господу помочь ему и увенчать благополучным концом это, по всей видимости, опасное и необычное приключение, а затем сказал громко:

— О, госпожа моих деяний и побуждений, славнейшая и несравненная Дульсинея Тобосская! Если просьбы и мольбы твоего счастливого поклонника могут достигнуть твоего слуха, то заклинаю тебя своей неслыханной красотой, услышь меня: я прошу тебя об одном, — не откажи мне в своей благосклонности и защите в минуту, когда я столь в ней нуждаюсь. Я собираюсь ринуться, опуститься и погрузиться в пропасть, открывающуюся здесь передо мной, единственно для того, чтобы всему миру стало известно, что при твоем ко мне благоволении нет такого невозможного дела, которого бы я не предпринял и не завершил.

С этими словами он приблизился к провалу и убедился, что для спуска в пещеру ему придется

проложить себе дорогу к ее входу силой рук и булавы, а потому выхватил меч и принялся рубить и срезать кустарник, разросшийся у самого отверстия; испугавшись шума и треска, из пещеры вылетели целые стаи ворон и галок; их было



такое множество, и вылетали они с такой быстротой, что свалили дон Кихота на землю; и будь он столь же суеверным человеком, сколь и добрым католиком, он наверное принял бы это за дурное предзнаменование и отказался бы от мысли забираться в такие места.

Наконец, наш рыцарь поднялся и, увидев, что из пещеры не вылетает больше ни ворон, ни других почных птиц, вроде летучих мышей (которых тоже немало вылетело вместе с воронами), он схватил веревку, конец которой держали студент и Санчо, и начал спускаться на дно страшной пещеры; на пороге ее Санчо дал ему свое благословение, перекрестил его тысячу раз и сказал:

— Да ведет тебя господь бог, Скала Франции * и Святая Троица * Газты, о цвет, сливки и пена всех странствующих рыцарей! Иди же, первый смельчак в мире, стальное сердце и бронзовая рука! Да ведет тебя господь, повторяю я, и да выведет он тебя свободным, здоровым и невредимым на свет божий, который ты ныне покидаешь, добровольно погружаясь в эту мрачную бездну.

В таком же роде увещевал и напутствовал дон Кихота студент. Дон Кихот начал спускаться, покрикивая, чтобы ему все больше и больше отдавали веревку, и те понемногу ее разматывали; когда же голос его перестал доноситься из глубины пещеры, Санчо и студент заметили, что все сто сажен веревки уже кончились; тогда они решили тащить дон Кихота обратно, раз им нечего было больше спускать. Все же они помедлили с полчаса, а когда этот срок прошел, принялись тянуть, что оказалось делом весьма легким, словно на веревке не было никакого груза; это навело их на мысль, что дон Кихот остался в пещере, и Санчо, предположив это, стал горько плакать и с большой поспешностью подбирать веревку, чтобы убедиться в истине; однако, вытянув приблизительно восемьдесят сажен, они по-

чувствовали тяжесть и крайне этому обрадовались. Наконец, на конце веревки вполне явственно показался дон Кихот, и Санчо громко закричал:

— Добро пожаловать, ваша милость, сеньор мой; а уж мы было думали, что вы там останетесь на развод.

Но дон Кихот не отвечал ни слова, и когда они окончательно его извлекли, то заметили, что глаза его закрыты и что по всем признакам он спит. Его положили на землю, развязали, а он все не просыпался; тут принялись они его так вертеть и переворачивать, трясти и потряхивать, что он, (правда, не очень скоро,) пришел в себя, потянулся, будто просыпаясь от глубокого и крепкого сна, с ужасом поглядел по сторонам и сказал:

— Да простит вам бог, друзья мои, за то, что вы лишили меня самой отрадной жизни и самого приятного зрелища, которые когда-либо выпадали на долю смертного. Поистине, только теперь я вполне понял, что все наслаждения жизни проходят, как тень и сон, и усыхают, как цвет полей. О несчастный Монтесинос! О, тяжело раненый Дуррандарте! О злосчастная Белерма!* О слезообильная Гвадиана, и вы, злополучные дочери Руидеры, чьи воды образовались из слез, пролитых вашими прекрасными очами!

Студент и Санчо с глубоким вниманием слушали слова дон Кихота, которые, видимо, с великой мукой исторгались из его груди. Они попросили его объяснить им, что такое он говорит, и рассказать, что он видел в этом аду.

— Вы называете эту пещеру адом? — воскликнул дон Кихот. — Не называйте ее так, она этого не заслуживает, как вы сами сейчас убедитесь.

Он попросил дать ему чего-нибудь поесть, так как был очень голоден. Они расстелили на зеленой траве холстинку студента, вытащили из сумок съестные припасы и, усевшись втроем, в добром мире и согласии зараз и пообедали и поужинали. Когда убрали холстинку, дон Кихот Ламанчский заявил:

— Не вставайте из-за трапезы, друзья мои, и слушайте меня внимательно.

ГЛАВА XXIII

об удивительных вещах, которые дерзновенный дон Кихот видел в глубокой пещере Монтесиноса и которые столь невероятны и величественны, что есть основание считать это приключение подложным



БЫЛО ОКОЛО ЧЕТЫРЕХ ЧАСОВ ПОПОЛУДНИ, КОГДА СОЛНЦЕ, СПРЯТАВШИЕСЯ ЗА ОБЛАКА, СМЯГЧИЛО СВОЙ БЛЕСК И УМЕРИЛО ЛУЧИ, ЧТО ПОЗВОЛИЛО ДОН КИХОТУ, НЕ ТОМЯСЯ ОТ ЗНОЯ, РАССКАЗАТЬ СВОИМ ДОСТОПОЧТЕННЫМ СЛУШАТЕЛЯМ ТО, ЧТО ОН ВИДЕЛ В ПЕЩЕРЕ МОНТЕСИНОСА; И НАЧАЛ ОН СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:

— На глубине двенадцати или четырнадцати сажений, по правую руку, в этом подземелье находится углубление и пространство, в котором могла бы поместиться большая телега, запряженная мулами. Слабый свет проникает в него через трещины и щели, которые уходят вдаль и потом появляются где-то на поверхности земли. Я заметил это углубление и пространство в то время, как, подвешенный и привязанный к веревке начал было раздражаться и уставать, опускаясь

в эту мрачную область, где не было для меня верного и определенного пути, а потому решил я забраться туда и немного отдохнуть. Я закричал вам, чтобы вы перестали отпускать веревку, пока я вам не подам знака, но вы, должно быть, меня не слышали. Я собрал веревку, которую вы продолжали мне спускать, и, сделав из нее круг или пучок, уселся на него, погруженный в глубокую задумчивость, и соображал, как мне следует поступить, если я пожелаю спуститься, раз вы больше не могли уже держать для меня веревку; и вот, когда я пребывал в этих раздумьях и сомнениях, внезапно и против моей воли меня охватил глубочайший сон; и уж не знаю, каким образом, и совсем об этом не помышляя, я вдруг проснулся и увидел себя посреди прекрасного, очаровательного и прелестного луга, лучше которого не может создать природа, ни вообразить самое тонкое человеческое воображение. Я широко открыл глаза, стал протирать их, но убедился, что не сплю и что действительно вполне проснулся. И все же я пощупал себе голову и грудь, чтобы увериться, что на лугу сижу я сам, а не какой-нибудь ложный оборотень или призрак; но и осязание, и чувства, и разумные мысли, приходившие мне в голову, все это доказывало мне, что там и в ту минуту я был точно такой же, каков я теперь в этом месте. Вскоре взорам моим представился пышный королевский дворец или замок, чьи стены и башни казались сделанными из светлого и прозрачного хрусталя; открылись две половинки огромных ворот, и из них вышел и направился ко мне некий почтен-

ный старец, одетый в длинный плащ из фиолетовой байки, который влачился за ним по земле; плечи и грудь его покрывала еще хламидка из зеленого атласа, какие носят наставники коллегий; на голове у него была миланская черная шапочка, а белоснежная борода его спадала до пояса; он не был вооружен и держал в руке четки, зерна которых были больше, чем орехи средней величины, а каждое десятое зерно величиной с небольшое страусово яйцо; его осанка, поступь, важность и величественность вида, — все это, и в отдельности и взятые вместе, внушали мне удивление и благоговение. Он подошел ко мне и первым делом крепко меня обнял, а затем сказал: «Уже долгие годы, доблестный рыцарь дон Кихот Ламанчский, мы ждем тебя в этой заколдованной пустыне, дабы ты оповестил мир о том, что таится и скрывается в глубокой пещере, называемой Монтесинос, куда ты проник; этот подвиг предназначался для тебя одного, ибо только твое непобедимое мужество и изумительная отвага могли на него решиться. Следуй за мной, славнейший сеньор, я хочу показать тебе чудеса, хранящиеся в этом прозрачном замке, коего я — алькайд * и главный пожизненный хранитель, ибо я — сам Монтесинос, по имени которого названа эта пещера». Как только он мне сказал, что он — Монтесинос, я спросил его, правда ли то, что рассказывают у нас наверху люди, а именно, что он маленьким кинжалом вырезал сердце из груди своего большого друга Дурандарте и принес его сеньоре Белерме, как завещал ему друг в минуту своей смерти. * Он мне ответил, что все это правда, кроме кинжала; у

него был не маленький кинжал, а хорошо отточенный стилет, острее шила.

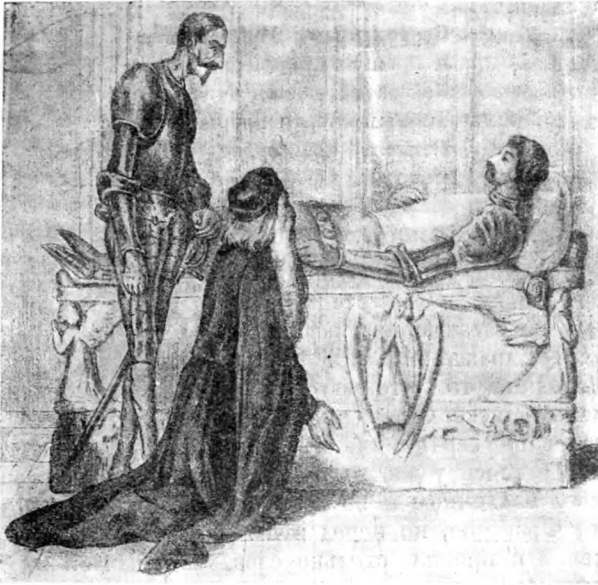
— Должно быть, — перебил тут Санчо, — это был кинжал работы севильянца Рамона де Осес.

— Не знаю, — ответил дон Кихот, — но, вероятно, нет, потому что пожевщик Рамон де Осес жил недавно, а Ронсевальская битва, где случилось это несчастье, имела место много лет тому назад; но эта поправка не имеет значения, не извращает и не меняет правдивого хода этой истории.

— Совершенно верно, — сказал студент; — продолжайте, вапа милость, сеньор дон Кихот, я слушаю вас с величайшим на свете удовольствием.

— А я рассказываю вам с наименьшим удовольствием, — произнес дон Кихот. — Итак, почтенный Монтесинос повел меня в хрустальный дворец, где в одной низкой и чрезвычайно прохладной зале, целиком выложенной алебастром, я увидел гробницу, искусно высеченную из мрамора, а на ней во весь рост лежал рыцарь; но был он не из бронзы, не из мрамора и не из яшмы, как обычно бывает на гробницах, а из самой настоящей плоти и костей. Правая его рука (она показалась мне довольно волосатой и мускулистой и свидетельствовала о большой силе рыцаря) покоилась на сердце; прежде чем я успел спросить Монтесиноса, тот, увидев, что я с удивлением рассматриваю лежащего на гробнице, заговорил сам: «Здесь лежит мой друг Дурандарте, цвет и зеркало всех влюбленных и доблестных рыцарей своего времени; подобно мне и многим другим рыцарям и дамам, он покоится здесь, очарованный Мерлином, этим французским волшебником, который, по слухам, сын самого дьявола; я же

полагаю, что он не сын дьявола, но, как говорится, малость потоньше самого дьявола. Почему и как он нас очаровал, никто этого не знает, но придет время и это откроется, и кажется мне, что время это уже недалеко. Но вот что меня



больше всего удивляет: я знаю так же твердо, как то, что теперь день, а не ночь, что Дурандарт испустил дух у меня на руках и что после его смерти я собственными руками вырезал его сердце; и весом было оно, поистине, фунта в два, ибо, по мнению естествоиспытателей, люди с большим

сердцем обладают большей храбростью, чем люди с сердцем очень маленьким. А раз все это так, и этот рыцарь действительно умер, то каким образом может он теперь то жаловаться, то вздыхать, как будто он все еще жив?» Не успел он произнести эти слова, как несчастный Дурандарт громко застонал и проговорил:

Братец милый Монтесинос,
Я прошу нелицемерно:
Как затмятся мои очи
Темным смерти покрывалом,
Отнесите мое сердце
Вы туда, где есть Белерма,
Из моей доставши груди
Иль стилетом, иль кинжалом.*

Услышав это, почтенный Монтесинос опустился на колени перед стонающим рыцарем и сказал ему со слезами на глазах: — «О сеньор Дурандарт, дражайший мой двоюродный брат, я уже исполнил то, что вы поручили мне в горький день нашего поражения; я как мог лучше вырезал ваше сердце, так что ни одной частички его не осталось у вас в груди, я вытер его кружевным платочком и во весь опор помчался с ним во Францию, но перед этим я предал ваш прах земле и пролил столько слез, что влагой их я омочил свои руки и смыл кровь, которая покрывала их, когда они погружались в вашу грудь; я дам вам еще одно доказательство, о любезный мой братец: в первом же местечке, куда я попал, выбравшись из Ронсеваля, я посыпал на ваше сердце немного соли, чтобы от него не пошел дурной дух и чтобы я мог его поднести сеньоре Белерме,

если не в свежем, то хотя бы в засушенном виде; а ее вместе с вами, со мной, с вашим оруженосцем Гвадианой, с дуэньей Руидерой и ее семью дочерьми и двумя племянницами и со множеством других ваших знакомых и друзей, держит здесь уже долгие годы под властью своих чар мудрый Мерлин; и хотя прошло уже более пятисот лет, никто из нас еще не умер, только нет среди нас Руидеры, ее семи дочерей и двух племянниц; они все время плакали, и вероятно из сострадания к ним Мерлин каждую из них превратил в лагуну, и теперь в мире живых и в провинции Ламанча их называют лагунами Руидеры; семь из них принадлежат королю Испании, а две племянницы — рыцарям святейшего ордена, именуемого орденом Сан-Хуана. Ваш оруженосец Гвадиана, тоже оплакивавший вашу гибель, был превращен в реку, носящую это имя; но, когда воды ее достигли поверхности земли и увидели солнце божьего мира, столь великое сожаление охватило их при мысли вас покинуть, что они низверглись в недра земли; но, так как реке все же невозможно уклониться от естественного своего течения, она от времени до времени выходит наружу и показывает себя солнцу и людям. Упомянутые лагуны питают ее своими водами и, обогащенная ими и многими другими выпадающими в нее притоками, она величаво и пышно вливается в Португалию. Но тем не менее где бы она ни протекала, она всюду обнаруживает свою печаль и тоску и потому разводит в своих водах не вкусных и дорогих рыб, а только грубых и неприятных, — не то что в золотом Тахо. Все, что я сейчас говорю вам,

о мой братец, я рассказывал вам уже много раз, но вы мне не отвечаете, и поэтому я думаю, что вы мне не верите или не слышите меня, и один бог знает, какое горе мне это причиняет. А сегодня я хочу сообщить вам вести, которые, хоть и не послужат облегчением вашей печали, но зато никоим образом не усилят ее. Знайте же, что здесь перед вами, — доступный вашим глазам, если вы их откроете, — стоит тот великий рыцарь, о котором мудрый Мерлин столько пророчил, — я говорю о дон Кихоте Ламанчском, который снова и с большей пользой, чем это бывало в прошлом, вызвал к жизни, в наше время давно забытое, странствующее рыцарство, и возможно, что при его помощи и покровительстве все мы будем расколдованы, ибо великие деяния предназначаются для великих людей. — «А если бы этого не случилось, — ответил горестный Дурандарте тихим и умирающим голосом, — если бы даже этого не случилось, то я, о, мой братец, все же скажу: нечего падать духом, и давай снова станем картишки!»

И, повернувшись набок, он снова погрузился в свое обычное молчание и не прибавил больше ни слова. Тут послышались громкие крики и вопли, а вместе с ними глубокие стоны и безутешные рыдания. Я повернул голову и через хрустальные стены увидел, что по другой зале проходила процессия, состоявшая из двух рядов прекраснейших девушек, одетых в траур и в белые тюрбаны по турецкому обычаю. В конце этих двух рядов выступала некая сеньора, о знатности которой можно было догадаться по ее важному виду, тоже одетая в траур и в белое голов-

ное покрывало, столь большое и длинное, что оно касалось пола. Ее тюрбан был в два раза выше, чем самый большой тюрбан у какой-либо из девушек; у нее были сросшиеся брови, немного курносый нос, большой рот, но яркие губы; когда она от времени до времени приоткрывала рот, видно было, что зубы у нее редкие, неровные, но белые, как очищенный миндаль; в руках она держала тончайшее полотенце, и в нем, поскольку можно было заметить, лежало сердце цвета мумии — такое оно было засохшее и сморщенное. Монтезинос сказал мне, что девушки, составлявшие профессию, — прислужницы Дурандарте и сеньоры Белермы, что они очарованы в этом замке вместе со своими господами и что дама, выступавшая последней, и есть сеньороа Белерма; четыре раза в неделю она со своими прислужницами совершает эту профессию, и они поют или, лучше сказать, голоса жалобные песни над телом и истерзанным сердцем Дурандарте: он добавил еще, что если Белерма мне кажется слегка безобразной или не такой прекрасной, как о ней рассказывается, то причиной этому являются горькие ночи и еще более горькие дни, которые она проводит в очарованном состоянии, о чем свидетельствуют большие круги под глазами и дурной цвет лица. Ее желтая кожа, и круги под глазами вызваны отнюдь не месячными, свойственными женщинам, ибо уже многие месяцы и даже годы эти недомогания не только ее не посещают, но даже и через ее порог не переступают; нет, это происходит от скорби, терзающей ее сердце при виде другого сердца, которое вечно покоится у нее на руках, постоянно воскрешая

и приводя ей на память гибель ее злополучного возлюбленного; а не будь этого, едва ли бы сравнилась с ней красотой, грацией и осанкой сама великая Дульсинея Тобосская, столь прославленная в наших краях, да и во всем мире. «Поставим здесь точку, сеньор Монтесинос! — сказал я на это, — и рассказывайте вашу историю, как следует; вы ведь знаете, что всякие сравнения неприятны, и поэтому незачем нам одну из них сравнивать с другою; несравненная Дульсинея Тобосская — сама по себе, а сеньора донья Белерма — тоже сама по себе была, сама по себе и останется; и довольно об этом». На это он мне ответил: «Сеньор дон Кихот, простите мне, ваша милость; признаюсь, что я сплеховал и неудачно выразился, сказав, что сеньора Дульсинея едва ли бы сравнилась красотой с сеньорой Белермой, ведь поскольку я по некоторым отдаленным признакам уловил, что ваша милость служит этой даме, мне следовало бы прикусить язык и не сравнивать ее ни с чем, кроме разве самого неба». Извинения, которые принес мне великий Монтесинос, успокоили в моем сердце смятение, которое я почувствовал, услышав, как мою сеньору сравнивают с Белермой.

— А все же мне удивительно, — сказал Санчо, — как ваша милость не набросилась на этого старикашку, не переломала ему кулаками все кости и не вырвали ему из бороды все волосы, от первого до последнего.

— Нет, друг Санчо, — ответил дон Кихот, — мне не подобало это делать, ибо все мы обязаны оказывать уважение даже самым обыкновенным старцам, а тем более, когда они — рыцари, да

еще и очарованные; я отлично знаю, что во всем нашем последующем разговоре мы ни в чем не остались друг перед другом в долгу.

Тут заговорил студент:

— Я не понимаю, сеньор дон Кихот, как вам удалось в столь короткое время, которое вы провели под землей, увидеть такое множество вещей, о стольком переговорить и расспросить.

— Сколько времени прошло с тех пор, как я спускался под землю? — спросил дон Кихот.

— Немногим больше часа, — ответил Санчо.

— Этого не может быть, — возразил дон Кихот, — ибо там меня застала ночь и утро и еще два раза ночь и утро, так что, по моему расчету, я провел в этих отдаленных и скрытых от нашего зрения местах целых три дня.

— Мой господин наверное говорит правду, — сказал Санчо, — ведь все, что с ним случилось, было вызвано силой волшебства, и возможно, что время которое нам кажется одним часом, там внизу, равняется трем полным суткам.

— Так оно и есть, — ответил дон Кихот.

— А ели вы что-нибудь за все это время, ваша милость, мой сеньор? — спросил студент.

— В рот ничего не брал, — ответил дон Кихот, — но мне даже и в голову не приходило, что я голоден.

— А очарованные едят? — снова спросил студент.

— Нет, не едят, — ответил дон Кихот, — и не исполняют естественных нужд, хотя, впрочем, некоторые полагают, что у них продолжают расти ногти, борода и волосы.

— Но, может быть, они спят, сеньор? — спросил Санчо.

— Конечно, нет, — ответил дон Кихот, — по крайней мере за те трое суток, что я пробыл с ними, никто и глаз не сомкнул, ни они, ни я.

— Вот тут-то кстати припомнить пословицу, — сказал Санчо: — «скажи мне, с кем ты дружишь, и я скажу тебе, кто ты таков». Ваша милость завела дружбу с очарованными, которые не едят и не спят, — так что ж тут удивительного, если за все время, что вы находились с ними, вы тоже не ели и не спали? Но простите меня, ваша милость, сеньор мой, а только я скажу: побей меня бог (я чуть было не сказал: дьявол), если я во все ваши рассказы хоть капельку верю.

— Как не верите? — воскликнул студент. — Да разве сеньор дон Кихот может лгать? Впрочем, если бы ему и захотелось солгать, у него не хватало бы времени сочинить и придумать эти миллионы выдумок.

— Я не думаю, что мой господин лжет, — ответил Санчо.

— Так что же ты думаешь? — спросил дон Кихот.

— Я думаю, — ответил Санчо, — что этот Мерлин или другие волшебники, очаровавшие всю эту ораву, которую вы, ваша милость, будто бы видели и посетили там под землей, что эти волшебники повлияли на вашу память и вбили вам в голову всю эту штуковину, что вы нам рассказали и еще будете досказывать.

— Все это могло бы быть, Санчо, — ответил дон Кихот, — но этого не было, ибо все, о чем я вам рассказываю, я видел собственными глазами и трогал руками. Но что ты теперь скажешь, если я открою тебе, что среди многих и бес-

конечных чудес и диковинок, которые показал мне Монтесинос (и о которых я расскажу тебе современем, не торопясь, в течение нашего путешествия, так как некоторые из них будут сейчас не кстати), он указал мне на трех крестьянок, которые прыгали и резвились, как козочки на этих прелестных лужайках, и как только я их увидел, я сейчас же в одной из них узнал несравненную Дульсинею Тобосскую, а в других — тех самых крестьянок, которые сопровождали ее и с которыми мы с тобой заговорили, выезжая из Тобосо. Я спросил Монтесиноса, знакомы ли они ему; он ответил, что нет, но что, по его мнению, это какие нибудь очарованные знатные сеньоры, ибо они появились на лугу всего несколько дней тому назад; он прибавил, что меня не должно это удивлять, так как в этих местах пребывают и многие другие сеньоры прошлого и настоящего времени, превращенные в различные странные образы, и что между ними он узнал королеву Джиневру и ее дуэнью Кинтаньону, ту самую, из рук которой принял кубок вина Ланселот,

Из Британии прибывший.

Когда Санчо Панса услышал слова своего господина, ему показалось, что он сойдет с ума или лошнет от смеха, ибо ему хорошо была известна вся правда, касающаяся вымышленного превращения Дульсинеи, — ведь в этом деле он был и волшебником, и единственным свидетелем! И потому, наглядно убедившись, что его хозяин окончательно рехнулся и спятил с ума, он сказал:

— Не в урочный час, в злую минуту и роковой день спустились вы в подземное царство,

ваша милость, дорогой мой хозяин, и в недоброе время повстречался вам сеньор Монтесинос, работавший вас таким образом. Сидели бы вы, ваша милость, здесь, на земле, в здравом уме, дарованном вам господом богом, изрекая поучения и давая советы при каждом удобном случае, и не городили бы теперь такого вздора, что хуже и придумать невозможно.

— Я тебя хорошо знаю, Санчо, — ответил дон Кихот, — а потому не обращаю внимания на твои слова.

— А я на ваши, ваша милость, — возразил Санчо: — и хотя бы вы отколотили или убили меня за то, что я вам сказал, я вам буду это повторять, если вы не образумитесь и не исправитесь. Но пока мы еще с вами в ладу, скажите мне, ваша милость, как и по какому признаку вы узнали сеньору хозяйку? И когда вы заговорили с нею, что она вам сказала и ответила?

— Я узнал ее, — ответил дон Кихот, — потому, что на ней было то же самое платье, как в тот день, когда ты мне ее показал. Я заговорил с ней, но она не ответила мне ни слова, повернулась спиной и убежала так быстро, что и стрела бы ее не догнала. Я хотел побежать за ней и наверное побежал бы, но Монтесинос посоветовал мне не утруждать себя, говоря, что все мои усилия будут тщетны, и к тому же приближался час, когда мне надлежало покинуть пещеру. Он сказал мне, что наступит время, и он известит меня, что мне должно сделать, дабы расколдовать Белерму, Дурандарте и всех прочих. Но из всего, что я видел и наблюдал в подземном царстве, одно обстоятельство особенно меня огорчило:

когда Монтесинос вел со мной эту беседу, подошла ко мне одна из двух спутниц обездоленной Дульсинеи, — а я даже не заметил, как она ко мне приблизилась, — и с глазами, полными слез, сказала мне взволнованным и тихим голосом: «Госпожа моя Дульсинея Тобосская целует руки вашей милости и просит вашу милость сообщить ей, как вы поживаете, а также настоятельнейше умоляет вашу милость снизить к ее великой нужде и одолжить ей полдюжины или сколько найдется реалов под залог этой еще совсем новой канифасовой юбки, которая у меня в руках, а она обязуется честным словом возвратить их вам в кратчайший срок». Просьба эта удивила и поразила меня, и, обратившись к сеньору Монтесиносу, я спросил его: «Возможно ли, сеньор Монтесинос, что очарованные знатные особы терпят нужду?» На что он мне ответил: «Поверьте мне ваша милость, сеньор дон Кихот Ламанчский, то, что мы зовем нуждой, встречается повсюду, распространяется на все и подчиняет себе всех; она не щадит даже очарованных; и раз сеньора Дульсинея Тобосская просит одолжить ей шесть реалов и предлагает, как кажется, вполне подходящий залог, то почему бы вам их не дать? ибо несомненно она находится в весьма стесненном положении». — «Залога мне не нужно, — ответил я, — но и шести реалов я дать не могу, потому что у меня всего-на-всего четыре реала». Я отдал девушке эти деньги (помнишь, Санчо, ты вручил их мне третьего дня, чтобы я мог подавать милостыню, если по дороге нам повстречаются нищие) и сказал ей: — «Передайте вашей госпоже, моя милая, что ее невзгоды печалят мою душу и

что я хотел бы быть Фуггером,* чтобы помочь ей; скажите ей, что, лишенный ее отрадного вида и разумной беседы, я не могу и не должен чувствовать себя в добром здравии, и что я смиреннейше молю ее милость оказать мне честь показаться и побеседовать со своим пленным слугою и истомленным рыцарем. Передайте ей также, что в ту минуту, когда она меньше всего будет этого ожидать, до слуха ее дойдет весть, что я принес обет и клятву, подобную той, которую дал маркиз Мантуанский, решивший отомстить за своего племянника Балдуина, когда он нашел его при последнем издыхании в горном ущельи, а именно не вкушать хлеба за скатертью и не делать разных других пустяков, пока он за него не отомстит; так и я клянусь никогда не отдыхать, и объехать все семь частей света еще с большим рвением, чем это сделал инфант дон Педро Португальский,* пока мне не удастся расколдовать сеньору Дульсиню». — «И не только это, но и многое другое ваша милость обязана совершить ради своей госпожи», — ответила мне девушка; затем она схватила четыре реала и вместо того, чтобы сделать мне поклон, вдруг подпрыгнула вверх, да так, что взлетела на воздух почти на сажень от земли.

— Святой боже! — воскликнул тут громким голосом Сапчо. — Виданое ли это дело, чтобы на белом свете могли вдруг забрать такую власть все эти волшебники и волшебства, подменившие здравый разум моего господина самым несообразным безумием! О, сеньор, сеньор, ради господа бога, придите вы в себя, подумайте о своей чести и не верьте всему этому вздору, от которого у вас ум за разум зашел!

— Ты говоришь это, Санчо, потому что желаешь мне добра, — ответил дон Кихот, — но ты не имешь опыта в мирских делах, и поэтому все, представляющее некоторые трудности для понимания, кажется тебе невозможным; но придет время и, повторяю, я расскажу тебе еще кое о чем, что я видел под землей; тогда ты согласишься и тому, что я сейчас рассказываю, ибо все это — истина, не допускающая ни споров, ни возражений.

ГЛАВА XXIV

в которой рассказывается о тысяче разных пустяков, столь же вздорных, сколь и необходимых для правильного понимания этой великой истории



от, кто перевел эту великую историю с подлинника, написанного первым ее автором Сидом Аметом Бенепхели, заявляет, что, дойдя до главы, повествующей о приключении в пещере Монте-синоса, он нашел на полях рукописи следующие собственноручные примечания самого Амета:

«Я никак не могу понять и убедить себя в том, чтобы с доблестным дон Кихотом точка в точку случилось все описанное в предыдущей главе. И вот по какой причине: все приключения, случившиеся с ним до сих пор, были возможны и правдоподобны; но я не могу счесть достоверным приключение в пещере, — настолько оно переходит границы разумного. Равным образом я не в состоянии думать, что дон Кихот солгал, ибо он — самый правдивый и самый благородный рыцарь своего времени; он не произнес бы лжи, даже если бы его изрешетили стрелами. С дру-

гой стороны, я отмечаю, что он рассказывал об этом приключении со всеми вышеприведенными подробностями, а между тем он не мог придумать в столь короткое время такой огромный ворох нелепостей; итак, если это приключение кажется подложным, то не моя в том вина; передавая его, я не утверждаю ни того, что оно ложно, ни того, что оно подлинно. Читатель, ты человек разумный, — суди же сам, как тебе взумается, а я не могу и не должен ничего больше прибавлять; впрочем, нам достоверно известно, что перед самой своей кончиной и смертью дон Кихот, по слухам, отрекся от этого приключения и объявил, что он сочинил его, ибо ему казалось, что оно отлично сходится и согласуется со всеми происшествиями, о которых он читал в романах». И далее Бенехели продолжает так свое повествование:

Студент был поражен дерзостью Санчо Пансы и терпеливостью его господина, но решил, что кротость, проявленная в ту пору дон Кихотом, вызвана радостью свиданья его с сеньорой Дульсиней Тобосской, хотя бы даже и очарованной; не будь этого, слова и рассуждения Санчо Пансы навлекли бы на него град палочных ударов, ибо, по мнению студента, оруженосец вел себя со своим господином не без наглости.

— Я считаю, сеньор дон Кихот Ламанчский, — обратился он к нашему рыцарю, — что я совершил с вашей милостью весьма удачное путешествие, ибо за время его я приобрел четыре вещи: во-первых, я познакомился с вашей милостью, а это я считаю великим счастьем; во-вторых, я узнал, что таится в пещере Монтесиноса и каковы были превращения Гвадианы и

лагун Рундеры, а все это мне пригодится для моего *Испанского Овидия*, над которым я сейчас работаю; в-третьих, я узнал, что игральные карты очень древнего происхождения и что во всяком случае они были уже известны во времена Карла Великого, — так по крайней мере можно заключить из слов вашей милости: ибо вы сказали, что после длинной речи, обращенной Монтезином к Дурандарту, тот проснулся и вскричал: «Нечего падать духом, и давай снова стасуем картишки!», а ведь очарованный не мог бы знать таких слов и выражений, если бы они еще до его околдования не существовали во Франции во времена вышеупомянутого императора Карла Великого. Эта справка придется мне как раз кстати для другой книги, которую я готовлю к печати: *Дополнение к Вергилию Полидору «Об изобретениях древности»*; мне кажется, что в своем сочинении автор забыл сообщить о происхождении карт, и вот я сообщу об этом, и это будет иметь огромную важность, особенно если я сошлюсь на столь серьезного и правдивого автора, как сеньор Дурандарт; в-четвертых, я узнал достоверные сведения об истоках реки Гвадианы, чего до сих пор не знал никто на свете.

— Ваша милость вполне правы, — ответил дон Кихот: — но мне бы хотелось знать, кому собираетесь вы посвятить ваши книги, если только господь пошлет вам свою милость и вы получите разрешение их напечатать, в чем я однако сомневаюсь.

— Найдутся в Испании знатные сеньоры и гранды, кому их можно посвятить, — ответил студент.

— Их не так много, — возразил дон Кихот: — я не хочу сказать, что они не заслуживают посвящений, но они отказываются от них, чтобы не быть обязанными вознаграждать, как должно, авторов за их труд и любезность. Но я знаю одного вельможу, * который один может заменить всех уклоняющихся от этой чести, и притом с такими преимуществами, что, если бы я вздумал их перечислять, я бы наверное заронил зависть в иное великодушное сердце; но мы поговорим об этом в другое, более подходящее время, а теперь подумаем о том, где бы нам устроиться на ночлег.

— Поблизости отсюда находится пустынь, — ответил студент, — и в ней живет один отшельник; говорят, что раньше он был солдатом, и про него ходит слух, что он добрый христианин, мудрый и крайне сострадательный. Неподалеку от его пустыни стоит небольшой домик, который он построил собственными трудами; хоть он и невелик, но место для постояльцев найдется.

— А нет ли случайно у этого отшельника кур? — спросил Санчо.

— Почти все отшельники в них себе не отказывают, — ответил дон Кихот, — ибо отшельники нашего времени мало похожи на аскетов, которые жили в пустыне Египетской, одевались в пальмовые листья и питались кореньями. И не подумайте, что, хваля старых отшельников, я хочу сказать дурное о новых; я говорю только, что в настоящее время они умерщвляют плоть не столь сурово и жестоко, как это делали в минувшие времена; несмотря на это, отшельники нашего времени очень хороши, по крайней мере я считаю

их таковыми; а если допустить самое худшее, то и лицемеры, притворяющиеся добродетельными, творят гораздо меньше зла, чем откровенные грешники.

Беседуя таким образом, они увидели какого-то человека, который шел к ним навстречу с большой поспешностью, погоняя перед собой мула, нагруженного пиками и алебардами. Поровнявшись с ними, он поклонился и прошел мимо. Дон Кихот сказал ему:

— Остановитесь, добрый человек; мне кажется, вы идете быстрее, чем этого хотелось бы вашему мулу.

— Я не могу останавливаться, сеньор, — ответил человек, — вы видите, я везу оружие, которое завтра же понадобится, поэтому я не должен задерживаться, а засим прощайте. Но ежели вам угодно знать, для какой надобности я его везу, то имейте в виду, что сегодня ночью я останавлиюсь на ночлег в гостинице, находящейся около пустыни отшельника; если вы едете в ту же сторону, мы там встретимся, и я расскажу вам чудеса, а пока еще раз прощайте.

И он так погнал своего мула, что дон Кихот не успел даже спросить, какие чудеса он собирается им рассказать; а так как он был порядком любопытен и его вечно разбирало желание узнать что-нибудь новое, то он решил немедленно тронуться в путь и провести ночь в гостинице, не заезжая к отшельнику, хотя студент предпочитал переночевать именно там.

Так они и сделали: сели на лошадей, поехали по прямой дороге к гостинице и прибыли туда уже под вечер. Студент сказал дон Кихоту, что

не худо было бы завернуть к отшельнику и выпить стаканчик. Едва услышав это, Санчо Панса повернул своего серого в сторону пустыни, и дон Кихот и студент последовали за ним; но, видно, злая судьба Санчо устроила так, что отшельника не было дома, как заявила им послушница, которую они застали в пустыни. Они спросили у нее винца подороже; она ответила, что у отда отшельника вина нет, но что ежели они желают воды по дешевой цене, то она напоит их с великим удовольствием.

— Если бы мне хотелось воды, — ответил Санчо, — так мало ли по дороге колодцев, где можно напиться. Ах, свадьба Камачо и изобилие дома дон Диэго — сколько раз еще мне придется о вас пожалеть!

С тем они и покинули пустынь и направились к гостинице; проехав небольшое расстояние, они встретили одного юношу, который шагал в том же направлении, но не слишком быстро, что позволило им нагнать его. Он держал на плече шпагу, а к ней был привязан узелок или сверток, в котором, повидимому, находилось его платье; должно быть, там были шаровары, короткий плащ и несколько сорочек, ибо на себе он имел куртку из бархата, смахивающего на атлас, и выпущенную наружу рубашку; на нем были шелковую чулки и башмаки с четырехугольными носками, по столичной моде; лет ему было восемнадцать-девятнадцать, лицо веселое, движения ловкие; он напевал сегедилью, чтобы не было скучно идти. Когда наши путники с ним поровнялись, он как раз кончал одну песенку, которую студент запомнил; вот что в ней говорилось:

На войну меня гонит злодейка-нужда,
А достал бы я денег, — остался б тогда.

Первый взял слово дон Кихот и сказал:
— Вы путешествуете совсем палежке, ваша милость, любезный сеньор. Куда путь держите? Скажите нам, если вам не трудно.

На это юноша ответил:

— Путешествую я так палежке из-за жары да и по бедности, а отправляюсь я на войну.

— Из-за жары — это я понимаю, — сказал дон Кихот, — но почему по бедности?

— Сеньор, — ответил юноша, — в этом узелке у меня лежат бархатные шаровары, парные к моей куртке; если я изношу их в пути, мне нельзя будет нарядиться в них в городе, а у меня нет денег на покунку новых; поэтому-то, да еще для того, чтобы было прохладнее, я и путешествую в таком виде; я направляюсь в стоянку пехотных полков, которая расположена в двенадцати милях отсюда; я в него запишусь, а уж там найдется, на чем доехать до порта, где нас посадят на корабль; говорят, что это будет в Картахене. Я предпочитаю иметь господином и хозяином короля и служить ему на войне, чем состоять при каком-нибудь нищенствующем придворном.

— Ваша милость наверняка получила с последнего места какую-нибудь награду? — спросил студент.

— Если бы я служил испанскому гранду или иной знатной особе, — ответил юноша, — то я бы наверняка ее получила, ибо служба у именитых людей имеет большие преимущества; их домочадцы обычно сразу проходят в поручики, капитаны или получают хоро-

шие наградные, а мне, злополучному, пришлось служить разного рода ищущим и алчущим, получить место и состоять на таких скудных харчах и на таком бедном жалованье, что половина его уходила на крахмалсень воротника; было бы чудом, если бы такой кочующий паж, как я, докочевал хотя бы до маленького счастья.

— Но, ради бога, скажите мне, дружок, — спросил дон Кихот, — неужели за все годы вашей службы вы так и не получили ливрен?

— У меня их было две, — ответил паж, — но когда послушник уходит из монастыря и не желает постригаться в монахи, с него снимают рясу и возвращают ему его прежнее платье. Точно так поступили со мной и мои господа: когда они кончали дела, ради которых приезжали ко двору, и возвращались во-свояси, им пезачем было больше чвашиться, и ливрею у меня отбিরали.

— Вот уж истинная *spilorceria*, * как говорят итальянцы, — сказал дон Кихот, — и все же вы должны считать великим для себя счастьем, что вам удалось покинуть столицу со столь похвальным намерением, ибо нет на свете дела более почетного и полезного, чем, во-первых, служить богу, а затем нашему законному господину — королю, особенно же на военной службе; на ней мы достигаем если не большего богатства, то во всяком случаи большей чести, чем занимаясь науками, как я уже неоднократно об этом говорил; и хотя науки чаще приводили к майоратам, чем военное дело, все же военные обладают каким-то неуловимым превосходством над учеными и вполне понятным блеском, ставящим их выше

всех других людей. И запомните хорошенько то, что я вам сейчас скажу, ибо оно послужит вам к великой пользе и утешению в испытаниях: отгоняйте от себя мысль о том, что вас могут постигнуть несчастья, ибо худшее из них всех есть смерть, а если смерть ваша будет доблестной, то вы должны почитать ее величайшим благом. У храброго римского императора Юлия Цезаря однажды спросили, какую смерть он считает лучшей. Он ответил, что лучше всего смерть неожиданная, внезапная и непредвиденная; и хотя он ответил как язычник, лишенный познания истинного бога, но все же он сказал хорошо, ибо показал себя выше человеческих слабостей; ведь если даже воин и будет убит в первой же стычке и схватке ядром из пушки или взорвавшейся миной, — не все ль равно? Умирать, так умирать, — и дело с концом. По словам Теренция, солдат, убитый на поле брани, достойнее солдата, который, будучи здоровым и невредимым, обращается в бегство; и тот воин достигнет славы, который повинется своим капитанам и прочим начальникам. И запомните, сын мой, что приличнее солдату пахнуть порохом, чем мускусом; и если старость застигнет вас за исполнением вашего благородного ремесла, она будет бессильна лишить вас чести, хотя бы вы были покрыты ранами, увечны и хромы; даже бедность не уменьшит вашей славы; тем более, что в настоящее время уже принимаются меры к тому, чтобы старые и увечные воины получали помощь и содержание; * ибо недостойно обращаться с ними как с неграми, с которыми обычно бывает, что, когда они состарятся и не в силах больше

служить, господа отпускают их и вознаграждают им свободу и, выгоняя их из дому, под видом вольноотпущенных, на самом деле отдают их в рабство голоду, от которого несчастных может освободить одна лишь смерть. Вот и все, что я хотел вам сказать, а теперь садитесь на круп моего коня: я доведу вас до постоялого двора, и там мы вместе поужинаем, а завтра вы поедете дальше, и да пошлет вам бог счастливый путь, как того заслуживает ваше благородное решение.

Паж отказался сесть на круп Росинанта, но согласился поужинать с нашими путниками на постоялом дворе; а в это время Санчо бормотал про себя:

— Господи помилуй моего господина! Ну, как это возможно, чтобы этот самый человек, который только что сказал такое множество прекрасных вещей, мог утверждать, что он видел всякие невозможные нелепости в пещере Монтесиноса? Ну да ладно, посмотрим, что будет.

К ночи подъехали они к постоялому двору, и Санчо обрадовался, увидев, что дон Кихот, вопреки своему обыкновению, принял его не за замок, а за обыкновенную гостиницу. Как только они вошли, рыцарь спросил хозяина, где тот человек, который вез пики и алебарды, и хозяин ответил, что он в конюшне расседлывает своего мула; студент и Санчо отвели туда же своих ослов, а Росинанту было предоставлено в конюшне самое лучшее место и самые лучшие ясли.

ГЛАВА XXV

в которой описывается происшествие с ослиным ревом и забавное приключение с кукольным театром, а также достопримечательные прорицания обезьяны-предсказательницы



он Кихот, как говорится, сидел на иглоках, так не терпелось ему услышать о чудесах, о которых обещал ему рассказать человек, везший оружие. Он отправился за ним на конюшню, где, по словам хозяина, тот должен был находиться, нашел его и попросил во что бы то ни стало рассказать ему не потом, а сейчас же, что он обещал рассказать.

Человек ответил:

— О таких чудесах нельзя рассказывать стоя и торопясь; позвольте мне, ваша милость, добрый сеньор, задать корм моему мулу, и тогда я вам расскажу удивительные вещи.

— Если дело только за этим, — сказал дон Кихот, — я вам сейчас подсоблю.

И тут же он принялся просеивать овес и чистить ясли; такое смирение заставило человека еще с большей готовностью исполнить его просьбу и

начать свой рассказ; он уселся на завалинке, дон Кихот — рядом с ним, и рассказчик, имея пред собой аудиторию и высокое собрание в составе — студента, пажа, Санчо Пансы и хозяйна гостиницы, начал так:

— Да будет известно вашим милостям, что в одной деревне, находящейся в четырех с половиной милях от этой гостиницы, случилось однажды, что у рехидора * пропал осел; подстроила эту штуку хитрая девчонка, его служанка (по об этом слишком долго рассказывать), и, несмотря на все старания этого рехидора, отыскать осла было невозможно. Прошло около двух недель со времени пропажи — так по крайней мере говорят и рассказывают в деревне, — и однажды, когда рехидор, потерявший осла, стоял на площади, вдруг подходит к нему другой рехидор из того же села и говорит: «Что вы мне подарите, кум? ваш осел объявился». — «Обещаю вам, кум, подарочек, и не плохой, — ответил тот, — только скажите, где же он объявился?» — «Сегодня утром в лесу, — ответил второй рехидор, — он был без седла и без всякой упряжи и выглядел таким тощим, что жалко было на него смотреть; я хотел погнать его перед собой и привести к вам, но он сделался таким диким и пугливым, что, когда я подошел к нему, он бросился бежать и скрылся в самой чаще леса; если хотите, пойдемте вместе в лес, только позвольте мне сперва отвести мою ослицу домой, — я сейчас вернусь». — «Вы доставите мне большое удовольствие, — сказал первый, — и я постараюсь отплатить вам тою же монетой». Вот каким манером и с какими подробностями рассказывают

об этом случае все те, кому он доподлинно известен. Итак, оба рехидора рука об руку отправились пешком в лес; и, подойдя к тому месту, где они надеялись найти осла, они увидели, что его там нет, и хотя они искали его повсюду кругом, но так и не нашли. Убедившись, что осел исчез, рехидор, видевший животное утром, сказал другому: «Послушайте, кум, мне пришла в голову одна мысль, с помощью которой мы без всякого сомнения отыщем беглеца, хотя бы находился он не в недрах леса, а в недрах самой земли; я замечательно умею реветь по-ослиному, и если вы тоже немного в этом сведущи, то считайте, что дело наше выиграно». — «Немного — говорите вы, кум? — ответил тот; — клянусь богом, я в этом искусственикому не уступлю, даже самому ослу». — «Мы сейчас это увидим, — сказал второй рехидор — а мысль моя такая: вы пойдете по лесу в одну сторону, а я в другую, и таким образом мы обойдем его кругом и, время от времени, будем реветь, то вы, то я; тогда осел наверное нас услышит и, если он только в лесу, ответит нам своим ревом». На это рехидор, потерявший осла, ответил: «Уверяю вас, кум, что мысль ваша превосходна и делает честь вашему, глубокому уму». Тут они расстались, как было условлено и, случайно вышло так, что они заревели почти в одно и то же время; каждый из них был обманут ревом другого, и они побежали навстречу друг другу, полагая, что осел уже нашелся; когда они встретились, первый рехидор сказал: «Нужели, кум, это ревел не мой осел?» — «Нет, — ответил тот, — это я ревел». — «Ну, признаюсь, — сказал первый, — что коль дело дойдет

до рева, то между вами, кум, и ослом не будет никакой разницы, ибо я в жизнь свою не видел и не слышал ничего более совершенного». — «Этих похвал и комплиментов, — ответил рехидор, придумавший план, — вы заслуживаете более, чем я, кум; клянусь богом, моим создателем, вы дадите два очка вперед самому искусному и опытному реву на свете: вы голос ведете высоко, держите такт и меру, быстро и часто меняете лады, одним словом, я признаю себя побежденным и вручаю вам пальму первенства и превосходства в этом редкостном искусстве». — «Знаете ли, кум, — ответил первый рехидор, — теперь я буду о себе лучшего мнения, чем был до сих пор, и буду думать, что и я кое-что умею, раз у меня открылся такой талант; конечно, я и раньше знал, что реву хорошо, но никто до сих пор не говорил мне, что я в этом деле достиг совершенства». — «А я скажу еще, — ответил второй: — сколько редких талантов погибает на свете и не находит себе применения, потому что люди не умеют ими пользоваться!» — «Но и наши таланты, — ответил первый, — могут пригодиться только в редких случаях, вот вроде теперешнего, да и то дай бог, чтобы они принесли нам пользу». После этой беседы они опять разошлись и принялись реветь, и каждый раз снова ошибались и бежали навстречу друг другу, пока наконец не решили реветь по два раза под ряд, чтобы было понятно, что режут они, а не осел. Так обошли они весь лес, на каждом шагу ревя дважды, а заблудившийся осел все не подавал признаков жизни. Да и как ему, несчастному и злополучному, было это сделать, когда в конце концов в самой чаше

леса они нашли его съеденным волками. Увидев это, хозяин осла сказал: «А я-то удивлялся, что он не отвечает. Не будь он мертв, он бы наверное заревел, услышав нас, — на то он и осел. Но все же я считаю, кум, что недаром потратил время на поиски осла, хоть и нашел его издохшим: зато я слышал, с каким изяществом вы ревете». «В добрый час, кум, — ответил другой, — хорошо поет аббат, но и монашек от него не отстанет». Разочарованные и охрипшие, вернулись они в деревню и там рассказали своим друзьям, соседям и знакомым обо всем, что с ними случилось, когда они искали осла, и каждый расписывал, как изящно ревет по-ослиному его кум; все об этом узнали, и молва распространилась по всей округе; а дьявол, который не дремлет и любит сеять и насаждать вражду и раздоры, где ему только вздумается, пуская по ветру сплетни и изпустяков создавая чуднща, наладил и подстроил следующее: стоит теперь людям из соседних деревень увидеть кого-нибудь из нашего села, как тотчас же принимаются они реветь, издеваясь, таким образом, над ревом наших рехидоров. Вмешались в это дело ребятишки, и попали мы в пасть и когти ко всем дьяволам ада; ослиный рев перекатывается из села в село, а наших односельчан ныне все так заприметили, что отличают их все равно, как негров среди белых; эта шутка превратилась в настоящее бедствие, и, уже много раз осмеянные, наши выходили на бой с пересмешниками, вооружившись и в полном боевом порядке; не удерживает их ни король, ни ружь, * ни страх, ни совесть. Кажется, что завтра или послезавтра мои односельчане — они-то и есть пострадавшие — со-

бираются в поход против жителей другой деревни, в двух милях от нашей, которые особенно нас преследуют. И, чтобы нам было чем вооружиться, я ездил закупать пики и алебарды, которые



вы видели. Вот об этих-то чудесах я и обещал вам рассказать. Если же это не кажется вам чудесным, то все равно я ничего больше не знаю.

Так закончил свою повесть добрый крестьянин. В эту минуту в дверях гостиницы появился человек, весь костюм которого — чулки, штаны и

куртка — был из верблюжьей шерсти, и громким голосом спросил:

— Сеньор хозяин, не найдется ли для меня местечка? Тут со мной приехала обезьяна-предсказательница и куклы, разыгрывающие освобождение Мелисендры.

— Чорт побери, — воскликнул хозяин, — да ведь это сеньор маэсе* Педро! Мы проведем славный вечерок.

Я забыл вам сказать, что левый глаз и почти половина щеки маэсе Педро были заклеены пластырем из зеленой тафты, так что можно было подумать, что вся левая сторона его лица поражена какой-то болезнью. Хозяин продолжал:

— Добро пожаловать, ваша милость, сеньор маэсе Педро. Да где же ваша обезьянка и театр? почему я их не вижу?

— Они сейчас подъедут, — отвечал человек в верблюжьей шерсти, — я поехал вперед, чтобы узнать, пельзя ли у вас переночевать.

— Да я бы отказал самому герцогу Альбе,* чтобы устроить ночлег сеньору маэсе Педро, — ответил хозяин. — Тащите сюда обезьяну и театр; у меня сегодня вечером есть постояльцы, которые охотно заплатят, чтобы посмотреть на ваши куклы и на фокусы обезьяны.

— Ну, в добрый час, — ответил человек с пластырем на глазу, — а я сбавлю цену, и с меня будет довольно, если мне оплатят мои расходы. Сейчас пойду и подвезу сюда тележку с обезьяной и театром.

С этими словами он вышел из гостиницы. А дон Кихот сейчас же спросил хозяина, кто такой маэсе Педро и какой у него театр и обезьяна?

На это хозяин ответил:

— Это знаменитый раешник, который уж давно развезжает по арагонской Ламанче и представляет, как доблестный Гайферос освободил Мелисендру; за многие годы в этих провинциях нашего королевства мы не видали представления более занимательного и лучше разыгранного. Возит он с собой также и обезьяну, редкостному искусству которой могут позавидовать не только обезьяны, но и люди: если вы ее о чем-нибудь спрашиваете, она внимательно вас выслушивает, потом быстро вскакивает на плечо своего хозяина и, наклонившись к его уху, шепчет ему ответ на ваш вопрос, а маэсе Педро повторяет его вслух; она гораздо более сведуща в том, что было, чем в том, что будет; и хотя она не всегда и не во всем попадает в точку, но в общем ошибается редко, так что все мы полагаем, что в нее вселился дьявол. Каждый вопрос стоит два реала, если обезьяна ответит, то есть, я хочу сказать, если ответит ее хозяин, после того как она пошепчет ему на ухо; по этой причине ходит слух, что маэсе Педро очень богат; он — *galantiuoto*,* как говорят в Италии, и *biop contrapio*,* живет себе припеваючи, говорит за шестерых, пьет за двенадцать, и все это за счет своего языка, обезьяны и театра.

Тут возвратился маэсе Педро с тележкой, в которой находился кукольный театр и сидела большая бесхвостая обезьяна, с задом как из войлока, но, впрочем, недурная собой. Увидев ее, дон Кихот тотчас же спросил:

— Скажите мне, ваша милость, сеньора предсказательница, *que pesce pigliato*?* Что с нами сбудется? Вот вам два реала.

И он велел Санчо передать их маэсе Педро, но тот ответил сам вместо обезьяны и сказал:

— Сеньор, этот зверь не отвечает и не сообщает ничего, что касается будущего; он знает кое-что о прошлом и немного о настоящем.

— Чорт побери! — воскликнул Санчо. — Да я и гроша не дам за то, чтобы мне гадали о моем прошлом; кому же лучше об этом знать, как не мне самому? А платить, чтобы мне сказали то, что я сам знаю, было бы величайшей глупостью. Но раз обезьяна знает о настоящем, так вот мои два реала, и пусть их обезьянья милость скажет мне, что в настоящую минуту подделывает моя жена Тереса Панса и чем она занимается.

Маэсе Педро не пожелал взять денег и сказал:

— Я не желаю получать вознаграждение до тех пор, пока я его не заработал.

Тут он дважды похлопал себя правой рукой по левому плечу, обезьяна мигом туда вскочила и, наклонив морду к уху своего хозяина, стала быстро-быстро пощелкивать зубами, — продолжалось это столько времени, сколько надобно, чтобы прочесть «верую», — затем она быстрым прыжком соскочила на землю, а маэсе Педро с величайшей поспешностью упал на колени перед дон Кихотом и, обнимая его ноги, сказал:

— Я обнимаю ваши ноги поистине так же, как я обнял бы Геркулесовы Столпы, о славный воскреситель преданного забвению странствующего рыцарства! О рыцарь дон Кихот Ламанчский, чьи доблести превосходят всякую хвалу, о утешение слабых, опора падающих, поддержка павших, посох и отрада всех несчастных!

Дон Кихот остолбенел, Санчо был ошеломлен, студент изумлен, паж поражен, крестьянин-ревун озадачен, хозяин смущен, одним словом, все слышавшие слова расшника были потрясены, а тот продолжал:

— А ты, добрый Санчо Панса, лучший оруженосец лучшего в мире рыцаря, радуйся, ибо твоя добрая жена Тереса жива и здорова и в настоящую минуту расчесывает фунт льна, а для большей точности я прибавлю, что слева от нее стоит кувшин с отбитым горлышком, а в нем порядочная толика вина, чтоб не скучно было работать.

— Этому мне не трудно поверить, — ответил Санчо, — она у меня баба блаженная, и, не будь она такой ревливой, я не променял бы ее даже на великаншу Андандону,* которая, по словам моего господина, была женщиной отменной и полезительной; моя Тереса любит сладко пожить, хотя бы даже за счет своих наследников.

— Теперь я могу сказать, — перебил его дон Кихот, — что тот, кто много читает и много странствует, много что видит и много что узнает. Говорю я это вот к чему: ну, кто бы мог меня когда-нибудь убедить в том, что на свете есть обезьяны-предсказательницы, как это я сейчас видел собственными глазами? Да, я тот самый дон Кихот Ламанчский, которого назвал этот славный зверь, хоть он и переусердствовал немного в похвалах мне; но, каковы бы ни были мои достоинства, я благодарю небо за то, что оно одарило меня мягкой и сострадательной душой, склонной всем оказывать добро и никому не делать зла.

— Если бы у меня были деньги, — сказал паж, — я спросил бы у сеньоры обезьяны, что ждет меня в предстоящих мне странствиях.

На это маэсе Педро, тем временем уже вставший с колен, ответил:

— Я уже говорил вам, что этот зверек не предсказывает будущего, а ежели бы предсказывал, так вам бы и деньги не понадобились, ибо я пожертвовал бы любой наживой на свете, лишь бы угодить присутствующему здесь среди нас сеньору дон Кихоту. Ну, а теперь, из уважения к нему и чтобы доставить ему удовольствие, я приготовлю свой театр и дам бесплатное представление для всех находящихся в гостинице.

Услышав это, хозяин необычайно обрадовался и указал, где удобнее расставить театр, что и было в одну минуту исполнено.

Дон Кихот однако был не очень доволен прорицаниями обезьяны, ибо ему казалось, что не подобает обезьяне отгадывать будущее или прошлое; и вот, пока маэсе Педро устраивал свой театр, дон Кихот отвел Санчо в уголок конюшни и, убедившись, что никто его не слышит, сказал ему:

— Послушай, Санчо, я хорошо присмотрелся к необычному искусству этой обезьяны и пришел к заключению, что несомненно ее хозяин, этот маэсе Педро, состоит в тесном и тайном договоре с дьяволом.

— Если он стоит в тесном дворе, да еще с дьяволом, — ответил Санчо, — то уж наверное там должно быть грязновато; только какая польза этому самому маэсе Педро шляться по таким дворам?

— Ты меня не понял, Санчо: я хотел сказать,

что он, должно быть, состоит в союзе с дьяволом, и тот сообщает обезьяне эту способность, а хозяин зарабатывает таким образом свой хлеб; и, когда он разбогатеет, ему придется отдать чорту свою душу, ибо враг рода человеческого только этого от людей и домогается. А думаю я это потому, что обезьяна гадает только о прошлом и настоящем, чортова же премудрость распространяется только на это: о будущем дьявол знает лишь по догадкам, да и то не всегда, ибо одному господу богу дано знать времена и сроки, и для него не существует ни прошлого, ни будущего, а только одно настоящее. А раз это так, то ясно, что обезьяна говорит по наущению дьявола, и меня удивляет, как на нее до сих пор не донесли святой инквизиции, не подвергли допросу и не выяснили в точности, какая сила внушает ей прорицания; я уверен, что эта обезьяна не астролог и что ни она, ни ее хозяин не умеют чертить так называемые *вещи фигуры*,* которые в настоящее время так распространены в Испании, что каждая кумушка, каждый паж или сапожник, починяющий старую обувь, воображают, будто составить гороскоп не труднее, чем поднять с пола бубнового валета, и своим враньем и невежеством губят, таким образом, изумительные истины этой науки. Я знаю одну даму, которая спросила у какого-то астролога, затяжелеет ли ее комнатная собачка и будут ли у нее щенки, а если будут, то сколько и какой масти. Сеньор прорицатель начертил гороскоп и ответил, что собачка затяжелеет и родит трех щенков, одного зеленого, другого красного, а третьего пестренького, но при том только условия, если сучка эта зач-

нет между одиннадцатью и двенадцатью часами пополудни или пополуночи и если это случится в понедельник или в субботу; а случилось так, что через два дня собачка околела от несварения желудка; между тем сеньор прорицатель прослыл в этом селении искуснейшим астрологом, каким званием обычно паделяются все или почти все предсказатели.

— И все-таки, — возразил Санчо, — мне бы хотелось, чтобы ваша милость велела маэсе Педро спросить у обезьяны, правда ли было все то, что с вашей милостью приключилось в пещере Монтесиноса, ибо я продолжаю думать, — не в обиду будь сказано вашей милости, — что все это было обманом и выдумкой или, в лучшем случае, сонным видением.

— Все возможно, — ответил дон Кихот, — но я все-таки последую твоему совету, хоть мне и придется из-за этого совершить маленький грех.

В это время появился маэсе Педро, который сказал дону Кихоту, что театр уже готов и что он просит его посмотреть на представление, ибо оно того заслуживает. Дон Кихот изложил ему свое желание и попросил немедленно спросить обезьяну, произошло ли то, что он видел в пещере Монтесиноса, на самом деле, или это ему только приснилось, ибо ему лично кажется, что тут сплелись и сон и явь. Маэсе Педро, не отвечая на это ни слова, привел обезьяну, посадил ее перед дон Кихотом и Санчо и сказал:

— Послушайте, сеньора обезьяна, этот рыцарь желает узнать, правда или ложь те события, которые приключились с ним в пещере, называемой «Монтесинос»?

Тут он подал свой привычный знак, обезьяна вскочила ему на левое плечо и, казалось, стала что-то шептать ему на ухо, после чего маэсе Педро сказал:

— Обезьяна говорит, что одна часть из того, что ваша милость видели и пережили в вышеупомянутой пещере, — ложь, а другая — правдоподобна; вот и все, что она об этом знает, и ничего другого на ваш вопрос она ответить не может; а если вашей милости угодно узнать поподробнее, то подождите до будущей пятницы, когда она будет отвечать на все вопросы, а теперь ее способность отгадывать кончилась и, как она сказала, не вернется к ней раньше пятницы.

— Ну, а что я говорил? — промолвил Санчо, — ведь я никак не мог поверить вашей милости, чтобы все, что, по вашим словам, случилось с вами, сеньор мой, в пещере, было правдой или хоть бы наполовину правдой?

— Будущее это покажет, Санчо, — ответил дон Кихот, — ибо время обнаруживает все и выводит на свет солнца все тайны, хотя бы они были скрыты в самых недрах земли; ну, а теперь довольно об этом и пойдём смотреть на представление доброго маэсе Педро; я уверен, что у него припасена какая-нибудь новинка.

— Какая-нибудь новинка! — вскричал маэсе Педро. — В моем театре имеется шестьдесят тысяч новинок; уверяю вас, ваша милость, сеньор мой дон Кихот, что мой театр — одна из самых достопримечательных вещей, существующих ныне на свете, и *operibus credite, et non verbis*. * Ну, а теперь живо за дело: час уже не ранний, а нам

предстоит еще много сделать, рассказать и показать.

Дон Кихот и Санчо послушались и отправились туда, где уже стоял театр; он был открыт и со всех сторон окружен зажженными восковыми свечами, при свете которых он выглядел пышным и блестящим. Марсе Педро уселся внутри балагана, так как он должен был двигать куклы, а перед сценой поместился мальчик, его помощник, чтобы разъяснять и толковать все тайны этого представления; в руке он держал палочку, которой указывал на выходящие фигуры.

Все находившиеся в гостинице частью уселись, частью остались стоять перед балаганом, причем дон Кихот, Санчо, паж и студент заняли лучшие места, и мальчик стал объяснять, а что именно — это услышит или увидит тот, кто выслушает мальчика, или прочтет следующую главу.

ГЛАВА XXVI

в которой продолжается забавное приключение с кукольным театром, а также рассказывается о других вещах, поистине превосходных



амокли все, тирийцы и троянцы,* — я хочу сказать, что все, смотревшие на сцену, с нетерпением ждали, когда мальчик начнет объяснять все эти чудеса, как вдруг за сценой послышались звуки множества литавр и труб и грохот пушек; шум этот вскоре прекратился, и тотчас же мальчик возвысил голос и начал так:

— Правдивая история, которую мы представим вашим милостям, взята слово в слово из французских хроник и испанских романсов, которые на устах у всех, не только взрослых, но и мальчишек, бегающих по улицам. В ней рассказывается о том, как сеньор, дон Гайферос, освободил свою супругу Мелисендру,* которая была в плену в Испании, и находилась во власти мавров, в городе Сансуэнье, — так в те времена назывался город Сарагоса;* посмотрите, сеньоры, вот и сам дон Гайферос играет в кости, как об этом поется:

Сидит, играет в кости дон Гайферос,

И позабыл совсем о Мелисендре.*

«А вот появляется другая фигура, с короной на голове и скипетром в руке — это император Карл Великий, которого считали отцом этой самой Мелисендры; видя, что зять его бездельничает и ни о чем не заботится, он сердится и бранит его; обратите внимание, с каким напором и жаром он его бранит; можно подумать, что он собирается своим скипетром дать ему с полдюжины затрепич, а некоторые авторы утверждают даже, что он действительно отщелкал его и притом здорово; он долго говорит зятю о том, что ему следует постараться освободить свою супругу, не то честь его подвергнется опасности, и в заключение прибавляет:

Я сказал; теперь подумай!*

«А ныне вы видите, ваши милости, что император поворачивает спину и оставляет сильно расстроенного дон Гайфероса, который, вне себя от гнева, швыряет далеко в сторону и доску и кости и велит немедленно подать ему оружие; он просит своего двоюродного брата, дон Роланда, одолжить ему меч Дуриндану, а дон Роланд не желает одолжить меч, вместо этого предлагал сопровождать его в этом трудном походе, но наш храбрец, рассердившись, не желает на это согласиться; более того, он заявляет, что он один сумеет выволить свою супругу, будь она заключена в самых глубоких недрах земли; с этими словами он уходит вооруженный, дабы немедленно же пуститься в путь.

«А теперь, сеньоры, обратите ваши взоры на виднеющуюся там башню, изображающую собой одну из башен сарагосского замка, ныне имену-

емого Альхаферия; дама, что появляется на балконе, одетая по-мавритански, — это несравненная Мелисендра, которая частенько выходит сюда, посмотреть на дорогу, ведущую во Францию: так, мечтая о Париже и о своем супруге, утешается она в своем пленении.

«А теперь поглядите на одну новую вещьцу, до сих пор еще, пожалуй, и невиданную. Обратите внимание на этого мавра, который, приложив палец к губам, потихоньку, осторожными шажками, сзади подходит к Мелисендре. Взгляните, как он целует ее прямо в губы и как поспешно она начинает отплевываться и вытирать рот белым рукавом своей рубашки, и как она жалуется и с горя рвет на себе свои прекрасные волосы, словно они нанесли ей это оскорбление. Посмотрите также на важного мавра, сидящего на этой галерее, — это король Сансуэньи, Марсиллий; он видел дерзость мавра и, хотя тот его родственник и приближенный, он немедленно велит его арестовать, дать ему двести плетей и провезти по тем улицам, по которым в таких случаях возят:

Впереди идут герольды,
Жезлоносцев сотня сзади.*

«Видите, вот они уже выходят, чтобы исполнить приговор, а между тем самое-то преступление случилось совсем недавно; это потому, что у мавров нет ни «вручения копии обвинения», ни «вызова на поверку с арестом», как у нас.

— Малыш, эй, малыш! — закричал тут дон Кихот: — излагайте вашу историю по прямой линии, и не залезайте вы в эти кривые и пере-

секающие, ибо для того, чтобы вывести истину на свет божий, потребны бывают и поверки и даже переповерки.

А марсе Педро из-за сдены тоже сказал:

— Мальчик, не болтай лишнего, а делай, как велит тебе этот сеньор, — так-то будет вернее; тяни все на один лад и не занимайся контрапунктом, а то, знаешь, где тонко, там и рвется.

— Слушаю, — ответил мальчик и продолжал: — Появляется фигура в гасконском плаще, верхом на лошади, — это сам дон Гайферос; а вот и супруга его, уже успокоенная и удовлетворенная тем, что оскорбивший ее влюбленный мавр наказан, выходит на вышку башни и беседует со своим супругом, принимая его за неизвестного путника и произнося те же самые слова и речи, которые приводятся в романсе, где говорится:

Быть во Франции придется, —

О Гайферосе узнай.

Я не стану их воспроизводить, ибо многословие обычно порождает скуку; достаточно вам видеть, как дон Гайферос распахивает плащ, а Мелисендра радостными жестами дает нам понять, что она его узнала; и вот мы видим, что она спускается с балкона, чтобы сесть на круп коня своего милого супруга. Но, о горе! подол ее юбки зацепился за железный край балкона, и она повисла в воздухе и не в состоянии коснуться земли. Но посмотрите, как милостивое небо выручает из величайших напастей: дон Гайферос приближается, схватывает ее, не думая о том, что ее роскошная юбка может порваться, усиленным руками заставляет спуститься на землю, одним махом са-

жает ее по-мужски на круп коня и велит держаться крепко, ухватившись за его плечи и скрестив руки у него на груди: он боится, чтобы она не свалилась, ибо сеньора Мелисендра не привыкла к подобным скачкам. Посмотрите, как ржет их конь в знак того, что он гордится, неся на спине столь доблестную и прекрасную ношу — своего господина и госпожу. Видите, как они делают поворот и выезжают из города, и радостные и веселые скачут по пути в Париж? Поезжай с миром, о несравненная чета совершенных любовников, возвращайся благополучно на свою желанную родину, и да не помешает судьба счастливому твоему путешествию! Дай бог, чтобы на радость вашим друзьям и родственникам, вы прожили в мире и согласии остающиеся вам дни, и да равняются они веку Нестора!

Тут маэре Педро во второй раз возвысил голос и сказал:

— Говори попроще, мальчик, не увлекайся, ибо всякая напыщенность нехороша.

Толкователь ничего ему не ответил и продолжал:

— Конечно, нашлись праздные соглядатаи, которые всегда все видят и которые заметили, как Мелисендра спустилась вниз и села на коня; они донесли об этом королю Марсилию, и тот велел немедленно забить тревогу; и посмотрите, как все это быстро происходит: вот уже на всех мечетях звонят в колокола, и весь город гудит от звона.

— Ну, уж это неверно! — вмешался тут дон Кихот. — По части колоколов маэре Педро несомненно промахнулся, ибо у мавров употребляются не колокола, а литавры и дульсайны, похожие на наши кларнеты; разговоры излишни: ударить в

колокола в Сансуэрнъе — величайшая нелепость.

Услышав эти слова, маэсе Педро перестал звонить и сказал:

— Сеньор дон Кихот, не обращайтесь внимания, ваша милость, на такие пустяки и не гоняйтесь за точностью, которой вы все равно не найдете. Ведь почти каждый день у нас представляют комедии, полные нелепостей и несуразностей, и, несмотря на это, они пользуются величайшим успехом, и зрители не только им хлопают, но восторгаются ими! Продолжай, мальчик, и пускай себе они говорят, что хотят; если даже у меня окажется столько нелепостей, сколько пылинок в солнечном луче, и то не беда: мне бы только набить себе карман.

— Да, вы правы, — ответил дон Кихот.

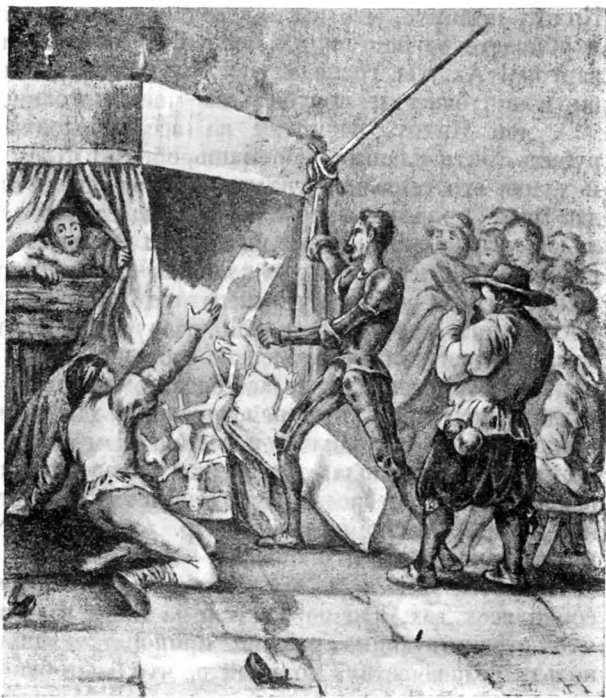
А мальчик продолжал:

— Посмотрите, какое множество блестящей конницы выступает из города в погоню за любовниками-христианами; гремят трубы, звучат дуть-сайны, грохочут литавры и барабаны. Я боюсь, что они догонят беглецов и приведут их обратно, прикрутив их к хвосту собственного коня, — какое это будет ужасное зрелище!

Увидев перед собой столько мавров и услышав такой грохот, дон Кихот подумал, что ему следовало бы помочь беглецам; он вскочил и громким голосом сказал:

— Я не допущу, покуда я жив, чтобы в моем присутствии была панесена такая обида знаменитому рыцарю и неустрашимому любовнику, дон Гайферосу. Стой, подлая сволочь! Не смей гнаться и догонять его, — не то тебе придется иметь дело со мной!

И, перейдя от слов к делу, он обнажил свой меч, одним скачком очутился у сцены и с невиданной яростью и быстротой, стал осыпая ударами



кукольных мавров; он валил с ног, снимал головы, калечил и рассекал; а один раз он ударил наотмашь с такой силой, что, если бы маэсе Педро не присел на корточки, не съезжился бы и не

притаился, дон Кихот снес бы ему голову с такой же легкостью, как если бы она была из марципана. Маэсе Педро закричал:

— Остановитесь, ваша милость, сеньор дон Кихот, поймите, что вы валите с ног, рассекаете и убиваете не настоящих мавров, а фигурки из картона! Ах, ты господи, горе мне бедному, ведь он изничтожит и погубит все мое достояние!

А дон Кихот, несмотря на все, продолжал рубить, бить плашмя, наотмашь, обеими руками, и удары его сыпались градом. Вы не успели бы два раза прочесть «верую», как весь театр валялся уже на земле, и все ниточки и куклы были разорваны и искрошены на кусочки, король Марсильи тяжело ранен, а у императора Карла Великого голова вместе с короной разрублена пополам. Все зрители и все высокое собрание пришли в смятение, обезьяна спаслась бегством на крышу, студент испугался, паж перетрусил, и даже сам Санчо Панса находился в величайшем страхе (когда буря прошла, он уверял, что никогда раньше не видел своего господина в таком бешеном гневе.) Разгромив весь театр, дон Кихот немного успокоился и произнес:

— Хотел бы я в эту минуту видеть перед собой всех тех, кто не верит и не хочет верить, что странствующие рыцари приносят великую пользу человечеству; подумайте, что было бы со славным дон Гайферосом и прекрасной Мелисендрой, если бы я случайно не оказался здесь? Наверное, в эту самую минуту, их настигли бы уже эти собаки и подвергли всяческому унижениям. Итак, да здравствует странствующее рыцарство превыше всего, ныне существующего на свете!

— В добрый час, пускай себе здравствует, — ответил жалобным голосом маэсе Педро, — а только мне пришла пора помирать; уж так я несчастен, что мне остается только сказать вместе с королем дон Родриго:

Был вчера страны владыкой,
А сегодня нет и башни,
Что своей назвать бы мог я.*

Не прошло полчаса и даже полминуты с той поры, когда я почитал себя властителем королей и императоров и когда мои конюшни, сундуки и мешки были наполнены огромным множеством коней и бесчисленными уборами, а теперь я разорен и унижен, беден и нищ, а что хуже всего, остался без обезьяны и прежде, чем я заполучу ее обратно, у меня, наверное, даже зубы обольются потом; и все это случилось из-за безрассудной ярости этого сеньора рыцаря, который, по слухам, защищает сирот, восстанавливает справедливость и совершает прочие милосердные дела; только на меня одного не распространилось его великодушие, за что следует вознести хвалу и благословение господу, сидящему на высоте престола своего. Видно, никому другому, как именно рыцарю Печального Образа, было суждено лишиться образа и подобия мой фигурки.

Слова маэсе Педро растрогали Санчо Пансу, и он сказал ему:

— Не плачь и не горюй, маэсе Педро, не надрывай моего сердца; знай, что мой господин дон Кихот — добрый и совестливый христианин, и если он поразмыслит над тем, какой тебе

причинен убыток, он сумеет и пожелает оплатить и вознаградить тебя, да еще с прибылью.

— Если бы сеньор дон Кихот заплатил мне за часть сломанных кукол, я был бы удовлетворен, и совесть его милости была бы спокойна, ибо не может спасти свою душу тот, кто удерживает чужое имущество против желанья владельца, ничего не возмещаая потерпевшему.

— Вы правы, — ответил дон Кихот, — но мне все-таки непонятно, каким образом я удерживаю ваше имущество, маэсе Педро.

— Как же нет? — воскликнул маэсе Педро. — А обломки, валяющиеся на этой твердой и бесплодной почве, какая сила искрошила и разбросала их, как не победоносная мощь вашей могучей длани? И кому, как не мне, принадлежали эти тела? И разве не ими я кормился?

— Теперь, — сказал тут дон Кихот, — я окончательно убеждаюсь в той мысли, которая уже не раз приходила мне в голову: преследующие меня волшебники сперва показывают мне людей в их естественном образе, а затем изменяют и превращают их, во что им вздумается. Сеньоры, слушающие меня, объявляю вам истинную правду, — все это представление показалось мне действительностью: Мелисендра — Мелисендрой; дон Гайферос — дон Гайферосом, Марсилиий — Марсилием, Карл Великий — Карлом Великим; вот почему воспыал я гневом и, чтобы выполнить свой долг странствующего рыцаря, решил выступить на помощь и защиту беглецам, и с этим благим намерением я сделал все, чему вы были свидетелями; если же все вышло наоборот, то виноват не я, а преследующие меня злодеи; и все же,

хотя моя ошибка произошла не от злого намерения, я сам себя присуждаю к уплате; скажите, маэсе Педро, сколько вы просите за поломашные куклы, — я готов заплатить вам немедленно доброй и имеющей хождение кастильской монетой.

Маэсе Педро поклонился и сказал:

— Меньшего я и не ждал от неслыханных христианских добродетелей доблестного дон Кихота Ламанчского, истинного помощника и защитника всех бедных и немощных бродяг: пусть сеньор хозяин и Санчо будут оценщиками и посредниками между вашей милостью и мной и решат, сколько стоят или, вернее, могли стоять поломашные куклы.

Хозяин и Санчо согласились на это предложение, и тогда маэсе Педро поднял с пола обезглавленного короля Марселия Сарагосского и сказал:

— Вы видите, что этого короля невозможно вернуть в его прежнее состояние; и потому я желал бы, если только вы не возражаете, получить за его смерть, кончину и уничтожение, четыре с половиной реала.

— Дальше, — ответил дон Кихот.

— За голову, рассеченную сверху донизу, — продолжал маэсе Педро, беря в руки разрубленного императора Карла Великого, справедливо будет потребовать пять с четвертью реалов.

— Это не дешево, — возразил Санчо.

— Но и не слишком дорого, — сказал хозяин: — в качестве посредника, я предлагаю, помириться на пяти реалах.

— Дайте ему все пять с четвертью, — вмешался дон Кихот, — четверть реала больше или меньше —

ИТОГ ЭТОГО ДОСТОПАМЯТНОГО БЕДСТВИЯ ОТ ЭТОГО МАЛО ИЗМЕНИТСЯ; И КОНЧАЙТЕ СКОРЕЙ, МАЭСЕ ПЕДРО, БЛИЗИТСЯ ВРЕМЯ УЖИНА, И Я НАЧИНАЮ ОЩУЩАТЬ НЕКОТОРЫЕ ПРИЗНАКИ ГОЛОДА.

— У ЭТОЙ КУКЛЫ ОТБИТ НОС И ПРОТКНУТ ОДИН ГЛАЗ, — ПРОДОЛЖАЛ МАЭСЕ ПЕДРО, ЭТО — ПРЕКРАСНАЯ МЕЛИСЕНДРА И ЗА НЕЕ Я ПРОШУ, ПО СОВЕСТИ, ДВА РЕАЛА И ДВЕНАДЦАТЬ МАРАВЕДИСОВ.

— ЧОРТ МЕНЯ ПОБЕРИ, — ВОСКЛИКНУЛ ДОН КИХОТ, — ЕСЛИ СЕЙЧАС МЕЛИСЕНДРА, СО СВОИМ СУПРУГОМ, УЖЕ НЕ ПЕРЕЕХАЛА ГРАНИЦУ ФРАНЦИИ, ИБО КОНЬ, НА КОТОРОМ ОНИ МЧАЛИСЬ, КАЗАЛОСЬ, НЕ БЕЖАЛ, А ЛЕТЕЛ! ПОЭТОМУ, ПРОШУ ВАС, НЕ ПРОДАВАТЬ МНЕ КОТА ЗА ЗАЙЦА И НЕ УВЕРЯТЬ, ЧТО ЭТА БЕЗНОСАЯ КУКЛА — МЕЛИСЕНДРА, В ТО ВРЕМЯ КАК НАСТОЯЩАЯ МЕЛИСЕНДРА, С БОЖЬЕЙ ПОМОЩЬЮ, ТЕШИТСЯ ТЕПЕРЬ ВО ВСЮ СО СВОИМ СУПРУГОМ ВО ФРАНЦИИ. КАЖДОМУ БОГ ВОЗДАЕТ ОТ ШЕДРОТ СВОИХ, СЕНЬОР МАЭСЕ ПЕДРО А ВСЕМ НАМ И ХОДИТЬ НАДО ПРЯМО И МЫСЛИТЬ ПРАВО. А ТЕПЕРЬ ПРОДОЛЖАЙТЕ.

МАЭСЕ ПЕДРО, УВИДЕВ, ЧТО ДОН КИХОТ СНОВА СВИХНУЛСЯ И ОСЕДАЛ СВОЕГО КОНЬКА, ПОБОЛСЯ, ЧТО ОН ОТ НЕГО УСКОЛЬЗНЕТ, И СКАЗАЛ:

— ЭТО, ДОЛЖНО БЫТЬ, НЕ МЕЛИСЕНДРА, А ОДНА ИЗ ЕЕ СЛУЖАНОК; ДАЙТЕ МНЕ ЗА НЕЕ ШЕСТЬДЕСЯТ МАРАВЕДИСОВ, И Я ОСТАНУСЬ ДОВОЛЕН РАСЧЕТОМ.

ТАКИМ ОБРАЗОМ ОЦЕНИЛ ОН ОДНУ ЗА ДРУГОЙ ВСЕ СЛОМАННЫЕ КУКЛЫ, А ЗАТЕМ СУДЬИ-ОЦЕНЩИКИ, К ОБЩЕМУ УДОВЛЕТВОРЕНИЮ ОБЕИХ СТОРОН, СОКРАТИЛИ ЕГО ТРЕБОВАНИЯ, ТАК ЧТО ОБЩАЯ СУММА УБЫТКОВ СОСТАВИЛА СОРОК РЕАЛОВ С ТРЕМЯ ЧЕТВЕРТЯМИ, КОТОРЫЕ САНЧО НЕМЕДЛЕННО ВЫТАЩИЛ ИЗ КОШЕЛЬКА; НО МАЭСЕ ПЕДРО ПОТРЕБОВАЛ СВЕРХ ТОГО, ЕЩЕ ДВА РЕАЛА ЗА ТРУД, КОТОРЫЙ БУДЕТ ЕМУ СТОИТЬ ПОИМКА ОБЕЗЬЯНЫ.

— Заплати ему, Санчо, — сказал дон Кихот: — если он и не поймает это животное, пусть хоть напьется, как животное; но я с удовольствием подарил бы двести реалов тому, кто бы мог мне с достоверностью сообщить, что сеньора донья Мелисендра и сеньор дон Гайферос находятся уже во Франции, в кругу своих родных.

— Никто бы не мог этого сделать лучше моей обезьяны, — сказал маэсе Педро, — только ее сейчас сам чорт не поймает; впрочем, я думаю, что голод и любовь к хозяину заставят ее ночью искать меня, так что на рассвете мы с ней снова увидимся.

В конце концов переполох с куклами кончился, и все сели ужинать в добром мире и согласии, причем угощал всех дон Кихот, щедрость которого не имела границ.

Крестьянин, везший пики и алебарды, уехал до рассвета; а когда рассвело, студент и паж пришли прощаться с дон Кихотом; первый возвращался к себе в деревню, а второй должен был продолжать свой путь, и дон Кихот дал ему на дорогу дюжину реалов. Маэсе Педро уклонился от всех дальнейших споров и разговоров с дон Кихотом, которого он хорошо знал; а потому поднялся он раньше солнца, подобрал обломки своего театра и обезьяну и отправился тоже искать по свету приключений. Хозяин, не знавший дон Кихота, был поражен его сумасбродством и щедростью. Наконец, Санчо по приказу своего господина очень хорошо ему заплатил, и часов в восемь утра, расставшись с хозяином, они покинули гостиницу и пустились в путь; а мы за ними пока не последуем, ибо нам надлежит рассказать о кое-каких обстоятельствах, нужных для ясного понимания этой знаменитой истории.

ГЛАВА XXVII

в которой объясняется, кто такие были маэсе Педро и его обезьяна, и рассказывается о неудачном для дон Кихота исходе приключения с ослиным ревом, кончившегося не так, как он хотел и рассчитывал



ид Амёт, автор этой великой истории, начинает эту главу следующими словами: «Клянусь как католик и христианин...», и по этому поводу его переводчик замечает, что если Сид Амёт клянётся как католик и христианин, хотя он и мавр (в чем нет никакого сомнения), то это означает вот что: подобно тому, как католик и христианин в тех случаях, когда он произносит клятву, клянётся и должен клясться правдиво и в каждом сказанном слове говорить правду, так и он, Сид Амёт, обещает,—как если бы он поклялся как католик и христианин,—говорить правду во всем, что касается дон Кихота и в частности того, кто такие были маэсе Педро и его обезьяна, поражавшая все окружающие села своими прориданиями. Далее он говорит, что все, читавшие первую часть этой истории, наверно помнят Хинеса де Пасамонте, которого вместе с другими каторжниками

дон Кихот отпустил на свободу в Сьерра-Морене, после чего эти злобные и злоправные люди плохо отблагодарили и еще хуже отплатили ему за это благодеяние. Именно этот самый Хинес де Парамонте, которого дон Кихот называл Хинесильо де Парамилья, впоследствии украл у Санчо Пансы его серого, и так как в первой части по вине наборщиков было пропущено объяснение того, как и когда он его украл, то многие читатели были склонны приписать беспамятности автора эту типографскую ошибку. Одним словом, Хинес выкрал серого из-под спящего Санчо Пансы, применив тот же способ и хитрость, которыми воспользовался в свое время Брунело, уведя коня из-под ног Сакрипанте при осаде Альбраки;* а потом, как мы уже рассказывали, Санчо вернул себе своего серого. Так вот, этот Хинес, боясь попасть в руки правосудия, которое разыскивало его, чтобы наказать за бесчисленные мошенничества и преступления, — а их было столько, что Хинесу понадобился большой том,* чтобы описать их, — этот Хинес решил перебраться в Арагонское королевство и заклеить себе левый глаз; там он принялся показывать кукол, так как по этой части, а также по части «ловкости рук» он был большим докой.

Затем у каких-то христиан, возвращавшихся из берберийского плена, ему случилось купить обезьяну и научить ее по определенному знаку вскакивать на плечо и шептать или как будто шептать ему на ухо. И вот, прежде чем явиться в какое-нибудь село с театром и обезьяной, он в ближайшем селении или вообще у осведомленных людей, наводил справки о том, какие любо-

пытные события произошли там и с кем именно. Запомнив все это хорошенько, он первым делом давал представление, разыгрывая то одну вещицу, то другую, причем все его пьесы были веселые, забавные и полюбившиеся публике, а после представления предлагал посмотреть на искусство его обезьяны и объявлял зрителям, что она отгадывает все прошлое и настоящее, но что мудрость ее не простирается на будущее. За ответы на каждый вопрос он взимал два реала, а иногда и ничего не брал, смотря по тому, кто были спрашивающие; когда же он заходил к людям, дела которых были ему известны, то, даже если они, жалея денег, не задавали ему вопросов, он сам подавал знак обезьяне и объявлял, что она сказала ему то-то и то-то, и с полной точностью рассказывал о случившемся. Всем этим он добился необыкновенной известности, и все так и бежали за ним. Он был очень смьшлен, и порой сам сочинял ответы, которые вполне подходили к вопросам, а так как никто у него не допытывался и не выспрашивал, каким образом отгадывает его обезьяна, то он и продолжал всех дурачить и туго набивать свою мошну. И вот, войдя в гостиницу, он тотчас же узнал дон Кихота и Санчо Пансу, а узнав, с легкостью мог повергнуть в изумление и дон Кихота, и Санчо Пансу, и всех остальных; но эта проделка обошлась бы ему дорого, если бы дон Кихот, рубя голову королю Марсилию и истребляя всю его конницу, махнул мечом немного пониже, — но об этом мы уже рассказывали в предыдущей главе. Вот и все, что мы хотели сообщить о маэре Педро и его обезьяне; а теперь вернемся к дон Кихоту Ламанчскому.

Выехав из гостиницы, он решил посетить сперва берега реки Эбро и все окрестности, а уж потом ехать в город Сарагосу, так как оставалось еще порядочно времени до начала турнира. С этим намерением он пустился в путь и ехал два дня без всяких происшествий, заслуживающих быть отмеченными; на третий же день, поднимаясь на какой-то холм, он услышал громкие звуки труб, барабанов и аркебузные выстрелы. Сначала он подумал, что вдали проходит отряд солдат, и, чтобы увидеть их, прищпорил Росинанта и въехал на холм; когда же он оказался на вершине, то обнаружил, что у подножия холма толпится более двух сот, на его взгляд, человек, вооруженных всякого рода оружием: короткими копьями, арбалетами, рогатинами, алебардами и пиками; некоторые из них держали в руках аркебузы, многие имели круглые щиты. Он спустился с холма и, приблизившись к отряду, ясно разглядел знамена, различил их цвета и разобрал стоявшие на них эмблемы, одна из которых, изображенная на белом атласном знамени или флаге, привлекла его особое внимание. На нем был очень натурально представлен маленький сардинский ослик с поднятой головой, раскрытой пастью и высунутым языком — поза и состояние, ясно показывавшие, что он ревет; а вокруг большими буквами были написаны следующие два стиха:

Да, ослами не без цели
Два алькальда заревели.

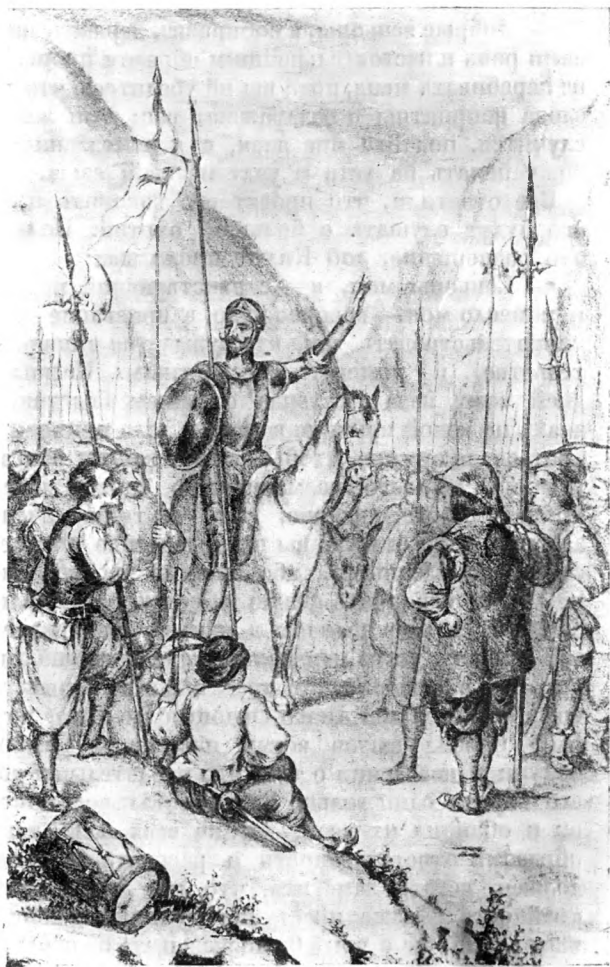
По этому признаку дон Кихот заключил, что все эти люди — из деревни ревунов, и сообщил об этом Санчо, растолковав ему то, что было

написано на знамени. Он прибавил также, что крестьянин, рассказывавший ему об этом происшествии, должно быть, ошибся, сказав, что ревели по-ослиному два рехидора, между тем как по стихам на знамени выходило, что ревели алькальды.* На это Санчо Панса ответил:

— Сеньор, к этому не стоит придирааться, ибо возможно, что рехидоры, которые ревели по-ослиному, с течением времени стали алькальдами своего села, а потому их можно именовать обоими титулами; тем более, что для правдивости этой истории безразлично, кто ревел — рехидоры или алькальды, а важно только, что они во всяком случае ревели, а зареветь по-ослиному столь же в пору алькальду, как и рехидору.

Словом, они выяснили и узнали, что село, подвергавшееся насмешкам, вышло на бой с другим селом, которое в своих насмешках перешло границы, приличествующие добрым соседям.

Дон Кихот подъехал к крестьянам, к немалому огорчению Санчо, который терпеть не мог попадать в подобные переделки. Крестьяне окружили его со всех сторон, полагая, что он один из их сторонников. Дон Кихот, подняв забрало, с благородным и отважным видом подъехал к знамени с изображением осла, а вокруг него расположились все главные предводители войска, посматривая на него с тем обычным удивлением, с каким глядели на него все, в первый раз его встречавшие люди. Дон Кихот, видя, что они внимательно на него смотрят и что никто из них с ним не заговаривает и ни о чем не спрашивает, решил воспользоваться этим молчанием и, возвысив голос, начал так:



— Добрые сеньоры, я собираюсь держать перед вами речь и настоятельнейшим образом прошу вас не перебивать меня, пока вы не убедитесь, что мои слова неприятны и раздражают вас; если же это случится, подайте мне знак, и я немедленно наложу печать на уста и узду на свой язык.

Все ответили, что просят его говорить и что его будут слушать с большой охотой. Получив это разрешение, дон Кихот продолжал:

— Сеньоры мои, я — странствующий рыцарь, и ремесло мое — военное дело, а призвание — покровительствовать тем, кто нуждается в покровительстве, и помогать несчастным. Несколько дней тому назад я узнал о вашем бедствии и знаю, по какой причине вам то и дело приходится браться за оружие, чтобы мстить вашим врагам; я много и долго размышлял о вашем деле и пришел к заключению, что, с точки зрения законов о поединках, вы несправедливо считаете себя оскорбленными, ибо никогда частное лицо не может оскорбить целую общину, разве только обвинив ее всю целиком в измене, как бывает в тех случаях, когда неизвестно, какое именно лицо виновно в совершенном предательстве. Примером тому является дон Диэго Ордоньес де Лара, который бросил вызов всему населению Саморы, будучи в неведении о том, что предательски убил его короля один только Вельидо Дольфос, почему он и обвинил их всех, — и на всех пала, таким образом, ответственность и расплата за обиду; должен кстати заметить, что дон Диэго впал в крайность и даже преступил границы законного вызова, ибо не к чему было вызывать на поединок покойников, воды, хлеба, еще не родившихся

младенцев и прочую мелочь, о которой говорится в его вызове; но что поделаешь, ведь «коли даст рукам волю мама, не удержит ее ни папа, ни дядя». Итак, если вы согласны, что одно лицо не может оскорбить целое королевство, провинцию, город, государство или село, то ясно, что вам незачем мстить за содержащееся в вызове оскорбление, ибо оскорбления этого просто не существует. Хорошее вышло бы дело, если бы жители села Ла Релоха вздумали каждую минуту тузить тех, кто их дразнит, а потом тоже самое учинили бы всевозможные «кастрюльники», «баклажанники», «китоловы», «мыловары» и прочие люди, клички и прозвища которых так и вертятся на языке у мальчишек и другого мелкого люда! Да недурно бы вышло, если бы эти почтенные граждане только и делали, что обижались да мстили обидчикам, а шпаги их ерзали в ножах по малейшему поводу, словно трубки в тромбоне! Нет, нет, упаси и помилуй, боже! Благоразумные мужи и благоустроенные государства берутся за оружие, обнажают мечи и рискуют собою, своею жизнью и имуществом только в четырех случаях: во-первых, защищая нашу католическую веру; во-вторых, защищая собственную жизнь, ибо так велит и божеское и естественное право; в-третьих, защищая честь, семью и имущество; в-четвертых, служба королю на справедливой войне; к этому, если угодно, можно прибавить еще пятый случай (его можно считать и вторым): защита собственной родины. К этим пяти основным случаям можно присовокупить несколько других, не менее справедливых и разумных, при которых мы обязаны браться за

оружие; но вооружаться из-за пустяков, из-за шуток и насмешек, которые вовсе не обидны, могут только люди, лишённые всякого здравого смысла; тем более, что искать несправедливого отмщения (а справедливой мести вообще не существует) — значит прямо идти против исповедуемой нами святой веры, которая велит нам делать добро врагам и любить ненавидящих нас; многим кажется, что исполнение этой заповеди довольно затруднительно, но это только потому, что они более заботятся о мирских делах, чем о боге, и живут более во плоти, чем в духе; ибо Иисус Христос, — истинный бог и истинный человек, который никогда не лгал, не мог и не может лгать, — давая нам свой закон, сказал, что иго его — благо и бремя его легко; следовательно, он не мог возложить на нас дела, которые невозможно исполнить. А потому, мои сеньоры, по всем законам божеским и человеческим, ваши милости, должны успокоиться.

— Чорт меня побери, — сказал тут про себя Санчо Панса, — если мой господин не теолог; во всяком случае он похож на него не меньше, чем одно яйцо похоже на другое.

А дон Кихот немножко передохнул и, видя, что все продолжают слушать его в полном молчании, собрался было продолжать свою речь, и он наверное ее продолжил бы, если бы ему не помешал умник Санчо, который, увидев, что господин его остановился, не выдержал и заговорил:

— Господин мой дон Кихот Ламанчский называвшийся некогда рыцарем Печального Образа, а ныне именующий себя рыцарем Львов, — весьма рассудительный идалго, знающий и латынь и

свой язык не хуже любого бакалавра; во всем, что он говорит и советует, он действует как добрый воин и знает как свои пять пальцев все законы и правила так называемых поединков, а посему вам ничего другого не остается, как последовать его совету, и если вы ошибетесь, то пускай в ответе буду я; тем более, что вы сейчас слышали: глупо обижаться на один только звук простого ослиного рева и я кстати припоминаю, что когда я был мальчуганом, то ревел ослом, сколько и когда мне хотелось, и, хотя никто меня об этом не просил, ревел я так искусно и ловко, что в ответ на мой рев начинали реветь все ослы в деревне, и это ничуть не мешало мне оставаться сыном своих родителей, людей почтеннейших; и хотя моему умению завидовало немало щеголеватых парней у нас в деревне, но мне на это было в высокой степени наплевать; а если вы хотите убедиться в том, что я говорю правду, то подождите и послушайте, ибо научиться реветь по-ослиному все равно, что научиться плавать: кто раз эту науку постиг, тот никогда ее больше не забудет.

И тотчас же приставив руку к носу, он заревел с такой силой, что по всем соседним долинам прокатилось эхо. Один из крестьян, стоявших около Санчо, подумав, что над ними издеваются, поднял дубинку, которую держал в руках, и нанес ему такой удар, что Санчо Панса не мог удержаться на ногах и повалился на землю. Дон Кихот, увидев Санчо в столь бедственном положении, с копьём в руке устремился на обидчика, но целая толпа крестьян бросилась между ними, и он не смог отомстить за Санчо; тогда, увидев,

что камни сыплются на него градом и что ему грозят тысячи заряженных арбалетов и не меньшее число аркебуз, он повернул Росинанта и полным галопом, на какой только был способен его конь, ускакал прочь, от всего сердца поручив себя воле божьей и моля спасти его от опасности, ибо на каждом шагу он боялся, что какая-нибудь пуля попадет ему в спину и выйдет через грудь; и каждую минуту он задерживал дыхание, прислушиваясь, пролетела ли она мимо. Но вооруженные крестьяне удовольствовались зрелищем его бегства и не стреляли ему вслед. А как только Санчо пришел в себя, его взвалили на осла и разрешили последовать за своим господином; хотя оруженосец и не был в силах править серым, тот сам пошелся по следам Росинанта, без которого не мог прожить и минуты. Дон Кихот, отъехав на порядочное расстояние, повернул голову и увидел Санчо; убедившись, что никто за ним не гонится, он стал его поджидать. А воинственные крестьяне просидели в поле до ночи, и так как их враги не пожелали принять боя, то они вернулись к себе в деревню, веселые и довольные; и если бы им был ведом обычай древних греков, они наверное бы на этом месте воздвигли трофей.

ГЛАВА XXVIII

о событиях, которые, по словам Бененхем, станут известны читателю, если он прочтает о них внимательно



сли храбрец обращается в бегство, то это означает, что он обнаружил численное превосходство врага, ибо благоразумным мужам надлежит беречь себя для более важных случаев. Эта истина оправдалась на примере дон Кихота, который, представив крестьянам пенствовать и их разгневанному отряду — исполнять свои злые замыслы, дал стрелача и, позабыв о Санчо и грозившей тому гибели, отъехал на расстояние, которое казалось ему достаточным для его собственной безопасности. А Санчо следовал за ним, лежа поперек седла, как мы уже об этом говорили. Наконец он доехал до своего господина, находясь уже в полном сознании, а доехав, свалился с серого к ногам Росинанта: он был избит, исколочен и еле дышал. Дон Кихот спешился, чтобы осмотреть его раны, но, найдя его здра-

вым, и невредимым с ног до головы, закричал довольно гневно:

— В неподходящее время вздумалось зареветь вам, Санчо! И почему вы решили, что в доме повешенного необходимо говорить о веревке? К вашей ослиной музыке удары дубинкой оказались самым подходящим аккомпанементом. И благодарите бога, Санчо, что вас перекрестили только палкой и не сделали над вами саблей *per signum crucis*. *

— Я не в состоянии отвечать, — сказал Санчо, — ибо мне кажется, что я говорю не языком, а спиной. Сядем же верхом и уедем отсюда. Реветь по-ослиному я уж больше не стану, но не стану также молчать о том, что странствующие рыцари удирают и оставляют во власти неприятеля своих добрых оруженосцев измолотых дубинками, как зерно или лакрица.

— Отступление не есть бегство, — ответил дон Кихот, — ибо следует тебе знать, Санчо, что храбрость, не покоящаяся на основе благоразумия, именуется безрассудством, а подвиги безрассудного следует приписывать скорее удаче, чем мужеству. Итак, я признаюсь в своем отступлении, но не в бегстве, и в этом я следовал примеру множества храбрецов, которые берегли себя для лучших времен; романы полны таких примеров, но я не стану сейчас их пересказывать, ибо тебе это не принесет пользы, а мне удовольствия.

Тем временем Санчо с помощью дон Кихота взобрался уже на осла, дон Кихот сел на Росинанта, и они поехали потихоньку в сторону рощи, которая виднелась в расстоянии четверти мили

оттуда. От времени до времени Санчо испускал глубочайшие «охи», «ахи» и скорбные стоны; на вопрос дон Кихота, по какой причине он так горько жалуется, Санчо отвечал, что у него такая боль от самого кончика позвоночника до затылка, что он едва не теряет сознания.

— Причина этой боли, без всякого сомнения, такова, — сказал дон Кихот: — дубинка, которой тебя били, была объемистая и длинная, поэтому она легко прошла по всем участкам спины, которые у тебя болят; захвати она пошире, и боль оказалась бы еще сильнее.

— Господи помилуй! — воскликнул Санчо. — Ваша милость разрешила великое сомнение и объяснила мне его в самых ясных выражениях! Чорт возьми, да неужто причина боли так таинственна, что вам понадобилось объяснить мне, что болят у меня все те места, по которым погуляла дубинка? Если бы у меня болела лодыжка, так еще, может быть, я бы стал гадать, почему это она болит; но, чтобы догадаться, что у меня болят избитые места, для этого даже не требуется быть пророком. Поистине, сеньор хозяин, чужая голова не болит; и с каждым днем я все яснее убеждаюсь, что от странствований с вами, ваша милость, большой пользы мне ждать не приходится; на этот раз вы позволили избить меня дубинками, а в другой раз, и, пожалуй, делую сотню раз, может случиться с нами новое подкидывашье на одеяле или другие еще детские игрушки; сегодня мне пришлось подставлять только спину, а завтра, чего доброго, и глаза подставишь. И разве не лучше было бы мне (но ведь я — варвар, и во всю свою жизнь

ничего путного не сделаю), разве не лучше, повторяю, было бы мне вернуться восвояси, к жене и деткам, кормить их и растить, если богу будет угодно послать мне достаток, а не бродить за вашей милостью по непроезженным дорогам и по непротоптанным путям и тропинкам, плохо пивши и еще хуже евши. А насчет сна — лучше и не говорить! — Угодно вам соснуть, братец оруженосец? Отмерьте себе семь пядей земли, а желаете побольше — вот вам еще семь, берите, сколько вашей душе угодно, и располагайтесь со всеми удобствами. — Чтоб он сгорел на костре и рассыпался пеплом, кто первый затеял все это странствующее рыцарство, а особенно тот, кто первый согласился поступить в оруженосцы к таким болванам, какими, наверно, были все странствующие рыцари прошлых веков. О теперешних я не говорю, потому что я их уважаю, да и ваша милость принадлежит к их числу, а мне известно, что по части ума и языка ваша милость самому дьяволу может дать два очка вперед.

— Я готов побиться с вами об заклад, Санчо, — сказал дон Кихот, — что теперь, когда вы болтаете без всякой помехи, у вас нигде, во всем теле, ничего не болит. Говорите, любезный, все, что вам взбредет в голову и подвернется на язык, и, лишь бы только у вас ничего не болело, а я с удовольствием стерплю досаду, которую вызывают во мне ваши дерзости; если же вам так хочется вернуться домой к жене и детям, то упаси меня боже вам в этом препятствовать; у вас мои деньги; сосчитайте, сколько прошло дней со времени нашего третьего выезда из деревни, смекните, сколько вы можете и должны заработать в месяц, и заплатите себе сами.

— Когда я служил Томе Карраско, отцу бакалавра Самсона Карраско, которого ваша милость хорошо знает, — ответил Санчо, — я зарабатывал в месяц два дуката, не считая харчей; я не знаю, сколько мне попросить с вашей милости; знаю только, что у оруженосца странствующего рыцаря больше работы, чем у батрака на службе у крестьянина: служба у крестьянина, мы, правда, много работаем днем, много тужимся, но зато вечером едим похлебку и ложимся спать в постель, а с тех пор как я служу вашей милости, я и в глаза не видел постели. Если не считать нескольких дней, проведенных в доме дон Диэго де Миранда, сладких яств от пены, снятой с котлов Камачо, и того времени, когда я ел, пил и спал в доме Базилио, — все остальное время я спал на твердой земле под открытым небом, переносил, как говорится, бури и непогоды, питался крохами сыра и хлебными корками и пил воду из ручьев и источников, которые попадались нам в этих трудоблах.

— Признаю, — сказал дон Кихот, — что все, вами сказанное, Санчо, истинная правда. Сколько же, по вашему мнению, я должен прибавить к тому, что вам платил Томе Карраско?

— По моему мнению, — ответил Санчо, — если ваша милость накинёт по два реала в месяц, этого будет вполне достаточно. Но это касается только жалованья за службу; а ведь сверх того ваша милость дала мне слово и обещание подарить мне губернаторство на каком-нибудь острове, — так вот за это по справедливости следовало бы прибавить еще по шести реалов, а всего круглым счетом тридцать реалов.

— Отлично, — сказал дон Кихот, — мы вы-

ехали из деревни ровно двадцать пять дней тому назад, — так вот, согласно расчету, который вы только что произвели, Санчо, исчислите всю сумму, выясните, сколько я вам должен, и заплатите себе сами, как я уж вам сказал.

— Ах господи помилуй! — воскликнул Санчо. — Ваша милость в своих расчетах допускает большую ошибку, потому что уплату за обещание подарить мне остров пужно считать, начиная с того времени, когда ваша милость мне это обещала и по сегодняшний день включительно.

— А сколько же времени прошло с тех пор, как я вам это пообещал? — спросил дон Кихот.

— Если память мне не изменяет, — ответил Санчо, — то прошло, пожалуй, больше двадцати лет — дня на три больше или меньше.

Дон Кихот хлопнул себя по лбу, от всей души расхохотался и сказал:

— Да ведь все наши странствования по Сьерра-Морене и все наши походы вообще продолжались не больше двух месяцев, а ты говоришь, Санчо, что я обещал тебе остров двадцать лет тому назад! Теперь я вижу, что ты хочешь забрать себе на жалованье все деньги, которые я отдал тебе на хранение; если это так и если тебе этого хочется, я отдаю тебе их немедленно, и дай тебе бог удачи; чтобы избавиться от такого скверного оруженосца, я с радостью готов обеднеть и остаться без гроша в кармане. Но ответь мне, оруженосец, нарушивший законы, предписанные твоему званию страпствующим рыцарством, где ты видел или читал, чтобы оруженосец страпствующего рыцаря, служа своему господину, вдруг заявил бы ему: «А какое месяч-

ное жалованье назначите вы мне, за службу?» Окунись, окунись, разбойник, трус, чудовище, окунись, говорю я тебе, в *mare magnum* * рыцарских романов; и если ты найдешь в них хоть одного оруженосца, который сказал бы или даже подумал то, что ты только что сказал, то я позволяю тебе вырезать мне эти слова на лбу и в придачу влешить мне несколько здоровых щелчков. Подтяни-ка узду или поводья своего серого и возвращайся к себе домой: ты ни одного шагу больше со мной не проедешь. Вот благодарность за мой хлеб! Вот кому я давал обещания! О человек, более похожий на животное! Как, в то самое время, когда я рассчитывал вывести тебя в люди, чтобы наперекор твоей жене все величали тебя сеньором, ты меня покидаешь? Ты уходишь в ту самую минуту, когда у меня созрело твердое и крепкое решение сделать тебя властелином лучшего на свете острова? Словом ты был прав, когда сказал однажды: ослы медом не кормят. Ты осел и будешь ослом, и так и останешься ослом до конца своей жизни, ибо я увверен, что жизнь твоя достигнет своей предельной черты раньше, чем ты поймешь и догадаешься, что ты животное.

В то время, как дон Кихот поносил Санчо, тот пристально смотрел на него и почувствовал, наконец, такие угрызения совести, что слезы выступили у него на глазах, и он заговорил жалобным и слабым голосом:

— Сеньор мой, я сознаюсь, что мне недостает только хвоста, а не то бы я был полным ослом; если хотите, ваша милость, прицепите мне хвост,— я буду считать, что он на своем месте, и буду

работать на вашу милость, как осел, во все дни моей жизни. Простите меня, ваша милость, жальтесь над моей несмышленостью, примите во внимание, что знаю я мало, а если говорю много, то это не по злобе, а по слабости; а кто грешит и исправляется, тот с богом примиряется.

— Я бы удивился, Санчо, если бы ты не вставил в свою речь какой-нибудь поговорки. Ну, ладно, если ты обещаешь исправиться, я прощаю тебя; но смотри, вперед не заботься столько о своей выгоде. Постарайся быть мужественным, крепись и бодрись, надеясь на исполнение моих обещаний; правда, оно запаздывает, но это не значит, что оно невозможно.

Санчо ответил, что он будет слушаться и постарается извлечь силы из своей слабости. После этого они въехали в рошу и дон Кихот расположился у подножия вяза, а Санчо у подножия бука, — ибо известно, что эти деревья, равно как и другие, им подобные, всегда обладают ногами и никогда не имеют рук. Санчо провел мучительную ночь, потому что от ночного ветерка синяки его ныли сильнее. А дон Кихот предался своим обычным мечтаниям; все же под конец глаза их сомкнулись от сна, а на рассвете они продолжали свой путь, направляясь к берегам знаменитого Эбро, и там случилось с ними то, о чем будет рассказано в следующей главе.

ГЛАВА XXIX

о славном приключении с заколдованной лодкой



ыехав из рощи, дон Кихот и Санчо Панса через два дня мерным шагом добрались до реки Эбро, и вид ее доставил дону Кихоту большое удовольствие, ибо он смотрел и созерцал ее прелестные берега, светлые струи и мирное течение ее обильных вод; это отрадное зрелище пробудило в его памяти множество любовных мыслей; но особенно ясно припомнилось ему все то, что он видел в пещере Монтесиноса; и хотя обезьяна маэсе Педро сказала ему, что часть этих видений правда, а другая часть — ложь, он все же был более склонен считать их не ложью, а правдой, в противоположность Санчо, который утверждал, что все это — одна сплошная выдумка. Проезжая вдоль реки, они вдруг заметили небольшую лодочку без весел и прочих снастей, которая была привязана к стволу дерева, находящегося на берегу. Дон Кихот огляделся по сторонам, и, не видя нигде никого, соскочил, не долго думая, с Росинанта и велел Санчо спрыгнуть с серого и крепко привязать обоих животных вместе к стволу

тополя или ивы, находившейся поблизости. Санчо спросил, по какой причине он так неожиданно спешился и приказывает привязать лошадь и осла? Дон Кихот ответил:

— Знай, Санчо, что эта лодка, причалившая к берегу, зовет меня и приглашает в нее сесть,— ничего другого быть не может, — чтобы отправиться на помощь к какому-нибудь рыцарю или другой знатной особе, терпящей бедствие и подвергающейся большой опасности; ибо так всегда описывается в рыцарских романах и так всегда поступают действующие и выступающие в них волшебники: когда какой-нибудь рыцарь попадает в опасное положение и спасти его может только другой рыцарь, но они находятся друг от друга на расстоянии двух или трех тысяч миль, а то и больше, тогда волшебники унесут второго рыцаря на облаке или посылают за ним ладью, и не успеет он моргнуть глазом, как оказывается уже перенесенным либо по воздуху, либо по морю в то самое место, где его дожидается тот, кто нуждается в его помощи; итак, Санчо, эта лодка послана за мной для этой самой цели: все это такая же правда, как то, что сейчас день; и вот пока еще светло, привяжи вместе серого к Росинанта, и да ведет нас рука божья; я сяду в лодку, хотя бы даже меня отговаривали от этого босые монахи.

— Раз это так, — ответил Санчо, — и раз ваша милость намерена на каждом шагу проделывать то, что я бы назвал сумасбродством, то мне остается только повиноваться и склонить голову, согласно пословице: «исполняй приказ своего господина и садись с ним за стол»; и все же, для

очистки совести, я хотел бы доложить вашей милости, что лодка эта не кажется мне заколдованной, — просто она принадлежит каким-нибудь рыбакам, ибо известно, что в этой реке водятся лучшие на свете «бешенки.»

Говоря это, Санчо привязывал животных, с величайшим душевным прискорбием оставляя их под защитой и покровительством волшебников. Дон Кихот заявил, что ему не стоит печалиться, расставаясь с ними, ибо тот, кто перенесет их сампх в эти лонгинквальные страны, позаботится и об их животных.

— Не понимаю, что значит *логикальные*, — сказал Санчо, — в жизнь я такого слова не слыхивал.

— *Лонгинквальные* значит — отдаленнейшие ответил дон Кихот, — и не удивительно, что ты этого слова не понял: ты ведь не обязан знать латынь; а есть немало людей, утверждающих, что понимают по-латыни, а на самом деле ничего в ней не смыслят.

— Ну, животные привязаны, — сказал Санчо. — Что нам сейчас делать?

— Что делать? — ответил дон Кихот. — Перекреститься и отдать якорь, то есть сесть в лодку и перерезать причал, привязывающий ее к берегу.

Тут он прыгнул в лодку, Санчо последовал за ним, они перерезали бечевку, и лодка стала медленно удаляться от берега; когда Санчо увидел себя в нескольких варах * от земли, он стал дрожать, боясь неминуемой гибели; но еще больше он огорчился, услышав рев своего осла и увидев, что Росинант надрывается, сиюсья развязать веревку; он сказал своему господину:

— Серый ревет, жалуясь, что его покншули, а Росинант старается вырваться на свободу и броситься за нами вдогонку. О, дражайшие друзья, оставайтесь в мире, и дай бог, чтобы мы поскорей поняли, что покидать вас было безумием, и вернулись бы к вам снова!

Тут он принялся так горько плакать, что дон Кихот рассердился и гневно сказал:

— Чего ты боишься, трусливое создание? О чем плачешь, сердце из коровьего масла? Кто преследует тебя, кто за тобой гонится, крысиная ты душа? Чего тебе не хватает, в чем ты нуждаешься, покоясь на лоне изобилия? Разве ты идешь пеший и босый по Рифейским горам, * а не сидишь на скамеечке, как эрцгерцог, и не скользишь по мирному течению этой чудесной реки, которая в скором времени вынесет нас в широкое море? Но мы, должно быть, уже в море и промчались не менее семисот или восьмисот миль; и будь у меня с собой астролябия, * которой я бы мог измерить высоту полюса, я бы сказал тебе точно, сколько миль мы проехали; впрочем, — или я ни бельмеса в этом не смыслю, — мы, наверное, уже пересекли или скоро пересечем линию равноденствия, которая разделяет и перерезывает землю на равном расстоянии от противостоящих полюсов.

— А когда мы достигнем линии *благоденствия*, о которой говорит ваша милость, — спросил Санчо, — тогда сколько мы проедем?

— Много, — ответил дон Кихот, — ибо, согласно вычислениям Птолемея, который был величайшим из всех известных нам космографов, поверхность воды и земли нашей планеты равняется тремстам шестидесяти градусам, а мы

с тобой, достигнув вышеупомянутой линии, проедем ровно половину этого расстояния.

— Нечего сказать, — воскликнул Санчо, — на хорошенького свидетеля ссылаетесь вы, ваша



милость: он тебе и Пантселей, и еще вдобавок «косматый граф» или что-то в этом роде.

Дон Кихот рассмеялся, услышав, как Санчо истолковал имя космографа Птоломея, и сказал ему:

— Послушай, Санчо, когда наши испанцы садятся на корабли в Кадиксе и едут в восточную Индию, вот по какому признаку они узнают, что проехали линию равноденствия, о которой я тебе уже говорил: у едущих на корабле подымают все вши, и ни одна не остается в живых, так что их на всем корабле ни за какие деньги не сыщешь; * поэтому, Санчо, поиди-ка у себя на ляжке, и если ты найдешь там какую-нибудь живность, наши сомнения сразу разрешатся; если же не найдешь, значит, мы эту линию уже миновали.

— Никогда я в это не поверю, — ответил Санчо, — но все же исполню приказание вашей милости, хотя и не понимаю, какой смысл имеют такие опыты, раз я вижу собственными глазами, что мы отъехали от берега на какие-нибудь пять вар, а от животных наших на несколько шагов; ведь я вижу еще Росинанта и серого на том самом месте, где мы их оставили; и если прикинуть на глаз, как я сейчас делаю, так клянусь вам, что движемся мы совсем муравьиным шагом.

— Ты, Санчо, сделай лучше тот опыт, о котором я тебе говорил, а об остальном не беспокойся, ибо ты не знаешь, что такое колурии, линии, параллели, зодиаки, эклиптики, полюсы, солнцестояние, равноденствие, планеты, знаки, пункты и меры, из которых состоят небесная и земная сферы; если бы ты знал все это, или хотя бы часть этого, ты бы ясно понял, сколько параллелей мы уже пересекли, сколько знаков видели, сколько созвездий оставили за собой и сколько еще оставим. И еще раз повторяю тебе, поиди на себе и пошарь: я твердо уверен, что ты сейчас так же чист, как листок белой и гладкой бумаги.

Санчо стал на себе шарить, медленно проводя рукой по ноге и шупая под левой коленкой, и, наконец, поднял голову и, посмотрев на своего господина, сказал:

— Или опыт ваш никуда не годится, или мы еще много миль не доехали до того места, о котором говорит ваша милость.

— Как? — спросил дон Кихот. — Ты поймал вошь?

— И даже не одну, — ответил Санчо.

Тут он стряхнул что-то с пальцев и сполоснул руку в воде; а между тем лодка медленно скользила по середине реки, и влекла ее отнюдь не таинственная сила и не волшебник-невидимка, а просто-напросто тихое и ровное течение.

В это время они увидели по середине реки несколько больших мельниц; и не успел еще дон Кихот их разглядеть, как громким голосом сказал Санчо:

— Смотри, друг мой, вот перед нами открывается город, замок или крепость, в котором наверное находится либо угнетенный рыцарь, либо пострадавшая королева, инфанта или принцесса, на помощь которым я сюда послан.

— О каком, чорт возьми, городе, крепости или замке говорите вы, ваша милость, мой сеньор? — сказал Санчо. — Да как же вы не видите, что на реке просто стоят водяные мельницы, на которых мелют зерно?

— Молчи, Санчо, — ответил дон Кихот, — они кажутся мельницами, но они не мельницы; ведь я уже тебе говорил, что сила волшебства искажает и извращает подлинную сущность всех вещей. Я не хочу сказать, что одни вещи действительно превращаются в другие, — это нам только кажется;

вспомни, например, превращение Дульсиныи, сего единственного убежища всех моих упований.

Между тем лодка попала в самую средину течения реки и стала продвигаться вперед быстрее, чем раньше. Мельники, работавшие на мельницах, увидев, что по реке плывет лодка, направляясь прямо к водовороту под колесами, поспешно выбежали всей толпой и схватили длинные шесты, чтобы ее удержать; а так как они были вымазаны мукой и их лица и одежда покрыты мучной пылью, то смотреть на них было довольно неприятно. Они громко кричали:

— Эй, вы, черти, куда вы лезете? Что вам, жизнь надоела? Или вам вздумалось утопиться и быть раскрошенными на кусочки колесами?

— Ну, не говорил ли я тебе, Санчо, — сказал тут дон Кихот, — что мы приехали в те места, где мне придется выказать всю мощь моей руки? Посмотри, сколько проходивцев и головорезов выбежало мне навстречу; посмотри, сколько чудовищ преграждает мне дорогу; посмотри, сколько уродливых образин делает нам гримасы... Но я вам сейчас покажу, негодяи!

И, поднявшись в лодке во весь рост, он стал громким голосом угрожать мельникам.

— Злобный и злокозненный сброд, — кричал он, — отпустите на волю и возвратите свободу той особе, которая томится в вашей темнице или крепости, и не важно, какого она рода и звания, высокого или низкого происхождения, ибо я — дон Кихот Ламанчский, иначе называемый рыцарем Львов, и мне самим высоким небом предназначено довести это приключение до счастливого конца.

С этими словами он выхватил меч и начал



размахивать им в воздухе перед лицом мельников, а те, слыша его безумные речи и не понимая их, старались своими шестами удержать лодку, которая устремлялась к потоку или вернее водовороту под колесами.

Санчо стал на колени, горячо моля небо спасти его от столь явной опасности; и он, действительно, был спасен благодаря ловкости и расторопности мельников, которым удалось упереться в лодку шестами и задержать ее, но только при этом лодка перевернулась, и дон Кихот вместе с Санчо свалились в воду; к счастью, дон Кихот умел плавать не хуже утки, но все же под тяжестью оружия он два раза нырнул на дно, и если бы мельники не бросились в воду и не вынесли их обоих почти на руках, это место стало бы для них Троей. Когда их вытащили на берег, скорее упившимися, чем желающими выпить, Санчо опустился на колени и, сложив руки и устремив глаза к небу, обратился к богу с длинной и горячей молитвой, в которой просил избавить его впредь от дерзновенных замыслов и предприятий дон Кихота.

А тут как раз подоспели рыбаки, которым принадлежала лодка, изломанная в щепки мельничными колесами; увидев, что лодка разбита, они набросились на Санчо и принялись его раздевать, а с дон Кихота стали требовать возмещения убытков; наш рыцарь ответил мельникам и рыбакам с таким хладнокровием, как будто с ним ничего не случилось, что он с величайшей готовностью заплатит за лодку, но при условии, что они беспрепятственно отпустят на свободу того пленника или пленников, которые томятся у них в замке.

— Да о каких пленниках и замках ты тол-

куешь, неразумная голова? — ответил один из мельников. — Может быть, тебе вздумалось захватить с собой тех людей, которые привозят сюда молот свое зерно?

— Довольно! — сказал себе дон Кихот. — Донимать просьбами этот сброд, понуждая их сделать доброе дело, — все равно, что проповедывать в пустыне. В этом приключении наверное столкнулись два могущественных волшебника, и один разрушает замыслы другого: один послал за мной лодку, а другой опрокинул меня в воду. Только бог тут может помочь: недаром ведь весь свет полон происков и враждебных козней. Я же ничего не могу поделать.

И, возвысив голос, он, глядя на мельницы, сказал:

— Кто бы вы ни были, друзья мои, заточенные, в этой темнице, простите меня, но, к моему и к вашему несчастью, я не в силах освободить вас из этой злой пасти. Должно быть, этот подвиг уготован и предназначен для другого рыцаря.

Сказав это, он столкнулся с рыбаками и заплатил им за лодку пятьдесят реалов, которые Санчо выдал весьма неохотно, заметив при этом:

— Еще одна такая прогулка по воде, и все наши денежки пойдут ко дну.

А рыбаки и мельники стояли в удивлении, разглядывая эти две фигуры, столь непохожие с виду на обыкновенных людей, и все не могли понять, о чем это дон Кихот говорил и просил; наконец, решив, что это сумасшедшие, они оставили их в покое и вернулись — кто на мельницу, кто в рыбацкие хижины. А дон Кихот и Санчо, сами неразумные, вернулись к своим неразумным животным, и этим закончилось приключение с заколдованной лодкой.

ГЛАВА XXX

о том, что произошло между дон Кихотом и прекрасной охотницей



глубокой печали и унынии рыцарь и оруженосец направили стопы к своим скакунам; особенно расстроен был Санчо, у которого подступало к сердцу всякий раз, когда нужно было *подступить* к хозяйской казне; казалось, ему легче было вырвать зеницы своих очей, чем отдать деньги. Итак, не сказав друг другу ни слова, они сели в седла и покинули берега знаменитой реки, причем дон Кихот погрузился в мысли о своей любви, а Санчо — в мечты о блестящем будущем, которое в эту минуту казалось ему более далеким, чем когда-либо; ибо хотя Санчо и был придурковат, он все же отлично понимал, что все или почти все поступки его господина были сумасбродными, и потому искал случая, не беря расчета и не прощаясь с дон Кихотом, удрать в один прекрасный день и вернуться к себе домой; но судьба решила иначе, вопреки всем его опасениям.

Случилось так, что на следующий день, на закате солнца, дон Кихот, выехав из лесу, увидел зеле-

ный луг и в глубине его каких-то людей; приблизившись к ним, он узнал охотников с соколами. Подъехав совсем близко, он увидел среди них красивую даму, сидевшую на белоснежном коне, щеголявшем серебряным седлом и зеленою сбруей. Дама тоже была одета во все зеленое и при этом так богато и красиво, что казалась воплощением изящества. На левой руке у нее сидел сокол, и по этому признаку дон Кихот догадался, что перед ним какая-то знатная особа, а все остальные охотники — ее свита, как и оказалось на самом деле. Он сказал Санчо:

— Беги, сынок Санчо, и скажи этой даме на белом коне и с соколом в руке, что я, рыцарь Львов, почтительнейше склоняюсь перед ее великой красотой; и если ее великолепие позволит, я приближусь к ней, чтобы поцеловать ей руки и исполнить все, что ее величию будет угодно мне приказать, поскольку это будет в моих силах. Но только смотри, Санчо, выражайся пристойно и не вздумай вставлять в свою речь каких-нибудь своих поговорок.

— Действительно, нашли тоже балагура! — ответил Санчо. — Кому вы это говорите! Не первый раз в жизни приходится мне отправляться к высоким и великовозрастным дамам!

— Я тебя отправлял послом только к сеньоре Дульсинее, — сказал дон Кихот, — и, насколько мне помнится, никаких других посольств ты не исполнял по крайней мере на моей службе.

— Это-то правда, — ответил Санчо, но «хорошему плательщику никакой залог не страшен», и «когда дом — полная чаша, не приходится долго ждать ужина»; я хочу сказать, что не нуждаюсь

в наставлениях и советах, потому что во всем знаю толк и никогда не сплюшаю.

— Я в этом уверен, Санчо, — сказал дон Кихот, — ну, ступай в добрый час, и да поможет тебе бог.

Санчо поскакал во весь опор и, подгоняя своего серого, подъехал к прекрасной охотнице, опустился перед ней на колени и сказал:

— Прекрасная сеньора, вы видите воп там рыцаря, именующагося рыцарем Львов; это — мой господин, а я его оруженосец, и дома меня зовут Санчо Пансой; так вот, этот рыцарь Львов, еще недавно называвшийся рыцарем Печального Образа, посылает меня просить ваше высочество соблаговолить дозволить ему с вашего согласия, усмотрения и разрешения явиться сюда и привести в исполнение свое желание; а состоит оно, — как он заявляет, да и я тоже думаю, — в том, чтобы служить вашей высокой соколиности* и красоте; и если это будет ему дозволено, то вы, сеньора, получите большую пользу, а мой господин почтет это для себя отменной милостью и удовольствием.

— Поистине, добрый оруженосец, — ответила дама, — исполняя ваше посольство, вы не упустили ни одной подробности, полагающейся в таких случаях. Встаньте же; не подобает стоять на коленях оруженосцу великого рыцаря Печального Образа, о котором мы здесь уже много слышали; встаньте, друг мой, и скажите вашему господину, что он явился как раз во-время и что и я и мой муж герцог будем рады принять его в нашем летнем дворце, находящемся неподалеку отсюда.

Санчо поднялся, пораженный красотой, приветливостью и любезностью доброй сеньоры и еще более удивленный тем, что она уже слышала о рыцаре Печального Образа; правда, она не называла его рыцарем Львов, но должно быть



голько потому, что дон Кихот совсем недавно переменял свое имя. Герцогиня (имя ее до сих пор еще не удалось выяснить)* спросила:

— Скажите мне, братец оруженосец, не о вашем ли господине напечатана книга под заглавием *Хитроумный идальго дон Кихот Ламанчский*,

и не зовут ли даму его сердца Дульсиней Тобосской?

— Это он самый и есть, сеньора, — ответил Санчо, — а оруженосец, который описывается, или, по крайней мере, должен описываться в этой истории под именем Санчо Панса, — это я, если только не вышло путаницы в моей родословной, то есть, я хочу сказать, в книге.

— Все это, меня очень радует, — сказала герцогиня. — Ступайте же, братец Панса, и скажите вашему господину, что он в добрый час и как желанный гость пожаловал в мои владения и что ничто на свете не могло бы мне доставить больше удовольствия чем его посещение.

Выслушав этот приятный ответ, Санчо с глубоким удовлетворением поспешил к своему господину и передал ему все, что сказала эта знатная сеньора; при этом он в простодушных выражениях превознес до небес ее великую красоту, обходительность и любезность. Дон Кихот присанился в седле, укрепился на стремянах, поправил свое забрало, пришнорил Росинанта и с благородным спокойствием направился к герцогине, чтобы поцеловать ей руку; а пока он ехал, она подозвала своего мужа герцога и рассказала ему о посольстве дон Кихота; и так как оба они читали первую часть его истории и знали из нее о сумасбродном характере нашего рыцаря, то они поджидали его с большим удовольствием и жаждали с ним познакомиться; они решили поддерживать его причуды, соглашаться со всем, что он скажет, и, пока он будет у них гостить, обращаться с ним как со странствующим рыцарем и исполнять все церемонии, описываемые в

рыцарских романах, — они были весьма начитаны в этих книгах и очень их любили.

Между тем дон Кихот с поднятым забралом подъехал к ним и дал знать Санчо, что он желает спешиться; тот собрался было подбежать к нему и поддержать стремя, но ему так не повезло, что, спрыгивая с серого, он запутался одной ногой в веревке от седла и никак не мог распутаться, и так и повис вниз головой, прильнув лицом и грудью к земле. А дон Кихот, привыкший к тому, чтобы ему держали стремя, когда он слезает с лошади, в уверенности, что Санчо уже успел подойти, одним взмахом перенес ногу и потащил за собою седло Росинанта, которое, должно быть, было плохо притянуто, так что он вместе с седлом грохнулся наземь и, сильно смутясь, стал сквозь зубы посылать проклятия по адресу злополучного Санчо, который все еще не мог высвободить ногу. Герцог приказал своим егерям поспешить на помощь рыцарю и оруженосцу: они подняли дон Кихота, порядком измятого после падения; рыцарь, прихрамывая, собирался было опуститься на колени перед герцогиней и ее супругом, но герцог воспрепятствовал этому и, спрыгнув с лошади, обнял дон Кихота и сказал ему:

— Мне очень досадно, сеньор рыцарь Печального Образа, что при самом въезде в мои владения вас постигла такая неудача; но небрежность оруженосцев причиняет нередко и горшие бедствия.

— Встреча с вами, доблестный повелитель, — отвечал дон Кихот, — не может быть названа неудачей, и, упади я на самое дно пропасти,

я бы поднялся и выбрался оттуда, если бы меня ждала честь увидеть вас. Мой оруженосец — да будет он проклят — умеет развязать язык и паговорить много лукавых слов, но не умеет подтянуть и привязать седло так, чтобы оно держалось крепко; но в каком бы положении я ни был, — стоя на ногах или лежа на спине, сидя на лошади или идя пешком, — я всегда буду служить вам и сеньоре герцогине, достойной вапей супруге, достойной владычице красоты и непогрешимой принцессе учтивости.

— Полегче, сеньор дон Кихот Ламанчский, — ответил герцог, — там, где властвует сеньора донья Дульсинея Тобосская, не надлежит восхвалять какую бы то ни было красавицу.

Тем временем Санчо, высвободив ногу из петли, подошел к беседующим, и не успел еще дон Кихот ответить, как оруженосец его заговорил:

— Нельзя отрицать, а скорее следует подтвердить, что сеньора Дульсинея Тобосская весьма прекрасна; но ведь заяц прыгает там, где его меньше всего ожидаешь; ведь то, что мы называем природой, иные люди, как я слышал, уподобляют горшечнику, делающему сосуды из глины: если он слепил один красивый сосуд, то, значит, он может сделать их и два, и три, и целую сотню; говорю я это к тому, что сеньора герцогиня, ей богу, ничем не уступает моей хозяйке, сеньоре Дульсинее Тобосской.

Дон Кихот обратился к герцогине и сказал:

— Примите к сведению, ваше высочество: ни у одного странствующего рыцаря на свете не было такого болтливого и падкого до остроумия оруженосца, как у меня; и если вашей высочай-

шей милости будет угодно, чтобы я прослужил вам хоть несколько дней, вы убедитесь, что я говорю правду.

На это герцогиня ответила:

— Если добрый Санчо любит поострить, то я за это его очень ценю, ибо это доказывает, что он не глуп; вы прекрасно знаете, ваша милость сеньор дон Кихот, что люди тупые не питают склонности ни к шуткам, ни к остроум, а раз, добрый Санчо и пошучивает и остроумничает, то я немедленно же признаю его умницей.

— И болтуном, — прибавил дон Кихот.

— Тем лучше, — подхватил герцог, — ибо большое остроумие требует большой словоохотливости, а чтобы не терять времени в разговорах, прошу пожаловать, великий рыцарь Печального Образа...

— Скажите лучше, рыцарь Львов, ваше высочество, — перебил Санчо, — Печального Образа больше не имеется: у нас теперь Львы.

Герцог продолжал:

— Итак, прошу пожаловать, сеньор рыцарь Львов, в мой замок, находящийся поблизости; вы встретите там прием, который подобает по справедливости вашей высокой особе и который я и герцогиня имеем обыкновение оказывать всем странствующим рыцарям, приезжающим к нам в гости.

Тем временем Санчо тщательно подтянул и подправил седло Росинанта; дон Кихот сел верхом, герцог вскочил на прекрасного коня, герцогиня поехала между ними, и все они направились к замку. Герцогиня велела Санчо ехать с ней рядом, так как его умные речи доставляли ей бес-

конечное удовольствие. Санчо не заставил себя просить, примешался к этой троице и повел беседу самчетверт, к большому удовольствию герцогини и герцога, которые сочли великим счастьем принять у себя в замке такого странствующего рыцаря и такого странного оруженосца.

ГЛАВА XXXI

*в которой повествуется о многих великих
событиях*



еспредельна была радость Санчо, полагавшего, что он пользуется особой благосклонностью герцогини, и рассчитывавшего найти в замке все то, чем он пользовался в имении дон Диэго и в доме Басилио, ибо он всегда любил пожить в свое удовольствие, и каждый раз, когда ему представлялся случай пороскошествовать, он ловил его на лету.

Далее, в истории нашей рассказывается, что прежде чем все общество подъехало к загородному дому или замку, герцог поскакал вперед и дал всей своей челяди приказания насчет приема дон Кихота; и вот, когда тот вместе с герцогиней подъехал к воротам замка, навстречу ему вышло двое лакеев или конюших, одетых в так называемое *утреннее* платье из тончайшего алого атласа, спускавшееся до земли; не успел он еще их увидеть или услышать, как они подхватили его на руки и сказали:

— *Соблаговолите, ваше высочество, помочь сеньоре герцогине сойти с лошади.*

Дон Кихот собрался было это сделать, но тут между ним и герцогиней произошло длительное соревнование в учтивости; наконец, настойчивость герцогини одержала верх, и она пожелала сойти или спуститься с коня не иначе, как с помощью герцога, утверждая, что она недостойна обременять столь великого рыцаря столь излишним трудом. Итак, герцог подъехал и помог ей спешиться, а когда они вошли в просторный внутренний двор, приблизились две прекрасных девушки и набросили на плечи дон Кихота широкий плащ из тончайшего красного сукна, и в ту же минуту все галереи внутреннего двора наполнились слугами и служанками герцога, которые все принялись громко восклицать:

— Добро пожаловать, цвет и сливки странствующего рыцарства!

При этом они опрыскивали благовонной жидкостью из флаконов и герцогскую чету и дон Кихота, чему наш рыцарь немало дивился; и в этот день впервые дон Кихот окончательно убедился и поверил, что он не какой-нибудь мнимый, а самый настоящий странствующий рыцарь, ибо видел, что все обращаются с ним совершенно так же, как, судя по романам, обращались в минувшие века с рыцарями этого звания.

Сапчо, покинув серого, увязался было за герцогиней и прошел в замок, но его стала грызть совесть за то, что он оставил ослика одного; тогда он направился к одной почтенной дуэнье, вышедшей вместе с другими навстречу герцогине, и сказал ей шопотом:

— Сеньора Гонсáлес, или как там зовут вашу милость...

— Меня зовут донья Родригес де Грихальба, — ответила дурнья. — Что вам будет угодно, братец?

На это Санчо ответил:



— Мне бы хотелось, чтобы ваша милость оказала мне услугу и вышла за ворота замка, там вы увидите моего серого ослика; благоволите, ваша милость, приказать отвести его в конюшню или отведите его сами, ибо он, бедняжка, пе-

множко пуглив и ни за что на свете не согласится остаться в одиночестве.

— Если хозяин так же умен, как его слуга, — ответила дуэнья, — то славную мы сделали находку! Проваливайте-ка, братец, на все четыре стороны вместе с тем, кто вас сюда привел; ухаживайте сами за своим ослом и знайте, что дуэньи в этом дворце не приучены к подобной работе.

— А между тем, — ответил Санчо, — мой господин, большой знаток романов, рассказывая как-то о Ланцелоте,

Из Британии прибывшем,

уверял меня, что

Служат фрейлины ему,

Скакуну его — дуэньи;

ну, а моего осла я ставлю ничуть не ниже клячи сеньора Ланцелота.

— Братец, — возразила дуэнья, — если вы шут, то поберегите ваши остроты для тех, кто их оценит и вам за них заплатит, а от меня вы получите только фигу.

— Вот хорошо, — ответил Санчо, — по крайней мере фига будет зрелая, ибо она несомненно ровесница вашей милости.

— Ах ты, потаскухин сын, — вскричала дуэнья, вспыхнув от гнева, — стара я или молода, в этом я дам отчет господу богу, а не тебе, провонявший чесноком проходимец!

Она крикнула это таким громким голосом, что гердогиня услышала, обернулась и, увидев, что у дуэньи от ярости глаза налились кровью, спросила ее, что с ней случилось.

— А случилось то, — ответила дуэнья, — что этот молодчик настоятельнейше просил меня отправиться на конюшню и отвести туда осла, которого он оставил перед воротами замка, причем он сослался на пример каких-то Фрейлин, которые неизвестно где служили какому-то Ланцелоту, в то время как дуэньи заботились о его скакуне, и в довершение всего неприметно обозвал меня старухой.

— Это последнее слово, — сказала герцогиня, — я лично сочла бы тягчайшим из всех оскорблений.

И затем, обратившись к Санчо, она прибавила:

— Заметьте, друг Санчо, что донья Родригес еще очень молода, и току* носит она не по причине преклонного возраста: этот убор подобает ее почтенному званию, и таков у нас обычай.

— Да будь я проклят на всю жизнь, — воскликнул Санчо, — если я собирался ее обидеть; сказал я это только потому, что нежно люблю своего ослика, и мне хотелось поручить его самой мягкосердечной особе на свете, а сеньора донья Родригес показалась мне именно такой.

Дон Кихот, слышавший все это, сказал Санчо:

— Санчо, место ли здесь для подобных разговоров?

— Сеньор, — ответил Санчо, — где бы человек ни находился, он повсюду будет говорить о своей нужде: на этом самом месте я вспомнил об ослике и тут же о нем заговорил, а ежели бы я вспомнил о нем в конюшне, так и заговорил бы не здесь, а в конюшне.

На это герцог сказал:

— Санчо вполне прав, и его не в чем обви-

нять; ослику будет дано корма столько, сколько он сам пожелает; Санчо может не беспокоиться: за серым будут ухаживать, как за собственной его особой.

После этих разговоров, позабавивших всех, кроме дон Кихота, они поднялись по лестнице, и дон Кихот был введен в залу, увешанную драгоценнейшей парчой и златотканными коврами; шесть девушек сняли с него доспехи и стали прислуживать в качестве пажей; все они были предупреждены и получены герцогом и герцогиней и знали, как себя вести и как обращаться с дон Кихотом, дабы он вообразил и поверил, что его принимают за странствующего рыцаря. Когда его разоружили и он остался в узких штанах, в камзоле из верблюжьей шерсти, длинный, прямой, как палка, сухой, с такими впалыми щеками, что они словно целовали одна другую изнутри, вид у него был до того уморительный, что если бы прислуживавшие ему девушки не делали усилий, чтобы скрыть смех (а их господа строго приказали им не смеяться), то они наверное бы лошнули от хохота.

Затем они попросили дон Кихота раздеться до нага для того, чтобы переменить на нем рубашку; но он ни за что на это не хотел согласиться, говоря, что благоприличие подобает странствующим рыцарям не менее, чем храбрость. А потому он попросил передать чистую рубашку Санчо и, удалившись с ним в другую комнату, где стояло богатое ложе, разделся и надел рубашку; а оставшись наедине с Санчо, он сказал ему следующее:

— Скажи мне, новоиспеченный шут и давнищ-

ний простофиля, неужели ты считаешь допустимым бесчестить и оскорблять дуэнью, столь почтенную и столь достойную уважения? Ты не мог найти более подходящего времени, чтобы вспомнить о своем сером? Или ты думал, что хозяева, принимающие нас так пышно, оставили бы на произвол судьбы наших животных? Заклинаю же тебя именем бога, Санчо, преодолей свой нрав и не выставляй напоказ своей пряжи, а не то все ясно увидят, что ты выделан из грубой мужицкой ткани. Запомни, грешная душа, что чем почтеннее и воспитаннее слуги, тем большим уважением пользуются их господа и что одно из главных преимуществ, которым вельможи отличаются от остальных людей, состоит в том, что слуги их столь же хороши, как и их господа. Разве ты не понимаешь, злополучный ты человек, что если они догадаются, что ты грубый мужик и безмозглый шут, так ведь и меня, несчастного, они примут за какого-нибудь шарлатана или прощальгу? Нет, нет, друг Санчо, беги, беги от этой опасности; стоит только тебе увлечься своей болтовней и скоморошеством, и ты тотчас же споткнешься и прослывешь жалким шутком. Обуздай свой язык; взвешивай и обдумывай каждое слово, прежде чем оно у тебя вылетит изо рта, и помни, что мы попали наконец в такое место, где с помощью бога и моей могучей руки мы сможем увеличить нашу славу и богатство.

Санчо с большим жаром обещал зашить себе рот и скорее откусить язык, нежели произнести хоть одно необдуманное и неуместное слово, уверяя, что исполнит приказание и не даст никаких оснований для беспокойства, ибо по его поведе-

нию никто уже больше не обнаружит, какого полета он и его хозяин.

Дон Кихот оделся, перекинул через плечо перевязь с мечом, надел плащ из красного сукна, покрыл голову беретом из зеленого атласа, который вручили ему служанки, и в таком наряде вышел в большую залу, где его уже ожидали девушки, выстроившись в два ряда и держа сосуды для омовения рук; весь этот обряд был проделан с множественством поклонов и церемоний. После чего появилось двенадцать пажей в сопровождении дворецкого, чтобы отвести рыцаря в столовую, где его дожидались хозяева замка. Окружив его с обеих сторон, пажи весьма торжественно и пышно повели его в другую залу, где стоял роскошный стол, накрытый только на четыре прибора. Герцог и герцогиня встретили дон Кихота у порога, а рядом с ними стоял важного вида священник, из числа духовников, приставляемых к домам иных вельмож, — один из тех, кто, не будучи по рождению вельможей, не в состоянии обучить вельмож обязанностям их сана; из тех, кто стремится к тому, чтобы великолепие знати измерялось скардностью их собственной души, из тех, наконец, кто, желая внушить своим опекаемым умеренность, превращают их в жалких скряг; вот какого рода был повидимому тот важный священник, который вместе с герцогом и герцогиней вышел на встречу дон Кихоту. Они обменялись тысячами любезных приветствий, обступили дон Кихота и вместе направились к столу. Герцог указал дон Кихоту на почетное место; тот стал отказываться, но герцог настаивал до тех пор, пока наш рыцарь не принял предложенья. Духов-

ник сел против него, герцог и герцогиня по правую и по левую руку.

При всем этом присутствовал Санчо, дивясь и изумляясь при виде почестей, оказываемых столь знатными особами его господину; и, когда он увидел, скольких упрасиваний и церемоний стоило герцогу согласие дон Кихота занять почетное место, он сказал:

— Если ваши милости мне разрешат, я расскажу вам о том, что случилось однажды у нас в деревне по поводу спора о местах за столом.

Едва Санчо произнес эти слова, как дон Кихот весь затрепетал, без сомнения предполагая, что Санчо скажет какую-нибудь глупость. Санчо взглянул на него, понял и сказал:

— Не бойтесь, ваша милость синьор, что я уклонюсь в сторону или скажу что-нибудь ни к селу ни к городу; я ведь еще не забыл недавних советов вашей милости насчет того, как надо говорить, много или мало, хорошо или худо.

— Я ничего не помню, Санчо, — ответил дон Кихот, — говори, что хочешь, но только покороче.

— То, что я хочу вам рассказать, — продолжал Санчо, — есть сущая правда, к тому же мой господин дон Кихот, здесь присутствующий, не позволит мне соврать.

— По мне, Санчо, — ответил дон Кихот, — лги себе сколько тебе угодно, я не стану тебе мешать; но только обдумай хорошенько, что ты собираешься рассказывать.

— Уж я-то думал и передумал: кто бьет в набат, сам в безопасности, — и сейчас вы увидите на деле.

— Я бы посоветовал вашим высочествам, —

сказал дон Кихот, — прогнать отсюда этого болвана, а не то он наговорит тысячу нелепостей.

— Клянусь жизнью герцога, — возразила герцогиня, — Санчо не отойдет от меня ни на шаг; я его очень люблю и знаю, что он весьма разумен.

— Дай бог вашей светлости, — разумно прожить до самой смерти за доброе обо мне мнение, хотя бы я его и не заслуживал. А рассказать я вам хочу вот что: у нас в деревне пригласил однажды один идальго, весьма богатый и знатный (ибо происходил он из рода Аламос из Медины дель Кампо), женатый на донье Менсии де Киньонес, которая была дочерью дон Алонса де Мараньон, рыцаря ордена Сант-Яго, который утонул в Эррадуре и из-за которого много лет тому назад в нашей деревне была большая распря, в которой, как мне говорили, участвовал и мой господин дон Кихот и в которой был ранен шалопай Томасильо, сын кузнеца Бальбастро... Ну что, сеньор мой и господин, скажите, разве это неправда? Заклинаю вас честью, подтвердите мои слова, чтобы эти господа не подумали про меня, что я какой-нибудь болтун и враль.

— До сих пор, — сказал духовник, — вы мне казались болтуном, но не лжецом; впрочем, не знаю, кем вы окажетесь впоследствии.

— Ты приводишь, Санчо, такое множество свидетелей и указаний, — ответил дон Кихот, — что я поневоле должен признать, что, вероятно, ты говоришь правду; но продолжай и сократи свой рассказ, ибо, если судить по началу, ты не кончишь и через два дня.

— Нет, пусть не сокращает, — возразила герцогиня, — если хочет доставить мне удовольствие;

напротив, пусть рассказывает, как умеет, и если он не кончит своего рассказа и в шесть дней, то эти шесть дней я буду считать самыми счастливыми днями в моей жизни.

— Итак, сеньоры мои,—продолжал Санчо,— я сказал, что этот идалго, которого я знаю как собственные пять пальцев, ибо его дом отстоит от моего на какой-нибудь арбалетный выстрел, пригласил к себе крестьянина, бедного, но честного.

— Поскорей, братец,—перебил тут его священник,— потому что, рассказывая таким способом, вы и до второго пришествия не кончите.

— На полдороге кончу, а то и раньше, если на то будет божья милость,—ответил Санчо.— Итак, пришел наш крестьянин в дом к тому самому идалго, который его пригласил—упокой господа его душу, ведь он уже помер, да к тому же, говорят, что умирал он как ангел, а я при том не был, так как в это время я ходил косить в Темблеке...

— Ради всего святого, сынок,—перебил священник,— возвращайтесь-ка вы поскорей из Темблеке и кончайте вашу историю без погребения этого идалго, а не то здесь могут приключиться и наши похороны.

— Случилось так,—продолжал Санчо,— что когда они собирались сесть за стол,—а они у меня сейчас прямо перед глазами стоят, как живые...

Герцог и герцогиня от души веселились, видя, как раздражают священника медлительность и остановки в повествовании Санчо, а дон Кихот сторал от гнева и бешенства.

— Итак, повторяю,—продолжал Санчо,— что они собирались сесть за стол, как я уже вам сказал, и крестьянин настаивал, чтобы почетное

место занял идалго, а идалго настаивал, чтобы его занял крестьянин, утверждал, что он в своем доме хозяин и волен приказывать; однако крестьянин, считавший себя человеком вежливым и хорошо воспитанным, ни за что не соглашался, пока, наконец, раздосадованный идалго не схватил его за плечи и не посадил насильно со словами: «Да садитесь вы, тупая башка: ведь где бы я ни сидел, мое место всюду будет почетным». Вот и вся история, и сдается мне, что она прищлась здесь очень кстати.

У дон Кихота лицо покрылось красными пятнами, которые явно проступили и обозначились на его смуглой коже, а хозяева подавили смех из опасения, как бы дон Кихот не рассердился окончательно, отгадав лукавый намек Санчо; чтобы переменить разговор и помешать Санчо болтать пустяки, герцогиня спросила дон Кихота, имеет ли он известия от сеньоры Дульсинеи и много ли великанов и лиходеев отослал он ей в подарок за последние дни, ибо он наверное успел победить их множество. На это дон Кихот ответил:

— Моя сеньора, несчастья мои имели начало, но, видно, никогда не будут иметь конца. Я побеждал великанов, я посылаю к ней разбойников и лиходеев, но разве могли они ее отыскать, если она очарована и превращена в крестьянку, безобразнее которой нельзя себе и представить?

— Не знаю,— перебил его Санчо Панса,— мне она показалась самым красивым существом на свете; во всяком случае, она так легка, что по части прыжков не уступит и канатному плясуну; честное слово, сеньора герцогиня, прямо с земли она так и скачет на ослицу, что твоя кошка.

— Разве вы видели ее очарованной, Санчо? — спросил герцог.

— Еще бы не видел! — ответил Санчо. — Ведь я же первый и напал на эту штуку с колдовством. Она так же очарована, как мой покойный батюшка!



Священник, слыша разговоры о великанах, разбойниках и волшебстве, сообразил наконец, что перед ним сидит тот самый дон Кихот Ламаанчский, чью историю герцог постоянно читал, в то время как священник неоднократно его порицал за это, говоря, что глупо читать подобные не-

лепости; и, убедившись, что догадка его справедлива, он с большим гневом обратился к герцогу и сказал ему:

— Ваша светлость, мой сеньор, вам придется дать отчет господу богу за поведение этого доброго человека. Я полагаю, что этот дон Кихот, или дон Олух, или как его там зовут, совсем не такой полоумный, каким ваше высочество желает его сделать, давая ему в руки все средства для того, чтобы он мог упорствовать в своем дурачестве и пустозвонстве.

И, обратив речь к дон Кихоту, священник продолжал:

— А вы, безмозглый человек, скажите мне: кто это вбил вам в голову, что вы странствующий рыцарь и что вы побеждаете великанов и берете в плен лиходеев? Ступайте себе по добру по здорovu и послушайте моего совета: возвращайтесь-ка во свояси, воспитывайте своих детей, если они у вас есть, занимайтесь хозяйством и перестаньте носиться по свету и гоняться за химерами, смеша всех добрых людей, знакомых и незнакомых. Да где вы это выискали, что на свете существовали и теперь еще существуют странствующие рыцари? Где же это в Испании водятся великаны или в Ламанче лиходен и где эти очарованные Дульсинеи, и вся куча небылиц, о которой рассказывается в вашей истории?

Дон Кихот внимательно выслушал слова этого почтенного мужа, и когда тот замолчал, он, не зирая на свое уважение к герцогу и герцогине, вскочил на ноги и с гневом на лице и негодованием во взорах сказал...

Но этот ответ заслуживает отдельной главы.

ГЛАВА XXXII

о том, как дон Кихот ответил своему обидчику, и о других важных и забавных происшествиях



так дон Кихот вскочил на ноги, затрясся с ног до головы, как если бы он был отравлен ртутью, и поспешно и взволнованно сказал:

— Дом, в котором я нахожусь, особы, сидящие передо мной, и почтение, которое я всегда питал и питаю к сану, коим ваша милость облечена, удерживают и связывают руки моему справедливому негодованию; вследствие этих причин, а также и потому, что люди, носящие мантию, как всем и каждому известно, не располагают другим оружием, кроме оружия женщин, иначе говоря — языка, я прибегну именно к этому оружию и вступлю в равный бой с вашей милостью, от которой следовало бы ожидать скорее добрых советов, чем постыдной хулы. Благочестивые и доброжелательные порицания должны проявляться в иных формах и выражаться по-иному; а тем, что вы порицали меня во всеуслышание и притом так сурово, вы преступили все границы разумного назидания, которому более приличествует мягкость, нежели

суровость; и нехорошо, обличая грехи, которых вы еще сами не знаете, называть грешника без всяких оснований олухом и полоумным. Потрудитесь же, ваша милость, объяснить мне, какое безумие, замеченное вами во мне, дает вам право обличать и осуждать меня и рекомендовать мне отправиться восвоися для наблюдения за хозяйством, помощи жене и воспитания детей, причем вам даже неизвестно, есть ли у меня жена и дети? Неужели же достаточно всякими правдами и неправдами втереться в чужую семью в качестве духовника хозяев, получить воспитание в каком-нибудь нищенском общежитии и ничего на всем свете не видеть, кроме двадцати или тридцати миль собственной округи, для того, чтобы иметь право так, ни с того ни с сего, предписывать законы рыцарству и судить о страствующих рыцарях? Или, быть может, вы скажете, что это праздное занятие и потеря времени — странствовать по свету, убегая от мирских утех и шествуя по крутизнам, возводящим доблестных к подножью бессмертия? Если бы рыцари или великодушные, щедрые и высокородные вельможи назвали меня олухом, я бы почел это несмываемым оскорблением; а если меня называют безумцем разные книжники, никогда не ступавшие и не ходившие по стезям рыцарства, — за их мнения я и гроша не дам; я — рыцарь и, если на то будет милость всевышнего, и умру рыцарем. Одни люди идут по широкому полю надменного честолюбия, другие — по путям низкого и рабского ласкательства, третьи — по дороге обманного лицемерия, четвертые — по стезе истинной веры; я же, руководимый своей звездой, иду по узкой

тропе странствующего рыцарства, ради которого я презрел мирские блага, но не презрел чести. Я метил за обиды, восстанавливал справедливость, карал дерзость, побеждал великанов, попирали чудовищ; я влюблен, но только потому, что странствующему рыцарю это полагается; но это — влюбленность, не знающая порока, ибо я принадлежу к числу любовников платонических и целомудренных. Все мои стремления всегда были направлены к благородной цели, то есть к тому, чтобы всем делать добро и никому не делать зла; судите же теперь, ваши высочества, превосходные сеньоры, герцог и герцогиня, заслуживает ли клички глупца тот, кто так думает, так поступает и так говорит.

— Ей богу, хорошо сказано! — воскликнул Санчо. — Ничего больше не говорите в свое оправдание, сеньор мой и господин, ибо ничего лучшего нельзя ни сказать, ни придумать, ни сделать. И разве то, что этот сеньор утверждает, будто на свете не было и нет странствующих рыцарей, не доказывает, что он ничего не смыслит в том, о чем говорит?

— А вы, братец, — спросил священник, — не тот ли самый Санчо Панса, о котором в истории рассказывается, что дон Кихот обещал ему подарить остров?

— Тот самый, — ответил Санчо, — и остров я заслужил не меньше всякого другого. Я из тех, о ком сказано: «следуй за добрыми людьми, и сам станешь добрым», или: «не с тем, с кем родился, а с тем, с кем кормился», или еще: «кто под добрым станет деревом, доброй осенится тенью». Я пристал к хорошему хозяину, и вот

уже много месяцев нахожусь при нем, и, ежели бог допустит, стану сам вроде него; и да пошлет господь долгие годы ему и мне; уж наверное он делается императором в каком-нибудь государстве, а я правителем какого-нибудь острова.

— Совершенно верно, друг мой Санчо, — перебил его тут герцог, — из уважения к сеньору дон Кихоту я передаю вам в управление один довольно значительный остров, к которому у меня так и не подобралось пары.

— Падай на колени, Санчо, — сказал дон Кихот, — и целуй руки его светлейшему за оказанную тебе милость.

Санчо повиновался, а священник, увидев это, встал из-за стола, весьма раздосадованный, и сказал:

— Клянусь моей сутаной, я готов заявить, что ваше высочество безумны не менее этих двух грешников. Да как же им не быть сумасшедшими, если люди в здравом рассудке поддерживают их сумасбродства! Оставайтесь с ними, ваше высочество, а я и на порог к вам не ступлю, пока они будут пребывать в замке; таким образом я не буду вынужден порицать то, чего не могу исправить.

Так он и ушел, не сказав больше ни слова и не копчив обеда; герцог просил его остаться, хотя не очень настаивал, так как его душил смех при виде этого нелепого гнева. Насмеявшись вдоволь, он сказал дон Кихоту:

— Ваша милость, сеньор рыцарь Львов, вы так блистательно говорили в свою защиту, что вам излишне требовать удовлетворения за слова, на первый взгляд как будто оскорбительные, но

на самом деле таковыми не являющимися, ибо если женщины не могут нас оскорбить, то не могут этого сделать и священники,— это вашей милости известно лучше, чем мне самому.

— Вы правы,— ответил дон Кихот,— а происходит это потому, что лицо, которого нельзя оскорбить, не может нанести оскорбление. А так как женщины, дети и духовные особы не могут защищаться, если их кто-нибудь обидит, то следует считать, что они не могут получать оскорблений, ибо, как это хорошо известно вашей милости, между обидой и оскорблением есть большая разница. Оскорбление происходит от того лица, которое может его нанести, его наносит и его поддерживает; а обида может исходить от кого угодно, не заключая в себе оскорбления. Вот вам пример: гуляет по улице человек и ни о чем не думает; вдруг появляются десять враждебно настроенных человек и избивают его палками; он выхватывает шпагу, чтобы исполнить свой долг, но встречает препятствие в многочисленности врагов и не в силах исполнить свое намерение, то есть отомстить; такого человека можно считать обиженным, но не оскорбленным. Ту же мысль подтвердит и другой пример: идет человек; вдруг кто-нибудь сзади подходит к нему, бьет его палкой, а затем, не дожидаясь, пускается бежать; избитый за ним гонится, но не может настичь; про него можно сказать, что ему нанесли обиду, но не оскорбление; ибо оскорбивший должен поддерживать свое оскорбление. Если бы тот, кто избил своего врага палкой, подстергши из-за угла, выхватил потом шпагу и, оставаясь на месте, повернулся лицом к избитому, то пос-

леднего можно было бы назвать обиженным и оскорбленным одновременно: обиженным потому, что его избили предательски, а оскорбленным потому, что его обидчик поддерживал свои действия, не поворотив спины и оставаясь стоять на месте. Итак, по законам проклятой дуэли, я могу почитаться обиженным, но не оскорбленным, ибо ни дети, ни женщины не должны чувствовать оскорбления, им незачем убегать или оставаться на месте; то же самое относится и к служителям нашей святой церкви; ибо все эти три рода людей не имеют оружия ни для защиты, ни для нападения; и хотя, естественно, они обязаны защищаться, они вовсе не обязаны на кого-либо нападать. Я только что сказал, что могу почитаться обиженным, а теперь скажу, что это совершенно неверно: ибо тот, кто не может получить оскорбления, не в состоянии нанести его сам; по этой причине и я не должен усматривать и не усматриваю ничего позорного в словах этого доброго человека; единственно, мне бы хотелось, чтобы он остался с нами еще немного и убедился, наконец, как глубоко он заблуждается, думая и утверждая, что на свете не было и нет странствующих рыцарей; да если бы эти слова услышал Амадис или кто другой из бесчисленных представителей его звания, плохо бы тогда пришлось его преподобию.

— Клянусь, что это так, — сказал Санчо; — он бы так хватил его своим мечом, что разрубил бы его сверху донизу, как гранату или переспелую дыню. Не такие это были люди, чтобы спокойно сносить щекотку! Я готов побожиться, что ежели бы Рейнальдо Монтальбанский услышал,

как этот человек разглагольствует, он наверное дал бы ему такую зуботычину, что тот бы после этого три года рта не раскрывал. Да, потягался бы он с ним, хорошеньким бы он вышел из его рук.

Слушая рассуждения Санчо, герцогиня умирала со смеху, и ей казалось, что оруженосец еще безумнее и уморительнее, чем его господин; да и многие другие в ту минуту разделяли ее мнение.

Итак дон Кихот успокоился, обед кончился, и, когда убрали со стола, появились четыре девушки; первая несла серебряный таз, вторая кувшин, тоже серебряный, у третьей через плечо были перекинута два роскошнейших белоснежных полотешца, а у четвертой рукава были засучены по локоть, и в белых руках (а руки-то у нее наверное были белые) держала она круглый комок неаполитанского мыла. Первая девушка ловко и непринужденно подставила таз под бороду дон Кихота; изумленный этой церемонией, он не вымолвил ни слова, полагая, что таков обычай в этой стране: мыть не руки, а бороду; поэтому он изо всех сил вытянул вперед шею, и в ту же самую минуту из рукомыльника полилась вода, а девушка, державшая в руках мыло, припнулась быстро натирать нашему покорному рыцарю не только подбородок, но и глаза и все лицо; со всех сторон взлетели снежные хлопья, такой белизны была мыльная пена, — и дон Кихоту волей-неволей пришлось зажмурить глаза. А герцог и герцогиня, не предупрежденные об этом заранее, ждали, чем кончится это странное мытье. Между тем, девушка-брадобрей, покрыв

лицо дон Кихота огромным слоем мыла, сделала вид, что у нее кончилась вода, и послала за ней свою подругу, державшую рукомошник, сказав, что рыцарю придется немного подождать. Та удалилась, а дон Кихот остался весь в мыле, и невозможно было представить себе образину более странную и смехотворную.

Все присутствующие, — а их было немало, — смотрели, как он сидел, вытянув свою длинную, в поларшина, пзрядно смуглую шею, с закрытыми глазами и намыленной бородой, и прямо удивительно, как у них хватило сил удержаться от смеха; девушки, придумавшие эту шутку, стояли, опустив глаза и не решаясь взглянуть на господ, а у тех в душе гнев боролся со смехом, и они не знали, как поступить: наказать ли девочек за их дерзость или наградить за то, что они подшутили над дон Кихотом и приготовили им столь забавное зрелище. Наконец девушка с водой вернулась, и омовение дон Кихота было закончено; служанка, державшая в руках полотенце, с самым спокойным видом вытерла и осушила ему лицо, после чего все четверо разом отвесили ему глубокие и низкие поклоны и собрались было уйти; но герцог, опасаясь, как бы дон Кихот не разгадал эту проказу, подозвал к себе девушку, державшую таз, и сказал ей:

— Ну, а теперь ступайте сюда и помойте меня, но только смотрите, чтоб воды у вас хватило.

Хитрая и сообразительная девушка подошла и подставила герцогу рукомошник точно так же, как это было сделано с дон Кихотом; служанки проворно и старательно намылили и вымыли ему лицо, потом вытерли, осушили и с поклонами

удалились. Впоследствии герцог рассказывал, что он поклялся, если они его не вымоют точно так же, как дон Кихота, — наказать их за дер-



зость; но они находчиво загладили свою вину, намыливши ему щеки.

Санчо внимательно смотрел на церемонию омовения и говорил про себя:

— Чорт побери,—а что если в этой стране существует обычай мыть бороды не только рыцарям, но и оруженосцам. Клянусь богом и спасением души, мне это было бы очень кстати, а если бы мне поскребли еще щеки бритвой, то это было бы для меня сущим благодеянием.

— Что вы бормочете, Санчо? — спросила герцогиня.

— Дело в том, сеньора,— ответил он,— что, насколько мне известно, при дворах других вельмож после обеда гостям дают воду для рук, но я не слышал, чтобы им мыли бороды; то-то и есть, что кто много живет, много и видит; впрочем, еще говорится, что чем дольше проживешь, тем больше муки натерпишься, хотя мытье вроде этого, конечно, не мука, а одно удовольствие.

— Не огорчайтесь, друг Санчо,— ответила герцогиня,— я прикажу, чтобы мои девушки не только вас вымыли, но даже, если понадобится, и выстирали.

— Я буду премного доволен, если они вымоют мне бороду,— сказал Санчо,— по крайней мере на первое время, а что будет потом, господь бог сам укажет.

— Дворедкий,— сказала герцогиня,— запомните, о чем просит добрый Санчо, и исполните его желание в точности.

Дворедкий ответил, что во всем готов служить сеньору Санчо; сказав это, он отправился обедать и увел с собою Санчо, а герцог, герцогиня и дон Кихот остались сидеть за столом, беседуя о множестве различных вещей, которые все однако имели отношение к военному делу и странствующему рыцарству.

Гердогиня, успевшая отметить превосходную память дон Кихота, попросила его описать и изобразить ей красоту и внешность сеньоры Дульсины Тобосской, ибо, если верить молве, трубящей о красоте этой дамы, — то придется допустить, что она самое прекрасное существо не только во всем свете, но и во всей Ламанче. Выслушав просьбу гердогини, дон Кихот вздохнул и сказал:

— Если бы я мог извлечь свое сердце и выложить его на блюдо вот тут на стол перед глазами вашего высочества, то я избавил бы свой язык от изложения того, что и помыслить почти невозможно, ибо тогда ваше высочество увидели бы в моем сердце ее точный портрет; да и как смогу я описать и изобразить каждую особенность красоты несравненной Дульсины? Другие, достойнейшие меня, должны были бы взять на себя это бремя; задачу эту следовало бы поручить кисти Парразия, Тиманта и Апельмеса или резцу Лисиппа для того, чтобы они изобразили ее на полотне или изваяли из мрамора и бронзы; восхваление же ее потребовало бы красноречия Цицеронова и демосфенова.

— Что, значит «демосфеново», сеньор дон Кихот? — спросила гердогиня. — Я никогда еще в жизни не слышала этого слова.

— «Демосфеново красноречие» — значит «красноречие Демосфена», — ответил дон Кихот, — как «цицероново красноречие» означает — «красноречие Цицерона»; Цицерон и Демосфен были самыми знаменитыми ораторами в мире.

— Совершенно верно, — сказал гердог, — и вы лишь по несмышленности задали этот вопрос.

Но тем не менее сеньор дон Кихот доставит нам большое удовольствие, если все-таки опишет нам свою даму; сделайте только набросок в нескольких штрихах, и я уверен, что ему позавидуют первые красавицы в мире.

— Я бы, конечно, это сделал, — ответил дон Кихот, — если бы образ ее не был изглажен в моей памяти тем бедствием, которое недавно ее постигло, а несчастье это столь велико, что мне следует скорей оплакивать мою даму, чем ее описывать; да будет же известно вашему высочеству, что несколько дней тому назад я отправился к ней, чтобы поцеловать ей руку и попросить ее напутствия, соизволения и разрешения на третий свой выезд, но нашел я совсем не то, чего искал; она была очарована, из принцессы превращена в крестьянку, из красавицы в дуришку, из ангела в дьявола, из благоуханной в зловонную, из сладкоречивой в грубиянку, из величавой дамы в какую-то попрыгунью, из света в мрак, одним словом из Дульсиныи Тобосской в поселянку из Сайяго.*

— Господи помилуй! — громко воскликнул в ответ герцог. — Да кто же совершил это величайшее на свете злодеяние? Кто лишил мир красоты, которая его радовала, веселья, которое его тешило, и пристойности, которая доставляла ему такую честь?

— Кто? — ответил дон Кихот. — Да кто же другой, как не какой-нибудь коварный волшебник, один из бесчисленных моих завистников и гонителей? Это проклятое племя развелось на свете, чтобы затемнять и истреблять подвиги людей праведных и освещать и превозносить дела не-

честивых. Волшебники меня преследовали, волшебники меня преследуют, и волшебники будут меня преследовать, пока не погрузят и меня и мои высокие рыцарские деяния в глубокую пропасть забвения; они знают, где мое самое чувствительное место, и туда-то и направляют свои удары и козни; ибо похитить даму у странствующего рыцаря — то же самое, что похитить у него глаза, которыми он смотрит, солнце, которое ему светит, и пищу, которая его питает. Я уже много раз об этом говорил и сейчас снова повторю, что странствующий рыцарь без дамы подобен дереву без листьев, зданию без фундамента и тени без того тела, которое ее отбрасывает.

— Против всего этого возражать не приходится, — сказала герцогиня, — однако, если верить тому, что рассказывается о сеньоре дон Кихоте в книжке, которая недавно у нас появилась и заслужила всеобщее одобрение читателей, то выходит, если только память мне не изменяет, что ваша милость никогда и не видела сеньоры Дульсины; что этой сеньоры на свете не существует, что она — существо воображаемое, придуманное и порожденное фантазией вашей милости, и что вы сами разукрасили ее всеми прелестями и совершенствами, какие только пришли вам в голову.

— По этому поводу многое можно было бы сказать, — ответил дон Кихот. — Одному богу известно, существует ли Дульсинья на свете или нет, воображаемое ли она существо или не воображаемое; в такого рода вещах не следует доискиваться до самого дна. Я не придумал и не породил своей дамы, хоть я ее себе и представ-

ляю такой, какой полагается быть женщине, украшенной всеми добродетелями, которые могут прославить ее во всех частях света: прекрасной без всякого изъяна, серьезной без надменности, влюбленной с пристойностью, приветливой благодаря ее вежливости и вежливой благодаря ее благовоспитанности и, наконец, высокой по своему происхождению, ибо у женщин благородной крови красота цветет и сияет в большей степени совершенства, чем у красавиц, рожденных в ничтожестве.

— Вы правы, — ответил герцог, — но да разрешит мне сеньор дон Кихот высказать мнение, сложившееся у меня при чтении истории его деяний. Если даже допустить, что в Тобосо или вне его действительно существует Дульсинея и что она столь необыкновенно прекрасна, как ваша милость ее описывает, все же знатностью происхождения ей никак не сравниться с Орианой, Аластрахареей, Мадасимой и прочими такими же дамами, описанием которых переполнены все романы, отлично известные вашей милости.

— На это я могу возразить, — ответил дон Кихот, — что Дульсинея — дочь своих дел, что добродетели делают кровь благородною и что большего уважения заслуживает человек скромного происхождения, но добродетельный, чем знатный и порочный; тем более, что Дульсинея обладает гербом, который может сделать ее королевой со скипетром и короной; ибо достоинства прекрасной и добродетельной женщины способны творить величайшие чудеса; и если не формально, то виртуально* содержат в себе величайшее счастье.

— Сеньор дон Кихот, — сказала герцогиня, — рассуждение ваше показывает, что вы мудры, как змий, и что мысль ваша все время измеряет глубины; отныне я буду верить и заставлю поверить всех домочадцев и даже, если понадобится, самого герцога, моего господина, что Дульсинея Тобосская существует, что она живет в наше время, что она прекрасна и знатна и достойна того, чтобы ей служил такой знаменитый рыцарь, как сеньор дон Кихот, а большей похвалы ей я не могу и не умею придумать. Однако я не могу подавить одного сомнения и продолжаю питать нечто вроде досады по отношению к Санчо Пансе; сомнение это заключается в следующем: в истории рассказывается, что Санчо Панса, придя к сеньоре Дульсинее с письмом от вашей милости, застал ее за просеиванием мешка зерна, и для большей точности указывается, что зерно было желтое; вот это обстоятельство заставляет меня усомниться в знатности ее происхождения.

На это дон Кихот ответил:

— Моя сеньора, да будет известно вашему высочеству, что все или почти все события, приключающиеся со мной, протекают совсем не так, как это обычно бывает с другими странствующими рыцарями, и эта странность имеет место независимо от того, направляет ли эти события неисповедимая воля судьбы или коварство какого-нибудь завистливого волшебника. Каждому человеку известно, что все или большинство прославленных странствующих рыцарей были наделены каким-нибудь редким даром: одних невозможно было очаровать, у других была такая непрони-

даемая кожа, что их нельзя было ранить, примером чему служит Роланд, один из двенадцати пэров Франции, который, если верить преданию, мог быть ранен только в пятку левой ноги, да и то никаким другим оружием, кроме толстой булавки; поэтому, когда Бернардо дель Карпио победил его при Ронсевале и увидел, что железом поразить его невозможно, он на руках поднял его над землей и задушил, вспомнив в ту минуту о том, как Геркулес убил Антея, свирепого гиганта, слывшего сыном самой Земли. Из всего вышесказанного я заключаю, что, быть может, я тоже наделен каким-нибудь редким даром вроде названных выше; но я отнюдь не могу считать себя неуязвимым, ибо много раз опыт показывал мне, что кожа у меня нежная и легко проницаемая; вместе с тем я несомненно подвержен чарам, так как однажды меня посадили в клетку, куда никакая сила на свете, кроме силы волшебства, не могла бы меня упрятать; но, поскольку я оттуда освободился, я ныне уверен, что никакие новые чары не властны мне повредить; а волшебники, почувствовав, что их злые козни бессильны против меня, обрушили свою месть на то существо, которое мне дороже всего на свете, и, преследуя Дульсинею, ради которой я живу, пытаются таким образом лишить меня жизни; вот почему я думаю, что в ту пору, когда мой оруженосец явился к ней с моим посланием, они превратили ее в крестьянку и заставили ее заняться столь низменной работой, как просеивание зерна; впрочем, как я уже сказал тогда, зерно это не было ни желтым, ни пшеничным, а было оно восточным жемчугом; и, чтобы доказать вам, что это правда, я сообщу

вашему высочеству, что немного времени тому назад я был в Тобосо, но никак не мог разыскать дворец Дульсинеи; на следующий же день мой оруженосец Санчо видел ее в ее настоящем образе, то есть самом прекрасном на свете, а мне она представилась неотесанной и безобразной крестьянкой и притом не особенно разумной, хотя на самом деле в ней заключена вся мудрость мира; а раз я сам не очарован и, если рассуждать здраво, отнюдь не могу быть очарован, то, значит, очарована, обижена, превращена, изменена и подменена — она, значит, мечь моих врагов обратилась на нее, а мне из-за нее суждено жить в вечных слезах до тех пор, пока она не предстанет предо мной в своем прежнем состоянии. Все это я сказал к тому, чтобы никого не смущали слова Санчо насчет просеиванья и веянья зерна, ибо если мне подменили мою Дульсинею, то не удивительно, что и ему показали ее превращенной. Дульсинея — знатного и благородного происхождения, и среди многочисленных, древних и весьма почтенных дворянских родов города Тобосо едва ли не самой завидной является доля несравненной моей Дульсинеи, именем которой ее селение украсится и возвеличится в грядущих веках подобно тому, как Троя прославилась Еленой, а Испания — Кавой,* но при этом самая слава будет более приличной и достойной. А кроме того, светлейшие сеньоры, мне бы хотелось отметить, что мой Санчо Панса несомненно самый потешный из всех оруженосцев, когда-либо служивших странствующим рыцарям; его наивные выходки бывают до того остроумны, что, размышляя над вопросом, наивность ли это или остроумие, доставляешь

себе немалое удовольствие; иногда он так лукав, что его можно счесть плутом, или так бестолков, что его можно назвать тупицей; он во всем сомневается и всему верит; когда мне кажется, что он свалился на самое дно глупости, он вдруг своим умом взлетает под облака. Одним словом, я его не променяю ни на какого другого оруженосца, хотя бы в придачу мне дали целый город; и все-таки я не знаю, следует ли его посылать управлять островом, который ваше высочество соблаговолили ему подарить? Хотя, впрочем, я вижу в нем некоторые способности к управлению и думаю, что если ему причесать как следует мозги, он справится со своим губернаторством не хуже, чем король со своими податями, к тому же все мы по долгому опыту знаем, что для губернаторского звания не требуется ни большого уменья, ни большой образованности, — ведь у нас найдутся сонмы губернаторов, которые еле умеют читать, а между тем управляют они как орлы; все дело в том, чтобы у них были благие намерения и чтобы они желали хорошо делать дело, а тогда у них не будет недостатка в советниках, которые направят их на верную дорогу, как это бывает с неучеными губернаторами из дворян, которые судят с помощью ассесора.* Я бы посоветовал Санчо «взятки не брать, но и свою долю не упускать», а кроме того еще другие вещицы, которые я заготовил впрок и в свое время изложу их на пользу Санчо и на благо острова, которым он будет управлять.

На этом месте беседа между герцогом, герцогиней и дон Кихотом прервалась, так как во дворце вдруг послышался шум и громкие крики

слуг, и неожиданно в залу вбежал Санчо, весь перепуганный, с тряпкой вместо салфетки под подбородком, а за ним множество лакеев или, лучше сказать, кухонных *пикаро* * и прочей мелкой челяди, и один из них тащил лохань с водой, в которой очевидно мыли посуду, так как она была черна и грязна; этот поваренок гнался за Санчо и преследовал его, всячески стараясь подставить и подсунуть лоханку ему под подбородок, а другой пикаро пытался помыть ему бороду.

— Что это значит, друзья мои? — спросила герцогиня. — Что это значит? Что вам нужно от этого доброго человека? Как, неужели вы забыли, что он назначен губернатором?

На это поваренок-брадобрей ответил:

— Этот сеньор не хочет помыть себе бороду, как это у нас принято и как только что сделал мой господин герцог и его собственный хозяин.

— Неправда, хочу, — возразил Санчо в сильном гневе, — но мне хотелось бы, чтобы полотенца были почище, вода посветлее, и руки у них не очень грязные; не так уж велика разница между мной и моим господином, чтобы его мыть ангельской водой, * а меня этими дьявольскими помоями. Обычай разных стран и княжеских хором только тогда хороши, когда они не причиняют неприятности; а этот обряд омовения, что здесь принят, похуже всякого самобичевания. Борода у меня чистая, и я не нуждаюсь в подобном освежении; а если кто-нибудь посмеет помыть меня или коснуться волоска на моей голове, то есть в моей бороде, то, выражаясь с должным почтением, я его так тресну кулаком по башке, что у него череп расколется; ибо все эти *чере-*

моии с намазыванием щек смахивают больше на издевательство, чем на ухаживание за гостями.

Глядя на Санчо и слушая его речи, герцогиня умирала со смеху; но дон Кихоту не очень-то понравилось, что его оруженосец обвязан грязной тряпкой и затравлен всей этой кухонной челядью, а потому он отвесил глубокий поклон герцогу и герцогине, как бы прося у них позволения говорить, и строгим голосом сказал лакейскому сброду:

— Эй вы, сеньоры кавалеры, оставьте-ка этого парня в покое и ступайте, откуда пришли, или, вернее, на все четыре стороны; мой оруженосец не грязнее всякого другого, а эта лоханка для него слишком неудобная посуда; послушайтесь моего совета и оставьте его, ибо ни он, ни я таких шуток не любим.

А Санчо подхватил его слова и продолжал:

— Такие шутки шутят только с бездомными бродягами, и если я это потерплю, то значит сейчас у нас не день, а ночь. Пусть принесут сюда гребенку или что-нибудь в этом роде и поскребут мне бороду; ежели в ней найдется что-нибудь нечистоплотное, тогда я соглашусь, чтобы мне всю голову вихрами обстригли.

Тут заговорила герцогиня, все еще продолжая смеяться:

— Во всем, что Санчо Панса сказал, он вполне прав; да и что бы он ни сказал, он всегда будет прав; он чист и, по его словам, не нуждается в мытье; и раз наш обычай ему не нравится, то вольному воля; а вы, служители чистоты, поступили слишком нерадиво и опрометчиво, чтобы не сказать дерзко, предложив такому сень-

ору и такой, бороде, вместо таза и кувшина из чистого золота, вместо немецких утиральников, какие-то лоханки, деревянные корыта и кухонные



полотенца. Видно, что вы люди дрянные и низкой души и не можете, негодяи, скрыть своей ненависти к оруженосцам странствующих рыцарей.

Не только кухонные *пикаро*, но и сам дворедкий поверил, что герцогиня говорит серьезно, поэтому они сняли с Санчо тряпку, оставили

его и удалились, смущенные и даже пристыженные; а Санчо, увидев, что спасся от этой величайшей, как ему казалось, опасности, опустился на колени перед герцогиней и сказал:

— От великих сеньор можно ждать великих милостей, но, чтобы отплатить за милость, которую ваше высочество оказали мне сегодня, мне остается лишь пожелать, чтобы меня посвятили в странствующие рыцари и потом все дни моей жизни посвящать служению столь высокой сеньоре; я — крестьянин, зовут меня Санчо Панса, я женат, у меня есть дети, и состою я в оруженосцах; если что-либо из всего этого может пригодиться вашему высочеству, прикажите только, — и я не замедлю повиноваться вашей милости.

— Сразу видно, Санчо, — ответила герцогиня, — что вы учились быть учтивым в школе самой учтивости; сразу видно, хочу я сказать, что сеньор дон Кихот взлелеял вас на своей груди а он уж, конечно, — самые сливки вежливости и цвет церемоний или *церемоний*, как вы выражаетесь. Честь и слава такому господину и такому слуге, ибо один служит путеводной звездой всему странствующему рыцарству, а другой — светочем всем верным оруженосцам. Встаньте, друг мой Санчо, а за вашу учтивость я отблагодарю вас тем; что попрошу моего повелителя герцога как можно скорей наградить вас губернаторством, которое он милостиво вам обещал.

На этом беседа окончилась, и дон Кихот отправился отдохнуть после обеда, а герцогиня попросила Санчо провести послеобеденное время с ней и ее девушками в одной весьма прохладной

зале, если только ему не очень хочется спать. Санчо ответил, что, по правде говоря, он привык летом после обеда спать часика четыре или пять, но что он хочет отблагодарить ее за доброту и из всех сил постарается сегодня не спать вовсе; с тем он и ушел, пообещав исполнить ее приказание. А герцог снова распорядился, чтобы все обращались с дон Кихотом, как со странствующим рыцарем и в точности соблюдали все обычаи, описанные в романах о старинных рыцарях.

ГЛАВА XXXIII

о приятной беседе герцогини и ее девушек с Санчо Пансой, достойной быть прочитанной и отмеченной



Алее в истории нашей рассказывается, что в этот день Санчо не спал, что он сдержал свое слово и после обеда явился к герцогине, которой очень нравились его речи; она предложила ему присесть около нее на низеньком табурете, но Санчо, как настоящий благовоспитанный человек, от этого отказался; тогда герцогиня заметила, что ему разрешается сидеть как будущему губернатору, а говорить — как оруженосцу, и что оба эти звания дают ему право на кресло самого Сиды Руи Диаса Кампеадора. * Санчо пожал плечами, повиновался и сел, а все дуэньи и девушки герцогини окружили его и в глубочайшем молчании с любопытством ждали, что он скажет; но первой заговорила герцогиня и начала так:

— Теперь, когда мы одни и никто нас не слышит, мне бы хотелось, чтобы сеньор губернатор разрешил некоторые сомнения, которые явились у меня при чтении недавно напечатанной исто-

рии великого дон Кихота; вот одно из этих сомнений: если добрый Санчо ни разу не видел Дульсинеи, я хочу сказать — сеньоры Дульсинеи Тобосской, и не передавал ей письма от сеньора дон Кихота, ибо письмо это осталось в записной книжке в Сьерра-Морене, то как посмел он сочинить ее ответ и выдумать, будто она просеивала зерно? Ведь все это — ложь и насмешка, наносящие урон доброй славе несравненной Дульсинеи и противоречащие достоинству и верности доброго оруженосца.

Выслушав это, Санчо встал с табурета, не ответив ни слова, вобрал голову в плечи, приложил палец к губам и медленным шагом обошел залу, заглядывая за все занавески, а проделав это, он снова сел и сказал:

— Вот теперь, моя сеньора, когда я убедился, что никто нас тайком не подслушивает, я без всякого страха и беспокойства отвечу вам на ваш вопрос и на все, о чем вам будет угодно меня спросить; и прежде всего я скажу, что считаю моего дон Кихота окончательно рехнувшимся, хотя, впрочем, подчас он ведет речь так разумно и по такой правильной линии, что не мне одному, а и всем, кто его слушает, сдается, что даже сам сатана ничего бы лучшего не мог сказать; а все-таки, говоря откровенно и по совести, я уверен, что он сумасшедший. А раз эта мысль засела мне в башку, так я и не стесняюсь уверять его в таких вещах, у которых нет ни головы, ни хвоста, вроде, например, ответа Дульсинеи, на его письмо или превращения сеньоры доньи Дульсинеи, про которое в книжке еще не написано, так как это случилось всего шесть или

восемь дней тому назад; я уверил моего господина, что она очарована, но это такая же правда, как то, что на груше сливы растут.

Герцогиня попросила Санчо рассказать ей об этой проделке с очарованием, и тот рассказал все, как было на самом деле, чем доставил своим слушателям немалое удовольствие; затем герцогиня, продолжая разговор, заметила:

— То, что добрый Санчо мне рассказал, пробудило в моей душе новое сомнение, и какой-то голос нашептывает мне: если дон Кихот Ламанчский — безумец, сумасброд и сумасшедший, а его оруженосец Санчо Панса это знает и все же сопровождает его и ему служит, рассчитывая на его вздорные обещания, то без сомнения он еще больший безумец и глупец, чем его господин; а раз это так, то не годится тебе, сеньора герцогиня, давать этому Санчо Пансе в управление остров, ибо как сможет управлять другими человек, не умеющий управлять самим собой?

— Ей богу, сеньора, — ответил Санчо, — сомнения вашей милости шевельнулись правильно, и скажите вашему голосу, чтобы он говорил ясно, а впрочем, как ему будет угодно, ибо я знаю, что он говорит правду; и, если бы я был человеком благоразумным, я бы уже давным-давно бросил своего господина. Но такова уж моя судьба и горькая доля: ничего не могу с собой поделывать, я должен его сопровождать, — мы с ним из одной деревни, я ем его хлеб, я его люблю, он это чувствует и подарил мне своих ослят, а самое главное — я человек верный, и потому ничто не может нас разлучить, кроме могильного заступа и лопаты. А ежели ваше соколиное вы-

сочество* не соблаговолит пожаловать мне обещанный остров, ну, что ж, господь создал меня убогим, и то, что мне не дадут острова, пойдет еще моей совести на пользу, ибо, хоть я и дурак, а все-таки понимаю пословицу: «на горе у муравья вырастают крылья»; и еще возможно, что Санчо-оруженосец скорей попадет на небо, чем Санчо-губернатор. И у нас пекут хлеб не хуже, чем во Франции; а ночью все кошки серы; и уж поистине горемыка тот, кто до двух часов пополуночи все еще натошак; и так не бывает, чтобы у одного желудок был на пядь шире, чем у другого, а набить его можно соломой да сеном; ведь полевых пташек сам господь кормит и холит; и четыре аршина толстого куээнского сукна лучше греют, чем четыре аршина сеговийского; а когда мы покидаем этот мир и нас закапывают в землю, то и принц и батрак бредут по одинаково узкой тропе; для тела папы нужно столько же пядей земли, сколько и для пономаря, хотя первый куда важнее второго; когда нас кладут в могилу, все мы подбираемся и поджимаемся или, вернее, нас подбирают и поджимают, нравится ли нам это или не нравится,—и спокойной ночи! Поэтому, повторяю, если ваше высочество не пожелает даровать мне остров, потому что я глуп, я ни капельки не огорчусь и тем докажу, что я умен; слышал я пословицы: «за крестом-то чертяки и водятся», и «не все то золото, что блестит»; ведь крестьянина Вамбу* взяли от сохи, волов и ярма и посадили в испанские короли, а Родриго оторвали от нарчевого ложа, наслаждений и богатств и бросили на съедение змеям, если только не врут стишки старых романсов.

— Как так врут? — воскликнула в ответ дужня донья Родригес, находившаяся тут же среди слушательниц. — Да ведь в одном романсе говорится, что короля Родриго живехонького посадили в яму, наполненную жабами, змеями и ящерицами, а через два дня после этого со дна ямы послышался его тихий и горестный голос:

Начинают, начинают

Грызть то место, чем грешил я, *

а потому этот сеньор вполне прав, говоря, что предпочитает быть крестьянином, а не королем, раз королей поедает такая нечисть.

Герцогиня, услышав наивные слова своей дужни, не могла удержаться от смеха, как не могла не подивиться на слышанные ею рассуждения и поговорки Санчо.

— Доброму Санчо наверное известно, — сказала она, — что если дворянин что-либо пообещал, то постарается это исполнить, хотя бы даже ценой своей жизни. Герцог, мой супруг и властелин, хоть и не странствующий, но все же рыцарь, и поэтому он исполнит свое слово насчет обещанного вам острова, хотя бы против него восстали вся зависть и злоба мира. Итак, Санчо, воспряньте духом, и в ту минуту, когда вы менее всего будете ожидать, вас возведут на престол вашего острова и государства, и вы примете бразды правления и не оставите их, пока вам не предложат бархата сортом повыше. А я прошу вас только об одном: правьте справедливо вашими вассалами, ибо, предупреждаю вас, все они честные и благородные люди.

— Насчет того, чтобы править справедливо, —

отвечал Санчо, — меня и просить незачем: я от природы человек сострадательный и жалею бедняков; кто сам месит тесто и сам выпекает, у того я коровая красть не стану; я готов побожиться, что мне меченой кости не подкинешь; я — старый пес и все посвисты знаю; я сумею протереть глаза, когда следует, и не потерплю, чтобы у меня перед глазами мыши бегали, ибо я знаю, какой бапмак натирает мне ногу; говорю я это к тому, что для добрых людей найдется у меня и рука и помощь, а для злых — ворота на запор, и с порога прочь. Сдается мне, что в вопросах правления самое главное — начало, и возможно, что за две неделки губерна-торства я в этом деле собаку съем и буду понимать его лучше, чем землепашество, хоть я и вырос за сохой.

— Вы правы, Санчо, — ответила герцогиня, — ученым никто не рождается, и даже епископы делаются из людей, а не из камней. Но, возвращаясь к тому, что мы только что говорили относительно очарования сеньоры Дульсинеи, — прибавлю, что считаю вполне несомненным и бесспорным следующее: Санчо вздумал подшутить над своим господином и уверить его, что крестьянка — никто иная, как Дульсинея, и что узнать ее нельзя потому, что она очарована, однако всю эту выдумку внушил ему один из волшебников, преследующих дон Кихота; ибо мне достоверно и подлинно из надежного источника известно, что поселянка, прыгнувшая на ослицу, была и есть Дульсинея Тобосская и, что добрый Санчо, думая обмануть, сам был обманут; и нельзя сомневаться в том, что это правда, как не

следует сомневаться в вещах, которых мы сами ни разу не видели; и знайте, сеньор Санчо Панса, что и здесь у нас есть волшебники, которые нас любят и рассказывают нам вполне правдиво и откровенно обо всем, что творится на свете, не стараясь ни обмануть нас, ни сбить с толку; итак, поверьте мне, Санчо, что крестьянка-прыгунья была и есть Дульсинея Тобосская и что очарована она не больше, чем мать, которая ее родила; мы еще ее увидим в ее собственном облике, когда менее всего будем этого ожидать, и тогда Санчо поймет, в каком он пребывал заблуждении.

— Все это вполне возможно, — ответил Санчо Панса, — теперь уж я готов поверить и тому, что мой господин рассказывал о пещере Монтесиноса, в которой, как он сказал, он видел сеньору Дульсинею Тобосскую в том самом платье и наряде, в которых, как я сказал, я ее встретил, когда мне вздумалось ее очаровать; а по-настоящему все дело вышло наоборот, как сказали вы, ваша милость, моя сеньора; ведь нельзя и не следует предполагать, будто мой жалкий умишко в одну минуту способен придумать такой хитрый обман, а, с другой стороны, господин мой не настолько уж безумен, чтобы мои жидкие и слабые уверения могли заставить его допустить такую совершенно неправдоподобную вещь. Однако, сеньора, мне бы не хотелось, чтобы ваше сепенство сочли меня вместе с тем человеком злокозненным; ведь такой простофиля, как я, не обязан понимать помыслы и происки мерзких волшебников; эту штуку я придумал, чтобы мой сеньор дон Кихот меня не поколотил, но у меня и намеренья не было его подвести; а если вышло

наоборот, то ведь богу на небесах все наши сердца открыты.

— Конечно, вы правы, — сказала герцогиня. — А теперь скажите мне, Санчо, что такое произошло в пещере Монтесиноса, о которой вы упоминали; мне было бы очень интересно об этом узнать.

Тут Санчо со всеми подробностями рассказал ей об этом приключении, как оно уже было нами изложено. Выслушав его, герцогиня сказала:

— Из этого происшествия можно заключить следующее: раз великий дон Кихот утверждает, что он встречал там ту самую крестьянку, которую Санчо видел при выезде из Тобосо, то, значит, несомненно она и есть Дульсинея и, значит, волшебники, бродящие по нашим местам, весьма хитры и не в меру изворотливы.

— То же самое и я говорю, — подхватил Санчо Панса: — если сеньора Дульсинея Тобосская очарована, то тем хуже для нее, и я вовсе не собираюсь тягаться с врагами моего господина, так как их множество и они наверно очень злые. Если говорить по правде, то встретился я с крестьянкой, признал ее за крестьянку и считал ее, конечно, крестьянкой; если же это была Дульсинея, то это меня не касается, и я тут не при чем — и крышка! А то все бегают за мной по пятам с расспросами и допросами: «Санчо то сказал», «Санчо то сделал», «Санчо пошел», «Санчо вернулся», как будто Санчо — первый встречный, а не тот самый Санчо Панса, о котором все на свете могут в книжке прочитать, — так по крайней мере говорил мне Самсон Карраско, а он в Саламанке самая бакалаврская персона, и такие

люди не могут врать, разве что уж очень им захочется или понадобится; а потому нечего на меня пенять; и раз про меня ходит добрая слава, а мой господин говорит, что доброе имя дороже великих богатств, то подавайте мне губернаторство и увидите, каких я патворю чудес, ибо кто был хорошим оруженосцем, сумеет быть и хорошим губернатором.

— Все, сейчас сказанное добрым Санчо, — сказала герцогиня, — сплошные изречения Катона, или по меньшей мере сентенции, извлеченные из недр самого Микаэля Верино *florentibus occidit annis*. * В конце концов, если выразиться его слогом, то под плохим плащом нередко скрывается хороший пьяница.

— Честное слово, сеньора, — ответил Санчо, — никогда в жизни я не пил из распутства; от жажды пивал, признаюсь, — ибо лицемерия у меня нет ни капли: пью, когда мне хочется и когда не хочется, пью, когда другие угощают, чтобы не показаться привередливым и невежливым; ведь когда приятель пьет за твое здоровье, нужно иметь прямо-таки мраморное сердце, чтобы не взяться за стакан. Так что я, хоть и ношу штаны, но их не пачкаю; тем более, что оруженосцы странствующих рыцарей почти постоянно пьют одну воду, ибо они вечно бродят по лесам, рощам, лугам, горам и утесам, а там хоть глаза себе выколи, все равно ни глотка вина не получишь.

— Охотно вам верю, — ответила герцогиня. — Ну, а теперь, Санчо, ступайте отдохнуть, а потом мы еще на досуге поговорим и распорядимся, чтобы вам поскорее *подали*, как вы выражаетесь, губернаторство.

Санчо снова поцеловал герцогине руки и попросил сделать ему милость позаботиться о его сером, которого он любит как зеницу ока.

— Что это за серый? — спросила герцогиня.

— Мой осел, — ответил Санчо: — чтобы не называть его этим именем, я обычно говорю — «серый»; когда мы приехали сюда в замок, я попросил вот эту сеньору дуэнью присмотреть за ним, а она на меня так окрысилась, как будто я ей сказал, что она безобразна или стара, а между тем для дуэний более подходящее и естественное занятие ухаживать за скотом, чем восседать в дворцовых палатах. Господи помилуй, — кого действительно терпеть не мог один идальго в нашем селе, так это именно этих сеньор.

— Должно быть, это был какой-нибудь мужлан, — возразила донья Родригес, — а если бы он был настоящим благовоспитанным идальго, он бы посадил их на самый рог луны.

— Ну, довольно, — прервала ее герцогиня, — замолчите, донья Родригес, а вы, сеньор Панса, успокойтесь; я беру на себя заботы о вашем сером, ибо если он такая драгоценность для Санчо, я буду беречь его как зеницу ока.

— Довольно будет, если его поставят в конюшню, — ответил Санчо, — ибо ни я, ни он недостойны того, чтобы ваше высочество хотя бы минуту обременяли себя такой забстой: я скорее соглашусь, чтобы меня изрешетили кинжалами; пусть мой господин уверяет, что по части учтивости лучше пересолить, чем недосолить, но все же в делах кобылиных и ослиных следует держать компас в руках и не переступать меры.

— Возьмите его с собой на губернаторство, —

сказала герцогиня, — там вы будете его в волю кормить и освободите от работы.

— Не думайте, ваша милость, сеньора герцогиня, что вы сказали вещь неслыханную, — ответил Санчо, — я не раз и не два видел, как ослов посылали на губернаторство, так что если я захвачу с собой своего серого, нового ничего в этом не будет.

Слова Санчо снова развеселили и рассмешили герцогиню, и, отослав его отдохнуть, она отправилась к герцогу, чтобы рассказать ему о своем разговоре с Санчо, и они вдвоем рассудили и обдумали, как им сыграть с дон Кихотом такую штуку, чтобы она оказалась превосходной и вполне соответствовала вкусам рыцарских романов; шуток в том же роде, остроумных и тонких, сделано было множество, и все они являются лучшими из приключений, описанных в этой великой истории.

ГЛАВА XXXIV

в которой рассказывается о том, как был найден способ расколдовать несравненную Дульсинею Тобосскую, а это приключение — одно из самых знаменитых в нашей книге



еликое удовольствие доставляли герцогу и герцогине беседы с дон Кихотом и Санчо Пансой; и, твердо укрепившись в намерении сыграть с ними шутку, которая имела бы видимость и подобие приключения, они решили воспользоваться тем, что дон Кихот рассказал им о пещере Монтесиноса, и одурачить его самым отменным образом (ничто так не восхищало герцогиню, как великое простодушие Санчо, который свято уверовал, что Дульсинея Тобосская была очарована, хотя сам же он бы волшебником и изобретателем всей этой проделки); и вот, растолковав слугам, как им должно себя вести, герцог и герцогиня, через шесть дней после приезда дон Кихота в замок, повезли его на псовую охоту, в которой участвовало столько егерей и ловчих, что и сам король не мог бы иметь больше. Дон Кихоту был предложен охотничий костюм, а Санчо зеленое платье из тончайшего сукна; но

дон Кихот не пожелал принять этот дар, заметив, что через несколько дней ему придется вернуться к суровому военному делу и что он не может возить за собой поклажу и гардероб. А Санчо взял то, что ему дали с намерением продать эту одежду при первом же удобном случае.

Когда наступил назначенный день, дон Кихот вооружился, а Санчо переоделся и, севши на своего серого, с которым он не хотел расставаться, хотя ему предлагали хорошего коня, занял место в толпе ловчих. Вышла герцогиня в пышном наряде, и дон Кихот, как любезный и воспитанный кавалер, придержал ее иноходца за узды, несмотря на сопротивление герцога; наконец, прибыли они на опушку леса, лежавшего между двумя огромными горами; после того, как все участки, стоянки и тропы были заняты и все охотники разошлись по разным местам, началась охота с таким шумом, криком и улюлюканьем, что участники не могли слышать друг друга из-за лая собак и звука рогов. Герцогиня спешилась и с острым дротиком в руках поместилась на участке, по которому, как ей было известно, обыкновенно пробегают дикие кабаны. Дон Кихот и герцог тоже спешились и стали рядом с ней; а Санчо поместился за ними, не сходя со своего серого, которого он не решался покинуть из опасения, как бы с ним не случилось какой-нибудь беды; и едва они сошли с коней и выстроились в один ряд с многочисленными слугами, как вдруг прямо на них вышел огромный кабан, которого травили собаки и гнали егеря; он щелкал зубами и клыками, и вся его пасть была в пене; увидев его, Дон Кихот взял в руку

щит, обнажил меч и двинулся ему навстречу. Герцог схватил дротик и последовал его примеру; но герцогиня опередила бы их обоих, если бы герцог ее не удержал. А Санчо, завидев громадного зверя, соскочил с серого, бросился бежать что было мочи и попробовал вскарабкаться на дуб, что ему никак не удавалось; добравшись до середины дерева, он ухватился за ветку и старался взобраться повыше, по судьба была к нему так сурова и безжалостна, что ветка обломилась, а он при падении зацепился за сук и повис в воздухе, не доставая до земли ногами. Чувствуя, что зеленый кафтан его трещит по швам, и опасаясь, что свирепое животное, побежав в эту сторону, наверное его достанет, он начал так орать и с таким жаром звать на помощь, что все, кто его слышал, но не видел, были уверены, что он попался в пасть дикому зверю. Наконец, клыкастый кабан пал, пронзенный множеством дротиков, направленных на него егерями; тогда дон Кихот, узнав Санчо по голосу, повернул голову в его сторону и увидел, что он висит на дубе вниз головой, а подле него стоит его серый, не покинувший своего хозяина в несчастьи; и Сид Амет прибавляет, что редко ему приходилось видеть Санчо без серого и серого без Санчо: так велика была их дружба и взаимная верность.

Дон Кихот подъехал и снял Санчо с дерева, а тот, увидев себя на свободе и на твердой земле, стал разглядывать свой порванный охотничий кафтан и сокрушаться сердцем, ибо был уверен, что этот костюм стоил целого майората. Между тем огромную тушу кабана взвалили на мула, покряки ветками розмарина и мирта и, как по-

бедный трофей, отвезли в разбитую на лужайке, посреди леса, просторную походную палатку, где уже были расставлены столы и приготовлен такой обильный и роскошный обед, что по одному этому угощению можно было заключить о щедрости и великолепии хозяев. Санчо показал герцогине прорехи своего порванного платья и сказал:

— Если бы мы охотились на зайцев или на птичек, то уж наверное мой костюм не постигла бы такая беда. Не понимаю, что вам за удовольствие гоняться за зверем, который одним ударом клыка может вас отправить на тот свет; помнится, я слышал старый романс, в котором поется:

Пусть медведь тебя задавит
Как преславного Фавилу.*

— Это сказано про одного готского короля, — заметил дон Кихот, — который на псовой охоте был съеден медведем.

— Я про это самое и говорю, — возразил Санчо: — не одобряю я того, что вельможи и короли подвергают себя подобным опасностям ради собственного удовольствия; и какое же это удовольствие — убивать животное, не совершившее никакого преступления?

— Нет, Санчо, вы ошибаетесь, — сказал герцог, — нет занятия, более достойного и необходимого для королей и вельмож чем псовая охота. Охота есть та же война: в ней применяются ловки, хитрости и засады, чтобы с безопасностью для себя одолеть врага; на охоте мы терпим и лютый холод, и невыносимую жару; мы презираем праздность и сон, укрепляем свои силы, упражняем наши члены и тем делаем их

более гибкими; одним словом, этим делом можно заниматься, никому не вреда и многим доставляя удовольствие; а лучшее, что в ней есть, — это



то, что она не всем доступна, между тем как другие роды охоты созданы для всех, правда, за исключением соколиной охоты, которая существует только для королей и знатных сеньоров.

Итак, Санчо, измените ваше мнение и, когда вы будете губернатором, занимайтесь охотой, и вы увидите, что она воздаст вам сторицею.

— О нет, — возразил Санчо, — хороший губернатор всегда сидит дома, словно у него сломана нога. На что это будет похоже, если просители придут к нему по спешному делу, а он тем временем будет забавляться где-то в лесу? Да так все его управление прахом пойдет! Честное слово, сеньор, и охота и прочие потехи больше подобают разным лентяям, чем губернаторам; а я для развлечения по большим праздникам буду играть в свои козыри, а в малые праздники и по воскресеньям—в кегли, а все эти ваши охоты не подходят к моему характеру и претят моей совести.

— Дай бог, Санчо, чтоб оно так и было, — ответил герцог, — ибо от слова до дела — расстояние не маленькое.

— Какое бы оно ни было, — возразил Санчо, — а хорошему плательщику никакой залог не страшен; и больше успевает тот, кому бог помогает, чем тот, кто встает с петухами; и не ноги владеют брюхом, а брюхо ногами; я хочу сказать, что если бог мне поможет, а я стану честно исполнять свой долг, то уж наверное буду управлять как орел, а не верите, положите мне палец в рот, — и тогда увидите, кусаюсь ли я или нет.

— Да проклянет тебя бог и все его святые, проклятый Санчо! — воскликнул дон Кихот. — Когда же наконец наступит день, и ты заговоришь без поговорок, без скачков и вполне связно, как я тебя уже много раз просил? Ваши высочества, сеньоры, оставьте этого болвана, ибо он из

вас вымотает душу своими пословицами; у него их не несколько штук, а целых две тысячи, и приводит он их всегда невпопад и не к месту; накажи его за то бог и меня заодно, если я соглашусь его слушать.

— Хотя у Санчо будет пословиц побольше, чем у Греческого Командора,* — сказала герцогиня, — по своей сжатости они заслуживают не меньшей похвалы. Про себя скажу, что пословицы Санчо мне нравятся больше командорских, хотя последние удачнее применены и лучше приходятся к случаю.

Беседуя о таких занимательных вещах, они вышли из палатки в лес, чтобы осмотреть разные участки и стоянки; между тем день кончился, и наступила ночь, но не тихая и ясная, как обычно бывает в это время года, то есть в середине лета; впрочем, сумрак, спустившийся на землю, весьма благоприятствовал затее герцога и герцогини; и вот, когда стемнело и сумерки сгустились, вдруг всем показалось, что лес загорелся со всех четырех сторон; то здесь, то там, то справа, то слева слышались звуки множества рожков и других военных инструментов, так что можно было подумать, что по лесу едут многочисленные отряды конницы. Блеск огней и воинственные звуки труб почти ослепили и оглушили не только наших охотников, но и вообще всех, находившихся в лесу. Вскоре послышались бесчисленные «мелий!», как обычно кричат мавры, бросаясь в бой; залились трубы и кларнеты, загремели барабаны, запели флейты, все в одно время и так стремительно и протяжно, что от смутного гула стольких инструментов всякий должен был потерять голову.

Герцог оцепенел, герцогиня изумилась, дон Кихот удивился, Санчо Панса затрясся, и даже те, кто знал в чем дело, перепугались. Со страха все замолчали, и в эту минуту перед ними появился гонец в костюме дьявола, который трубил не в рожок, а в огромный зияющий рог, издававший хриплые и жуткие звуки.

— Эй, братец гонец,— закричал герцог,— кто вы такой, и куда вы едете, и что это за войско проезжает по нашему лесу?

На это гонец ответил громовым и грозным голосом:

— Я дьявол, и ищущу я дон Кихота Ламанчского; а по лесу проезжают шесть отрядов волшебников, которые на триумфальной колеснице везут несравненную Дульсинею Тобосскую; она прибыла сюда, очарованная, в сопровождении храброго француза Монтесиноса, чтобы сообщить дон Кихоту, каким способом можно расколдовать сию знатную сеньору.

— Если бы вы были дьяволом, как вы это утверждаете и как это видно по вашей внешности,— ответил герцог,— вы бы уже давно узнали рыцаря дон Кихота Ламанчского, который стоит перед вами.

— Клянусь богом и совестью,— ответил дьявол,— я на него и не посмотрел: у меня голова так заморочена разными делами, что о главной цели моего прихода я и позабыл.

— Несомненно,— заметил Санчо,— что этот дьявол — почтенный человек и добрый христианин,— иначе бы он не стал клясться богом и совестью; теперь я начинаю верить, что и в самом аду можно найти добрых людей.

А дьявол, не сходя с лошади, повернулся лицом к дон Кихоту и сказал:

— К тебе, рыцарь Львов (чтоб тебе поскорее попасть к ним в когти!), меня посылает злополучный, но мужественный рыцарь Монтесинос и велит просить тебя от его имени, чтобы ты его дожидался на том самом месте, где я тебя застал; дело в том, что он везет ту, которую называют Дульсиной Тобосской, и он желает сообщить тебе, каким способом ты можешь ее расколдовать; вот и все, что мне было поручено передать, а потому мне незачем больше здесь оставаться. Да пребудут с тобою черти вроде меня, а с присутствующими господами — добрые ангелы!

С этими словами он затрубил в свой громадный рог, повернулся спиной, и не дожидаясь ответа, удалился.

Все слова изумились, и более всех — Санчо и дон Кихот; Санчо — потому, что, наперекор истине, все-таки выходило, что Дульсина очарована, а дон Кихот — потому, что он сам не был уверен в истинности происшествий в пещере Монтесиноса. Герцог прервал его глубокую задумчивость, сказав:

— Ну, что же, сеньор дон Кихот, ваша милость, будет его дожидаться или нет?

— А почему бы нет? — отвечал тот. — Хотя бы весь ад на меня ополчился, я бесстрашно и храбро выдержу его натиск.

— Ну, а я, ежели увижу еще одного чорта или услышу другую такую трубу, так идите меня не здесь, а во Фландрии, — сказал Санчо.

Тем временем совсем стемнело, и повсюду в лесу замелькало множество огоньков, подобно тому, как

в небе мелькают сухие испарения земли, которые кажутся нашим взорам падающими звездами. Одновременно раздался ужасающий шум, как будто скрипели резаные из дерева колеса телег, запряженных волами; говорят, что от этого резкого и протяжного скрипа убегают даже волки и медведи, если им повстречается такая телега. А к этому урагану звуков прибавился еще другой, покрывший собою все и вся; и, действительно, могло показаться, что на всех четырех концах леса одновременно происходило четыре битвы или сражения, ибо с одной стороны раздавались тяжелые залпы грозной артиллерии, с другой — трескотня множества мушкетов, вблизи как будто можно было различить крики сражающихся, а вдали звучали мавританские *лелли*. Одним словом, рожки, охотничьи рога, трубы, кларнеты, валторны, барабаны, пушки, мушкеты, а особенно страшный скрип телег, сливались все вместе в такой смутный и ужасающий гул, что дон Кихоту пришлось призвать на помощь все свое мужество, чтобы не растеряться; а Санчо сплоховал и без чувств повалился на юбки герцогини, которая прикрыла его и велела, чтобы ему поскорей брызнули в лицо водой. Так и было сделано, и Санчо пришел в себя как раз в ту минуту, когда одна из колесниц со скрипучими колесами подъехала прямо к ним.

В нее была впряжена четверка ленивых волов, покрытых черными попонами; к рогам каждого из них были привязаны большие горящие факелы из воска, а на колеснице стоял высокий трон, на котором восседал почтенный старец с бородой белее снега, спадавшей ему ниже пояса; на нем

была широкая одежда из черного холста; колесница освещалась множеством факелов, и потому не трудно было разглядеть и различить все, что в ней находилось. Везли ее два безобразных дьявола, одетых в ту же ткань, и рожи их были столь отвратительны, что Санчо, взглянув на них, закрыл глаза, чтобы не увидеть их вторично. Когда колесница поровнялась с нашими охотниками, почтенный старец поднялся со своего высокого сиденья и стоя вскричал громким голосом: — Я — мудрец Лиргандео.

Больше он ничего не сказал, и колесница поехала дальше; за ней появилась другая, в том же роде, с другим старцем на троне; по его знаку колесница остановилась, и он произнес не менее величественно, чем первый:

— Я — мудрец Алькифе, большой друг Урганды Неуловимой.

И поехал дальше. Затем тем же порядком приблизилась третья колесница; но на ее троне восседал не старец, как на первых двух, а плечистый мужчина свирепого вида; подъехав, он тоже вскочил на ноги, как и те двое, и закричал еще более хриплым и дьявольским голосом:

— Я волшебник Аркалаус, смертельный враг Амадиса Галльского и всего его рода.

И проехал дальше. Отъехав немного в сторону, все эти три колесницы остановились, и отвратительный скрип их колес сразу же прекратился; грохот затих, и раздались звуки нежной и стройной музыки, которые очень обрадовали Санчо, потому что он счел их добрым предзнаменованием; и он сказал герцогине, от которой не отходил ни на шаг:

-- Сеньора, где играет музыка, там не может быть ничего дурного.

— То же самое можно сказать про место, где есть свет и освещение,— ответила герцогиня.

На что Санчо возразил:

— Да, но, свет не бывает без огня, а освещение здесь от костров — вон сколько их горит вокруг нас; — ведь они могут при случае нас подпалить, между тем как музыка всегда означает веселье и праздник.

— Ну, это мы еще увидим, — сказал дон Кихот, слышавший их разговор.

И он был прав, как в этом можно убедиться из следующей главы.

ГЛАВА XXXV

где продолжается рассказ о том, как дон Кихот узнал о способе расколдовать Дульсинею и о других удивительных происшествиях



Хотники наши заметили, что под звуки этой приятной музыки приближалась к ним колесница вроде тех, что зовутся триумфальными; она была запряжена шестеркой гнедых мулов, покрытых белыми попонами; и на каждом из мулов сидел верхом кающийся в белой одежде, с большим зажженным восковым факелом в руке.

Эта колесница была раза в два, а то и в три, больше предыдущих, и на площадке ее и по бокам стояло еще двенадцать кающихся в белоснежных одеждах и с горящими факелами — зрелище, вызывавшее одновременно восхищение и ужас; а на высоком троне восседала нимфа под множеством покрывал из серебристой ткани, на которых повсюду сверкали бесчисленные листики золота, так что убор ее, не будучи богатым, казался великолепным. Лицо ее было прикрыто легким и прозрачным шелковым газом, сквозь складки которого просвечивали прелестнейшие девичьи черты, а множество факелов, освещав-

ших ее, позволяли судить о красоте и юном возрасте новоприбывшей, которой можно было дать от семнадцати до двадцати лет. Рядом с ней сидела фигура, одетая в платье с длинным шлейфом, доходившее до самых пят, и с черным покрывалом на голове; в ту минуту, как колесница остановилась прямо перед герцогом, герцогиней и дон Кихотом, на колеснице перестали играть кларнеты, арфы и лютни, а фигура в длинном платье поднялась на ноги, распахнула свою одежду, скинула с лица покрывало, и тут все явственно увидели образ самой Смерти, такой костлявой и безобразной, что дон Кихот нахмурился, Санчо струсил, а герцог и герцогиня чуть-чуть вздрогнули. А эта живая Смерть, вытянувшись во весь рост, немного сонным голосом и вялым языком произнесла следующее:

Я — тот Мерлин, о коем повествуют,
Что породил на свет его сам дьявол
(И эта ложь с годами укрепилась).
Я — магии Владыка, утвержденье
Потайной Зороастровой науки,
Борец я против времени и сроков,
Что подвиги завистливо скрывают
Великих странствующих паладинов,
Которым от меня — любовь и ласка.
И хоть всегда волшебники и маги,
И колдуны имеют вид суровый
И нрав крутой, жестоки в обращении, —
Но я по нраву нежен, ласков, мягок,
Благодеяния творя повсюду.

До самой сумрачной пещеры Дита,*
Там, где моя душа вся погрузилась

В сплетенье линий, пентаграмм и ромбов,
Доносится вдруг скорбный зов прекрасной
И дивной Дульсиной из Тобосо.



Тут я узнал, что силой злых заклятий
Она из знатной дамы обратилась
В крестьянку грубую. И вот, жалея

Ее, свой дух влагаю в оболочку
Я этого страшилища-скелета,
Затем, перелистав томов сто тысяч
Науки дьявольской и потаенной,
Являюсь я, с собой неся целенье
И злу большому и большому горю.

Да будет слава всем, кто облакался
В доспехи из несокрушимой стали!
О ты, маяк, тропа, вожатый, компас
Всех тех, кто, забывая о дремоте
И о перинах праздных, обрекает
Всю жизнь свою опаснейшему делу
Тяжелой и кровопролитной брани!
Внимай, о муж, ни разу по заслугам
Не одененный, о, внимай храбрейший,
Ты, дон Кихот, а вместе и мудрейший,
Звезда Испании и блеск Ламанчи:
Чтоб прежний образ снова мог вернуться
К прекрасной Дульсинее из Тобосо,
Для этого оруженосец Санчо

Пусть даст плетей три тысячи и триста
Себе по ягодицам по огромным,
Их выставив на вид, и пусть при этом
Те плети их пекут, томят и перчат.
К такому-то пришли постановленью
Виновники столь необычных бедствий,
А я послом являюсь сих известий.

— Ах, чтоб ты пропал! — вскричал на это Санчо. — Не то что три тысячи, а даже три плети для меня все равно, что кинжальные раны. Убирайся к чорту с таким способом расколдовывать! Не понимаю, что общего между моими ягодицами и всеми этими волшебствами! Ей богу, если

сеньор Мерлин не придумает другого способа расколдовать сеньору Дульсинею Тобосскую, так пускай ее и похоронят очарованной!

— А вот схвачу я вас, провонявший чесноком мужлан,— сказал дон Кихот,— привяжу к дереву в том виде, в каком вас мать родила, и влеплю вам не три тысячи триста, а шесть тысяч шестьсот ударов, да таких полновесных, что, дергайтесь вы хоть три тысячи триста раз,— они все равно не отлепят. И не возражайте ни слова, не то я вышибу из вас дух вон.

Услышав эти слова, Мерлин сказал:

— Нет, так делать не годится; ибо добрый Санчо должен принять эти удары не по принуждению, а по доброй воле и когда ему самому вздумается: никакого определенного срока для этого не назначено; впрочем, ему позволяется откупиться от половины порки, если он согласится, чтобы другую половину ударов нанесла ему чужая рука, хотя бы даже и тяжеловатая.

— Ни чужая, ни собственная, ни тяжеловатая, ни легковатая,— одним словом, никакая рука меня не коснется,— возразил Санчо.— Что я, родил, что ли, сеньору Дульсинею Тобосскую, чтобы своими ягодицами расплачиваться за грешные ее очи? Пускай платит мой господин, составляющий часть ее самой, так как он на каждом шагу называет ее своей *жизнью, душой, опорой и поддержкой*: он может и должен отстегать себя ради нее и исполнить все, что полагается, чтобы ее расколдовать. Но чтобы я стегал самого себя?— *Abernuncio*.*

Не успел Санчо это выговорить, как серебряная нимфа, сидевшая рядом с духом Мерлина,

вскочила на ноги и, откинув в сторону тонкое покрывало, показала всем превыше всякой меры прекрасное лицо; а потом, обратившись прямо к Санчо, она с довольно мужественной решительностью и не очень-то женственным голосом произнесла:

— О горемычный оруженосец, пустопорожняя душа, дубовое сердце, булыжно-кремневые внутренности! Если бы тебе, разбойник-душегуб, приказали броситься на землю с высокой башни; если бы тебя просили, враг рода человеческого, съесть дюжину жаб, две дюжины ящериц и три дюжины змей; если бы тебя упрашивали зарезать смертоносным и острым ятаганом жену и детей, то тогда никто не стал бы удивляться твоему лomanью и неумолимости; но придавать значение трем тысячам тремстам ударам плетью, в то время как самый скверный мальчуган из Школы закона божия * получает столько же в течение одного месяца, — вот что поражает, ошеломляет и потрясает всех сострадательных людей, которые на тебя смотрят, и потрясет равным образом и всех тех, кто впоследствии об этом узнает. Взгляни, жалкое и бесчувственное животное! Взгляни-ка глазами перепуганного сыча в мои очи, подобные сверкающим звездам, и ты увидишь, как капля за каплей и струйка за струйкой текут из них слезы, образуя борозды, проходы и тропки на прекрасных равнинах моих щек. Неужели же, пройдоха и зловредное чудовище, тебя не трогает, что мои цветущие годы, до сих пор еще не перевалившие за второй десяток, — ибо мне всего-на-всего девятнадцать лет и не исполнилось двадцати, — гибнут и увядают

под грубой корой мужицкого облика? И если теперь я предстаю в ином образе, то это только потому, что здесь присутствующий сеньор Мерлин оказал мне особую милость, дабы моя красота тебя растрогала; ибо слезы страждущей красавицы обращают утесы в вату и тигров в овечек. Бичуй же, бичуй свои мяса, о скот неистовый; расшевели свою отвагу, сказывающуюся у тебя только в обжорстве, в вечном обжорстве; возврати мне нежность кожи, кротость нрава и красоту лица; если же я не в силах умягчить твое сердце и склонить тебя к разумному решению, то сделай это ради несчастного рыцаря, который стоит рядом с тобой, сиречь, ради твоего господина, чью душу я сейчас созерцаю: она застряла у него в самом горле на расстоянии десяти пальцев от губ и в зависимости от твоего сурового или благосклонного ответа собирается или излететь из его уст, или вернуться обратно к нему в утробу.

Услышав эти слова, дон Кихот пощупал себе горло и, обратившись к герцогу, сказал:

— Клянусь богом, сеньор, Дульсинея говорит правду: душа моя действительно застряла у меня поперек горла, как ядрышко арбалета.

— Что вы на это скажете, Санчо? — спросила герцогиня.

— Скажу, сеньора, — ответил Санчо, — то, что уже раньше сказал: бить себя плетью — *abrenuncio*.

— Нужно говорить *abrenuncio*, Санчо, вы не так выговариваете, — заметил герцог.

— Оставьте меня в покое, ваше высочество, — ответил Санчо, — мне не до того сейчас,

чтобы заниматься тонкостями и считать буквы в словах; я очень взволнован тем, что меня высекут, или я сам себя высеку, и не понимаю, что я говорю и что делаю. Однако мне хотелось бы спросить сеньору донью Дульсинею Тобосскую: где она училась такой манере просить? Она уговаривает меня вспороть себе шкуру плетью и при этом называет меня пустопорожней душой, скотом неистовым и целою уймай бранных имен, которых и сам дьявол бы не стерпел. Да что, мое тело сделано из бронзы? Или это мое дело, расколдована ли она или не расколдована? Она хочет меня задобрить, а подносит мне не корзину, полную белья, рубашек, платков и полусапожек (хотя полусапожек я не ношу), а одно ругательство за другим, между тем как ей хорошо известны пословицы, которые у нас здесь в ходу: «золотой осел и на гору взвезет, а подарки скалу прошибают», «у бога проси, а сам молотом стучи», «одно „возьми“ лучше двух „подожди“». К тому же еще и сеньор, мой господин, вместо того, чтобы «погладить рукой мою коноплю»* и сделать меня мягким, как шерсть или чесаный хлопок, объявляет, что схватит меня, привяжет голым к дереву и всыплет двойную долю ударов; а кроме того всем этим скорбным сеньорам следовало бы заметить, что они хлопочут о порке не какого-нибудь оруженосца, а губернатора, а это, скажу я тебе, — не вишневая наливка! Нет, чорт возьми, пускай сперва научатся просить, уговаривать и быть вежливыми; ведь денек на денек не приходится, и не всегда же человек бывает в духе. Ведь я, можно сказать, сейчас рву и мечу от досады, что у меня порвался мой зе-

ленный кафтан, а они приходят и просят: «высеки себя по доброй воле», а у меня на это такая же добрая воля, как на то, чтобы сделаться капиком.*

— Право, друг Санчо, — сказал герцог, — если вы не сделаетесь мягче спелой фиги, то вам не придется управлять островом. Что скажут, если я пошлю к моим островитянам жестокого губернатора, каменное сердце которого не трогают ни слезы страждущих девиц, ни просьбы разумных, могучих и древних мудрецов и волшебников? Одним словом, Санчо, или вы себя высечете, или вас высекут, или вы не будете губернатором.

— Сеньор, — ответил Санчо, — не дадите ли вы мне два дня сроку, чтобы подумать, как лучше поступить?

— Нет, ни в коем случае, — возразил Мерлин. — Вы обязаны тут же, немедленно, принять решение насчет этого дела. Либо Дульсинья возвратится в пещеру Монтесиноса и примет свой прежний крестьянский облик, либо же она в том самом виде, в каком сейчас стоит перед вами, отправится в Елисейские поля и будет там пребывать, пока вы не нанесете себе полного числа ударов.

— Ну же, добрый Санчо, — сказала герцогиня, — решайтесь, оплатите добром за хлеб, что вы ели у вашего господина дон Кихота, которому мы все обязаны служить и помогать за великие его достоинства и высокие рыцарские дела. Дайте, сынок, ваше согласие на порку, и пускай себе чорт ухватит чорта, а страх — труса, вы ведь знаете, что о мужественное сердце разбиваются все невзгоды.

На эти слова Санчо ответил следующими вздорными речами, обращенными к Мерлину:

— Объясните мне, ваша милость, сеньор Мерлин, ведь сюда под видом гонца являлся дьявол, который передал моему господину поручение от сеньора Монтесиноса, и просил от его имени подождать на этом самом месте, говоря, что сеньор Монтесинос прибудет сюда и откроет, каким способом моему сеньору можно расколдовать донью Дульсинею Тобосскую, а между тем до сих пор мы не видели ни Монтесиноса, ни ему подобных.

На это Мерлин ответил:

— Друг мой Санчо, дьявол этот — невежда и величайший негодник; я отправил его к вашему господину с поручением вовсе не от Монтесиноса, а от меня самого, потому что Монтесинос сидит у себя в пещере и ждет не дождется, когда его расколдуют, так что ему еще надо вырвать из проруби хвост. Если он вам что-нибудь должен, или вы желаете о чем-нибудь с ним переговорить, я вам тотчас же его доставлю и препровожу, куда вы прикажете. Ну, а теперь дайте же наконец согласие на порку; и поверьте мне, она и душе вашей и телу принесет большую пользу: душе — потому, что вы проявите этим милосердие, а телу — потому, что вы, как я вижу, человек полнокровный, и небольшое кровопускание не может вам повредить.

— Очень уж много на свете лекарей: даже волшебники — и те этим делом занимаются, — ответил Санчо. — Ну, раз все меня уговаривают, то хотя я сам и другого мнения, я соглашаюсь нанести себе три тысячи триста ударов плетью,

но с условием, что я буду сечь себя, только когда мне это заблагорассудится, и что никто не станет мне назначать ни времени, ни срока: впрочем, я постараюсь развязаться с этим долгом как можно скорее, дабы весь мир мог порадоваться красоте сеньоры доньи Дульсиныи Тобосской, которая, повидимому, вопреки всем моим предположениям, действительно красавица. Кроме того я ставлю еще одно условие, а именно, что я не обязан сечь себя до крови, и если некоторые удары спугнут только мух, то все равно они будут мне зачтены. Затем, если я ошибусь в счете, сеньор Мерлин, от которого ничто не укрывается, возьмет на себя труд подсчитать и сообщить мне, сколько ударов еще недостает или сколько я сделал лишних.

— О лишних ударах сообщать не придется, — ответил Мерлин, — ибо как только вы дойдете до назначенного числа, сеньора Дульсиныя немедленно и вмиг будет расколдована и, полная признательности, явится к доброму Санчо, чтобы поблагодарить его и наградить за добрую услугу. Поэтому незачем заботиться о недостающих и лишних ударах, да и само небо не позволит мне вас обмануть хотя бы на волосок.

— Ну, тогда я отдаюсь в руки божьи! — ответил Санчо. — Я покоряюсь своей горькой участи, то есть согласен на бичевание с соблюдением упомянутых условий.

Не успел Санчо произнести эти слова, как вновь раздались звуки кларнетов, снова загрели бесчисленные выстрелы из мушкетов, а дон Кихот повис на шее у Санчо и стал осыпать его лоб и щеки тысячами поцелуев. Герцог, герцогиня и вся

свита выказали свое величайшее удовольствие, и колесница тронулась с места; отъезжая, Дульсинея отвесила поклон герцогу и герцогине и сделала глубокий реверанс Санчо.

А между тем радостная и улыбчивая заря быстро появилась на небе; полевые цветочки приподняли и выпрямили свои опущенные головки, а хрустальные воды ручейков, журча меж белых и желтых камешков, понесли свою дань рекам, поджидавшим их вдали. Веселая земля, ясное небо, прозрачный воздух, яркий свет, — все это, каждое в отдельности и взятое вместе, красноречиво свидетельствовало о том, что день, гнавшийся по стопам Авроры, обещает быть светлым и ясным. Герцог и герцогиня, довольные и охотой и тем, что им удалось так остроумно подшутить над дон Кихотом, возвратились в замок, с намерением придумать новую потеху, ибо никакое другое дело не могло бы доставить им большего наслаждения.

ГЛАВА XXXVI

*в которой рассказывается о необычном и трудно
вообразимом приключении с дуэньей Долоридой,
сиречь графиней Трифальди, а также о письме,
которое Санчо Панса написал жене своей Тересе
Панса*



герцога был дворецкий, большой шутник и забавник, — это он исполнял роль Мерлина, распорядился устройством вышеописанного приключения, сочинил стихи и поручил одному из пажей роль Дульсинеи. При содействии своих господ он в скором времени придумал новое зрелище, искуснее и забавнее которого нельзя себе и представить.

На следующий день герцогиня спросила Санчо, приступил ли он к покаанным упражнениям, которые он должен был проделать для расколдования Дульсинеи? Он ответил, что приступил и что этой ночью нанес себе пять ударов. Герцогиня спросила, чем он их нанес? Санчо ответил, что рукою.

— Это более похоже на рукоплескание, чем на удары плетью, — заметила герцогиня. — Я лично уверена, что такая снисходительность к

себе не понравится мудрому Мерлину; вам бы следовало, добрый Санчо, завести себе плети с пипами или маленькими гирьками, чтобы было почувствительнее; наука в человека с кровью входит, а такой дешевой ценой нельзя купить свободу столь знатной сеньоры, как Дульсиция; и заметьте, Санчо, что дела милосердия, выполняемые нерадиво и нерачительно, не имеют значения и никогда не зачитываются.*

На это Санчо ответил:

— А вы, ваша светлость, подарите мне подходящий бич или плетки, и я буду ими пользоваться, если только они не слишком больно стегают; ибо должен доложить вашей милости, что хотя я и мужик, а тело у меня более похоже на вату, чем на дерюгу, и не годится мне калечить себя ради чужой прибыли.

— В добрый час, — ответила герцогиня, — завтра я подарю вам плетки, которые придется вам как раз в пору и подойдут к вашей нежной коже, как родные сестры.

На это Санчо ответил:

— Да будет известно вашему величию, моя дорогая сеньора, что я написал письмо моей жене, Тересе Панса, в котором оповедаю ее обо всем, что со мной приключилось с тех пор, как мы с нею расстались; оно у меня тут за пазухой, — остается только надписать адрес; мне бы хотелось, чтобы ваше мудрейшество прочитали его, ибо мне кажется, что оно написано губернаторской особой, то есть вполне так, как должны писать губернаторы.

— А кто ж его сочинил? — спросила герцогиня.

— Да кому ж было его сочинить, как не мне, грешному? — ответил Санчо.

— А написали его тоже вы? — продолжала герцогиня.

— Ишь, чего захотели, — ответил Санчо, — да ведь я не умею ни читать, ни писать, хотя, впрочем, подписываюсь.

— Дайте посмотреть, — сказала герцогиня, — я не сомневаюсь, что в этом письме вы выказали все качества и способности вашего ума.

Санчо вытащил из-за пазухи незапечатанное письмо, герцогиня взяла его и прочла следующее:

Письмо Санчо Пансы
к Тересе Пансе, его жене.

Хоть меня и приговорили к плеткам, зато я славно верхом прокатился;* если я и получу губернаторство, то вскочит оно мне в хорошую порку. Всего этого ты теперь не поймешь, милая Тереса, но в другой раз я тебе объясню. Да будет тебе ведомо, Тереса, что я твердо решил, что тебе необходимо развезжать в карете;* это дело самое подходящее, а пешком пусть себе ходит кошка за мышами. Ты — жена губернатора; смотри же не позволяй никому наступать тебе на пятки! При сем посылаю тебе зеленый охотничий кафтан, который мне пожаловала сеньора герцогиня; постарайся переделать его на юбку и корсаж для нашей дочки. О господине моем дон Кихоте в этих краях говорят, что он хоть и сумасшедший, но умный, хоть сумасброд, а забавник, и что я ни в чем ему не уступаю. Побывали мы в пещере Монтесиноса, и мудрый Мерлин, желая расколдовать Дульсинею Тобосскую, которая у себя на родине называется Альдонсой Лоренсо, выбрал для этой цели меня; мне остается еще нанести себе три тысячи триста ударов, выключая пять, — и тогда она будет расколдована, как мать, которая ее родила. Ты об этом ничего никому не говори;

а то вынесешь на люди свое дело, и один тебе скажет — белое, а другой — черное. Через несколько дней я отправляюсь на свое губернаторство, и меня разбирает желание нажать побольше денег, ибо мне говорили, что все новоиспеченные губернаторы уезжают с этим именно желанием; я обживусь и сообщу тебе, стоит ли тебе приезжать или нет. Серый чувствует себя хорошо, посылает тебе поклоны, а я не собираюсь с ним расставаться, хотя бы меня сделали турецким султаном. Герцогиня, моя госпожа, тысячу раз делует тебе ручки, а ты ей на тысячу ответь двумя тысячами, ибо, как говорит мой господин, любезные выражения обходятся дешево, и ничего не стоят. Господу богу не было угодно послать мне еще один чемоданчик с сотней червонцев, как прошлый раз; но ты не огорчайся, милая Тереса: кто бьет в набат, сам сидит в безопасности; пусть только стану я губернатором, а мы с тобой полотно набелим; одно только меня тревожит: говорят, что если я хоть раз попробую этого лакомства, то я вместе с ним проглочу свои руки; ежели это случится, то губернаторство вскочит мне в копеечку, хотя, впрочем, и калекам и безруким подают столько милостыни, что они живут, как каноники; итак, не одним способом, так другим я наверное сделаю тебя богатой. Да пошлет тебе бог всякого благополучия, и да сохранит он меня тебе на пользу.

Писано в этом замке 20 июля 1614 года.

Твой супруг, губернатор

Санчо Панса.

Герцогиня, прочитав письмо, сказала Санчо:

— В двух местах наш добрый губернатор немного сбился с дороги: во-первых, когда он пишет и объясняет, что губернаторство было ему пожаловано за то, что он согласился себя высечь, а между тем он знает и не станет опровергать, что в ту минуту, когда мой муж герцог пообе-

щал Санчо остров, никакая порка ему и во сне не снилась; во-вторых, когда Санчо выказывает свое крайнее корыстолюбие; я боюсь, как бы дело не кончилось цветочками майорана, ибо жадность рвет мешок, и корыстолюбивый правитель не может творить правый суд.

— Да я совсем не то хотел сказать, сеньора, — ответил Санчо: — и если вашей милости кажется, что письмо написано не так, как следует, так мы его сейчас порвем и напишем другое, но только другое может выйти еще хуже, если я буду полагаться на собственные мозги.

— Нет, нет, — возразила герцогиня, — письмо написано хорошо, и мне хотелось бы показать его герцогу.

После этой беседы они отправились в сад, где в этот день было накрыто к обеду.

Герцогиня показала письмо Санчо герцогу, и он прочел его с огромным удовольствием. Они пообедали, и когда убрали со стола, герцог и герцогиня долго еще сидели, наслаждаясь забавным разговором Санчо, как вдруг послышался заунывный звук флейты и глухие и неприятные удары барабана. Все, казалось, были поражены этой тревожной, воинственной и печальной музыкой, особенно дон Кихот, который от волнения не мог усидеть на месте; про Санчо же скажем только, что он со страха забился в свое привычное убежище, то есть поближе к бочку и юбкам герцогини, ибо, по правде-истине сказать, доносившиеся из сада звуки были весьма печальны и унылы. Итак, все были в большом смущении, как вдруг в сад вошло два человека в траурных одеждах, столь широких и длинных, что

края их влачили по земле. Они ударили в большой барабан, тоже обтянутый черной тканью. Рядом с ними шествовал флейтист, такой же черный и крошечный, как и они. За этими тремя следовал человек гигантского роста, не столько одетый, сколько закутанный в черный-пречерный кафтан, украшенный непомерно длинным плейфом; широкая и тоже черная перевязь опоясывала его поперех кафтана, и на ней висел громаднейший ятаган в черной оправе и в таких же ножнах. Лицо человека было закрыто прозрачным черным покрывалом, сквозь которое просвечивала длиннейшая, белая, как снег, борода. Он шествовал величественно и важно в такт барабана. Словом, его громадный рост, дюжая поступь, черное облачение и свита могли бы смутить, да и смутили всех, кто смотрел на него, не зная, кто он такой.

Медленно и напыщенно, как было описано, приблизился он к герцогу, который поджидал его, стоя в кругу своих приближенных, — и опустился перед ним на колени. Но герцог заявил незнакомцу, что он ни за что не будет с ним разговаривать, пока он не встанет. Тогда это чудовищное пугало повиновалось и, встав, откинуло с лица покрывало и открыло такую страшную, окладистую, белую и густую бороду, какой никогда еще до того дня не созерцали человеческие глаза; затем из глубины его широкой и могучей груди вылетел и вырвался звучный и пизкий голос; устремив глаза на герцога, незнакомец сказал:

— Высочайший и могущественнейший сеньор, меня зовут Трифальдин Белая Борода; я — оруженосец графини Трифальди, иначе именуемойся



дуэнья Долорида; она отправила меня с посольством к вашему высочеству, дабы просить ваше великолепие благосклонно разрешить и дозволить ей предстать перед вашей милостью и рассказать о своей горести, самой необыкновенной и удивительной из всех, какие только может вообразить самое горестное воображение на свете; и прежде всего ей желательно знать, не находится ли в вашем замке отважный и никем еще не побежденный рыцарь дон Кихот Ламанчский, в поисках которого она прибыла в ваше государство из королевства Кандайя пешком и натошак — деяние, которое можно и должно объяснить лишь чудом или силою волшебства; она ждет у ворот вашей крепости или загородного дворца, и явится сюда, как только вы дадите мне благоприятный ответ. Я кончил.

Тут он кашлянул, обеими руками оправил свою бороду сверху донизу и с большим достоинством стал ждать ответа герцога. А тот сказал следующее:

— Уже давно, добрый оруженосец Трифальдин Белая Борода, дошла до нас весть о беде, постигшей сеньору графиню Трифальди, которую волшебники заставляют именовать себя дуэньей Долоридой; и вы, о диковинный оруженосец, можете попросить ее войти и передать ей, что храбрый рыцарь дон Кихот Ламанчский находится здесь, и что на его великодушие она может с уверенностью положиться, прося у него помощи и защиты; сообщите ей также от моего имени, что я ее тоже поддержу (если мое покровительство может ей пригодиться), поскольку меня обязывает к этому мое рыцарское достоинство, предписы-

вающее и повелевающее мне покровительствовать всякого рода женщинам, особенно же потерпевшим и недугующим вдовам-дуэньям, к числу которых, без сомнения, относится и ваша госпожа.

Услышав это, Трифальдин преклонил колени до самой земли, велел знаком флейтисту и барабанщикам заиграть снова и под музыку удалился из сада той же поступью, как и вошел, между тем как все присутствовавшие продолжали дивиться его виду и осанке.

Герцог обратился к дон Кихоту и сказал ему:

— О знаменитый рыцарь! мрак злобы и невежества не в силах больше затмить и помрачить блеск вашей доблести и отваги. Говорю я это к тому, что ваша доблесть прожила в нашем замке каких-нибудь шесть дней, а к вам уже являються люди из далеских и чуждых стран, и притом они не приезжают в каретах или верхом на верблюдах, а приходят пешком и натошак, ибо в горести и печали их питает уверенность, что ваша могущественная рука избавит их от всех злополучий и испытаний; и все это благодаря вашим великим подвигам, молва о которых растет и ширится по всему лицу земли.

— Хотелось бы мне, сеньор герцог, — ответил дон Кихот, — чтобы здесь сейчас присутствовал тот почтенный духовник, который недавно за столом проявил такое недоброежелательство и злую враждебность по отношению к странствующим рыцарям, — пусть бы он собственными глазами увидел, что эти рыцари не так уж бесполезны на свете; во всяком случае, он с достоверностью бы убедился, что люди, непомерно

угнетенные и безутешные, попадая в великие беды и в безграничные невзгоды, ищут помощи не у порогов ученых, не у дверей деревенских пономарей, не в домах рыцарей, которым ни разу в жизни не приходилось покидать свои поместья, и не у изнеженных царедворцев, которые очень любят выспрашивать новости и потом болтать о них и рассказывать приятелям, но вовсе не любят сами совершать деяния и подвиги, достойные того, чтобы о них рассказали и написали другие. Искоренять злополучия, помогать в нужде, защищать девиц, утешать вдов — странствующие рыцари умеют лучше, чем люди всех других званий, и я возношу небу бесконечные благодарения за то, что оно сделало меня рыцарем; и какие бы труды и горести ни встретились мне на этом почетном поприще, я считаю, что все они принесут пользу. Пусть явится эта дуэнья и попросит у меня всего, что ей захочется: сила моей руки и бестрепетная решимость моего отважного духа доставят ей исцеление от бед.

ГЛАВА XXXVII

в которой продолжается рассказ о знаменитом приключении с дуэньей Долоридой



ерцог и герцогиня были чрезвычайно довольны, видя, с какой легкостью дон Кихот поддается их замыслу; в эту минуту заговорил Санчо:

— Боюсь я, как бы эта сеньора дуэнья не подставила ножку обещанному мне губернаторству; дело в том, что один аптекарь-толедаец,* который по части правильного выговора собаку съел, говаривал мне не раз, что где в дело замешаются дуэньи, там уж ничего хорошего не жди. Господи помилуй, до чего этот аптекарь терпеть не мог дуэний! Вот я и думаю, что раз все дуэньи докучливы и зловредны, без различия их звания и положения, то каковы же должны быть дуэньи *Долориды*,* вроде этой графини Три Фалды или Три хвоста? (У нас в деревне, что фалды, что хвосты — все едино.)

— Замолчи, друг мой Санчо, — сказал дон Кихот; — эта сеньора дуэнья приехала ко мне из таких дальних стран, что уж наверное она не входит в число тех дуэний, о которых говорил аптекарь,

тем более, что она — графиня, а графини служат дуэньями только королевам или императрицам, а у себя дома они — весьма знатные дамы, и им прислуживают другие дуэньи.

Донья Родригес, слышавшая этот разговор, сказала:

— У моей сеньоры герцогини есть такие дуэньи, которые тоже могли бы быть графинями, если бы судьбе было угодно; но туда клонит закон, куда король хочет; и пусть никто не говорит дурно о дуэньях, особенно, если они старые девы; хотя я и не принадлежу к их числу, но все же мне ясно и понятно, что дуэньи-девицы имеют преимущество перед дуэньями-вдовами, а кто сунется нас стричь, у того ножницы к рукам прилипнут.

— А все-таки, — возразил Санчо, — по мнению моего дырюльника, у дуэний есть столько чего остричь, что лучше нам к этой кашиде не подступаться.

— Оруженосцы всегда были нашими врагами, — ответила донья Родригес, — они, идолы, вечно торчат в передних и вечно с нами встречаются, так что все время, свободное от молитв (а его у них предостаточно), они сплетничают: перебирают нас по косточкам и роют яму нашей доброй славе. Чтоб им всем попасть на пловучие доски,* а мы на зло им будем жить, да еще в княжеских палатах, хотя бы нам приходилось там помирать с голода, и покрывать свои мягкие или немягкие тела черными хламидами на манер того, как во время крестного хода покрывают коврами навозные кучи. Честное слово, если бы только время приспело и было позволено, я бы с легкостью могла

доказать целому миру, а не одним лишь присутствующим, что в груди у дуэньи цветут все добродетели.

— Мне кажется, — сказала герцогиня, — что моя добрая донья Родригес права, и даже очень права; но ей придется подождать, ибо теперь не время выступать на защиту себя самой и остальных дуэний, опровергая дурное мнение злого аптекаря и искореняя предубеждение великого Санчо Пансы.

На это Санчо ответил:

— С тех пор, как я подобрался к губернаторскому званию, я больше не подвержен слабостям оруженосцев, а потому теперь за всех дуэний на свете я и дикой фиги не дам.

Разговор о дуэнях наверное бы продолжился, если бы не послышались снова звуки флейты и барабанов, из чего все присутствующие заключили, что дуэнья Долорида уже вошла в сад. Герцогиня спросила герцога, не следует ли выйти к госте навстречу, поскольку она все-таки графиня и знатная дама, но, прежде чем герцог успел ответить, Санчо сказал:

— Поскольку она графиня, вашим высочествам надлежит выйти к ней навстречу; но, поскольку она дуэнья, я считаю, что вам незачем двигаться с места.

— Кто тебя просит вмешиваться, Санчо? — сказал дон Кихот.

— Кто просит? — ответил Санчо. — Я вмешаюсь потому, что имею право вмешиваться в качестве оруженосца, изучившего правила вежливости в школе вашей милости, а ведь вы — самый вежливый и, можно сказать, благовоспи-

таный рыцарь; в делах же учтивости, как ваша милость мне объясняли, столько же теряет тот, у кого одной картой больше, сколько и тот, у кого одной картой меньше; больше ничего не скажу: умному человеку и двух слов довольно.

— Правильно сказано, Санчо, — промолвил герцог, — посмотрим сначала, какой вид у этой графини, а затем определим, какие ей полагаются почести.

В эту минуту снова предстали перед ними флейтист и барабанщики. И тут автор заканчивает эту короткую главу и переходит к следующей, посвященной тому же приключению, занимающему одно из видных мест в нашей истории.

ГЛАВА XXXVIII

*в которой передается рассказ дуэньи Долориды
о ее злоключениях*



Предшествуемые печальными музыкантами, двумя рядами вошли в сад двенадцать дуэний, в широких хламидах, на вид из шерстяной рядпки, и в белых токах* из тонкого коленкора, с длиннейшими крыльями, из-под которых едва проступала нижняя каемка хламиды. За ними выступала графиня Трифальди, опираясь на руку оруженосца Трифальдина Белая Борода; она была одета в платье из тончайшей черной байки с таким длинным ворсом, что после завивки каждый его узелок наверное стал бы похож на крупную мартосскую* горошину; шлейф или, если угодно, хвост ее платья, состоял из трех концов, которые несли в руках три пажа, тоже одетые в траур; три острых угла, образованные тремя его концами, составляли красивую математическую фигуру, и все, смотревшие на остроконечный шлейф, догадались, что именно это украшение и объясняет имя графини *Трифальди*, иначе говоря, графини *Трех фалд*; к тому же и Бененхели утверждает, что это так и что настоящее ее имя

было графиня *Лобуна*,* ибо во владениях ее водилось множество волков; но если бы вместо волков там кишмя кишели лисицы, то графиня именовалась бы *Сорруна*,* ибо в тех краях было принято, чтобы владетельные особы называли себя именем того предмета или предметов, которыми изобиловали их поместья; однако наша графиня, желая прославить необычайность своего шлейфа, оставила имя *Лобуны* и приняла имя *Трифальди*.

Торжественным шагом выступала эта сеньора, окруженная своими дуэньями, лица которых были закрыты черными покрывалами, но не прозрачными, как у Трифальдина, а такими густыми, что сквозь них ничего не просвечивало. Когда вся процессия дуэний проникла в сад, герцог, герцогиня и дон Кихот встали, а за ними и все остальные, взиравшие на это медлительное шествие. Дуэньи остановились, образовав проход, посредине которого прошла Долорида, продолжая опираться на руку Трифальдина. При виде этого герцог, герцогиня и дон Кихот сделали шагов двенадцать ей навстречу. А она опустилась на колени и голосом нежным и тонким, а скорей хриплым и грубым, произнесла:

— Будьте любезны, ваши высочества, не оказывайте таких почестей вашему покорному слуге, то-бишь служанке, ибо я особа скорбящая, а потому не сумею ответить вам, как полагается, по той причине, что мое удивительное и доселе невиданное злополучие лишило меня разума и унесло его, должно быть, на край света, так что чем больше я его ищу, тем меньше могу найти.

— Поистине, сеньора графиня, — ответил гер-

цог, — лишился бы разума тот, кто, созерцая вашу особу, не догадался бы о ваших достоинствах, которые, вне всякого сомнения, заслуживают самых сливок учтивости и самого цвета изысканных церемоний.

Тут он предложил ей руку и усадил в кресло рядом с герцогиней, приветствовавшей графиню с неменьшей любезностью. Дон Кихот молчал, а Санчо умирал от желания увидеть лицо Трифальди или одной из ее многочисленных дуэний; но это было невозможно, и приходилось ждать, пока они сами по доброй воле и охоте откроют свои лица.

Все стояло тихо и хранило молчание, с нетерпением ожидая, чтобы кто-нибудь его нарушил; наконец дуэнья Долорида произнесла такие слова:

— Я уверена, могущественнейший сеньор, прекраснейшая сеньора и вы все, мудрейшие господа, что мое горчайшее горе встретит в ваших доблестнейших сердцах прием не менее благосклонный, чем великодушный и сострадательный, — ибо горе мое столь велико, что оно могло бы растрогать мрамор, умягчить алмазы и растопить сталь самых жестоких сердец на свете; но прежде чем моя повесть постучится в ворота вашего слуха, чтобы не сказать — ушей, я хотела бы узнать о том, находится ли в лоне вашего собрания или сообщества безупречнейший рыцарь дон Кихот Ламанчайший и его оруженоснейший Панса.

Прежде чем кто-либо успел ответить, Санчо заявил:

— Панса — здесь, дон Кихотейший тоже, а посему, обездоленнейшая и дуэнейшая, вы можете говорить, что вам будет угоднейше, ибо все мы

готовы наискорейше быть вашими случайными слугами.

В эту минуту дон Кихот встал и, обратившись к дуэнье Долориде, сказал:

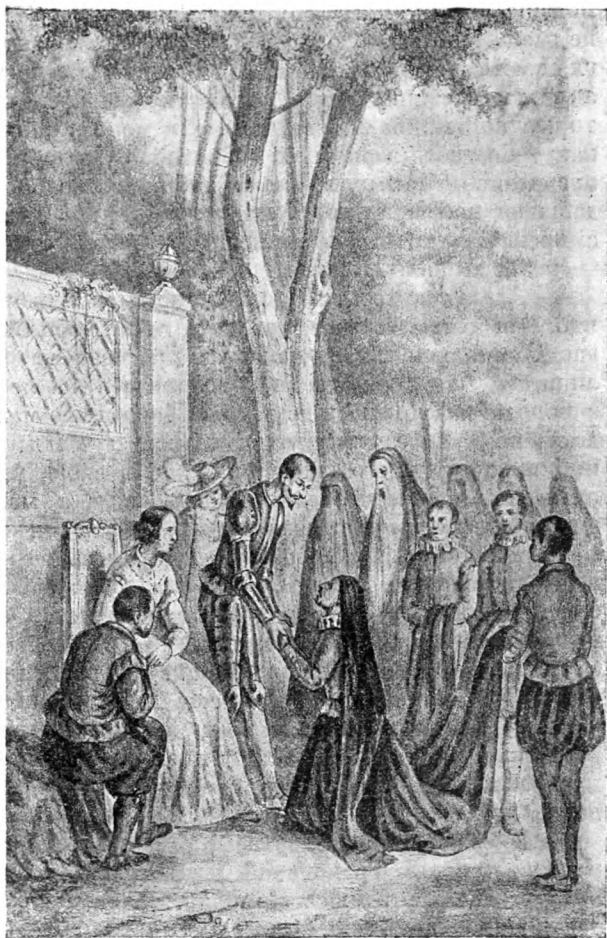
— Если ваши бедствия, о утесненная сеньора, оставляют вам хоть малую надежду на то, что доблесть и сила странствующего рыцаря способны вам помочь, то я готов все мои силы, как бы слабы и незначительны они ни были, употребить на служение вам. Я — дон Кихот Ламанчский, чье призвание — помогать всем нуждающимся; а раз это так, то вам незачем, сеньора, стараться снискать наше благорасположение и пускаться в длинные предисловия; расскажите нам прямо и без обиняков о ваших горестях, — мы вас слушаем и готовы вам помочь или, по крайней мере, погоревать вместе с вами.

Услышав эти слова, дуэнья Долориды сделала движение вперед, как бы желая броситься к ногам дон Кихота; и она действительно упала на колени и, пытаясь обнять его ноги, сказала:

— Я припадаю к вашим стопам и коленям, о непобедимый рыцарь, как к столпам и колопнам всего странствующего рыцарства; я хочу облобызать эти стопы, от шагов которых зависит избавление мое от всех бед, о доблестный странствующий рыцарь, чьи истинные деяния превосходят и затмевают все сказочные подвиги Амадисов, Эспландьянов и Бельянисов.

Затем она обратилась к Санчо Панса и, схватив его за руки, сказала:

— О ты, вернейший из оруженосцев, сопутствовавших странствующим рыцарям настоящего времени и минувших веков, ты, чьи достоинства



больше бороды моего спутника Трифальдина, ныне здесь присутствующего! Ты в праве гордиться своей службой великому дон Кихоту, ибо в его лице ты служишь всему множеству рыцарей, которые когда-либо на свете владели мечом. Заклинаю тебя твоей вернейшей добротой, будь добрым посредником между мною и твоим господином, дабы он поспешил взять под свою защиту меня, смиреннейшую и злополучнейшую графиню.

На это Санчо ответил:

— Для меня весьма безразлично, моя сеньора, что мои достоинства столь же велики и обильны как борода вашего оруженосца; для меня важно лишь то, чтобы моя душа отправилась на небо с бородой и усами,* а до земных бород мне мало дела; но я и без этих упрасиваний и уламываний попрошу моего господина (ибо я знаю, что он меня любит, особенно теперь, когда я могу ему пригодиться в одном дельце), чтобы он по мере сил помог и пособил вашей милости; ну-ка, выкладывайте нам ваши огорчения, рассказывайте, ваша милость, и особенно не беспокойтесь, мы с вами как-нибудь сговоримся.

Слыша подобные речи, герцог и герцогиня, отлично разбиравшиеся во всем этом приключении, помирали со смеха и не переставали восхищаться про себя остроумием и искусной игрой графини Трифальди; а та, усевшись снова, начала так:

— В славном королевстве Кандайя, лежащем между великой Трапобаной и Южным морем, в двух милях от мыса Коморин, правила королева, донья Магунсия, вдова короля Арчипьелы; в браке со своим супругом и властелином при-

жила и произвела она на свет инфанту Антономасию, наследницу престола, и сия вышеупомянутая инфанта Антономасия выросла и воспиталась под моим надзором и попечением, ибо я была старшей и знатнейшей из всех дузний ее матушки. Время себе шло да шло, маленькой Антономасии исполнилось четырнадцать лет, и была она так прекрасна, что, казалось, природа не могла создать ничего более совершенного. Не подумайте, однако, что умишко у нее был младенческий! Была она такой же умницей, как и красавицей, лучше всех красавиц на свете, и не только была, но и есть, если только завистливый рок и жестокосердые парки не пресекли нить ее жизни. Но, надо думать, они этого не сделали, ибо небо не могло позволить, чтобы в мире случилось такое злодеяние и чтобы гроздь самой прекрасной лозы во вселенной была сорвана незрелой. Красота ее, которую мой неповоротливый язык не в силах восхвалить по заслугам, воспламенила сердца бесчисленных принцев, и из наших краев и из чужих земель; и вот, среди них один простой рыцарь отважился устремить свои желания к небу ее великой красоты; он полагался на свою молодость, изящество, на многочисленные свои способности и таланты, а также на блеск и тонокость своего ума; ибо должна я сказать вашим высочествам, если только мой рассказ вам не наскучил, что когда он играл на гитаре, то казалось, что струны ее говорят; к тому же был он поэтом и отличным танцором, умел делать клетки для птиц и мог бы в случае крайней необходимости этим искусством зарабатывать себе на жизнь; обладая столькими талантами и достоин-

ствами, он мог бы гору сдвинуть с места, а не то что покорить сердце нежной девушки. Но все его изящество и достоинства, все его таланты и способности не помогли бы ему взять приступом крепость моей воспитанницы, если бы этот разбойник и душегуб не прибег к хитрости и не повел осаду сперва против меня. Этот лиходей и бесчеловечный пройдоха решил сначала втереться в мое сердце и купить мое расположение, дабы я, недостойный комендант крепости, вручила ему ключи, данные мне на хранение. Одним словом, он лестью усыпил мой разум и завоевал мое сердце разными безделками и побрякушками. Твердыня моего благоразумия рухнула и рассыпалась окончательно, когда однажды ночью, сидя у решетки, выходящей в узкий переулочек, я услышала его пение, а пел он, как мне помнится, вот что:

От моей врагини сладкой
Сердце раны получает,
И тем более страдает,
Что страдать должно украдкой.

Стихи эти показались мне чудесными, а голос его — сладким, как мед; и вот впоследствии, когда я поняла, до какой беды довели меня эти и им подобные стихи, я пришла к заключению, что из благоустроенных государств поэтов следует изгонять, как это советовал Платон, по крайней мере, поэтов любострастных, ибо строфы их не похожи на стихи о маркизе Мантуанском, над которыми дети и женщины в восхищении проливают слезы; нет, их хитроумные куплеты пронзают вам душу подобно нежным шипам и поражают ее словно молния, не прожигая однако одежды.

Вот что он еще пел:

Смерть, приходи, но осторожно,
Чтоб мне было не слышать:
Так ведь сладко умирать,
Что воскреснуть тут возможно.*

А кроме того еще другие стишки и куплеты в том же роде, которые, когда их поют, пленяют, а когда их читают, восхищают. Но что сказать, когда поэты снисходят до сочинения того рода стихов, которые в то время были в большом ходу в Кандайе и назывались сегндильями? Слушая их, душа наша подпрыгивает, тело приплясывает, смех так и разбегается, и во все наши чувства вселяется ртуть. Итак, повторяю, сеньоры мои, подобных стихотворцев по справедливости следовало бы высылать на Острова Ядерид.* Однако виноваты не они, а те простофили, которые их восхваляют, и те дураки, которые им верят; и если бы я была добродетельной дуэньей, какой мне надлежало быть, меня бы не тронули все эти полуночные песенки, и я бы не поверила в правдивость выражений вроде: *живу умирая, пылаю во льду, замерзаю в огне, надеюсь без надежды, удаляюсь и остаюсь*, и прочие нелепости в том же роде, которыми переполнены эти стихотворения. Разве поэты не сулят вам феникса Аравии, венца Ариадны,* коней Солнца, перлов Юга, золота Тибара* и бальзама Панкайи? Тут они дают волю своим перьям, ибо им ничего не стоит надавать обещаний, которых они не собираются да и не могут сдержать. Но я совсем уклонилась в сторону. О, горе мне несчастной! Какое безумие, какое сумасбродство побуждают меня описывать чужие недостатки, в то время как мне

столько еще нужно рассказать о своих собственных? Еще раз, горе мне злополучной! Ведь погубили меня не стихи, а мое же простодушие; не музыка соблазнила меня, а собственное легкомыслие; великая моя неискренность и малое благоразумие проложили путь и расчистили дорогу дон Клавихо, — так звали рыцаря, о котором я вам рассказываю. Итак, при моем посредстве, он на правах законного супруга проникал, и не раз, а много раз, в светлицу к Антономасии, соблазненной не им, а мною самой: ибо, хоть я и великая грешница, а все же я бы не допустила, чтобы кто другой, кроме супруга, коснулся кантика на подошве ее башмачков. Нет, нет и нет: какие бы дела ни вела я, брак всегда будет у меня стоять на первом месте! Но в этом деле все горе состоит в неравенстве положений, так как дон Клавихо был простым дворянином, а инфанта Антономасия, как я уже говорила, была наследной принцессой. Благодаря моей осторожности и предусмотрительности, эта интрига некоторое время оставалась скрытой и тайной, но потом я поняла, что она очень скоро должна обнаружиться, так как стан Антономасии стал округляться; тогда мы втроем в страхе посоветовались и решили, что прежде чем злое дело дон Клавихо выйдет на свет божий, он попросит руки Антономасии перед лицом vicария и покажет ему письмо, в котором инфанта обещает стать его женой; моя изобретательность помогла мне составить это письмо в таких сильных выражениях, что мощь самого Самсона не могла бы его опорочить. Были приняты должные меры, vicарий прочел обязательство инфанты, выслушал ее исповедь, она во всем

призналась, и он велел ей укрыться в доме почтенного столичного альгвасила *...

Тут Санчо воскликнул:

— Поскольку в Кандайе существуют столичные альгвасилы, поэты и сегидильи, я готов поклясться, что на свете всё устроено одинаково; а только вы поторопитесь немного, ваша милость, сеньора Трифальди,— час уже поздний, а мне до смерти хочется узнать, чем кончилась вся эта длинная история.

— Сейчас услышите, — ответила графиня.

ГЛАВА XXXIX

в которой графиня Трифальди продолжает свою изумительную и достопамятную историю



аждое слово Санчо восхищало герцогиню и приводило в отчаянье дон Кихота; он велел оруженосцу замолчать, и Долорида продолжила свой рассказ: — После множества вопросов и ответов, викарий, наконец, убедился, что инфанта стоит на своем, не отрекаясь от своего первоначального заявления и ни в чем его не изменяя, и тогда он вынес решение в пользу дон Клавихо и вручил ему Антономасию в качестве законной супруги, а это до того опечалило мать инфанты, королеву донью Магунсию, что через три дня мы ее похоронили.

— Не иначе, как она померла, — произнес Санчо.

— Ясное дело! — ответил Трифальдин. — Ведь в Кандайе хоронят не живых, а покойников.

— Случается и так, сеньор оруженосец, — возразил Санчо, — что человек сомлеет, а его примут за покойника и похоронят; я думал, что королеве Магунсии более было бы к лицу упасть в обморок, а вовсе не умереть, ибо пока человек жив, многое можно еще исправить, да и провин-

ность инфанты была не слишком велика, чтобы так из-за нее огорчаться. Если бы эта сеньора вышла замуж за своего пажа или за кого-нибудь из домашних слуг, как это случалось, говорят, со многими ей подобными, ну, тогда зло было бы непоправимо; но выйти замуж за дворянина, который, по словам дуэньи, такой благородный и разумный малый, ну, ей богу же, если это глупость, то во всяком случае не такая уж крупная, как кажется; ибо согласно взглядам моего господина, который здесь присутствует и уличит меня, если я солгу, подобно тому, как люди учебные делаются епископами, так и рыцари, особенно ежели они странствующие, могут стать королями и императорами.

— Ты прав, Санчо, — сказал дон Кихот, — ибо странствующий рыцарь, если ему отмерено удачи хотя бы на два пальца, очень легко может сделаться величайшим сеньором на свете. Но продолжайте, сеньора Долорида; мне кажется, что вам предстоит рассказать нам о горьком конце этой доселе сладостной истории.

— И еще каким горьком! — ответила графиня. — О таком горьком, что в сравнении с ним горькая редька покажется вам сладкой, а листья олеандра — превкусными. Итак, королева умерла, а вовсе не упала в обморок, и мы ее похоронили; но едва мы засыпали ее землей и сказали ей последнее прости, как вдруг (*quis talia fando tempereta lacrymis?**) на могиле королевы, верхом на деревянном коне, появился великан Маламбруно, двоюродный брат Магунсии, большой злодей и к тому же волшебник, — и вот, чтобы отомстить за смерть своей родственницы, наказать дон Кла-

вихо за его дерзость и Антономасию за ее легкомыслие, он, пустив в ход свое искусство, заколдовал их на этой самой могиле, превратив инфанту в бронзовую обезьяну, а ее супруга — в страшного крокодила, сделанного из какого-то неведомого металла, и между ними поставил столб тоже из металла, с надписью на сирийском языке, которая, в переводе сначала на кандайский, а затем на испанский язык гласит следующее: «Сии дерзновенные любовники примут снова свой прежний облик лишь тогда, когда отважный Ламанчед померяется со мною силами на поединке, ибо судьба уготовила сие никогда еще не виданное приключение только для его великой доблести». А заколдовав их, он извлек из ножен громадный и широченный ятаган и, схватив меня за волосы, уже готовился перерезать мне горло и снести голову с плеч. Я перепугалась, язык мой прилип к гортани, и пришла я в крайнее смятение; но все же я сделала над собой усилие и дрожащим, жалобным голосом наговорила ему столько разных вещей, что он так и не привел в исполнение своей суровой кары. В конце концов, он велел привести к нему из дворца всех дуэний — тех, что стоят теперь перед вами, — и долго расписывал нашу вину, порицал наши нравы, злые козни и еще более злые интриги, обвинял нас всех в том, в чем виновна была я одна, и объявил, что накажет нас не смертной, а особой длительной казнью, которая покажется нам непрерывным, позорным умиранием; и не успел он кончить своей речи, как вдруг мы почувствовали, что все поры наших лиц расширяются и в них как будто вонзаются острия иголок. Мы поспешно поднесли руки в

щекам и обнаружили то, что вы сами сейчас увидите.

Тут Долорида и все остальные дуэньи откинули покрывала, которыми были закрыты их лица, и присутствующие увидели, что у всех были бороды: у одной белокурая, у другой черная, у этой седая, у той с проседью,—зрелище, которое явно поразило герцога и герцогиню, изумило дон Кихота и Санчо и ошарашило всех присутствующих; а графиня Трифальди продолжала:

— Вот каким образом наказал нас сей подлый, сей злокозненный Маламбруно, покрывший жесткой щетиной глянцевою и нежную кожу наших лиц. О, если бы небу было угодно, чтобы он своим громадным ятаганом отрубил нам головы вместо того, чтобы затемнить сияние наших лиц войлоком, покрывающим нас ныне. Ибо, если рассудить зрело, сеньоры мои (о, как хотела бы я, чтобы при этих словах глаза мои превратились в два ручья; но неотступная дума о нашем бедствии и моря слез, которые они до сего дня пролили, лишили мои глаза влаги и сделали их суше терновника, а потому мне придется сказать это, не плача), то куда, куда же может показаться бородастая дуэнья? Какой отец, какая мать возымеет к ней состраданье? Кто ей поможет? Ведь даже и в том случае, когда у дуэньи гладкое лицо, а кожа натерта всевозможными белилами и снадобьями, и то ей не легко кому-нибудь понравиться, а что же ей делать, когда на лице у нее вырос целый лес? О, подруги мои, дуэньи, в злосчастную минуту родились мы на свет, и в недобрый час зачали нас наши родители.

Сказав это, она на глазах у всех упала в обморок.

ГЛАВА XL

о вещах, относящихся и касающихся до этого приключения и этой достопамятной истории



о истине и справедливости говоря, все, кому нравятся истории, подобные нашей, должны быть благодарны ее первоначальному автору, Сиду Амету, за то, что у него хватило любознательности записать все ее подробности и тщательно осветить все мелочи, не пропустив даже самой незначительной. Он воспроизводит мысли, раскрывает помыслы, отвечает на тайные вопросы, разрешает сомнения, предупреждает возражения, иначе говоря, угадывает мельчайшие причуды самого прихотливого желания. О знаменитейший автор! О счастливый дон Кихот! О прославленная Дульсинея! О забавник Санчо Панса! Пусть каждый из вас и все вы вместе проживет многие, многие лета для удовольствия и развлечения всех людей!

Далее в истории нашей рассказывается, что Санчо, посмотрев на бесчувственную Долориду, сказал:

— Клянусь честью порядочного человека и спасением души всех моих предков Панса, мне

никогда не приходилось ни видеть, ни слышать о подобном приключении, да и господин мой не рассказывал мне ничего похожего, потому что такие дела ему и в голову не приходили. Я не хочу ругаться, но пусть бы тебя, волшебника и великана Маламбруно, тысяча дьяволов побрали! Неужели ты не мог придумать для этих грешниц другого наказания, кроме бород? Разве не лучше бы было и не выгоднее для них, если бы ты снял у них половину носа, начиная с середины, и заставил говорить гнусавым голосом вместо того, чтобы награждать их бородами? Бьюсь об заклад, что у них нет даже средств заплатить дьявольнику.

— Вы правы, сеньор, — ответила одна из двенадцати дуэний, — у нас нет денег, чтобы заплатить за бритье, а потому некоторые из нас придумали такое дешевое средство: мы берем густо проклеенный пластырь и прикладываем его к лицу, и когда затем с силой рванем его, наши щеки оказываются гладкими и чистыми, как доньшко каменной ступки; правда, у нас в Кандайе есть такие женщины, которые ходят по домам, удаляя волосы, подчищая брови и занимаясь всякими выдумками по женской части, но мы все, дуэнии нашей госпожи, никогда не прибегали к их помощи, ибо женщины эти, с далеко небезупречным прошлым, порядком смахивают на сводень; поэтому если сеньор дон Кихот не придет нам на помощь, то мы и в могилу ляжем бородами.

— Я скорей позволю, чтобы мне вырвали бороду в земле мавров, чем допущу, чтобы вы оставались в таком виде.

В эту минуту графиня Трифальди очнулась от обморока и сказала:

— Я лежала в обмороке, доблестный рыцарь, но сладкий звук вашего обещания коснулся моего слуха, и это помогло мне очнуться и прийти в себя; итак, снова умоляю вас, преславный и неукротимый странствующий сеньор, исполнить на деле ваше великодушное обещание.

— За мной дело не станет, — ответил дон Кихот, — скажите только, сеньора, что мне нужно делать, ибо отвага моя готова вам служить.

— Дело в том, — ответила Долорида, — что отсюда до королевства Кандайя, если идти по суше, будет пять тысяч миль, может быть двумя больше или меньше; но если лететь туда по воздуху и по прямой линии, то будет только три тысячи двести двадцать семь миль. И знайте также, что Маламбруно заявил мне, что, когда судьба натолкнет меня на рыцаря, нашего спасителя, он пошлет ему коня, и притом не какую-нибудь дрянную клячу с разными недостатками вроде наемных лошадей, а того самого деревянного коня, на котором доблестный Пьер увез прекрасную Магелону; управляется он с помощью колка, вделанного в лоб и заменяющего уздечку, и летит по воздуху с такой быстротой, что кажется, будто его подгоняют черти. Этот конь, согласно древнему преданию, был сооружен мудрым Мерлином. Он одолжил его Пьеру, который был его другом, и тот, верхом на этом коне, проделал длинное путешествие и, как я уже сказала, похитил прекрасную Магелону, посадив ее на круп и взвившись с ней на воздух, а те, кто

стояли на земле и смотрели на них, так и остались с разинутыми ртами; но Мерлин предоставлял своего коня только тем, кого он любил или кто хорошо ему за это платил; и вообще мы не знаем, ездил ли на нем кто-нибудь после великого Пьера. Маламбруно с помощью своих чар добыл этого коня и теперь он владеет им, совершает на нем свои поездки, перепосаясь на нем постоянно в разные части света: сегодня он здесь, завтра — во Франции, послезавтра — в Потоси;* и самое замечательное то, что конь этот не ест, не спит, не изнашивает подков и без крыльев летает по воздуху такой плавной иноходью, что всадник, сидящий на нем, может держать в руке полную чашку воды и не пролить ни одной капли — так мягко и ровно он движется; вот почему прекрасная Магелона с таким удовольствием на нем ездил.

Тут Санчо сказал:

— Ну, что касается мягкого и ровного хода, то мой серый, хоть по воздуху и не летает, а на твердой земле не уступит никакой иноходи на свете.

Все рассеялись, а Долорида продолжала:

— Так вот, если только Маламбруно пожелает положить конец нашим бедам, этот конь предстанет перед нашими глазами менее чем через полчаса после наступления ночи; ибо Маламбруно обещал мне с поспешностью и к сроку прислать сюда коня, дабы по этому признаку я могла убедиться, что нашла наконец того рыцаря, которого искала.

— А сколько человек может поместиться на вашем коне? — спросил Санчо,

Долорида ответила:

— Двое; один — на седле, другой — на крупе, и обыкновенно это — рыцарь и его оруженосец, если только нет какой-нибудь похищенной девицы.

— Хотелось бы мне знать, сеньора Долорида, — сказал Санчо, — как зовут этого коня?

— Зовут его, — ответила Долорида, — не так, как звали коня Беллерофонта, имя которого было Пегас, и не как коня Александра Великого, по имени Будефал, и не как коня неистового Роланда, звавшегося Брильядором, и не как коня Рейчальда Монтальбанского, чья кличка была Байрд, и не как коня Руджеро — Фронтиньо, и не так, как по преданию назывались кони Солнца — Боотес и Перитоя, не зовется он и Орелья, — конь, верхом на котором последний король готов, несчастный Родриго, вступил в бой, стоивший ему и жизни и царства.

— Бьюсь об заклад, — сказал Санчо, — что раз этот конь не был назван по имени одного из этих известных и знаменитых коней, то, вероятно, он не был также окрещен именем коня моего господина, Росинанта, который меткостью своего наименования превосходит всех скакунов, которых вы перечислили.

— Совершенно верно, — ответила бородастая графиня, — и тем не менее имя у него очень подходящее, так как зовут его Клавилепьо Быстрокрылый: * это показывает, что сделан он из дерева, что во лбу у него — колок и что мчится он с большой быстротой, так что своей кличкой он мог бы поспорить с знаменитым Росинантом.

— Имя мне в общем нравится, — продолжал

Санчо, — ну, а как им управлять — уздой или недоуздкой?

— Я уж вам сказала: что не уздой, а колком, — ответила графиня Трифальди. — Рыцарь, едущий на нем, поворачивает колок в одну сторону или в другую и направляет коня, куда ему захочется: конь или взлетает на воздух, или спускается вниз, почти касаясь копытами земли, или же движется по среднему пути. Именно этого последнего пути надлежит искать и придерживаться во всех благо-разумных начинаниях.

— Хотелось бы мне на него взглянуть, — сказал Санчо, — но ежели вы полагаете, что я па него сяду, — все равно, в седло или на круп, — то вы лучше поищите груш на вязе. Я и так с трудом держусь на моем сером, хотя седло у меня мягче всякого шелка, а вы хотите, чтобы я сидел на деревянном крупе, да еще без тюфячка или подушки! Чорт возьми, я вовсе не собираюсь рас-трясти себе внутренности из-за того, чтобы кого-то там избавить от бороды; пускай себе всяк сбывает бороду, как ему угодно, а только я не стану сопровождать моего господина в та-кое длинное путешествие, к тому же, для удале-ния бород этим дамам помощь моя менее нужна, чем для расколдования моей госпожи Дульсинеи.

— Очень нужна, друг мой, — возразила Три-фальди, — так нужна, что без вашего участия у нас наверное ничего не выйдет

— Спасите, меня добрые люди! — воскликнул Санчо. — Да какое дело оруженосцам до приклю-чений их господ? На долю рыцарей приходится вся честь и слава, а наш брат знай себе рабо-тай? Чорт побери, добро бы еще историки когда-

нибудь написали: «Такой-то рыцарь прекрасно справился с такими-то и такими-то приключениями, но все таки с помощью своего оруженосца такого-то, без которого он ничего бы не смог поделывать». А то ведь пишут просто: «Дон Паралипоменон, рыцарь Трех Звезд, вышел победителем из приключения с шестью чудовищами», без всякого упоминания о том, что в деле этом принимал участие его оруженосец: как будто его и на свете не было! Итак, сеньоры, повторяю еще раз: мой господин может отправляться один, и дай ему бог всякого успеха, а я останусь здесь в обществе сеньоры герцогини, и очень может статься, что к его возвращению дело сеньоры Дульсинеи далеко продвинется вперед, ибо я намерен в часы бездействия и досуга всыпать себе столько плетей, что потом на мне ни одного волоска не вырастет.

— И все-таки, добрый Санчо, вам придется сопровождать вашего господина, если это окажется необходимым; все порядочные люди будут вас об этом просить; недопустимо, чтобы из-за вашего ложного страха лица этих сеньор остались такими косматыми; ведь это же неприлично.

— Еще раз кричу спасите! — воскликнул Санчо. — Если бы еще требовалось проявить милосердие к каким-нибудь юным заточникам или девочкам из Школы закона божия, ну тогда еще можно было бы отважиться на какое-нибудь трудное дело; но мучиться из-за того, чтобы избавить от бород дуэний? Да ну их к чорту! Пускай они все ходят с бородами, от старшей до младшей, от первой жеманницы и до последней кривляки!

— Вы не любите дуэний, друг мой Санчо, — сказала герцогиня, — сразу видно, что вы разделяете взгляды аптекаря-толеданца. Но, клянусь, вы не правы, ибо в моем доме есть примерные дуэньи; вот пред вами стоит донья Родригес — одно ее присутствие говорит само за себя.

— Говорите, говорите и вы, ваша светлость, — сказала донья Родригес, — бог правду видит, и какие бы мы, дуэньи, ни были — злые, добрые, бородатые или голобородые, — наши матери породили нас на свет совсем так, как всех других женщин; и раз господь произвел нас на свет, то, значит, ему ведомо было — для чего, и я больше уповаю на его милосердие, чем на какую-нибудь бороду.

— Ну, довольно об этом, сеньора Родригес, — сказал дон Кихот, — я падеюсь, сеньора Трифальди и ее присные, что небо с благоволением взглянет на ваше злополучие и что Санчо исполнит все, что я ему прикажу; пусть бы только скорей явился этот Клавильенбо, и я немедленно вступлю в бой с Маламбруно, так как я уверен, что никакая бритва не снимет бороды ваших милостей с такой легкостью, с какой мой меч снимет с плеч долой голову Маламбруно; господь терпит злодеев, но не веки-вечные.

— Ах! — воскликнула тут Долорида. — Пусть все звезды небесного свода взглянут благосклонными очами на ваше величье, о доблестный рыцарь, и пошлют вашему духу удачу и мужество, дабы соделались вы щитом и оплотом всего посрамленного и угнетенного рода дуэний; его ненавидят аптекари, на него ропщут оруженосцы, на него умышляют пажи, и да будет проклята

та дура, которая во цвете своих лет, вместо того чтобы пойти в монашки, стала дуэньей. Несчастные мы, дуэньи! Если бы даже происходили мы по прямой мужской линии от самого Гектора Троянского, и тогда бы наши госпожи не перестали швырять нам в лицо «вы»,* словно от этого они становятся королевами! О великан Маламбруно, ты, что, будучи волшебником, все же исполняешь свои обещания, пошли нам скорей своего несравненного Клавиленьо, дабы кончились наконец наши злоключения, ибо если наступит жара, а мы не избавимся от наших бород, тогда, увы, увы нам, незадачливым!

Трифальди сказала это с таким чувством, что у всех присутствующих выступили на глазах слезы, и даже Санчо прослезился; и тут он решил в своем сердце, что последует за дон Кихотом хотя бы на край света, если это понадобится, чтобы убрать шерсть с этих почтенных ликов.

ГЛАВА XLІ

о появлении Клавиленьо и о конце этого пространного приключения



ем временем наступила ночь, а с ней пришел срок, назначенный для появления знаменитого коня Клавиленьо, и дон Кихота уже начинало тревожить его опоздание, ибо он полагал, что раз Маламбруно медлит с посылкой коня, то это объясняется или тем, что приключение это предназначено для другого рыцаря, или же тем, что Маламбруно не осмеливается вступить с ним в единоборство. Но вот, внезапно вошли в сад четыре дикаря, покрытые с ног до головы листьями зеленого плюща, неся на плечах большого деревянного коня; они поставили его на землю, и один из дикарей сказал:

— Пусть сядет на эту махину рыцарь, у которого хватит на это храбрости...

— Я во всяком случае не сяду, — перебил Санчо, — у меня и храбрости не хватит, да я и не рыцарь.

Дикарь продолжал:

— ...а если у этого рыцаря есть оруженосец, пусть он сядет на круп коня, и тогда им следует

возложить упование на доблестного Маламбруно, ибо ничей меч и ничьи козни не могут повредить им, кроме меча и козней этого волшебника; стоит только повернуть колок, вделанный в шею этого скакуна, и он взвоется на воздух и привезет всадников к Маламбруно, который их уже поджидает; но, чтобы, взлетев так высоко над землей, не почувствовать головокружения, необходимо завязать себе глаза и не снимать повязки, пока конь не заржет: это будет знаком того, что путешествие кончилось.

После этих слов дикари оставили Клавильню и с большой учтивостью удалились, откуда пришли. А Долорида, увидев коня, почти со слезами сказала дон Кихоту:

— Доблестный рыцарь, Маламбруно сдержал свои обещания: конь — перед тобой; наши бороды растут, и все мы заклинаем тебя каждым волоском наших бород, — остриги ты их и сбрей; тебе для этого нужно только сесть на коня вместе с твоим оруженосцем и положить счастливое начало вашему необычайному путешествию.

— Я сделаю это, сеньора графиня Трифальди, с большой охотой и еще большим удовольствием; я даже обойдусь без тюфячка и без шпор, чтобы не задерживаться, — так велико мое желание видеть вас, сеньора, и всех ваших дуэний с чистыми и гладкими лицами.

— А я не сделаю этого, — сказал Сапчо, — ни с удовольствием, ни без удовольствия, вообще никак; а ежели для того, чтобы обречь этих дам, необходимо взбираться на круп коня, то пусть мой господин поищет себе в спутники другого оруженосца, а эти сеньоры придумают какой-ни-

будь другой способ вылощить свои лица; что я, колдун, что ли, чтобы полюбить вдруг кататься по воздуху? Да что скажут мои островитяне, узнав, что их губернатор разгуливает по поднебесью? И еще одно: до Кандаи отсюда три тысячи с чем-то миль, так что если конь наш устанет, или великан рассердится, то на обратный путь нам с полдюжины годков потребуется, и тогда уж никакие острова и островочки меня не увидят; и ведь не даром люди говорят: «в промедлении — гибель», и «раз тебе подарили коровку, беги скорей за веревкой»; да простят мне бороды этих сеньор, но святому Петру хорошо в Риме; я хочу сказать, что мне здесь очень хорошо, так как в этом доме меня ласкают, и хозяин его посулил мне великую милость — сделать меня губернатором.

На это герцог ответил:

— Друг мой Санчо, остров, который я вам обещаю, не пловучий и не движущийся; корни его так глубоки, что доходят до самых недр земли, — навалитесь на него хоть три раза, все равно вы не столкнете и не шевельнете его с места; и так как вам известно не хуже, чем мне, что всякого рода важных должностей можно добиться только различного рода подкупами, — когда побольше, когда поменьше, — то знайте, что вы можете купить у меня ваше губернаторство не иначе, как отправившись вместе с сеньором дон Кихотом, и не иначе, как доведя до самого конца и края это достославное приключение; итак, вернетесь ли вы сюда на Клавиленьо с той быстротой, какой можно ожидать от его прыткости; или же — силою враждебной судьбы —

вы будете странствовать пешком, и вам придется как пилигриму плестись от корчмы до корчмы, от одного постоялого двора до другого, — все равно, когда бы вы ни вернулись, вы найдете ваш остров на том месте, на котором вы его оставили, и ваши островитяне с такой же готовностью будут приветствовать своего губернатора, как и прежде; решение же мое останется неизменным; не сомневайтесь в правдивости моих слов, Санчо, не то я сочту, что вы глубоко оскорбили самое желание мое вам услужить.

— Ни слова больше, сеньор, — ответил Санчо: — я — бедный оруженосец, и такие отменные любезности мне не по плечу; пусть мой господин садится верхом, завяжите мне глаза, помолитесь за меня богу, да еще скажите, пожалуйста, когда мы будем пролетать по поднебесью, могу ли я поручать свою душу господу богу и призывать к себе на помощь ангелов?

На это Трифальди ответила:

— Ясное дело, Санчо, вы можете поручать свою душу богу или кому вам будет угодно; ведь Маламбруно хоть и волшебник, а все-таки христианин, и волшебства свои проделывает он с большим благоразумием и осторожностью, не навлекая на себя неприятностей.

— Ну, тогда ладно, — сказал Санчо. — Да защитит меня бог и святая троица Гаетская.*

— Со времени достопамятного приключения на сукновальше, — сказал дон Кихот, — я никогда не видел Санчо в таком страхе, как сейчас, и если бы я был так впечатлителен, как другие, его малодушие могло бы подставить ножку моему мужеству. Но подойди-ка сюда, Санчо, с разре-

шения этих сеньоров я хочу сказать тебе два слова наедине.

Тут он отошел вместе с Санчо в сторону, под деревья, и, схватив его за обе руки, сказал:

— Ты видишь, братец Санчо, что нам предстоит длинное путешествие, и один бог знает, когда мы вернемся назад, и позволят ли нам обстоятельства спокойно поговорить на досуге; поэтому я бы попросил тебя удалиться сейчас в твою комнату, сказав, что тебе нужно захватить с собой кой-что необходимое для дороги; и там в счет трех тысяч трехсот плетей, которые тебе полагаются, ты мигом мог бы всыпать себе хотя бы пятьсот и тем самым подойти к своему делу вплотную, а начать какое-нибудь дело — значит уж наполовину его кончить.

— Ей богу, — воскликнул Санчо, — ваша милость наверно сбрендила; это мне напоминает пословицу: «сам видишь, что я на сносях, а требуешь от меня невинности»; как раз теперь, когда мне придется сидеть на голой доске, ваша милость желает, чтобы я стегал себе ягодицы. Право, право, ваша милость, это не дело; поедем-ка сейчас брить этих дуэний, а когда вернемся, я обещаю вашей милости, не будь я Санчо, с величайшей поспешностью исполнить свое обязательство и вполне вас удовлетворить; а теперь довольно об этом.

А дон Кихот ответил:

— Ну, хорошо, добрый Санчо, я удовольствуюсь твоим обещанием и буду верить, что ты его сдержишь; ведь, строго говоря, ты хоть и простак, но по части правды дошливый.

— Не пройдохливый я, — ответил Санчо, — а

самый порядочный, но каким бы я ни был, все равно свое слово сдержу.

После этого они направились к Клавильню, и дон Кихот, садясь на коня, сказал:

— Ну, завяжи себе глаза и садись, Санчо; раз за нами посылают из таких далеких стран, то уж не для того, чтобы нас обмануть, ибо постыдно обманывать людей доверяющихся; даже если это приключение закончится не так, как я думаю, а совсем наоборот, то все же, отваживаясь на такой подвиг, мы приобретем славу, которую не сможет омрачить никакая злоба на свете.

— Ну, едем, сеньор, — ответил Санчо, — бороды и слезы этих сеньор разрывают мне сердце, и я не смогу со вкусом прожевать ни одного кусочка, прежде чем их лицам не возвратится прежняя гладкость. Садитесь вы сперва, вапа милость, и завяжите себе глаза; я ведь поеду на крупе, и понятно, что тот, кто едет в седле, должен быть первым.

— Да, ты прав, — ответил дон Кихот.

И, вынув из кармана платок, он попросил Долориду хорошенько завязать ему глаза; а когда она это сделала, он вдруг сбросил повязку и сказал:

— Если память мне не изменяет, у Вергилия я читал о троянском Палладиуме: это был деревянный конь, поднесенный греками богине Палладе, а внутри него засели вооруженные воины, которые впоследствии окончательно разрушили Трою; потому нам следовало бы сперва узнать, что находится в брюхе у Клавильню.

— Это совсем лишнее, — ответила Долорида, — я за него ручаюсь, так как знаю, что Маламбуно

вовсе не вероломный предатель; садитесь, сеньор дон Кихот, без всяких опасений, и если что с вами приключится, я за все готова отвечать.

Дон Кихот подумал, что дальнейшие заботы о безопасности могли бы подорвать доверие к его храбрости, и поэтому без возражений сел на Клавиленю и схватился за колок, который поворачивался с большой легкостью; и так как стремя не было, то ноги дон Кихота висели в воздухе, и весь он был похож на фигуру, нарисованную или, вернее, вытканную на каком-нибудь фламандском ковре, изображающем римский триумф.

Неохотно и медленно взобрался Санчо на копы и, устроившись поудобнее на крупе, нашел его вовсе не мягким, а порядочно твердым, и спросил герцога, нельзя ли ему получить какую-нибудь подушку или тюфячок, хотя бы из покоя сеньоры герцогини или с кровати одного из пажей, ибо круп этого коня твердостью своей походил не на дерево, а на мрамор. На это Трифальди ответила, что Клавиленю не потерпит на своей спине ни сбруи, ни какого бы то ни было убранства, и что в крайнем случае Санчо может сесть по-дамски, и тогда сиденье не будет казаться ему таким твердым. Санчо так и сделал и, попросившись со всеми, позволил завязать себе глаза, а когда они были завязаны, он снова их развязал и трогательно, со слезами на глазах, обратился ко всем присутствующим, прося каждого помочь ему в этом испытании и прочесть «отче наш» и «богородицу»: возможно, что и они когда-нибудь попадут в такую же беду, и тогда господь пошлет им человека, который тоже за них помолится.

Тут дон Кихот воскликнул:

— Что за негодяй! Можно подумать, что ты попал на виселицу или тебе грозит смерть! К чему все эти мольбы? О бессовестное и трусливое создание, ведь ты сидишь на том самом месте, на котором покоилась прекрасная Магелона, и если историки не лгут, то с этого крупа сошла она не в могилу, а на престол Франции! И разве я, сидящий рядом с тобой, не выдерживаю сравнения с доблестным Пьером, занимавшим то самое место, которое ныне занимаю я? Завяжи себе глаза, малодушное животное, и пусть страх не говорит больше твоими устами, по крайней мере в моем присутствии.

— Ну, завязывайте мне глаза, — сказал Санчо, — мне запрещают молиться богу, запрещают, чтобы за меня молились, и еще удивляются, что я боюсь, как бы нам не повстречался какой-нибудь легион дьяволов и не потащил нас в Перальвилио!

Наконец, они завязали себе глаза, и дон Кихот, убедившись, что все в порядке, схватил колокол и едва только прикоснулся к нему рукой, все дуэньи и остальные присутствующие принялись кричать:

— Поезжайте с богом, доблестный рыдари!

— Господь с тобой, бесстрашный оруженосец!

— Вот, вот вы уже взлетели на воздух и разрезаете его с быстротою стрелы!

— Вот уже все, глядящие на вас с земли, начинают даваться диву и поражаться!

— Держись крепко, отважный Санчо, не качайся! Смотри, не упади, а не то твое падение будет горше падения того дерзновенного юноши, который вздумал править колесницей своего отца — Солнца! *



Санчо, услышав эти голоса, прижался покрепче к своему господину и, обхватив его руками, сказал:

— Сеньор, как же это они говорят, что мы взвились так высоко, а между тем до нас долетают их голоса, и кажется, что они разговаривают, стоя рядом с нами?

— Не обращай на это внимания, Санчо; все эти полеты и прочие приключения так далеки от обычного порядка вещей, что теперь ты можешь слышать и видеть за тысячу миль все, что тебе угодно. И не наваливайся на меня так, — ты столкнешь меня с коня; право, я не понимаю, чего ты беспокоишься и боишься, ибо я готов поклясться, что никогда в жизни не приходилось мне ездить на коне с такой мягкой поступью: можно подумать, что мы стоим на месте. Итак, друг мой, отгони страх, ибо, право же, дело идет на лад, и нас несет попутный ветер.

— Да, это правда, — ответил Санчо, — потому что с одного бока на меня дует такой сильный ветер, как будто там работают тысячи мехов.

Так оно и было на самом деле, ибо несколько больших мехов производили этот ветер. Все это приключение было так тщательно обдуманно герцогом, герцогиней и дворецким, что ни одна подробность не была пропущена и все было доведено до совершенства.

А дон Кихот, почувствовав ветер, сказал:

— Без всякого сомнения, Санчо, мы уже достигли второй области* воздуха, где зарождаются град и снег; в третьей же области зарождаются гром, молния и лучи солнца; и если мы будем подниматься с такой быстротой, то мы скоро

попадем в область огня, и я не знаю, как мне повернуть колок, чтобы нам не долететь до того места, где мы можем сгореть.

В это время слуги герцога намотали на концы камышевых палок куски горящей пакли, которые легко было зажечь и потушить издали, и стали ими подогрывать лица путешественников. Санчо, почувствовав жар, сказал:

— Убейте меня, если мы уже не попали в область огня или не находимся совсем близко от него; у меня уже обгорела половина бороды, и я хочу развязать себе глаза и посмотреть, где мы находимся.

— Не делай этого, — возразил дон Кихот, — и припомни правдивую историю лиценциата Торральбы,* которого черти унесли в воздух, верхом на камышовой палке, с завязанными глазами; через двенадцать часов он прибыл в Рпм, спустился на землю на Торре де Нона, — так называется одна улица в этом городе, — был свидетелем разгрома и приступа, равно как и смерти коннетабля Бурбонского,* а на следующее утро вернулся в Мадрид и рассказал там обо всем, что видел. Он говорил, что дьявол, пролетая с ним по воздуху, велел ему открыть глаза, а когда он их открыл, то ему показалось, что он пролетает так близко от луны, что может схватить ее рукой, на землю же он вовсе не решился взглянуть, боясь, что у него закружится голова. Поэтому, Санчо, нам не следует снимать повязок; ибо тот, кто поручился за нас, будет потом притянут к ответу; возможно, что мы поднялись и ширеям на такой высоте для того, чтобы потом сразу низринуться в королевство Кандайское, по-

добно тому, как сокол или кречет устремляется на цаплю, падая на нее с высоты, на которую забрался; и хотя нам и кажется, что мы улетели из сада каких-нибудь полчаса назад, но, верь мне, мы совершили уже длиннейший путь.

— Не понимаю я, в чем тут дело, — ответил Санчо, — думаю только, что у сеньоры Магальянес, или Магеланы, были наверное не очень чувствительные мяса, раз ей пришлось сидеть на крупе этой лошади.

Герцог, герцогиня и вся их свита слышали беседу наших арабредов, которая доставляла им необыкновенное удовольствие; и, желая положить конец этому удивительному и искусно налаженному приключению, они велели поднести горящую паклю к хвосту Клавильено, и так как конь весь был набит гремучими ракетами, то в ту же самую минуту со страшным грохотом взлетел на воздух, а дон Кихот и Санчо, слегка опаленные, упали на землю.

Между тем из сада был уже удален весь бородастый отряд дуэний, а равным образом и Трифальди; остальные же лежали ничком на земле, словно в глубоком обмороке. Дон Кихот и Санчо, порядком помятые, встали на ноги и, оглядевшись на все стороны, с большим удивлением заметили, что находятся они в том же самом саду, откуда они выехали, и что тут же лежит на земле множество людей; их удивление еще больше увеличилось, когда в одном углу сада они обнаружили воткнутое в землю длинное копьё, в острию которого двумя шнурами из зеленого шелка был привязан белый лощеный пергамент, а на нем большими золотыми буквами было написано следующее:

Прославленный рыцарь Дон Кихот Ламанчский прикончил и завершил приключение с графиней Трифальди, иначе именуемой — дуэнья Дolorида и ее присные, для чего ему потребовалось только решиться на это дело. Маламбруно заявляет, что он во всех отношениях доволен и удовлетворен; теперь подбородки дуэний гладки и чисты; король Дон Клавихо и королева Антономасия восстановлены в их прежнем состоянии; а когда оруженосец закончит положенное ему самобичевание, белая голубка вырвется из когтей смрадных ястребов, терзающих ее ныне, и прилетит в объятия своего воркующего возлюбленного, — так постановил мудрый Мерлпи, архиволшебник из всех волшебников.

Прочитав эту надпись на пергаменте, дон Кихот ясно понял, что в ней говорится о расколдовании Дульсины, и возблагодарил небо, позволившее ему совершить столь великое дело со столь ничтожным риском и возвратить первоначальную гладкость лицам почтенных дуэний, которых, впрочем, он больше не видел; затем он подошел к герцогу и герцогине, которые все еще лежали в обмороке и, схватив герцога за руку, сказал:

— Ну же, добрейший сеньор, мужайтесь, мужайтесь, все это пустяки! Приключенные уже закончились без всякого ущерба, как об этом ясно свидетельствует надпись, привешенная к столбу.

Герцог мало-по-малу пришел в себя, как человек, пробудившийся от глубокого сна, а за ним точно таким же образом очнулись герцогиня и все прочие, лежавшие на земле, а очнувшись, они стали так искусно выражать ужас и изумление, что можно было подумать, будто все это происшествие было не ловко разыгранной шуткой, а самой настоящей правдой. Полузакрытыми гла-

зами герцог прочитал надпись и с распростертыми объятиями направился к дон Кихоту, прижал его к груди и сказал, что такого доблестного рыцаря, как он, не существовало ни в одном веке. А Санчо все разыскивал Долориду, чтобы посмотреть, какой у нее вид без бороды, и узнать, действительно ли лицо ее красиво и соответствует статности ее фигуры; но ему сказали, что в ту самую минуту, когда Клавиленьо, объятый пламенем, упал с неба и грохнулся о землю, весь отряд дуэний вместе с Трифальди исчез, но что все они уже были без щетины, начисто выбритые. Герцогиня спросила Санчо, как он себя чувствовал во время этого длинного путешествия. На что Санчо ответил:

— Сеньора, когда мы пролетали, как объяснил мне мой господин, по области огня, мне захотелось немножко приоткрыть глаза; я попросил у моего господина разрешения развязать повязку, но он мне не позволил; но ведь я легонечко любопытный, и мне всегда хочется узнать то, что скрыто и не дозволено, а потому я потихоньку и незаметно приподнял у носа платок, закрывавший мне глаза, и в щелочку посмотрел на землю; вся она показалась мне величиною с горчичное зерно, а люди, разгуливавшие по ней, — ростом с орешек, из чего можно заключить, на какой высоте мы в то время летели.

На это герцогиня ответила:

— Друг мой Санчо, подумайте, что вы говорите; по вашим словам выходит, что видели вы не землю, а людей, которые по ней ходили; ведь если земля показалась вам с горчичное зерно, а каждый человек величиною с орешек, то ясно,

что один человек должен был закрыть собой всю землю.

— Да вы правы, — ответил Санчо, — и все-таки с одного бочка земля показалась, и я ее разглядел всю целиком.

— Да вы сообразите, Санчо, — сказала герцогиня, — что с одного бочка нельзя разглядеть целиком предмет, на который вы смотрите.

— Ну, каким это способом вы смотрите, я не знаю, — пропзнес Санчо, — знаю только, что вашему высочеству следовало бы смекнуть, что полет наш волшебный, и, значит, я мог по-волшебному увидеть всю землю и всех людей, откуда бы на них ни смотрел; ну, а раз ваша милость этому не верит, то, значит, она не поверит и дальнейшему: когда я сдвинул повязку у бровей, то увидел, что небо от меня совсем близко, ну, на расстоянии каких-нибудь полутора футов, и, поверьте моей клятве, оно страх какое громадное; и случилось нам попасть на то самое место, где находятся семь козочек; * клянусь вам богом и спасением души, — я ведь в детские годы ходил на селе в козопасах, — увидел я козочек, и до того мне захотелось с ними немного повозиться, что не сделай я этого, так наверное бы лопнул с досады! Как же, значит, тут быть и что делать? Спускаюсь это я незаметно и тихонечко с Клавиенью, никому ни слова не сказав, а пуше всего моему хозяину, и провозился с козочками почти три четверти часа, с цветиками моими, с левкоями, и за все это время Клавиенью не двинулся с места и не сделал шага вперед.

— А пока добрый Санчо, возился с козоч-

ками, — сказала гердогиня, — чем был занят сеньор дон Кихот?

На это дон Кихот ответил:

— Все эти обстоятельства и все эти происшествия в такой мере противоречат законам природы, что слова Санчо не должны вас удивлять. О себе скажу, что я не поднимал и не опускал повязки и не видел ни неба, ни земли, ни моря, ни песков. Правда, я чувствовал, что мы пролетали через область воздуха и даже приблизились к области огня; но мне не думается, чтобы мы могли проследовать дальше; ибо область огня помещается между лунным небом и последней областью воздуха, и, следовательно, прежде чем добраться до семи козочек, о которых рассказывает Санчо, мы должны были бы обгореть; а раз мы не обожжены, то, значит, Санчо или жет, или грезит.

— Я не лгу и не грежу, — ответил Санчо, — а не верите, так спросите у меня приметы этих козочек, и вы увидите, что я говорю правду.

— Так опиши эти приметы, Санчо, — сказала гердогиня.

— Две из них зеленые, — ответил Санчо, — две красные, две голубые, а одна пестренькая.

— Что за странные — козы, возразил герцог: — в наших земных краях таких цветов не бывает, то есть не бывает коз таких цветов.

— Ясное дело, — ответил Санчо, — ведь должна же быть какая-нибудь разница между козами небесными и земными.

— А скажите, Санчо, — продолжал герцог, — не оказалось ли среди этих коз козла?

— Нет, сеньор, — ответил Санчо, — не заметил,

но слышал, что ни один еще козел * через рога месяца не перескакивал.

Других вопросов насчет путешествия ему не задавали, так как было ясно, что Санчо способен, не выходя из сада, прогуляться по всему поднебесью и рассказать обо всем, что там происходит. На этом и кончилось приключение с дурью Дolorидой, над которым герцогская чета много смеялась, и тогда, и во все остальные дни своей жизни и про которое Санчо охотно судачил бы целую вечность, если бы удостоился долголетия. Дон Кихот, наклонившись к уху Санчо, сказал ему:

— Санчо, если ты хочешь, чтобы мы поверили всему, что ты видел на небе, то ты обязан в свою очередь поверить моим рассказам о пещере Монтесиноса. Вот и все, что я хотел тебе сказать.

ГЛАВА XLII

о советах, которые дон Кихот преподал Санчо Пансе перед тем, как тот отправился управлять островом, и о других многозначительных вещах



ердог и герцогиня остались так довольны счастливым и забавным концом приключения с Долоридой, что решили продолжить подобные забавы, видя, что их гости с большой готовностью принимают шутки всерьез; а потому, отдав приказы и распоряжения слугам и вассалам о том, как им обращаться с Санчо, когда он явится на обещанный ему остров в сане губернатора, гердог на следующий день после полета Клавильеньо сказал Санчо, что ему уже пора готовиться и снаряжаться в путь на остров, ибо островитяне ждут его, не дождутся, как майского дождика. Санчо отвесил поклон и сказал:

— С тех пор, как я спустился с неба и с тех пор, как с высоты поднебесья я посмотрел на землю и увидел, какая она маленькая, мое горячее желание сделаться губернатором несколько остыло: какое величие во владении горчичным зерном, какое достоинство и власть в управлении полдю-

жиной людей ростом с орешек, — ибо мне тогда показалось, что на всей земле никого больше и не было. Если бы ваша светлейшая милость со-благоволела пожаловать мне малюсенький кусочек неба, хотя бы в полмили, я бы принял его с большим удовольствием, чем самый большой остров на свете.

— Друг мой Санчо, — ответил герцог, — я никому не могу подарить кусочка неба, хотя бы величиной с ноготь, ибо один только господь располагает подобными дарами и милостям; я даю вам то, что могу дать, самый настоящий и подлинный остров, круглый и ровненький, необыкновенно плодородный и изобильный, и если вы сумеете взяться за дело, то с тамошними благами земными вы заработаете себе царство небесное.

— Ну, ладно, остров — так остров, — ответил Санчо, — а я постараюсь так губернаторствовать, чтобы душа моя, на зло всем мошенникам, отправилась прямо на небо; и иду я на это дело не из корыстолюбивого желания прыгнуть выше собственного роста и пробраться в большие люди, а просто потому, что мне любопытно попробовать, какого вкуса это самое губернаторство.

— Если вы только один раз его попробуете, Санчо, — ответил герцог, — то потом вы свои руки проглотите вместе с этой едой, ибо ничего нет на свете слаще, чем приказывать, и видеть, что вам повинуются. И несомненно, что когда ваш господин сделается императором, — а судя по ходу его дел, он, конечно, им сделается, — то уж никакими силами нельзя будет вырвать у него власть, и в глубине душ он будет скорбеть и печалиться, что столько лет прожил не императором.

— Сеньор, — ответил Санчо, — я представляю себе, что командовать всегда приятно, хотя бы даже стадом баранов.

— Нам с вами — хоть в одну могилу ложись, * — сказал герцог, — и во всем-то вы, Санчо, толк знаете; я надеюсь, что вы будете управлять так же разумно, как вы рассуждаете; ну, а пока довольно об этом; помните же, что не позже, чем завтра, вы отправитесь на остров, а сегодня вечером вам выдадут подобающее вашему сану платье и приготовят все необходимое для путешествия.

— Пускай меня наряжают, как угодно, — ответил Санчо: — какое бы ни было на мне платье, все равно я останусь Санчо Пансой.

— Совершенно справедливо, — сказал герцог; — однако костюмы должны соответствовать должности или сану тех, кто их носит, и, например, юрисконсульту неприлично одеваться солдатом, а солдату — священником. Вы, Санчо, будете одеты наполовину ученым и наполовину капитаном, ибо острову, который я вам пожаловал, науки нужны в такой же мере, как и военное искусство, а военное искусство в такой же мере, как и науки.

— Ну, в науках-то я не силен, — возразил Санчо, — я даже азбуке не учился; впрочем, достаточно мне будет помнить «христа»* и я стану хорошим губернатором. Что же касается военного искусства, то если мне дадут оружие, я, с божьей помощью, не выпущу его из рук, пока не упаду.

— Памятуя о столь великих вещах, — ответил герцог, — Санчо, вы наверно никогда не сделаете ни одной ошибки.

В это время вошел дон Кихот, и когда ему сообщили, в чем дело, и объявили, что Санчо вскоре отправляется на губернаторство, он взял его за руку и с разрешения герцога увел к себе в комнату, чтобы преподать ему советы насчет исполнения этой должности. Войдя к себе, он запер дверь и, почти насильно заставив Санчо сесть рядом с собой, начал спокойным голосом:

— Я возношу бесконечные благодарения небу, друг мой Санчо, что прежде и раньше, чем счастье улыбнулось мне, на твою долю выпала великая удача. Я уповал на благоприятную судьбу, чтобы вознаградить тебя за верную службу, и вот теперь — я только начинаю подниматься на вершину, а ты уже до срока и вопреки всем законам здравого мышления видишь желания свои исполненными. Другие люди дают взятки, упраснивают, надоедают, не досыпают, клячат, упорствуют — и не добиваются своей цели; а иной, едва явившись, неизвестно как и почему, добивается именно той должности и положения, на которые столь многие рассчитывали; и тут кстати можно вспомнить весьма подходящее изречение: всеми нашими домогательствами распоряжается удача или неудача. Для меня ты, можно сказать, просто-на-просто пентюх; ты вот и не вставал спозаранку, не проводил бессонных ночей, ни о чем не хлопотал, а между тем, стоило только духу странствующего рыцарства слегка коснуться тебя, — и, ни с того ни с сего, тебя сделали правителем острова. Говорю я это к тому, о Санчо, чтобы ты не приписывал оказанной тебе милости собственным заслугам; нет, возблаговари за нее сперва небо, которое полегоньку все на-

лаживает к лучшему, а затем уже и орден странствующего рыцарства, заключающий в себе столько величия. Заставь же сердце свое поверить тому, что я тебе сказал, о сын мой, а затем внимательно выслушай своего Катона,* который желает преподать тебе советы, быть твоим вождем и путеводной звездой, дабы указать тебе путь и привести тебя к безопасной гавани из того бурного моря, в которое ты собираешься ринуться; ибо должности и высокие посты суть не что иное, как глубокая пучина смятения.

«И прежде всего, о сын мой, ты должен бояться бога; ибо в страхе божьем заключена премудрость, а сделавшись мудрым, ты уже не будешь совершать ошибок.

«Во-вторых, обрати взоры свои на самого себя и старайся познать себя, ибо более трудного познания нельзя себе и представить. А познав себя, ты не будешь надуваться, как лягушка, захотевшая сравниться с волком; в противном случае ты в своем горделивом безумии уподобишься павлину с его пышным хвостом и уродливыми ногами: ибо помни, что ты раньше пас свиней».

— Это правда, — ответил Санчо, — но тогда я был еще мальчишкой, а подросши немного, я стал пасти уж не свиней, а гусей. Однако, по-моему, это не имеет значения: ведь не все правители происходят из королевского племени.

— И то правда, — сказал дон Кихот, — а потому людям незнатного происхождения надлежит при исполнении своей высокой должности проявлять мягкую снисходительность; разумно применяемая, она избавляет от злобной клеветы, от которой трудно бывает уберечь себя служилому человеку.

«Выставляй на вид, Санчо, скромность своего происхождения и не стыдись признаваться, что ты родом из крестьян; ибо, видя, что ты этого



сам не стыдишься, никто не будет стыдить тебя; скорее старайся быть смиренным праведником, а не надменным грешником. Бесчисленны люди, которые, родившись в низком сословии, достигли

высших почестей, сделавшись папами и императорами; и я мог бы привести этому столько примеров, что ты утомился бы, слушая меня.

«Помни, Санчо: если ты изберешь путем своим добродетель и будешь совершать лишь добродетельные поступки, тебе не придется завидовать княжеским или королевским деяниям: ибо кровь наследуется, а добродетель приобретается, и стоит она гораздо больше, чем кровь.

«А раз все это так, то если ты будешь жить на своем острове и к тебе случайно придет кто-нибудь из родственников, не гони его и не обижай, а, напротив, прими его, чествуй и угождай, и тогда ты будешь угоден небу, которое не велит презирать ни одно из своих созданий, и вместе с тем ты воздашь должное разумным велениям природы.

«Если ты привезешь с собой жену (ибо не следует, чтобы правители, выполняющие долгосрочные должности, были разлучены со своими супругами), поучай ее, просвещай и обтачивай ее природную грубость, ибо часто бывает, что все приобретенное умным губернатором гибнет и пропадает по вине его неотесанной и глупой жены.

«Если же вдруг ты овдовеешь (что всегда может случиться) и твое положение позволит тебе жениться на девице из более знатного рода, то смотри, как бы она не разыграла из себя удочку с крючком и не стала говорить: «пошел вон, пошел вон: впрочем, клади в кашошон»; ибо истинно говорю тебе, что за все взятки, принятые женой судьбы, муж ее ответит в день страшного суда, и после смерти он заплатит четверо за все дела,

которые он при жизни не пожелал взять в свои руки.

«Никогда не руководись законом собственного произвола, ибо ему следуют только певежды, мнящие себя большими умниками.

«Пусть слезы бедняка встретят в тебе больше сострадания, но не меньше справедливости, чем жалобы богатого.

«Постарайся обнаружить правду, и да не помешают тебе в этом ни подарки и посулы богача, ни рыдания и мольбы бедного.

«Там, где может и должно иметь место беспристрастие, не подвергай виновного всей строгости закона, ибо слава сурового судьи ничем не лучше славы судьи милостивого.

«Если когда-нибудь жезл правосудия склонится в твоей руке, то пусть он это сделает не под тяжестью даров, а под бременем сострадания.

«Если тебе когда-нибудь случится разбирать тяжбу твоего врага, то забудь о своей неприязни и думай только о том, на чьей стороне правда.

«Пусть при разбирательстве чужих дел тебя не ослепляет личное пристрастие, иначе ты совершишь ошибки, которые, большей частью, бывают несправимы, а если и исправимы, то в ущерб твоему доброму имени и состоянию.

«Если придет просить у тебя правосудия какая-нибудь красивая женщина, отведи глаза от ее слез и уши от ее стонов, и тщательно разбери сущность ее просьбы, если не хочешь, чтобы разум твой утонул в ее слезах, а твоя добродетель — в ее вздохах.

«Если тебе придется присудить кого-нибудь к наказанию, не терзай его слуха жестокими сло-

вами, ибо довольно для несчастного мук его наказания, чтобы прибавлять к ним еще жестокие речи.

«Смотри на виновного, приведенного к тебе на суд, как на человека несчастного, подверженного слабостям нашей испорченной природы, и во всех своих решениях будь к нему милостив и сострадателен, не нарушая однако интересов противоположной стороны, ибо, хотя все свойства божества равны, все же в наших глазах наибольшим величием и красотой отличаются милосердие и справедливость.

«Если ты последуешь этим предписаниям и правилам, Санчо, дни твои будут долги, слава твоя будет вечной, награда твоя преизбыточна и блаженство — несказанно; ты поженишь детей по собственному усмотрению, сыновья твои и внуки будут считаться благородными, ты проживешь свою жизнь в мире среди благорасположенных людей, а когда придет она к концу, ты встретишь смерть в кроткой и зрелой старости, и маленькие нежные ручки твоих правнуков закроют тебе глаза. Все эти наставления должны послужить к украшению твоей души; а теперь я дам тебе несколько советов, касающихся украшения тела.

ГЛАВА XLIII

о второй части советов, преподанных дон Кихотом Санчо Пансе



Если бы кто-нибудь услышал приведенные нами рассуждения дон Кихота, он наверное бы не усумнился ли в его здравом уме, ни в благих намерениях. Но, как мы неоднократно указывали на протяжении этой великой истории, он начинал бредить только тогда, когда дело касалось рыцарства, а обо всех других предметах рассуждал с ясным и живым пониманием, так что на каждом шагу поступки его противоречили его суждениям, а суждения — поступкам; но во второй части наставлений, преподанных Санчо, он, выказавший незаурядное остроумие, и в мудрости и в безумии своем дошел до высшей точки. А Санчо слушал его с величайшим вниманием и старался сохранить в памяти его советы, надеясь ими воспользоваться, дабы с их помощью благополучно произвестись на свет сидевшее в его утробе губернаторство.

Дон Кихот продолжал так:

— Что же касается забот о самом себе и о доме,

Санчо, то прежде всего я советую тебе соблюдать чистоту, стричь ногти и не отращивать их подобно иным неряхам, которые по невежеству своему думают, что это украшает руки, между тем как, если не отстригать эти отвратительные наросты, они становятся похожими не на ногти, а на черные когти кобчика, питающегося ящерицами,— омерзительный и ни на что не похожий обычай. Никогда, Санчо, не ходи обтрепанным и распоясанным, ибо небрежность в одежде свидетельствует о расслабленности духа, если только под этой небрежностью и распоясанностью не скрывается двуличие, в чем, например, подозревали Юлия Цезаря.*

«Тщательно выясни, насколько твое положение значительно, и если важность его позволяет твоим слугам носить ливрей, то вели, чтобы эти ливреи были не пышные и яркие, а пристойные и прочные, и распредели их между слугами и нищими, то есть вместо того, чтобы одеть шесть пажей, одень трех нищих и трех пажей, и тогда будут у тебя пажи и на земле и на небе; этого нового способа раздачи ливрей не постигают люди тщеславные.

«Не ешь ни лука, ни чеснока, чтобы по их запаху не догадались о твоём мужицком происхождении.

«Ходи медленно, говори спокойно, но не так, чтобы казалось, что ты прислушиваешься к собственным речам, ибо всякая напыщенность дурна.

«За обедом ешь мало, за ужином еще меньше, ибо здоровье всего тела куется в кузнице нашего желудка.

«Будь умеренным в питье, памятуя, что чело-

век, выпивший лишнее, не хранит тайн и не держит обещаний.

«Помни, Санчо, что жевать полагается только одной стороной и что нельзя эрутировать в присутствии посторонних.

— Не понимаю, что значит *эрутировать*, — перебил Санчо.

Дон Кихот ответил:

— Эрутировать, Санчо, значит — рыгать, но рыгать — одно из самых гадких слов, имеющихся в испанском языке, хотя оно и очень выразительно; поэтому люди просвещенные обратились к латыни и слово *рыгать* заменили словом *эрутировать*, а вместо *рыганье* говорят *эрутация*; и не важно, что эти выражения не всем понятны; со временем они войдут в наш обиход и станут общепринятыми; это и называется обогащать язык, в котором обычай и простой народ имеют такую власть.

— Даю вам слово, сеньор, — сказал Санчо, — я особенно постараюсь сохранить в памяти ваше наставление и совет насчет рыганья, ибо у меня привычка постоянно рыгать.

— Не рыгать, а эрутировать, Санчо, — сказал дон Кихот.

— Начиная с нынешнего дня я буду говорить — *эрутировать*, — ответил Санчо, — и, ей богу, не забуду.

— Далее, Санчо, ты имеешь обыкновение вставлять в свои речи множество пословиц; избегай этого, ибо, хотя пословицы и суть краткие изречения, ты по большей части притягиваешь их за волосы, и они кажутся не столько изречением, сколько просто вздором.

— Ну, тут уж один бог может помочь, — ответил Санчо, — ибо у меня в голове пословиц больше, чем в книжке, и стоит мне заговорить, как все они разом лезут ко мне на язык и на перебой норовят выскочить все вместе; тогда я хватаю первую попавшуюся и уж не думаю о том, кстати она или некстати; но впредь я постараюсь приводить только те поговорки, которые подобают важности моего сана, ибо в богатом доме на стол собрать не долго, а кто сдает, тот уже не тасует, а кто бьет в набат, сам сидит в безопасности, а чтобы давать и иметь, нужна голова на плечах.

— Правильно, Санчо! — воскликнул дон Кихот. — Ну, что ж, лепи одну на другую, нанизывай, вали в кучу свои пословицы, — ведь никто тебя за руку не держит: «мать меня наказывает, а я себе знай волчок запускаю!» Я тебе говорю, чтобы ты избегал пословиц, а ты в одну минуту нагородил их целый ворох, и все они сейчас так же впору, как груши, выросшие на сливе. Заметь, однако, Санчо; я не хочу сказать, что пословица, приведенная кстати, кажется мне злом, но громоздить и нанизывать их, как попало, — значит делать свою речь несуразной и низменной.

«Когда будешь сидеть на лошади, не откидывайся всем телом на заднюю луку седла, не расставляй и не вытягивай ног и старайся, чтобы они тесно обхватывали бока лошади, а также не сиди мешком, как будто ты едешь на ослике, ибо по тому, как ты едешь верхом, легко определить кто ты: всадник, или конюх.

«Не злоупотребляй сном, ибо кто не встает вместе с солнцем, тот не наслаждается прелестью

дня, и помни, Санчо, что прилежание есть мать удачи, а враг ее, леность, всегда мешает исполнению серьезных намерений.

«А теперь я хочу дать тебе последний совет и, хотя он не относится к украшению тела, все же я прошу тебя крепко его запомнить, ибо, кажется мне, он принесет тебе пользы не меньше, чем все мои предыдущие советы: никогда не спорь о родословной, по крайней мере, никогда не сравнивай одну из них с другой, ибо при сравнении один род естественно окажется знатнее другого и те люди, которых ты унизишь, возненавидят тебя, а те, кого ты возвысишь, ничем не отблагодарят.

«Одежда твоя должна состоять из длинных штанов, длинного камзола и еще более длинного плаща; о шароварах и думать позабудь, ибо они не приличествуют ни рыцарям, ни губернаторам.

«Вот пока и все, что мне хотелось тебе посоветовать, Санчо; впоследствии, в зависимости от обстоятельств, я дам тебе новые наставления, а ты постарайся извещать меня о состоянии твоих дел».

— Сеньор, — ответил Санчо, — я прекрасно понимаю, что ваша милость поучает меня вещам добрым, святым и полезным, но как они могут мне пригодиться, если я тотчас же их забуду? Правда, насчет того, чтобы не отращивать ногтей и жениться вторично, ежели представится случай, — эти советы крепко засели у меня в башке; но все прочие штуковины, заковычки и закорючки мне не удержать в голове, и помнить о них я буду, как о каком-нибудь прошлогоднем снеге, а потому не худо бы было

вам написать все это на бумажке и дать мне; ничего, что я не умею ни писать, ни читать, — я передам записку моему духовнику, чтобы он по мере надобности вбивал и вдалбливал мне в голову ваши правила.

— Ох, грехи мои тяжкие! — воскликнул дон Кихот. — К лицу ли губернатору не уметь читать и писать? Должен тебе сказать, Санчо, что если кто неграмотен или левша, то это означает одно из двух: либо он сын очень убогих и даже низких родителей, либо сам — человек столь дурной и несерьезный, что на него не могли повлиять ни хороший пример, ни учение. Это в тебе большой недостаток, и я хотел бы, чтобы ты по крайней мере научился подписываться.

— Я умею подписать свое имя, — ответил Санчо, — потому что, когда я был старшиной в нашей деревне, я научился рисовать буквы, вроде тех, что ставятся на тюках, и мне говорили, что из них получалось мое имя; а кроме того я сделаю вид, что у меня отнялась правая рука и велю другому подписываться за меня; ведь все на свете поправимо, кроме смерти; в моих руках будет губернаторская палка, и я буду делать все, что мне вздумается; недаром же говорится: «коли отец у тебя алькальд...» А ведь я буду губернатором, — это еще почище алькальда; попробуйте сунуться, мы вам сразу покажем! Пусть-ка чихнут на меня да пеню наложат: «придут по шерсть, а угодят сами под ножницы», а «кого бог возлюбит, того он и под клетью найдет»; глупые речи богача слывут в свете мудрыми изречениями, а я буду богат, ибо буду губернатором и к тому же, надо ду-

мать, щедрым, значит, никаких моих недостатков никто и не заметит; и незачем мне становиться медом, а то меня мухи скушают; «сколько ты имеешь, столько ты и стоишь», как говорила моя бабушка; а с человеком зажиточным никто не связывается.

— Будь ты проклят, Санчо! — воскликнул тут дон Кихот. — Чтоб шестьдесят тысяч дьяволов побрали тебя вместе с твоими пословицами! Уже целый час ты их плетешь, подвергая меня медленной пытке. Будь уверен, что в один прекрасный день эти поговорки доведут тебя до виселицы; из-за них твои вассалы выгонят тебя с острова или же среди них начнутся восстания. Ну, скажи, откуда ты их пабираешь, невежда? И как ты их пристегиваешь, недотепа? Когда мне нужно привести одну какую-нибудь поговорку и применить ее кстати, я тружусь и потею, как землекоп.

— Ей богу, сеньор, — ответил Санчо, — ваша милость сердится понапрасну. И какого чорта вам не можется от того, что я пользуюсь собственным достоянием? Ведь никакого другого капитала у меня нет, как только пословицы да еще раз пословицы; вот и в эту минуту лезет мне в голову еще их несколько штук, и все такие подходящие, ладные — ну, прямо, как груши в корзине; однако я их не скажу, ибо: «кто в жизни молчальник, — тот Санчо».

— Далеко тебе до этого Санчо, — сказал дон Кихот, — ибо ты не только не молчальник, но постоянно точишь лясы, невзирая ни на какие просьбы; а все-таки мне бы хотелось знать, какие такие пословицы пришли тебе в голову

и притом так кстати; я напрягаю всю свою память, — а она у меня не плохая, — и не могу подыскать ни одной.

— Да чего лучше, чем эти, — ответил Санчо: «под зуб мудрости пальца не подкладывай»; «коли скажут: скатертью дорога, и моей жены не замай, — слова не отвечай»; «кувшинном ли по камню, камнем ли по кувшину — все едино» — пословицы, подходящие к случаю как нельзя более кстати. Это значит: не тягайся ни с губернатором, ни с другим начальством, а не то страдаешь, как если бы ты подложил палец под зуб мудрости; впрочем, мудрость тут не при чем, — был бы зуб, а остальное неважно. Далее на слова губернатора возражать не приходится, как не приходится возражать, когда тебе говорят: «скатертью дорога, и моей жены не замай». Что же касается пословицы о кувшине и камне, то смысл ее даже слепому ясен. Итак, кто замечает соломинку в глазу ближнего, обязан и в своем глазу заметить бревно, а не то про него скажут: «покойница раненой испугалась»; а вашей милости хорошо известно, что дурак у себя дома больше понимает, чем умник, живущий у чужих.

— Неправда, Санчо, — возразил дон Кихот, — дурак ничего не понимает ни в своем, ни в чужом доме по той простой причине, что на основе глупости нельзя построить мудрое здание. Но довольно об этом, Санчо; если ты будешь плохим правителем, вина будет твоя, а стыд — мой; но я утешаю себя тем, что исполнил свой долг и преподавал тебе советы со всей для меня возможной серьезностью и вдумчивостью; я сдержал свое обещание, и на том мои обязательства кон-

чаютя. Поезжай с богом, Санчо, и да направит он тебя в твоём правлении, и пусть рассеются поскорей все мои тревоги; я боюсь, как бы ты с твоим островом не полетел вверх тормашками, а между тем я бы мог предотвратить это несчастье, открыв герцогу, кто ты такой на самом деле, и объяснив ему, что со всей твоей толщиной и внушительным видом — ты просто-напросто мешок, набитый пословицами и плутнями.

— Сеньор,— возразил Санчо,— если вашей милости кажется, что я не гожусь в губернаторы, я тотчас же от этого откажусь, так как самая малая толика моей души величиною в черпый край ногтя, для меня дороже всего моего тела; простым Санчо, жующим хлеб с луком, проживу я не хуже, чем губернатор, улетающий каплунов и куропаток; к тому же, когда мы спим, мы все равны бываем: и знатные и незнатные, и богатые и бедные; а ежели вы, ваша милости, хорошенько подумаете, то вспомните, что вы сами толкнули меня на это губернаторство, а я столько же смыслю в губернаторствах и островах, сколько какой-нибудь ястреб; и если вы полагаете, что из-за этого губернаторства дьявол потащит меня в ад, то уже тогда лучше мне оставаться Санчо и попасть в рай, чем сделаться губернатором и отправиться потом в преисподнюю.

— Честное слово, Санчо,— ответил дон Кихот,— то, что ты сейчас сказал, ясно показывает, что ты достоин управлять тысячею островов: у тебя хорошее сердце, а без этого всякая наука бесплодна; поручи себя милости божьей и постарайся неукоснительно следовать своему

первому побуждению: я хочу сказать, что ты должен всегда иметь твердое и крепкое намерение преуспеть во всяком деле, а небо всегда способствует нашим благим начинаниям; а теперь пойдем обедать, так как я думаю, что хозяева нас уже ждут.

ГЛАВА XLIV

о том, как Санчо Панса отбыл на остров, и о странном приключении дон Кихота в герцогском замке



оворят, будто из подлинника этой истории видно, что переводчик перевел эту главу не так, как написал ее Сид Амет, а написал ее мавр вроде жалобы на самого себя за то, что ему пришлось в голову взяться за такую бесплодную и узко-ограниченную повесть, как «Дон Кихот»: ведь ему постоянно приходится говорить только о рыцаре и его оруженосце, и он не смеет вводить отступлений и эпизодов более серьезных и занимательных; он говорит, что направлять все свое внимание и руку, и перо на описание одного лишь предмета, вкладывать свои речи в уста лишь темных лиц, кажется ему трудом непосильным и не приносящим никаких плодов автору, и вот, во избежание этого неудобства, он применил в первой части искусное влечение в рассказ нескольких повесел вроде «Безрассудно-любопытного» и «Капитана-пленника», стоящих особняком от основного повествования, и еще других, излагающих события, слу-

чившиеся с самим дон Кихотом и подлежавшие поэтому изображению. Однако автор полагает, что большинство читателей, сосредоточившись на деяниях дон Кихота (ибо они этого требуют), не обратит внимания на новеллы и пробежит их наспех и даже со скукой, не заметив, как искусно и изящно они написаны, а между тем все достоинства их обнаружатся в полном блеске, когда они появятся в печати отдельно, вне всякой связи с безумствами дон Кихота и нелепостями Санчо; а посему во второй части романа автор решил не вводить ни обособленных, ни «приспособленных» новелл, и удовлетворился несколькими эпизодами, порождаемыми естественным ходом событий, и при этом, сжатыми и уясняемыми читателю в самых кратких словах; итак, он ограничивает и связывает себя узкими рамками повествования, хотя у него достало бы уменья, способностей и ума, чтобы изобразить всю вселенную, а потому он просит не презирать его труд и хвалить его не за то, что он пишет, а за то, чего ему не удалось написать.

Затем, возвращаясь к своему рассказу, он сообщает, что дон Кихот, отобедав, вечером того самого дня, когда он давал свои советы, изложил их письменно и вручил Санчо для того, чтобы ему их мог прочесть какой-нибудь грамотей; но Санчо тотчас же их потерял, и они попали в руки герцога; тот прочитал их герцогине, и оба они снова подивились безумию и уму дон Кихота; затем они привели в исполнение свой забавный план и тем же вечером отправили Санчо в сопровождении многочисленной свиты в селение, которое для него должно было

превратиться в остров. Случилось так, что руководителем этого шествия оказался дворецкий герцога, человек умный и остроумный (ибо где нет ума, там не может быть и остроумия), тот самый, который, как мы уже говорили, уморительно разыграл роль графини Трифальди; с такими данными он, будучи обучен своими господами приемам обращения с Санчо, отлично справился со своей задачей. И вот Санчо, увидев перед собой этого дворецкого, сразу же заметил, что лицом он похож на Трифальди, и, обратившись к дон Кихоту, сказал:

— Сеньор, провались я мигментально на этом самом месте ко всем чертям, если вашей милости не придется признать, что лицо у этого герцогского дворецкого точь в точь как у Долориды.

Дон Кихот пристально посмотрел на дворецкого и затем ответил Санчо:

— Санчо, тебе совершенно незачем *мигментально* (не понимаю я только этого слова!) проваливаться к чертям; у дворецкого действительно лицо дуэньи Долориды, но из этого не следует, что дворецкий и есть Долорида, ибо это привело бы нас к весьма странному противоречию; к тому же теперь не время выяснять этот вопрос, который может завлечь нас в безвыходный лабиринт. Поверь мне, друг мой, нам с тобой следовало бы горячо помолиться господа богу о том, чтобы он избавил нас от злых колдунов и злых волшебников.

— Но это не шутка, сеньор, — возразил Санчо, — я только что слышал, как он говорит, и мне показалось, что в ушах моих звучит голос

Трифальди. Ну, да ладно. я помолчу, но все же отныне я буду держать ухо востро и подмечать: не открою ли я чего; быть может, мои подозрения укрепятся, а может быть и исчезнут.

— Ты так и сделай, Санчо, — ответил дон Кихот, — и обо всем, что ты по этому поводу заметишь, сообщай мне, а также пиши мне о всех твоих губернаторских делах.

Наконец, Санчо выехал, окруженный многочисленной свитой; на нем был костюм ученого, а поверх широкое облачение из рыжеватого камлота с блеском, на голове — шапочка из той же материи; сидел он верхом на муле, а следом за ним, по приказанию герцога, выступал ослик в новенькой шелковой сбруе и подобающих украшениях. От времени до времени Санчо обращивался, чтобы взглянуть на серого, общество которого доставляло ему столько удовольствия, что он не поменялся бы местом с самим германским императором. Прощаясь с герцогом и герцогиней, он поцеловал им руки и попросил дон Кихота благословить его; тот исполнил это, проливая слезы, а Санчо принял его благословление всхлипывая.

А теперь, любезный читатель, пускай добряк Санчо отправляется с миром и в добрый час; когда ты узнаешь, как он вел себя в новой должности, тебе придется от души посмеяться; а сейчас послушай, что случилось с нашим рыцарем в ту же ночь, и если ты не расхохочешься, то уж наверное оскалишь зубы, как обезьяна, ибо почтить деяния дон Кихота можно только изумлением или смехом.

Итак, дальше рассказывается, что не успел

Санчо уехать, как дон Кихот почувствовал свое одиночество, и, если бы это было в его силах, он наверное бы отменил назначение Санчо и лишил его губернаторства. Герцогиня заметила его печаль и спросила, почему он грустен и не скучает ли он по Санчо: ведь в замке есть много оруженосцев, дуэний и девушек, и все они готовы услужить ему в малейшем его желании.

— Да, правда, сеньора, — ответил дон Кихот, — я чувствую отсутствие Санчо; но не в этом главная причина моей грусти; что же касается щедрых предложений вашего высочества, то мне ценно и дорого лишь проявление вашей ко мне благосклонности, остальное же мне не нужно, и я прошу ваше высочество позволить и разрешить мне в моем покое пользоваться своими собственными услугами.

— Право же, сеньор дон Кихот, — ответила герцогиня, — это не годится; вам будут служить четыре девушки из числа приставленных лично ко мне, прекрасные собой как цветы.

— Они покажутся мне не цветами, — возразил дон Кихот, — а шипами, рапящими мою душу. Ни они, ни другие им подобные никогда не проникнут в мой покой, — это так же верно, как то, что мы не летаем. И если вашему высочеству угодно продолжать осыпать меня милостями, которых я не заслужил, то позвольте мне запереться на замок, самому заботиться о себе и возвести стену между моими желаниями и целомудрием; я не хотел бы из-за щедрости вашего высочества преступить мои обычаи; одним словом, скорее я буду спать одетым, чем допущу, чтобы кто-нибудь стал меня раздевать.

— Довольно, довольно, сеньор дон Кихот, — прервала его гердогиня, — будьте уверены, что я дам приказание, чтобы в вашу комнату не проникла не только девушка, но даже муха; не такая я женщина, чтобы наносить урон благопристойности сеньора дон Кихота; ибо, насколько я могла понять, среди всех ваших добродетелей целомудрие занимает первое место. Ваша милость может одеваться и раздеваться в полном одиночестве, как и когда ей будет угодно, ибо отныне никто вам больше не помешает, и в своем покое вы найдете сосуды, которые могут понадобиться тому, кто спит с закрытою дверью и не желает, чтобы какая-нибудь естественная потребность припудила его отпереть дверь. Да живет тысячу веков великая Дульсинья Тобосская и да прославится ее имя по всему лицу земли, ибо она заслужила честь быть любимой столь доблестным и деломудренным рыцарем; и да внушат милостивые небеса сердцу нашего губернатора Санчо-Пансы желание поскорее закончить свое бичевание, дабы весь мир мог снова наслаждаться красотой этой благородной сеньоры!

На это дон Кихот ответил:

— Речи вашего высочества во всем соответствуют вашему величию, ибо никогда дурное слово не может изойти из уст достойнейшей дамы; похвалы вашего высочества принесут Дульсинее больше счастья и славы в мире, чем восхваления самых красноречивых ораторов на свете.

— Дело в том, сеньор дон Кихот, — ответила гердогиня, — что уже время ужинать, и гердог, должно быть, нас ждет; пойдемте, ваша милость, поужинаем, и вы сможете пораньше лечь спать,

ибо вчерашнее ваше путешествие в Кандаю, как никак продолжительное, наверное вас несколько утомило.

— Я не чувствую никакого утомления, сеньора, — возразил дон Кихот, — и готов поклясться вашему высочеству, что мне никогда в жизни не случалось ездить на животном, которое двигалось бы более спокойно и плавно, чем Клавцельно; я право не понимаю, что побудило Маламбруно расстаться с таким быстроходным, благородным конем и сжечь его ни с того, ни с сего.

— Можно предположить, — ответила герцогиня, — что он раскаялся в том зле, которое причинил Трифальди, ее приспым и прочим своим жертвам, а также в преступлениях, которые он, вероятно, совершил, будучи колдуном и волшебником, а потому решил истребить все орудия своего ремесла; первым делом он сжег Клавильно, который не давал ему покоя и вечно возил из одной страны в другую; а пепел его и письмо Маламбруно, оставшее в виде трофея, вечно будут свидетельствовать о доблести великого дон Кихота Ламанчского.

Дон Кихот снова поблагодарил герцогиню и, поужинав, удалился один в свой покой, запретив сопровождать его и предлагать ему какие-либо услуги: так сильно он боялся, чтобы какая-нибудь случайность не побудила и не заставила его нарушить целомудренную чистоту, обещанную госпоже его сердца, Дульсинее, — а рыцарь наш никогда не забывал о добродетели Амадиса, этого цвста и зеркала странствующих рыцарей. Он запер за собой дверь и при свете двух восковых свечей разделся, а когда стал разуваться (о зло-

ключение, незаслуженное таким человеком!), у него вдруг вырвался, — но не вздох и не что-нибудь другое, что могло бы осрамить его безупречную благовоспитанность, — а просто целый пучок петель на чулке, от чего этот последний стал похож на решетчатый ставень. Крайне огорчился этим наш добрый сеньор и охотно бы отдал целую унцию серебра за полдрахмы зеленого шелка, я говорю — зеленого, потому что чулки у него были тоже зеленые. Тут Бененхели делает восклицание и пишет так:

«О бедность, бедность! Не понимаю, какая причина побудила великого кордовского поэта назвать тебя:

О дар святой, никем не оцененный! *

Я хоть и мавр, но имел дело с христианами и отлично знаю, что святость заключается в милосердии, смирении, вере, послушании и бедности; тем не менее я берусь утверждать, что человек, довольный своей бедностью, должен быть во многом подобен богу, иначе под бедностью следует разуметь то, о чем говорится у одного из величайших святых: «владейте всеми вещами так, как если бы вы ими вовсе не владели», * то есть так называемую нищету духа; но ты, обыкновенная бедность (я о тебе сейчас говорю), почему ты вечно привязываешься к идальго и людям благородным, щадя однако других? Почему ты заставляешь их подмазывать краской башмаки и носить камзолы с разносортными пуговицами — из шелка, волоса и стекла? Почему воротники их большей частью бывают только расправлены, а не собраны в накрахмаленные трубочки? (Из этого

можно заключить, что употребление крахмала и трубчатые воротники восходят к глубокой древности.) И Бененхели продолгает: «Горе тому дворянину, который для поддержания своей чести обедает впроголодь, запершись у себя дома, а затем выходит на улицу и лицемерно ковыряет во рту зубочисткой, а между тем он не ел ничего такого, после чего ему была бы нужна зубочистка! Горе тому, повторяю, у кого честь боязлива и которому кажется, что все за милую замечают, что башмаки его заплаты, шляпа пропитана потом, плащ продрал, а живот пуст!»

Все эти мысли пронеслись через голову дон Кихота, когда у него спустились петли на чулке, но он успокоился, увидев, что Санчо оставил ему дорожные сапоги, и решил надеть их завтра. Наконец, он улегся, грустный и огорченный, во-первых, из-за отсутствия Санчо, а во-вторых, из-за непоправимого несчастья с чулками; он готов был, кажется, заштопать их шелком другого цвета, хотя идалго, прозябающий в бедности, ничем не может яснее показать свою нищету, чем именно этим способом. Затем он погасил свечи, но было жарко, и он не мог заснуть; он встал с постели и приоткрыл немного решетчатое окно, выходящее в прекрасный сад; в эту минуту он почувствовал и заметил, что в саду кто-то гуляет и разговаривает. Он внимательно прислушался. В саду заговорили громче, и он смог разобрать следующие слова:

— Не заставляй меня петь, Эмеренсия! Ты ведь знаешь, что с той самой минуты, как этот приезжий прибыл к нам в замок и глаза мои его увидели, я не в силах больше петь, я только

плачу; тем более, что сон нашей госпожи скорее легок, чем крепок, а я за все сокровища в мире не согласилась бы, чтобы нас застали в этом месте; но пусть даже она не проспится и будет спать спокойно, — к чему мне петь, если не проспится и будет спокойно спать, не слушая моей песни, этот повый Эпей, приехавший в наши края для того, чтобы посмеяться надо мной?

— Не бойся этого, милая Альтисидора, — отвечал другой голос, — герцогиня и все в замке без всякого сомнения спят, и бодрствует лишь тот, кто овладел твоим сердцем и пробудил твою душу: я только что слышала, как открылось в его комнате решетчатое окно, и, наверное, он проснулся; пой же, моя бедная, пой тихо и нежно под звуки арфы, а если герцогиня нас услышит, мы скажем, что выпой всему эта душная ночь.

— Не этого я боюсь, о Эмеренсия, — отвечала Альтисидора — нет, мне не хотелось бы, чтобы мое пение выдало мои чувства и чтобы люди, не знающие могучей власти любви, сочли меня девицей легкомысленной и распутной; а впрочем, будь что будет: лучше краска стыда на лице, чем изъян в сердце.

После этих слов нежно зазвепели струны арфы.

Услышав эти звуки, дон Кихот весь обмер, ибо в эту минуту пришли ему на память все бесчисленные приключения с решетками окон, садами, музыкой, любовными объяснениями и обмороками, о которых он читал в своих нелепых рыцарских романах. Он немедленно вообразил, что одна из девушек герцогини в него влюблена и что стыдливость заставляет ее скрывать свои чувства. Испугавшись, как бы она не победила его сердца,

он решил про себя не сдаваться; и, поручив себя от всей души и от всего сердца госпоже своей Дульсинее Тобосской, он вознамерился выслушать пение и, желая подать о себе знак, притворно чихнул, что весьма обрадовало девушек, добывавшихся того, чтобы дон Кихот их почувал. И вот настроив арфу, Альтисидора запела такой романс:

Ты, который на постели
В простынях лежишь голландских
И от ночи до рассвета,
Разметавшись, дремлешь сладко;

Наидоблестнейший рыдари
Из рождавшихся в Ламанче,
Аравийских самородков
Драгоценнее и краше,

Внемли горестной девице,
Рослой телом и злосчастной,
Ибо ей твои два солнца
Душу пламенем объяли.

Для себя ты славы ищешь,
А другим даришь печали;
Тяжко ранишь и не хочешь
Против ран подать лекарство.

Молви, юноша отважный,
— Бог пошли тебе удачу, —
Ты не в Ливии ль родился,
Или на вершинах Хака? *

Ты не змеями ли вскормлен,
Или дух твой воспитали
Дикие лесные дебри
И пугающие скалы?

Смело может Дульсинея,
Дева, соком налитая,
Похвалиться, что смирила
Зверя лютого и барса.

И за то ее прославят
И Энарес, и Харамы,
Быстрый Тахо, Мансанарес,
Писуэрга и Арланса. *

Чтобы с нею поменяться,
Я бы отдала в придачу
Юбку с золотой бахромкой
И притом из самых ярких.

О, лежать в твоих объятьях,
Иль хотя бы только рядом,
И скрести тебе затылок,
Гнид ногтями убивая!

Но такой великой чести
Домогаться я не в праве;
Дай твои размять мне ноги,
Для меня и это радость.

Сколько б я тебе дарила
Гребешков, штанов атласных,
И серебряных чулочков,
И накидок полотняных!

Сколько редкостных жемчужин,
Каждая с орешек малый,
По прозванью «одиночки»,
Оттого, что нет им равных!

Не взирай с Тарпейской * кручи
На пожар, меня объявший,
Не вздувай его во гневе,
Всеземной Нерон Ламанчский!

Я — дитя, подросток нежный,
Лет мне даже не пятнадцать,
А четырнадцать с немногим,—
Бог моей свидетель клятве.

Не хрома, не кривобока,
Руки у меня в порядке,
Волосы, пышнее лилий,
По земле за мной влачатся;

И хотя мой нос приплюснут,
А мой рот слегка растянут,
Но зато зубов топазы
Создают мне облик райский.

Голос мой, как сам ты слышишь,
Сладкозвучнейшему равен,
А мое телосложение
Ниже среднего без мала.

Все, чем только я прелестна,
Ты сразил своим молчаном.
Я зовусь Альтисидора
И служу при этом замке.

На этом пение сраженной любовью Альтисидоры прервалось, а ее чаровник, доп Кихот, испустил глубокий вздох и с ужасом сказал про себя:

— О я, злополучный странствующий рыцарь! Неужели ни одна девушка на свете не может, увидев меня, не влюбиться? И неужели несравненная Дульсинея Тобосская так несчастлива, что судьба не позволит ей в одиночку насладиться моей несравненной верностью? Чего вы от нее хотите, королевы? Зачем вы преследуете ее, императрицы? Зачем вы гонитесь за ней по

пятам, девушки от четырнадцати до пятнадцати лет? Оставьте ее, бедную, позвольте ей торжествовать, гордиться и наслаждаться тем счастьем, которое посулил ей Амур, подчинив ей мое сердце и вручив мою душу. Знайте же, толпы влюбленных женщин, что для одной лишь Дульсины я — мягкое тесто и помадка, а для всех остальных я — камень; для нее я — мед, для вас — алмаз; для меня одна только Дульсина прекрасна, умна, добродетельна, изящна и благородна, все же остальные безобразны, глупы, порочны и низменны; природа произвела меня на свет для того, чтобы я принадлежал ей одной и никому другому. Пусть плачет или поет Альтисидора, пусть убивается та дама, из-за которой меня избili в замке очарованного мавра; делайте со мной, что хотите, я все же буду принадлежать Дульсине и останусь чистым, благоправным и целомудренным на зло всем силам волшебства на свете.

Тут он с шумом захлопнул окно и лег в постель в такой досаде и печали, как если бы с ним приключилось большое несчастье; а теперь мы его на время покинем, ибо нас зовет к себе великий Санчо Панса, со славою вступающий в управление своим островом.

ГЛАВА XLV

о том, как великий Санчо Панса вступил во владение своим островом и каким образом он начал управлять им



ТЫ, вековечный созерцатель антиподов, факел мира, око неба, ты, сладостный вращатель *кантимплор*, * ты, именующийся тут Тимбрием, там Фсбом, * в одном месте стрелком, в другом — врачом, ты, отец поэзии, изобретатель музыки, ты, вечно встающий и, несмотря на видимость, никогда не ложащийся! К тебе взываю я, о солнце, с чьей помощью человек рождает человека; к тебе обращаюсь я, да просветишь ты благосклонно темноту моего разума, дабы я мог шаг за шагом проследить историю управления великого Санчо Пансы, ибо без твоей поддержки я чувствую себя вялым, бессильным и смущенным.

Итак, Санчо прибыл со всей своей свитой в селение, в котором было около тысячи жителей и которое считалось одним из лучших владений герцога. Ему объяснили, что остров этот зовется Баратария: потому ли, что название местечка было *Баратарно*, или потому, что Санчо даром досталось управление им, — неизвестно. Когда

подъехали к воротам городка, окруженного стенами, навстречу вышли местные власти; ударили в колокола, жители единодушно проявили большую радость и с большой торжественностью повели Санчо в главную церковь, чтобы там возблагодарить бога; затем, после некоторых смешных церемоний, ему вручили ключи города и признали пожизненным губернатором острова Баратарии. Платье, борода, толстый живот и маленький рост нового губернатора удивляли всех, кто не знал подоплеку этой истории; впрочем, дивились также и многие из тех, кому она стала известна. Наконец, из церкви повели его в залу судилища, усадили в кресло, и дворецкий герцога сказал:

— Сеньор губернатор, на нашем острове существует древний обычай: тот, кто вводится во владение этим славным островом, обязан ответить на довольно хитрые и запутанные вопросы, которые ему будут заданы; по этому ответу население судит и, так сказать, нащупывает пульс умственных способностей своего нового губернатора, и сообразно с этим либо радуется, либо печалится его прибытию.

Во время речи дворецкого, Санчо разглядывал длинную надпись, которая большими буквами была начертана на стене против его кресла, а так как он был неграмотен, то спросил, что это за значки нарисованы на стенке. Ему ответили:

— Сеньор, там написано и начертано, что в такой-то день ваше вельможество вступило во владение островом; надпись эта гласит: «Сегодня, такого-то дня, месяца и года сеньор дон Санчо

Панса вступил во владение этим островом, и да сохранит его господь у власти на многие лета».

— А кого это зовут дон Санчо Панса? — спросил Санчо.

— Вас, ваше вельможество, — ответил дворецкий, — ибо на остров наш прибыл один только Панса, и он сейчас восседает на этом кресле.

— Так заметьте себе, братец, — возразил Санчо, — что ни я, ни другой кто в моем роду никогда не был *доном*; меня попросту зовут Санчо Панса, и отец мой звался Санчо, и дед мой звался Санчо, и все они были Панса без всяких этих *донов* и *передонов*; я подозреваю, что на вашем острове *донов* будет больше, чем булыжников; но довольно об этом, господь меня понимает, и если мне удастся пробыть здесь губернатором хоть несколько дней, я выведу всех этих *донов*; должно быть, они здесь кишмя кишат и надоели всем хуже комаров. Ну-ка, давайте ваши вопросы, сеньор дворецкий, и я буду отвечать по крайнему своему разумению, на радость или на горе моему народу.

В эту минуту в залу суда вошли два человека, — один из них был одет крестьянином, другой — портным, с ножницами в руках; и портной сказал:

— Сеньор губернатор, мы с этим крестьянином пришли к вашей милости по делу: этот добрый человек явился вчера ко мне в лавку (с позволения всей честной компании я состою здесь присяжным портным, да благословится честное имя господне); так вот, этот крестьянин дал мне в руки кусок сукна и спросил: «Сеньор, хватит ли этого куска, чтобы выкроить мне колпак?» Я прикинул на глаз и ответил, что хватит;

я думаю, что он наверное подумал, и подумал правильно, будто я хочу украсть у него кусочек сукна; рассуждал он так либо по собственному здонравию, либо вследствие дурной славы, ходящей про портных, а потому и попросил меня прикинуть, не хватит ли тут на две шапки; я догадался об его мыслях и ответил, что хватит; а он, упорствуя в своем первоначальном злостном умысле, продолжал прибавлять колпак за колпаком, а я одно да за другим; таким-то образом мы дошли до пяти колпаков, и вот он пришел за ними, я их ему выдал, а он не желает платить мне за работу, да еще требует, чтобы я заплатил ему или вернул сукно.

— Правду ли он говорит, братец? — спросил Санчо.

— Да, сеньор, — ответил крестьянин, — но прикажите ему, ваша милость, показать колпаки, которые он для меня сшил.

— Весьма охотно, — сказал портной, — и тут же, вытащив из-под плаща руку, на каждом пальце которой было надето по колпачку, сказал:

— Вот пять колпачков, которые этот добрый человек мне заказал, и клянусь богом и совестью, что у меня не осталось ни кусочка сукна, и я готов представить свою работу на рассмотрение цеховых представителей.

Количество колпаков и небывалый вид тяжбы заставили всех присутствующих расхохотаться. Санчо подумал с минуту и сказал:

— Мне думается, что эта тяжба может быть закончена без долгой волокиты и что, как порядочные люди, мы можем решить ее немедленно; а потому слушайте мой приговор: портной не по-

лучит денег за шитье, крестьянину не будет возвращено сукно, а шапки будут пожертвованы заключенным в тюрьме * — и на том делу конец.

Если следующее ниже решение Санчо о кошельке пастуха вызвало удивление присутствующих, то это его постановление заставило их рассмеяться, но все же приказание губернатора было исполнено. В эту минуту в зале появились два старца, одному из которых служила посохом толстая трость. Второй, без посоха, начал так:

— Сеньор, я одолжил этому доброму человеку десять золотых эскудо, желая оказать ему услугу и любезность, с тем однако условием, чтобы он возвратил мне их по первому требованию; прошло много времени, и я не требовал у него долга, ибо понимал, что если, занимая у меня деньги, он находился в затруднительном положении, то возвратив их, он попадет в еще более затруднительное; но мне, наконец, показалось, что он и не думает о возврате долга, и потому я несколько раз напомнил ему об этом, а он не только не отдает мне денег, но еще отрицает, что их занимал, и утверждает, что я никогда ему не ссужал этих десяти эскудо, а если когда и ссудил, то он давно уж мне их возвратил; у меня нет свидетелей ни займа, ни отдачи, — впрочем, последней никогда и не было; я бы просил вашу милость заставить этого человека дать клятву, и если он поклянется, что отдал мне долг, я готов простить ему тут же на месте, пред лицом господ бога.

— Что вы на это скажете, старичок с посохом? — спросил Санчо.

На это старик ответил:

— Сеньор, я признаю, что он мне одолжил

эти деньги; опустите пониже, ваша милость, ваш жезл; а раз истец полагается на мою клятву, то я клянусь, что отдал и уплатил ему долг сполна и без всякого обмана.

Губернатор опустил свой жезл, и старик передал свой посох второму старику, прося подержать его словно какую-то обременительную вещь, пока он будет приносить клятву; затем он положил руку на крест жезла и заявил, что ему действительно одолжили десять эскудо, но что он их отдал обратно из рук в руки, а займодавец по забывчивости несколько раз требовал у него долг.

Выслушав это, губернатор спросил займодавца, что тот может ответить на заявление противной стороны, и тот ответил, что должник его без всякого сомнения говорит правду, ибо он считает его честным человеком и добрым христианином, и что, должно быть, он позабыл, как и когда ему были возвращены эти десять эскудо и что отныне он больше никогда не будет их требовать.

Должник взял свой посох и, поклонившись, удалился из суда. А Санчо, видя преспокойный уход ответчика и смиренное поведение истца, склонил голову на грудь, положил указательный палец правой руки на брови и на переносицу, пробыл короткое время в раздумье и, наконец, подняв голову, велел вернуть старика с посохом, который успел тем временем удалиться.

Когда его привели, Санчо посмотрел на него и сказал:

— А ну-ка, добрый человек, дайте мне ваш посох, он мне нужен.

— С большим удовольствием, — ответил старик, — вот он, сеньор.

И он отдал ему посох; а Санчо взял его, вручил другому старику и сказал:



— Ступайте с богом, вам уже заплачено.

— Как, сеньор? — воскликнул старик, — да разве эта трость стоит десять золотых эскудо?

— Стоит, — ответил губернатор, — а если нет, то я величайший остопоп на свете; сейчас вы убедитесь, способен ли я управлять целым королевством, или нет.

Тут он приказал в присутствии всех сломать и расколоть трость. Это было исполнено, и внутри оказались десять золотых эскудо. Все были поражены и решили, что губернатор — новый Соломон. Спросили Санчо, как он мог догадаться, что десять эскудо спрятаны в трости; а он объяснил так: старик перед принесением клятвы передал на время трость своему противнику и поклялся, что он сполна и без обмана вернул ему долг, а затем, принеся клятву, потребовал свою трость обратно; видя это, Санчо заподозрел, что требуемый долг находится внутри трости. Из этого можно заключить, — прибавил Санчо, — что господь руководит суждениями губернаторов, хотя бы сами по себе они и были тупоголовы. Кроме того, — прибавил он, — священник их села рассказывал ему про один случай вроде этого, а у него, Санчо, отличная память, и если бы только он сплошь и рядом не забывал того, о чем ему хотелось вспомнить, то такой памяти, наверное, не сыскалось бы на всем этом острове.

Итак, старики удалились, один — раздосадованный, другой — удовлетворенный; все присутствующее продолжали удивляться, а писец, которому было поручено записывать речи, поступки и деяния Санчо, так и не знал, как ему изобразить и описать нового губернатора: глупым или умным.

После разрешения этой тяжбы в залу суда вошла женщина, крепко держа за руку какого-то

человека, которого по одежде можно было принять за богатого пастуха; она громким голосом кричала:

— Правосудия, сеньор губернатор, правосудия! Если я не найду правосудия на земле, я пойду искать его на небе! Дорогой сеньор губернатор, этот человек набросился на меня посреди поля и воспользовался моим телом, как какой-нибудь грязной тряпкой. Ах, горе мне несчастной! Он отнял у меня сокровище, которое я хранила более двадцати трех лет, оберегая его от мавров и христиан, от земляков и чужеземцев; я всегда была тверда, как пробковый дуб, целехонькая, как саламандра в огне, или как червивое яблочко — и вот теперь этот молодец надругался надо мной за милую душу.

— Ну, это еще нужно выяснить, милая ли душа у этого щеголя или немилая, — сказал Санчо и, обратившись к обвиняемому, спросил:

— Что вы скажете и ответите на обвинение этой женщины?

А тот в великом смущении ответил:

— Сеньоры: я — бедный пастух, свинопас; сегодня утром ехал я из вашего селения, продав — извините за выражение — четырех свиней, а на пошлины да на поборы ушло немногим меньше, чем все они стоили; и вот, возвращаясь к себе в деревню, повстречал я на дороге эту почтенную даму, — а ведь дьявол всюду суется и все мутит, — и вот вышло так, что мы с ней позабавились; я заплатил ей как полагается, а она осталась недовольна, вцепилась в меня и притащила в это самое место; она уверяет, что я ее изнасиловал, но это ложь, я клянусь вам в этом или готов поклясться; вот вам и вся правда, точка в точку.

Тогда губернатор спросил пастуха, нет ли у него при себе серебряных денег; тот ответил, что у него за пазухой в кожаном кошельке около двадцати дукатов. Санчо приказал ему вынуть кошелек и передать, не развязывая, женщине; пастух, весь дрожа, исполнил приказание; а женщина схватила кошелек, стала отвешивать поклоны на все стороны и молить бога о здоровье и долгой жизни сеньора губернатора за то, что он так по-отечески заботится о беззащитных сиротах и девах. Затем, держа кошелек обеими руками, она удалилась из залы суда, не забыв, впрочем, удостовериться в том, что монеты в кошельке — серебряные.

Как только она вышла, Санчо обратился к пастуху, а у того уже слезы катились из глаз, и взоры вместе с сердцем устремились вслед кошельку.

— Добрый человек, ступайте за этой женщиной и отнимите у нее кошелек, хотя бы насильно, и приведите ее обратно сюда.

Пастух был понятлив и не туг на ухо, а потому он вылетел стрелой на улицу и погнался за женщиной. Все присутствующие с любопытством ожидали, чем кончится дело; спустя некоторое время, женщина вбежала снова, ухватившись и вцепившись в пастуха еще крепче, чем в первый раз; у нее был приподнят подол, а кошелек прижат к самому животу; а пастух из кожи лез, стараясь отнять у нее кошелек, но у него ничего не выходило, так как женщина, отбивалась изо всех сил и громко вопила:

— Правосудие божеское и человеческое! Посмотрите, ваша милость, сеньор губернатор, как

мало стыда и страха у этого душегуба: он вздумал посреди селения и посреди улицы отнять у меня кошелек, который ваша милость приказала мне отдать.

— Ну, и что же, он отнял его у вас? — спросил губернатор.

— Отнял! — вскричала женщина. — Да я скорей позволю отнять у меня жизнь, чем кошелек! Нашли тоже маленькую девочку! Добро бы еще настоящего кота мне в рожу бросили, а то такого несчастного грязнулю! Никакие клещи, ни стамески, ни деревянные и железные молотки, ни львиные когти не заставят меня выпустить из рук этот кошелек; легче вам будет вытряхнуть мою душу из тела!

— Она права, — сказал пастух, — у меня не хватает силы, я сдаюсь и признаю, что не в состоянии вырвать у нее кошелек, — пусть он у нее и останется.

Тут губернатор сказал женщине:

— Покажите-ка кошелек, почтенная и отважная дама.

Она немедленно вручила ему кошелек, а губернатор передал его пастуху и заявил сильной, но отнюдь не изнасилованной женщине:

— Послушайте, голубушка, если бы вы, защищая свою честь, проявили хотя бы половину той отваги и силы, которые обнаружили при защите этого кошелька, то сам Геркулес со всей своей мощью не смог бы вас изнасиловать; ступайте себе с богом или, вернее, идите ко всем чертям, не оставайтесь не то что на острове, а на расстоянии шести миль от него, иначе всыпят вам двести плетей! Ступайте же, говорю вам, бесстыжая пройдоха и обманщица!

Женщина перепугалась и удалилась в досаде, низко опустив голову, а губернатор обратился к пастуху:

— Добрый человек, отправляйтесь к себе в деревню с вашими деньгами, и если не желаете их потерять, то никогда больше не уступайте желанию позабавиться с женщиной.

Пастух поблагодарил, как умел, и удалился. Присутствующие снова стали удивляться приговорам и решениям нового губернатора. Писец все это записал и послал свой отчет герцогу, который дожидался его с большим нетерпением.

Но здесь мы покинем доброго Санчо и поспешим вернуться к его господину, глубоко взволнованному пением Альтисидоры.

ГЛАВА XLVI

об ужасном переполохе с колокольчиками и котами, выпавшем на долю дон Кихота во время его любовных объяснений с влюбленной Альтисидорой



ы оставили дон Кихота погруженным в глубокое раздумье, которое навела на него музыка влюбленной девицы Альтисидоры. Так он и лег спать с этими мыслями, и они, как блохи, не дали ему ни заснуть, ни отдохнуть ни одной минутки, а к ним присоединились еще заботы о порванном чулке; но что может быть быстрее времени? — никакие ухабы его не останавливают, а потому оно помчалось верхом на быстрых часах и в скорости доскакало до утра. Завидев свет, дон Кихот покинул мягкую перину, проворно облекся в свое одеяние из верблюжьей шерсти и натянул дорожные сапоги, чтобы скрыть печальное состояние чулок; а поверх костюма он накинул красный плащ и на голову надел зеленую бархатную шапочку с серебряными позументами; через плечо перекинул перевязь со своим острым добрым мечом; взял в руки длинные четки, с которыми никогда не разлучался, и торжественным

шагом чинно проследовал в гостиную, где, видимо, ожидали его уже вполне готовые герцог и герцогиня; рядом же в галерее, через которую он должен был пройти, нарочно спряталась Альтисидора с другой женщиной, своей подругой; и, как только Альтисидора увидела дон Кихота, она притворилась, что лишается чувств, а подруга подхватила ее на руки и поспешно принялась расшнуровывать ей грудь.

Дон Кихот увидел все это и, подойдя к девицам, сказал:

— Мне понятна причина этого несчастного случая.

— А мне непонятна, — ответила подруга, — Альтисидора из всех девушек в замке — самая здоровая, и с тех пор как я ее знаю, она ни одного раза «ой» не вскрикнула; да будут прокляты все странствующие рыцари на свете, если все они такие бесчувственные; ступайте себе дальше, сеньор дон Кихот: пока ваша милость будет здесь стоять, эта бедная девочка наверное не придет в себя.

На это дон Кихот ответил:

— Распорядитесь, ваша милость, сеньора, чтобы вечером ко мне в комнату принесли лютню*; я приложу все усилия, чтобы утешить эту печальную девушку, ибо в начале любви быстрое разочарование — самое верное лекарство.

С этими словами он удалился, не желая, чтобы кто-нибудь заметил его в галерее. А как только он ушел, бесчувственная Альтисидора пришла в себя и сказала подруге:

— Непременно нужно положить ему в комнату лютню, ибо дон Кихот несомненно собирается

угостить нас музыкой, а если он сам заиграет то, наверное, выйдет неплохо.

Затем они отправились к герцогине, рассказали ей о том, что произошло, и передали просьбу дон Кихота прислать ему лютню; герцогиня,



крайне этим обрадованная, тут же сговорилась с герцогом и девушками сыграть с нашим рыцарем шутку, не столько злую, сколько забавную. Все с большим удовольствием ожидали вечера; герцог и герцогиня провели весь день в приятных разговорах с дон Кихотом, и ночь наступила так

же быстро, как и утро этого дня. Но еще раньше герцогиня самым настоящим и подлинным образом отправила к Тересе Пансе своего пажа (того самого, который в саду исполнял роль очарованной Дульсиной) с наказом передать ей письмо от мужа вместе с узелком платья, который он для нее оставил, и с просьбой дать по возвращении точный отчет во всем, что он увидит и услышит. Когда с этим было покончено, и когда наступило одиннадцать часов ночи, дон Кихот нашел у себя в комнате виолу;* он подтянул струны, открыл решетку окна и услышал, что в саду кто-то гуляет; тогда он пробежал рукой по ладам, хорошенько настроил виолу, сплюнул, прочистил себе горло и сипловатым, но верным голосом, запел следующий романс, сочиненный им в тот же день:

Силы страсти нашу душу
 Всякий раз с крючков снимают,
 Применяя, как орудье,
 Нерачительную праздность.
 Рукоделье, и работа,
 И всечасные заянтыя
 От любовного томленья
 Подают противоядье.
 Благомыслящим девицам,
 Что желают выйти замуж,
 Безупречность нравов служит
 Доброй славой и приданым.
 Как столичные повесы,
 Так и рыдари-скитальцы
 Любят бойких ради шутки,
 А смиренных — в прочном браке.

Есть любовь летучей ветра,
Что возникнет на привале,
Чтобы кончиться с отъездом,
Безвозвратно затихая.

Страсть, забредшая случайно,
— Нынче здесь, а завтра дальше —
В сердце образов глубоких
Никогда не оставляет.

Живопись по старой краске
Ничего не скажет взгляду;
Где дарит бывшая прелесть,
Прелесть новая не властна.

Дульсинея из Тобосо
На души моей скрижалах
До того запечатлелась,
Что нельзя ее изгладить.

Постоянство в тех, кто любит,
Драгоценнейшее благо;
Через него Амур-кудесник
Их возносит до себя.

Когда дон Кихот, которого слушали герцог, герцогиня, Альтисидора и почти все обитатели замка, дошел до этого места, вдруг с галереи, находившейся как раз над его окном, спустилась веревка с привязанной к ней сотней колокольчиков, а следом за нею кто-то вытряхнул полный мешок кошек, к хвостам которых были тоже прикреплены колокольчики, но поменьше первых. Звон колокольчиков и мяуканье кошек были столь оглушительны, что даже сочинители этой проказы — герцог и герцогиня — порядком переполошились, а испуганный дон Кихот обмер на месте; а тут еще случайно две или три кошки

пролезли через решетку в комнату дон Кихота и стали метаться по ней, так что казалось, будто там разгуливает целый легион демонов. Кошки опрокинули свечи, горевшие на столе, и шныряли во все стороны, ища выхода. А между тем веревка с большими колокольцами, не переставая, опускалась и поднималась; бóльшая часть челяди герцога, не понимая, что творится, пребывала в смущении и изумлении. А дон Кихот вскочил на ноги, выхватил меч и начал наносить удары, сквозь решетку, крича громким голосом:

— Прочь отсюда, злобные волшебники! Прочь отсюда колдовской сброд; я — дон Кихот Ламанчский и против меня тщетны и беспильны все ваши злые умыслы.

Тут он стал гоняться за кошками, метавшимися по комнате, и удары мечом посыпались градом; а те бросились к оконной решетке и через нее выпрыгнули в сад, по один кот, преследуемый ударами рыцаря, кинулся ему прямо в лицо и вцепился в нос когтями и зубами; боль была так сильна, что дон Кихот закричал изо всей мочи. Герцог и герцогиня услышали его крик, догадались, в чем дело, с большой поспешностью прибежали к двери и, отперев ее общим ключом, увидели, что бедный рыцарь отчаянно воюет с котом, стараясь оторвать его от своего лица. Внесли свечи, и взором всех представился сей неравный бой; герцог подбежал, чтобы разнять противников, а дон Кихот закричал ему:

— Не гоните его отсюда, дайте мне грудь с грудью сразиться с этим демоном, с этим кол-

дуном, с этим волшебником; я покажу ему, кто такой дон Кихот Ламанчский.

Но кот, не обращая внимания на угрозы, продолжал завывать и царапаться; наконец, герцог схватил его в руки и вышвырнул в окно.

У дон Кихота все лицо было исцарапано, и нос поврежден, но все же он сильно досадовал, что ему не дали закончить жаркую схватку с разбойником-колдуном.

Тут принесли апарисиево * масло, и сама Альтисидора своими белоснежными ручками перевязала рыцарю раны, а перевязывая их, шопотом сказала:

— Все эти невзгоды обрушились на тебя недаром, о рыцарь с каменным сердцем! Ибо твоя непреклонность и жестокость — великий грех; дай бог, чтобы твой оруженосец Санчо позабыл о самобичевании и чтобы столь тобой любимая Дульсинея никогда не была расколдована; да не насладишься ты ее любовью, да не взойдешь с нею на брачное ложе, пока жива я, пламенно тебя обожающая.

Ни слова не ответил ей дон Кихот, а только испустил глубокий вздох; вскоре после этого он растянулся на своей постели, поблагодарив герцога и герцогиню за их милости; и не потому, конечно, благодарил он их, что этот кошачий, колдовской и гремящий бубенчиками сброд мог его утратить, а потому, что, прибежав к нему на помощь, они проявили свое дружеское расположение. Герцог и герцогиня пожелали ему спокойной ночи и удалились, огорченные неудачным концом этой шутки; они не предполагали, что приключение это обойдется дон Кихоту так до-

рого, а между тем наш рыцарь провел безвыходно в комнате и пролежал в постели целых пять дней, и за это время случилось с ним новое приключение, еще потешнее прежнего; но автор истории не желает сейчас о нем рассказывать, а предпочитает возвратиться к Санчо Пансе, который очень деятельно и забавно управлял своим островом.

ГЛАВА XLVII

*которая содержит продолжение рассказа о том
как вел себя Санчо Панса в должности
губернатора*



истории нашей рассказывается, что по окончании суда Санчо Пансу повели в роскошный дворец, в одной из больших зал которого был с королевским великолепием накрыт стол; при появлении Санчо заиграли маришеты, четыре пажы поднесли ему воду для омывания рук, и он с большим достоинством проделал эту церемонию. Музыка замолкла, и Санчо сел за стол на почетное место; впрочем, никаких других мест за столом и не было, и на скатерти находился только один прибор. Рядом с Санчо, держа в руках палочку из китового уса, стал какой-то человек, который, как впоследствии оказалось, был доктор. Со стола сняли богатейшую белую ткань, прикрывавшую множество различных блюд со всевозможными яствами и фруктами. Другой человек, по виду духовное лицо, благословил трапезу; один из пажей повязал Санчо кружевную салфетку, а другой, исполнявший обязанности дворецкого, подал ему на первое — блюдо с фрук-

тами*; но не успел Санчо проглотить один кусок, как доктор прикоснулся своей палочкой к блюду, и тотчас же с большой поспешностью его унесли прочь; а на его место дворецкий поставил другое. Санчо собирался его отведать, но как только он протянул руку, чтобы попробовать кушанье, палочка снова коснулась блюда, и паж унес его столь же проворно, как и блюдо с фруктами. При виде всего этого Санчо растерялся, обвел глазами присутствующих и спросил, неужели же этот обед следует есть таким манером, каким обычно представляет фокусник. На это человек с палочкой ответил следующее:

— Нет, сеньор губернатор, на этом острове обедают так же, как это принято и заведено на других островах, управляемых губернаторами. Я — доктор, мой сеньор, состою на жаловании, и приставлен к особе губернатора острова и о его здоровьи забочусь гораздо больше, чем о своем; я работаю днем и ночью, изучая комплекцию губернатора, дабы лечить его в случае болезни; но главная моя обязанность — это присутствовать при его обедах и ужинах, разрешать ему есть только то, что мне представляется подходящим, и удалять с его стола все, что, по моему мнению, может причинить ему вред и испортить желудок; вот почему я велел убрать от вас фрукты, ибо в них слишком много влаги, и унести другое кушанье, ибо оно было чрезмерно горячительно и приправлено пряностями, что, как известно, возбуждает жажду; а кто много пьет, тот истребляет и уничтожает в себе основную влагу, заключающую в себе наши жизненные силы.

— В таком случае стоящее здесь блюдо с жареными куропатками, на вид так вкусно приготовленное, наверное не причинит мне вреда.

На это доктор ответил:

— Сеньор губернатор не прикоснется к этому блюду, пока он жив.

— Почему так? — спросил Санчо.

Доктор ответил:

— Потому, что учитель наш Гиппократ, звезда и светоч всей медицины, говорит в одном из своих афоризмов: *omnis saturatio mala, perdicis autem pessima*, что значит: «всякое объядение вредно, но объядение куропатками* — самое вредное из всех».

— Ежели так, — сказал Санчо, — то пожалуйста, сеньор доктор, выберите из всех кушаний, стоящих передо мной на столе, то, которое может принести мне наибольшую пользу и наименьший вред, и позвольте мне его съесть, не колота по блюду палочкой, ибо, клянусь жизнью губернатора, — да продлит мне ее господь бог! — я умираю от голода, и что бы вы там ни говорили, сеньор доктор, и как бы вы ни сердились, но, отнимая у меня обед, вы не только не продлите моей жизни, а просто меня убьете.

— Ваша милость, сеньор губернатор, совершенно правы, — ответил доктор, — а потому я полагаю, что вашей милости не следует кушать этого рагу из кроликов, ибо оно неудобоваримо. Вот этой телятины, если бы она не была жареная и тушеная, вы могли бы отведать, но в таком виде, как она есть, — лучше не надо.

Тут Санчо сказал:

— А вот это большое блюдо, из которого

поднимается пар, кажется, это оля подрида, обычно ведь в нее кладутся самые различные вещи; уж наверное мы там отыщем кусочек, который придется мне по вкусу и пойдет на пользу.

— *Absit!* * — воскликнул доктор. — Прочь от нас столь опасные мысли: ни одно кушанье на свете не портит так здоровья, как оля подрида. Она хороша для каноников, для ректоров учебных заведений, для крестьянских свадеб, но на столе у губернатора ей не место; губернатор должен питаться только изысканными и строго выверенными яствами, и вот по какой причине: всегда и везде простые снадобья пользуются бóльшим почетом, чем смешанные, ибо в простых врач не может ошибиться, а в смешанных может перепутать количество их составных частей; одним словом, если сеньор губернатор желает сохранить и укрепить свое здоровье, то я советую ему съесть сотню трубочек из тонкого теста и несколько тоненьких ломтиков айвы, — эта пища укрепит его желудок и облегчит пищеварение.

Выслушав это, Санчо откинулся на спинку кресла, пристально посмотрел на доктора и строгим голосом спросил, как его зовут и где он учился.

Доктор ответил:

— Сеньор губернатор, меня зовут доктор Педро Ресио де Агуэрро, родился я в местечке, именуемом Тиртеафуэра * и находящемся между Каракуэлем и Альмодóвар дель Кампо, по правую от них руку, а степень доктора получил я в Осунском университете. *

Тогда Санчо, распаленный гневом, вскричал:

— Так вот что, сеньор доктор Педро Ресио де

Маль-Агуэро, родившийся в Тиртеафуэре, лежащей по правую руку, ежели ехать из Карагуэля в Альмодовар дель Кампо, и удостоенный степени в Осуне, убирайтесь-ка вы отсюда, да поживей; а не то, клянусь солнцем, возьму я в руки дубинку, и, начав с вас, вышибу с острова всех как есть докторов, во всяком случае тех, которые покажутся мне невеждами; врачей же мудрых, опытных и ученых я буду беречь как зеницу ока и чтить как людей божественных; итак, повторяю, убирайтесь отсюда, Педро Ресио, а не то я схвачу вот это самое кресло, на котором сижу, и разобью его о вашу голову; а если меня притянут к отчету, то я заявлю в свое оправдание, что сделал угодное богу дело, убив негодного доктора, палача своих сограждан. А теперь дайте мне поесть или отберите у меня обратно губернаторство, ибо должность, которая не может прокормить того, кто ее несет, не стоит и двух бобов.

Увидев губернатора в таком сильном гневе, доктор смутился и собирался дать тягу из залы, как вдруг на улице послышался звук почтового рожка; дворецкий глянул в окно и, подойдя к Санчо, сказал:

— Прибыл гонец от сеньора герцога; должно быть, с каким-нибудь важным поручением.

Вошел гонец, запыхавшийся и потный, и, вынув из-за пазухи письмо, вручил его губернатору, а Санчо передал его дворецкому и велел прочитать адрес; последний гласил:

«Дон Санчо Пансе, губернатору острова Бартарни, в собственные руки, или в руки его секретаря».

Услышав это, Санчо спросил:

— Кто здесь мой секретарь?

Тогда один из присутствующих ответил:

— Я, сеньор, потому что я умею читать и писать, а кроме того я — бискаец.*

— В таком случае, — ответил Санчо, — вы можете быть секретарем у самого императора; распечатайте письмо и прочтите, что там написано.

Новоиспеченный секретарь исполнил поручение и, прочитав письмо, заявил, что о таких делах можно говорить только с глаза на глаз. Санчо приказал очистить залу, удержал только майордома и дворецкого, все же остальные, в том числе и доктор, удалились; после чего секретарь прочел письмо, в котором значилось следующее:

Сеньор дон Санчо Панса, до сведения моего дошло, что враги мои и ваши готовят яростное нападение на ваш остров в одну из ближайших ночей, в какую точно — мне неизвестно; посему бодрствуйте и бдите, чтобы они не застали вас врасплох. А также узнал я через моих надежных шпионов, что некие четыре лица, переодевшись, проникли на ваш остров, замышляя лишить вас жизни, потому что мудрость ваша внушает им опасения; глядите в оба, осматривайте всех, кто к вам явится на прием, и отказывайтесь от всех кушаний, которые вам предлагают. Если вам будет угрожать опасность, я не замедлю прийти к вам на помощь; во всех этих делах руководитесь свойственным вам благоразумием. Дано в нашем замке, августа шестнадцатого дня, в четыре часа утра.

Ваш друг

Герцог.

Санчо был изумлен, приближенные тоже притворились изумленными; обратившись к майордому, он сказал:

— Вот что сейчас нужно сделать, и притом немедленно: посадить в подземелье доктора Ресно, ибо если кто-нибудь замышляет меня убить, то уж, конечно, это он; он придумал для меня самую медленную жестокую гибель — голодную смерть.

— И все же, — возразил дворецкий, — я бы посоветовал вашей милости не прикасаться к кушаньям, поставленным перед вами на столе, ибо стряпали их монахини, а пословица говорит: «за крестом-то чертяки и водятся».

— Я с вами не спору, — ответил Санчо, — но дайте мне хотя бы краюху хлеба и сунта четыре винограда; ведь в этом не может быть яда, а без еды я, право, никак не могу обойтись; и ежели нам следует быть готовыми к угрожающей нам битве, необходимо хорошенько подкрепиться, ибо храбрость зависит от желудка, а не желудок от храбрости; а вы, секретарь, ответьте сеньору моему герцогу и напишите, что все его приказания будут исполнены точно и без упущений, и передайте сеньоре моей герцогине, что я целую ей руки и умоляю не забыть послать нарочного к моей жене Тересе с письмом и узелком от меня; этим она окажет мне великую услугу, за которую я постараюсь отблагодарить ее по мере моих сил; а за одно уж припишите, что я целую руку и сеньору моему дон Кихоту, дабы он не подумал, что я неблагодарный; а затем, как хороший секретарь и добрый бискаец, вы можете от себя прибавить все, что вам придет в голову и покажется уместным. Ну, а теперь уберите-ка со стола и дайте мне поесть, и ежели какие-нибудь шпионы, убийцы и волшебники нападут на меня или на мой остров, я сумею с ними справиться.

В эту минуту появился паж и заявил:

— Тут пришел один крестьянин и хочет поговорить по делу с вашей милостью; говорит, что дело очень важное.

— Удивительный народ эти просители! — воскликнул Санчо. — Неужели они так глупы и не в состоянии понять, что в такие часы никто по делу не приходит? Или, может быть, они думают, что мы, губернаторы и судьи, сделаны не из мяса и костей, подобно всем другим людям? Что бы им оставить нас в покое хотя бы на то время, пока мы удовлетворяем наши естественные потребности, и подумать, что мы совсем-таки не каменные. Клянусь богом и совестью, если только власть моя продлится (а я начинаю подозревать, что этого не будет), я здорово подтяну всех этих просителей. Ну, а теперь введите этого доброго человека; только предварительно убедитесь в том, что он не шпион и не убийца.

— О нет, сеньор, — ответил паж, — по всему видно, что он простофиля; и поверьте моему опыту: этот крестьянин мягок, как ломоть хлеба.

— Вам нечего опасаться, сеньор, — прибавил майордом, — ведь мы все с вами.

— Послушайте, дворецкий, — сказал Санчо, — доктора Педро Ресио здесь нет, так нельзя ли мне съесть чего-нибудь поплотнее и посуше-ственнее, хотя бы, например, кусок хлеба с луком?

— Вечером за ужином вы наверстаете потерянное за обедом, ваша милость, и останетесь довольны и удовлетворены, — ответил дворецкий.

— Ну, дай-то бог, — сказал Санчо.

Тут вошел крестьянин, столь благонамеренный

на вид, что за тысячу миль было видно, что он добрый малый и добрая душа. Первым делом он спросил:

— Кто здесь сеньор губернатор?

А секретарь ответил:

— Кому же здесь быть губернатором, как не тому, кто восседает в кресле?

— Я припадаю к его стопам, — сказал крестьянин.

И, опустившись на колени, он попросил Санчо протянуть ему руку для поцелуя. Санчо руки не дал, а велел ему встать и объяснить, чего он просит. Крестьянин повиновался и сказал следующее:

— Сеньор, я — крестьянин, родом из Мигельтурры, села, расположенного в двух милях от Сюодад Реаль.

— Как, еще один Тиртеафуэра! — вскричал Санчо. — Но продолжайте, братец, я только хотел сказать, что село Мигельтурра хорошо мне известно, — оно находится неподалеку от моей деревни.

— Так вот, дело в том, сеньор, — продолжал крестьянин, — что по милосердию божию, я состою в браке с вехома и соизволения святой римской католической церкви; у меня два сына студента, меньшей учится на бакалавра, а старший на лиценциата; я — вдовец, так как жена моя умерла или, лучше сказать, была уморена одним негодным лекарем, который во время беременности дал ей слабительного; если бы господу богу было угодно, чтобы она родила благополучно и подарила мне еще одного сына, я бы велел ему учиться на доктора *, чтобы не завидовать братьям — бакалавру и лиценциату.

— Следовательно, — прервал Санчо, — если бы жена ваша не померла и лекарь ее не уморил, вы бы в настоящее время не были вдовцом.

— Не был бы, сеньор, конечно, не был бы, — ответил крестьянин.

— Это утешительно, — сказал Санчо. — Ну, дальше, братец, потому что теперь уже время спать, а не разбирать дела.

— Итак, я продолжаю, — ответил крестьянин: — сын мой, готовящийся в бакалавры, влюбился в девицу из нашей деревни по имени Клара Перлерина, дочку богатейшего крестьянина Андреса Перлерино; а зовут их так не потому, что они по происхождению и роду своему *Перлерино*,* а потому, что в их семье все были паралитиками; так вот, прикрасив немного это слово, их и прозвали Перлерино. А впрочем, если говорить правду, то девица эта — просто восточный перл, и ежели на нее смотреть с правого бока, то она кажется прямо-таки полевым цветочком; с левой стороны она чуть похуже, ибо у нее в детстве от оспы вылез левый глаз; и хоть на лице у нее множество рытвин от оспы, но поклонники уверяют, что это не рытвины, а могилки, в которых похоронены души ее возлюбленных. Она такая чистюля, что носик ее из боязни запачкать подбородок, можно сказать, откатился назад и так и хочет уйти подальше от губок, а между тем это ей удивительно к лицу, ибо ротик у нее большущий, и, если бы не отсутствие десяти или двенадцати передних и коренных зубов, ее можно было бы записать в число самых красивых девушек на свете. О губках ее я уже не говорю: они так тонки и деликатны, что, растянув их

хорошенько, вы могли бы их намотать на клубок ниток; и чудеснее всего то, что по окраске они совсем не похожи на обыкновенные губы, ибо они так и пестрят голубым, зеленым и лиловым цветом; простите меня, сеньор губернатор, что я так подробно живописую прелести той, которая рано или поздно станет моей невесткой, но я искренне ее люблю и нахожу ее миленькой.

— Живописуйте сколько влезет, — ответил Санчо, — я очень люблю живопись, и если бы я был пообедавши, набросанный вами портрет был бы для меня лучшим десертом.

— То ли еще будет, — сказал крестьянин, — погодите, придет время — и мы себя в самом лучшем виде покажем; итак, сеньор, если бы я был в силах описать вам благородство и высоту ее стана, вы бы пришли в изумление; но, к сожалению, это невозможно, ибо она сгорблена, и скрючена, и колени ее касаются подбородка, но, несмотря на это, всякому видно, что ежели бы она могла распрямиться, то голова ее коснулась бы потолка; девица эта давно бы уже отдала свою руку сыну моему, бакалавру, но только она сухоручка и не может протянуть руки; зато ногти у нее длинные и желобчатые, из чего можно заключить о ее благонравии и тонкой выправке.

— Все это так, — перебил Санчо, — но заметьте себе, братец, что вы уже описали ее с ног до головы; скажите теперь, чего вы просите, приступайте прямо к делу, без обиняков, обходов, недомолвок и прибавлений.

— Я просил бы вас, сеньор, — ответил крестья-

нин, — оказать мне великую милость и написать от своего имени письмо к будущему свекру моего сына и попросить его великодушно согласиться на этот брак, тем более, что мы с ним равны и дарами Фортуны и дарами природы; открою вам чистую правду, сеньор губернатор: ведь сыпкок-то мой одержим нечистой силой, и не проходит дня без того, чтобы злые духи не терзали его раза три или четыре. К тому же он однажды упал в огонь, и теперь лицо у него сморщено, как пергамент, а глаза немножко слезятся и гноятся; зато характер у него прямо ангельский, и если бы от времени до времени он не колотил и не тузил себя кулаками, то его можно было бы назвать святым.

— И это все, о чем вы просите, добрый человек? — спросил Санчо.

— Нет, я бы еще кое о чем попросил, — ответил крестьянин, да только не решаюсь сказать; ну, да куда ни шло, скажу наудачу, чтобы это желание не сгнило у меня на сердце. Итак, сеньор, я бы попросил вашу милость выдать триста или шестьсот дукатов сыну моему бакалавру на приданое, тьфу! я хотел сказать, на обзаведение собственным хозяйством; ведь молодым лучше жить на свои средства, не завися от прихоти родителей.

— Нет ли у вас еще какого желания? — спросил Санчо. — Говорите, не стесняйтесь и не стыдитесь.

— Нет, право, это все, — ответил крестьянин.

И не успел он кончить своих слов, как губернатор вскочил на ноги, схватил в руки кресло, на котором сидел, и вскричал:

— Чорт побери, дон деревенщина, мужичье и невежа, если вы не удалитесь и не скроетесь сейчас же с глаз моих долой, то я вот этим креслом проломлю и раскрою вам череп. Ах ты, потаскухин сын, мерзавец, чортов живописец, и ты в такой час посмел явиться ко мне просить шестьсот дукатов! Да где же они у меня, вонючий мужик? И с какой стати я бы тебе дал их, если бы они даже были у меня, простофиля и мошенник? Да какое мне дело до Мигельтурры и до всего рода Перлеринов? Пошел ты вон, а не то, клянусь жизнью моего сеньора герцога, я исполню то, что только что сказал! И наверное ты вовсе не из Мигельтурры, а просто проходимец, и послал тебя сюда сам ад, чтобы ввести меня в искушение. Ну, скажи, безмозглый, ведь еще и полутора дня не прошло с тех пор, как я губернатор, а ты уже хочешь, чтобы у меня было шестьсот дукатов!

Дворецкий знаком приказал крестьянину выйти из залы, и тот удалился, понутив голову и притворившись, что боится, как бы губернатор не исполнил своих гневных угроз,— хитрец отлично разыграл свою роль.

Но оставим разгневанного Санчо — да пошлет ему господь мир — и вернемся к дон Кихоту, которого мы покинули в то время, как он с перевязанной головой лечил свои раны от кошачьих когтей, а лечил он их почти неделю; и в один из этих-то дней случилось с ним происшествие, о котором Сид Амет обещает рассказать нам подробно и правдиво, как он привык рассказывать обо всех, даже о самых мелких событиях этой истории.

ГЛАВА XLVIII

о том, что произошло между дон Кихотом и дуэньей герцогини, доньей Родригес, и о других происшествиях, достойных записи и увековечения



так, жестоко израненный дон Кихот пребывал в великой печали и унынии; лицо его было перевязано и отмечено, но не рукою бога, а когтями кота — невзгоды, почти всегда неразлучные с судьбой странствующего рыцаря.

Шесть дней он не выходил на люди; и вот однажды ночью он лежал, не смыкая глаз, и не мог заснуть, думая о своем злополучии и о преследованиях Альтисидоры, как вдруг услышал, что кто-то поворачивает ключ в замке его двери; ему сейчас же представилось, что влюбленная девица явилась подвергнуть испытанию его добродетель и ввести его в соблазн нарушить верность своей даме, Дульсинее Тобосской.

— Нет, — вскричал он, поверив своей фантазии (и при этом настолько громко, что его могли услышать), — самая великая красота в мире не заставит меня отказаться от обожания той, чей образ запечатлен и начертан на дне моего сердца и хранится в глубоких тайниках моей

души. Пусть превратят тебя, о моя госпожа, в крестьянку, пахнущую луком, или в нимфу золотистого Тахо, ткущую ткани из золотых и шелковых нитей, пусть Мерлин или Монтесинос держат тебя в плену, — все равно, где бы ты ни находилась, ты повсюду — моя, а я везде был и буду твоим.

Не успел он кончить эту речь, как дверь отворилась. Он встал во весь рост на кровати, завернувшись с ног до головы в желтое атласное одеяло; на голове у него была скуфейка, на лице и усах повязки; лицо он забинтовал по причине царапин, а усы для того, чтобы они прочно держались и не падали вниз; в таком убранстве он походил на привидение, удивительнее которого и не придумаешь. Он устремил глаза на дверь, думая, что вот-вот войдет покоренная им и опечаленная Альтисилора, но вместо нее появилась почтеннейшая дуэнья в белой оборчатой токе, такой длинной, что концы ее свешивались до земли, покрывая и окутывая незнакомку с ног до головы. В левой руке она держала небольшую зажженную свечу, а правой закрывала себе лицо, чтобы свет не падал ей в глаза; на носу у нее были огромные очки, и шла она, не торопясь и мягко ступая ногами.

Дон Кихот посмотрел на нее со своей вышки, разглядел ее наряд, заметил, что она молчит и решил, что это какая-нибудь колдунья или ведьма, принявшая такой образ для того, чтобы околдовать его своими злыми чарами, и потому он принялся поспешно креститься. А видение подходило все ближе и, дойдя до середины комнаты, подняло глаза и увидело, что дон Кихот бы-

стро-быстро крестится; и если он испугался при ее появлении, то она устрашилась еще больше при виде его: он стоял огромный, весь желтый, завернувшись в одеяло, обезображенный своими повязками.

— Иисусе! — громко вскричала дуэнья. — Что я вижу!

С перепуга она выронила из рук свечу и в полном мраке повернулась, чтобы уйти, но от страха запуталась в собственных юбках и растянулась на полу во весь рост. А дон Кихот испуганно заговорил:

— Заклинаю тебя, призрак, или кто бы ты ни был, скажи мне, кто ты? Скажи мне, чего ты от меня хочешь? Если ты — неприкаянная душа, сознайся в этом, и я сделаю для тебя все, что в моих силах, ибо я христианин и католик, и стремлюсь всем на свете делать добро; потому-то я и вступил в орден странствующего рыцарства, в котором состою и доныне, и как рыцарь я обязан помогать всем, даже душам, томящимся в чистилище.

Растерявшаяся дуэнья, услышав, что ее заклинают, догадалась, что дон Кихот перепуган не меньше ее самой и ответила глухим и печальным голосом:

— Сеньор дон Кихот (если только вы действительно дон Кихот,) я не призрак, не видение и не душа из чистилища, как ваша милость, наверное, подумали; я — донья Родригес, почетная дуэнья сеньоры гердогини, и я пришла к вам по такому важному делу, в котором вы один, ваша милость, можете мне помочь.

— Скажите мне, сеньора донья Родригес, —

сказал дон Кихот, — не явились ли вы сюда, ваша милость, в качестве посредницы? Предупреждаю вас, что никакого толка из этого не выйдет, п



виной тому несравненная красота моей госпожи Дульсиней Тобосской. Одним словом, сенора донья Родригес, если вы обещаете избавить и уволить меня от каких бы то ни было любовных происков, я позволю вам зажечь свечу и подойти поближе; я готов побеседовать, о чем

вам будет угодно и приятно, но, повторяю, увольте меня от всяких любовных пашней.

— И вы думаете, сеньор мой, что я стану поддерживать чужие происки? — воскликнула дуэнья. — Плохо же вы меня знаете, ваша милость; я еще не в таком преклонном возрасте, чтобы заниматься подобными пустяками; слава богу, душа моя еще прочно сидит в теле, и все зубы у меня на месте, не считая двух-трех, которые я застудила, — ведь у нас тут в Арагоне простуды — самое обычное дело. Но подождите меня минутку, ваша милость, я пойду зажечь свечу и сейчас вернусь и расскажу вам о моих горестях: ведь вы спаситель всех несчастных на свете.

И, не дожидаясь ответа, она вышла из комнаты, а дон Кихот немного успокоился и задумчиво стал ждать ее возвращения; но вдруг на него нахлынули тысячи сомнений, подсказанных этим невиданным приключением; одна мысль о том, чтобы подвергнуть опасности верность, обещанную Дульсине, казалась ему преступлением, и он так рассуждал сам с собой: «Кто знает, быть может, лукавый и хитрый дьявол собирается обмануть меня при помощи этой дуэньи, потеряв надежду соблазнить меня императрицами, королевами, герцогинями, маркизами и графинями? Умные люди частенько мне говаривали, что дьявол, где только возможно, вместо тонколицей подсунет курносую. А что если благоприятный случай, уединение и тишина пробудят спящие желания, и я на склоне лет упаду на том самом месте, где доселе никогда не спотыкался? В подобных случаях благоразумнее бежать, чем ожи-

дать боя. Но что это, я не в своем уме, о каком вздоре я думаю и толкую! Не может же дуэнья в длинной белой токе и с очками на носу зажечь и возбудить сладострастное желание в самом распутном сердце на свете. Да разве бывают в мире дуэньи, привлекательные телом? Да разве на всем земном шаре отыщется хоть одна дуэнья не докучная, не ворчливая и не привередливая? Так прочь же от меня, весь род дуэний, от которого никому на свете нет ни малейшей радости! О, сколь права была та сеньора, которая, как рассказывают, посадила в углу своей парадной комнаты двух изваянных дуэний, в очках и с «швейками» для работы, — всем казалось, что статуи эти рукодельничают и придают комнате столь же благоприличный вид, как и настоящие дуэньи!» С этими словами он спрыгнул с кровати, намереваясь запереть дверь и не пускать больше сеньору Родригес; но, когда он приблизился к порогу, сеньора Родригес уже входила, держа в руке зажженную свечу из белого воска, и, увидев на более близком расстоянии дон Кихота, завернутого в одеяло, в повязках и какой-то скуфейке или ермолке, она снова испугалась, отступила назад шага на два и сказала:

— Надеюсь, что я здесь в безопасности, сеньор рыцарь? Ваша милость встала с постели, а по моему это признак не вполне благопристойный.

— Тот же вопрос я могу задать вам, сеньора, — ответил дон Кихот, — а потому спрашиваю вас, могу ли я быть уверен, что вы не наброситесь на меня и не учините падо мпой насилля?

— От кого и для кого требуете вы такого ручательства, сеньор рыцарь? — спросила дуэнья.

— Я требую его от вас и для себя, — ответил дон Кихот, — ибо я не из мрамора, а вы не из бронзы, и сейчас не десять часов утра, а полночь, а то, пожалуй, и позднее; к тому же, комната, в которой мы находимся, более уединенна и укромна, чем та пещера, где дерзновенный предатель Эней наслаждался любовью прекрасной и сострадательной Дидоны. Но дайте мне вашу руку, сеньора, ибо мое целомудрие и сдержанность, равно как и ваша почтеннейшая тока, послужат нам наилучшим ручательством.

С этими словами он поцеловал себе руку,* а затем принял руку доньи Родригес, которую та подала ему с такими же церемониями.

В этом месте Сид Амет открывает скобки и клянется Магометом, что охотно бы отдал лучшую из своих двух *альмалаф** за то только, чтобы посмотреть, как эта парочка, взявшись за руки, проследовала от двери к кровати.

Наконец, дон Кихот улегся в постель, а донья Родригес села в кресло, стоявшее несколько поотдал от кровати, но не сняла очков и продолжала держать в руке свечку.

Дон Кихот свернулся клубочком, плотно закутался в одеяло, оставив открытым одно лицо, и, когда они оба немного успокоились, наш рыцарь первый прервал молчание.

— Ну, теперь, ваша милость, сеньора донья Родригес, — сказал он, — вы можете излить и исторгнуть все, что накопилось в вашем измученном сердце и угнетенной груди; вас будут слушать целомудренные уши, и милосердные руки придут к вам на помощь.

— Не сомневаюсь в этом, — ответила дуэнья, —

ибо достаточно взглянуть на ваш изящный и приветливый облик, чтобы ожидать именно такого христианского ответа. Так вот в чем дело, сеньор дон Кихот: хотя в эту минуту я сижу перед вашей милостью в кресле и нахожусь в самой середине Арагонского королевства, хотя я одета в платье дуэпьи и все меня поносят и преследуют, однако родилась я в Астурии Овьедской*, в семье, породнившейся с лучшими домами этой провинции; но злополучная судьба и небрежение моих родителей, обедневших не во-время и неизвестно как и почему, привели меня в столицу, в Мадрид, и мои родители, с моего доброго согласия и во избежание горших несчастий, поместили меня в качестве швей к одной знатной сеньоре; а должна вам сказать, ваша милость, что в белошвейной работе и сквозной строчке я во всю свою жизнь не имела себе равной. Родители устроили меня на место и вернулись к себе на родину, а через несколько лет они померли и, должно быть, отправились прямо на небо, ибо были примерными христианами. Я осталась сиротой, пробиваясь на свое жалкое жалованье и скарденные подачки, которые в барских домах выпадают на долю слуг; и в это время, без всякого повода с моей стороны, влюбился в меня выездной лакей из нашего же дома, человек зрелого возраста, солидный, бородатый, и такой идалго, что и самому королю не уступит, потому что был родом из Монтаньи.* Как ни старались мы сохранить нашу любовь в тайне, все же госпожа моя о ней узнала и, чтобы избежать всяких толков и пересудов, обвенчала нас с ведома и соизволения святой матери нашей, католической

римской церкви, а от нашего брака родилась дочь, которой суждено было загубить то счастье, какое у меня было, и не потому, чтобы я умерла от родов, — нет, роды у меня были правильные и наступили во-время, — а потому, что вскоре после этого мой супруг умер от приключившегося с ним испуга: будь у меня время рассказать вам, как все случилось, я уверена, что вы, ваша милость, немало бы подивились.

Тут она горько заплакала и сказала:

— Простите меня, ваша милость, сеньор дон Кихот, я не владею собой, ибо всякий раз, как я вспоминаю о моем горемыке, глаза мои наполняются слезами. Ах, господи боже мой, с каким гордым видом возил он свою госпожу на крупе своего могучего мула, черного, как уголь! Ведь в мое время еще не было ни носилок, ни карет, какие, как слышно, сейчас водятся, и дамы ездили на мулах, сидя за спиной своих выездных лакеев. Нет, я непременно должна рассказать вам об этом, чтобы вы поняли, как благовоспитан и ревностен был мой добрый муженек. Однажды стал он сворачивать на улицу Сант-Яго в Мадриде, как известно, довольно узкую, а навстречу ему едет столичный алькальд с двумя альгуасилами впереди; увидал его мой добрый муженек и тотчас же повернул за уздечку своего мула, собираясь сопровождать начальство. А его госпожа, сидевшая на крупе, сказала ему вполголоса: «Что вы делаете, несчастный, разве вы не знаете, что я еду не в ту сторону?» Алькальд, как человек учтивый, придержал за узду своего коня и сказал: «Поезжайте своей дорогой, сеньор, ибо сопровождать сеньору донью Касильду (так звали

госпожу моего мужа) полагается собственно мне». Но супруг мой, держа шапку в руках, настаивал на том, чтобы проводить алькальда. Увидя это, госпожа, воспламенившись гневом и досадой, вынула из кобурки толстую булавку, или, вернее, шило, и вонзила его моему мужу в поясницу, да так, что тот закричал во весь голос, скорчился всем телом и свалился на землю вместе со своей госпожой. Двое ее слуг бросились ее поднимать, алькальд и альгвасилы тоже. Ворота Гуадалахары * пришли в смятение, то есть, я хочу сказать, не самые ворота, а бродяжничающий люд, который там толпился. Госпожа отправилась домой пешком, а мой муж побежал к дырюльнику, крича, что ему проткнули насквозь все внутренности. Молва об учтивости моего супруга разнеслась повсюду, и за ним стали бегать мальчишки; и вот, по этой-то причине, а также и потому, что он был немножко близорук, госпожа его рассчитала, и лично я насколько не сомневаюсь, что это огорчение и свело его в могилу. И осталась я беспомощной вдовой, с девочкой на руках, а красота моей дочки росла и увеличивалась, как пена морская. Наконец, сеньора моя гердогиня, незадолго перед тем вышедшая замуж за сеньора моего гердога, прослышала о том, что я искусная швея, и увезла меня вместе с дочкой в Арагонское королевство; а между тем дни шли за днями, дочка моя выросла и стала самым прелестным существом на свете: она поет как жаворонок, хороводы водит как вихрь, пляшет как непутевая, читает и пишет как школьный учитель и считает как скряга. А какая она чистеха, об этом и говорить не

приходится, ибо даже проточная вода не так чиста, как она; и если я не ошибаюсь, сейчас ей будет шестнадцать лет, пять месяцев и три дня (может быть на день больше или меньше). В конце концов в мою девочку влюбился сын одного богатейшего крестьянина, который живет на хуторе моего сеньора, герцога, неподалеку отсюда. И уж я не знаю, как это произошло, а только они познакомились друг с другом, и молодчик, пообещав моей дочери на ней жениться, насмеялся над ней, а теперь не желает исполнить свое обещание; и хотя мой сеньор герцог об этом осведомлен, ибо я жаловалась ему, и не раз, прося его приказать этому крестьянину жениться на моей дочери, тем не менее он прикидывается глухим словно купец, и даже не хочет меня слушать; а все дело в том, что отец этого обманщика очень богат, ссужает герцогу деньги и иногда служит ему поручителем в разных темных делах, а потому герцогу никоим образом не желательно его устраивать и огорчать. И вот я просила бы вашу милость, сеньор мой, взять на себя труд искоренить эту несправедливость, все равно каким способом: уведеваньями ли или с оружием в руках; ибо весь мир говорит, что ваша милость родилась на свет, чтобы искоренять несправедливости, исправлять кривду и защищать обездоленных; примите во внимание, ваша милость, сиротство моей дочери, ее прелесть, юность и все те отменные качества, о которых я вам только что говорила, ибо, клянусь богом и совестью, что ни одна из прислужниц нашей сеньоры подметки ее не стоит; даже девица по имени Аль-

тисидора, слывущая здесь самой развязной и смазливой, по сравнению с моей дочкой остается мила на две позади; ибо должна я вам заявить, ваша милость, мой сеньор, что не все то золото, что блестит, и что у этой Альтисидорки больше самомнения, чем красоты, и больше развязности, чем скромности; да к тому же она не очень-то здорова, и изо рта у нее так неприятно пахнет, что никто не может простоять рядом с ней хотя бы одну минуту; и даже сеньора моя герцогиня... но нет, я лучше замолчу, ибо недаром говорится, что стены имеют уши.

— Ради бога, что вы хотели сказать о сеньоре герцогине, сеньора донья Родригес? — спросил дон Кихот.

— Ну, раз вы так меня заклинаете, — ответила дуэнья, — то на ваш вопрос я не могу не ответить с полной откровенностью. Вы знаете, ваша милость, сеньор дон Кихот, как прекрасна сеньора моя герцогиня: кожа ее своим блеском подобна гладкому, отполированному клинку, щеки ее как молоко и кармин, глаза ее сверкают, как солнце и луна, а ножки с таким изяществом касаются пола, что, кажется, презирают землю; и можно подумать, что здоровье так и брызжет из нее. Ну, так знайте, ваша милость, что здоровьем своим она обязана прежде всего господу богу, а затем двум фонтанелям, которые сделаны у нее на обеих ногах и из которых вытекают все ее дурные соки; доктора же говорят, что внутри она вся налита этими соками.

— Святая дева! — воскликнул дон Кихот. —

Возможно ли, чтобы у госпожи герцогини были такие сточные жолобы? Я бы ни за что не поверил, даже если бы это утверждали босые монахи; * но раз сеньора донья Родригес утверждает, стало быть, это так; но фонтанели на прелестных ножках должны источать не дурные соки, а жидкую амбру. И, поистине, я теперь окончательно склоняюсь к мысли, что фонтанели — весьма важная вещь для здоровья.

Не успел дон Кихот выговорить эти слова, как двери комнаты с шумом распахнулись, донья Родригес вздрогнула от неожиданности, уронила свечу, и в комнате, по известному выражению, стало темно, словно в волчьей пасти. И тотчас же бедная дуэнья почувствовала, что чьи-то руки с такой силой схватили ее за горло, что она не смогла даже пикнуть, а кто-то другой, не произнося ни слова, мигом поднял ей юбки и каким-то предметом, повидимому, туфлей, отшлепал ее так, что всякого разобрала бы жалость; дон Кихот, хоть и пожалел ее, но не покинул постели и, ничего не понимая, лежал себе тихонько и молчал, боясь, как бы и до него не дошла очередь трепки и порки. Опасения его были не напрасны, ибо безмолвные палачи, оставив в покое истерзанную дуэнью, которая не смела проронить ни звука, направились к дону Кихоту и, сдернув с него простыню и одеяло, принялись щипать его так часто и с такой силой, что бедному рыдарю пришлось отбиваться кулаками. Все это происходило в поразительной тишине. Бой продолжался около получаса; затем призраки удалились, донья Родригес подобрала юбки и, оплакивая свое злопо-

лучие, ушла прочь, не сказав дон Кихоту ни слова; а рыцарь наш остался наедине, измученный, испуганный, смущенный, недоумевающий, съедаемый желанием узнать, какой вероломный волшебник сыграл с ним такую штуку. Это разъяснится в свое время, а теперь откликнемся на призыв Санчо Пансы, как того требует правильный ход нашей истории.

ГЛАВА XLIX

о том, что случилось с Санчо Пансой во время обхода острова



ы оставили великого губернатора в гневе и досаде на крестьянина-живописца и плута, который по наущению майордома, полученного герцогом, издевался над Санчо; но как ни был тот простоват, необразован и толст, все же в обиду себя он не давал никому; и вот, когда тайное сообщение герцога было прочитано и доктор Педро Ресио снова вернулся в залу, Санчо объявил всем присутствующим:

— Воистину, теперь я понимаю, что судьи и губернаторы должны быть сделаны из бронзы, чтобы спокойно переносить приставанья просителей, которые в любой час и время требуют, чтобы их выслушали и рассудили: ведь их заботят только собственные дела, а все остальное им безразлично; и если несчастный судья не выслушает и не рассудит их, — потому ли, что он не в силах это сделать, или потому, что они явились не в присутственное время, — как просители тотчас же начинают проклинать и роптать, перемывать судье все косточки и даже копать

в его родословной. Глупый проситель, полумудрый проситель, не торопись, дождись сперва удобного времени и случая, и тогда излагай свое дело; не являйся во время обеда или сна, — ведь и судьи сделаны из мяса и костей и должны платить естеству естественную дань; один я составляю исключение и не даю своему естеству поесть благодаря заботам здесь присутствующего сеньора доктора Педро Ресио Тиртеафуэры, который хочет уморить меня голодом и уверяет, что смерть есть жизнь; ну, так и дай ему бог такой именно жизни, а заодно и всем его собратьям, — я разумею при этом только негодных лекарей, ибо хорошие лекари заслуживают пальм и лавров.

Все давние знакомцы Санчо Пансы удивлялись его изысканному слогу и не знали, чему его приписать; впрочем, известно, что ответственные посты и должности либо просвещают ум человека, либо погружают его в оцепенение. В конце концов доктор Педро Ресио Агуэро де Тиртеафуэра заявил Санчо, что вечером он разрешит ему поужинать, хотя бы для этого пришлось нарушить все предписания Гиппократовы. Губернатор этим удовлетворился и с большим нетерпением стал дожидаться наступления вечера и часа ужина, и хотя ему казалось, что время остановилось и не двигается с места, но все же наступил, наконец, вождеденный час, и на ужин подали ему тушеную говядину с луком и вареные почки довольно-таки старого теленка. Санчо принялся их уплетать с таким аппетитом, как будто это были миланские тетерки, римские фазаны, соррентская телятина, моронские куро-

патки или лавахосские гуси. * Посреди ужина он обратился к доктору и сказал:

— Послушайте, сеньор доктор, на будущее время, пожалуйста, не старайтесь угощать меня тонкими блюдами и пзысканными яствами; вы этим только испортите мне желудок, ибо я привык питаться козлятиной, говядиной, салом, солонишой, репой и луком, и если вы станете потчевать мой желудок разными придворными кушаньями, то он примет их с неудовольствием, а то и просто с омерзением; а лучше всего пускай дворецкий притащит сюда олюю подриду, и чем больше в ней будет всякой вслячины, тем лучше, от нес будет пахнуть; и я позволяю ему папихать и намешать туда чего угодно, лишь бы оно было съедобное, и буду ему за это благодарен и когда-нибудь вознагражу за труды, а издеваться над собой я никому здесь не позволю, ибо или меня признают, или не признают. Итак, давайте жить и есть в мире и дружбе, ибо, когда господь посылает утро, оно для всех настает. Я буду так управлять этим островом, чтобы и податей не терять, и взяток не брать, а вы все смотрите в оба и ухо держите востро; вспомните о том, что дьяволы водятся и в Кантильяне, * знайте, что, коли придется, я вам и не такие еще чудеса покажу. А если кто станет медом, его сейчас же мухи съедят.

— Честное слово, сеньор губернатор, — сказал дворецкий, — ваша милость говорит совершенно правильно; и я от имени всех островитян этого острова обещаю вам, что все они будут служить вашей милости с ревностью, любовью и доброжелательством, ибо с самого начала вы показали

себя столь милостивым правителем, что им и в голову не придет подумать или сделать что-либо неуродное вашей милости.

— Еще бы, — ответил Сапчо, — да если бы они думали или поступали иначе, то были бы просто дураками; но, повторяю, позаботьтесь об еде для меня и для моего серого, ибо из всех дел это самое важное и неотложное; а с наступлением позднего часа мы с вами обойдем остров, ибо у меня есть намерение очистить его от всякой нечисти, вроде бродяг, праздношатающихся и беснущих людей. Следует вам знать, друзья мои, что ленивые и праздные люди в государстве подобны, трутням в улье, пожирающим мед пчелработниц. Я собираюсь покровительствовать крестьянам, обеспечивать права идалго, вознаграждать добродетельных, а в особенности поддерживать уважение к религии и почтение к духовным особам. Ну, что вы на это скажете, друзья, — дело я говорю или несу вздор?

— Вы так говорите, ваша милость, сеньор губернатор, — ответил майордом, — что я диву даюсь, как может совсем неученый человек — а ведь, насколько мне известно, ваша милость неграмотны, — додуматься до столь разумных речей, полных мудрых мыслей и поучений; ни те, кто нас сюда послал, ни сами мы, явившиеся к вам, не ожидали от вашей милости таких способностей. Живя на свете, каждый день узнаешь что-нибудь новое: шутки превращаются в серьезные вещи, а насмешники сами оказываются осмеянными.

Наступил вечер, и губернатор поужинал с разрешения сеньора доктора Ресио. Затем, приго-

товившись к обходу острова, он выступил в сопровождении майордома, секретаря, дворецкого и историографа, на должности которого лежало передать потомству деяния Санчо; а за ними следовало столько писцов и альгуасилов, что из них можно было бы составить небольшой военный отряд. Санчо шел посредине, со своим жезлом в руке, так что любо было смотреть. Пройдя несколько улиц, они вдруг услышали бряцание шпаг; все бросились в ту сторону и увидели, что дерутся только двое; при виде блюстителей порядка противники остановились, и один из них сказал:

— Во имя бога и короля! Да как же это возможно терпеть, чтобы в селении грабили на глазах у всех и нападали на прохожих прямо посредине улицы?

— Успокойтесь, добрый человек, — сказал Санчо, — и расскажите мне, из-за чего у вас произошла ссора: я — губернатор.

Тогда второй противник сказал:

— Сеньор губернатор, я расскажу вам все с наивозможной краткостью. Да будет известно вашей милости, что этот молодчик только что выиграл в игорном доме, который находится тут напротив, более тысячи реалов, и один бог знает, какими способами; я присутствовал при игре, и не один сомнительный удар присудил в его пользу, хотя совесть говорила мне иное; собрал он свой выигрыш; я ожидал, что он даст мне могорыч хотя бы в один эскудо, как то приличествует и причитается нам, людям влиятельным, верховным судьям, следящим за правильностью ходов, устраняющим беззакония

и предупреждающим ссоры *, но он сунул деньги в карман и вышел на улицу. Я в досаде пошел за ним следом и вежливо и мягко попросил подарить мне хотя бы восемь реалов, ибо ему известно, что я человек честный и что нет у меня ни должностей, ни бенефициев, ибо родители мои ничему меня не учили и ничего мне не оставили; а этот мошенник, способный обворовать самого Кака * и надуть такого шулера, как Андрадилья *, не пожелал мне дать больше четырех реалов. Вы только подумайте, сеньор губернатор, какое бесстыдство и какая бессовестность! Честное слово, ваша милость, если бы вы не подоспели, я бы этот выигрыш у него из горла вырвал и показал бы ему, как действуют безменом порядочные люди.

— Что вы на это скажете? — спросил Санчо игрока.

Тот ответил, что вымогатель говорит сухую правду, что он, действительно, не хотел давать ему больше четырех реалов в виду частых посягательств на такие подарки, и что людям, рассчитывающим на подачки, следует быть вежливыми, брать с веселым лицом то, что дают, и не торговаться со счастливым игроком, если только они не вполне уверены, что имеют дело с шулерами, которые играют мошеннически; а лучшим доказательством того, что он, произносящий эти слова, — человек честный, а не вор, как утверждает его противник, служит именно то, что он не соглашается дать ему взятку, ибо известно, что шулерам всегда приходится платить дань прощальгам, которым известно их ремесло.

— Правильно, — сказал майордом. — Сеньор гу-

бернатор, какие будут распоряжения вашей милости насчет этих двух молодых?

— Распоряжения мои будут такие, — ответил Саэчо: — вы, игрок, каким бы способом вы ни выиграли, — честным, нечестным или все равно каким, — отдадите немедленно этому забияке сто реалов и пожертвуете сверх того тридцать реалов в пользу тюремных заключенных; вы же, не имеющий ни должности, ни бенефиция и совершенно лишний человек на этом острове, берите поскорей сто реалов и не позже завтрашнего дня отправляйтесь с нашего острова в изгнание на десять лет, а если вы ослушаетесь, то вам придется доживать недостающее время на том свете, ибо я вздерну вас на каменный столб либо сам, либо с помощью здешнего палача; и ни слова не возражать, ибо рука у меня тяжела!

Первый из противников вынул деньги, второй их взял, один отправился в изгнание, другой — к себе домой, а губернатор воскликнул:

— Или моя власть гроша ломаного не стоит, или я закрою все эти игорные дома, так как мне сдается, что от них — большой вред.

— А вот соседнего дома вашей милости никак не удастся закрыть, — заметил писец, — ибо содержит его один знатный человек, который в течение года проигрывает в карты гораздо больше, чем сам наживает с карт; зато по отношению к притонам мелкого разбора ваша милость вполне может воспользоваться своей властью, ибо они наиболее вредны и полны всяческого непотребства; как-ни-как, а в домах знатных кабальеро и дворян записной шулер никогда не отважится показать свое искусство; а поскольку нездоровая

привычка к игре превратилась в общественное бедствие, так пусть их лучше играют в знатных домах, чем у мелких ремесленников, где в после-полуночное время подценят какого-нибудь горемыку, а потом и дерут с него живого кожу.

— Да, писец, — сказал Санчо, — я сам знаю, что по этому поводу можно много чего сказать.

В эту минуту к ним подошел полицейский, таща за собою какого-то парня, и сказал:

— Сеньор губернатор, этот молодчик шел нам навстречу и, как только заметил полицию, тотчас же повернул назад и пустился бежать, как олень, что несомненно свидетельствует о его преступлении; я погнался за ним и так бы никогда и не настиг его, если бы к счастью он не споткнулся и не упал.

— Ты почему убегал, мальиі? — спросил Санчо.

На это парень ответил:

— А потому, что полиция очень уж много спрашивает, а мне не хотелось отвечать.

— А чем ты занимаешься?

— Я ткач.

— Что же ты ткешь?

— С милостивого разрешения вашей чести, законечники для копій.

— Э, да ты балагур! В краснобаи записался? Ну, ладно. А куда это ты сейчас шел?

— Проветриться.

— А где же это у вас на острове проветриваются?

— А где ветер дует.

— Хорошо, ты складно отвечаешь! Видно, что ты мальиі с головой; так вот, представь себе,

что я и есть ветер и дую тебе прямо в спину и гоню тебя прямо в тюрьму. Эй вы! Возьмите его и отведите в тюрьму; пускай переспит там ночь, довольно ему проветриваться.

— Ей богу, ваша милость, — возразил юноша, — вам будет легче сделать меня королем, чем заставить спать в тюрьме.

— А почему же я не могу заставить тебя спать в тюрьме? — спросил Санчо. — Разве я не властен арестовать или отпустить тебя, как и когда мне это заблагорассудится?

— Как ни велика власть вашей милости, — ответил юноша, — а все-таки ее недостаточно, чтобы заставить меня спать в тюрьме.

— Как недостаточно! — вскричал Санчо. — Отведите его туда, и пускай он собственными глазами убедится в своей ошибке, а ежели алькайд из-за корысти проявит снисходительность и позволит тебе хоть на шаг отлучиться из тюрьмы, я наложу на него пеню в две тысячи дукатов.

— Вам, видно, угодно смеяться, — ответил парень. — Ибо, право же, ни один человек на свете не заставит меня спать в тюрьме.

— Скажи мне, окаянный, что же, у тебя за спиной стоит ангел, который выведет тебя из тюрьмы и разобьет кандалы, куда я прикажу тебя заковать?

— Сеньор губернатор, — сказал паренек шутливым тоном, — давайте говорить толком и о деле. Предположим, что ваша милость прикажет отвести меня в тюрьму, заковать в кандалы и цепи и посадить в глубокую яму; предположим далее, что алькайду пригрозят суровым наказа-

нием в случае, если он меня выпустит, и что алькайд исполнит в точности ваши приказания; и несмотря на все это, если я пожелаю не спать, а бодрствовать всю ночь, не смыкая глаз, то можете ли вы, ваша милость, со всей вашей властью заставить меня заснуть, ежели мне не захочется?

— Ну, конечно, нет, — ответил секретарь, — парень ловко это придумал.

— Следовательно, — спросил Санчо, — ты не уснул бы исключительно из-за собственной прихоти, а не для того, чтобы мне перечить?

— Конечно, сеньор, — ответил паренек, — ничего другого мне и в голову не приходило.

— Ну, тогда ступай себе с богом, — сказал Санчо, — иди спать домой, и пошли тебе господь приятных снов, я и не собираюсь нарушать твой покой; но только советую тебе на будущее время не шутить с правосудием, а то может случиться, что в другой раз за свои шуточки ты получишь по башке.

Паренек удалился, а губернатор продолжал свой обход, и через некоторое время к нему подошли двое полицейских, ведя за собой какого-то мужчину, и заявили:

— Сеньор губернатор, этот человек на вид кажется мужчиной, но на самом деле это женщина, переодетая в мужское платье, и притом весьма недурная собой.

Они поднесли к лицу арестованного два или три фонаря, и глазам всех представилась девушка на вид лет шестнадцати или немного старше, с волосами, собранными под сеточкой из нитей золота и зеленого шелка, прекрасная собою, как

тысяча перлов; осмотрев ее с ног до головы, они увидели, что на ней были красные шелковые чулки, подвязки из белой тафты с бахромой, шитой золотом и жемчугом, шаровары из зеленой с золотом парчи, открытый плащ из той же материи, под ним камзол из тончайшей белой ткани, украшенной золотом, а на ногах мужские белые бандажи; вместо шпаги, при ней был драгоценнейший книжал, а на пальцах — множество прекрасных перстней. Одним словом, девушка всем понравилась, но никому не была знакома, а местные жители объявили, что они в толк взять не могут, кто она такая; но особенно были удивлены те, кто знали, что герцог вышучивает Санчо, ибо эта встреча и происшествие никем не были подстроены, и они в недоумении дожидались, чем все это кончится.

Санчо остолбенел при виде такой красавицы и спросил ее, кто она, откуда и какие причины побудили ее переодеться в это платье. Девушка опустила глаза в землю и с благопристойной стыдливостью ответила:

— Сеньор, я не могу говорить при всех о том, что мне надлежит хранить в тайне; но знайте только одно: я не воровка, не преступница, а просто несчастная девушка, которую сила ревности заставила нарушить благоприличие, свойственное добродетели.

Услышав эти слова, майордом сказал Санчо:

— Сеньор губернатор, велите этим людям отойти в сторону, чтобы сеньора могла поговорить с вами без всяких стеснений.

Губернатор последовал этому совету, и все, кроме майордома, дворецкого и секретаря, отошли

в сторону. Убедившись, что никто больше их не слушает, девушка заговорила так:

— Сеньоры, я — дочь Педро Пёреса Масорки, откупщика шерсти в этом городе, который частенько захаживает к моему батюшке.



— Вы говорите несообразности, сеньора, — сказал майордом, — я отлично знаю Педро Пёреса, и мне известно, что детей у него нет — ни сыновей, ни дочерей; а кроме того вы говорите, что он — ваш отец, и тут же прибав-

вляете, что он частенько заходит к вашему батюшке.

— Да, я это тоже заметил, — сказал Санчо.

— Ах, сеньоры, я сейчас так взволнована, что сама не знаю, что говорю, — ответила девушка, — но теперь вот вам правда: я дочь Диэго де ла Льяна, которого вы все наверное знаете.

— Ну, это — другое дело, — ответил майордом, — я знаю Диэго де ла Льяна, и мне известно, что он — идалго знатный и богатый и что у него есть дочь и сын, а с тех пор как он овдовел, никто во всем городе не может сказать, что когда-либо видел лицо его дочери: он держит ее взаперти и даже солнцу не позволяет на нее глядеть, а между тем ходит слух, что она необыкновенно красива.

— Да, это правда, — сказала девушка, — и эта дочь — я; а теперь, сеньоры, вы можете сами судить, ложен или не ложен слух о моей красоте, ибо вы видели меня собственными глазами.

При этих словах она принялась горько плакать; а секретарь, увидев ее слезы, подошел к дворецкому и тихонько сказал ему на ухо:

— Несомненно, с этой девицей приключилось нечто весьма серьезное, раз, несмотря на свое высокое звание, она бродит по улицам в таком наряде и в столь поздний час.

— В этом не может быть сомнений, — ответил дворецкий, — тем более, что наши подозрения подтверждаются ее слезами.

Санчо стал утешать девушку, как только мог поласковой, и попросил ее откинуть всякий страх и рассказать, что такое с ней приключилось,

уверяя, что все они постараются по-настоящему помочь ей всеми возможными способами.

— Вот моя история, сеньоры, — сказала она. — Мой отец держал меня взаперти целых десять лет, с того самого дня, как похоронили мою матушку. Мессу служат у нас на дому в богатой молельне, и в течение всего этого времени я видела только солнце на небе днем, и луну и звезды ночью, и не знала, что такое улицы, площади, церкви, и никогда не встречала других мужчин, кроме отца, брата и откупщика Педро Переса; последний так часто приходил к нам в дом, что мне и вздумалось назвать его отцом, чтобы не открывать вам моего настоящего имени. Я уже много дней и месяцев страдаю от того, что меня держат под замком и не позволяют выходить из дому, хотя бы для того, что бы пойти в церковь; мне хотелось посмотреть на свет божий или, по крайней мере, на селение, в котором я родилась; и это желание, казалось мне, не противоречит благоприличию, которое обязаны соблюдать знатные девицы. Когда я слышала, что в городе устраиваются бои быков и карусели * и представляются комедии, я просила брата, который на год моложе меня, объяснить мне, что это такое, и расспрашивала его о многом другом, чего никогда не видала; а он, как мог лучше, описывал мне все это; и рассказы его еще больше воспаляли во мне желание увидеть эти вещи. Но я сокращу рассказ о своей гибели и скажу только, что в конце концов я принялась просить и упрашивать брата... (О, лучше бы я никогда его не просила и не упрашивала об этом.)

И тут она снова зарыдала. Майордом сказал ей:

— Продолжайте, ваша милость, сеньора, и скажите нам, наконец, что же такое с вами случилось, ибо ваши речи и слезы всех нас приводят в смущение.

— Мне остается прибавить немного, — ответила девушка, — но зато мне предстоит выплакать еще много слез, ибо желанья, направленные к дурной цели, всегда влекут за собой подобные бедствия.

Красота девушки глубоко запала в душу дворецкого, и, чтобы еще раз на нее посмотреть, он снова поднес к ее лицу фонарь, и показалось ему, что по ее щекам текут не слезы, а жемчужины или чудесные росинки, и что слезы эти, пожалуй, еще прекраснее и могут быть с полным правом уподоблены перлам Востока; поэтому ему хотелось, чтобы несчастье, приключившееся с девушкой, было не слишком велико, хотя слезы и вздохи ее свидетельствовали о противном. А губернатор приходил в отчаяние от медлительности, с которой она рассказывала свою историю, и снова попросил ее не томить их, ибо час уже поздний, а он еще далеко не закончил обхода острова. Тогда она с прерывистыми рыданиями и тяжкими вздохами продолжила так:

— Все мое несчастье, все мое злополучье состоит в том, что я попросила брата позволить мне одеться по-мужски в один из его костюмов и ночью, когда батюшка наш заснет, взять меня с собою осмотреть селение; я так пристала к нему с просьбами, что он наконец согласился, позволил мне переодеться в этот костюм, а сам надел одно из моих платьев, которое словно для него сделано, ибо бороды у него еще нет и лицом он

походит на прелестнейшую девушку; и вот, сегодня ночью, должно быть, с час тому назад, мы ушли из дому и, увлеченные безрассудством молодости, обежали все селение и уже собиравшись возвращаться домой, как вдруг увидели, что прямо на нас идет большая толпа людей; тут брат сказал мне: «Сестрица, наверное это почной обход; окрыли свои ноги и беги за мной, чтобы нас не узнали; а не то придется нам плохо». С этими словами он повернул назад и пустился не то что бежать, а прямо-таки лететь, а я сделала шагов шесть и с перепуга упала; тут ко мне подошел служитель правосудия и привел меня к вам, ваши милости, и мне очень стыдно, что столько людей смотрят на меня и считают дурной и вздорной девчонкой.

— И это действительно, сеньора, — спросил Санчо, — вся та беда, которая с вами приключилась? Но ведь в начале вы сказали, что какая-то ревность заставила вас покинуть дом.

— Нет, больше со мной ничего не случилось, а дом я покинула не из ревности, а из желания поглядеть на божий свет; но это желание не простиралось далее того, чтобы посмотреть на улицы нашего селения.

Правдивость этих слов подтвердилась, когда полицейские привели брата девицы, захваченного ими в то время, как он убегал от сестры; весь его наряд состоял из пышной юбки и мантилии из голубой камки с нашивками из отличного золота, на голове его не было токи, по лучше всяких уборов украшали ее белокурые локоны, казавшиеся колечками чистого золота. Губернатор, майордом и дворецкий отвели его в сто-

рону, так, чтобы девушка не могла их слышать, и спросили, почему он переоделся в это платье; и он с таким же смущением и стыдом, как и сестра, в точности повторил ее рассказ, чем доставил великую радость влюбленному дворецкому. Однако губернатор сказал:

— Безусловно, сеньоры, вы поступили весьма опрометчиво, и чтобы рассказать о вашей дерзкой проделке, вам незачем было тратить столько речей, слез и вздохов; сказали бы вы просто: «Мы двое, такпе-то, удрали из-под отеческого крова погубить и придумали эту штуку из одного любопытства, не имея никакого иного умысла», — на этом бы и делу конец, и ни к чему все эти юни и слезы. Так-то!

— Да, вы правы, — ответила девушка, — только заметьте себе, ваша милость, что я была в таком смятении, что никак не могла соблюсти должной меры.

— Ну, ничего, потеря не велика, — ответил Сапчо, — а сейчас мы проводим вас домой к отцу, может быть опеще вас не хватился; а только на будущее время не ведите себя по-ребячески и не очень торопитесь увидеть свет; честная девушка должна сидеть дома, как будто у нее нога сломана; ибо женщина, что курица: чем больше бегаёт, тем скорей себя губит, а девушка, желающая на людей посмотреть, очевидно, не прочь и себя им показать. Надеюсь, вы меня поняли.

Юноша поблагодарил губернатора за его любезное желание проводить их, и вся компания направилась к дому дон Диего, находившемуся неподалеку отсюда. Когда они пришли, юноша

бросил камушек в решетку окна, спустилась служанка, поджидавшая молодых господ, открыла двери, брат и сестра вошли, а все провожавшие продолжали удивляться их красоте и прелести, а также их намеренью среди ночи, и не выходя из селения, поглядеть на свет божий; впрочем, все это достаточно объяснялось их крайней молодостью. А у дворянского сердца было пронзено, и он решил на следующий же день просить у дон Диэго руки его дочери, — ибо он был уверен, что домочадец герцога наверное не встретит отказа; да и у Санчо появились планы и предположения насчет того, как бы посватать за этого юношу свою дочку Санчику, и он решил в свое время осуществить эту мысль, полагая, что дочь губернатора может себе выбрать в женихи кого ей угодно.

В эту ночь обход острова на этом и кончился, а два дня спустя кончилось и самое губернаторство, вместе с которым расстроились и рухнули все эти планы, как читатель увидит из дальнейшего.

ГЛАВА I

*в которой выясняется, кто такие были волшебники и палачи, высекшие дуэнью и исципавшие и поцарапавшие дон Кихота, а также рассказывается о том, как паж герцогини отвозил письмо жене Санчо Пансы, Тересе Санче **



ид Амет, кропотливейший исследователь всех мелких подробностей этой правдивой истории, сообщает нам, что когда донья Родригес покинула свою спальню, чтобы отправиться в комнату дон Кихота, другая дуэнья, спавшая с ней рядом, заметила ее уход, а так как все дуэньи — большие охотницы поразузнать, послушать и обо всем пронюхать, то она пошла следом за доньей Родригес, и притом так тихонько, что та ее не заметила. А увидев, что донья Родригес вошла в комнату дон Кихота, она, не желая отступать от свойственного всем дуэньям обыкновения заниматься сплетнями, тотчас же побежала к сеньоре герцогине и сообщила ей, что донья Родригес находится в комнате дон Кихота. Герцогиня сказала об этом герцогу и попросила у него разрешения пойти туда с Альтисидорой и узнать, какое дело у дуэньи к дон Кихоту. Герцог

разрешил, и обе женщины, таясь и крадучись, осторожно переставляя ноги, подошли к двери дон Кихота и стали так близко, что им было слышно все, что в комнате говорилось; когда же герцогиня услышала, что Родригес вынесла на улицу тайну о фонтанах ее Аранхуэса, * ни она, ни Альтисidora не могли этого стерпеть, и охваченные гневом и жаждой мести, внезапно ворвались в комнату, поцарапали дон Кихота и высекли дурью, как уже об этом было рассказано; ибо оскорбления, направленные против красоты и самомнения женщины, особенно сильно возбуждают их гнев и зажигают их жаждой мести. Герцогиня рассказала обо всем случившемся герцогу, чем весьма его развеселила, а затем, решив продолжать потеху и шутки над дон Кихотом, она отправила того самого паж, который исполнял роль Дульсинеи в комедии ее мнимого расколдования (о каковом деле Санчо Панса, занятый делами своего губернаторства, успел основательно забыть) к жене Санчо, Тересе Пансе, с письмом от ее мужа и своим собственным, прибавив к ним в виде подарка большую нитку отличных кораллов.

Далее в истории нашей рассказывается, что паж был малый смысленный и ловкий и что он с большой охотой отправился в деревню Санчо, надеясь угодить своим господам; подъезжая к деревне, он увидел много женщин, стиравших в ручье белье, и спросил их, не знают ли они, где живет женщина по имени Тереса Панса, жена некоего Санчо Пансы, оруженосца рыцаря, именующегося дон Кихотом Ламанчским; услышав эти слова, одна из девушек, стиравших белье, поднялась и ответила:

— Тереса Панса — моя мать, а этот Санчо — мой сеньор батюшка, а рыцарь, про которого вы говорите, — наш хозяин.

— Ну, тогда подойдите ко мне, девушка, — ответил паж, — и проводите меня к вашей матушке, так как я привез ей письмо и подарок от вашего батюшки.

— С большим удовольствием, мой сеньор, — отвечала девушка, которой по виду можно было дать лет четырнадцать.

И, поручив белье, которое она стирала, одной из подруг, не обувшись и не оправившись, как была, босая и растрепанная, она одним скачком очутилась перед лошадью пажа и сказала:

— Поезжайте прямо, ваша милость, наш дом у самого въезда в деревню, а матушка моя горько тужит, так как уже давно не получает весточки от моего сеньора батюшки.

— Зато я привез ей такие хорошие вести, — ответил паж, — что ей будет за что поблагодарить господу бога.

Девочка, прыгая и подскакивая, добежала до дому и, не успев войти в него, на пороге закричала:

— Выходите, матушка Тереса, выходите, выходите, к нам приехал какой-то сеньор с письмами и разными вещами от моего доброго батюшки.

На крик ее появилась матушка, Тереса Панса, занятая прядением кудели; на ней была серая юбка и притом такая короткая, что невольно думалось, будто ей ее обрезали по непоказанное место, * корсаж серого цвета и нательная рубашка. По виду ей было за сорок лет, но она не казалась старой и была крепкая, прямая, жилистая и смуг-

лая; увидев свою дочь и пажа верхом на лошади, она спросила:

— В чем дело, дочь моя, кто этот сеньор?

— Я покорный слуга госпожи моей, доньи Тересы Пансы, — отвечал паж.

С этими словами он соскочил с коня и весьма почтительно опустился на колени перед сеньорой Тересой.

— Позвольте мне вашу руку, сеньора донья Тереса, — продолжал он, — я приветствую вашу милость, как собственную и законную супругу сеньора дон Санчо Пансы, полномочного губернатора острова Баратарии.

— Ах, сеньор мой, полноте! Что это вы делаете? — ответила Тереса. — Я не какая-нибудь придворная, а простая бедная крестьянка, дочь оральщика и жена странствующего оруженосца, а вовсе не губернатора.

— Нет, ваша милость, — сказал паж, — вы — достойнейшая супруга архидостойнейшего губернатора; и чтобы убедиться в правде моих слов, примите, ваша милость, письма и подарок.

Тут он вытащил из кармана нитку кораллов с золотыми шариками и, надев ей на шею, продолжал:

— Вот вам письмо от сеньора губернатора, а послала меня к вам сеньора гердогиня, которая просила передать вам эти кораллы и письмо.

Тереса остолбенела, а дочь ее еще больше; наконец девочка сказала:

— Убейте меня на этом месте, если все это не дело нашего хозяина, сеньора дон Кихота: это на-верное он подарил моему батюшке губернаторство или графство, которые столько раз ему обещал,

— Совершенно верно, — ответил паж, — благодаря заслугам сеньора дон Кихота, сеньор Санчо в настоящее время состоит губернатором острова Баратарии, как вы это узнаете из письма.

— А прочтите-ка вы его, ваша милость, сеньор дворянин, — сказала Тереса, — потому что, хоть пряхь я мастерица, но читать нисколючко не умею.

— И я тоже не умею, — прибавила Санчика, — но подождите меня здесь, я пойду и позову кого-нибудь грамотного — или самого священника, или бакалавра Самсона Карраско; они охотно придут сюда, чтобы узнать новости о моем батюшке.

— Незачем их звать, — ответил паж, — я хоть и не умею пряхь, но читать-то умею и прочту вам письмо.

Тут он прочитал письмо, которое мы уже приводили, а потому не станем его здесь повторять; затем он вынул из кармана письмо герцогини, гласившее так:

Друг мой Тереса, отменные качества души и ума вашего мужа Санчо побудили и заставили меня просить моего мужа герцога пожаловать ему в управление один из многочисленных островов, которыми мой супруг владеет. У меня есть сведения, что он управляет им как орел, вследствие чего я и, само собою разумеется, супруг мой, герцог, им премного довольны; я возношу великие благодарения небу за то, что не ошиблась, выбрав себе такого правителя; ибо следует вам знать, сеньора Тереса, что найти на свете хорошего губернатора очень и очень трудно, а между тем дай мне бог сделаться такой же хорошей, каким хорошим оказался Санчо в своем правлении.

Я посылаю вам, дорогая мол, нитку кораллов с золотыми шариками и была бы счастлива подарить вам не кораллы, а перлы Востока; вспомним однако

пословицу: «кто тебе бросил кость, тот твоей смерти не ищет»; надеюсь, что со временем мы познакомимся и подружимся с вами, и одному богу известно, что еще может случиться. Передайте мой привет вашей дочери Санчике и скажите ей от моего имени, чтобы она была готова, ибо я подышу ей знатного жениха, когда она менее всего будет этого ожидать.

Я слышала, что в ваших краях — много крупных жолудей, пришлите их мне дюжины две; собранные вашими руками, они будут мне особенно приятны; напишите мне подробно, как ваше здоровье и как вы поживаете, а если у вас есть в чем-нибудь нужда, скажите только слово, и всякое ваше желание будет исполнено; и да хранит вас бог.

Дано в моем поместье.

Любящий вас друг

Герцогиня.

— Ах! — вскричала Тереса, прослушав это письмо, — какая добрая, простая и совсем негордая сеньора! С такой сеньорой хоть в одну могилу ложись! Это тебе не жены идалго из нашей деревни, воображающие, что раз они дворянки, так и ветер на них не дуй; ходят в церковь с такими церемониями, что и самой королеве подстать, а на крестьянку даже не взглянут, почитая это для себя позором; эта же добрая сеньора, хоть и герцогиня, а называет меня в письме своим другом и обращается со мной, как с ровней; а за это дай ей бог возвыситься и сравниться с самой высокой колокольней во всей Ламанче. Что же касается жолудей, сеньор мой, то я пошлю их ее светлости целую меру; и уж такие они крупные, что все будут приходить на них смотреть и диву даваться. Ну, а теперь, Санчика, похлопочи о том, чтобы угостить этого сеньора; позаботься о его коне,

принеси из хлева яичек, нарежь побольше сала и накорми его по-княжески; он и собой хорош, и вести привез хорошие, — значит, заслужил угощение; а я тем временем сбегая к соседкам и расскажу им о нашей радости, да зайду к отцу священнику и дьярюльнику, мастеру Николасу, — ведь они и в прежнее время и теперь — сердечные друзья твоего батюшки.

— Все исполню, матушка, — ответила Санчика, — но только смотрите, отдайте мне половину этого ожерелья; я ни за что не поверю, что сеньора герцогиня такая безголовая, что все ожерелье послала вам одной.

— Все оно будет твоим, — сказала Тереса, — только дай мне поносить его на шее несколько дней; право же, у меня при виде его сердце радуется.

— Ваше сердце еще больше обрадуется, — сказал паж, — когда вы рассмотрите сверток, покрытый дорожным чехлом: это — костюм из тончайшего сукна, который губернатор только один раз надевал на охоту и теперь посылает его сеньоре Санчике.

— Дай бог, чтобы он мне служил тысячу лет! — воскликнула Санчика. — Да и привезшему его тысячу лет жизни желаю, а если мало, так и две тысячи.

Между тем Тереса с письмами в руках и с ожерельем на шее побежала по улице, барабанив пальцами по письмам, как по бубну, и, повстречавшись случайно со священником и Самсоном Карраско, принялась приплясывать и приговаривать:

— Да-с, теперь родня у нас не бедная, мы

теперь губернаторствуем; не верите, так приведите сюда самую что ни на есть первую дворянку,— я ей покажу, где ее место.

— Что случилось, Тереса Панса? Отчего вы так дурите и что это у вас за бумаги?

— И совсем я не дую, а в руках у меня письма от герцогинь и губернаторов, и на шее у меня — настоящие кораллы для чтения «богородицы», а крупные зерна, * по которым читают «отче наш», — из кованого золота, и сама я — губернаторша.

— Кроме всевышнего, никто на свете вас не поймет, Тереса; мы не знаем, что вы хотите сказать.

— А вот, посмотрите сами, — ответила Тереса и протянула им письма.

Священник прочитал их вслух для того, чтобы Самсон Карраско послушал тоже; затем Самсон и священник посмотрели друг на друга, изумленные тем, что прочитали, а бакалавр спросил, кто привез эти письма. Тереса предложила им отправиться к ней домой и самим посмотреть на гонца: это не юноша, а чистое золото, и привез он ей еще один подарок, которому и цены не сыщешь. Священник снял с ее шеи кораллы, рассмотрел их со всех сторон и, убедившись, что они настоящие, изумился еще больше и сказал:

— Клянусь саном, который ношу, я не знаю, что сказать и подумать об этих письмах и подарках; я вижу и осязаю настоящие кораллы; а в то же время читаю, что какая-то герцогиня просит прислать ей две дюжины жолудей.

— Да, куда ни кинь, всюду — клиш! — заметил на это Карраско. — А впрочем, пойдем посмотрим

на того, кто привез эти письма; быть может, он разрешит все наши сомнения.

Так они и сделали, и Тереса вернулась с ними домой. Они застали пажа за просеиванием ячменя для своей лошади, между тем как Санчика нарезывала сало для яичницы, чтобы угостить гонда; наружность и изящный наряд пажа им очень понравились, и они обменялись с ним учтивыми поклонами, а затем Самсон попросил гостя сообщить им новости о дон Кихоте и Санчо Пансе, прибавив, что они уже прочитали письма Санчо и сеньоры герцогини, но все же находятся в недоумении и никак не могут понять, какое такое у Санчо губернаторство и какой остров, ибо все или почти все острова, находящиеся в Средиземном море, принадлежат его величеству королю. На это паж ответил:

— Что сеньор Санчо Панса — губернатор, в этом не может быть никакого сомнения; но чем он управляет, островом или не островом, — об этом не берусь судить; довольно и того, что это селение насчитывает более тысячи человек; что же касается жолудей, то госпожа моя герцогиня очень проста в обхождении и вовсе не гордая: ей ничего не стоит попросить у крестьянки прислать ей жолудей, ей случалось посылать на село с просьбой одолжить ей гребень; ибо должен сказать вам, сеньоры, что самые знатные дамы в Арагоне отнюдь не так щепетильны и заносчивы, как в Кастилии, и обходятся со своими людьми чрезвычайно просто.

Беседа их была прервана в эту минуту появлением Санчики, принесшей в подоле яйца:

— Скажите мне, сеньор, — обратилась она к

пажу, — с тех пор как мой батюшка сделался губернатором, он, чего доброго, носит длинные штаны?

— Я не обратил на это внимания, — ответил паж, — но наверное он такие именно и носит.

— Ах, господи боже! — воскликнула Санчика. — Как бы я хотела его увидеть в таком наряде. Разве не удивительно, что с самого детства у меня было желание увидеть когда-нибудь моего батюшку в длинных штанах?

— И увидите, ваша милость, — ответил паж, — будете живы — увидите. Ей богу, если его губернаторство продолжится еще месяца два, мы его увидим не только в штанах, но и в дорожной маске.*

Священник и бакалавр отлично поняли, что паж подтрунивает; но их сбивало с толку, что кораллы были настоящие и что Санчо прислал охотничий костюм, который Тереса уже успела показать им; они посмеялись над желанием Санчики, но еще больше рассмешили их слова Тересы, когда она сказала:

— Сеньор священник, разузнайте, пожалуйста, не едет ли кто-нибудь из нашей деревни в Мадрид или в Толедо; я хочу поручить купить мне круглые, настоящие и заправские фижмы; притом модные и самые что ни на есть лучшие; право слово, я желаю соблюдать честь моего супруга-губернатора, насколько у меня хватит сил, а кроме того, если я рассержусь, то возьму и поеду ко двору и заведу себе карету, как и все прочие; ведь у кого муж в губернаторах, тому разрешается иметь и содержать карету.

— Ну, конечно, матушка, — сказала Санчика, —

и дай бог, чтобы это случилось не завтра, а сегодня; я буду восседать с госпожой моей матушкой в карете, и пускай себе соседки говорят: «Вы посмотрите только, как эта, такая-сякая, дочь провонявшего чесноком мужика расселась и развалилась в карете, словно папесса!» Пускай их шлепают себе по грязи, а я буду разъезжать в карете, и нога моя не коснется земли. А все злые языки на свете — пусть они пропадут и сквозь землю провалятся! Лишь бы мне было тепло, а там пускай себе люди смеются! Ну что, разве я плохо говорю, матушка?

— Нет, дочка, ты очень даже хорошо говоришь, — ответила Тереса, — мой добрый Санчо предсказывал мне и это, и еще большие благополучия, и ты увидишь, дочка, что я стану еще графиней; главное — это ступить на счастливую дорожку; твой добрый отец, которого можно назвать также отцом всех переговоров, не раз мне говаривал: «дают тебе коровку, — беги за веревкой», значит, дают губернаторство, — бери его, дают графство, — хватай, предлагают хороший подарочек, — суй его в карман, а нет, так спи себе и не отвечай, когда счастье и удача стучатся в ворота твоего дома!

— Да и какое мне дело до того, что станут болтать люди, когда я задеру нос и выряжусь по последней моде? — прибавила Санчика. — Есть же пословица: «обрядили пса в посконные штаны, никакие псу собаки не нужны».

Услышав это, священник сказал:

— Я начинаю думать, что в роду Панса все рождаются на свет с мешком пословиц: я не видел ни одного в их семействе, который не сы-

пал бы поговорками в любой час и при любом разговоре.

— Совершенно верно, — ответил паж, — сеньор губернатор Санчо тоже говорит пословицы на каждом шагу; и хотя не все они приходится кстати, но все же они доставляют удовольствие, и мои господа, герцог и герцогиня, очень их хвалят.

— Итак, ваша милость, сеньор, — воскликнул бакалавр, — вы продолжаете утверждать, что Санчо в самом деле губернатор и что на свете действительно существует герцогиня, которая пишет его жене и посылает ей подарки? Мы трогали руками эти подарки и читали письма, а все-таки отказываемся верить и полагаем, что это одно из приключений нашего земляка дон Кихота, который, как известно, считает, что все с ним случается не иначе, как по волшебству; вот почему я почти готов сказать, что мне хочется потрогать и пощупать вашу милость, чтобы выяснить, кто вы такой: призрачный порошок или человек из мяса и костей.

— Сеньоры, — ответил паж, — все, что я могу о себе сказать, это то, что я настоящий посол и что сеньор Санчо Панса — подлинно губернатор, что мои господа, герцог и герцогиня, могли пожаловать и пожаловали ему губернаторство и что по слухам Санчо Панса управляется со своим делом превосходнейшим образом; волшебство это или нет — об этом уж вы рассудите, ваши милости, сами, а я вам рассказал все, что мне известно, клянусь в этом жизнью моих родителей, которые еще живы и которых я горячо люблю и уважаю.

— Может быть все это и так, — ответил бакалавр, — но *dubitat Augustinus*.*

— Пусть себе сомневается, кто хочет, — возразил паж, — а только все, что я сказал, — правда. И правда всегда всплывает над ложью, как масло над водой; а нет, так *operibus credite et non verbis*;* пусть кто-нибудь из вас, сеньоры, отправится со мной, и тогда глаза его увидят то, чему не верят уши.

— Давайте я поеду с вами, — сказала Санчика. — Посадите меня, ваша милость сеньор мой, на круп вашей лошади, и я с большим удовольствием поеду повидаться с моим сеньором батюшкой.

— Дочерям губернаторов не полагается разъезжать по дорогам в одиночестве, без карет, носилок и большой толпы слуг.

— А мне, ей богу, все равно как ехать, на ослице или в карете, — ответила Санчика, — вот уж я, действительно, не привередлива.

— Замолчи, дочка, — перебила ее Тереса, — ты сама не знаешь, что говоришь, а этот сеньор вполне прав: другие времена, другие и нравы; когда твой отец был просто Санчо, — и ты была просто Санчика, а теперь он губернатор, и ты — сеньора; кажется, я говорю дело.

— Сеньора Тереса говорит лучше, чем ей это кажется, — ответил паж. — Ну, а теперь дайте мне поесть и отпустите меня поскорей, так как я хотел бы уехать обратно еще засветло.

На это священник сказал:

— Пожалуйте ко мне, ваша милость, чтобы разделить мою скудную трапезу, ибо у сеньоры Тересы, при всем ее добром желании, не найдется чем угостить столь дорогого гостя.

Паж долго отказывался, но в конце концов согласился, что так ему будет лучше, и священник с большой радостью повел его к себе, надеясь распросить его поподробнее о дон Кихоте и его подвигах.

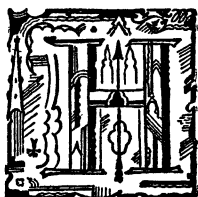
А бакалавр предложил Тересе написать за нее ответ на полученные письма; но она не пожелала,



чтобы бакалавр вмешивался в ее дела, потому что считала его насмешником и предпочла подарить хлеб и два яйца грамотному церковному служке, который и написал ей оба письма, одно — к мужу, другое — к герцогине; в них отразилась вся премудрость Тересы, и из писем, приводимых в этой великой истории, они не самые плохие, как, впрочем, вы в этом убедитесь впоследствии.

ГЛАВА LI

*о дальнейшем управлении Санчо и о других
поистине занятных событиях*



аступил день после той ночи, в которую губернатор совершил свой обход и которую дворецкий провел, не смыкая глаз, ибо его мысли были заняты красотой лица и изяществом переодетой девушки; а майордом остаток этой ночи употребил на составление письма к своим господам, в котором он сообщал им обо всем, что делал и говорил Санчо Панса, причем его равно изумляли слова и дела губернатора, так как эти поступки и речи представляли странное смещение ума и глупости. Наконец, сеньор губернатор проснулся и по приказанию доктора Педро Ресию на завтрак ему было предложено немного варенья и четыре глотка холодной воды — вещи, которые Санчо охотно променял бы на ломоть хлеба и гроздь винограда; но, видя, что его принуждают и согласия его не спрашивают, он покорился с большим прискорбием души и терзанием желудка; ибо Педро Ресию уверил его, что умеренная и легкая пища оживляет мысль и что такая еда вполне подобает особам начальствующим и зани-

мающим важные должности, требующие затраты не столько телесных сил, сколько духовных.

Несмотря на всю эту софистику, Санчо так мучился от голода, что в сердце своем проклинал и губернаторство и даже того, кто ему его пожаловал; тем не менее, покушав варенья и оставшись голодным, он и в этот день занялся судопроизводством, и первым делом явился к нему один приезжий, который в присутствии майордома и прочей челяди заявил следующее:

— Сеньор, по владениям одного вельможи протекает многоводная река, разделяющая их на две части. (Я прошу вашу милость выслушать меня внимательнее, ибо дело это важное и несколько запутанное.) Так вот, через эту реку переброшен мост, и около него стоит виселица и нечто вроде судилища, в котором обыкновенно заседают четыре судьи, наблюдая за выполнением закона, изданного владельцем реки, моста и поместья и гласящего следующее: «каждый, переходящий по мосту с одного берега на другой, обязан под присягой заявить, куда он идет и с какой целью; и, если он скажет правду, его пропускают дальше, если же солжет, то его без всякого снисхождения лишают жизни, вздернув на стоящую рядом виселицу». С тех пор как суровые условия этого закона стали всем известны, много людей переходило через мост, и как только выяснялось, что, поклявшись, они говорили правду, судьи позволяли им свободно следовать дальше. Но однажды случилось, что некий человек, приведенный к присяге, поклялся и заявил, подтверждая слова свои клятвой, что он пришел сюда для того, чтобы его повесили на этой виселице. Клятва эта сму-

тила судей, и они сказали: «Если мы позволим этому человеку свободно проследовать дальше, то выйдет, что он поклялся ложно, и в таком случае, согласно закону, должен умереть; если же мы его повесим, что ведь он поклялся, что явился сюда для того, чтобы его повесили, — следовательно, клятва его правдива, и, согласно тому же закону, он должен быть отпущен на свободу». И вот я вас спрашиваю, ваша милость, сеньор губернатор, что делать судьям с этим человеком, потому что они и по сей час пребывают в смущении и нерешительности. Прослышав о высоком и пронизательном разуме вашей милости, они послали меня к вам, дабы я от их имени попросил вашу милость дать ваше заключение в этом запутанном и неясном деле.

На это Санчо ответил:

— Право же, эти сеньоры судьи, пославшие вас ко мне, отлично могли бы этого и не делать, потому что я человек скорей тупой, чем пронизательный; а впрочем, изложите-ка мне еще раз ваше дело, так, чтобы я его хорошенько понял; может быть мне и удастся попасть в самую точку.

Посланный снова повторил то, что он уже сказал раньше, и тогда Санчо заявил:

— Сдается мне, что это дело можно решить в двух словах, и вот как. Этот человек поклялся, что пришел для того, чтобы его повесили, и если его повесят, то клятва его окажется правдивой и по закону его нужно было бы отпустить и позволить перейти через мост; если же его не повесят, то выйдет, что клятва его ложна, и по тому же закону он заслуживает виселицы.

— Сеньор губернатор рассуждает вполне правильно, — ответил посланный, — вы без сомнения поняли и уразумели это дело в совершенстве, так что лучше и желать нельзя.

— В таком случае, я полагаю так, — сказал Санчо: — пусть судьи пропустят ту половину этого человека, которая сказала правду, и повесят другую половину, которая солгала: таким образом, все условия перехода через мост будут соблюдены в точности.

— Но ведь тогда, сеньор губернатор, — возразил посланный, — придется этого человека разрезать на две половины — одну правдивую, а другую лживую, а если его разрежут, он неизбежно умрет, тогда закон не будет выполнен ни в одной, ни в другой своей части, а между тем совершенно необходимо соблюсти его полностью.

— Послушайте-ка, милейший сеньор, — ответил Санчо, — если только я не болван, то у вашего путника есть столько же оснований помереть, как и остаться в живых и перейти через мост; ибо, поскольку правда дарует ему жизнь, постольку ложь осуждает его на смерть, а раз это так, то передайте сеньорам, которые вас ко мне послали, что решение мое таково: в виду того, что у них столько же оснований для того, чтобы его осудить, как и для того, чтобы оправдать, то пусть они разрешат ему свободно перейти, ибо всегда похвальнее делать добро, а не зло; под этим решением я подписался бы собственноручно, если бы только, умел подписываться; и все, что я тут по этому случаю сказал, я взял не из своей головы, а просто-напросто припомнилось мне одно из многочислен-

ных наставлений, преподанных мне моим господином дон Кихотом накануне моего приезда на этот остров в качестве губернатора; заключалось же оно в том, чтобы я всегда склонялся на сторону милосердия в том случае, если какое-нибудь судебное дело внушит мне сомнение; и господу было угодно напомнить мне об этом правиле, которое к разбираемому нами делу подходит как нельзя более кстати.

— Совершенно верно, — ответил майордом, — и я уверен, что сам Ликург, давший законы лакедемонянам, не мог бы решить этого дела лучше, чем это сделал великий Панса. Закончим на этом наше утреннее заседание, и я сейчас распоряджусь, чтобы сеньора губернатора угостили обедом по его вкусу.

— Этого-то мне и надо, скажу прямо, начистоту! — воскликнул Санчо. — Дайте мне только поесть, а потом пускай всякие запутанные и неясные дела сыплются на меня градом, — я их в один миг разрешу.

Майордом сдержал свое слово, так как ему не хотелось брать греха на душу и морить голодом такого разумного губернатора; да к тому же он рассчитывал в тот же вечер закончить комедию с Санчо, сыграв с ним последнюю шутку, согласно полученному им приказу.

И вот, в этот самый день, когда Санчо наелся наперекор всем правилам и предписаниям доктора Тиртеафуэры и уже вставал из-за стола, прибыл гонец с письмом от дон Кихота к губернатору. Санчо велел секретарю прочесть его сначала про себя, и если в письме не окажется сообщений, которые следует хранить в тайне,

прочитать его потом вслух. Секретарь так и сделал и, пробежав письмо, сказал:

— Это письмо можно прочесть громко, потому что все, что сеньор дон Кихот пишет вашей милости, следовало бы записать и пропечатать золотыми буквами; а пишет он следующее:

*Письмо дон Кихота Ломаньского к Санчо Пансе,
губернатору острова Баратарии.*

В то время, как я опасался, что до меня дойдут слухи о твоём нерадении и оплошностях, друг мой Санчо, я получил известие о твоей рассудительности и посему воздал особые благодарения небу, которое властно вознести на высоты бедняка, валяющегося в навозе, и глупца сделать разумным. Мне сообщают, что ты правишь совсем как человек, а будучи человеком, уподобляешь себя скоту, — так смиренен ты во всем, что касается твоей особы, однако должен тебе заметить, Санчо, что для поддержания достоинства своего сана часто приходится и бывает необходимо поступать наперекор смирению своего сердца; ибо лицо, коему вверена важная должность, обязано заботиться о своём достоинстве согласно требованиям своего сана и бороться с наклонностями, внушаемыми ему его низменным происхождением. Одевайся всегда хорошо, ибо даже дубина, если её разукрасить, не кажется больше дубиной; я не хочу сказать, что тебе следует наряжаться и обвешивать себя разными побрякушками, и что, будучи судьей, ты должен одеваться как солдат;* но тебе надлежит носить одеяние, приличествующее твоему сану, и заботиться о том, чтобы оно всегда было чисто и опрятно.

Чтобы заслужить расположение народа, которым ты управляешь, ты должен в числе многого другого соблюдать следующие два правила: во-первых будь со всеми приветлив (впрочем, об этом я говорил тебе раньше), а во-вторых, старайся всегда обеспечить людям изобилие продовольствия, ибо ничто так не ожесточает сердца бедняков, как недостатка и голод.

Не издавай слишком много указов, а если уж вздумаешь их издавать, то старайся, чтобы они были дельными, а главное, чтобы их соблюдали и исполняли; ибо указы, которых никто не исполняет, ничем не отличаются от неизданных; мало того, они еще внушают мысль, что у правителя, издавшего их, хватило разума и власти, чтобы их составить, но не хватило мужества настоять на их соблюдении; законы же, внушающие страх, но не соблюдаемые, подобны тому чурбану, который сделанся дарем у лягушек: сначала они его испугались, а потом стали презирать и ездить на нем верхом. Будь отцом для добродетелей и отчимом для пороков. Постоянная суровость также нехороша, как и постоянная кротость; избери средний путь между этими двумя крайностями, ибо в нем-то и состоит истинная мудрость. Осматривай тюрьмы, бойни и рынки на площадях; ибо посещение губернатором этих мест—вещь очень важная: он утешает узников, надеющихся на скорое разрешение их дел, устрашает мясников, заставляя их отвечать правильно, и по той же причине внушает страх рыночным торговкам. Если ты на беду свою алчен, женолюбив, и лакомка (чего, впрочем, я не думаю), то не показывай этого, ибо если народ и твои приближенные проведают о твоих особенных наклонностях, то они возьмутся за тебя с этой стороны и низвергнут тебя в бездну погибели. Пробегай и проглядывай, думай и передумывай те советы и поручения, которые я написал для тебя накануне твоего отъезда на губернаторство, и, соблюдая их, ты убедишься, что они окажут тебе ценную помощь и выручат тебя во всех тяготах и затруднениях, которые на каждом шагу постигают губернаторов. Напиши гердогу и гердогине и вырази им свою благодарность; ибо неблагодарность—дочь гордости и один из величайших грехов, какие только существуют; а человек, питающий благодарность к тем, кто его облагодетельствовал, показывает, что он проявит себя благодарным и к господу богу, одарившему и продолжающему одарять его великими милостями.

Сеньора герцогиня отправила к твоей жене, Тересе Пансе, нарочного с платьем и особым подарком, и мы вскоре ожидаем ее ответа. Я был немного болен из-за одного кошачьего дела, которое весьма повредило моему носу, но все окончилось благополучно, ибо если одни волшебники меня преследуют, зато другие меня защищают.

Сообщи мне, имеет ли состоящий при тебе майордом что-нибудь общее с графиней Трифальди, как ты подозревал, и пиши мне обо всем, что с тобой случится, раз мы живем так близко друг от друга, тем более, что я собираюсь вскоре прекратить эту досужую жизнь, для которой я не рожден.

У меня вышло тут одно дело, которое, думается мне, может навлечь на меня немилость герцога и герцогини; но хотя мне это и тягостно, я все же не очень этим огорчен, ибо в конце концов я должен больше заботиться об исполнении своего долга, чем об их удовольствии, согласно известному изречению: *amicus Plato, sed magis amica veritas.** Пишу тебе это по-латыни, так как полагаю, что с тех пор, как ты сделался губернатором, ты успел изучить этот язык. Прощай, и да охранит тебя господь от того, чтобы внушить людям сострадание.

Твой друг

Дон Кихот Ламанчский.

С большим вниманием прослушал Санчо письмо, а все присутствующие при этом похвалили послание дон Кихота и нашли его весьма разумным; вслед за тем Санчо встал из-за стола и, подозвав секретаря, заперся с ним в своих покоях, так как ему хотелось, не откладывая этого дела, тотчас же ответить господину своему дон Кихоту; он велел секретарю написать все то, что он ему скажет, не прибавляя и не опуская ни одного слова; тот так и сделал. Ответное письмо было следующего содержания;

Письмо Санчо Пансы к дон Кихоту Ламанчскому.

Обременность моя делами столь велика, что мне не хватает времени почесать себе голову и даже постричь ногти, так что ногти у меня такие большие, что прямо беда.

Сообщаю вам это, дорогой мой сеньор, для того, чтобы ваша милость не сердилась за то, что я до сих пор не писал, хорошо или плохо живется мне на моем острове; а голодаю я на нем так, как не голодал даже в те времена, когда мы с вами вдвоем скитались по лесам и пустыням.

«Намедни господин мой герцог писал мне и сообщил, что на остров этот проникли какие-то шпионы с намерением меня убить, но доселе удалось мне обнаружить из них только одного, некоего лекаря, которого держат здесь на жалованье для того, чтобы он сживал со света всех прибывающих сюда губернаторов; зовут его доктор Педро Ресно, и родом он из Тиртеафуэры, — судите сами, ваша милость, что это за имя!* Как тут не побояться принять смерть от его руки? Этот доктор сам про себя говорит, что не его дело лечить болезни, когда они появляются; его дело — предупредить болезнь до ее появления; и в качестве лекарства он прописывает все время диету, так что его больные под конец становятся одна кожа да кости: как будто худоба не есть зло почище иной лихорадки. Словом, он морит меня голодом, а я помираю от злости; ведь я-то думал, что, сделавшись губернатором, буду есть горячее и пить прохладительное, буду нежить свою плоть на голландских простынях и на пуховиках, а вместо того я живу в такой скудости, как какой-нибудь отшельник, и так как делаю я это не по доброй воле, то как бы меня в конце концов черти не побрали.

До сих пор я еще и податей не получал и никаких взяток не брал; и не понимаю, что бы это такое значило, потому что здешние люди говорили мне, что обыкновенно, когда на этот остров назначается губернатор, то еще до прибытия его сюда жители дарят ему или ссужают большие деньги, и что так

ведется не только у здешних губернаторов, но и у всех правителей вообще.

«Прошлой ночью, делая обход острова, наткнулся я на очень красивую девушку в мужском платье и на ее брата, переодетого женщиной; мой дворецкий влюбился в эту девицу и в мыслях своих избрал ее себе в супруги, — так, по крайней мере, он говорит; а я прочу юнца себе в зятя; сегодня мы оба поговорим о наших намерениях с отцом их, по имени Диэго де ла Льяна; он такой идальго и старый христианин, что лучше и не требуется,

Рынки я посещаю, следуя советам вашей милости, и вчера видел одну торговку, которая продавала свежие орешки; и, обнаружив, что она к мере свежих орешков подсыпает меру старых, гнилых и пустышек, я распорядился все эти орехи отдать в Школу закона божия, — там уж сумеют в них разобраться, а торговке я запретил в течение двух недель появляться на рынке. Говорят, что я поступил правильно; а я одно только скажу вашей милости: здесь в народе держится мнение, что рыночные торговки — самое злое отродье на свете, потому что все они бесстыдны, бессердечны и нахальны, и я с этим согласен, так как немало их видел в других городах.

Я очень доволен, что сеньора моя герцогиня написала моей жене Тересе Пауса и послала ей подарок, о котором говорит ваша милость, и в свое время я постараюсь выказать ей свою благодарность; поделайте ей от моего имени ручки, ваша милость, и передайте, что дары ее попали не в дырявый мешок, — она в этом убедится на деле.

Мне бы не хотелось, чтобы у вашей милости вышли какие-нибудь неприятности с герцогской четой, потому что, если ваша милость с ними поссорится, то, понятно, это и мне пойдет в ущерб, да и не хорошо будет, если ваша милость, внушая мне благодарность, сама не выкажет ее по отношению к людям, которые осыпали вас столькими милостями и так радушно приняли в своем замке.

Что касается вашего кошачьего дела, то я тут ничего не понял; впрочем, полагаю, что дело идет о какой-нибудь обычной подлости, которую злые

волшебники снова учинили вашей милости; вы мне об этом расскажите, когда мы увидимся.

Хотелось бы мне послать что-нибудь вашей милости, да не знаю что, — разве что несколько клистирных наконечников, прикрепляемых к пузырям; * у нас на острове выдeldывают их очень занятно, ну, да если губернаторство мое продлится, то я всеми правдами и неправдами разыщу, что вам послать.

Если жена моя Тереса Панса пришлет мне письмо то заплатите за его доставку и перешлите мне, так как мне очень хочется узнать что-нибудь о моем доме, жене и детях. А засим да избавит господь бог вашу милость от зловредных волшебников, и да поможет он мне по добру по здорву सकончить мое губернаторство, хоть я на это и не надеюсь, так как думаю, что благодаря заботам доктора Педро Ресно живым отсюда мне не выбраться.

Слуга вашей милости

Губернатор Санчо Панса.

Секретарь запечатал письмо и тотчас же отправил гонца обратно, а все шутники, состоявшие при Санчо, собрались вместе и сговорились, как им спровадить нового губернатора. Санчо провел вечер за составлением распоряжений, улучшавших управление его области, которую он считал островом; он распорядился, чтобы повсюду была воспрещена розничная перепродажа съестных припасов и чтобы был разрешен ввоз вина из каких угодно областей, при том однако условии, чтобы каждый раз точно устанавливалось место его происхождения и чтобы цена на вино назначалась сообразно с его стоимостью, качеством и известностью; а продавцы, переименовывающие вино или разбавляющие его водой, должны были караться смертной казнью; он понизил цену на всякого рода обувь, особенно же

на башмаки, которые, по его мнению, стоили чрезмерно дорого; определил размеры жалованья слуг, которые без удержу мчались по пути корыстолюбия; наложил суровые наказания на тех, кто днем или ночью вздумал бы петь непристойные и бесчинные песни, запретил слепцам распевать стихи о чудесах, если только они не могут доподлинно доказать, что чудеса эти действительно совершились, ибо Санчо полагал, что большинство чудес, о которых распевают слепцы, — мнимые и только подрывают веру в истинные; он создал и учредил должность альгуасила для бедняков, но не с тем, чтобы тот их преследовал, а с тем, чтобы проверял, действительно ли они бедны; ибо часто маска притворного увечья и показных язв прикрывает воровские руки и здоровых пропойц. Одним словом, он сочинил сколько прекрасных распоряжений, что они по сей день соблюдаются в тех краях и носят название *Установлений великого губернатора Санчо Пансы.*

ГЛАВА III

в которой рассказывается о приключении второй скорбящей, или вернее, утесненной дуэньки, именуемой также доньей Родригес



нд Амет повествует, что, излечившись от кошачьих царапин, дон Кихот нашел, что жизнь, которую он ведет в замке, противоречит всем уставам странствующего рыцарства, и потому он решил проститься с герцогской четой и отправиться в Сарагосу, где вскоре должны были начаться празднества; там рассчитывал он заработать себе доспехи, которые на подобных состязаниях выдаются победителю. И вот однажды, когда он, сидя за столом с герцогом и герцогиней, уже собрался исполнить свое намерение и попросить у них разрешения уехать, вдруг, совсем неожиданно, в дверях большой залы появились две (как потом выяснилось) женщины, с головы до ног одетые в траур, одна из которых упала к ногам дон Кихота и, растянувшись на полу во весь рост, припала губами к его стопам и стала испускать такие печальные, глубокие и скорбные стоны, что все, кто видел и слышал ее, пришли в большое смущение; а герцог и гер-

догня, хотя и предполагали, что кто-нибудь из их домочадцев пожелал, вероятно, подшутить над дон-Кихотом, все же, видя, как истушленно вздыхает, стонет и плачет эта женщина, пребывавши в сомнении и нерешительности. Наконец, дон Кихот, движимый состраданием, поднял женщину с пола и попросил ее открыть заплаканное лицо и откинуть покрывало. Она повиновалась, и тогда все увидели то, чего никак не ожидали: ибо под покрывалом оказалось лицо герцогской дуэньи, доньи Родригес; вторая женщина в трауре была ее дочь, соблазненная сыном богатого крестьянина. Все знавшие ее изумились, особенно же герцогская чета, ибо хоть они и считали ее недалекой особой, но все же не предполагали, что она способна на подобное сумасбродство. Наконец, донья Родригес, обратившись к своим господам, заговорила так:

— Ваши светлости, соблаговолите разрешить мне немного побеседовать с этим рыцарем, ибо мне это необходимо для того, чтобы благополучно выйти из затруднения, в которое я попала вследствие наглости одного бесчестного мужлана.

Герцог ответил, что он дает ей разрешение и позволение говорить с сеньором дон Кихотом, сколько ей будет угодно. Тогда она обратила лицо свое и речь к дон Кихоту и сказала:

— Некоторое время тому назад, о доблестный рыцарь, я довела до вашего сведения, что один недостойный крестьянин нанес обиду и оскорбление моей возлюбленной и обожаемой дочери, которая сейчас стоит, бедняжка, перед вами, и вы обещали мне заступиться за нее и исправить причиненное ей зло; а теперь до меня дошла весть

о том, что вы желаете покинуть наш замок и пуститься в поиски приключений, — пошли нам бог удачи! Мне однако не хотелось бы, чтобы вы пустились в дорогу, не вызвав сначала на поединок этого разнузданного, беспутного деревенщину с целью заставить его жениться на моей дочери; ведь перед тем, как взойти на ее ложе, он обещал ей стать ее мужем; надеяться же на правосудие сеньора, моего герцога, было бы столь же безрассудно, как искать на вязе груш, и я уже вам секретным образом объяснила почему. Я кончила; пошли же, господи, вашей милости доброго здорovia, и да не оставит он также и нас, бедных!

На эти слова дон Кихот ответил весьма важно и напыщенно:

— Добрая дуэнья, сдержите ваши слезы, или, лучше сказать, осушите их и не тратьте даром ваши вздохи; ибо я берусь восстановить честь вашей дочери, для которой было бы полезнее не спешить принимать на веру обещания влюбленных, ибо обычно они легко даются и с большим трудом исполняются; итак, с разрешения сеньора моего герцога, я тотчас же отправлюсь на поиски этого беспутного юнца, разыщу его, вызову на поединок, и, если он откажется сдержать данное им слово, непременно его убью; ибо главная задача моего служения — это прощать смиренных и карать гордецов, я хочу сказать — помогать несчастным и сокрушать притеснителей.

— Вашей милости незачем утруждать себя розысками крестьянина, на которого жалуется эта добрая дуэнья, — сказал герцог, — так же, как незачем вашей милости просить у меня разрешения бросить ему вызов; ибо я считаю, что вы

его уже вызвали; я берусь сам передать ему ваш вызов и заставить принять его и явиться для ответа сюда в замок; я предоставлю вам обоим удобное место для поединка, с соблюдением всех условий, которые долг и обычай велят соблюдать в таких делах; равным образом я оставлю за собой право суда над вами, которое обязаны охранять все властители, отводя место для поединка в пределах своих владений.

— Опираясь на ваше обещание, — ответил дон Кихот, — я, с разрешения вашей светлости, немедленно объявляю, что на этот раз поступаю своим званием и нисхожу до низкого состояния обидчика, приравнивая себя к нему, и предоставляя ему, таким образом, возможность сразиться со мною; и хотя он здесь отсутствует, я все же вызываю его на поединок и обвиняю в том, что он совершил зло, обманув эту несчастную, которая была девицей, а теперь, по его вине, перестала быть ею; в силу чего он обязан, либо исполнить данное им обещание, став ее законным мужем, либо пасть на поединке.

И он тотчас же снял со своей руки перчатку и бросил ее на середину залы, а герцог поднял ее, заявив, что, как он уже сказал, принимает от имени своего вассала этот вызов; что срок поединка назначается через шесть дней; что местом боя будет площадь замка, а оружием — обычное рыцарское вооружение: копьё, щит, раздвижные латы и все прочие принадлежности, без обмана, хитрости или колдовства, так как все эти предметы будут осмотрены и гроверены судьями поединка; но прежде всего необходимо, чтобы эта достойная дуэнья и эта непутевая девица

доверели сеньору дон Кихоту право защищать их, ибо в противном случае ничего нельзя будет предпринять, и вызов рыцаря останется без последствий.

— Я доверяю ему это дело, — сказала дуэнья.

— И я тоже, — прибавила в смущении заплаканная, застыдившаяся девица.

Когда, таким образом, договорились о поединке и герцог уже придумал, как ему устроить это дело, дамы в трауре удалились, а герцогиня распорядилась, чтобы впредь с ними обращались не как с ее прислужницами, а как со знатными странницами, прибывшими к ее двору искать правосудия; поэтому им были отведены особые покои, и им стали прислуживать как чужеземкам, к великому сущению остальных служанок, которые никак не могли взять в толк, чем кончится глупая дерзость доньи Родригес и ее незадачливой дочери. В эту самую минуту, словно для большего оживления этой потехи и доброго завершения пира, появился в зале паж, который отвозил письмо и подарки Тересе Панса, жене губернатора Санчо Пансы; его прибытие весьма обрадовало герцога и герцогиню, которым весьма не терпелось узнать, как прошла его поездка; они его об этом спросили, и паж ответил, что он не может все рассказать в кратких словах, и еще при посторонних, и потому да будет ему позволено рассказать им об этом наедине, а тем временем пусть их светлости позабавятся письмами; и с этими словами он вынул два письма и передал их в руки герцогине. На одном из них было написано: «Письмо к сеньоре герцогине, а как по прозванью не знаю», а на дру-

гом: «Мужу моему Санчо Пансе, губернатору острова Баратарии, — дай ему господь больше лет жизни, чем мне самой». Герцогиня, как говорится, сидела словно на иголках, до того ей хотелось скорее прочесть письмо; она вскрыла его, пробежала про себя, и решив, что его можно огласить и дать послушать герцогу и всем приближенным, она прочла следующее:

Письмо Тересы Панса к герцогине.

Большую радость доставило мне, моя сеньора, письмо, что ваше высочество мне написали, потому что, поистине, было оно для меня желанным. Нитка кораллов очень хороша, да и охотничий костюм моего мужа ничем ей не уступит. А что ваша светлость произвели супруга моего Санчо в губернаторы, так это для всей нашей деревни большая приятность, хотя никто у нас этому не верит, особливо же священник, дырюльник мастер Николас и бакалар Самсон Карраско; а мне это нипочем, ведь раз это и впрямь так, то пускай себе каждый говорит, что ему хочется; но уж если говорить правду, то, не получи я кораллов и костюма, я бы и сама этому не поверила, так как у нас на деревне все считают муженька моего олухом и не могут себе представить, чтобы из него вышел хороший правитель, ибо до сих пор он ничем, кроме стада коз, не управлял; да поможет ему господь, и да направит он все его труды на пользу его деткам.

А я порешила, дорогая сеньора моя, с дозволения вашей светлости, растворить ворота своему счастью и поехать в столицу, развалившись в карете, чтобы у всех моих завистников, — их у меня уже тысячи, — глаза полопались; а потому, умоляю вашу светлость сказать моему мужу, чтобы он прислал мне сколько можно денег, и лучше побольше, — ведь в столице расходы громадные, хлебед стоит реал, а фунт мяса тридцать мараведисов, — просто разорение; а ежели ему неугодно, чтобы я туда отпривалась, так пусть поскорее мне об этом

сообщит, потому что у меня уж ноги на месте не стоят, — до того не терпится пуститься в дорогу; опять же кумушки и соседки мои уверяют, что если мы с дочкой, наряженные и расфуфыренные, появившись в столице, то мой муж станет известен благодаря мне, а не я благодаря ему, потому что многие наверно будут спрашивать: «Что это за синьоры едут в карете?» — а лакей мой в ответ: «Это — супруга и дочь Санчо Пансы, губернатора острова Баратарин». Так-то все и узнают про Санчо, а меня все будут почитать, и никаких гвоздей.

До чего мне досадно я и сказать не могу, что у нас в этом году не было урожая жолудей, но все-таки посылаю вашему высочеству полмеры с небольшим, — каждый жолудь я сама сорвала в лесу и отобрала, но только покрупнее этих не могла найти; а хотелось бы мне, чтобы они были величиной в страусовое яйцо.

Не забудьте, ваше великолепие, написать мне, а уж я непременно вам отвечу и сообщу и о своем здоровье и обо всем, что у нас в деревне случится, а пока сижу у себя дома, моля господа бога хранить ваше величество, да и меня не позабыть своими милостями. Дочка моя Санча * и сынок целуют руки вашей милости.

Та, которая больше бы хотела повидать
вашу светлость, чем писать ей,

Ваша слуга

Тереса Панса.

С большим удовольствием прослушали все присутствующие письмо Тересы Панса, особенно же герцогская чета; и затем герцогиня спросила дон Кихота, считает ли он позволительным вскрыть письмо, адресованное губернатору, которое наверно тоже превосходно. Дон Кихот ответил, что готов сам его вскрыть, чтобы доставить всем это удовольствие; так он и сделал, и прочитал следующее:

Письмо Тересы Панса к супругу ее Санчо Пансе.

«Письмо твое я получила, дорогой мой Санчо, и уверяю тебя и клянусь, как христианка и католичка, что я чуть с ума не сошла от радости. Знаешь ли, дружок, когда я услышала, что ты — губернатор, мне показалось, что я сейчас упаду замертво от восхищения; ты ведь знаешь поговорку: «внезапное счастье убивает так же, как и большое горе». А дочка твоя, Санчика, от великой радости, неприметно для себя, даже воду пустила. Передо мной лежал костюм, который ты мне прислал, на шее у меня висели кораллы, присланные мне сеньорой герцогиней, в руках держала я письма, гонед, принесший их, стоял передо мной, — а мне все думалось и казалось, что все, что я вижу и трогаю руками, — просто сон; да и кто бы мог подумать, что козопас делается губернатором островов? Помнишь, дружок, как моя матушка говорила: «кто много проживет, много и увидит»? Говорю это к тому, что надеюсь увидеть еще и побольше этого, если останусь жива; право, я не успокоюсь, пока не увижу тебя арендатором или откупщиком налогов; правда, кто на этих должностях допускает злоупотребления, того дьяволы всегда к себе забирают, — ну, а деньги-то у него всегда есть и не переводятся. Сеньора герцогиня сообщит тебе, что я желаю отпроситься в столицу. Подумай и напиши мне, хочешь ли ты этого, а уж я постараюсь не осрамить тебя там, разъезжая в карете.

Священник, дырюльник, бакалавр и даже пономарь никак не могут поверить, что ты — губернатор, и говорят, что все это — навождение или волшебство, как и все включения твоего господина дон Кихота; а Самсон говорит, что отправится к тебе и вышибет у тебя из головы это губернаторство, а дон Кихоту выбьет из башки его сумасбродства; но я на это только смеиваюсь и поглядываю на свою нитку коралловую, да прикидываю, какое платье выйдет из твоего костюма для нашей дочки.

Я послала сеньоре герцогине немного жолудей; — право, мне хотелось бы, чтобы они были из чистого

золота. Пришли мне несколько жемчужных ожерелий, если у вас на острове их носят.

А новости у нас в деревне такие: Берруэка выдала свою дочку за какого-то никудышного живописца, который приехал в нашу деревню малавать все, что ему предложат; совет наш поручил ему нарисовать королевский герб над воротами думы; мазилка потребовал за это два дуката, ему их выдали вперед, он проработал с неделю и в конце концов так ничего и не нарисовал, заявив, что ему никак не написать столько всякой всячины; деньги он вернул обратно, а потом все-таки женился, словно и взаправду какой-нибудь мастер; теперь он оставил кисти, взялся за лопату и ходит себе в поле, что твой дворянин. Сын Педро де Лобо нахватал степеней,* носит тонзурку и готовится к духовному званию; а об этом узнала Мингилья, внучка Минго Сильвато, и подала на него жалобу, так как он дал слово на ней жениться; злые языки даже болтают, что она от него забеременела, но он от этого настроен отпирается.

В этом году у нас неурожай на оливки, и во всей деревне не сыщешь ни капли уксуса. Проходил мимо нас полк солдат и увел с собой трех девок из нашей деревни; я не буду называть тебе их имен, потому что, может быть, они еще вернутся и найдут себе мужей, и никто не станет обращать внимания на то, какие у них есть изъяны.

Санчика вяжет кружева, зарабатывает в день чистых восемь мараведисов и прячет их в копилку, чтобы собрать себе на приданое, но ей незачем больше его зарабатывать.

Фонтан, что у нас на площади, высох, молния ударила в нашу виселицу, — дай бог, чтоб и со всеми другими случилось то же.

Жду ответа на мое письмо и твоего решения насчет моей поездки в столицу; а засим да пошлет тебе господь больше лет жизни, чем мне самой, или по крайней мере столько же, так как не хотелось бы мне оставлять тебя одного на этом свете.

Твоя жена

Тереса Панса.

Письма эти вызвали у слушателей восторг, смех, похвалы и изумление, а тут в довершение забавы прибыл гонец с письмом Санчо к дон Кихоту, которое, будучи тоже прочитано вслух, заставило всех усомниться в мнимой глупости губернатора. Герцогиня удалилась, чтобы распространить пажа о том, что с ним случилось в деревне у Санчо, и паж подробно рассказал ей обо всем, не умолчав ни об одной мелочи; затем он передал ей жолуди и врученный ему Тересой сыр, который, по ее словам, был превосходен и не чета даже тронchonским * сырам. Герцогиня приняла его с большим удовольствием, и тут мы с ней расстанемся, чтобы рассказать, как закончилось губернаторство великого Санчо Пансы, цвета и зеркала островных губернаторов.

ГЛАВА LIII

о прискорбном конце и завершении губернаторства Санчо Пансы



умать, что все в нашей жизни будет всегда пребывать в одном и том же состоянии — значит заблуждаться; напротив, нам кажется, что все на земле свершает свой круг, вернее сказать, круговорот. За весной следует лето, за летом — осень, за осенью — зима, за зимой — весна, — и время идет себе да идет, вращаясь, как бесконечное колесо. Одна лишь человеческая жизнь мчится к своему концу быстрее самого ветра, не ведая иного возрождения, как только там, в ином бытии, не ограниченном никакими пределами. Так говорит Сид Амет, магометанский философ; да и многие другие люди, лишенные светоча веры, а руководимые лишь светом природы, тоже понимали, что здешняя наша жизнь быстротечна и непостоянна, а вечная жизнь, на которую мы уповаем, будет длиться всегда; впрочем, наш автор упоминает об этом, имея в виду ту быстроту, с которой кончилось, рухнуло, распалось и рассеялось, как тень или дым, губернаторство Санчо.

В седьмую ночь своего правления Санчо лежал в постели, сытый не хлебом и вином, а судом, решением дел, изданием указов и законоположений, и уже на зло и вопреки голоду сон начинал смыкать его веки, как вдруг донеслись до него такие оглушительные крики и колокольный звон, что ему показалось, будто весь остров проваливается. Он присел на кровати и стал внимательно вслушиваться, стараясь угадать, что за причина могла вызвать такое великое смятение; но он ничего не мог понять, ибо к звону колоколов и крикам вскоре присоединились звуки бесчисленных труб и барабанов, что еще больше смутило Санчо, нагнав на него страх и ужас; тогда он встал с постели, всунул ноги в туфли, — так как пол в его комнате был сыроват, — и, не успев даже набросить халат или что-нибудь в этом роде, подошел к дверям своей спальни в ту самую минуту, как в коридор вбежало более двадцати человек с зажженными факелами и обнаженными шпагами в руках, причем все они громко кричали:

— К оружию, к оружию, сеньор губернатор! Полчища врагов обрушились на наш остров, и мы погибли, если только ваше искусство и мужество нас не спасут!

С ужасным шумом, в неистовстве и смятении толпа добежала до Санчо, растерянного и оторопевшего от всего, что он видел и слышал; один из прибежавших крикнул ему:

— Вооружайтесь скорее, сеньор, если не хотите погибнуть и погубить весь наш остров!

— Да зачем мне вооружаться? — ответил Санчо. — Разве я что-нибудь смыслю в оружии и

защите? Такое дело лучше было бы поручить моему господину дон Кихоту; он бы его покончил одним махом, и все вы были бы в безопасности; а я, грешный человек, ничего во всей этой суматохе не понимаю.

— О, сеньор губернатор, — сказал другой, — что за равнодушие! Вооружайтесь, ваша милость, мы вам принесли оружие, оборонительное и наступательное; выходите на площадь, будьте нашим вождем и полководцем, потому что вам, как нашему губернатору, по праву принадлежит это звание.

— Ну, что же, в добрый час, вооружайте меня, — ответил Санчо.

Тотчас же они принесли два больших щита, припасенных ими заранее, и, не позволив Санчо надеть верхнее платье, прикрыли его поверх рубашки, так что один щит находился спереди, а другой сзади; руки ему просунули в сделанные для этого отверстия, затем накрепко стянули его веревкой, так что он был стиснут и обложен щитами, как досками, и стоял прямо, как веретено, не будучи в состоянии ни согнуть колени, ни сделать шаг вперед. В руки ему вложили копьё, на которое он оперся, чтобы удержаться на ногах. Нарядив его таким образом, они предложили ему двинуться в путь, предводительствовать и ободрять дух бойцов, прибавив, что дело пойдет на лад, если он согласится быть их компасом, фонарем и светочем.

— Да как же мне идти, несчастному, — воскликнул Санчо, — когда я не в состоянии пошевелить коленными чашками? Ведь эти доски, вшившиеся в мое тело, меня не пускают. Все, что

вам остается, это взять меня на руки и вставить стоймя или поперек в какую-нибудь дверь, и я буду защищать ее копьем или собственным телом.



— Идите, сеньор губернатор, — ответили одни из воинов, — вам мешают двинуться с места не столько доски, сколько страх; спешите, идите, уже поздно, а число неприятелей все возрастает, крики все усиливаются, и опасность надвигается.

И так они его уговаривали и бранили, что бедный губернатор, решив наконец двинуться, грохнулся наземь с такой силой, что, казалось, от него останутся одни осколки. Так он и лежал на полу, как черепаха, стиснутая и замкнутая в своей броне, или как окорок, сдавленный двумя корытами, или как лодка, занесенная песком. Но даже и тогда, когда Санчо свалился, насмешники не почувствовали к нему ни малейшей жалости, напротив, они потушили факелы, стали кричать еще громче, взывать к оружию еще иступленнее и топать бедного Санчо, без устали колотя мечами по его щитам, так что, еслибы бедный губернатор не сгорбился и не сжался, втянув голову под щит, ему пришлось бы совсем плохо; и, сдавленный со всех сторон, в поту и испарине, он поручил себя от всей души богу и молил его вызвать его от этой напасти. Одни спотыкались об его тело, другие на него падали, а какой-то молодчик взобрался на него и, как со сторожевой башни, долго командовал оттуда войсками, крича громким голосом:

— Эй, наши, бегите сюда: враг особенно напирает с этой стороны! Охраняйте этот вход, закройте ворота, завалите бревнами лестницы! Тащите сюда наливные горшки, * лейте смолу и живицу в котлы с кипящим маслом! Перегородите улицы тюфяками!

Словом, он усердно перечислял всякую военную всячину, снаряжения и приспособления, с помощью которых обычно защищают города от приступов, между тем как полуживой Санчо слушал это, терпел и говорил про себя:

— Ох, если бы богу было угодно, чтобы этот

остров поскорей был взят врагами, а я сам или помер, или избавился от этих страшных тревожений!

Небо вяло его мольбам, и вот, когда он меньше всего этого ожидал, раздались громкие крики:

— Победа, победа, враг побежден! Эй, сеньор губернатор, вставайте, ваша милость, пожалуйста насладиться плодами победы и распределить трофеи, отнятые у неприятеля вашей отважной и непобедимой рукой!

— Поднимите меня, — измученным и скорбным голосом сказал Санчо.

Ему помогли подняться, и, став на ноги, он сказал:

— Если я действительно победил какого-то неприятеля, так пускай мне его прибьют гвоздем ко лбу.* Не желаю я распределять неприятельские трофеи, но если среди вас найдется кто-нибудь, кто мне истинный друг, то прошу его и умоляю дать мне глоток вина, потому что у меня во рту пересохло, а также вытереть с меня пот, потому что я плаваю в воде.

Когда его обтерли, принесли ему вина и сняли щиты, он сел на кровать и лишился чувств от страха, потрясения и усталости. Устроители этой забавы стали раскаиваться, находя, что шутка их вышла слишком тяжеловесной, но их огорчение, по поводу обморока Санчо длилось недолго, так как губернатор скоро пришел в себя и спросил, который час; ему ответили, что уже светает. Он замолчал и не сказал ни слова, в полнейшем безмолвии принялся одеваться, между тем как все смотрели на него и ждали, чем кончится это

столь поспешное одевание. Наконец Санчо оделся и медленным шагом, — ибо он был так избит, что не мог идти быстро, — отправился в конюшню, куда вслед за ним двинулись все его приближенные; там он подошел к серому, обнял его, нежно поцеловал в лоб и со слезами на глазах сказал:

— Приди ко мне, мой товарищ, друг и помощник в трудах и невзгодах; когда я жил с тобой и все мои мысли были заняты заботой о том, как бы починить твою упряжь и папитать твою утробу, воистину, счастливы были мои часы, дни и годы, но с тех пор, как я тебя покинул и вознеся на башни честолюбия и гордости, душу мою одолели тысяча невзгод, тысяча трудов и четыре тысячи тревожений.

Говоря это, он в то же время седлал своего осла, и никто при этом не проронил ни звука. А оседлав серого, Санчо, крихтя и охая, сел на него верхом и со следующими словами и речью обратился к майордому, секретарю, дворецкому, доктору Педро Ресио и многим другим, присутствовавшим при этом:

— Расступитесь, любезные сеньоры, и позвольте мне вернуться к моей прежней воле; позвольте мне уехать на поиски моей прошлой жизни, чтобы воскреснуть от моей теперешней смерти. Я не рожден для того, чтобы быть губернатором и защищать острова и города от неприятеля, который желает их осаждать. Я больше смыслю в том, чтобы пахать и копать замлю, подрезывать и подчищать виноградные лозы, чем в том, чтобы издавать законы и защищать провинции и государства. Хорошо святому Петру в Риме; я хочу сказать, что каждому

из нас следует заниматься тем делом, для которого он родился. И мне больше пристало держать в руке серп, чем жезл губернатора; уж лучше мне наесться досыта похлебкой, чем страдать от скарредности нахального лекаря, который морит меня голодом; я предпочитаю летом развалиться под тенью дуба, а зимой по собственному желанию кутаться в шкуру двухгодовалого барана, творя свою вольную волю, чем состоять на этой губернаторской каторге, спать на голландских простынях и носить соболью шубу. Оставляйтесь с богом, ваши милости, и скажите сеньору моему, герцогу, что голым я родился, голым и остался, ничего не выиграл и не проиграл; я хочу сказать, что вступил я в управление без гроша в кармане, и так же без гроша покидаю его, хоть обыкновенно на других островах губернаторы поступают совсем иначе; а теперь расступитесь и дайте мне дорогу, я поеду полечиться пластырями, потому что, кажется, у меня ни одного ребра целого не осталось; все это благодаря врагам, которые ночью по мне прогуливались.

— Не бывать этому, сеньор губернатор, — воскликнул доктор Ресио, — я дам вашей милости питье против ушибов и падений, которое немедленно возвратит вашей милости его прежнюю силу и здоровье; что же касается вашего питания, то я обещаю исправиться и разрешить вам есть в изобилии все, что вам будет угодно.

— Опоздали, опоздали! — ответил Санчо. — Да я скорей сделаюсь турком, чем отменю свой отъезд. Нет, такие шутки не повторяются. Клянусь богом, не останусь я здесь губернатором,

да и другого губернаторства не приму, хоть бы мне его на блюде поднесли, — это так же верно, как то, что без крыльев на небо не полетишь. Я ведь из рода Панс, которые все были упрямыми, и если один из нас сказал «нечет», так оно и будет нечет, хотя бы весь мир на зло говорил «чет». Пускай тут в конюшне останутся те муравьиные крылышки, что вознесли меня на небо для того, чтобы там заклевали меня стрижи и прочие птички; лучше спустимся на землю и будем по ней ходить просто-напросто ногами; пусть они не будут обуты в узорные башмаки из кордовской кожи, зато грубые веревочные лапти у меня всегда найдутся. Всякая овца должна знать свое стадо, и дальше постели пог не высовывай, а теперь пропустите меня, потому что час уже поздний.

На это майордом сказал:

— Сеньор губернатор, мы с полной готовностью отпустим вашу милость, хотя нам и очень тяжело вас лишиться, ибо ваша мудрость и христианское поведение заставляют дорожить вами; но всем известно, что каждый губернатор, прежде чем покинуть управляемую им область, обязан предварительно представить отчет; представьте же ваша милость, отчет за десять дней вашего управления, и тогда отправляйтесь с миром.

— Никто не в праве требовать от меня отчета, — ответил Санчо, — кроме лица, уполномоченного на это моим сеньором герцогом; я сейчас еду к нему и отчитаюсь перед ним в самом лучшем виде; но и то сказать: я уезжаю отсюда голышом, так какие еще пужны документы в подтверждение того, что я управлял, как ангел?

— Честное слово, великий Санчо прав,—воскликнул доктор Ресио, — и я полагаю, что мы можем его отпустить, ибо герцогу свидание с ним доставит бесконечное удовольствие.

Все с ним согласилось и позволили Санчо уехать, предварительно предложив ему почетную охрану и все, что ему потребуется для того, чтобы в пути ему было удобно и приятно. Санчо ответил, что ему хотелось бы получить овса для серого, а для себя — пол-каравая хлеба и половину сыра, ибо путь его недалекий, а потому ни более обильных, ни лучших запасов ему не нужно. Все по очереди обняли его, он со слезами обнял каждого и уехал, оставив их, пораженными его речами и столь твердым и столь разумным его решением.

ГЛАВА LIV

в которой говорится о вещах, касающихся именно этой истории и никакой другой



ердогская чета решила, что вызову, брошенному дон Кихотом одному из их вассалов по причине, нами уже указанной, следует дать ход, но юноша этот находился во Фландрии, куда он бежал, не желая получить в тещи донью Родригес, и потому герцог и герцогиня решили заменить его одним из дворцовых лакеев, баском по имени Тосилос, предварительно хорошенько научив его, как он должен себя вести. Два дня спустя после этого герцог сказал дон Кихоту, что через четыре дня противник его придет, выступит на поле битвы в полном рыцарском вооружении и заявит, что девушка плетет небылицу длиной в половину своей бороды, а то, пожалуй, и всей бороды, если утверждает, что он обещал на ней жениться. Дон Кихот с большим удовольствием принял это известие и дал себе слово проявить в этом деле чудеса храбрости, весьма радуясь тому, что наконец-то ему представится случай показать герцогу и герцогине, до каких пределов простирается сила его могучей руки;

веселый и довольный, ждал он, когда пройдут наконец эти четыре дня, превратившиеся для него в четыреста столетий, — так велико было его нетерпение.

Но не будем мешать им проходить, как не мешаем мы проходить многим другим вещам, и отправимся вслед за Санчо, который верхом на сером, отчасти грустный, отчасти веселый, возвращался к своему господину, общество которого было ему больше по сердцу, чем управление всеми островами на свете. И вот случилось, что не успел он далеко отъехать от своего острова, (ибо ему так и не пришлось в голову проверить, чем собственно он управлял: островом, городом, местечком или деревней), как вдруг увидел, что навстречу ему по дороге идут шесть паломников с посохами, из числа тех чужеземцев, которые собирают милостыню, распевая песни; поровнявшись с Санчо, они выстроились в ряд и, все разом возвысив голоса, запели что-то на своем языке; однако Санчо удалось разобрать одно только слово: *милостыня*, которое они выговаривали вполне отчетливо; из чего он заключил, что в песне своей они просили о милостыне, и будучи, по словам Сида Амета, человеком крайне сострадательным, он вынул из своей сумки весь свой запас — пол-хлеба и пол-сыра — и отдал им, объяснив знаками, что ничего больше он не может им дать. Они приняли его дар весьма охотно и сказали:

— *Гельте, гельте!**

— Не понимаю, — ответил Санчо — чего вы у меня просите, добрые люди.

Тогда один из паломников вытащил из-за па-

зухи кошелек и показал его Санчо; после этого Санчо понял, что они просят у него денег; поэтому он приставил себе к горлу большой палец и растопырил остальные, показывая этим, что у него нет ни гроша, затем подхлестнул серого и двинулся прямо на них; но в то время как он проезжал мимо паломников, один из них, хорошенько всмотревшись в него, бросился к нему, обнял за пояс и громким вполне испанским голосом вскричал:

— Господи помилуй, кого я вижу! Неужели же я держу в своих объятиях дорогого друга и доброго соседа Санчо Пансу? Действительно, — это он, потому что я не сплю и не пьян.

Санчо удивился, что его называют по имени и что какой-то чужеземный паломник его обнимает; долго, не говоря ни слова, он с большим вниманием вглядывался в незнакомца, но никак не мог его признать; тогда паломник, видя его недоумение, сказал:

— Как, неужели, братец Санчо Панса, ты не узнаешь своего соседа, Рикоте-мавританца, лавочника из твоей деревни?

Тут Санчо посмотрел на него еще пристальнее, стал вспоминать и, наконец, узнал совсем; тогда, не сходя с осла, он обнял руками его шею и сказал:

— Да какой же дьявол узнал бы тебя, Рикоте, в этом скоморошьем платье? Скажи на милость, кто превратил тебя в мусью * и как у тебя хватило смелости вернуться в Испанию, где тебя могут поймать и узнать, после чего тебе придется весьма не сладко?

— Если ты меня не выдашь, Санчо, — ответил

паломник, — я уверен, что в этом платье ни один человек меня не узнает; но давай отойдем от дороги, поближе к тополевой рощице, которая отсюда виднеется; там мои спутники собираются поесть и отдохнуть, и ты тоже закусишь вместе с ними, — все они люди мирные; а я тем временем расскажу тебе обо всем, что со мной случилось с того самого дня, как я покинул нашу деревню, повинуясь указу его величества; ведь ты слышал, какими жестокими преследованиями угрожали несчастным людям моего племени?

Санчо согласился, Рикоте переговорил с остальными паломниками, и вся компания, круто свернув с проезжей дороги, направилась к тополевой роще, видневшейся поблизости. Тут они побросали посохи, поспинали плащи или пелерины и остались в одном платье; все они были люди статные, видные собой и еще молодые, за исключением одного Рикоте, человека уже в летах; у всех у них были котомки, повидимому, туго набитые, — по крайней мере в них было множество разных острых закусок, за две мили возбуждавших жажду. Затем они растянулись на земле и, воспользовавшись травой, как скатертью, разложили на ней хлеб, соль, ножи, орехи, ломти сыра и голые кости от окороков, — глотать их было нельзя, но обсосать никому не запрещалось. Выложили они так же одно черное кушанье, которое, как говорят, зовется *кавьаль** и готовится из рыбьих яиц, — оно очень возбуждает жажду; были тут и оливки, правда, сухие и без всякой приправы, но все же вкусные и соблазнительные; но главными бойцами на поле этого пира были шесть кожаных флаг с вином, ибо

каждый паломник вытащил из своей котомки по фляге; даже добрый Рикоте, превратившийся из мавра в немца или тевтона, вытащил свою, которая по величине могла бы поспорить с остальными пятью. Тут принялись они есть с величайшим удовольствием, не торопясь, смакуя каждый кусочек и беря на кончик ножа понемножку от каждого блюда, а затем все разом подняли вверх руки и фляги, приставили горлышки ко рту и возвели глаза к небу, как будто беря его на прищел; и в таком положении стали они покачивать головами вправо и влево, в знак того, что одобряют вкус напитка, и они продельвали это довольно долго, переливая в свои желудки содержимое сосудов. Санчо глядел на это и «ничуть не сокрушался;» * напротив, желая держаться хорошо ему известной пословицы: «когда будешь в Риме, веди себя так, как другие», он попросил Рикоте передать ему флягу и вместе с другими приделался ею в небо, надо сказать, с поменьшим удовольствием. Четыре раза взлетали в воздух фляги, но в пятый раз сделать это оказалось невозможным, потому что они стали суше, чем кобыль, и по этой причине веселье, дарившее вначале, несколько омрачилось. От времени до времени один из паломников пожимал Санчо руку и говорил:

— Испанец и немец оба один хороший товарищ.

А Санчо отвечал:

— Один хороший товарищ, клянусь бог!

И он раздражался хохотом, длившимся не меньше часа, и забывал в ту пору обо всем, что приключилось с ним на острове; потому что над вре-

менем и мгновеньями, когда люди едят и пьют, заботы имеют мало власти. Наконец, когда вино кончилось, нагнав на всех глубокий сон, паломники задремали на тех же столах и скатертях, * за которыми пировали; бодрствовали лишь Рикоте и Санчо, потому что ели они больше, а пили меньше, чем остальные; они отошли в сторону, уселись у подножия бука, поотдаля от паломников, погруженных в сладкие сновиденья, и Рикоте, несколько не сбиваясь на свое мавританское наречие, на чистейшем испанском языке рассказал Санчо следующую историю:

— Ты хорошо помнишь, сосед и друг мой Санчо Панса, какой страх и ужас навели на всех людей моего племени указ и предписание, которое его величество повелел издать против нас; я по крайней мере утратился так, что еще до истечения срока, предоставленного нам для того, чтобы покинуть пределы Испании, мне казалось, что и я сам и дети мои уже подверглись суровой каре. Я решил, — и это было, на мой взгляд, благоразумно, ибо когда знаешь, что в известный срок тебя выгонят из дома, где ты живешь, то начинаешь заранее подыскивать другое помещение, чтобы туда переселиться, — итак, говорю, я решил один, без семьи, уйти из деревни и подыскать место, куда бы я мог потом перевезти семью со всеми удобствами и без той суматохи, с какой уходили другие мавры; ибо я пожимал, — да и все наши старики прекрасно это понимали, — что указ этот — не пустые угрозы, как утверждали некоторые, а подлинный закон, который в должное время будет приведен в исполнение; и я вынужден был верить, что это — правда, так

как знал, какие преступные и безумные замыслы были у моих соплеменников, * — а потому мне кажется, что само божественное провидение подвигло его величество привести в действие это превосходное решение. Но, конечно, это не значит, чтобы мы все были виновны, ибо среди нас были также искренние и подлинные христиане; однако их было так мало, что они не могли противиться остальным; к тому же неразумно пригревать на груди змею и имать врагов в своем собственном доме. Одним словом, мы были вполне справедливо наказаны и осуждены на изгнание, и хотя многие находили это наказание мягким и не тягостным, нам оно казалось самым ужасным, какое только можно придумать. И всюду, куда бы мы ни попали, мы оплакиваем Испанию, ибо в ней мы родились и она — наше прямое отечество; и нигде не встречаем мы такого приема, какого заслуживает наше бедствие; но больше всего нас оскорбляют и притесняют в Берберии и в других местах Африки, где мы рассчитывали найти ласку, радушие и гостеприимство. Не ценили мы нашего счастья, пока его не потеряли; и почти все мы так страстно желаем вернуться в Испанию, что большинство из тех, кто владеет испанским языком, как я, — а таких много, — возвращаются обратно, бросив на произвол судьбы своих жен и детей: столь велика их любовь к Испании. * Да, теперь я знаю по опыту, как справедлива поговорка: «ничего не может быть слаще любви к родине». Итак, я уехал из нашей деревни, отправился во Францию, и, хотя там приняли нас хорошо, все же мне захотелось посмотреть и другие страны. Я побывал в Италии,

а затем перебрался в Германию, и мне показалось, что в этой стране можно жить с наибольшей свободой, так как обитатели ее не обращают никакого внимания на разные тонкости; каждый живет там, как ему хочется, и почти всюду признается свобода совести. Я снял дом в одном местечке неподалеку от Аугсбурга и пристал к этим паломникам, которые каждый год толпами отправляются в Испанию на поклонение святым местам, ибо для них Испания — вторая Америка, то есть верный заработок и прямая нажива. Они обходят почти всю страну, и нет такого селения, из которого бы они ушли, как говорится, не пивши, не евши и не унося с собой деньгами не меньше реала, так что к концу путешествия у них собирается более ста эскудо чистой прибыли; они обменивают их на золото, зашивают в подкладку пелерин, вдевают в посохи или прибегают к другой какой-нибудь хитрости, и таким образом проносят деньги через границу и доставляют их к себе на родину, несмотря на пограничные заставы и таможи, где их обыскивают. А я теперь, Санчо, намереваюсь откопать клад, который я когда-то спрятал в землю, и я могу это сделать, не подвергая себя опасности, так как он закопан в поле за деревней; а потом из Валенсии я напишу жене и детям или сам съезжу за ними, — потому что мне известно, что они находятся в Алжире, — и постараюсь доставить их в какой-нибудь французский порт, и оттуда перевести в Германию, а там будет видно, как господь бог пожелает нами распорядиться; ведь в конце концов, Санчо, я твердо знаю, что дочь моя Рикота и жена моя Франсиска Рикота —

христианки и католички, а я хоть и не крещеный, но все же более христианин, чем мавр, и постоянно молю бога открыть мне очи разумения и указать мне, как мне следует ему служить. Но одно меня удивляет: не пойму я, почему моя жена и дочь предпочли отправиться в Берберию, а не во Францию, где они могли бы жить как христианки.

На это Санчо ответил:

— Послушай, Рикоте, ведь они поступили так не по собственной воле: их увез с собой брат твоей жены, Хуан Тьопьейо; а так как он очень умный мавр, то и отправился в самое надежное место; и еще я должен сказать тебе одну вещь: думается мне, что ты напрасно будешь искать того, что когда-то закопал, потому что до нас дошел слух, что у твоей жены и шурина при таможенном осмотре было отобрано много жемчуга и золотых денег.

— Возможно, что это и так, — ответил Рикоте, — но я уверен, Санчо, что клада моего они не тронули, так как я, боясь несчастья, не открыл им, где он зарыт; поэтому, Санчо, если ты согласишься меня сопровождать и помочь мне раскопать клад и припрятать его, я дам тебе двести эскудо; они тебе пригодятся на твои нужды, потому что я знаю, что ты спльно нуждаешься.

— Я бы охотно исполнил твою просьбу, — ответил Санчо, — но я ничуть не корыстолюбив; иначе я бы сегодня утром не выпустил из рук одной должности, сохранив которую, я мог бы все стены моего дома покрыть золотом, а через полгода — завести себе серебряную посуду; да и помимо этой причины, помогать врагам его вели-

чества кажется мне предательством, а потому я не пойду с тобой, хотя бы ты не только обещал мне двести эскудо, а тут же выложил мне чистоганом целых четыреста.

— Какую же должность ты оставил, Санчо? — спросил Рикоте.

— Я отказался от звания губернатора одного острова, — ответил Санчо, — да еще от такого острова, что, ей богу, подобного ему не сыскать на десять верст кругом.

— А где же находится этот остров? — спросил Рикоте.

— Где? — повторил Санчо, — да в двух милях отсюда, и называется он остров Баратария.

— Полно, Санчо, — возразил Рикоте, — острова бывают среди моря, а на твердой земле никаких островов нет.

— Как нет? — воскликнул Санчо. — Говорю тебе, друг мой Рикоте, что сегодня утром я отсюда выехал и еще вчера управлялся с ним в свою полную волю, словно стрелок с луком; и все-таки я покинул этот остров, потому что губернаторская должность показалась мне делом опасным.

— Ну, а сколько ты заработал на своем губернаторстве? — спросил Рикоте.

— А заработал я вот что, — ответил Санчо: — я понял, что мое дело не управлять областями, а пасти стадо, и что богатство, которое можно заработать на таких должностях, покупается ценою отказа от покоя, сна и даже пищи, потому что на островах губернаторы едят мало, особенно если при них состоят лекари, наблюдающие за их здоровьем.

— Не понимаю, что ты говоришь, Санчо, —

сказал Рикоте, — но кажется мне, что ты болтаешь вздор. Да кто же мог назначить тебя губернатором какого-то острова? Неужели на свете не нашлось человека способнее тебя, чтобы нести эту должность? Полно, Санчо, приди в себя и, повторяю, подумай, отчего бы тебе не отправиться со мной и не помочь откопать зарытый мною клад, — а его действительно можно назвать кладом, так как денег я зарыл целую гору; и, повторяю еще раз, я вознагражу тебя так, что тебе на жизнь хватит.

— Я уже сказал тебе Рикоте, — ответил Санчо, — что не желаю; довольно с тебя и того, что я тебя не выдам, а теперь в добрый час отправляйся своей дорогой, а я пойду своей; мне отлично известно, что если добро, нажитое честным трудом, часто гибнет, то нечестно нажитое не только само гибнет, но и губит своего хозяина.

— Я не хочу настаивать, Санчо, — сказал Рикоте, — но скажи мне: был ли ты в деревне в тот день, когда уезжали оттуда моя жена, дочь и шурина?

— Да, был, — ответил Санчо, — и могу тебе сказать, что твоя дочь была так красива, что все жители деревни высыпали на улицу, чтобы на нее посмотреть, и все в один голос заявляли, что она — самое прекрасное создание на свете. А она шла, обливаясь слезами, и обнимала своих подруг, приятельниц и всех, кто подходил к ней проститься, прося помолиться за нее господу богу и пресвятой божьей матери; и говорила она с таким чувством, что даже я заплакал, — а ведь у меня глаза не на мокром месте; и, уверяю тебя, многим хотелось ее спрятать или украсть где-

пидуь по дороге, но всех удерживала боязнь нарушить королевский указ; а особенно был взволнован дон Педро Грегорио, * молодой и богатый наследник, которого ты, конечно, знаешь, потому что, как говорят, он страстно полюбил твою дочь; со времени ее отъезда он никогда больше не показывался у нас в деревне, и мы решили, что он отправился вслед за ней с намерением ее похитить; однако до сих пор вестей о нем до нас не доходило.

— К несчастью, я всегда подозревал, что этот дворянин влюблен в мою дочь, — ответил Рикоте, — но я был так уверен в добродетели моей Рикоты, * что влюбленность его меня нисколько не беспокоила; ты, должно быть, слышал, Санчо, что мавританки очень редко, вернее сказать, никогда, не связывают себя любовными узами со старинными христианами; а моя дочь больше думает о религии, чем о любви, и я надеюсь, что она не обратит внимания на преследования этого сеньора наследника.

— Дай-то бог, — ответил Санчо, — не то их обоих ждало бы горе; ну, а теперь, друг мой Рикоте, разреши мне уехать, так как мне хочется к ночи попасть в замок, где живет мой господин дон Кихот.

— Отправляйся с богом, братец Санчо; мои слутники начинают уже просыпаться, и нам тоже пора собираться в путь.

Тут они обнялись, Санчо сел на своего серого, Рикоте принадлег на свой посох, и они расстались.

ГЛАВА LV

о том, что случилось с Санчо в дороге, и о других вещах, лучше которых и не выдумаешь



еседа с Рикоте так задержала Санчо, что он не успел в тот же день добраться до герцогского замка: в полумиле от него Санчо застигла темная и непроглядная ночь; но, так как стояло лето, он не очень этим смутился и, свернув немного с дороги, решил дожидаться утра. Но тут злая и горькая его судьба пожелала, чтобы в поисках места, где бы он мог поудобнее расположиться, он провалился вместе со своим серым в глубокое и мрачное подземелье, находившееся посреди каких-то очень древних развалин; и, проваливаясь туда, он от всей души поручил себя богу, решив, что он падает на самое дно преисподней. Но это оказалось не так, ибо, пролетев немногим более двух саженей, серый очутился уже на земле, а Санчо удержался на спине его, без всякого для себя вреда и изъяна. Он оцупал все свое тело и затаил дыхание, чтобы увериться, остался ли он цел и не пострадала ли какая-нибудь его частица; и, убедившись, что он цел, невредим и пребывает в добром здравии, он

не поскупился на благодарения господу богу за милость, ему оказанную, ибо он был уверен, что разбился вдребезги. Затем он ощупал руками стенки подземелья, чтобы посмотреть, сможет ли



он выбраться оттуда без посторонней помощи; но все они оказались гладкими и без малейших выступов, что весьма опечалило Санчо, особенно когда он услышал, что его серый испускает жалобные и тихие стоны; а было это не без причины, и осел жаловался не зря, потому что упал он не вполне благополучно.

— Ах! — воскликнул тут Санчо Панса. — Сколько неожиданных происшествий постигает на каждом шагу живущих на этом злосчастном свете! Кто бы сказал, что человек, сидевший вчера на губернаторском троне и управлявший островом, раздавая приказы своим чиновникам и вассалам, сегодня окажется погребенным в каком-то подземелье, — и никого не найдется, чтобы выручить его, ни слуги, ни вассала, который бы пришел ему на помощь! Здесь суждено нам погибнуть от голода, и мне и моему ослу, если только еще раньше мы не умрем, он — от своих ран и ушибов, а я — от горя. Добро бы еще мне посчастливилось так, как сеньору моему дон Кихоту, который спустился и проник в пещеру очарованного Монтесиноса, где его приняли лучше, чем в его собственном доме, и где его словно ждали накрытый стол и приготовленная постель. Там предстали перед ним приятные и утешительные видения, между тем как я здесь увижу, надо думать, только жаб и змей. Несчастный я! Вот до чего довело меня мое безумие и глупые затеи! Извлекут отсюда, — если небу будет угодно, чтобы люди нашли меня, — мои гладкие, белые, обглоданные кости вместе с костями моего осла, и по ним, быть может, догадаются, кто мы такие, — по крайней мере, догадаются те, кому известно, что никогда не расставался ни Санчо Панса со своим ослом, ни его осел с Санчо Пансой. Бедные мы, снова повторяю я: видно не пожелала наша горькая судьбина, чтобы умерли мы у себя на родине, среди своих близких; ведь если бы и там мы не убереглись от такой напасти, то все же

нашлись бы люди, которые пожалели бы нас и закрыли бы нам глаза в смертный час! Ах, товарищ и приятель мой, плохо же я отплатил тебе за твою добрую службу! Прости меня и умоли, как умешь, Фортуна вызволить нас из этой беды, в которую мы попали оба; и я обещаю надеть тебе на голову лавровый венок, чтобы ты был похож на увенчанного поэта, и буду давать тебе двойную порцию корма.

Так плакался Санчо Панса, а осел слушал его, не отвечая ни слова, — в такой тоске и печали пребывало бедное животное. После того как вся ночь прошла в этих горьких жалобах и стенаниях, настал наконец день, и при свете и снпнии его Санчо убедился в полнейшей и совершеннейшей невозможности выбраться из этого колодца без чьей-либо помощи; и тогда он снова принялся стенать и вопить, в надежде, что кто-нибудь его услышит; но все это было гласом вопиющего в пустыне, ибо в этих краях некому их было слышать, и тогда Санчо окончательно решил, что он погиб. Так как серый лежал на земле, задрав морду кверху, то Санчо кое-как помог ему подняться на ноги, на которых тот едва мог держаться; затем он вынул из дорожной сумки, совершившей совместно с ними опасное падение, ломоть хлеба, протянул его ослу, выразившему свое полное удовольствие, и при этом сказал ему, как если бы тот мог его понять:

— От всех бед лучшее лекарство — хлеб.

В эту самую минуту он заметил в стене под землей отверстие, в которое, согнувшись и скорчившись, мог пролезть человек. Санчо ки-

нулся к нему, пополз на животе, забрался в него и убедился, что проход этот становится длинным и просторным; а разглядеть это ему помог солнечный луч, который, пробиваясь словно сквозь крышу, все освещал внутри. Санчо увидел также, что дальше проход еще больше удлинится и расширится, переходя во вторую просторную пещеру. Рассмотрев все это, он вернулся обратно к своему ослу и при помощи камня стал расшищать отверстие, которое через некоторое время увеличилось настолько, что через него можно было легко провести осла. Так Санчо и сделал; взяв серого за недоуздок, он пошел по этому подземному ходу вперед, чтобы посмотреть, не найдется ли в другом конце его выхода. Временами он шел в полумраке, временами — в полной тьме, но все время — в страхе.

— Помогите мне, всемогущий боже! — говорил он про себя. — То, что для меня — зоключение, было бы отличным приключением для господина моего дон Кихота. Он наверное принял бы эти пропасти и подземелья за цветущие сады и дворцы Галианы * и надеялся бы выйти из мрачных теснин на какой-нибудь цветущий луг. А я, несчастный, лишенный мужества и растерянный, жду на каждом шагу, что под моими ногами развернется другая, еще более глубокая бездна, которая окончательно меня поглотит. Хорошо еще, когда приходит одна беда.

Так мучился Санчо, одолеваемый своими мыслями; но, когда он уже прошел, по его мнению, немногим более полумилл, он вдруг заметил какой-то слабый свет, похожий на дневной, откуда-то проникавший и указывавший, что дорога

эта, казавшаяся Санчо путем на тот свет, имеет свободный выход.

Здесь Сид Амет Бененхели покидает его и возвращается к дон Кихоту, который, взволнованный и радостный, ожидал предстоящего ему поединка с соблазнителем дочери доньи Родригес, намереваясь воздать за обиду и оскорбление, подло ей нанесенное. И вот случилось, что, выехав однажды утром с целью поупражняться и подготовиться к ожидаемому бою и представив себе, как этот бой будет происходить, он пустил Росинанта вскачь, полным карьером; и лошадь его так близко подскакала к отверстию пещеры, что, если бы дон Кихот с силой не пятаил поводья, он непременно бы туда свалился. Ему однако удалось сдержать Росинанта, и он не упал; подъехав поближе, он, не сходя с коня, стал рассматривать эту расщелину; и в то время как он глядел на нее, он услышал доносившиеся из глубины ее крики; внимательно прислушавшись, он ясно различил и разобрал, что кричавший говорил следующее:

— Эй вы, там наверху! Неужели не найдется христианина, который бы услышал меня, или милосердного рыцаря, который бы сжаился над грешником, погребенным заживо, над несчастным развенчанным губернатором?

Дон Кихоту показалось, что он слышит голос Санчо Пансы, и это крайне изумило и поразило его; возвысив голос, насколько было ему возможно, он произнес:

— Кто там внизу? Кто это жалуется?

— Кому же здесь быть и кому здесь жаловаться, — ответил ему голос, — как не горемыч-

ному Санчо Пансе, губернатору, за грехи свои и на беду свою, острова Баратарии, бывшему оруженосцу славного рыцаря дон Кихота Ламанчского?

Услышав это, дон Кихот изумился еще более, и даже ужаснулся: ибо ему пришло в голову, что Санчо Панса наверное умер и что здесь мучится его душа. Одолеваемый этой мыслью, он сказал:

— Заклинаю тебя всем, чем только могу заклясть тебя в качестве правоверного христианина, скажи мне, кто ты такой; и если ты — страждущая душа, то скажи, что я должен сделать для тебя; ибо хотя обязанность моя состоит в оказании поддержки и покровительства нуждающимся на этом свете, тем не менее я готов помочь и подействовать нуждающимся с того света, если они сами не могут помочь себе.

— Судя по словам вашей милости, — ответили ему из пещеры, — вы наверное — сеньор мой дон Кихот Ламанчский, да и, по голосу судя, это — он самый и есть.

— Да, я — дон Кихот, — ответил наш рыцарь, — тот, чья обязанность помогать и содействовать в их нуждах всем, и живым, и мертвым. Поэтому скажи мне, кто ты такой, повергший меня в изумление; ибо если ты мой оруженосец, Санчо Панса, и если ты умер и твою душу не унесли дьяволы, а по милости божьей ты попал в чистилище, то наша святая мать, римская католическая церковь, имеет достаточно средств, чтобы извлечь тебя из мук, в которых ты пребываешь, и я со своей стороны приму в этом деле участие, насколько хватит моего состояния; поэтому назови себя по имени и скажи, кто ты такой.

— Клянусь всеми чертями и рождением первого же встречного, какого вашей милости, сеньор дон Кихот Ламанчский, угодно будет назвать, что я — ваш оруженосец Санчо Панса и что никогда за всю жизнь свою я не умирал; а только пришлось мне оставить мое губернаторство по многим причинам и обстоятельствам, о которых сейчас не время рассказывать, и вот сегодня почью свалился я туда, где теперь сижу, вместе с моим серым, и он подтвердит правду моих слов, потому что он тут же со мной находится.

И действительно, словно поняв произнесенную Санчо клятву, осел немедленно заревел, да так громко, что вся пещера загрохотала.

— Отличный свидетель! — воскликнул дон Кихот. — Я узнаю его рев так же хорошо, как если бы, он был родным моим сыном, да и твой голос, Санчо, мне тоже знаком. Подожди немного; я поеду сейчас в герцогский замок, находящийся здесь поблизости, и приведу с собой людей, которые тебя вытащат из этого подземелья, куда тебя ввергли, видно, твои грехи.

— Поезжайте, ваша милость, — ответил Санчо, — и возвращайтесь поскорее, ради господ бога, потому что я не могу примириться с мыслью быть заживо здесь похороненным и умираю от страха.

Дон Кихот расстался с ним и отправился в замок, где рассказал герцогу и герцогине о происшествии, постигшем Санчо Пансу; все немало ему подивились, хотя сразу же догадались, что Санчо провалился в одно из колен подземного хода, который в незапамятные времена был там проложен; одного только не могли понять, —

как это он мог покинуть свое губернаторство, не сообщив им ничего о своем приезде. Так или иначе, собрали множество людей, захватили с собой канаты и веревки, и после великих усилий извлекли и серого, и Санчо Пансу из мрака на солнечный свет. Один школяр, видевший все это, сказал:

— В таком виде следовало бы уходить из вверенных им областей всем плохим губернаторам, — именно так, как этот грешник, вылезший из глубокой пропасти: умирающий от голода, весь бледный и, как мне кажется, без гроша в кармане.

Услышав это, Санчо ответил:

— Восемь или десять дней тому назад, братец пересмешник, я вступил в управление островом, который мне пожаловали, и с того часа я ни разу не наелся хлеба досыта; за это время меня измучили лекари, а враги переломали мне все кости; некогда мне было ни взяток набрать, ни податей собирать; а если это так, то я не заслужил, думается мне, того, чтобы уйти в таком виде; но человек предполагает, а бог располагает, и один господь знает, что для нас лучше и что кому следует; и каков ветер, такова и погода; и пусть никто не плюет в колодезь, потому что потянулся к окороку, а на месте-то и крюка нет; бог меня понимает, и я умолкаю, хоть и мог бы многое еще прибавить.

— Не сердись, Санчо, — сказал дон Кихот, — и не расстраивайся тем, что тебе иной раз скажут, ибо этому конца не будет. Живи в ладу со своею совестью, и пускай себе люди говорят, что им вздумается. Привязать язык злоречивому человеку

так же невозможно, как запереть поле воротами. Если губернатор покидает свою должность обогатенным, говорят, что он вор, а если он уходит бедняком, его называют простаком и глупцом.

— На этот раз, — ответил Санчо, — уж наверное меня назовут дураком, а не вором.

Беседуя таким образом, они, окруженные мальчишками и множеством всякого люда, добрались до замка, где на галерее их уже поджидали герцог и герцогиня; однако Санчо не захотел пройти к герцогу, не устроив сначала серого в конюшню, потому что осел, по его словам, провел очень плохую ночь в гостинице; а после этого он направился к своим повелителям, и преклонив перед ними колени, сказал:

— Сеньоры мои, по желанию ваших высочеств и без всяких заслуг с моей стороны, я отправился управлять принадлежащим вам островом Баратарией, в который вступил я нагим, как и сейчас нагим я остался: ничего я не проиграл и не выиграл. Хорошо или плохо я управлял, на этот счет есть свидетели, которые вольны говорить все, что им вздумается. Я разрешал тяжбы и произносил решения, все время при этом умирая с голода, потому что этого желал доктор Педро Ресио, родом из Тиртеафуэры, островной и губернаторский врач. Ночью на нас напали враги, и после великой свалки жители острова объявили, что они победоносно отстояли свою свободу благодаря доблести моей руки; и пошли им бог столько же здоровья, сколько правды в том, что они говорят. Словом, я за это время измерил все тяготы и обязанности, связанные с губернаторской должностью, и нашел, что мне

их не осилить; бремя это не по моим плечам, и стрелы эти не по моему колчану; и потому я решил, пока губернаторство со мной не разделалось, сам с ним разделаться, и вчера утром покинул свой остров таким же, каким его застал: со всеми теми улицами, домами и крышами, какие были при моем прибытии туда. Ни у кого я не брал займы и не участвовал ни в каких прибылях; и хотя я собирался издать несколько полезных законов, я не сделал этого из опасения, что они не будут исполняться; а в таком случае ведь все равно, изданы они или не изданы. Итак, я покинул остров в сопровождении одного лишь моего серого; провалился в подземелье и стал в нем пробираться, пока этим утром, при солнечном свете, не обнаружил выход, но не очень-то удобный, так что, не пошли мне небо сеньора моего дон Кихота, я так бы там и остался до скончания мира. Так что, мои сеньоры, герцог и герцогиня, перед вами ваш губернатор Санчо Панса, который из десятидневного своего губернаторства извлек только одну прибыль: узнал, что управление не то что каким-нибудь островом, а даже целым миром, не стоит ломаного гроша; а убедившись в этом, я целую ноги ваших милостей и на манер мальчишек, которые говорят, когда считаются в играх «прыгай туда ипусти меня», я прыгаю с моего губернаторства и возвращаюсь на службу к моему господину дон Кихоту, потому что с ним я хоть и ем хлеб во страхе, но все-таки наедаюсь досыта; а это для меня главное — все равно чем, морковью или куропатками, лишь бы наестся.

На этом Санчо и закончил свою длинную

речь, в продолжение которой дон Кихот все время боялся, как бы он не наговорил тысячу глупостей; когда же он увидел, что Санчо кончил, наговорив их совсем немного, он возблагодарил в своем сердце господя бога. Герцог обнял Санчо и сказал, что ему от души жаль, что Санчо так скоро покинул свое губернаторство, но что он, герцог, позаботится, чтобы ему дали в его владеньях какую-нибудь другую должность, более доходную и менее обременительную. Герцогиня также обняла Санчо и велела хорошенько его угостить, ибо вид у него крайне потрепанный и измученный.

ГЛАВА LVI

о неслыханном и невиданном поединке между дон Кихотом Ламанским и лакеем Тосилосом в защиту дочери дуэньи доньи Родригес



герцогской чете не пришлось пожалеть о шутке, разыгранной с Санчо Пансой, которому дали поуправлять островом, особенно после того как в тот же день явился майордом, доложивший им в полной точности обо всех словах и поступках Санчо за это время и под конец позабавивший их рассказом о падении на остров, страхе Санчо и его отъезде, что доставило слушателям немалое удовольствие. Вслед затем, — повествует наша история, — настал день, назначенный для поединка, и герцог, который обучил своего лакея Тосилоса и не раз повторил свои наставления, как он должен себя вести с дон Кихотом, чтобы победить его, не убивая и не рая, — приказал снять железные острия с копий; а дон Кихоту он объявил, что христианский закон, которому он привержен, не допускает, чтобы эта битва была связана со столь великой и тяжелой опасностью для их жизни: довольно с дон Кихота и того, что герцог поз-

воляет этому бою свободно состояться в его владениях, хотя одним этим он уже нарушает постановление святого собора, * воспрещающее подобные поединки; но боя со смертельным исходом пусть он не требует. Дон Кихот предоставил его светлости назначить какие угодно условия, обещав всецело им подчиниться.

Наконец, настал грозный день. По приказу герцога на площади перед замком соорудили просторный помост для судей поединка и для обеих дам-истиг, матери и дочери; со всех ближних селений и деревень стеклась несметная толпа, жаждавшая поглядеть на этот необычайный бой, подобного которому еще не видали и не слышали в этих местах ни живые, ни раньше жившие.

Первым вышел на огороженную арену церемониймейстер; он измерил и обошел все место, отведенное для боя, дабы убедиться, что там нет никакого обмана или скрытого препятствия, о которое можно было бы споткнуться и упасть; затем появились и заняли свои места обе дуэньи, закрытые покрывалами не только до глаз, но по самую грудь; они проявили сильное волнение, когда дон Кихот выехал на арену. Вскоре затем, под громкие звуки труб, на краю арены показался преславный лакей Тосилос верхом на могучем коне, под которым дрожала земля; забрало его было опущено, и весь он был закован в крепкие и блестящие доспехи. Конь его, повидимому фризской породы, был дородный и пегий, с огромными пучками шерсти на каждой ноге. Доблестный боец этот был хорошо обучен господином своим, герцогом, как ему следовало держать себя с дон Кихотом: именно ни в коем случае не убивать

его и уклониться от первой стычки, грозившей неминуемой гибелью, когда лошади пущены во весь опор. Тосилос проехался по арене и, достигнув того места, где сидели дуэньи, задержался немного, чтобы рассмотреть ту, которая требовала его себе в мужья. Маршал, стоя рядом с Тосилосом, позвал дон Кихота, уже находившегося на арене, и спросил дуэний, согласны ли они на то, чтобы он выступил защитником их прав. Они ответили утвердительно, прибавив, что всё, что он в данном случае сделает, они готовы признать правильным, законным и окончательным. Тем временем герцогская чета уже расположилась на галерее, выходящей на арену, вокруг которой собралась несметная толпа, жаждавшая поглядеть на жестокий, невиданный доселе бой. Условия поединка были таковы: если дон Кихот победит, то его противник должен будет жениться на дочери доньи Родригес; если же, напротив, побежденным окажется наш рыцарь, то ответчик освобождается от данного им слова и всяких иных обязательств.

Церемониймейстер поделил между ними солнце* и указал каждому его место. Забили барабаны, воздух огласился звуком труб, земля задрожала под ногами; и сердца глазевших зрителей наполнились у кого страхом, у кого надеждой на счастливый или несчастный исход боя. Дон Кихот, поручив себя от всей души господа богу и сеньоре Дульсинее Тобосской, дожидался только сигнала, чтобы начать бой; что же касается нашего лакея, то его мысли были другого рода, а о чем он думал, я вам сейчас скажу.

Надо полагать, что, когда он посмотрел на

свою обвинительницу она показалась ему прекраснейшей женщиной, какую он когда-либо видел на свете; и слепенький мальчик, именуемый в общежитии Амуром, не захотел упустить представившегося ему случая покорить эту лакейскую душу и внести ее в список своих жертв; и потому, подкравшись к нему, исподтишка, так что никто не видел, он всадил в левый бок бедного лакея саженную стрелу, насквозь пронзившую ему сердце; и ему нетрудно было это сделать, потому что ведь Амур невидим: все ходы-выходы ему открыты, и никто с него не требует отчета за его поступки. Итак, когда дали сигнал к началу боя, наш лакей пребывал в восхищении, размышляя о красоте той, которую он уже сделал владычицей своей свободы, и потому не обратил внимания на звук трубы, в противоположность дон Кихоту, который, едва услышав сигнал, рванулся вперед и со всей быстротой, на какую был способен его Росинант, устремился на своего противника; и, увидев это, его добрый оруженосец Санчо громко вскричал:

— Да поможет тебе бог, сливки и цвет страствующих рыцарей! Да пошлет он тебе победу, ибо ты борешься за правое дело!

И, хотя Тосилос видел, что дон Кихот несется прямо на него, он ни на шаг не сдвинулся со своего места, а только громко подозвал к себе маршала, и когда тот подошел к нему, чтобы узнать в чем дело, спросил:

— Сеньор, от исхода этого поединка зависит, женюсь я или нет на этой девушке?

— Именно так, — был ему ответ.

— В таком случае, — сказал лакей, — я боюсь

укоров своей совести, которая очень пострадала бы, если бы я продолжал этот поединок; и потому я объявляю себя побежденным и выражаю готовность немедленно жениться на этой сеньоре.

Слова Тосилоса изумили маршала; и, так как он был тоже посвящен в эту выдумку, он не нашелся, что ответить. Дон Кихот, видя, что противник не двигается ему навстречу, остановился на полпути. Герцог не понимал, почему бой не продолжается, а когда маршал передал ему слова Тосилоса, он был крайне поражен и разгневан случившимся. А пока все это происходило, Тосилос подъехал к тому месту, где сидела донья Родригес, и громко объявил:

— Я готов, сеньора, жениться на вашей дочери и не желаю добиваться боем и тяжбами того, чего можно достичь миром, не подвергая свою жизнь опасности.

Услышав это, доблестный дон Кихот сказал:

— Раз дело обстоит так, я исполнил свое обещание и освободился от него. Пусть они себе жепятся, и если господь бог устроил это дело, то и святой Петр его благословит.

Герцог спустился на площадь перед замком, подошел к Тосилосу и сказал ему:

— Правда ли это, рыцарь, что вы признали себя побежденным и, боясь угрызений совести, согласились жениться на этой девушке?

— Да, сеньор, — ответил Тосилос.

— И он хорошо делает, — сказал Санчо Панса: — дай кошке то, что полагается мышке, — и избавишься от забот.

Тосилос, который расстегивал свой шлем, попросил, чтобы ему поскорее помогли, потому

что у него уже захватывало дыхание и очень уж тяжело ему было оставаться так долго заточенным в эгом тесном помещении. С него быстро сняли шлем, и тогда ясно перед всеми обнаружилось его лакейское лицо. Увидя это, донья Родригес и ее дочь громко воскликнули:

— Нас обманули, нас обманули! Вместо моего настоящего жениха нам подсунули Тосилоса, лакея моего сеньора, герцога! Взываю к правосудию бога и короля, в защиту от такого коварства, чтобы не оказать подлости!

— Не горячитесь, сеньора, — сказал дон Кихот, — ибо здесь нет ни насмешки, ни подлости, а если что и есть, то повинен в этом не герцог, а злые волшебники, которые меня преследуют: это они, завидуя славе, которую я снискал себе этой победой, изменили лицо вашего жениха, сделав его похожим на человека, служащего, по вашим словам, лакеем у герцога. Послушайтесь моего совета и, не взирая на коварство моих врагов, выходите за него замуж; ибо без сомнения это тот самый человек, которого вы желаете иметь супругом.

Герцог, слышавший все это, едва не сменял весь свой гнев на громкий хохот.

— То, что случается с сеньором дон Кихотом, — сказал он, — так необычайно, что я готов поверить, что этот мой лакей — вовсе не лакей; однако прибегнем к следующей хитрости и уловке: отложим свадьбу, если нет возражений, на две недели, а этого молодца, взятого нами под сомнение, посадим под арест; быть может за это время к нему вернется его прѣжний облик; вряд ли затянется надолго злоба волшебников

на дон Кихота, тем более, что их обманы и превращения так мало приносят им пользы.

— Ах, сеньор! — воскликнул Сапчо. — У этих негодяев стало правилом и обычаем превращать все, что имеет отношение к моему господину. Одному рыцарю, которого он недавно победил под именем рыцаря Зеркал, они придали обличье бакалавра Самсона Карраско, уроженца нашего села и большого нашего приятеля, а сеньору Дульсиною Тобосскую превратили в грубую крестьянку; и потому мне думается, что этот лакей всю жизнь проживет и умрет в образе лакея.

На это дочка Родригес ответила:

— Кто бы ни был тот, кто хочет на мне жениться, я все же ему за это признательна; потому что лучше быть законной женою лакея, чем брошенной любовницей рыцаря, хотя тот, кто бросил меня, совсем не рыцарь.

Все эти разговоры и происшествия закончились тем, что Тосилоса лишили свободы для того, чтобы посмотреть, чем завершится его превращение; дон Кихота единодушно провозгласили победителем, хотя большинство зрителей было огорчено и опечалено тем, что противники в этом долгожданном поединке не раскромсали друг друга на куски, — совсем так, как мальчишки бывают недовольны, когда к ним не выводят присужденного к виселице потому, что он помилован истцом или правосудием. Толпа разошлась, герцог и дон Кихот возвратились в замок, Тосилоса посадили под арест, а донья Родригес с дочерью остались крайне удовлетворены тем, что, так или иначе, это дело закончится свадьбой, каковой и Тосилос желал не менее их.

ГЛАВА LVII

в которой повествуется о том, как дон Кихот расстался с герцогом, и о том, что у него произошло со служанкой герцогини, развязной разумницей Альтисидорой



он Кихот решил, что ему пора уже прекратить ту праздную жизнь, которую он вел в замке; большим проступком казалось ему, что он живет так, сидя лениво на месте, среди бесконечных пиров и развлечений, которые для него устраивала, как для странствующего рыцаря, герцогская чета; и ему думалось, что придется ему отдать небу строгий отчет за эту праздность и лень; и потому в один прекрасный день он попросил у герцога и герцогини разрешения удалиться. Они дали ему это разрешение, выразив при этом свое глубокое огорчение по поводу его отъезда. Герцогиня отдала Санчо письмо его жены, и он, поливая его слезами, сказал:

— Кто мог подумать, что великие надежды, вызванные в сердце моей жены Тересы Панса известием о моем губернаторстве, кончатся тем,

что я вернусь снова к погибельным приключениям моего господина, дон Кихота Ламанчского? А все-таки я рад, что моя Тереса поддержала свою честь, послав герцогине жолудей: не пошли она их в свое время, — теперь, при постигшей меня беде, оказалось бы, что она неблагодарна. Утешает меня и то, что этот подарок никак нельзя назвать взяткой: ведь когда она его посылала, я еще был губернатором, и вполне естественно, что получающий милость чем-нибудь за нее отплачивает, хотя бы безделицей. И впрямь, голым я вступил в губернаторство и голым уйду с него; и потому с чистой совестью, а это уже немало, — я могу сказать: голым я родился и голым остался; ничего не выиграл и не проиграл.

Так разговаривал сам с собой Санчо в день своего отъезда; а дон Кихот, простившись пачкануне вечером с герцогом и герцогиней, выехал рано утром, в полном вооружении, на площадь перед замком. Все население замка взирало на его с галереи, да и герцогская чета тоже вышла посмотреть. Санчо сидел на своем сером, с дорожной сумкой, чемоданом и съестными припасами, довольный-предовольный, так как герцогский майордом — тот самый, что изображал Трифальди, — дал ему кошелек с двумя сотнями золотых эскудо на дорожные расходы, и притом без ведома дон Кихота. И вот, пока все присутствующие, как мы уже сказали, смотрели на дон Кихота, из толпы дуэний и служаючек герцогини, взиравших на него, внезапно раздался голос развязной разумницы Альтисидоры, которая жалобно запела:

Слушай, рыцарь нечестивый,
Не натягивай уздечки,
Не коли бока крутые
Непослушливому зверю.

Знай, что ты бежишь, неверный,
Не от яростного змея,
А от агницы, которой
До овды еще далече.

Изверг, ты обидел деву
Краше всех, которых зрели
На горах своих Диана
И в лесах своих Венера.

Беглец Эней, безжалостный Бирено, *
Ступай с Вараввой, пропади навеки!

Ты в своих когтях увозишь
(О, какой увоз бесчестный!)
Сердце преданной рабыни,
Обожающей и нежной.

Ты увозишь три косынки
И подвязки с ног прелестных,
Гладких, как бывает только
Мрамор, черненькие с белым; *

И еще пять тысяч вздохов,
Что огнем своим, наверно,
Сжечь пять тысяч Трой могли бы,
Будь пять тысяч Трой на свете.

Беглец Эней, безжалостный Бирено,
Ступай с Вараввой, пропади навеки!

Санчо, твой оруженосец,
 Да пребудет жестокосердым,
 Чтобы вечно злые чары
 Тяготили Дульсинею.

Пусть вина твоя отныне
 Взыщется с несчастной жертвы;
 Ведь нередко в этом мире
 Платит праведник за грешных.

Пусть твои исканья славы
 Обратятся в злключенья,
 В праздный сон — твои утехи,
 И в забвенье — верность сердца.

Беглец Эней, безжалостный Бирено,
 Ступай с Вараввой, пропади навеки!

Пусть тебя зовут коварным
 От Севильи до Марчены.*
 От Гранады вплоть до Лохис*
 И от Лондона до Темзы.

Если сядешь дуться в «сотню»,
 В «раньше всех» или в «королевство»,*
 Пусть король тебя страшится,
 Пусть нигде туза не встретишь.

Если будешь стричь мозоли,
 Чтоб тебе их с мясом резать;
 Чтоб ломались кочерыжки,
 Если зубы рвать затеешь.

Беглец Эней, безжалостный Бирено,
 Ступай с Вараввой, пропади навеки!

В то время как печальная Альтисидора жаловалась подобным образом, дон Кихот все время смотрел на нее; затем, не ответив ей ни слова, он, обратясь к Санчо, спросил:

— Заклинаю тебя душами твоих предков, Санчо, скажи мне правду: не захватил ли ты случайно подвязок и трех косынок, о которых говорит эта влюбленная девушка?

На это Санчо ответил:

— Косынки я действительно захватил с собой, а подвязок ее я и во сне не видел.

Герцогиня была поражена развязностью Альтисидоры, ибо хотя она и знала ее озорство, веселый нрав и развязность, тем не менее не считала ее способной на такую наглость; и ее изумление еще больше возросло от того, что она не была предупреждена об этой выходке заранее. Герцог, желая поддержать шутку, сказал:

— По-моему, сеньор рыцарь, с вашей стороны не очень хорошо, что, воспользовавшись в моем замке гостеприимством, вам оказанным, вы решились похитить три косынки моей служанки, а может быть даже и ее подвязки: это свидетельствует о том, что у вас злое сердце, и плохо согласуется с вашей доброй славой. Верните ей эти подвязки; в противном случае я вас вызываю на смертный бой, не опасаясь того, что подлые волшебники изменят или исказят черты моего лица, как они это сделали с лаксем Тосилосом, вступившим с вами в поединок.

— Избави меня бог, — ответил дон Кихот, — обнажить меч против вашей светлейшей особы, от которой я получил столько милостей: я возвращу, конечно, косынки, раз Санчо говорит,

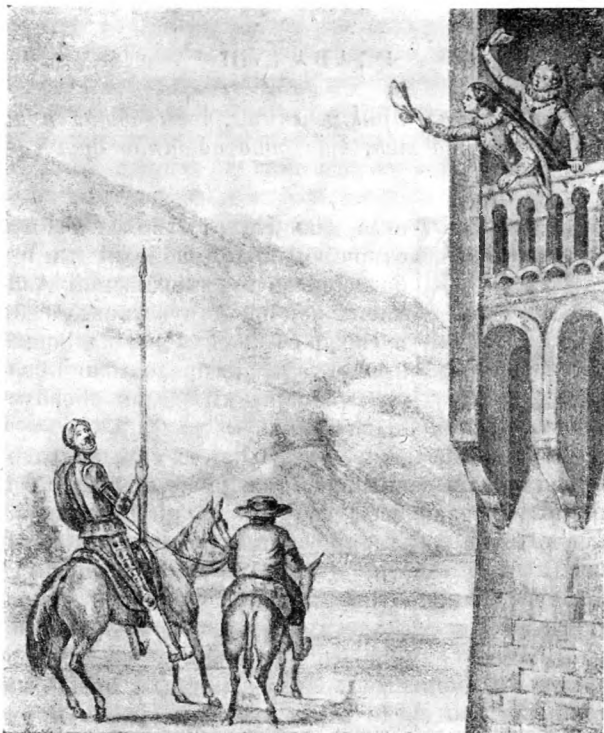
что они при нем; но вернуть подвязки мне никак невозможно, ибо ни он, ни я их не брали; и если ваша служанка хорошенько обследует свою особу, она наверное их найдет. Я, сеньор герцог, в жизни моей не был вором и не собираюсь им стать, покуда бог не оставит меня. Эта девушка говорит, — что явствует из ее собственных слов, — как влюбленная, и я за это ее не виню; и поэтому мне не в чем извиняться ни перед ней, ни перед вашей светлостью, которую я прошу быть обо мне лучшего мнения и снова дать мне разрешение продолжать свой путь.

— Да пошлет бог удачу на вашем пути, сеньор дон Кихот, — сказала герцогиня: — я всегда буду рада услышать добрые вести о ваших подвигах. Поезжайте себе с богом; ибо чем больше вы здесь задерживаетесь, тем сильнее разгорается пламя в сердцах девушек, которые на вас смотрят; а свою служанку я примерно накажу, чтобы она вперед не вольничала ни взглядами, ни словами.

— Выслушай одно лишь словечко, доблестный дон Кихот! — воскликнула тут Альтисидора. — Я прошу у тебя прощения за обвинение в краже подвязок, потому что, клянусь богом и моей душой, они у меня на ногах, и я ошиблась так же, как человек, что искал своего осла, сиди на нем верхом.

— Не говорил ли я вам? — сказал Санчо. — Подходящее для меня дело — скрывать краденые вещи! Уж если бы я хотел этим заняться, у меня было достаточно к тому случаев, когда я состоял в губернаторах.

Дон Кихот поклонился, прощаясь с герцогской четой и всеми присутствующими, и, повернув



Росинанта, выехал в сопровождении Санчо из ворот замка, направляя свой путь в сторону Сарагосы,

ГЛАВА LVIII

повествующая о приключениях, посылавшихся на дон Кихота так, что одно обгоняло другое



Когда дон Кихот увидел себя в открытом поле, свободным и избавленным от ухаживаний Альтисидоры, он почувствовал себя в своей сфере и испытал новый прилив сил для продолжения своего рыцарского дела; обернувшись к Санчо, он сказал:

— Свобода, Санчо, есть одно из самых драгоценных благ, какими небо одарило людей; с ней не могут сравняться все сокровища, заключенные в земле или таящиеся в море; ради свободы, как и ради чести, можно и должно рискнуть жизнью; и, напротив, пленение — худшее из зол, постигающих человека. Говорю я это, Санчо, потому, что ты видел пышный и роскошный прием, оказанный нам в замке, который мы покинули; но среди этих лакомых яств и прохладительных напитков мне казалось, что я терплю муки голода, потому что я не вкушал их с той свободой, с какой наслаждался бы ими, если бы это было мое; ибо обязательства, налагаемые благодеяниями и милостями, — крепкие

путы, мешающие душе быть свободной. Счастлив тот, кому небо дало кусок хлеба, за который он никому не обязан, кроме самого неба!

— А все-таки, — ответил Санчо, — несмотря на все, сказанное вашей милостью, нам следует быть благодарными за кошелек с двумястами золотых эскудо, который мне вручил герцогский майордом; я его храню у себя на сердце в виде успокоительного целебного пластыря на всякий непредвиденный случай; ведь не всюду мы будем встречать замки, где нас угощают; бывает, что мы попадаем в гостиницы, где нас колотят.

В таких-то и им подобных беседах продвигались вперед странствующий рыцарь со своим странствующим оруженосцем, пока, проехав немногим более миль, они не увидели с десяток людей, одетых по-крестьянски, которые обедали на зеленом лужке, разостлав на земле свои плащи. Возле них виднелись какие-то белые простыни, которые покрывали предметы, расставленные на небольшом расстоянии один от другого и туго обтянутые полотном. Дон Кихот подошел к обедающим и, учтиво поздравившись с ними, спросил, что это за предметы, закрытые холстом.

— Сеньор под этим холстом находятся лепные и резные статуи святых, предназначенные для иконостаса, который мы сооружаем в нашей деревенской церкви. Мы прикрыли их полотном, чтобы они не испортились, и несем на плечах для того, чтобы они не поломались.

— С вашего позволения, — сказал дон Кихот, — я бы охотно посмотрел на них; должно быть, они очень хороши, если вы доставляете их на место с такими предосторожностями,

— Ну, еще бы! — ответил крестьянин. — Достаточно назвать вам их цену: по правде сказать, здесь нет ни одной, которая бы стоила меньше пятидесяти дукатов; да вот, если вашей милости угодно проверить истину моих слов, подождите минутку, вы сейчас убедитесь собственными глазами. И, бросив обедать, он встал со своего места и направился к ближайшей статуе, чтобы снять с нее чехол. Это был святой Георгий, верхом на коне, с воинственным видом, как его обычно изображают, вопзаяющий копье в пасть дракона, извивающегося у его ног. Не статуя, а можно сказать, чистое золото. Увидев ее, дон Кихот сказал:

— Этот рыцарь был одним из лучших странствующих рыцарей небесного воинства, — его звали святой Георгий; и кроме того он был защитником дев. Теперь посмотрим другую.

Крестьянин открыл следующую статую: это был святой Мартин, верхом на коне, деливший свой плащ с бедняком. Дон Кихот, как только увидел его, сказал:

— Этот рыцарь был тоже странствующим подвижником, и на мой взгляд он более отличался щедростью, чем доблестью; ты можешь сам в этом убедиться, Санчо: видишь, он разрывает свой плащ, чтобы отдать половину его бедняку; и наверное в ту пору была зима, ибо иначе, по своему милосердию, он отдал бы весь плащ целиком.

— Наверяд ли это так, — сказал Санчо, — вернее, что он поступил по пословице: «дари, да меру знай».

Дон Кихот рассмеялся и попросил открыть

следующую статую; под полстном обнаружился изображение святого патрона Испании, который, верхом на коне, с окровавленным мечом, попирает мавров, топча их головы. Увидев его, дон Кихот сказал:

— Вот, поистине, рыцарь, и притом из воинства Христова; его звали Сан Диэго Матаморос; * это один из самых доблестных святых рыцарей, живших на свете, а ныне пребывающих на небе.

Затем сняли еще одну покрывку, и под ней оказался святой Павел, упавший с лошади, со всеми теми подробностями, какие можно видеть на оградах алтарей, где бывает изображено его обращение. Когда дон Кихот увидел его таким живым, — словно Христос сейчас говорил с Павлом, а тот ему отвечал, — он воскликнул:

— Это был лютей враг Христовой церкви в те времена и лучший ее защитник из всех, какие когда-либо у нее будут: бродячий рыцарь при жизни своей и упокоенный святой после смерти, неутомимый работник в винограднике господнем, просветитель народов, коему школой служили небеса, а учителем и наставником — сам Иисус Христос.

Больше статуй не было; поэтому дон Кихот попросил снова закрыть их и сказал людям, их несшим:

— Я считаю за доброе предзнаменование, братья мои, что я видел все это, потому что эти святые рыцари занимались тем же, что и я, то есть военным делом; разница между ними и мной состоит единственно в том, что они были святыми и сражались за небо, между тем как я — грешник, который сражается за землю. Они завоевали себе

небо мощью своей руки, ибо дарствие небесное берется силою, * я же до сих пор еще не знаю, что я завоевываю своими трудами и усилиями; но если только Дульсинея Тобосская избавится от своих страданий, моя судьба сразу улучшится, разум мой окрепнет, и я, быть может, направлюсь по лучшему пути, чем это было до сих пор.

— Бог да услышит и дьявол да отступит, — сказал на это Санчо.

Крестьяне дивились как внешности дон Кихота, так и речам его, не понимая и половины того, что он говорил. Окончив свою трапезу, они взошли на плечи статуи, попрощались с дон Кихотом и двинулись дальше в путь.

Санчо снова поразился учености своего господина, словно раньше его не знал: не было, казалось ему, в мире такой истории или таких происшествий, которых дон Кихот не мог бы пересчитать по пальцам и не держал бы в своей памяти; и он сказал ему:

— По правде сказать, сеньор хозяин, если то, что случилось с нами сегодня, можно назвать приключением, то это одно из самых сладких и приятных приключений, встретившихся нам за все время наших странствований: дело обошлось без всякой встряски и побоев, и нам не пришлось ни обнажать мечи, ни молотить землю своими телами, ни голодать. Благодарение богу, который дал мне увидеть такое приключение собственными глазами.

— Ты прав, Санчо, — ответил дон Кихот — но заметь себе, что судьба переменчива и раз на раз не приходится; например, то, что зовется в народе приметамы и не может быть обосновано

здравыми доводами, человек разумный обязан признать и считать благоприятными явсениями. Встанет ишой сувер рано утром, выйдет на улицу, встретит монаха ордена блаженного святого Франциска, — и сейчас же отвернется, словно увидев грифона, * и спешит обратно домой. Другой такой Мендоса просыплет соль на столе, — и сразу же у него по сердцу рассыпается тоска. Слово природа обязана предупреждать человека о грядущих несчастьях столь ничтожными, как перечисленные мною, знаками! Разумный христианин не должен пытаться такими пустяками вывести волю небес. Сдиппон, прибыв в Африку, споткнулся и упал, сходя на берег; его солдаты сочли это дурным предзнаменованием, но он, обняв руками землю, воскликнул: «Ты не уйдешь от меня, Африка, ибо я держу тебя в своих объятьях!» Итак, Санчо, встреча с этими статуями была для меня наименее счастливым событием.

— Я тоже так думаю, — сказал Санчо: — теперь я попросил бы вашу милость объяснить мне, почему испанцы, идя в бой, призывают на помощь этого самого Сан-Диего Матамороса такими словами: «Сант-Яго, запри Испанию!»* Как будто бы Испания была отперта и ее требовалось запереть! Что это за штука такая?

— Как ты прост, Санчо! — ответил дон Кихот. — Пойми, что этому великому рыцарю багряного креста небо назначило быть оплотом и покровителем Испании особенно в той тяжелой борьбе, которую испанцы вели с маврами; потому что испанцы и призывают его всякий раз, вступая в сражение, и нередко люди видели во время

боя, как он теснил, громил, сокрушал и избивал полки агарян; * и я мог бы, в подтверждение этого, привести тебе множество примеров из правдивых испанских хроник.

Санчо, переменяв разговор, сказал своему хозяину:

— Дивлюсь я, сеньор, бесстыдству Альтисидоры, служанки герцогини; видно, здорово ее ранил и пронзил этот так называемый Амур; потому что, хоть и говорят, что он слепенький, этот постреленок, однако же, несмотря на свою подслеповатость или, лучше сказать, полную слепоту, он, наделившись в сердце, хотя бы в самое маленькое, бьет без промаха и пронзает своими стрелами насквозь. Слышал я также, будто его любовные стрелы притупляются и ломаются о девичью стыдливость и скромность; однако с этой Альтисидорой они скорее заострились, чем притупились.

— Заметь, Санчо, — ответил дон Кихот, — что любовь ни с кем не считается и не знает ни меры, ни закона, — совсем так же, как смерть; ибо она вторгается как в роскошные королевские дворцы, так и в смиренные пастушеские хижины, и когда овладевает всецело душой, то прежде всего изгоняет из нее страх и стыдливость; вот почему Альтисидора, утратив стыд, открыла свои чувства, вызвавшие во мне скорее смущение, чем жалость.

— Какая ужасная жестокость! Какая неслыханная холодность! — воскликнул Санчо. — Про себя я скажу, что меня победило бы и покорило ее малейшее любовное словечко! чорт побери, что за каменное у вас сердце, что за бронзовая

грудь, что за известковая душа! Но все же я не могу понять, что такое увидела в вас эта девушка, и что могло бы ее победить и покорить: где то изящество, щегольство, остроумие, красота лица, которые могли бы, вместе или порознь взятые, ее обольстить? Ибо, истинная правда, что, сколько раз я вас ни оглядывал от пяток до кончиков волос на голове, я всегда находил больше такого, что может скорее испугать, чем обольстить; и так как я слышал тоже, что красота — первейшая и главнейшая вещь, в которую люди влюбляются, то я никак не могу взять в толк, во что влюбилась эта бедняжка?

— Заметь себе, Санчо, — возразил дон Кихот, — что существует два рода красоты: одна красота духовная, другая — телесная; духовная красота сказывается и проявляется в разуме, в добродетели, в хорошем поведении, в щедрости и благовоспитанности, — а все эти свойства могут присутствовать и совмещаться в человеке некрасивом; и когда взор устремляется на эту красоту, а не на телесную, то зарождается любовь пылкая и упорная. Я и сам вижу, Санчо, что я некрасив; но я знаю и то, что я не урод; а достаточно быть человеку не чудовищем, чтобы его могли сильно полюбить, если только он обладает названными мною душевными качествами.

В таких беседах и разговорах ехали они по лесу, лежавшему в стороне от дороги; и вдруг случилось, что неожиданным для себя образом дон Кихот оказался пойманным в какие-то сети из зеленых питок, протянутых между деревьями; не понимая, что это такое может быть, наш рыцарь сказал Санчо:

— Мне думается, Санчо, что история с этими сетями — одно из самых необычайных приключений, которые только можно себе представить. Пусть меня убьют, если это не придумали преследующие меня волшебники, чтобы запутать меня в этих сетях и задержать меня на пути, в виде мести за суровость, которую я проявил к Альтисидоре. Но я им заявляю, что если бы даже эти сети, вместо зеленых ниток, были сделаны из твердейшего алмаза и были крепче тех, которыми ревнивый бог кузнецов* онутал Венеру и Марса, я все же их разорву так, как если бы они были из морского тростника или из волокон ваты.

Но в то время, как он уже устремился вперед, намереваясь сокрушить препятствие, внезапно перед ним предстали, выйдя из-под сени деревьев, две прелестнейшие пастушки; во всяком случае, они были одеты как пастушки, если не считать того, что их шубки и юбочки были из настоящей парчи, хотя нет — юбочки были из роскошной золототканной тафты. Их волосы, рассыпавшиеся по плечам, своим золотистым блеском могли поспорить с лучами самого солнца, а головы были украшены венками, сплетенными из зеленого лавра и красного аманта. На вид им можно было дать от пятнадцати до восемнадцати лет.

Их появление поразило Санчо, изумило дон Кихота, заставило солнце задержать свой бег, чтобы хорошенько рассмотреть их, — и все четверо погрузились в глубокое молчание. Наконец, первой заговорила одна из пастушек, обратившаяся к дон Кихоту:

— Остановитесь, сеньор рыцарь, и не рвите

этих сетей, которые мы протянули здесь не в обиду вам, а для нашей собственной забавы; и, так как вы наверное захотите узнать, для какой цели служат эти сети и кто мы сами такие, я вам расскажу это в кратких словах. В одном селении, расположенном в двух милях отсюда, где проживает много людей хорошего происхождения, идалго и богачей, составила компания из нескольких дружеских семей, решившая поселиться здесь вместе с женами, сыновьями и дочерьми, чтобы насладиться прелестью этой местности, одной из самых приятных, какие есть в наших краях; мы образовали здесь новую пастушескую Аркадию, и девушки нарядились пастушками, а юноши — пастухами. Мы выучили наизусть две эклоги, которых до сих пор еще не разыгрывали, одну — славного поэта Гарсиласо, а другую — бесподобного Каморенса на подлинном португальском языке. Только вчера мы сюда прибыли; среди зелени, на берегу полноводного ручья, орошающего эти луга, мы разбили несколько палаток, которые называются походными; а вчера вечером мы натянули эти сети, чтобы ловить маленьких глупых пташек, которые, испуганные нашим шумом, попадаются в них. Если вам угодно, сеньор, быть нашим гостем, то мы вам окажем радушный и вежливый прием, потому что сейчас в этих местах не должно быть ни скуки, ни печали.

Она умолкла, не прибавив более ни слова; а дон Кихот ей ответил:

— Поистине, прекраснейшая сеньора, не сильнее был изумлен и озадачен Актеон, внезапно увидевший купающуюся в водах Диану, нежели

я сейчас поражен видом вашей красоты. Я весьма одобряю придуманную вами забаву и благодарю вас за ваше приглашение; и если я могу вам чем-либо услужить, то вам стоит только приказать, — и будьте уверены, что я все исполню; ибо моя должность состоит в том, чтобы проявлять признательность и оказывать благодеяния всем людям, а в особенности таким благородным как вы; и если бы эти сети, занимающие столь малое пространство, покрывали весь земной шар, то я бы отправился на поиски новых миров, где мог бы двигаться, не разрывая этих сетей; а чтобы вы прониклись доверием к моим несколько цветистым словам, знайте, что их говорит вам не кто иной, как дон Кихот Ламанчский, — если только это имя достигло вашего слуха.

— Ах, дорогая подруга! — воскликнула тут вторая пастушка. — Какое великое счастье выпало на нашу долю! Видишь ты этого сеньора, который стоит перед нами? Так знай же, что это — самый доблестный, самый влюбленный, самый совершенный из всех рыцарей, какие есть на свете, если только не лжет и не обманывает нас напечатанная история его подвигов, которую я читала. Я готова поручиться, что спутник его — известный Санчо Панса, его оруженосед, с шутками которого ничто не может сравниться.

— Совершенно верно, — откликнулся Санчо, — я и есть тот самый шутник и оруженосед, как выразилась ваша милость, а этот сеньор — именно дон Кихот Ламанчский, о котором рассказывается и повествуется в его истории.

— Ах! — вскричала первая пастушка. — Милая

моя, уговорим его здесь остаться: его общество доставит нашим родителям и братьям бесконечное удовольствие; потому что и я слышала о его доблести и достоинствах то же самое, что ты говоришь, а кроме того рассказывают, что он самый стойкий и верный влюбленный на свете и что его дама — известная Дульсинея Тобосская, красоте которой вся Испания отдает пальму первенства.

— И вполне справедливо, — сказал дон Кихот, — если только усомниться в этом не заставит ваша несравненная красота. Но не утруждайте себя, сеньора, стараясь убедить меня остаться здесь, ибо высокие обязанности моего служения не позволяют мне нигде отдыхать.

Тут к ним подошел брат одной из пастушек, тоже одетый как пастух и так же пышно и роскошно, как обе девушки. Последние объяснили ему, что человек, беседующий с ними, — доблестный дон Кихот Ламанчский, а его спутник — его оруженосец, Санчо; и оказалось, что юноша тоже их знал, потому что читал их историю. Изящный пастушок предложил дону Кихоту свои услуги и стал его упрашивать зайти к ним в палатку; дон Кихоту пришлось уступить и согласиться. В это время началось спугиванье птиц, и силки наполнились самыми разнообразными пташками, которые, обманутые цветом сетей, летели прямо на опасность, от которой спасались. Более тридцати человек собралось в этом месте, все — богато одетые пастухами или пастушками; им тотчас же сообщили, кто такие дон Кихот и его оруженосец, и это доставило им огромное удовольствие, потому что они были

уже знакомы с нашим рыцарем по его истории. Все направились к палаткам, где были накрыты столы с превосходными, обильными, опрятно поданными блюдами; желая почтить дон Кихота, ему предложили лучшее место. Все смотрели на него и дивились его виду. Наконец, когда убрали скатерть, дон Кихот возвысил голос и сказал:

— Хотя многие считают, что среди величайших грехов, совершаемых людьми, первое место занимает гордость, я полагаю, что это место принадлежит неблагодарности, будучи вполне согласен с пословицей: «ад битком набит неблагодарными». Этого греха я всегда, насколько был в силах, старался избежать, с тех пор как вступил в обладание своим разумом; и, когда я не в силах отплатить на деле за благодеяние, мне оказанное, я довольствуюсь моим добрым желанием это сделать, а если этого мало, то я рассказываю о полученном мною благе; так как ясно, что тот, кто всем сообщает и рассказывает о дарованном ему благе, рад был бы отплатить за него, если бы имел к тому возможность; ибо обычно люди, получающие блага, стоят ниже раздающих. Ведь превыше всех и вся — господь бог, высший даятель всего, с дарами которого не могут даже издали сравниться все людские дары. И это бессилие наше и скудость средств для отплаты отчасти возмещается благодарностью. Так и я теперь, полный благодарности за милость, вами мне оказанную, и лишенный средств воздать за нее полной мерой, вынужден ограничиться моими скудными возможностями и предложить лишь то, что в моей

власти и распоряжении; и потому я объявляю, что, став посреди большой дороги, ведущей отсюда в Сарагосу, я в течение полных двух дней буду утверждать и отстаивать, что эти сеньоры, переодетые пастушками и здесь присутствующие, — самые прекрасные и учтивые девушки в мире, за исключением одной лишь несравненной Дульсины Тобосской, единственной владычицы моих помыслов, — не в обиду будь сказано всем дамам и кавалерам, меня здесь слушающим.

При этих словах дон Кихота Санчо, внимательно слушавший всю его речь, громко воскликнул:

— Ну, найдется ли на свете человек, который бы решился заявить и поклясться, что мой господин — сумасшедший? Скажите, милости ваши, сеньоры пастухи, какой деревенский священник, как бы умен и образован он ни был, сумеет сказать такую речь, как мой господин? И какой странствующий рыцарь, как бы славен и доблестен он ни был, предложит вам то, что предложил мой господин?

Дон Кихот обернулся к Санчо и с пылающим от гнева лицом сказал ему:

— Найдется ли, Санчо, на всем земном шаре человек, который станет отрицать, что ты — дурак, начиненный глупостью да еще с приправой ехидства и нахальства? И чего ты суешься в мои дела, рассуждая о том, в здравом я уме или сумасшедший? Молчи и не возражай мне, а поди и оседлай Росинанта, если он расседлан: мы поедем исполнять мое обещание; и, так как правда — на моей стороне, ты можешь считать заранее побежденными всех, кто пожелает мне противоречить.

И с великим гневом и явной досадой он поднялся со своего места, приведя этим в изумление всех присутствовавших, не знавших, следует ли считать его за сумасшедшего или за вполне разумного человека. Они стали убеждать дон Кихота не делать никаких вызовов, уверяя его в том, что свойственное ему чувство благодарности всем хорошо известно и что нет надобности в новых доказательствах его доблести, ибо те, которые сообщаются в истории о его подвигах, сами по себе вполне достаточны; но, несмотря на это, дон Кихот остался тверд в своем решении: он сел верхом на Росинанта, прикрылся щитом, вооружился копьем и выехал на середину проезжей дороги, находившейся неподалеку от лужка. За ним последовал Санчо, вместе со всем этим пастушеским людом, жаждавшим посмотреть, чем кончится эта дерзостная и не видавшая доселе затея.

Выехав, как мы сказали, на середину дороги, дон Кихот потряс воздух такими словами:

— О вы, странники и путешественники, рыцари и оруженосцы, пешеходы и конные, те, что следуете этой дорогой или проследуете по ней в течение двух ближайших дней! Знайте, что я, странствующий рыцарь дон Кихот Ламанчский, стою здесь и утверждаю, что никто в мире не сравнится красотой и любезностью с нимфами, обитательницами этих лужаек и род, исключая Дульсинеи Тобосской, владычицы моей души. А кто думает иначе, пусть выходит: я его здесь жду.

Дважды повторил он эти слова, и оба раза ни один искатель приключений на них не откликнулся; но тут судьба, направлявшая дела дон Кихота

от добра к добру, устроила так, что вскоре после этого на дороге показалась целая толпа всадников; у многих из них были в руках копыя, и все они ехали гурьбой, куда-то спеша. Как только сопровождавшие дон Кихота увидели их, они повернули спину и удалились подалее от дороги, решив, что в противном случае они могут подвергнуться опасности; один только дон Кихот с бестрепетным сердцем остался на месте, между тем как Санчо укрылся за спиной Росинанта. Толпа людей с копыями приблизилась, и один из них, ехавший впереди, громко крикнул дон Кихоту:

— Посторонись, чорт, не то тебя растопчут быки!

— Ах ты негодяй! — ответил дон Кихот. — Мне не страшны никакие быки, даже самые буйные извращенных на берегах Харамы!* Признайте, разбойники, все, сколько вас есть, истинность провозглашенных мною здесь слов; а в противном случае вам придется со мною драться.

Погонщик не успел на это ответить, а дон Кихот посторониться, даже если бы хотел, потому что стадо буйных быков, которых, вместе с мирными, обученными волами* погонщики и много других людей гнали в стойла одного местечка, где завтра должен был состояться бой быков, — налетело на дон Кихота, на Санчо, на Росинанта и на серого, смяло их всех и опрокинуло на землю, отшвырнув на некоторое расстояние. Санчо был сильно избит, дон Кихот ошеломлен, серый помят, и Росинант тоже чувствовал себя неладно; все же им удалось подняться на ноги, и дон Кихот, спотыкаясь и падая, быстро побежал за стадом, громко крича:

— Подождите, постоитте, подлые разбойники! Вас ждет только один рыцарь, который не из тех, что думают и говорят: «бегущему врагу поставь серебряный мост!»

Но это не остановило торопливых беглецов, которые на угрозы дон Кихота обратили столько же внимания, сколько на прошлогодние тучи. Наконец, разбитый усталостью, дон Кихот остановился и, не сорвав своей злобы, раздосадованный, присел на краю дороги, поджидая Санчо, Росинанта и серого. Когда они подошли, господин и слуга сели верхом и, не вернувшись проститься с мнимой и поддельной Аркадней, продолжали свой путь, скорее пристыженные, чем веселые.

ГЛАВА LIX

где рассказывается о необычайном происшествии, постигшем дон Кихота и могущем сойти за приключение



т ныли и усталости, припесенных встречею с невежливыми быками, дон Кихот и Санчо освободил чистый и прозрачный ручей, протекавший в прохладной тени деревьев; присев на его берегу, господин и слуга, оба сильно помятые, отпустили Росинанта и серого, без узды и недоуздки, пасться на свободе. Санчо поспешил к своей обычной кладовой — дорожной сумке, и извлек из нее то, что он называл жарким; он выполоскал себе рот, дон Кихот вымыл лицо, и, освежившись таким образом, они снова обрели свои угасшие силы. Дон Кихот от огорчения не начинал есть, а Санчо из скромности не решался дотронуться до пищи, лежавшей перед ним, и все ждал, когда его господин первый приступит к делу; но видя что погруженный в задумчивость, тот не подносит ко рту хлеба, Санчо, не говоря ни слова и презрев все правила, принялся уплетать хлеб и сыр, бывшие у него под рукой.

— Ешь, дружок Санчо, — сказал дон Кихот; — поддерживай свою жизнь, которая тебе дороже, чем мне — моя, и предоставь мне умереть под тяжестью моих мыслей и под ударами моих несчастий. Я, Санчо, рожден для того, чтобы жить умирая, а ты — чтобы умереть, питая себя; и если хочешь убедиться в правдивости моих слов посмотри, каким я изображен в напечатанной обо мне истории: я славен в боях, учтив в поступках, уважаем князьями, любим девушками; и вот после всего этого, когда я ждал пальм, триумфов и венков, заслуженных и заработанных моими доблестными подвигами, я оказался сегодня утром погранным, избитым, истоптаным ногами мерзких, грязных животных. От этой мысли у меня тупеют резцы, слабеют коренные зубы, отнимаются руки, и пропадает всякая охота есть; да, я хочу уморить себя голодом и погибнуть этой самой жестокой из всех смертей.

— Видно, — сказал Санчо, не переставая торопливо жевать, — ваша милость не одобряет пословиды: «с сытым брюхом умирать легче». Ну, а что до меня, так я не собираюсь сам себя убивать; лучше уж я поступлю как башмачник, который натягивает зубами кожу до тех пор, пока она не дойдет до нужного ему места; так и я, питаюсь, буду тянуть свою жизнь до положенного ей небом предела; и знайте, сеньор, что нет худшего безумия, чем нарочно доводить себя до отчаяния, как это делает ваша милость; послушайте меня: сначала поешьте, а потом поспите немного на этом зеленом тюфяке из трав, — и, проснувшись, вы увидите, что вам немножко полегчает,

Дон Кихот решил так и сделать, найдя, что Санчо рассуждает словно мудрец и совсем не полурачки; он сказал:

— Ах, Санчо, если бы ты согласился сделать для меня то, что я тебе сейчас скажу, мне бы наверно стало легче и печаль моя уменьшилась бы. Вот о чем я прошу тебя: пока я, послушавшись твоего совета, буду спать, отойди пемного в сторону отсюда и поводями Росинанта нанеси себе по оголенным местам триста или четыреста ударов в счет тех трех с лишним тысяч, которые ты должен принять для расколдования Дульсинеи; ибо, поистине, прискорбно, что эта бедная сеньора до сих пор остается зачарованной по твоей лениности и перадивности.

— На этот счет можно многое сказать, — ответил Санчо. — Давайте, поспим сначала оба, а там видно будет. Знайте, вапа милость, что хладнокровно хлестать себя — очень тяжело, особенно когда удары падают на голодное, не упитанное тело. Пусть сеньора Дульсинея малость потерпит, и, когда она меньше всего будет этого ожидать, она увидит, как я себя всего исполосую ударами: покуда человек жив, он еще не умер, — и этим хочу сказать, что я еще жив, а раз жив, то вполне готов исполнить обещанное.

Дон Кихот поблагодарил его и слегка закусил, а Санчо закусил основательно; и после этого они оба улеглись спать, предоставив двум неразлучным спутникам и друзьям, Росинанту и серому, свободно и непринужденно пастись на лужке, покрытом густою травой. Проснувшись довольно поздно, рыцарь и оруженосец сели верхом и продолжали свой путь, торопясь добраться до

гостиницы, которая виднелась на расстоянии мили отсюда. Я говорю — гостиницы, потому что так назвал ее дон Кихот, изменивший своему обыкновению именовать все гостиницы — замками.

Итак, они подъехали к гостинице и спросили, могут ли получить ночлег. Им ответили, что помещение есть и с такими удобствами и уходом, что лучших не найти и в Сарагосе. Они спешили, и Санчо отнес свои припасы в кладовую, от которой хозяин дал ему ключ; затем он отвел животных в конюшню, засыпал им корму и, благословляя небо за то, что его господин не принял на сей раз гостиницу за замок, отправился за дальнейшими приказаниями к дон Кихоту, сидевшему на скамье у ворот. Подошло время ужина, и они удалились к себе в комнату. Санчо спросил хозяина; что тот может им предложить на ужин. На это хозяин ответил, что они могут получить все, чего пожелают, так как его гостиница отлично снабжена и летающей дичью, и домашней птицей, и морской рыбой.

— Так много нам не потребуется, — сказал Санчо, — нас вполне удовлетворит парочка жареных дыплат, потому что мой господин кушает мало, да и я не особенный обжора.

Хозяин ответил, что дыплат у него нет, потому что их всех заклевали коршуны.

— Так вот, сеньор хозяин, — сказал Санчо, — велите зажарить нам курочку, только понежнее.

— Куриду? Бог мой! — вскричал хозяин. — Честное слово, я вчера отослал в город для продажи более пятидесяти кур; требуйте у меня ваша милость, все, что хотите, но только не кур.

— В таком случае, — сказал Санчо, — у вас наверное найдется телятина или козлятина.

— Сейчас в доме этого нет, — ответил хозяин, — только что кончилась; но на следующей неделе будет сколько угодно.

— Ну, и везет же нам! — воскликнул Санчо. — Но я готов побиться об заклад, что, в возмещение всех этих изъянов, у вас найдутся в изобилии яйца и сало.

— Право, моего гостя ничем не удовлетворишь! — сказал хозяин. — Я только что ему доложил, что у меня нет ни дыплят, ни кур, — так откуда же взяться яйцам? Называйте, если угодно, другие лакомства, и не требуйте от меня невозможного.

— Давайте кончать, чорт возьми! — вскричал Санчо. — Скажите, наконец, сеньор хозяин, что у вас есть, и прекратим эти разговоры.

Хозяин сказал:

— По правде и совести говоря, у меня есть пара коровьих копыт, смахивающих на телячьи ножки, или, вернее, пара телячьих ножек, смахивающих на коровьи копыта; они уже сварены с горохом, приправлены луком и салом, и, кажется, так и кричат: «съешьте нас! съешьте нас!»

— Я их беру, — сказал Санчо, — и пусть никто до них не дотрагивается; я за них заплачу лучше всякого другого, потому что это самое любимое мое блюдо; а будут ли это копыта или ножки, — это мне безразлично.

— Никто до них не дотронется, — сказал хозяин, — потому что все другие мои гости — важные особы, которые возят с собой поваров, стольников и собственные припасы.

— Как бы они ни были важны, — ответил Санчо, — ни один из них не важнее моего господина; но должность, им выполняемая, не позволяет ему возить с собой погребцов и припасов; мы располагаемся с ним прямо на лужайке и закусьваем жолудями или айвой.

Такова была беседа между хозяином гостиницы и Санчо, который не пожелал ее продолжать и ничего не ответил на вопрос о том, в чем состоят должность и обязанности дон Кихота. Наступил час ужина, дон Кихот пошел к себе в комнату, хозяин подал упомянутое нами блюдо, и наш рыцарь расположился с удобством, чтобы поужинать. Но в эту минуту из соседнего помещения, отделенного лишь тонкой перегородкой, до слуха дон Кихота донесли такие слова:

— Умоляю вас, ваша милость, сеньор дон Херонимо, покуда нам еще не подали ужин, прочтите еще одну главу из второй части *Дон Кихота Ламанчского*.

Едва услышав свое имя, дон Кихот вскочил на ноги и стал жадно прислушиваться к тому, что о нем говорилось; а услышал он следующий ответ вышеназванного дон Херонимо:

— И к чему, ваша милость, сеньор дон Хуан, читать нам такую чепуху? Ведь у всякого, кто прочел первую часть *дон Кихота Ламанчского*, должна пропасть охота читать эту вторую!

— А все-таки, — сказал дон Хуан, — следует прочесть ее, потому что нет такой плохой книги, в которой не было бы чего-нибудь хорошего. Что мне больше всего здесь не нравится — это то, что дон Кихот изображен уже не влюбленным больше в Дульсинею Тобосскую.

Услышав это, дон Кихот преисполнился гнева и негодования и, возвысив голос, сказал:

— Всякого, кто скажет, что дон Кихот Ламанчский забыл Дульсинею Тобосскую или способен ее забыть, я вызываю на бой равным оружием с целью доказать ему, сколь сильно он заблуждается, ибо несравненная Дульсинея Тобосская не может быть забыта, равно как и дон Кихот не может проявить забвение: ибо его девиз — постоянство, а призвание — в том, чтобы соблюдать свое постоянство с кротостью и не совершая над собой насилия.

— Кто это отвечает нам? — спросили из другой комнаты.

— Ни кто иной, — ответил Санчо, — как сам дон Кихот Ламанчский, который сумеет доказать истинность сказанных им слов или тех, что он еще скажет, ибо хорошему плательщику никакой залог не страшен!

Едва Санчо произнес это, как в дверь их комнаты вошли два человека, с виду кабальеро, и один из них, заключив дон Кихота в объятия, воскликнул:

— Ваша внешность вполне согласуется с вашим именем, и ваше имя всецело подтверждает вашу внешность; нет сомнения, сеньор, что вы подлинный дон Кихот Ламанчский, компас и светоч странствующего рыцарства, вопреки и наперекор тому, кто пожелал похитить ваше имя и унижить ваши подвиги, как это сделал автор этой книги, которую я вам вручаю.

И он протянул дон Кихоту книгу, которую держал его приятель. Дон Кихот, не отвечая ни слова, взял ее, некоторое время перелистывал, а затем вернул, сказав при этом:

— В том, что я успел просмотреть, я нашел три вещи, за которые автор заслуживает порицания. Первое — это несколько выражений, которые я встретил в прологе; второе — то, что книга написана на арагонском наречии, потому что здесь часто отсутствуют некоторые частицы* а третье, — и это больше всего доказывает невежество автора, — то, что он путается и уклоняется от истины в одной очень важной подробности этой истории, а именно он говорит, что жена моего оруженосца, Санчо Пансы, зовется Мари Гутьеррес* между тем как ее настоящее имя — Тереса Панса; а от того, кто путает такие важные вещи, легко можно ожидать, что он напутает и во всем остальном.

Тут Санчо воскликнул:

— Славный, нечего сказать, историк! Видно, он хорошо осведомлен в наших делах, если мою жену Тересу Панса он зовет Мари Гутьеррес! Возьмите-ка, сеньор, снова эту книгу и посмотрите, упоминаюсь ли там я, и если — да, то не переменили ли и мое имя.

— Судя по вашим словам, дружок, — сказал дон Херонимо, — вы паверное Санчо Панса, оруженосец сеньора дон Кихота?

— Да, это я, — ответил Санчо, — и горжусь этим.

— Честное слово, — сказал кабальеро, — этот новый автор отнюдь не изображает вас таким приличным человеком, каким мы вас видим: он рисует вас обжорой, глупцом и вовсе не забавным, словом, совсем другим, чем тот Санчо, который описан в первой части истории вашего господина.

— Пусть бог ему простит, — сказал Санчо, — лучше бы он оставил меня в моем углу и не вспоминал обо мне: не всякий может управиться с кастаньетами, и хорошо святому Петру в Риме.

Оба кабальеро предложили дон Кихоту пройти к ним в комнату и разделить их ужин, так как



им было хорошо известно, что в этой гостинице не было кушаний, достойных его особы. Дон Кихот со своей обычной учтивостью принял их предложение и сел ужинать вместе с ними; тем самым Санчо получил коровьи копыта, или телячьи ножки, в полное свое распоряжение; он

поместился во главе стола, а рядом пристроился хозяин гостиницы, не меньше его любивший это лакомство.

Во время беседы, происходившей за ужином, дон Хуан спросил у дон Кихота, какие известия имел он о Дульсинеяе Тобосской: не вышла ли она замуж, не родила ли, не беременна ли; а если она соблюла непорочность, то помнит ли (безгрешно и целомудренно) о любовных чувствах к ней сеньора дон Кихота. На это дон Кихот ответил:

— Дульсинея осталась непорочной, и мои чувства к ней незыблемее, чем когда бы то ни было; наши отношения отличаются неизменной сдержанностью; а красота ее погибла, ибо она превращена в грубую крестьянку.

И тут же он рассказал со всеми подробностями о чарах, коим подверглась сеньора Дульсинея, и обо всем том, что случилось с ним в пещере Монтесипоса, упомянув также о средстве, указанном мудрым Мерлином для расколдования Дульсинеи, иначе говоря о самобичевании Санчо.

Обоим слушателям доставил величайшее удовольствие рассказ дон Кихота о необычайных происшествиях, постигших его, и их привели в одинаковое восхищение как его бредни, так и изящество, с каким он излагал их. То он казался им человеком разумным, то снова, на их глазах, впадал в помешательство, и они никак не могли решить, чего в нем больше — здравомыслия или безумия.

Санчо, кончив ужинать и оставив хозяина гостиницы сильно подвыпившим, отправился в комнату своего господина; у самого входа в нее он сказал:

— Пусть, сеньоры, меня убьют, если автор этого сочинения, которое ваши милости привезли с собой, не хочет со мной поссориться; мне бы хотелось, раз уж он меня назвал, как ваши милости говорят, обжорой, чтобы он по крайней мере не называл меня пьяницей.

— Именно так он вас и называет, — ответил дон Херопимо: — не помню уж, в каких выражениях, но только он говорит про вас нехорошие вещи, и притом ложные, насколько я могу судить по лицу доброго Санчо, стоящего передо мной.

— Поверьте, ваши милости, — сказал Санчо, — что дон Кихот и Санчо в этой истории — совсем другие, чем в книге, написанной Сидом Аметом Бенехели, изобразившим нас правильно: моего господина — человеком доблестным, разумным и влюбленным, меня — забавным простаком, а совсем не обжорой и пьяницей.

— Я тоже так думаю, — сказал дон Хуан, — и если только это возможно, следовало бы запретить писать о великом дон Кихоте всем, кроме первого автора его истории, Сида Амета, вроде того как Александр запретил рисовать себя всем художникам, кроме Апеллеса.

— Пусть меня рисует кто хочет, — произнес дон Кихот, — лишь бы он меня не уродовал, потому что легко потерять терпение, когда тебя так оскорбляют.

— Невозможно, — сказал дон Хуан — нанести дон Кихоту оскорбление, за которое он не мог бы отомстить, если только он не отразит его щитом своего терпения, который, на мой взгляд, крепок и велик.

В такого рода беседах прошла большая часть

ночи; и хотя дон Хуану очень хотелось, чтобы дон Кихот прочел что-нибудь из той же книги и поразглагольствовал о ней, нашего рыцаря никак не удалось к этому склонить, так как он заявил, что книга эта, можно сказать, им уже прочитана, и что он находит ее совершенно вздорной и не желает, чтобы автор, узнав случайно, кто ее держал в своих руках, польстил себя мыслью, что дон Кихот прочел ее; вообще, от вещей непристойных и низких следует отвращать даже помыслы, а тем более взоры. Когда его спросили, куда он держит сейчас путь, дон Кихот ответил, что он направляется в Сарагосу для участия в турнире с призами, который устраивается там ежегодно. Дон Хуан заметил, что в новой книге рассказывается о том, как дон Кихот,—или лицо, выведенное под его именем,—принял там участие в скачках с кольцами,* весьма убого обставленных, с жалкими девизами и нищенскими нарядами, но зато изобиловавшими глупостями.

— Если так,—сказал дон Кихот,—то ноги моей не будет в Сарагосе. Таким способом я публично изобличу лживость* этого самоновейшего историка, и все увидят, что изображенный им дон Кихот — не я.

— И хорошо сделаете,—заметил дон Херонимо,—тем более, что есть еще другой турнир — в Барселоне, где сеньор дон Кихот сможет показать свою доблесть.

— Я так и поступлю,—сказал дон Кихот,—а теперь прошу у ваших милостей разрешения удалиться, потому что мне уже пора в постель; и прошу записать и включить меня в число ваших самых верных друзей и слуг.

— И меня тоже, — прибавил Санчо: — быть может и я когда-нибудь вам пригожусь.

На этом они расстались, и дон Кихот с Санчо ушли к себе в комнату, оставив дон Хуана и дон Херонимо изумленными таким смешением здравомыслия и безумия и вполне уверенными, что они видели настоящего дон Кихота и Санчо, а не тех, кого изобразил арагонский автор.

Рано утром дон Кихот встал и, постучав в перегородку соседней комнаты, простился с угощавшими его кабальеро. А Санчо щедро расплатился с хозяином, дав ему совет поменьше расхваливать припасы своей гостиницы, или получше снабжать ее ими.

ГЛАВА LX

*о том, что случилось с дон Кихотом на пути
в Барселону*



тро было прохладное, и день обещал быть таким же, когда дон Кихот выехал из гостиницы, спросив сначала, какая дорога ведет прямо в Барселону, минуя Сарагосу, — так велико было его желание уличить во лжи своего нового историка, который, как уверяли, оклеветал его. И вот случилось, что за целых шесть дней с ними не приключилось ничего такого, что заслуживало бы описания; а на седьмой день, удалясь от большой дороги, он был застигнут ночью в густом лесу, не то дубовом, не то пробковом, — на этот счет Сид Амет, против своего обыкновения, не дает вполне точных указаний.

Господин и слуга оба спешились и расположились под сенью деревьев. Санчо, успевший в этот день плотно закусить, незамедлительно проскочил в ворота сна; но дон Кихот, которого мысли мучили больше, чем голод, никак не мог сомкнуть глаз и воображением своим переносился в тысячу разных мест. То ему казалось, что он

находится в пещере Монтесипоса; то ему представлялось, как Дульсинея превращается в крестьянку, прыгает и садится на ослицу; то в его ушах снова звучали слова мудрого Мерлина, указавшего те меры и способы, какими возможно и надлежит расколдовать Дульсинею. Его привела в отчаяние мысль о нерадивости и бессердечии его оруженосца Санчо, который до сих пор нанес себе, по счету дон Кихота, всего лишь пять ударов — число жалкое и ничтожное по сравнению с тем несметным количеством ударов, которых еще недоставало; и это повергло дон Кихота в такую тоску и печаль, что он сказал сам себе:

— Если Александр Великий разрубил гордиев узел со словами: «что развязать, что разрубить — все едино», и после этого все же сделался владыкой всей Азии, то совершенно так же могу поступить и я для расколдования Дульсиной, самолично отхлестав Санчо, хотя бы он и не желал этого. Ведь если все сводится к тому, чтобы Санчо принял эти три тысячи с лишним ударов, то не все ли равно, кто их нанесет ему — сам он или кто-нибудь другой? Главное — чтобы он получил их, а как он это выполнит — безразлично.

С этим намерением, вооружившись уздой Росинанта и сложив ее так, чтобы можно было ею хлестать, дон Кихот подошел к Санчо и начал расстегивать ему помочи или, вернее, одну только переднюю, на которой только и держались его шаровары; но едва он дотронулся до Санчо, как тот очнулся от сна и спросил:

— Что такое? Кто меня трогает и раздевает?

— Это я, — ответил дон Кихот, — я пришел

исправить твою небрежность и облегчить мои страдания; я пришел бичевать тебя, Санчо, и помочь тебе выполнить часть обязательства, которое ты на себя принял. Дульсиня погибает, а ты об этом не думаешь; я умираю от любви к ней; поэтому раздевайся сейчас добровольно, так как я желаю дать тебе, в этом уединенном месте, по меньшей мере две тысячи ударов.

— Ну, нет, — сказал Санчо, — прошу вашу милость успокоиться; в противном случае, клянусь истинным богом, нас услышат даже глухие. Бичевание, которому я обещал подвергнуть себя, должно быть с моей стороны добровольным, а не насильственным, и у меня нет охоты хлестать себя; довольно с вашей милости и того, что я дал слово отстегать и отхлестать себя, когда у меня явится к этому желание.

— Нельзя полагаться, Санчо, на твою любезность, — ответил дон Кихот, — потому что сердце у тебя черствое, а тело, хоть ты и низкого происхождения, очень уж нежное.

И, говоря так, он настойчиво пробовал развязать ему штаны; видя это, Санчо Панса вскочил на ноги, бросился на своего господина, стал с ним бороться и, дав ему подножку, повалил на землю; затем наступил ему правым коленом на грудь и сжал руки дон Кихота так, что тот не мог ни встать, ни перевести дыхания. Дон Кихот вскричал:

— Как, предатель? Ты восстаешь на своего хозяина и сеньора? Посягаешь на того, кто тебя кормит?

— Я не свергаю и не делаю королей, — ответил Санчо, — а только себя спасаю, потому что

я сам себе сеньор. Пусть ваша милость обещает мне вести себя спокойно и не требовать, чтобы я себя сейчас бичевал, — и тогда я отпущу вас на свободу; а если нет, то

Тут, изменник, и умрешь,
Супротивник донья Санчи*.

Дон Кихот дал требуемое обещание и поклялся всеми своими заветными помыслами не трогать даже ниточки на одежде Санчо, предоставив на его полное благоусмотрение бичеваться, когда ему вздумается и захочется. Санчо встал и отошел на порядочное расстояние; но как только он устроился под другим деревом, он почувствовал, что кто-то трогает его за голову, и, подняв вверх руки, он нащупал две человеческие ноги в башмаках и чулках. Задрожав от страха, Санчо кинулся к другому дереву, но и тут с ним повторилось то же самое. Тогда он громко закричал, призывая дон Кихота на помощь. Тот поспешил к нему и на вопрос, что случилось и что его так напугало, Санчо ответил, что все деревья здесь полны человеческих ног. Дон Кихот ощупал деревья и, сразу сообразив в чем дело, сказал Санчо:

— Тебе нечего бояться, потому что эти ноги, которые ты чувствуешь, хоть и не видишь их, без сомнения принадлежат разбойникам и грабителям, повешенным на этих деревьях: именно здесь вешает их правосудие, по двадцать или по тридцать человек сразу, когда удастся их поймать; а из этого я заключаю, что мы уже находимся неподалеку от Барселоны.

И действительно, догадка дон Кихота оказалась

правильной. Когда рассвело, они подняли глаза и увидели, что деревья покрыты, словно гроздьями, телами разбойников. Наступил день, и если раньше наших спутников испугали мертвецы, то теперь их еще более ужаснул вид сорока с лишним живехоньких разбойников, которые мигом их окружили, а затем на каталонском наречии приказали им не двигаться с места и ждать, пока придет атаман. Дон Кихот был спешившись, его лошадь была без узды, копые прислонено к дереву, — словом, он лишен был возможности защищаться; поэтому он счел за благо сложить руки и склонить голову, приберегая силы для лучших времен и обстоятельств.

Разбойники быстро обшарили осла и забрали все то, что было в дорожной сумке и чемодане; к счастью для Санчо, эскудо, полученные им от герцога, вместе с теми, которые он захватил из дома, были у него спрятаны в поясе, но все-таки эти добрые люди обыскали бы его всего, проверив, не запрятаю ли у него чего-нибудь между кожей и телом, если бы в эту минуту не подъехал атаман, человек с виду лет тридцати четырех, смуглый, крепко сложенный, роста скорей высокого, с важным выражением лица. Он был верхом на сильном коне, одет в стальную кольчугу, с четырьмя пистолетами по бокам (такими, какие в тех краях называются кремневиками). Видя, что его оруженосцы, — ибо так принято именовать людей, занимающихся этим ремеслом, — собираются грабить Санчо Пансу, он велел им остановиться; они немедленно повиновались, и таким образом пояс был спасен. Атаман весьма удивился, увидев копые, прислоненное к дереву, щит, брошенный

на землю, и самого дон Кихота, вид у которого был такой печальный и унылый, что он казался воплощением самой печали. Подойдя к нему, атаман сказал:

— Не печальтесь так, добрый человек; вы попали не к какому-нибудь свиреному Озирису, * а к Роке Гинарту, * который скорее сострадателен, чем жесток.

— Моя печаль, — ответил дон Кихот, — происходит не от того, что я оказался в твоей власти, о доблестный Роке Гинарт, слава которого в этом мире беспредельна! — а от того, что по своей беспечности я был захвачен твоими солдатами врасплох, между тем как я обязан, согласно уставу странствующего рыцарства, к которому я принадлежу, жить в постоянной тревоге и всегда быть на страже самого себя; ибо знай, — о великий Роке! — что если бы они меня застали верхом на коне, с копьём и щитом в руке, им не легко было бы одследать меня, потому что я — дон Кихот Ламанчский, наполнивший славою своих деяний весь мир.

Тут Роке Гинарт понял, что дон Кихот грешит скорее безумием, чем доблестью, и, хотя ему приходилось слышать имя нашего рыцаря, он никак не соглашался признать деяния дон Кихота за истину и поверить, чтобы такие причуды могли овладеть человеческим сердцем; и он крайне обрадовался, что увидел воочию то самое, о чем раньше знал только по наслышке.

— Доблестный рыцарь, — сказал он ему, — не гневайтесь и не считайте злой невзгодой того, что с вами случилось: ведь вполне возможно, что из этих прискорбных обстоятельств ваш недобрый жребий выведет вас под конец к добру; ибо

очень часто необычайными, невиданными, непостижимыми для людей путями небо ставит на ноги падших и обогащает бедняков.

Дон Кихот уже собирался поблагодарить его, когда оба они услышали позади себя шум, происходивший, казалось, от целого табуна лошадей; но на самом деле это была только одна лошадь, на которой скакал во весь опор юноша, на вид лет около двадцати, в зеленом шелковом камзоле с золотыми шнурами и в шароварах, со шляпой, украшенной перьями на валлонский манер, узких проволоченных сапогах, с золоченой шпагой, кинжалом и шпорами, с маленьким мушкетом в руках и парой пистолетов у пояса. Роке обернулся на шум и увидел прекрасного всадника, который, подскочив к нему, сказал:

— Я ищущ тебя, о благодарный Роке, надеясь получить от тебя если не исцеление, то хотя бы облегчение моих страданий; и чтобы рассеять твоё недоумение, — ибо ты, как я вижу, меня не узнал, — скажу тебе сразу: я — Клаудия Херонима, дочь Симона Форте, твоего близкого друга, приходящегося заклятым врагом Клаукелю Торрельясу, который вместе с тем и твой враг, потому что он принадлежит к враждебной тебе партии. Тебе известно, что у этого Торрельяса есть сыны по имени Висенте Торрельяс, — так, по крайней мере, он звался еще два часа тому назад. Чтобы сократить повесть моих несчастий, скажу тебе сразу, что сделал со мной этот юноша. Он увидел меня, стал ухаживать, я вняла ему, полюбила его тайно от моего отца; ибо нет на свете такой сдержанной и скромной женщины, которая не нашла бы с избытком време-

ни, чтобы осуществить и исполнить то, чего ей сильно хочется. Словом, он обещал стать моим супругом, и я тоже поклялась принадлежать ему, хотя дальше этого мы не пошли. И вот вчера я узнала, что, позабыв о данном мне слове, он женится на другой и что сегодня утром должна произойти их свадьба. От этого известия у меня помутилось в голове и терпение мое иссякло; и, так как мой отец сейчас в отлучке, я смогла одеться в это платье, которое ты на мне видишь, и, погнав коня, настигла дон Висенте в расстоянии одной мили отсюда; не тратя времени на жалобы и выслушивание его оправданий, я выстрелила в него из моего мушкета, а затем еще из обоих этих пистолетов и всадила в него, как мне думается, не меньше двух пуль, открыв дорогу, которою излилась, вместе с его кровью, моя честь. Я оставила его окровавленным на руках его слуг, которые не посмели и не смогли защитить его. А теперь я разыскала тебя, чтобы ты помог мне переправиться во Францию, где у меня есть родные, которые приютят меня, а вместе с тем я хочу просить тебя взять под свою защиту моего отца для того, чтобы многочисленные родичи дон Висенте не вздумали обрушить на несчастного свою жестокую месть.

Измученный смелостью, пышным нарядом, изящной наружностью и приключением прекрасной Клаудии, Роке сказал ей:

— Сначала, сеньора, пойдем посмотрим, действительно ли умер твой враг; а после мы решим, что следует предпринять для тебя.

Дон Кихот, внимательно выслушавший рассказ Клаудии и ответ Роке Гинарта, сказал:

— Пусть никто не трудится защищать эту сеньору, ибо я беру эту заботу на себя; дайте мне моего коня, оружие и ждите меня здесь: я сейчас отыщу этого рыцаря и, живого или мертвого, заставлю его сдержать слово, данное этой красавице.

— Прошу никого в этом не сомневаться, — сказал Санчо, — потому что у моего господина очень легкая рука по части устройства браков: несколько дней тому назад он заставил жениться другого такого молодца, который тоже захотел изменить слову, данному им одной девушке; и, не случись того, что волшебники, преследующие этого человека, исказили его обличье, превратив его в лакея, эта девушка сейчас уж не была бы ею.

Роке, более занятый своими мыслями о прекрасной Клаудии, чем выслушиванием речей нашего рыцаря и его слуги, пропустил их мимо ушей; и, велев своим *оруженосцам* возвратить Санчо все, что они стянули с серого, он приказал им вернуться на стоянку, где они провели последнюю ночь, а сам вместе с Клаудией поспешно отправился на поиски убитого или раненого дон Висенте. Они прибыли к тому месту, где Клаудия встретила его, и нашли там только следы недавно пролитой крови; но, поглядев по сторонам, они заметили на склоне холма несколько человек и правильно угадали, что это и есть слуги дон Висенте, уносящие своего господина, живого или мертвого, чтобы вылечить его или предать погребению; они погнали своих лошадей, торопясь настичь их, что им и удалось, так как те шли очень медленно. Они увидели дон Висенте на руках у его слуг, которых он слабым и уга-

сающим голосом просил оставить его умереть на месте, так как боль от ран не позволяла ему двигаться дальше.

Клаудия и Роке, спрыгнув с коней, подошли к нему; увидев Роке, слуги перепугались, а Клаудия сильно смутилась при виде дон Висенте. Растроганная и вместе с тем суровая, она подошла, взяла его за руку и сказала:

— Если бы ты отдал мне, как обещал, эту руку, никогда бы ты не оказался в таком положении.

Раненый кабальеро открыл свои почти уже закатившиеся глаза и, узнав Клаудию, произнес:

— Я знаю, прекрасная и обманутая сеньора, что это ты меня убил, хотя кара эта мною не заслужена и не знаю, чем вызвана, ибо ни поступками, ни помыслами моими я никогда не желал тебя оскорбить и не оскорблял.

— Как, разве не правда, — воскликнула Клаудия, — что в это утро ты собирался венчаться с Леонорой, дочерью богача Бальвастро?

— Конечно, неправда, — ответил дон Висенте: — видно, моя злая судьба направил к тебе эту весть для того, чтобы ты, в порыве ревности, лишила меня жизни, — хоть я и почитаю счастливым свой жребий, расставаясь с жизнью в твоих руках и объятиях. И, чтобы ты уверилась в этой истине, пожми мне руку * и стань, если хочешь, моей супругой; ибо я не могу дать тебе большего удовлетворения за обиду, которая, по-твоему, была мною нанесена.

Клаудия пожала ему руку, но при этом ее сердце так сжалось, что она упала без чувств на окровавленную грудь Висенте, у которого на-

чались в это время предсмертные судороги. Роке стоял в замешательстве, не зная, что предпринять. Слуги кинулись за водой, чтобы брызнуть им в лицо, и, принеся ее, стали их опрыскивать. Клаудия пришла в себя, но Висенте уже не оправился от судорог, потому что жизнь его оборвалась. Увидев это и убедившись, что ее мильи скончался, Клаудия потрясла воздух стонами, взволновала небо своими жалобами, стала рвать на себе волосы, распустив их по ветру, раздирать свое лицо ногтями, изображая такую печаль и страдание, какую только может вместить истерзанное сердце.

— О жестокая и безрассудная женщина, — восклицала она, — с какой необдуманностью ты привела в исполнение свой злой умысел! О лютая ярость ревности, на какие пагубные дела ты толкаешь тех, кто приютил тебя в своей груди! О супруг мой, чья злая судьба, сделав тебя моим сокровищем, уготовила тебе, вместо брачного ложа, могилу!

Так ужасны и мучительны были стоны Клаудии, что даже у Роке выступили на глазах слезы, хотя ему никогда еще не случалось их проливать. Слуги плакали, Клаудия поминутно падала в обморок, и вся местность эта казалась обратившейся в приют печали и обитель скорби. Наконец Роке Гинарт приказал слугам дон Висенте отнести покойника в деревню его отца, находившуюся поблизости, чтобы там похоронить его. Клаудия объявила Роке, что хочет поступить в монастырь, где настоятельницей была ее тетка, и там окончить свои дни, посвятив себя иному супругу, высочайшему и бессмертному. Роке одобрил ее

намерение и предложил проводить ее до того места, которое она укажет, обещав защищать ее отца от родни дон Висенте и от всех людей на свете, если они захотят его обидеть. Но Клаудия решительно отказалась от всяких проводов и, поблагодарив Роке в отменных выражениях за его заступничество, в слезах с ним простилась. Слуги дон Висенте унесли его тело, а Роке вернулся к своим людям. Таков был конец любви Клаудии Херонимы. Но чему тут удивиться, если ткань ее плачевной истории была соткана неодолимой и жестокой силой ревности?

Роке Гинарт нашел своих *оруженосцев* в назначенном месте, а среди них нашел он и дон Кихота, который, сидя верхом на Росинанте, держал к ним речи, убеждая их бросить жизнь, какую они вели, равно опасную как для души, так и для тела; но так как большинство из них были баски, народ грубый и разнузданный, то речь дон Кихота мало на них действовала. Подъехав поближе, Роке спросил Санчо Пансу, вернули ли ему полностью те сокровища и драгоценности, которые его люди взяли с серого. Санчо ответил, что ему все вернули, кроме трех косынок, которых тремя городами не окупишь.

— Что ты там мелешь, приятель? — сказал один из разбойников; — они у меня, и вся-то цена им — три реала.

— Это правда, — произнес дон Кихот, — однако мой *оруженосец* ценит их так высоко во внимание к особе, которая мне их дала.

Роке Гинарт велел отдать Санчо косынки, а затем, выстроив своих людей в ряд, велел разложить перед ними одежды, драгоценности,

деньги, словом, все, что было награблено ими со времени последнего дележа добычи; и, быстро произведя оценку и переведя на деньги то, что нельзя было разделить, он распределил это между всеми членами своей шайки с такой справедливостью и точностью, что ни в чем не нарушил даже на самую малость *дистрибутивное* * право. Покончив с этим и наградив, наделив и удовлетворив всех своих людей, Роке сказал дон Кихоту:

— Если не соблюдать такой точности, никак бы с ними не ужиться.

На это Санчо заметил:

— Судя по тому, что я здесь вижу, справедливость — такая хорошая вещь, что приходится прибегать к ней даже среди воров.

Услыхав это, один из *оруженосцев* замахнулся прикладом своей аркебузы и несомненно размозжил бы ею голову Санчо, если бы Роке Гинарт, крикнув, не остановил его. Санчо обмер от страха и решил больше не раскрывать рта, пока находится среди этих людей.

В это время прибежал один (или несколько) из тех *оруженосцев*, которых расставляют, как часовых, на дорогах, чтобы они следили, кто там идет или едет, и докладывали своему начальнику обо всем, что случится.

— Сеньор, — сказал он, — по барселонской дороге движется большая толпа людей.

Роке его спросил:

— Ты разглядел, кто они: из тех, что нас ищут, или из тех, кого ищем мы?

— Из тех, кого ищем мы, — ответил *оруженосец*.

— В таком случае выступайте все, — сказал Роке, — и приведите ко мне их скорей, да так, чтобы ни один человек не ускользнул.

Оруженосцы ему повиновались, а дон Кихот, Санчо и Роке, оставшись одни, стали ждать, кого они приведут. Обратившись к дон Кихоту, Роке сказал:

— Необычайною должна была показаться сеньору дон Кихоту та жизнь, которую мы ведем, необычайными и опасными — все наши дела и приключения; и это меня не удивляет, потому что, поистине, я и сам нахожу, что нет образа жизни более беспокойного и тревожного, чем наш. Меня привела к этому жажда мщения, имеющая власть смущать самые мирные сердца; по природе своей я человек сострадательный и благонамеренный, но, как я уже сказал, желание отомстить за одно нанесенное мне оскорбление настолько превзошло все мои добрые наклонности, что я упорствую и продолжаю вести такую жизнь наперекор и на зло моему собственному разуму; и поскольку одна бездна влечет к себе другую и один грех тянет за собой другой, мои мщения так переплелись между собой, что я мщу уже не только за мои, но и за чужие обиды; но по милости господи я, хоть и вижу себя погрязшим в лабиринте своих заблуждений, все же не теряю надежды выбраться из него в гавань спасения.

С удивлением слушал дон Кихот эти складные, разумные речи Роке, потому что он не думал, чтобы среди людей, ремесло которых — разбойничать, грабить и убивать, мог найтись человек, способный так здраво рассуждать. Он ответил ему:

— Сеньор Роке, сознание своей болезни и готовность принимать лекарства, прописываемые врачом, — уже начало исцеления; раз ваша милость больны и сознаете свой недуг, небо, или лучше сказать бог, который является нашим врачом, пропишет вам лекарства, которые вас исцелят, — лекарства, которые исцеляют постепенно, а не внезапно и не чудом; и еще прибавлю, что разумные грешники гораздо ближе к исправлению, чем неразумные; и так как вы, ваша милость, выказали в своей речи мудрость, то я скажу вам: мужайтесь и надейтесь на облегчение недуга вашей совести; и, если ваша милость желает сократить путь и скорее выйти на стезю спасения, пойдемте со мной: я вас научу быть странствующим рыцарем, на долю которого выпадает столько тягот и невзгод, что, послужив вам покаянием, они мигом приведут вас в рай.

Роке улыбнулся совету дон Кихота и, переменяя разговор, рассказал трагическое приключение Клавдии Херонимо, чем крайне расстроил Санчо, который не остался нечувствителен к красоте, смелости и изяществу молодой девушки.

Тем временем возвратились разбойники, посланные за добычей; они привели с собой двух кабальеро верхом на конях, двух пеших паломников, карету, в которой ехало несколько женщин в сопровождении шести, или около того, пеших и конных слуг, и, наконец, двух погонщиков мулов, прислуживавших всадникам. *Оруженосцы* окружали их со всех сторон, и как побежденные, так и победители хранили глубокое молчание, ожидая, когда заговорит великий Роке Гинарт. Он спросил у всадников, кто они такие,



куда едут и сколько у них при себе денег. Один из кабалеро ответил:

— Сеньор, мы оба капитаны испанской пехоты; наши отряды находятся в Неаполе, и мы едем в Барселону, чтобы погрузиться там на четыре галеры, отплывающие, как говорят, в Сицилию; у нас есть двести или триста эскудо, и, имея их, мы считали себя богатыми и довольными своей судьбой, так как бедным солдатам не приходится мечтать о больших сокровищах.

Те же самые вопросы, что и капитанам, Роке задал паломникам; они ему ответили, что намеревались отплыть в Рим и что у них обоих найдется, может быть, шестьдесят реалов. Роке осведомился также, кто едет в карете, куда и сколько у путешественниц денег; на это один из конных слуг ответил:

— В этой карете едет моя сеньора, донья Гиомар де Киньонес, жена верховного судьи в Неаполе, а с нею ее маленькая дочь, служанка и дуэнья; сопровождают их шестеро слуг, а денег у них с собой шестьсот эскудо.

— Таким образом, — сказал Роке Гинарт, — у нас здесь девятьсот эскудо и шестьдесят реалов, а солдат у меня около шестидесяти. Посмотрим, сколько придется на человека: я что-то плохо считаю.

Услышав это, грабители громко закричали:

— Да здравствует долгие годы Роке Гинарт, на зло негодьям, ищущим его гибели!

Капитаны не могли скрыть своего огорчения, жена верховного судьи опечалилась, да и у паломников стали лица невеселы, когда они увидели, что их хотят лишить их имущества. С минуту

продержал их Роке в таком замешательстве, а затем, не желая длить их печали, которую можно было заметить на расстоянии аркебузного выстрела, обратился к капитанам и сказал:

— Сеньоры капитаны, не соблаговолят ли ваши милости одолжить мне шестьдесят эскудо? А у супруги верховного судьи я попрошу восемьдесят, чтобы удовлетворить людей из моего отряда. Вы ведь знаете, священник тем и живет, что обедни поет. А затем вы все можете спокойно и беспрепятственно продолжать свой путь, получив от меня охранный лист, чтобы в случае, если вас встретит какой-нибудь другой из моих отрядов, рассыпанных в этой местности, мои люди не причинили вам зла; потому что я никогда не обижаю ни солдат, ни женщин, особенно если они знатного рода.

Оба капитана принялись без конца, в самых красноречивых выражениях, благодарить Роке за ту щедрость и великодушие, с каким он оставил им их собственные деньги. Сеньора донья Гиомар де Киньонес хотела выскочить из кареты и поцеловать руки и ноги великого Роке; но он этого не допустил, а вместо того сам попросил у них прощения за причиненное им насилие, которое он вынужден был совершить, выполняя требования своего тяжелого ремесла. Супруга верховного судьи приказала одному из своих слуг немедленно отсчитать восемьдесят эскудо, приходившихся на ее долю, и капитаны тоже вручили свои шестьдесят. Паломники уже готовы были отлаять свои жалкие крохи, но Роке попросил их не беспокоиться и, обратившись к своим людям, сказал:

— Каждый из вас получит из этих денег по

два эскудо, а из тех двадцати, что остаются, десять мы отдадим паломникам, а другие десять — оруженосцу этого рыцаря, чтобы он помянул добрым словом это приключение.

Когда ему принесли письменные принадлежности, которые он всегда возил с собой, Роке написал охранный лист на имя начальников своих отрядов; а затем, попросившись с пленниками, он отпустил их на свободу, приведя их в восхищение своим благородством, изящным видом и необычайностью своих поступков, делавшими его похожим скорее на Александра Великого, чем на отъявленного разбойника. Один из *оруженосцев* сказал на своем баско-каталонском наречии:

— Нашему капитану больше пристало быть монахом, чем разбойником. Если он и дальше захочет проявлять такую щедрость, пусть делает это за счет своего имущества, а не нашего.

Несчастный произнес это не так тихо, чтобы Роке его не услышал; выхватив меч, он раскрыл дерзкому голову почти надвое, прибавив при этом:

— Вот как я наказываю наглецов, не умеющих держать язык на привязи.

Все оцепенели от ужаса, и никто не посмел вымолвить ни слова: в такой покорности держал их атаман.

Отойдя в сторону, Роке написал письмо к одному своему приятелю в Барселоне, извещая его о том, что при нем сейчас находится знаменитый дон Кихот Ламанчский, тот самый странствующий рыцарь, о котором столько рассказывают; он прибавлял еще, что это — самый забавный и вместе с тем самый рассудительный

человек на свете, и обещал через четыре дня, а именно в праздник святого Иоанна крестителя, доставить его в полном вооружении и верхом на Росинанте на городскую набережную вместе с его оруженосцем, Санчо Пансой, верхом на осле; пусть он уведомит об этом их друзей Нирарров,* чтобы хорошенько их позабавить; он, Роке, хотел бы лишиться этого удовольствия Каделлей,* своих врагов, но сделать это никак невозможно, потому что разумные безумства дон Кихота и остроты его оруженосца Санчо Пансы не могут не доставить развлечения всему свету.

Роке отдал это письмо одному из своих оруженосцев, и тот, сбросив свой разбойничий наряд и надев крестьянское платье, пробрался в Барселону и передал это письмо лицу, которому оно было предназначено.

ГЛАВА LXI

о том, что случилось с дон Кихотом при въезде его в Барселону, и о других вещах, более правдивых, чем разумных



рп дня и три ночи провел дон Кихот у Роке, но если бы он прожил у него триста лет, то и тогда бы он не перестал при-сматриваться к образу жизни разбойников и удивляться ему: в одном месте они пробуждались, в другом завтракали; то они бежали, сами не зная от кого, то поджидали, сами не зная чего. Они спали на ногах, то и дело прерывая сон, и переходили с места на место. Все время они посылали разведчиков, выслушивали дозорных, раздували фитили своих аркебуз, хотя аркебуз-то у них было мало, а большинство из них были вооружены кремневыми пистолетами. Роке проводил ночи вдали от своих, в каких-то тайниках и убежищах, никому из них неизвестных, так как многочисленные приказы барселонского вице-короля с объявлением награды за голову Роке вызывали в нем постоянный страх и тревогу, и он ни на кого не смел положиться, опасаясь, что даже его собственные люди убьют его пли выда-

дут правосудию, — поистине, жалкая и убогая жизнь.

Наконец, заброшенными дорогами, тайными и окольными тропинками Роке с дон Кихотом, Санчо и еще шестью *оруженосцами* пробрались в Барселону. Они прибыли на набережную в ночь праздника святого Иоанна; и, обняв дон Кихота и Санчо (которому он только теперь отдал обещанные десять эскудо), Роке расстался с ними после того, как они обменялись тысячами взаимных любезностей и предложений устлуг.

Роке ушел, а дон Кихот так, как был, верхом на коне, стал дожидаться рассвета. И, действительно, вскоре на балконах Востока показался светлый лик Авроры, радуя если не слух* человеческий, то во всяком случае травы и цветы; впрочем, в то же самое мгновение слух путников порадовали доносившиеся, видимо, из города звуки множества гобоев и барабанов, звон бубенчиков и крики бегунов, возглашавших: «Эй, расступись! Дорогу! Дорогу!» Аврора уступила свое место солнцу, лик которого, чуть-чуть побольше маленького щита, понемногу начал подниматься над горизонтом.

Дон Кихот и Санчо оглянулись по сторонам и увидели море, которого раньше никогда не видели; оно показалось им огромным и необъятным, куда больше, чем лагуны Руидеры, виденные ими в Ламанче; они заметили также галеры, стоявшие около набережной; тенты их были спущены, открывая взору множество значков и флагов, колымавшихся по ветру и ласкавших своим легким прикосновением воду; а внутри галер раздавались звуки рожков, труб и гобоев,

и вблизи и вдали оглашавших воздух нежными или воинственными напевами. Затем галеры пришли в движение, изображая на лоне тихих вод нечто вроде морского сражения, между тем как на берегу множество роскошно одетых всадников, выехавших из города на прекрасных конях, затеяли подобную же игру. Солдаты на галерах все время стреляли из мушкетов, так же как и отряды, расположенные на стенах города и в фортах, и тяжелая артиллерия сотрясала воздух своими грозными раскатами, на которые отвечали палубные пушки с галер. Веселое море, ликующая земля, прозрачный воздух, лишь изредка заволакиваемый дымом от пальбы, — все это вносило и вливало внезапную радость в души людей. Санчо не постигал, как эти движущиеся в море гиганты могли иметь столько ног.

Тем временем разряженные всадники с криком, гиканьем и шумными возгласами подскакали к тому месту, где стоял смущенный и изумленный дон Кихот, и один из них, тот самый, что получил письмо от Роке, громким голосом сказал дон Кихоту:

— Добро пожаловать в наш город, зеркало, маяк, путеводная звезда и компас странствующего рыцарства, как если бы оно тут лежало передо мной!* Добро пожаловать, доблестный дон Кихот Ламанчский, — не ложный, мнимый и поддельный, выведенный в некоторых новейших историях, но истинный, подлинный и настоящий, изображенный Сидом Аметом Бененхели, цветом всех историков!

Дон Кихот не ответил на это ни слова, да и всадники не ждали от него ответа; кружась и

гардуя вместе со всеми своими спутниками, они устроили настоящую скачку вокруг дон Кихота, который, обратившись к Санчо, сказал:

— Эти люди нас узнали; готов биться об заклад, что они прочли не только нашу подлинную историю, но и ту, новейшую, опубликованную арагонцем.

Тут всадник, уже раньше говоривший с дон Кихотом, снова подскакал к нему и сказал:

— Прошу вашу милость, сеньор дон Кихот, пожаловать за нами: мы все — покорные слуги вашей милости и добрые друзья Роке Гинарта.

Дон Кихот на это ответил:

— Если всякая учтивость рождает встречную, то ваша учтивость, сеньор кабальеро, — родная дочь или близкая родственница учтивости Роке Гинарта. Ведите же меня, куда желаете, ибо у меня нет другой воли, кроме вашей, особенно если дело клонится к тому, чтобы услужить вам.

На это всадник ответил дон Кихоту не менее изысканными словами, и, окружив его со всех сторон, под звуки гобоев и барабанов они двинулись вместе с ним к городу. Но при въезде в город, по наущению лукавого, двое шальных и дерзких мальчишек, которые иной раз бывают лукавее самого лукавого, протискавшись через толпу и задрав, — один из них — хвост серого, а другой — Росипанта, — подсунули и подложили туда по пучку дикого терна. Почувяв эти диковинные шпоры, бедные животные поджали было хвосты, но от этого их страдания еще более увеличились; они начали брыкаться и сбросили своих седоков на землю. Раздосадованный и пристыженный дон Кихот поспешил снять этот плю-

маж с хвоста своей клячи, и Санчо поступил так же со своим серым. Провожатые хотели наказать наглых шалунов, но сделать это было невозможно, так как те скрылись в толпе других бежавших за ними мальчишек.

Дон Кихот и Санчо снова сели верхом и под звуки все той же музыки торжественно подъехали к дому их вожатого, просторному и великолепному, как подобает быть дому богатого кабальеро; и здесь по воле Сида Амета, мы с ними на время расстанемся.

ГЛАВА LXII

повествующая о приключении с волшебной головой и о другой чепухе, о которой нельзя не рассказать



он Антонио Морено, — так звался хозяин дон Кихота, — богатый и неглупый кабальеро, любитель прилично и мило повеселиться, заплучив к себе дон Кихота, стал придумывать, как бы ему, без обиды для нашего рыцаря, заставить его явным образом проявить свое безумие: потому что плоха та шутка, от которой кости болят, и мало похвальна забава, связанная с ущербом для другого. Первым делом он велел освободить дон Кихота от его доспехов, а затем, когда тот остался в своем узком верблюжьем камзоле (не раз уже нами упомянутом и описанном), он вывел его на балкон своего дома, выходящий на одну из самых больших улиц города, напоказ всему народу и мальчишкам, глazeвшим на него, как на обезьяну. И снова перед дон Кихотом начали гарцовать разряженные всадники, словно они разделись для него одного, а не для того, чтобы украсить собою праздник. А Санчо был в полном восторге: ему казалось,

что он непонятным и неожиданным образом попал снова на свадьбу Камачо или в дом дон Диэго де Миранда или в герцогский замок.

В этот день у дон Антонио обедало несколько его друзей, и все они оказывали почет дон Кихоту, обращаясь с ним, как со странствующим рыцарем; а он не помнил себя от гордости, тщеславия и удовольствия. Шутки Санчо были столь великолепны, что ему буквально смотрели в рот все слуги дома, а заодно и все прочие его слушатели. Когда общество уселось за стол, дон Антонио сказал Санчо:

— До нашего сведения дошло, мой милый Санчо, что вы так любите сладкий курник и фрикадельки, что когда вы не можете их доестъ, то прячете себе за пазуху про запас.*

— Нет, сеньор, это неправда, — ответил Санчо, — я человек очень опрятный и совсем не обжора; и мой господин дон Кихот, сидящий здесь с вами, может подтвердить, что, иной раз, мы пригоршней жолудей или орехов питались целую неделю. Случается, правда, что, когда мне дают коровку, я бегу за веревкой, — я хочу сказать, что я ем все, что мне подадут, и всегда приправляюсь к обстоятельствам; и если кто скажет, что я неопрятен и всегда обжирюсь, считайте, что он промахнулся, — я бы конечно выразился иначе, если бы не мое уважение к присутствующим здесь особам.

— Поистине, — сказал дон Кихот, — опрятность и умеренность, проявляемые Санчо в еде, достойны быть записанными и вырезанными на бронзовых таблицах для увековечения их в памяти грядущих веков. Правда, когда он голоден,

он бывает слегка прожорлив, потому что ест он тогда проворно и работает обеими челюстями; но опрятность он всегда соблюдает, и когда он был губернатором, то научился кушать изысканно: он даже виноград и гранатовые зернышки ел вилкой.

— Как! — воскликнул дон Антонио, — Санчо был губернатором?

— Да, — ответил Санчо, — я был губернатором острова, называющегося Баратария. Десять дней я управлял им в свое полное удовольствие; и за эти десять дней я утратил душевный покой и научился презирать всякие губернаторства; я сбежал оттуда, провалился в подземелье, где уже думал, что погибну, и спасся только чудом.

Дон Кихот подробно рассказал всю историю губернаторства Санчо, чем доставил своим слушателям большое наслаждение.

Когда убрали со стола, дон Антонио взял дон Кихота за руку и провел его в удивленный покой, где находился только столик, с виду из яшмы, на ножке из того же камня; на столике этом стояла голова, как будто бронзовая, изготовленная наподобие бюстов римских императоров. Дон Антонио прошелся несколько раз с дон Кихотом по комнате мимо столика, а затем сказал:

— Теперь, сеньор дон Кихот, когда я уверен, что никто нас не видит и не слышит и дверь сюда заперта, я хочу рассказать вашей милости о самом редкостном приключении или, лучше сказать, диковинном случае, какой только можно вообразить, с условием, что то, что я сообщу вашей милости, вы сохраните в величайшей тайне.

— Клянусь, — ответил дон Кихот, — и для боль-

шей верности готов прикрыть свою клятву каменной плитой; ибо знайте, ваша милость, сеньор дон Антонио (дон Кихот успел уже узнать имя своего хозяина), что вы говорите с человеком, у которого есть уши, чтобы вас слушать, но нет языка, чтобы разгласить слышанное; и потому ваша милость может спокойно излить все, что у нее на душе, в мою душу, в полной уверенности, что это канет в бездну молчания.

— Полагаясь на ваше слово, — сказал дон Антонио, — я сейчас расскажу и покажу вашей милости нечто такое, что приведет ее в изумление, и тем самым несколько облегчу свою муку, происходящую от того, что мне не с кем поделиться своей тайной, доверить которую можно не всякому.

Дон Кихот горел нетерпением узнать, к чему приведут все эти предисловия. Тогда дон Антонио, взяв его за руку, заставил ощупать бронзовую голову, весь столик и даже его ножку, а затем сказал:

— Голова эта, сеньор дон Кихот, сделана и изготовлена одним из величайших колдунов и чародеев на свете, как мне кажется, поляком по происхождению и учеником знаменитого Эскотильо,* о котором рассказывают столько чудес; живя у меня в доме, он за тысячу эскудо, которые я ему дал, смастерил мне эту голову, имеющую такое свойство и способность, что она отвечает на все вопросы, сказанные ей на ухо. Он чертил фигуры, писал знаки, наблюдал звезды, точки и в конце концов соорудил эту голову с тем совершенством, в котором вы убедитесь завтра; ибо сегодня пятница, а по пятницам она молчит, и потому придется подождать до завтра. А за это

время ваша милость обдумает, о чем ее спросить; потому что мне известно по собственному опыту, что она правдиво отвечает на все вопросы.

Такая способность и свойство статуи привели в изумление дон Кихота, который не решался поверить словам дон Антонио; но так как до проверки этого на опыте оставалось ждать недолго, он воздержался от всяких замечаний, ограничившись выражением благодарности своему хозяину за то, что тот открыл ему столь великую тайну. Они вышли из комнаты, которую дон Антонио запер за собой на ключ, и вернулись в залу, где продолжали сидеть другие гости. А за это время Санчо успел им рассказать множество приключений и происшествий, случившихся с его господином.

В тот же вечер дон Кихоту предложили проехаться по городу, без доспехов, в домашнем платье и в длинном плаще из рыжего сукна, под которым в эту пору года вспотел бы даже лед. А слугам был отдан приказ занимать Санчо, чтобы удержать его дома. Дон Кихот ехал не на Росинанте, а на высоком муле с плавной поступью и в богатой сбруе. На рыцаря надели плащ, а сзади, незаметно для него, прикрепили пергамент, на котором крупными буквами было написано: «Се — дон Кихот Ламанчский». В продолжение всей прогулки надпись эта привлекала внимание прохожих, которые читали вслух: «Се — дон Кихот Ламанчский», приводя дон Кихота в изумление от того, что столько людей, глядящих на него, называют его по имени, словно хорошо его знают; и, обратясь к дон Антонио, который ехал с ним рядом, он сказал:

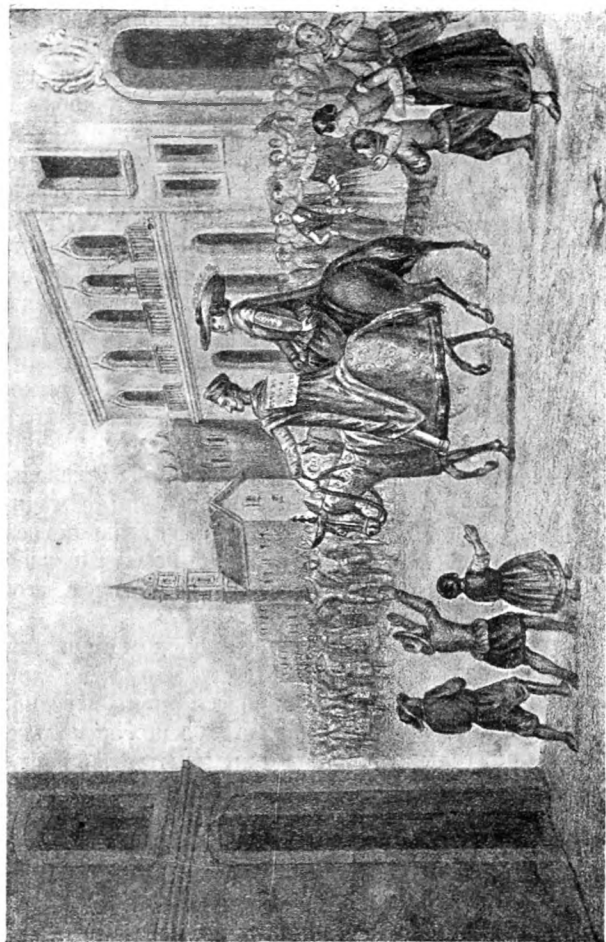
— Великое пристрастие заключает в себе странствующее рыцарство, доставляя всесветную славу и известность тем, кто этим делом занимается. Как же иначе объяснить, сеньор дон Антонио, что все население этого города, вплоть до мальчишек, знает меня, хоть и никогда раньше не видело?

— Это правда, сеньор дон Кихот, — ответил дон Антонио: — как пламя нельзя спрятать или прикрыть, так и доблести человеческие не могут пребывать в неизвестности; а из всех доблестей те, которые приобретаются воинскими подвигами, побеждают и затмевают все остальные.

И вот случилось, что в то время, как дон Кихот торжественным и уже описанным нами образом ехал по улице, какой-то кастилец, прочтя надпись на его спине, громко воскликнул:

— Чорт бы тебя побрал, дон Кихот Ламанчский! Как это ты добрался сюда, не подохнув от бесчисленных ударов, сыпавшихся тебе на спину! Ты ведь полоумный! Если бы ты безумствовал втихомолку, сидя в своем углу, это было бы еще полбеда; но ты обладаешь свойством сводить с ума и сбивать с толку всех, кто с тобой встречается и разговаривает: достаточно посмотреть на этих сеньоров, которые тебя сопровождают! Возвращайся, сумасшедший, к себе домой; займись там хозяйством, присматривай за женой и детьми и брось эти дурачества, которые калечат твой мозг и мутят рассудок.

— Идите, любезный, своей дорогой, — сказал ему дон Антонио, — и не лезьте с вашими советами, которых не спрашивают. Сеньор дон



Кихот Ламанчский находится в полном рассудке, да и мы, его сопровождающие, не дураки; высокие достоинства всегда заслуживают почета, где бы они ни встретились; убирайтесь к дьяволу и не суйтесь, куда вас не просят.

— Провалиться мне, коль ваша милость не правы, — ответил кастилец: — ведь давать советы этому молодцу — то же, что бить кулаком по ножу; а все-таки обидно стаповится, что светлый ум, который он обычно во всем остальном проявляет; вязнет в тине этого странствующего рыцарства; но пусть я и все мое потомство уберется к дьяволу, как выразилась ваша милость, если я отныне (проживи я даже столько, сколько Мафусаил) дам кому-нибудь совет, хотя бы он его и спрашивал.

Советчик удался, и прогулка продолжалась; но под конец образовалось такое скопище мальчишек и всякого другого люда, старавшегося прочесть надпись, что дон Антонио принужден был убрать ее, сделав вид, что он снимает что-то совсем другое.

Наступила ночь, и все вернулись домой; а там их ждал бал с дамами, потому что жена дон Антонио, сеньора знатного рода и очень веселая, красивая и разумная, позвала к себе несколько своих приятельниц, чтобы они почтили ее гостя и позабавились его невиданным безумием. Приглашенные пришли, и после роскошного ужина, почти уже в десять часов вечера, начался бал. Среди дам нашлись две большие проказницы и резвущки, которые, храня полную пристойность, проявляли изрядную бойкость по части веселых и вполне безобидных шуток. Они до того при-

ставали к дон Кихоту, заставляя его танцевать с ними, что измучили не только его тело, но и душу. Удивительное зрелище являла собою его длинная, вытянутая, костлявая, желтая фигура, стиснутая узким платьем, неуклюжая и, главное, отнюдь не проворная! Дамы, словно тайком, за ппм ухаживали, а он, так же втихомолку, старался от них отделаться; но, види, что они не отстают, он наконец громко воскликнул:

— *Fugite, partes adversae!** Оставьте меня в покое, дурные помыслы! Ищите, сеньоры, осуществления ваших желаний в другом месте; ибо владычица моих желаний, несравненная Дульсинея Тобосская, не допускает, чтобы мысль о ком-нибудь другом, кроме нее, покорпла и подчинила меня.

И, произнеся это, он опустился на пол посреди зала, разбитый и измученный своими танцевальными упражнениями. Дон Антонио велел отнести его на руках в постель, и первым, кто прибежал к нему, был Санчо, воскликнувший:

— Ну и скверно же, сеньор хозяин, вы плясали! неужели вы думаете, что все храбрецы должны быть тандорамп и все страпствующие рыцари — плясунами? Если вы так думаете, то, поверьте, вы сильно ошибаетесь: есть люди, которым легче убить великана, чем красиво подпрыгнуть в воздухе. Если бы дело шло о такой пляске, где нужно руками нашлепывать башмаки,* я бы вас еще заменил, потому что я отплясываю ее как орел; но в этих барских танцах я ни чорта не смыслю.

Этимп и им подобными речами Санчо сильно рассмешил всех гостей; затем он уложил своего

господина в постель и хорошенько его укутал, что бы, пропотев, тот излечился от своей танцовальной простуды.

На другой день дон Антонио решил произвести опыт с волшебной головой и вместе с дон Кихотом, Санчо, еще двумя приятелями и обеими дамами, которые накануне так измучили дон Кихота танцами, а затем остались ночевать у хозяйки дома, — заперся в комнате, где была голова. Он сообщил им о ее свойствах и, попросив строго хранить тайну, объявил, что сегодня хочет в первый раз испытать способности этой волшебной головы. Кроме двух друзей дон Антонио, никто не был посвящен в секрет ее изготовления, а если бы дон Антонио не ознакомил их с ним, они, несомненно, пришли бы в такое же изумление, как и все остальные, — так тщательно и искусно голова была сделана.

Первым наклонился к уху головы сам дон Антонио; он спросил ее тихо, но все же так, что все его слышали:

— Скажи мне, голова, силою чар, в тебе заключенных, о чем сейчас я думаю?

На это голова, не разжимая губ, ответила вполне ясно и отчетливо, так что все могли ее расслышать:

— Я не читаю мыслей,

Все были этим поражены, так как ни около столика, ни во всей комнате не было живой души, которая могла бы ответить вместо головы.

— Сколько нас здесь человек? — снова спросил дон Антонио.

— Здесь присутствуешь, — был ему ответ, — ты с двумя друзьями, твоя жена, две ее приятель-

ниды и знаменитый рыцарь по имени дон Кихот Ламанчский со своим оруженосцем Санчо Пансой.

Понстпие, тут было чему удивиться! У всех присутствующих от страха волосы на голове стали дыбом. А дон Антонио, отойдя пемного от головы, сказал:

— Теперь мне ясно, что меня не обманул человек, продавший тебя, о мудрая, говорящая и отвечающая, дивная голова! Пусть подходят другие и спрашивают ее, о чем пожелают.

Так как женщины обычно бывают петерпеливы и любопытны, к голове быстро подошла одна из приятельниц жены дон Антонио и задала ей такой вопрос:

— Скажи, голова, как мне сделаться красавицей?

На это был ответ:

— Будь нравственной.

— С меня этого довольно, — сказала вопрошавшая.

Затем подошла ее подруга и спросила:

— Мне хотелось бы знать, голова, любит ли меня по-настоящему муж?

Голова ответила:

— Суди сама по его обращению с тобой, и тебе это будет ясно.

Замужняя дама отошла от головы и сказала:

— Что бы получить такой ответ, не стоило спрашивать; всякому понятно, что о чувствах человека можно заключить по его поступкам.

Вслед затем подошел один из двух друзей дон Антонио и спросил:

— Кто я такой?

— Ты сам это знаешь, — был ему ответ.

— Я спрашиваю тебя не об этом; я хочу проверить знаешь ли ты меня?

— Знаю, — ответила голова, — ты — дон Педро Норис.

— Большого мне не надо; этого достаточно, чтобы убедить меня, о голова, что ты все знаешь.

Он отошел, а к голове приблизился второй приятель дон Антонио, который спросил:

— Скажи мне, голова, какие желанья у моего сына, наследника всего моего имущества?

— Я уже сказал, — был ему ответ, — что не умею читать в желаньях; но все же могу тебе сказать, что твой сын желает тебя похоронить.

— Правильно, — ответил кабальеро: — это я сам вижу воочию и, можно сказать, осязаю.

И больше он ничего не спрашивал. Подошла жена дон Антонио и сказала:

— Не знаю, голова, о чем мне спросить тебя. Одно только желала бы я знать: долго ли мне на радость, проживет мой дорогой муж?

Ответ был:

— Долго, потому что его здоровье и умеренный образ жизни сулят ему много лет жизни, которую другие часто сокращают излишествами.

Подошел дон Кихот и спросил:

— Скажи мне, па все отвечающая голова, правда или сон, все то, что, по моим словам, случилось со мной в пещере Монтесипоса? Даст ли себе Санчо все назначенные ему удары? Будут ли сняты чары с Дульсины?

— Насчет пещеры, — был ему ответ, — многое можно было бы сказать: есть и правда, и сон; бичевание Санчо будет подвигаться вперед медленно; чары будут в свое время сняты с Дульсины.

— С меня довольно,—сказал Дон Кихот:—если только я увижу Дульсинею расколдованной, я буду считать, что все, чего я себе могу пожелать, уже совершилось.

Последним подошел к голове Санчо, спросивший следующее:

— А ну-ка, голова, получу ли я еще раз губернаторство? Выбьюсь ли из жалкого положения оруженосца? Увижу ли мою жену и детей?

Ответ был:

— Ты будешь губернатором в своем доме; и если вернешься туда, то увидишь свою жену и детей; покончив же со своей службой, ты перестанешь быть оруженосцем.

— Нечего сказать—ответ!—вскричал Санчо.— Я бы на это так сказал: ни дать, ни взять пророчество Перо Грульо.*

— Болван!—сказал дон Кихот.—А что же ты желал, чтоб тебе ответили? Недостаточно тебе, что ответы головы в точности соответствуют заданным вопросам?

— Вполне достаточно, — промолвил Санчо, — а все-таки мне хотелось бы получить от нее ответ пояснее и поподробнее.

Этим закончились вопросы и ответы, но не прекратилось изумление, охватившее всех, кроме двух друзей дон Антонио, знавших в чем дело. А в чем было дело—это Сид Амет Бененхели сразу же объяснил, не желая, чтобы весь мир пребывал в недоумении, и полагая, что здесь скрывается какое-то колдовство и необычная тайна. Он сообщает, что дон Антонио Морено, видевший в Мадриде подобную голову, изготовленную одним резчиком, сделал такую же у

себя дома, чтобы развлекаться и удивлять невежд; а механизм состоял вот в чем. Доска столика была из дерева, расписанная и раскрашенная под яшму, так же как и ножка его, с четырьмя орлиными лапами, выступавшими из нее для устойчивости. Голова, похожая на бюст, с лицом римского императора, выкрашенная под бронзу, была внутри полая, совершенно так же, как и доска столика, в которую она была так плотно вставлена, что не видно было и следа соединения. Ножка стола была тоже полая, являясь продолжением груди и горла головы, и все это сообщалось с другой комнатой, находившейся под той, где помещалась голова. Через всю эту полость, образуемую ножкой столика, его доской, грудью и горлом статуи, была проведена жестяная трубка, очень искусно, так что никто не мог ее заметить. В нижней комнате, сообщавшейся с верхней, прятался человек, который и отвечал на вопросы, приложив рот к жестяной трубке, так что голос шел, как по рупору, вниз и вверх, звуча вполне ясно и отчетливо; и таким образом невозможно было открыть обман. Ответы давал племянник дон Антонио, студент, очень умный и находчивый; и так как дядя предупредил его о том, кто войдет вместе с ним в этот день в комнату с головой, то ему нетрудно было быстро и ловко ответить на первый вопрос; а на другие он уже отвечал наугад, и так как он был человек сообразительный, то это вышло у него удачно. Сид Амет сообщает еще, что этот замечательный механизм действовал еще дней десять или двенадцать; но когда по городу разнесся слух, что в доме дон Антонио нахо-

дится волшебная голова, отвечающая на все вопросы, то хозяин ее, побаиваясь, как бы это не дошло до сведения вечно бдительных охранителей святой нашей веры, сам сообщил инквизиторам, как это у него устроено, и тогда они приказали ему немедленно эту голову уничтожить, дабы она не служила соблазном для невежественной толпы; но в глазах дон Кихота и Санчо Пансы голова таки осталась волшебной и дающей ответы, гораздо больше удовлетворявшие дон Кихота, чем Санчо.

Местные кабальеро, желая угодить дон Антонио, а также почтить дон Кихота и дать ему случай проявить свои чудачества, приказали устроить через шесть дней скачки с кольцами; однако они не состоялись, по причине, которая будет указана. Дон Кихоту захотелось прогуляться по городу запросто и пешком, так как он боялся, что если поедет верхом, то за ним опять погонятся мальчишки; и вот, вместе с Санчо и еще двумя слугами, которых приставил к нему дон Диэго, он вышел из дому. Случилось, что, проходя по какой-то улице, дон Кихот поднял глаза и увидел надпись крупнейшими буквами над дверью одного дома: «Здесь печатают книги»; он этому крайне обрадовался, потому что до сих пор не видел ни одной печатни; и ему захотелось узнать, как они устроены. Он вошел внутрь со всеми своими провожатыми и увидел, как в одном месте печатают, в другом вычитывают текст, здесь набирают, там поправляют, — словом, увидел тот распорядок, какой можно наблюдать в больших печатнях. Подойдя к одному из ящиков, дон Кихот спросил, что тут делается; рабочие ему объяснили, он

подивился и отправился дальше. Затем он подошел к одному рабочему и спросил, что он делает. Тот ответил:

— Сеньор, вот этот кабальеро, — и он указал на человека весьма представительной наружности и прилично одетого, стоявшего рядом с ним, — перевел одну книгу с тосканского * на наш язык, и я ее набираю для печати.

— Какое заглавие у этой книги? спросил дон Кихот.

На это писатель ответил:

— Сеньор, книга на тосканском языке называется: *Le Bagatelle*.

— А что значит по-нашему *Le Bagatelle*? — спросил дон Кихот.

— *Le Bagatelle*, — ответил писатель, — это значит: *Безде.луики*; но, несмотря на свое скромное название, эта книга содержит и заключает в себе вещи очень хорошие и значительные.

— Я знаю немного по-тоскански, — сказал дон Кихот, — и могу похвалиться, что в состоянии спеть несколько стапсов из Арпосто. Но скажите, ваша милость, сеньор мой, вопрос этот я вам задаю не для того, чтобы проверить ваши знания, но из одной только любознательности: встречается ли в этом произведении слово *pignatta*? †

— Да, несколько раз, — ответил писатель.

— А как ваша милость переводит его? — спросил дон Кихот.

— Да как же его перевести иначе, чем словом *воршок*?

— Чорт побери! — воскликнул дон Кихот. — Ваша милость — знаток в тосканском языке! Я готов поручиться, что там, где по-тоскански ска-

зано *riase*, ваша милость пишет — *угодно*, где *рий*, там — *больше*, *си* переводит — *вверху*, а *гий* — *внизу*.

— Конечно, — ответил писатель, — ведь это и есть правильные значения.

— Готов поклясться, — сказал дон Кихот, — что вы, ваша милость, неизвестны в свете, ибо свет плохо умсет награждать таланты и достойные труды. Сколько дарований таким путем заглохло! Сколько гениев погибло! Сколько достоинств презрено! Но все же мне кажется, что переводить с одного языка на другой, если только это не перевод с царственных языков — греческого или латинского, — то же, что рассматривать фламандские ковры с изнанки: хоть и видишь фигуры, они все же затуманены покрывающими их нптями, и пропадает вся окраска и гладкость лицевой стороны; при этом перевод с легких языков так же мало требует ума или стиля, как переписка или снимание копии с бумаг. Я не делаю однако вывода из этого, что ремесло переводчика — мало похвальное занятие, ибо есть много других дел, худших и менее почетных, которыми занимаются люди. Но все сказанное мною не относится к двум замечательным переводчикам — доктору Кристо́-бальо де Фигеро́а, автору *Верного Пастуха*, и дон Хуану де Ха́уреги, автору *Аминты*,* творенья коиш таковы, что не знаешь, где перевод и где подлинник. Однако скажите, ваша милость, вы эту книгу печатаете на свой счет, или уже запродали права на нее какому-нибудь книготорговцу?

— Я печатаю ее на свой счет, — ответил писатель, — и рассчитываю заработать не меньше тысячи дукатов на одном первом издании ее, которое

выйдет в количестве двух тысяч оттисков и будет мигом раскуплено по шести реалов за книгу.

— Хорош расчет, нечего сказать!—воскликнул дон Кихот. — Видно ваша милость не знает хитростей и уловок издателей, которые всегда действуют заодно. Могу вас уверить, что, когда у вас окажутся на плечах эти две тысячи оттисков, у вас так кости заломит, что вы ужаснетесь, особенно если книга чуточку скользкая и очень запозистая.

— Так что же мне делать, по вашему?— вскричал писатель, — подарить ее, что ли, издателю, который даст мне за право печатания три мараведиса, да еще будет воображать, что облагодетельствовал меня? Я печатаю свои книги не для славы, потому что я уже достаточно всем известен своими произведениями: я ищу барыша, без которого всякая слава ни гроша ни стоит.

— Да пошлет бог удачу вашей милости, — сказал дон Кихот.

И он подошел к другому месту, где исправляли один из листов книги, озаглавленной: *Светоч души*; * увидев ее, дон Кихот сказал:

— Вот такие книги, хоть их уж и не мало выпущено, следует печатать, потому что много есть грешных людей на земле, и требуется несметное количество света, чтобы озарить блуждающих во тьме.

Он пошел дальше и увидел, что там тоже исправляют какую-то книгу. Дон Кихот осведомился о ее заглавии, и ему ответили, что книга называется: *Вторая часть хитроумного идалго дон Кихота Ламанчского*, и что сочинил ее пекий автор, проживающий в селении Тордесильяс.

— Мне эта книга уже знакома, — сказал дон Кихот, — и, по правде-совести говоря, я думал, что она уже сожжена и обращена в пепел за ее нелепость; но и для нее, как и для всякой свиньи, наступит день святого Мартина; * потому что выдуманные истории хороши и занимательны только тогда, когда они приближаются к правде или похожи на нее, а правдивые истории тем лучше, чем больше в них правды.

И, сказав это, он с явным негодованием вышел из печати.

В тот же самый день дон Антонио задумал показать дон Кихоту галеры, стоявшие в гавани, чему Санчо крайне обрадовался, так как он ни разу в жизни не видел галер. Дон Антонио уведомил начальника эскадры, что в этот вечер он приведет осматривать галеры своего гостя, знаменитого дон Кихота Ламанчского, о котором уже прослышали и начальник эскадры, и все местные жители. А о том, что случилось при этом, мы расскажем в следующей главе.

ГЛАВА LXIII

о беде, случившейся с Санчо Пансой во время осмотра галер, и необычайное приключение с прекрасной мавританкой



он Кихот долго раздумывал по поводу ответа волшебной головы, но ничто не наталкивало его на мысль об обмане; и все время он вспомнил обещание, казавшееся ему непреложным, что с Дульсинеи будут сняты чары. Он повгорял себе это без конца и радовался в душе, надеясь вскоре увидеть осуществление этого. А Санчо, несмотря на известную нам нелюбовь его к губернаторству, мечтал о том, чтобы снова повелевать и внушать другим повиновение: такова горькая участь человека, отведавшего власти, хотя бы даже и шуточпой.

Итак, в этот вечер хозяин дома, дон Антонио, его два друга, дон Кихот и Санчо отправились на галеры. Начальник эскадры, извещенный о предстоящем приходе двух знаменитостей, дон Кихота и Санчо, ожидал их с большим удовольствием. Едва они прибыли на берег, как тотчас же на всех галерах были убраны тенты и заиграли гобои; затем спустили на воду ялик,

устланый роскошными коврами и красными бархатными подушками; и как только Дон Кихот ступил в него ногой, с борта адмиральской галеры грянул пушечный выстрел, на который откликнулись все другие галеры, а когда Дон



Кихот поднялся на палубу по сходням правого борга, вся команда приветствовала его тоекратным возгласом: «У-у-у!», издаваемым в тех случаях, когда галеру посещает какая-нибудь очень важная особа. Генерал (так мы будем называть знатного валенсианского кабальеро,

командовавшего галерой) подал дон Кихоту руку и обнял его со словами:

— Этот день я отмечу белым камнем, * как один из счастливейших, без сомнения, в моей жизни, в ознаменование того, что сегодня я увидел сеньора дон Кихота Ламанчского, вмещающего и воплощающего в себе всю доблесть странствующего рыцарства.

На это дон Кихот ответил в столь же изысканных выражениях, крайне обрадованный тем, что его так почтительно принимают. Все перешли на корму, богато убранную, и сели на скамейках, расположенных вдоль бортов; боцман прошелся между рядами гребцов и свистком подал им знак скинуть куртки, что и было исполнено в мгновение ока. Увидев столько обнаженных людей, Санчо обомлел, но его изумление еще более возросло при виде той быстроты, с какою поставили тент: словно все дьяволы были тут на работе. Но все это были пирожки да печатные пряники по сравнению с тем, о чем я расскажу сейчас. Санчо сидел у правого борта, рядом с первым гребцом; и вдруг этот гребец, заранес наученный, что ему делать, схватил Санчо и поднял его на руки, — а вся команда уже была наготове и не дремала, — и тут Санчо стал перелетать с рук на руки, вдоль правого борта, с такой быстротой, что у бедняги помутилось в глазах, и ему казалось, что его швыряют какие-то демоны, пока, наконец, прогуляв его таким же манером вдоль всего левого борта, они не опустили его на корму. Горемыка свалился, весь разбитый, задыхаясь, обливаясь холодным потом, не понимая, что такое с ним

произошло. Дон Кихот, видевший бескрылый полет Санчо, спросил генерала, не в обычае ли у них проделывать такие штуки со всеми, кто в первый раз попадет на галеры; если это так, то он не склонен подчиняться этому и не намерен подвергаться такой церемонии; чорт побери, первому, кто к нему подойдет с этой целью, он вышибет душу из тела, — и, говоря это, он вскочил на ноги и взялся за шпагу.

В это самое мгновение убрали тент и с ужасным грохотом опустили главную рею. Санчо показалось, что небо сорвалось с петель и обрушилось ему на голову, и он со страха спрятал ее между колен. Да и дон Кихоту стало как-то не по себе; он тоже вздрогнул, вобрал голову в плечи и изменился в лице. Затем команда подняла рею с такой же быстротой и таким же грохотом, с каким опустили ее, — и все это было проделано молча, словно у людей не было ни голоса, ни дыхания. Бодман дал знак, чтобы подняли якорь, затем подбежал к гребцам и, вооружившись плетью или кнутом, стал их стегать по плечам; и корабль медленно поплыл в море. Санчо, видя столько бегущих красных ног (какими казались ему весла), бормотал себе под нос:

— Вот уже, поистине, волшебство, не под стать тому, о котором болтает мой господин. Что сделали эти несчастные, которых так ужасно стегают? И как это один человек, что расхаживает между ними посвистывая, находит в себе смелость стегать столько народу? И впрямь это сущий ад, или, по меньшей мере, чистилище.

Видя, с каким вниманием Санчо смотрит на все происходящее вокруг него, дон Кихот сказал ему:

— Ах, друг мой Санчо, как просто и легко вы могли бы, если бы только захотели, обнажившись до пояса и заняв место среди этих господ, довести до конца расколдование Дульсинеи! Среди стольких мук и страданий других людей, вам легче было бы стерпеть ваши; и притом еще вполне возможно, что мудрый Мерлин зачтет вам каждый из этих ударов, данных такой увесистой рукой, за десять из числа тех, что вам остается еще нанести себе.

Генерал уже собрался спросить, о каких ударах идет тут речь и что это за история с расколдованием Дульсинеи, но в эту минуту вахтенный закричал:

— С Монжупка * дают сигнал, что у берега, с западной стороны, показалось весельное судно.

Услышав это, генерал выбежал на среднюю палубу и крикнул:

— Эй, ребята, не упустите это судно! Наверное, это какая-нибудь бригантина алжирских корсаров, о которой нас предупреждают!

Три другие галеры подъехали к адмиральской, чтобы узнать, какой будет дан им приказ. Генерал велел двум из них выйти в море, а третьей следовать вместе с ним вдоль берега, чтобы судно никак не могло ускользнуть от них. Гребцы налегли на весла, и галеры поспешили с такой быстротой, что, казалось, они не плыли, а летели. Те, что вышли в море, обнаружили, примерно в двух милях, судно, по виду с четырнадцатью или пятнадцатью скамьями гребцов, как это впоследствии и подтвердилось; заметив галеры, судно пустилось наутек, с намерением и в надежде спастись благодаря своей быстро-

ходности; но ему это не удалось, так как адмиральская галера оказалась одним из самых легких судов, когда-либо плававших в море, и она стала так быстро нагонять бригантину, что команда ее увидела, что им не спастись; и потому *аррдеэ* приказал своим людям сложить весла и сдаться, чтобы не раздражать еще больше начальника наших галер. Но судьба, которая всегда все устраняет по-своему, захотела, чтобы в ту минуту, как адмиральская галера подошла к бригантине так близко, что ее команда могла свободно расслышать голоса с галеры, приказывавшие сдаться, два пьяных *торакки*, иначе говоря турка, находившиеся на бригантине вместе с десятком своих земляков, выстрелили из мушкетов и убили двух солдат, стоявших на баке нашей галеры. Увидев это, генерал поклонился, что не оставит в живых ни одного человека из тех, кого захватит на бригантине, и яростно бросился на нее в атаку; но бригантина увернулась и пропала под неприятельскими веслами. Галера пробежала порядком вперед, и, пока она поворачивала, команда бригантины, видя себя погибшей, распустила паруса и снова попыталась спастись на парусах и на веслах; но манрам мало помогли их старания, а дерзость окончательно их погубила, потому что, пройдя немногим более полумили, адмиральская галера настигла бригантину и, сцепившись с нею, взяла всех в плен живыми. В это время подоспели и остальные две галеры, и все четыре вернулись со своей добычей в гавань, где их ждала несметная толпа народа, жаждавшая помотреть, с чем они возвратятся.

Генерал неподалеку от берега бросил якорь, и тут он увидел, что на набережную прибыл вице-король города. Тогда он велел спустить для вельможи на воду ялик и отдать рею, чтобы повесить на ней в ряд *арраэса* и остальных турок, захваченных на судне, — а было их тридцать шесть человек, все молодцы на подбор и по большей части турецкие мушкетеры. Генерал спросил, кто из них *арраэс*; на это один из пленников, оказавшийся испанским ренегатом, ответил ему на кастильском языке:

— Вот этот молодой человек, сеньор, который стоит перед тобой, и есть наш *арраэс*.

И он указал ему на юношу прекраснейшей и приятнейшей наружности, какую только можно себе вообразить. На вид ему можно было дать около двадцати лет. Генерал спросил его:

— Скажи, безумная собака, что побудило тебя убить моих людей в ту минуту, когда ты уже видел, что убежать тебе невозможно? Таково твое уважение к адмиральским судам? Или ты не знаешь, что безрассудство не есть храбрость? Смертельная опасность должна пробуждать в человеке смелость, но не безрассудство.

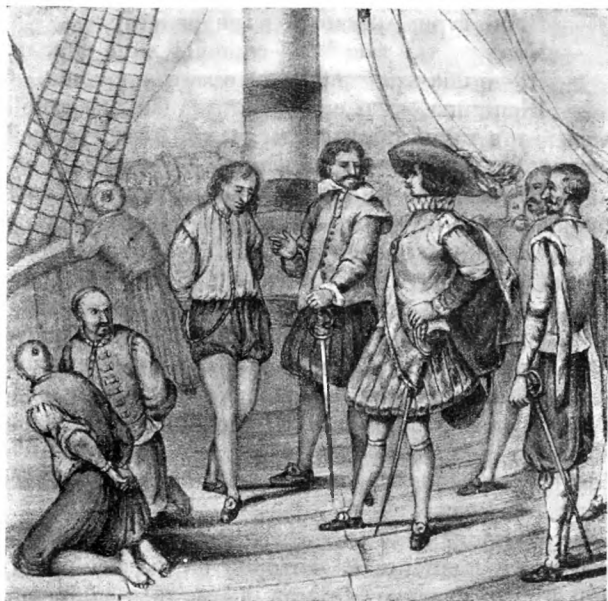
Арраэс хотел что-то ответить, но у генерала не было времени его выслушать, потому что он должен был идти встречать вице-короля, который прибыл уже на галере в сопровождении нескольких своих слуг и горожан.

— У вас была удачная охота, сеньор генерал! — сказал вице-король.

— Весьма удачная, — ответил генерал, — как ваша светлость сама сейчас убедится, увидев дичь, развешенную на рее.

— Почему так? — спросил вице-король.

— Потому что, — ответил генерал, — вопреки всем законам и всем военным правилам и обычаям, они убили двух лучших солдат, какие были на моих галерах, после чего я поклялся повесить



всех, кого захвачу из них, и в первую очередь вот этого юношу, *арраэса* бригаптины.

И он указал ему на молодого человека, который, со связанными руками и натянутой на шею веревкой, ожидал своей смерти. Вице-король посмотрел на юношу, такого красивого, изящного и

смирешного, — и в то мгновение красота послужила юноше лучшим рекомендательным письмом; вице-королю захотелось спасти его от смерти, и он спросил его:

— Скажи, *арраэс*, кто ты родом, турок, мавр или ренегат?

— Я не турок, не мавр и не ренегат.

— Кто же ты такой? — спросил вице-король.

— Женщина-христианка, — ответил юноша.

— Женщина, да еще христианка, в такой одежде и в таких обстоятельствах?! Этому скорей можно изумиться, чем поверить.

— Отложите, сеньоры, мою казнь, — сказал юноша: — вы не много потеряете, отсрочив вашу месть на столько времени, сколько потребуется, чтобы выслушать мою историю.

Чье жестокое сердце не смягчилось бы от этих слов, хотя бы настолько, чтобы пожелать выслушать повесть опечаленного злосчастного юноши? Генерал предоставил ему полную свободу слова, с тем однако условием, чтобы юноша не надеялся получить прощение за свою столь явную вину. Воспользовавшись разрешением, юноша так начал свой рассказ:

— Я происхожу из того несчастного и неразумного племени, на которое в недавнее время обрушилось столько бед: мои родители — мориски. Когда великая невзгода постигла мой народ, два моих дяди увезли меня в Берберию; и не помогли мне мои уверения, что я христианка, — какая я и есть на деле, не мнимая и притворная, а искренняя и правоверная. Напрасно я объявляла это тем, кто руководил делом нашего горестного изгнания, да и дядя и тетка мои не хотели мне

верить; они считали, что слова мои — ложь, придуманная для того, чтобы остаться в стране, где я родилась, и потому увезли меня не по доброй моей воле, а силой. Моя мать — христианка, и отец мой, человек разумный, тоже — христианин; вместе с молоком матери я впитала в себя христианскую веру, и отец воспитал меня в благоправии; ни в языке, ни в нравах моих ничем, как мне кажется, я не выказывала себя мавританкой; вместе с этими добродетелями (ибо я считаю их таковыми) расцвела и моя красота, — не знаю, впрочем, можно ли назвать меня красивой; и хотя жила я скромной затворницей, все же я не настолько чуждалась людей, чтобы меня не увидел один молодой кабальеро по имени Гаспар Грегорио, сын и прямой наследник майората, расположенного по соседству от нас. О том, как мы встречались, о чем говорили, как он потерял свое сердце, да и я своего не уберегла, — обо всем этом слишком долго было бы рассказывать, особенно сейчас, когда я в страхе ждущу, что жестокая веревка, сдавив мне горло, прервет мою речь, и потому скажу вам только то, что дон Грегорио пожелал сопутствовать мне в моем изгнании. Зная хорошо арабский язык, он смешался с толпой морисков, ехавших из других деревень, и в дороге подружился с моими дядей и теткой, а поехала я с ними потому, что мой отец, человек разумный и предусмотрительный, при первом известии о приказе, грозившем нам изгнанием, тотчас же уехал из деревни, чтобы подыскать для нас приют в каком-нибудь другом государстве. Он спрятал и закопал в таком месте, которое только мне одной известно, много жем-

чуга и драгоценных камней, вместе с некоторой суммой денег в крусадах* и золотых дублонах, велел мне ни в коем случае не прикасаться к этому сокровищу, если наше изгнание произойдет раньше, чем он вернется. Я исполнила его приказ и, как уже говорила вам, вместе со своим дядей, другими родичами и свойственниками уехала в Берберию; и там мы поселились в Алжире, иначе сказать — почти что в аду. Тамшний король прослышал о моей красоте, — да и молва о моем богатстве дошла до него, — и это, пожалуй, было для меня счастьем. Призвав меня к себе, он спросил, из каких мест Испании я родом и какие деньги и драгоценности с собой привезла. Я назвала ему нашу деревню и прибавила, что драгоценности и деньги мои зарыты там, но что я могу легко их раздобыть, если только сама съезжу за ними. Все это я ему сказала в надежде, что жадность ослепит его сильнее, чем моя красота. Пока он со мной разговаривал, пришли сообщить ему, что вместе со мной прибыл один юноша, такой красивой и привлекательной паружности, какую только можно себе вообразить. Я сразу же поняла, что речь идет о дон Гаспаре Грегорио, с которым не сравнится по красоте ни один из признанных красавцев. Меня смутила мысль об опасности, которой подвергался дон Грегорио, потому что у этих варваров-турок красивый мальчик или юноша ценится и ставится еще выше, чем прекраснейшая женщина. Король тотчас же велел привести его к себе, желая на него посмотреть, а меня он спросил, правда ли то, что об этом юноше рассказывают. Тогда я, словно по внушению неба, сказала королю, что все это

правда, но что я считаю необходимым ему сообщить, что это вовсе не мужчина, а женщина, как и я, и что я умоляю разрешить мне одеть ее в женское платье, чтобы красота ее выступила во всем своем блеске и чтобы сама она с меньшим смущением предстала перед ним. Король милостиво отпустил меня, обещав в следующий раз поговорить со мной о том, как бы устроить мою поездку в Испанию, чтобы добыть зарытые там сокровища. Я переговорила с дон Гаспаром, и, указав ему, какой опасности он подвергается, оставаясь мужчиной, нарядила его мавританкой и в тот же вечер привела к королю; а тот, увидев его, пришел в восхищение и решил оставить у себя эту девушку, имея в виду потом подарить ее Великому султану. Чтобы оградить ее от опасности, которой она подвергалась со стороны его самого, живя в его гареме, он приказал поселить ее в доме каких-то знатных мавританок, дабы они присматривали и ухаживали за ней; и дон Григорио немедленно туда отвел. О том, что мы оба при этом почувствовали (ибо я не стану скрывать, что я его люблю), предоставляю судить всякому любящему, испытывшему разлуку. Вслед затем король распорядился, чтобы меня доставил на этой бригантине в Испанию, в сопровождении двух природных турок, тех самых, что убили ваших солдат. Кроме того со мной поехал вот этот ренегат-испанец (тут она указала на пленника, с которым прежде всего заговорил генерал), о котором я достоверно знаю, что он тайный христианин и едет в Испанию с желанием остаться там и не возвращаться в Берберию; остальная же команда вся состоит из мавров и

турок, которые только простые гребды. Оба турка алчные и наглые, вопреки полученному ими приказу высадить меня и этого ренегата, переодетых в христианское платье (которым мы запаслись), в любом месте Испании, захотели сначала обследовать побережье и, если удастся, захватить какую-нибудь добычу; они боялись того, что если высадить нас сразу на берег и если с нами случится какая-нибудь беда, то мы выдадим присутствие в море бригантин, и тогда ее захватят галеры, плавающие вдоль берегов. Вчера вечером мы приблизились к вашей гавани, но не заметили четырех галер; они нас обнаружили, а что дальше случилось, вы знаете сами. И вот теперь доп Грегорио, переодетый женщиной, живет среди женщин, со всех сторон окруженный опасностью, а я стою здесь со связанными руками, ожидая или, лучше сказать, трепеща минуты, когда окончится моя жизнь, которая уже больше мне не мила. Таков, сеньоры, конец моей грустной истории, столь же правдивой, как и злосчастной; и единственное, о чем я вас прошу, — это позволить мне умереть, как подобает христианке, потому что, как я уже сказала, я не причастна к тому, в чем повинен мой народ.

И она замолчала, и на глазах ее появились горькие слезы, вызвавшие также обильные слезы у всех присутствующих. Виде-король, растроганный и полный сочувствия, подошел к ней и, не произнося ни слова, собственноручно развязал веревку, которая связывала прекрасные руки мавританки.

Между тем, пока мавританка-христианка рассказывала свою удивительную историю, с нее не

сводил глаз какой-то старый паломник, вошедший на галеру вместе с вице-королем; и едва мавританка кончила свой рассказ, как он бросился к ее ногам, обхватил их и голосом, прерывающимся от вздохов и рыданий, воскликнул:

— О Анна-Феликс, несчастная дочь моя! Я — твой отец Рикоте, вернувшийся, чтобы отыскать тебя, потому что я не могу без тебя жить, отрада души моей!

Услышав это, Санчо широко раскрыл глаза и поднял голову (которую до тех пор держал опущенной, раздумывая о неудачной своей прогулке); всмотревшись в паломника, он узнал в нем того самого Рикоте, которого встретил в день своего ухода с губернаторства; признал он и его дочь, которая, освобожденная от дут, обнимала отца, смешивая свои слезы с его слезами. Обращаясь к генералу и вице-королю, старик сказал:

— Эта девушка, сеньоры, — моя дочь, несчастья которой плохо согласуются с ее именем. * Ее зовут Анна-Феликс, по прозвищу Рикоте, и она столь же славится своей красотой, как и моим богатством. Я уехал со своей родины, чтобы в иностранных королевствах приискать приют и убежище для моей семьи; и, найдя его в Германии, я вернулся назад, перседетый паломником, вместе с несколькими другими пемцами, с целью отыскать мою дочь и великие сокровища, которые я здесь спрятал. Я не нашел свою дочь, но нашел свои сокровища, которые везу с собой, а сейчас, по страшной случайности, свидетелями которой вы были, я нашел и самое драгоценное мое сокровище, мою милую дочь. Если ничтожность нашей вины и слезы мои и моей дочери,

могут открыть врата милости в твердыне вашего правосудия, окажите эту милость нам, которые никогда не имели намерения оскорбить вас и никогда не участвовали в планах наших земляков, подвергшихся справедливому изгнанию.

Тут Санчо сказал:

— Мне хорошо известен этот Рикоте, и я знаю, что Анна-Феликс — действительно его дочь; а что касается других мелочишек — его отъезда и возвращения, этого я касаться не буду.

Все присутствующие были поражены этим необыкновенным происшествием, а генерал сказал:

— Без сомнения, ваши слезы помешают мне сдержать мою клятву: живите, прекрасная Анна-Феликс, столько лет на свете, сколько назначено вам небом; а дерзкие негодяи, совершившие преступление, пусть понесут заслуженную кару.

И он велел тотчас же повесить на рее двух турок; убивших его солдат; но вице-король стал горячо просить его не вешать их, говоря, что их поступок был скорее безумием, чем озорством; генерал уступил просьбам вице-короля, ибо не гоже вершить дела мести, когда гнев наш уже остыл. Затем стали обдумывать, как бы освободить дон Гаспар Грегорио от грозившей ему опасности; Рикоте объявил, что заплатит за это две тысячи с лишним дукатов жемчугом и другими драгоценностями. Было предложено много разных способов; но лучшим из них оказался тот, который предложил упомянутый уже нами ренегат-испанец; в виду того, что он знал, как, когда и где лучше всего высадиться, а кроме того ему был известен дом, где находился дон

Гаспар, он вызвался съездить в Алжир на каком-нибудь маленьком судне, самое большее с шестью скамьями и с гребцами-христианами. Генерал и вице-король стали обсуждать, можно ли положиться на ренегата и доверить ему христиан, которые поедут с ним гребцами; но Анна-Феликс поручилась за него, а ее отец Рикоте обещал выкупить христиан, если случится, что они попадут в плен.

После того как этот план всеми был принят, вице-король съехал на берег, а дон Антонио Морено увел к себе мавританку и ее отца. При этом вице-король просил его поместить их и ухаживать за ними как можно лучше, предлагая со своей стороны предоставить все, что есть у него в доме для их угощения: таково было сочувствие и расположение, которое вызвала в его сердце красота Анны-Феликс.

ГЛАВА LXIV

повествующая о приключении, которое доставило дон Кихоту больше горя, чем все, что с ним случилось до сих пор



ена дон Антонио Морено, — рассказывает история, — была крайне обрадована появлением Аппы-Феликс в ее доме. Она приняла ее весьма радушно, восхищенная как ее красотой, так и разумом, ибо мавританка равно блистала тем и другим; и все жители города, словно по колокольному звону, стекались смотреть на нее.

Дон Кихот сказал дон Антонио, что принятый ими план освобождения дон Григорио не хорош, так как он связан с большими опасностями и не сулит успеха, и что лучше бы отправили его самого в Берберию, вооруженного и на коне: он уж освободил бы пленника наперекор всему басурманскому сброду, как сделал это дон Гайферос, освобождая свою жену Мелпсендру.

— Не забудьте, ваша милость, — заметил на это Санчо, — что сеньор дон Гайферос освободил свою жену на твердой земле и увез ее сухим путем во Францию; а в данном случае, если мы даже и освободим дон Григорио, то не сможем

переправить его в Испанию, потому что перед нами будет море.

— Против всего есть лекарство, кроме смерти, — ответил дон Кихот: — к берегу подъедет судно, и мы сядем на него, хотя бы весь мир этому препятствовал.

— Очень уж складно ваша милость все это расписывает, — сказал Санчо, — только от слова до дела расстояние не малое, и я больше полагаюсь на ренегата, который мне кажется славным и душевным человеком.

Дон Антонио заявил, что если попытка ренегата не удастся, тогда обратятся к помощи дон Кихота и отправят его в Берберию.

Через два дня после этого реи егат отплыл на легком двенадцативесельном судне с самыми отборными гребцами, а еще через два дня и галеры двинулись на Восток; при этом генерал просил вице-короля любезно осведомлять его о ходе дела с освобождением дон Грегорио и обо всем, что случится с Анной-Феликс; и вице-король обещал исполнить его просьбу.

Однажды утром дон Кихот выехал прогуляться на берег в полном вооружении, с которым он ни на минуту не расставался (он любил повторять, что его парял — доспехи, а отдых — бой), и вдруг увидел едущего ему на встречу рыцаря, вооруженного точно так же с головы до ног, с изображением сияющей луны на щите; приблизившись настолько, чтобы его можно было слышать, рыцарь обратился к дон Кихоту и громким голосом произнес такие слова:

— О славный и еще никем достойно не восхваленный рыцарь дон Кихот Ламанчский, я — ры-

царь Белой Луны, неслыханные подвиги которого быть может, запечатали его образ в твоей памяти; я явился, чтобы сразиться с тобой и испытать силу твоей руки, с целью заставить тебя согласиться и признать, что моя дама,—кто бы она ни была,—несравненно прекраснее твоей Дульсиныи Тобосской; если ты немедленно признаешь эту истину, ты избавишь себя от смерти, а меня — от труда убивать тебя; а если ты станешь со мной биться и будешь мною побежден, то я требую одного: чтобы, сложив оружие и перестав искать приключений, ты вернулся и удался в свое селение и прожил там год, не прикасался к мечу, в мирной тишине и благом спокойствии, на пользу твоему хозяйству и спасению твоей души; а если ты меня победишь, ты можешь отрубить мне голову, и вместе с моим конем и доспехами к тебе перейдет слава моих подвигов, приумножив этим твою. Подумай, как лучше тебе поступить, и ответь мне быстро, потому что я решил сегодня же покончить с этим делом.

Дон Кихот был поражен и изумлен как надменностию рыцаря Белой Луны, так и причиной его вызова; и он с горделивым спокойствием и достоинством ответил ему:

— О рыцарь Белой Луны, о подвигах которого я доселе не слышал, я готов поклясться, что вы никогда не видели высокородной Дульсиныи; ибо я уверен, что если бы вы ее видели, то остереглись бы делать этот вызов; один ее вид убедил бы вас, что не было и не может быть на свете красавицы, подобной Дульсинеи. И потому я не буду говорить, что вы лжете, но скажу, что вы ошибаетесь; и я принимаю ваш вызов немедленно,

не откладывая до следующего дня, со всеми изложенными вами условиями, за исключением все же одного: чтобы ко мне перешла слава ваших подвигов, ибо я не знаю, каковы они и в чем состоят; с меня довольно моих собственных подвигов, каковы бы они ни были. Выбирайте же себе место на этом поле, какое пожелаете, а я выберу свое, и кому бог счастье пошлет, того и святой Петр благословит.

В городе уже заметили рыцаря Белой Луны и доложили вице-королю о его прибытии и о том, что он беседует с дон Кихотом Ламапским. Вице-король, полагая, что это какое-нибудь новое приключение, придуманное дон Антонио Морено или другим местным кабальеро, тотчас же вместе с дон Антонио и множеством других кабальеро, последовавшими за ним, отправился на берег и прибыл туда в ту самую минуту, как дон Кихот поворачивал Росипанта, чтобы занять боевую позицию. Увидя, что оба рыцаря готовы ринуться друг на друга, вице-король стал между ними и спросил, какая причина побуждает их вступить в этот внезапный бой. Рыцарь Белой Луны ответил, что между ними идет спор о первенстве красоты, и вкратце повторил все то, что уже сказал дон Кихоту, упомянув и условия поединка, принятые обеими сторонами. Вице-король подошел к дон Антонио и тихонько спросил, известно ли ему, кто такой этот рыцарь Белой Луны и не шутка ли все это, которую хотят сыграть с дон Кихотом. На это дон Антонио ответил, что он не знает, кто этот рыцарь, ни того, в шутку или всерьез сделан вызов. Этот ответ крайне смутил вице-короля, который не знал, следует ли ему

допустить этот поединок или нет; уверенный однако, что это должна быть какая-нибудь шутка, он отошел в сторону и сказал:

— Сеньоры кабальеро, если вам остается только либо настоять на своем, либо умереть, и ни сеньор дон Кихот, ни ваша милость, рыцарь Белой Луны, не желаете уступить, то, с божьей помощью, начинайте бой.

Рыцарь Белой Луны в пристойных и учтивых выражениях поблагодарил вице-короля за данное им разрешение, и то же самое сделал дон Кихот. Затем наш рыцарь, поручив себя от всей души богу и своей Дульсинея (ибо так он делал всегда, перед началом каждого боя), отъехал еще немного назад для разбега, подражая в этом своему противнику, и без трубного звука или какого-нибудь другого боевого сигнала к нападению, они оба в одно и то же мгновение пустились вскачь своих коней; но так как конь незнакомца был быстрее, то он проскакал две трети разделявшего их расстояния, и рыцарь Белой Луны налетел на дон Кихота с такой силой, что, не ударяя его копьем (которое он, видимо, нарочно поднял вверх), он заставил его вместе с Росинантом тяжело грохнуться на землю. Затем он подскакал к нему и, приставив коня к его забралу, сказал:

— Вы побеждены, рыцарь, и немедленно умрете, если не признаете того, что я от вас потребовал.

Дон Кихот, помятый и оглушенный падением, не поднимая забрала, слабым и глухим голосом, доносившимся словно из могилы, ответил:

— Дульсинея Тобосская — самая прекрасная женщина в мире, а я — самый несчастный ры-

царь на свете; я не отрекусь от истины, хоть и бессилен защищать ее. Вонзай свое копьё, рыцарь, и возьми мою жизнь, раз ты отнял у меня честь.

— Этого я ни за что не сделаю, — возразил рыцарь Белой Луны; — пусть дветет во всей своей чи-



стоте и славе красота Дульсинеи Тобосской! Единственное, чего я требую, — это чтобы великий дон Кихот удалился в свое селение на год или на тот срок, который я ему укажу, согласно условию, заключенному нами перед началом поединка.

Все это слышали вице-король, дон Антонио и много других лиц, там присутствовавших, так же, как слышали они и ответ дон Кихота, который изъявил согласие, в качестве честного и добросовестного рыцаря, выполнить все, что от него потребуют, если только это не будет связано с ущербом для чести Дульсины. Получив такое заявление, рыцарь Белой Луны повернул коня и, почтительно поклонившись вице-королю, коротким галопом поскакал в город.

Вице-король попросил дон Антонио последовать за ним и узнать во что бы то ни стало, кто он такой. Подняли с земли дон Кихота и открыли его лицо, бледное и покрытое потом. Росинант же был в таком плохом состоянии, что не мог двинуться с места. Санчо, глубоко опечаленный и расстроенный, не знал, что сказать и что делать; ему казалось, что все это происходит во сне, что во всей этой диковине замешано волшебство. На его глазах господин его был побежден и обязался целый год не брать в руки оружия; он видел, что закатился блеск славы великих подвигов, видел, как его собственные упования на недавние посулы хозяина исчезли и развеялись как дым. А что, если Росинант все суставы себе вывихнул, а его господин вдруг окажется не свихнувшимся*? (хотя последнее вопистину следовало бы признать великим счастьем!) Наконец, дон Кихота на носилках, за которыми послал вице-король, понесли в город, а вслед за ним отправился туда же и сам вице-король, томимый желанием узнать, кто был рыцарь Белой Луны, так жестоко расправившийся с дон Кихотом.

ГЛАВА LXV

*где разъясняется, кто был рыцарь Белой Луны,
а также рассказывается об освобождении дон
Грегорио и о других происшествиях*



он Антонио Морено поехал вдогонку за рыцарем Белой Луны, за которым кроме того последовала и которого почти что преследовала толпа мальчишек до тех пор, пока он не укрылся в одной из городских гостиниц. Желая узнать, кто этот незнакомец, дон Антонио вошел вслед за ним. Навстречу рыцарю вышел слуга, чтобы снять с него доспехи; рыцарь прошел в залу нижнего этажа, и туда же направился за ним дон Антонио, которому не терпелось узнать, кто это такой. Заметив, что посторонний кабальеро не отстаёт от него, рыцарь Белой Луны сказал:

— Я вижу, сеньор, что вы пришли для того, чтобы узнать, кто я; и, так как мне незачем скрываться, я вам открою это с полнейшей правдивостью, пока слуга будет снимать с меня доспехи. Знайте, сеньор, что меня зовут бакалавр Самсон Карраско; я живу в том же селе, что и дон Кихот Ламанчский, безумие и дурачества

которого внушают глубокое сострадание всем, кто его знает, а один из тех, кого они особенно печалили, — это я; решив, что средство к его исцелению — это покой и возвращение домой на родину, я прибегнул к хитрости, чтобы заставить его вернуться, и три месяца тому назад я настиг его, нарядившись странствующим рыцарем, под именем рыцаря Зеркал, с целью сразиться с ним и победить, не причиняя ему вреда, предварительно выставив условием поединка обязательство со стороны побежденного вполне отдаться на волю победителя; я собирался предъявить к нему требование (уже заранее считая его побежденным) вернуться к себе домой и не выезжать отсюда в течение года, полагая, что за это время он успеет излечиться; но судьба решила иначе, и не я его, а он меня победил, сбросив с лошади, вследствие чего мой замысел не осуществился; после этого он продолжал свой путь, а я вернулся домой побежденный, пристыженный и порядком пострадавший от своего падения; это однако не отбило у меня охоты еще раз попробовать отыскать его и победить, что сегодня мне и удалось сделать, как вы видели. И так как он строго соблюдает свои рыцарские законы, то я не сомневаюсь, что он сдержит данное им мне слово. Вот как, сеньор, обстоит дело, и к сказанному мне больше печего прибавить. Но только прошу вас не выдавайте меня и не говорите дон Кихоту, кто я такой, дабы исполнилось мое доброе намерение вернуть разум человеку, который обладает им в полной мере, стоит лишь ему забыть на минуту свои рыцарские бредни.

— Ах, сеньор, — сказал дон Антонио, — да про-

стит вам бог тот ущерб, который вы наносите всему миру, стараясь вернуть рассудок самому запятному безумцу на свете! Неужели, сеньор, вам не ясно, что польза, могущая произойти от исцеления дон Кихота, не сравнится с тем удовольствием, которое доставляют его безумства? Но мне думается, что, несмотря на все свое искусство, сеньор бакалавр окажется беспильным возвратить рассудок человеку, столь непоправимо безумному; боюсь погрешить против человеколюбия, но я бы очень желал, чтобы дон Кихот никогда не исцелялся, потому что с возвращением к нему здоровья мы лишимся не только его чудачеств, но и остроумия его оруженосца Санчо Пансы, из которых любая может развеселить самого мрачного меланхолика. Но, несмотря на это, я буду молчать и ничего не скажу дон Кихоту, так как желаю воочию убедиться в том, что все старания сеньора Карраско ни к чему не приведут.

На это бакалавр ответил, что дело его безусловно налаживается и он рассчитывает на счастливый исход его; простившись с дон Антошко, предложившим ему свои всяческие услуги, он велел нагрузить свои доспехи на мула и на том самом коне, на котором бился с дон Кихотом, уехал в тот же день из города и вернулся к себе домой, причем в пути с ним не случилось ничего, заслуживающего быть упомянутым в этой правдивой истории.

Дон Антонио передал вице-королю все, что Карраско ему рассказал, и вице-королю это весьма мало понравилось, так как возвращение дон Кихота на родину заранее лишило огромного удо-

вольствия всех тех, кто мог прослышать о его безумствах.

Шесть дней пролежал дон Кихот в постели, печальный, унылый, мрачный и расстроенный, без конца вспоминая подробности своего злосчастного поражения. Пытаясь утешить его, Санчо ему говорил:

— Господин мой, поднимите голову, постарайтесь развеселиться и поблагодарите небо за то, что, упав на землю, вы не сломали себе ни одного ребра; помните, ваша милость, что где найдешь, там и потеряешь, и не всегда на крючке висит окорок. Покажите фигу доктору (потому что для вашей болезни он вам не надобен) и вернитесь домой, бросив эти поиски приключений по неизвестным нам землям и городам; если толком рассудить, то в этом деле больше всего потерял я, хотя, правда, вашу милость здесь здорово потрепали. Ведь, побывав губернатором и утратив вкус к управлению, я не потерял еще охоты сделаться графом, а это никогда не исполнится потому, что ваша милость, бросив свое рыцарское занятие, теперь уже не делается королем; и теперь всем моим надеждам суждено развеяться дымом.

— Молчи, Санчо, ведь ты знаешь, что моя ссылка и заточение продлится только год, а после этого я снова вернусь к моему благородному занятию; и тогда уж я добуду себе королевство, а тебе графство.

— Пусть бы услышал вас бог, а дьявол остался глух, — сказал Санчо: — недаром говорится, что лучше хорошего ожидать, чем дрянью обладать.

В эту минуту вошел дон Антонио и с радостным видом воскликнул:

— Добрые вести, сеньор дон Кихот! Дон Григорно вместе с ренегатом, поехавшим за ним, прибыли в гавань! Да что я говорю — в гавань! Они уже у вице-короля и сейчас будут здесь!

Дон Кихот повеселел немного и сказал:

— Право, я готов сказать, что меня обрадовало бы, если бы вышло наоборот, потому что это заставило бы меня отправиться в Берберию, и там, силою моей руки, я освободил бы не только дон Григорно, но и всех христиан, томившихся в плену. Но что я говорю, несчастный? Разве я не побежден, не сброшен с коня на землю? Не запрещено ли мне в продолжение года братья за оружие? Так что же я обещаю и чем хвастаю, когда мне больше пристало теперь орудовать прямой, а не мечом?

— Бросьте об этом толковать, сеньор, — сказал Санчо. — Живи, живи, курица, хотя бы и с тишунном на языке! Сегодня ты, а завтра я; не стоит этим случайным стычкам и потасовкам придавать большое значение, потому что побитый сегодня, завтра встанет, если только не вздумает по доброй воле лежать в постели; я хочу сказать, если он не раскиснет так, что не сможет собраться с духом для новых трудов. А теперь, ваша милость, вставайте, чтобы принять дон Григорно: судя по шуму в доме, он наверное уже пришел.

И это было так; после того как он совместно с ренегатом сделал доклад вице-королю обо всем, что с ним случилось на пути туда и обратно, дон Григорно, желая скорее повидать Анну-Феликс, отправился с ренегатом к дон Антонию; и хотя в ту минуту, когда его увозили из Алжира,

дон Грегорио был в женском платье, он обменялся одеждой на судне с одним пленником, который возвращался с ним вместе; но в каком бы платье он ни был, он вызывал всеобщее восхищение, сочувствие и уважение к себе, до того был красив этот юноша, на вид лет семнадцати или восемнадцати. Рикоте и его дочь вышли встретить его: отец со слезами на глазах, дочь — со скромной сдержанностью. Они не бросились друг другу в объятия, ибо сильная любовь обычно застенчива в своих проявлениях. Все присутствующие больше всего дивились красоте дон Грегорио и Анны-Феликс, стоявших рядом. Молчание говорило за обоих влюбленных, и взорами, а не словами, поверяли они друг другу свои радостные и чистые мысли. Ренегат рассказал о способах и хитростях, примененных им для освобождения дон Грегорио, а тот рассказал о тех страхах, которым он подвергался, живя среди женщин, и все это он изложил кратко, без многословия, обнаружив этим свой ум, развитый не по летам. После этого Рикоте расплатился с ренегатом и гребцами, щедро вознаградив их. Ренегат воссоединился с церковью и снова вступил в ее лоно, через раскаяние и покаяние сделавшись вместо гнилого — здоровым и чистым членом ее.

Для через два после этого вице-король завел с дон Антонио речь о том, как бы устроить так, чтобы Анне-Феликс и ее отцу не пришлось покидать Испанию, потому что, по их мнению, такую ревностную христианку с ее, видимо, благомыслящим отцом без всякого ущерба можно было оставить на родине. Дон Антонио вызвался похлопотать об этом в столице, так как ему

нужно было по другим делам туда ехать, и высказал мысль, что при поддержке высоких лиц и с помощью подарков там можно преодолеть многие трудности.

— Нет, — сказал Рикоте, присутствовавший при этом разговоре, — тут не помогут ни высокие лица, ни подарки; потому что на великого дон Бернардино де Веласко, графа де Саласár,* уполномоченного его величеством руководить нашим изгнанием, не действуют ни просьбы, ни обещания, ни подарки, ни зрелище человеческих страданий; ибо хоть и правда, что он соединяет правосудие с милосердием, однако, видя, что весь ствол нашего народа заражен и гниет, он лечит его каленым железом, а не смягчающей мазью; таким-то образом, с помощью благоразумия, пропидательности, рвения и страха, им внушаемого, он должным образом осуществляет эту тяжелую задачу, возложенную на его могучие плечи, не позволяя моим землякам всяческими усилиями, хитростями, уловками и обманами ослепить его глаза Аргуса: и он неусыпно следит, чтобы никто из наших не остался, укрывшись от его взора, и, как таящийся под землей корень, не породил бы затем ядовитых ростков и плодов в Испании, очистившейся и освободившейся от страха, в котором ее держало наше племя. Героическое решение принял Филипп третий, и необычайную проявил он мудрость, доверив это дело дон Бернардино Веласко!

— Как бы там ни было, я сделаю в столице все возможное, — сказал дон Антонио, — а там будет видно, что бог пошлет. Дон Грегорио поедет со мной, чтобы утешить своих родителей,

которые без сомнения опечалены его исчезновением, а Анна-Феликс останется в моем доме с моей женой или проживет это время в монастыре; что же касается доброго Рикоте, то я уверен, что сеньор вице-король охотно приютит его у себя до тех пор, пока не выяснятся результаты моих хлопот.

Вице-король согласился на все эти предложения; но дон Грегорио, узнав, о чем идет речь, заявил, что ни за что не хочет и не согласен расстаться с доньей Анной-Феликс; однако, рассудив, что, повидавшись со своими родителями, он вскоре сможет вернуться к возлюбленной, он уступил общему желанию. Донья Анна-Феликс осталась у жены дон Антонио, а Рикоте — в доме вице-короля.

Наступил день отъезда дон Антонио, а еще через два дня — и дон Кихота с Санчо Пансой, потому что ушибы, полученные при падении с коня, не позволили дон Кихоту выехать раньше. Немало было пролито слез, немало было вздохов, стонов и рыданий при расставании дон Грегорио с доньей Анной-Феликс. Рикоте предложил дон Грегорио на всякий случай тысячу эскудо, тот отказался и занял пять эскудо у дон Антонио, обещав вернуть их ему в столице. После этого они уехали, а вскоре затем, как мы уже сказали, отбыли и дон Кихот с Санчо; дон Кихот — без оружия, в дорожном платье, а Санчо — пешком, потому что на серого были павьючены доспехи.

ГЛАВА LXVI

*рассказывающая о том, о чем читатель прочтет,
а слушатель услышит*



окидая Барселону, дон Кихот обернулся, чтобы посмотреть на то место, где его сбросили с коня, и воскликнул:

— Здесь была Троя! Здесь моя злая судьба, а не трусость, похитила у меня приобретенную ранее славу; здесь Фортуна показала мне все свое непостоянство; здесь затмился блеск моих подвигов; короче говоря; здесь пала моя удача, чтобы никогда более не подняться!

Услышав это, Санчо сказал:

— Человеку мужественному, сеньор мой, столь же подобает быть терпеливым в бедствии, как и радостным в счастье; я сужу об этом по себе: когда я был губернатором, я чувствовал себя веселым, да и теперь не горюю, оказавшись пешим оруженосцем. Слышал я, что особа, называемая Фортуной, баба хмельная и взбалмошная, да притом еще слепая, так что она сама не видит, что делает, и не знает, кого она унижает и кого вышшает.

— Ты большой философ, Санчо,— ответил дон Кихот,— и рассуждаешь очень разумно; не знаю, кто тебя научил этому. Замечу тебе однако, что на свете нет Фортуны, и все, что в нем совершается хорошего или дурного, происходит не случайно, а по особому предопределению неба, откуда и ведет начало поговорка: «каждый из нас кузнец своего счастья». Я тоже был кузнецом своего счастья; но при этом я не выказал должного благоразумия, вследствие чего моя самонадеянность довела меня до беды; ибо я должен был сообразить, что могучему и рослому коню рыцаря Белой Луны не может противостоять мой тощий Росинант. И все же я дерзнул принять бой; я сделал, что мог, и однако был вышиблен из седла; но, хотя я утратил честь, я не утратил и никогда не утрачу верности данному мною слову. Когда я был смелым и доблестным странствующим рыцарем, моя рука и мои подвиги ясно показывали, каковы мои дела, а теперь, когда я перешел на положение оседлого идадьго, я покажу, что значит мое слово, выполнив взятое на себя обязательство. Итак, вперед, друг мой Санчо; мы проведем у себя дома год искуса и после этого заточения с новыми сплами вернемся к военному ремеслу, от которого я никогда не откажусь.

— Сенбор,— сказал Санчо,— не очень-то это сладко — шагать пешком, и у меня мало охоты делать большие переходы. Давайте, отряхнем с себя прах рыцарства и повесим эти доспехи на какое-нибудь дерево, и, когда я сяду на спину серого и отделю ноги от земли, мы сможем совершать такие переходы, какие ваша милость

пожелает и прикажет; но ждать, чтобы я, шлепая пешком, делал большие концы, — значит требовать от меня невозможного.

— Ты прав, Санчо, — сказал дон Кихот: — повесим мои доспехи в виде трофея, а под ними или около них сделаем на деревьях такую же надпись, какая была начертана на таковом же трофее Роланда:

..... Коснуться их достоин
Лишь доблестью Роланду равный воин.*

— Вот золотые слова, — промолвил Санчо, — и если бы Росинант не был нам нужен для путешествия, я бы предложил подвесить сюда и его.

— Нет, я не хочу отречься ни от него, ни от моих доспехов, — воскликнул дон Кихот, — чтобы не сказали, что я плохо плачу за службу!

— Это вы правильно заметили, ваша милость, — сказал Санчо. — Умные люди говорят, что не следует казнить седло за вину осла; а так как во всем случившемся виновата ваша милость, то и наказывайте самого себя, а не вымещайте свой гнев ни на этих избитых и окровавленных доспехах, ни на кротком Росинанте, ни на моих нежных ногах, требуя, чтобы они шагали больше, чем им полагается.

В подобных речах и беседах прошел весь день, а за ним и следующие четыре, в продолжение которых дон Кихот и Санчо не встретили никаких помех на своем пути. А на пятый день, зайдя в какое-то село, они увидели у дверей гостиницы большую толпу людей, веселившихся по случаю праздника. И, когда дон Кихот подъехал к ним, какой-то крестьянин громко сказал:

— Пусть один из этих сеньоров, которые только что приехали и не знают спорящих сторон, рассудят это дело с закладом.

— Я охотно это сделаю,— ответил дон Кихот,— и решу его справедливо, если только смогу в нем разобраться.

— Вот как обстоит дело, почтенный сеньор,— сказал крестьянин.— Один из жителей нашего села, такой тучный, что он весит одиннадцать арроб,^{*} вызвал на состязание в беге своего соседа, весящего только пять арроб. По условию они должны пробежать расстояние в сто шагов, но при этом с одинаковым грузом; когда толстяка спросили, как же уравновесить груз, он предложил, чтобы противник его, весящий пять арроб, нагрузил на себя шесть арроб железа, так что тогда и толстяку и тощему придется тащить на себе одиннадцать арроб.

— Я не согласен,— вмешался тут Санчо, прежде чем дон Кихот успел ответить.— Позвольте мне, который еще недавно, как всякому известно, был судьей и губернатором, разрешить ваши сомнения и изречь приговор.

— Говори, в добрый час, мой друг Санчо,— сказал дон Кихот:— я ни на что сейчас не го-жусь, до того мой ум встревожен, и все мысли перепутались.

Получив это разрешение, Санчо заговорил, обращаясь к крестьянам, которые столпились вокруг него, разинув рот, в ожидании его приговора:

— Братцы, в том, чего требует толстяк, нет ни смысла, ни тепи справедливости; потому что вызванному на бой, как все должно быть при-

знают, принадлежит выбор оружия, и, значит, вызвавший не может навязывать ему условия, которое ему помешает и не позволит победить. Поэтому мое решение таково: пусть толстяк, вызвавший тощего, подчистит, подскоблит, пригладит, подрежет и сократит себя в любом месте своего тела, по собственному своему выбору и желанию, так, чтобы убавить своего мяса на шесть арроб, и, когда в нем останется пять арроб веса, он сравняется по тяжести со своим противником, весящим пять арроб, и они смогут бежать на равных условиях.

— Чорт побери! — вскричал один крестьянин, выслушав приговор Санчо. — Этот сеньор рассуждает, как святой, и решает дела, как каноник! Но только наверное толстяк не захочет снять с себя даже унции мяса, не то что шесть арроб.

— Тогда лучше всего им вовсе не бегать, — заявил другой крестьянин, — если тощий не хочет сомлеть под своим грузом, а толстяк — кромсать себя; пусть половина заклада пойдет на вино; отправимся, прах его побери, в хорошую таверну, пригласим этих сеньоров и точка!

— Благодарю вас, сеньоры, — сказал дон Кихот, — но я не могу задерживаться здесь ни на минуту; печальные обстоятельства и грустные мысли заставляют меня быть невежливым и торопиться в путь.

И, припшорив Росинанта, он проехал дальше, столь же удивив крестьян своей странной и примечательной внешностью, сколько Санчо, принятый ими за слугу рыцаря, удивил их своей мудростью. Один из крестьян воскликнул:

— Если слуга так умен, то каков же должен

быть господин! Бьюсь об заклад, что если они едут учиться в Саламанку, то не успеешь оглянуться, как они сделаются столичными алькальдами; надо только учиться, а все остальное — чепуха; да еще не мешает иметь протекцию и удачу, — и глядь, у тебя в руках жезл* или епископская шапка на голове.

Эту ночь господин и слуга провели среди чистого поля, под открытым небом. На следующий день, продолжая свой путь, они повстречали пешехода с котомкой за плечами и с небольшим копьем или дротиком в руках; как это полагается пешему почтарю; приблизившись к дон Кихоту, он ускорил шаг и, почти подбежав к нему, поцеловал его в правую ляжку, — потому что выше он не мог достать, — и воскликнул с выражением живейшей радости:

— Ах, сеньор мой дон Кихот Ламанчский, вот то обрадуется от души мой господин герцог, узнав, что ваша милость возвращается к нему в замок! Ведь он попрежнему там живет с сеньорой герцогиней.

— Я вас не знаю, мой друг, — сказал дон Кихот, — и не пойму, кто вы такой, если вы не скажете этого сами.

— Я, сеньор дон Кихот, — ответил гонец, — Тосилос, лакей герцога, моего господина, не желающий биться с вашей милостью по поводу замужества дочери доньи Родригес.

— Бог мой! — воскликнул дон Кихот. — Возможно ли, что вы — тот самый человек, которого мои враги-волшебники превратили, как вы выразились, в лакея, чтобы лишить меня славных плодов победы?

— Полноте, почтеннейший сеньор, — ответил почтарь, — здесь не было никакого колдовства и никаких превращений: я выехал на арену таким



же лакеем Тосилосом, каким и покинул ее. Я просто захотел жениться без всякого боя, потому что девушка мне понравилась; но вышло иначе,

чем я рассчитывал, потому что, едва ваша милость уехала из замка, как герцог, мой господин, велел всыпать мне сто палок за то, что я не исполнил наказа, полученного перед боем; все кончилось тем, что девушка поступила в монахини, донья Родригес уехала в Кастилью, а я сейчас иду в Барселону, чтобы вручить вице-королю пакет с письмами от моего господина. Если вашей милости угодно хлебнуть настоящего, хоть и тепловатого винца, у меня есть с собой тыквенная бутылка, наполненная отличной влагой, и несколько кусков трончонского сыра, способного вызвать и пробудить жажду, если она заснула.

— Принимаю ваше предложение, — заявил Санчо. — Долой всякие церемонии, милейший Тосилос, и давайте скорей ваше вино, наперекор и на зло всем волшебникам Америки.

— Я вижу, Санчо, — сказал дон Кихот, — что ты величайший лакомка на свете и величайший тупица в мире, раз ты не понимаешь, что этот гонец очарован и есть лишь поддельный Тосилос. Оставайся здесь и насыщайся; а я поеду тихонько вперед, чтобы ты мог меня догнать.

Тосилос рассмеялся, извлек свою бутылку, вытащил сыр, достал хлебца, и вместе с Санчо они уселись на зеленой травке и в добром мире и согласии так усердно и старательно расправились со всем содержимым котомки, что напоследок даже облизали пакет с письмами, только потому что от него пахло сыром. Тосилос сказал Санчо:

— По-моему, дружище Санчо, твой господин должен быть сумасшедшим.

— Должен? — вскричал Санчо. — Он никому ничего не должен: он за все расплачивается чисто-

ганом, тем более, что его деньги — его безумие. Я это хорошо вижу и часто ему говорю. Да что толку? А особенно теперь, когда он совсем рехнулся, потому что его победил рыцарь Белой Луны.

Тосилос попросил его рассказать, как это случилось, но Санчо ответил, что невежливо заставлять своего господина так долго ждать, а в другой раз, когда они встретятся, он ему все расскажет. И, стряхнув со своей одежды и с бороды крошки, он встал, простился с Тосилосом, погнав серого и вскоре присоединился к дон Кихоту, ожидавшему его под тенью дерева.

ГЛАВА LXVII

о решении дон Кихота сделаться пастухом и вести жизнь среди полей до истечения положенного ему года и о других происшествиях, поистине занятных и веселых



сли уже раньше, до своего поражения, дон Кихот терзался множеством мыслей, то еще больше мучили они его после постигнутой им невзгоды. Он стоял, как мы уже сказали, под деревом, и словно мухи, слетающие на мед, его осаждали и жалили разные мысли: то он размышлял о снятии чар с Дульсинеи, то раздумывал о предстоявшем ему заточении. Тут подошел Санчо и стал расхваливать ему щедрость лакея Тосилоса.

— Неужели, Санчо, — воскликнул дон Кихот, — ты еще до сих пор считаешь его настоящим лакеем? Должно быть, ты забыл, что сам видел изменение и превращение Дульсинеи в крестьянку, а рыцаря Зеркал — в бакалавра Карраско? Ведь все это — дело преследующих меня волшебников! А теперь скажи: не спрашивал ли ты у человека, которого ты зовешь Тосилосом, что случилось с Альтисидорой? Плакивала ли она мой

отъезд или предала забвению любовные мысли, терзавшие ее в моем присутствии?

— Право, — ответил Санчо, — голова моя была занята, и у меня не было времени болтать о пустяках. Но вы-то, сеньор, — чорт побери! — неужели ваша милость способна сейчас интересоваться чужими мыслями, да еще любовными?

— Пойми Санчо, — ответил дон Кихот, — что есть большая разница между тем, что делается из любви, и тем, что делается из благодарности. Рыцарь может быть равнодушным, но никак не может, строго говоря, быть бесчувственным. Ясно, что Альтисидора влюбилась в меня; она подарила мне три косынки, как ты помнишь; плакала, когда я уезжал; проклинала меня, корила, жаловалась, — и все это, забыв всякий стыд, на глазах у людей: явное доказательство того, что она меня обожала; ибо гнев влюбленных всегда изливается в проклятиях. Я не мог подать ей никаких надежд и не мог одарить никакими сокровищами, ибо все мечты мои устремлены к Дульсинее, а сокровища странствующих рыцарей, подобно золоту бесенят, призрачны и обманчивы. Я могу одарить Альтисидору только памятью о ней, не идущую однако в ущерб памяти моей о Дульсинее, которой ты причиняешь великое зло тем, что откладываешь порку и бичевание твоего тела (пусть бы волки его пожрали!), желая лучше сберечь его для червей, чем воспользоваться им для ублаженья этой бедной сеньоры.

— Если уж говорить правду, сеньор, — сказал Санчо, — то я не понимаю, какая может быть связь между бичеванием моих ягодиц и расколдованием очарованных? Ведь это то же, что

такой совет: «если у тебя болит голова, натри себе мазью колени». По крайней мере я могу побожиться, что ни в одной истории о странствующих рыцарях, которые ваша милость прочла, нигде не говорится о снятии чар посредством бичевания; но уж ладно, я отстегая себя, когда у меня явится охота и подходящий случай, задать себе порку.

— Дай бог, — ответил дон Кихот, — и да просветит тебя небо настолько, чтобы ты понял возложенную на тебя обязанность помочь моей сеньоре, которая вместе с тем и твоя, раз я — твой господин.

В этих беседах продолжали они свой путь, пока не прибыли на то самое место, где их опрокинули быки. Дон Кихот узнал его и сказал Санчо:

— Вот тот лужок, где мы встретились с разодетыми пастушками и нарядными пастухами, пожелевшими создать и возродить здесь пастушескую Аркадию, — мысль столь не обычная, как и остроумная. И если ты согласен со мной, я хотел бы, о Санчо, чтобы, в подражание им, мы тоже сделались пастухами, хотя бы на то время, которое я должен провести в уединении. Я куплю несколько овец и все прочие вещи, необходимые для пастушеской жизни, назовусь пастухом *Кихотисом*, а ты пастухом *Пансино*, и мы будем бродить по горам, лесам и лугам, распевая тут, вздыхая там, утоляя жажду жидким хрусталем источников, прозрачных ручейков и многоводных рек. Дубы щедрою рукою отпустят нам свои сладчайшие плоды, крепчайшие стволы пробковых деревьев предложат нам сиденья, ивы — тень, розы — свой аромат, обширные луга — неисчислимыми цве-

тами отливающие ковры, чистый и прозрачный воздух — свое дыхание, луна и звезды — свой свет, побеждающий ночную тьму, песни — удовольствие, слезы — отраду, Аполлон — стихи, любовь — вымыслы, которые сделают нас бессмерт-



ными и прославят не только в наши дни, но и в грядущих веках.

— Чорт возьми, — вскричал Санчо, — вот такая жизнь мне по праву и по вкусу! И я уверен, что стоит бакалавру Карраско и мастеру Николасу, цырюльнику, издали ее увидеть, как им сразу же захочется приобщиться к ней и сделаться вместе с нами пастухами; да и нашего священника, чего

доброго, тоже возьмет охота залезть в нашу овчарню: ведь он большой весельчак и любит приятные вещи.

— Это ты правильно заметил, — сказал дон Кихот, — бакалавр Самсон Карраско, если он вступит в пастушеское звание, — а я уверен, что он это сделает, — может назваться пастухом *Самсо-нино* или *Каррасконом*, а дырюльник Николас — пастухом *Микулосо*, вроде того, как наш старый Боскан* назвал себя *Неморосо*; для священника сразу не придумаю имени, но, пожалуй, взяв за основу его сан, мы можем назвать его пастухом *Куриамбро*.* А найти имена для пастушек, в которых мы будем влюблены, нам так же легко, как нарвать груш с дерева; к тому же имя моей сеньоры одинаково подходит как для принцессы, так и для пастушки, так что мне незачем ломать голову, стараясь приискать лучшее, а для своей пастушки, Санчо, ты сам выберешь имя, какое пожелаешь.

— Я назову ее, — ответил Санчо, — не иначе, как *Тересона*,* потому что это имя подойдет и к ее толщине и к ее настоящему имени — Тереса; и, прославляя ее в моих стихах, я обнаружу чистоту моих помыслов, потому что я не из тех, которые заглядываются на чужих жен; священнику, по-моему, не следует заводить пастушку, чтобы не подавать дурного примера; а если бакалавр захочет иметь даму, — это его частное дело.

— Ну, и славно же, — воскликнул дон Кихот — мы заживем с тобой, Санчо! Сколько кларнетов, сколько саморских волюнок, сколько тамбуринов, бубен и рабелей будут услаждать

наш слух! И возможно, что к этой разнообразной музыке еще примешаются звуки альбогов!* У нас будет почти полный подбор пастушеских инструментов.

— Что такое *альбоги*? — спросил Санчо. — Я никогда в жизни их не видел, и даже названия такого не знаю.

— Альбоги, — сказал дон Кихот, — это тарелки, похожие на бронзовые подсвечники*: если ударить их друг о друга той стороной, где у них вогнутость и пустота, они издают звук, который, правда, не очень нежен и гармоничен, но все же не неприятен и вполне подходит к сельской простоте тамбурина и волынки. А название их — мавританского происхождения, как и у всех слов в нашем языке, начинающихся на *al*, например: *almohaza*, *almorzar*, *alhombrá*, *alguacil*, *alhucema*, *almacín*, *alcancal** и еще несколько им подобных; и только три мавританских слова в нашем языке оканчиваются на *í*, а именно: *borseguí*, *zaquíxamí* и *maravedí*. А арабское происхождение слов *alhel* и *alfaquí** ясно как по их первому слогу, так и по окончанию. Все это я тебе рассказал между прочим и только потому, что эти вещи невольно мне припомнились при произнесении слова *альбоги*. Далее, нам весьма поможет, думается мне, блестяще справиться с нашим новым положением то, что я немножко поэт, как тебе известно, а бакалавр Самсон Карраско — тот уже поэт настоящий. О священнике ничего не могу сказать; но готов биться об заклад, что у него есть нюх и чутье к стихотворству; не сомневаюсь, что и мастер Николас кое-что в этом деле смыслит, потому что все почти цырюльники бренчат на

гитарах и поют песенки. Я буду оплакивать разлуку; ты станешь воспевать свое постоянство в любви, пастух Карраскон — холодность своей возлюбленной; священник Куриамбро сам подыщет подходящий ему предмет; словом, все устроится так, что лучше желать невозможно.

На это Санчо ответил:

— Я, сеньор, такой несчастный человек, что не дожидаться мне, должно быть, этой прекрасной жизни. Ах, сколько деревянных ложек я наделал бы, если бы стал пастухом! Сколько бы у нас было кледок, сливок, венков и всякой пастушеской требухи! Тут уж наверное я бы прослыл если не умником, то большим ловкачом! Моя дочь Санчика приносила бы нам обед в поле. Впрочем, это дело опасное: потому что она недурна собой, а пастухи не все простачки, — есть между ними и лукавые, и я не хотел бы, чтобы отправившись за шерстью, моя дочка вернулась сама остриженной; ведь любовные шапши и нечистые желания водятся одинаково и среди полей и в городах, забредая и в королевские дворцы и в пастушеские хижинки, а убрать соблазн — и греха не будет; и чего глаз не видит, того и сердце не просит; и лучше во-время перепрыгнуть через забор чем потом кланяться попусту.

— Довольно пословиц, Санчо, — сказал дон Кихот, — потому что любой из них вполне достаточно, чтобы пояснить твою мысль. Сколько раз я тебе говорил, чтобы ты не нагромождал так пословицы, а пользовался ими умеренно! Но советовать тебе что-нибудь — то же, что проповедовать в пустыне: «мать меня наказывает, а я себе знай, волчок запускаю».

— А к вашей милости, — ответил Санчо, — можно применить поговорку: «сказала котлу сковорода: убирайся вон, черномазый». Вы меня укоряете за пословицы, а сами, ваша милость, так и нанизываете их парочками.

— Заметь, Санчо, — возразил дон Кихот, — что я привожу пословицы кстати, и они подходят к тому, что я сказал, как перстень к пальцу; а ты их притягиваешь за волосы и, можно сказать, не прилаживаешь, а силком загоняешь; я уже тебе говорил, если память мне не изменяет, что пословицы — это краткие изречения, извлеченные из опыта и размышления нашими древними мудрецами; но пословица, приведенная не кстати — просто-на-просто чепуха, а не изречение. Но довольно об этом, и, так как уже надвигается ночь, свернем-ка мы с большой дороги и выберем местечко, где мы могли бы заночевать; а там видно будет, что бог пошлет нам завтра.

Они отъехали от большой дороги и поздно и плохо поужинали, к превеликому огорчению Санчо, которому снова припомнились лишения, претерпеваемые странствующими рыцарями в лесах и горах, хотя они и сменяются иногда изобильем, как, например, в доме дон Диэго де Миранда, на свадьбе богача Камачо или у дон Антонио Морено; но, рассудив, что ни тьма, ни день никогда не тянутся непрерывно, Санчо спокойно заснул в эту ночь, между тем как дон Кихот провел ее в бдении.

ГЛАВА LXVIII

о колючем приключении, случившемся с дон Кихотом



очь была темная, хотя луна и находилась на небе, но, к сожалению, не в том месте, где ее можно было бы видеть, потому что иной раз сеньора Диана изволит отправляться к антиподам, оставляя горы во мраке и долины во тьме. Дон Кихот сосчитался с природой и заснул первым сном, не поддавшись однако второму, — в противоположность Санчо, у которого никогда не бывало второго сна, потому что сон его длился от ночи до утра, свидетельствуя этим о его добром здоровье и отсутствии забот. Между тем думы дон Кихота совсем разогнали его сон; он разбудил Санчо и сказал ему:

— Меня удивляет, Санчо, твой беспечный характер; право, кажется, ты сделан из мрамора или из твердой бронзы, неспособных ни к чувству, ни к движению. Я бодрствую, а ты себе спишь; я плачу, — ты поешь песни; я изнуряю себя постом, — ты с трудом шевелишься и еле дышешь, наевшись до отвала. Доброму слуге по-

добает разделять страдания своего господина и томиться его горем, хотя бы из приличия. Взгляни на тишину этой ночи, на это уединение, приглашающие нас прервать сон и немного пободрствовать. Встань, ради бога, и, отойдя немного в сторону, панеси себе, с доброй охотой и мужественной решимостью, триста или четыреста ударов в счет тех, которые тебе полагаются для расколдования Дульсиныи. Прошу тебя об этом и умоляю, потому что не хочу, как в прошлый раз, вступать с тобой в рукопашную, помня, что рука у тебя тяжелая. А после того как ты постегашь себя, мы проведем остаток ночи в пении; я буду петь о разлуке с моей милой, ты — о своем постыжестве, и этим мы положим начало той пастушеской жизни, которую будем вести у себя в деревне.

— Сеньор, — ответил Санчо, — я не монах, чтобы, прервав свой сон, вставать и заниматься истязанием плоти; а еще труднее, мне кажется, после ужасной боли от порки сразу перейти к музыке. Не мешайте мне, ваша милость, спать и не приставайте ко мне с этим бичеванием; не то я дам клятву, что никогда не прикоснусь даже к волоску на моем платье, не то что на теле.

— О черствая душа! О бессердечный оруженосец! Вот благодарность за хлеб, которым я кормил тебя, и за милости, которые я расточал и собирался еще расточать и впредь! Благодаря мне ты стал губернатором и благодаря мне питаешь надежду сделаться вскоре графом или получить другой, не менее высокий титул; и надежда эта сразу же исполнится, как только окончится этот год, потому что я *post tenebras spero lucem*. *

— Не понимаю я таких слов, — ответил Санчо, — а знаю только одно: что покуда я сплю, то не знаю ни страха, ни надежд, ни трудов, ни блаженства; спасибо тому, кто изобрел сон — этот плащ, покрывающий все людские мысли, эту пищу, прогоняющую голод, эту воду, утоляющую жажду, этот огонь, согревающий стужу, этот холод, умеряющий жар, одним словом, эту единую для всех монету, которая все покупает, этот безмен и весы, выравнивающие вес короля и пастуха, мудреца и дурака. Одно только мне не нравится в сне: говорят, что он очень смахивает на смерть и что между спящим и мертвецом невелика разница.

— Никогда еще, Санчо, — сказал дон Кихот, — ты не произносил такой изящной речи; и это только подтверждает пословицу, которую ты любишь повторять: «не с тем, с кем родился, а с тем, с кем кормился».

— Ага, сеньор хозяин! — воскликнул Санчо. — Не я уж теперь напизываю пословицы: они слетают с уст вашей милости сразу парочками, не хуже, чем у меня. Правда, разница в том, что ваши пословицы приходятся кстати, а мои — ни к селу, ни к городу, но как-ни-как и те и другие — пословицы.

В эту минуту они услышали какой-то глухой шум и неприятные звуки, разносившиеся по окрестным долинам. Дон Кихот вскочил на ноги и схватился за меч, а Санчо залез под серого и загородился с боков грудой доспехов и ослиным седлом; ибо слуга был настолько же испуган, насколько его господин взволнован. Шум все усиливался, приближаясь к двум оробевшим

путникам, вернее сказать — к одному, так как мужество другого хорошо нам известно. А дело было в том, что несколько человек гнало в этот ночной час продавать на ярмарку шестьсот с лишним свиней, производивших своим визгом и хрюканьем такой шум, что дон Кихот и Санчо, не понимавшие, откуда он происходит, были совсем оглушены. Огромное хрюкающее стадо налетело и, не выказав никакого уважения ни к дону Кихоту, ни к Санчо, прошло ногами по обоим, разрушив траншею Санчо и опрокинув не только дон Кихота, но еще и Росинанта в придачу. Своим стремительным набегом полчище нечистых хрюкающих привело в смятение и потоптало седло, доспехи, серого, Росинанта, Санчо Пансу и дон Кихота. Санчо кое-как поднялся с земли и попросил у своего господина меч, вознамерившись заколоть с полдюжины невежливых сенбор свиней, ибо он уже успел узнать их. Но дон Кихот сказал:

— Оставь их, мой друг, этот позор послан мне в наказание за мой грех; и справедливая кара небес, постигающая побежденного странствующего рыцаря, состоит в том, что его грызут шакалы, жалят осы и топчут свиньи.

— Должно быть, и оруженосцев странствующих рыцарей постигает небесная кара, состоящая в том, что их кусают мухи, едят вши и терзает голод. Если бы мы, оруженосцы, были сыновьями странствующих рыцарей, которым мы служим, или их близкими родственниками, тогда пусть бы карали нас за их вину, вплоть до четвертого поколения. Но что общего у Пансы с дон Кихотом? Ну, да ладно, давайте приляжем где-

нибудь и просним остаток ночи, а как пошлет бог утро, может быть и дела наши поправятся.

— Спи, Санчо, — ответил дон Кихот, — спи ты, созданный для сна; а я, созданный чтобы бодрствовать, предамся в эти часы, отделяющие нас от дня, моей тоске и изолью ее в маленьком мадригале, который я сочинил на память прошлой ночью, когда ты и не подозревал об этом.

— Мне кажется, — сказал Санчо, — что тоска, которая выражается в сочинении стихов, не должна быть особенно тяжелой. Распевайте себе, ваша милость, сколько вам угодно; а я посплю, сколько мне удастся.

И тотчас же, отмерив себе на голой земле сколько ему самому было угодно, он свернулся клубочком и заснул крепким сном, не тревожимый ни долгами, ни поручительствами, ни заботой. А дон Кихот, прислонившись к стволу бука или пробкового дерева (Сид Амет Бененхели не дает здесь точных указаний), под аккомпанемент собственных вздохов зашел:

Амур, едва представлю,
Как мучишь ты, жестокий и ужасный, —
И к смерти дух свой правлю,
Покончить с мукой думая всечасной.

Но, лишь коснусь предела,
Где пристань в буре тягостной готова, —
В миг радость овладела,
И жизнь крепчает, и живу я снова.

Вся жизнь — уничтоженье,
И только смерть вновь к жизни возвращает.
Вот странное явленье,
Что вместе смерть и жизнь мне посылает!

Каждую строчку он сопровождал множеством вздохов и обильными слезами, как человек, сердце которого раздирается горечью поражения и разлукой с милой.

Между тем наступил день, и солнечные лучи ударили в глаза Санчо, который, пробудившись, потянулся и расправил свои ленивые члены. Увидев, какое опустошение свиньи произвели в его запасах, он ругнул сначала их, а потом и кой-кого повыше. Затем господин и слуга снова пустились в путь и под вечер увидели человек десять всадников и четырех или пятерых пешеходов, направляющихся им навстречу. Сердце у дон Кихота забилося, а у Санчо съезжилось, потому что все эти люди были вооружены копьями и щитами, и вид у них был самый воинственный. Обратившись к Санчо, дон Кихот сказал:

— Если бы мне было дозволено, Санчо, владеть оружием и руки мои не были связаны данным мною обещанием, то с этой ватагой, приближающейся к нам, я раздсался бы как с пирожками да печатными пряниками. Но, может быть, это и не то, чего мы опасаемся.

В эту минуту всадники подъехали, не говоря ни слова, окружили дон Кихота и, подняв копыя, приставили их к его груди и спине, угрожая ему смертью. Один из пеших, приложив палец к губам в знак приказа молчать, схватил Росинанта за узду и отвел его с дороги. Остальные пешие, завладев Санчо и серым, в глубочайшем молчании последовали за человеком, который вел дон Кихота. Два или три раза пытался наш рыцарь спросить, куда его ведут и чего хотят от него; но едва он открывал для этого рот, ему запечатывали

его остриями копий. То же самое происходило и с Санчо: всякий раз как он пробовал заговорить, один из пеших колол его острой палкой, а заодно и серого, словно и тот хотел говорить. Наступила ночь, все прибавили шагу, и страх обоих пленников еще усилился, тем более, что провожатые от времени до времени на них покрикивали:

— Живей, троглодиты!

— Молчать, варвары!

— Тершите, антропофаги!

— Не жалуйтесь, скифы! Не пяльте глаз, смертоносные Полифемы, кровожадные львы!

И они награждали их еще другими названиями в том же роде, оскорблявшими слух злополучного рыцаря и его слуги. Санчо шел и бормотал себе под нос:

— Это мы — *берберы, полипы и росомахи?*

Мы — львы, которым говорят: «*проглоти-ка*» и «*кис-кис*»? Мне совсем не нравятся эти люди: плохим ветром повеяло на нашу мякину! Все беды сразу на нас посыпались, словно палочные удары на собаку. Ох, кабы только одни удары принесло нам это злосчастное приключение!

Дон Кихот ехал в полном недоумении, не в силах будучи разгадать, сколько он ни думал об этом, что означают оскорбительные прозвища, которыми их осыпали; одно было ясно — что ничего хорошего ждать не приходилось и что следовало готовиться к самому худшему. Наконец, уже около часа ночи, они подъехали к замку, который дон Кихот сразу узнал: это был замок герцога, где они совсем недавно еще жили.

— Бог мой! — пробормотал дон Кихот, когда

сообразил, где он находится. — Что же это такое? Ведь в этом доме всегда царило радушие и обходительность; но, видно, для побежденных все хорошее сменяется плохим, а плохое — самым скверным.

Они въехали в парадный двор замка, так убранный и имевший такой вид, что изумление их еще усилилось, а страх удвоился, как это видно будет из следующей главы.

ГЛАВА LXIX

о самом редкостном и необычайном происшествии из всех случившихся с дон Кихотом на протяжении этой великой истории



садники сошли с коней и вместе с пешими, внезапно схватив и подняв на руки Санчо и дон Кихота, втащили их во двор, где пылало около ста факелов, укрепленных в подставках, между тем как в галереях двора горело более пятисот плошек, так что, несмотря на темную ночь, совсем не замечалось отсутствие дневного света. Посреди двора стоял катафалк высотой в две вары, * весь покрытый огромным пологом из черного бархата, а на ступеньках его со всех сторон горели белые восковые свечи, вставленные в сотню серебряных подсвечников. На катафалке лежало тело девушки такой красоты, что красотой своей она, казалось, скрашивала самую смерть. Голова ее покоилась на парчевой подушке, украшенная венком из разных душистых цветов, а в руках, сложенных на груди, она держала желтую веточку победной пальмы. * С одной стороны двора возвышался помост с двумя креслами, на которых восседали две особы, судя

по коронам на их головах и по скипетрам в их руках, — короны, настоящие или поддельные. По бокам помоста, на который вело несколько ступенек, стояли два других кресла, куда похитители дон Кихота и Санчо и усадили их, проделав все это молча и знаком приказав обоим тоже молчать; но те и без этого знака молчали бы, потому что изумление, охватившее их при виде такого зрелища, сковало им языки. Между тем на помост, в сопровождении многочисленной свиты, взошли две знатные особы (в которых дон Кихот сразу же признал герцога и герцогиню, своих хозяев) и уселись на двух роскошных креслах рядом с коронованными лицами. Кто бы не подivilся всему этому, особенно, если мы прибавим, что дон Кихот в девушке, лежавшей на катафалке, узнал прекрасную Альтисидору? Когда герцог с герцогиней появились на помосте, дон Кихот и Санчо поднялись со своих мест и отвесили им глубокий поклон, на который те ответили кивком головы.

В эту минуту к Санчо подошел сзади слуга и накинул ему на плечи мантию из черной бумаги, сплошь расписанную огненными языками, и, сняв с его головы шапку, надел вместо нее колпак, вроде тех, какие носят лица, осужденные инквизицией, шепнув ему при этом на ухо, чтобы он не раскрывал рта, а не то ему вставят в рот клин или даже вовсе его убьют. Санчо оглядел себя сверху донизу и увидел, что он весь охвачен пламенем; но, так как оно его не жгло, он ничуть этим не обеспокоился. Затем он снял с головы колпак и увидел, что он разрисован чертями; он снова надел его на себя, промолвив тихонько:

— Если пламя меня не жжет, то, значит, и черти не заберут меня.

Дон Кихот тоже посмотрел на Санчо, и, хотя страх заглушал в нем все чувства, он не мог не рассмеяться при виде фигуры своего оруженосца. В это время раздались, повидимому, из-под катафалка, тихие и приятные звуки флейт; и от того, что в этом месте, где само молчание безмолвствовало, к ним не примешивался ни один человеческий голос, они казались особенно нежными и сладостными. Внезапно около подушки, на которой лежала голова покойницы, появился прекрасный юноша, одетый как римлянин, и под звуки арфы, на которой он сам играл, он пропел два следующие станса:

Пока лежит без чувств Альтисидора,
Сраженная жестоким дон Кихотом,
И дамы в виде траурного хора
Покроют плечи нежные камлотом,
Пока дуэний всех моя сеньора
Из байки грубым наделит капотом, —
Я буду петь ее красу и беды,
Фракийского певца* презрев победы.

И, думается, долг мой неизменный*
Присущ не только этой жизни годам,
Но в смертный час мой, холодом плененный,
Язык не изменит хвалебным одам.
Душа, свободная от персти тленной,
Влекумая уж по Стигийским водам,
Все будет петь тебя, — и это пенье
Заставит тише течь поток забвенья.

— Довольно! — воскликнул тут один из двух мнимых королей. — Довольно, дивный певец! Ни-

когда не кончит тот, кто захочет изобразить смерть и прелесть несравненной Альтисидоры, которая не умерла, как это воображают невежды, по жива — в стоустой Молве и в том испытаниях, которому должен подвергнуть себя находящийся здесь Санчо Панса, и тем возратить ей утраченный свет дня. И потому, о Радамант, * вместе со мною творящий суд в мрачных пещерах Дита * и знающий все, что, по тайному велению рока, надлежит сделать для возвращения этой девушке жизни, скажи и объяви нам это немедленно, дабы не откладывать дольше той радости, которую воскрешение ее доставит нам всем.

Едва Минос, судья и товарищ Радаманта, произнес эти слова, как Радамант встал со своего места и воскликнул:

— Эй, слуги этого дома, высшие и низшие, старые и малые, бегите все скорей сюда и дайте Санчо двадцать четыре щелчка в нос, двенадцать щипков и шесть уколов булавками в плечи и поясницу, ибо от этого зависит спасение Альтисидоры.

Услышав это, Санчо нарушил свое молчание и вскричал:

— Чорт побери! Я скорей стану мавром, чем позволю щелкать себя по носу и мазать по лицу! Провалиться мне на месте! Какое отношение имеет щупанье моего лица к воскрешению Альтисидоры? Больно уж разохотились! Дульси-нею очаровали, — и я должен бичевать себя для ее расколдования! Альтисидора померла от болезни, посланной ей богом, — и чтобы воскресить ее, надо мне дать двадцать четыре щелчка в нос, изрешетить мое тело уколами булавок и ищипать плечи до синяков! Приберегите эти штуки для

других: я старый пес, и на меня такие приманки не действуют!

— Тогда ты умрешь! — воскликнул Радамант. — Смягчись, тигр! Смирись, надменный Немврод! Терпи и молчи, потому что от тебя не требуют невозможного. И не суйся рассуждать о трудностях нашей задачи. Ты получишь эти щелчки, претерпишь уколы и постонешь от щипков. Эй, слуги, исполняйте скорее мой приказ! Иначе, клянусь словом порядочного человека, вы у меня света не взвидите!

В эту минуту во дворе показалась процессия из шести дуэний, шедших гуськом; четыре из них были в очках, и у всех правые руки были подняты, а запястье обнажено на четыре пальца для того, чтобы руки казались длиннее согласно нынешней моде. Едва увидев их, Санчо взревел как бык, и закричал:

— Пусть прикасается к моему лицу кто угодно, но только не дуэньи! Этого я ни за что не потерплю! Напустите на меня кошек, чтобы они пцдарапали мне лицо, как это случилось в этом замке с моим господином; колите мне тело тонкими кинжалами; рвите мне плечи раскаленными щипцами, — я все вынесу терпеливо, чтобы услужить этим господам. Но, чтобы ко мне прикоснулись дуэньи, этого я не допущу, хотя бы черти унесли меня.

Тут дон Кихот тоже нарушил молчание и сказал Санчо:

— Терпи, сынок; удовлетвори этих сеньоров и возблагодари небо, вложившее в тебя такую силу, что своими муками ты расколдовываешь очарованных и воскрешаешь мертвых.

Дуэньи уже подошли к Санчо, который, смягчившись и смирившись, уселся поглубже в своем кресле и подставил свои щеки и подбородок первой из них; она ему дала презрительный щелчок и тотчас затем сделала глубокий реверанс.

— Поменьше учтивости и поменьше притираний, сеньора дуэнья, — сказал Санчо, — ей-богу, от ваших рук несет медовым уксусом.*

Словом, все дуэньи падали ему щелчков, а от других слуг дома он получил шипки. Но то, чего Санчо не мог никак стерпеть, это уколы булавок; в бешенстве вскочил он с кресла и, схватив пылающий факел, находившийся около него, кинулся на дуэний и на своих палачей, с криком:

— Прочь, слуги ада! Я не из бронзы, чтобы терпеть такие ужасные муки!

В эту минуту Альтисидора, должно быть, уставшая так долго лежать на спине, повернулась на бок; увидев это, все присутствующие почти разом воскликнули:

— Альтисидора ожила! Альтисидора жива!

Радамант попросил Санчо больше не сердиться, так как цель, которую преследовало его истязание, была уже достигнута.

Как только дон Кихот увидел, что Альтисидора пощевелилась, он бросился на колени перед Санчо и воскликнул:

— О ты, не оруженосец, а возлюбленный сын мой, ныне настал час принять тебе несколько ударов, которые ты обещал нанести себе для расколдования Дульсинеи! Настал час, когда способность, в тебе заключенная, достигла высшей своей силы, чтобы принести желанные плоды!

На это Санчо ответил:

— Это, я вам скажу, из огня да в полымя; вот вам и олады с медом! Не хватает еще, чтобы после всех этих щелчков, шипков и уколов, я занялся самобичеванием! Лучше возьмите сразу большой камень, привяжите его мне на шею и бросьте меня в колодезь; право, это будет мне не тяжелее, чем служить козлом отпущения для исцеления чужих болезней. Оставьте меня в покое, а не то, клянусь вам, я здесь такое устрою, что ни мне, ни вам не поздоровится.

Между тем Альтисидора присела на своем катафалке, и в ту же минуту раздались звуки гобоев, к которым присоединились флейты вместе с восхвалениями всех присутствующих:

— Да здравствует Альтисидора! Да здравствует!

Герцогская чета, Минос и Радамант поднялись со своих кресел и вместе с дон Кихотом и Санчо направились к Альтисидоре, чтобы приветствовать ее и помочь спуститься с катафалка; а она, притворившись обессиленной, поклонилась герцогской чете и обом королям и, искоса взглянув на дон Кихота, сказала ему:

— Да простит тебе бог, бездушный рыцарь, из-за чьей жестокости я пробыла на том свете, как мне кажется более тысячи лет. А тебя, милосерднейший из всех живущих в мире оруженосцев, я благодарю за жизнь, которая вернулась ко мне. Считаю с этого дня своими, друг мой Санчо, шесть рубашек, которые я дарю тебе, чтобы ты сделал из них себе подюжины сорочек; если они и не все — цельные, то во всяком случае все выстирапы.

Санчо поцеловал ей руки, стоя на коленях, с

коляком в руке. Герцог велел принять от него косяк и вернуть ему шапку; с него сняли также огненную мантию и надели на него прежнее платье. Санчо стал умолять герцога оставить ему мантию и митру, которые ему хотелось увезти к себе домой и сохранить на память о таком невиданном происшествии. Герцогиня приказала отдать ему их, снова напомнив этим о своих дружеских чувствах к нему. Герцог велел прибрать двор и всем разойтись по комнатам, а доп Кихота и Санчо отвести в уже знакомый им покой.

ГЛАВА LXX

следующая за шестьдесят девятой и повествующая о вещах, не лиших для ясного понимания этой истории



Санчо провел эту ночь на приставной кровати, в одной комнате с дон Кихотом, хоть он и рад был бы этого избежать, так как он знал, что его господин не даст ему спать своими вопросами и беседами; а между тем Санчо не был расположен много разговаривать, потому что боль от перенесенного им истязания еще не улеглась и связывала ему язык, вследствие чего он с бóльшим удовольствием проспал бы эту ночь один, хотя бы и в шалаше, чем в роскошном покое вместе с дон Кихотом. Его ожидания и опасения оказались вполне справедливыми и основательными, потому что его господин, едва улегшись в постель, сразу же заговорил:

— Что скажешь ты, Санчо, о происшествиях этой ночи? Велика и ужасна сила любовного отчаяния: ведь ты видел собственными глазами Альтисидору, умершую не от стрел, не от меча или какогонибудь другого оружия, не от смерто-

носного яда, но от суровости и равнодушия, которые я постоянно к ней проявлял.

— Пусть бы она умирала себе на здоровье, когда и как ей вздумается, — ответил Санчо, — только оставила бы меня в покое, потому что я ее в себя не влюблял, и равнодушием своим ее не убивал. Не понимаю, как уже сказал вам, и никогда не пойму, какая может быть связь между исцелением Альтисидоры, девицы более взбалмошной, чем умной, и истязанием Санчо Пансы. Теперь-то уж я вижу ясно и несомненно, что есть на свете и волшебники и очарованные, от которых да избавит меня бог, потому что сам я не могу от них избавиться. А в заключение прошу вашу милость не мешать мне спать и не задавать мне больше вопросов, если вы не желаете, чтобы я выбросился из окна.

— Спи, друг мой Санчо, — сказал дон Кихот, — если только полученные тобою уколы, шипки и щелчки позволят тебе уснуть.

— Никакая боль, — сказал Санчо, — не сравнится с унижением от щелчков в нос, особенно когда их дают дуэньи, будь они прокляты! А теперь еще раз прошу вашу милость не мешать мне спать, потому что сон есть облегчение страданий для тех, кто терзался ими наяву.

— Пусть будет так, — сказал дон Кихот, — и да поможет тебе бог.

После этого они оба заснули, и Сид Амет, автор этой великой истории, пожелал воспользоваться их сном, чтобы поведать и изложить причины, побудившие герцогскую чету разыграть описанное нами представление. И вот Сид Амет сообщает, что бакалавр Самсон Карраско, не бу-

лучи в силах забыть, как дон Кихот победил и сбросил с седла рыцаря Зеркал, опрокинув и разстроив этим все его планы,—решил еще раз попытаться счастья в надежде на лучший успех; итак узнав от пажа, доставившего письмо и подарки жене Санчо, Тересе Панса, где находится дон Кихот, он раздобыл себе новые доспехи и коня, нарисовал на щите белую луну и навьючил свои доспехи на мула, взяв себе в провожатые уже не прежнего своего оруженосца, Томе Сесьяля, которого Санчо или дон Кихот могли бы узнать, а другого крестьянина. Прибыв в замок герцога, он узнал, в каком направлении и по какой дороге выехал дон Кихот, отправившийся на турнир в Сарагосу. Герцог рассказал ему также обо всех шутках, сыгранных с дон Кихотом, включая выдумку с расколдованием Дульсинеи за счет ягодиц Санчо. При этом он сообщил ему о том, как Санчо подшутил над своим господином, убедив его, что Дульсинея очарована и превращена в крестьянку, и о том, как герцогиня убедила затем Санчо, что обманутым оказался он сам, так как Дульсинея — очарованная. Всему этому бакалавр немало подвиглся и посмеялся, оценив как хитрость и простоту Санчо, так и безмерное безумие дон Кихота. Герцог попросил его, в случае если он отыщет дон Кихота, независимо от того, кто кого победит, вернуться затем в замок и рассказать, чем кончилось это дело. Бакалавр так и поступил; сначала он отправился на поиски и, не найдя дон Кихота в Сарагосе, поехал дальше, и тут произошло то, что нам уже известно. Тогда бакалавр вернулся в замок к герцогу и рассказал ему все, сообщив об усло-

виях поединка и о том, что дон Кихот, выполняя в качестве честного странствующего рыцаря данное им слово, уже возвращается к себе в деревню, чтобы прожить там год в уединении; а за это время, как надеялся бакалавр, он излечится от своего безумия: ведь в этом и состояла цель предпринятого бакалавром ряженья, потому что жалость брама при виде того, что такой разумный идальго впал в помешательство. Затем Самсон Карраско попрощался с герцогом и отправился к себе домой, чтобы дожидаться там дон Кихота, ехавшего вслед за ним. Вот это и послужило герцогу поводом для устройства описанной нами шутки, — до такой степени забавляло его все, что было связано с Санчо и дон Кихотом. Он расставил по всем дорогам, какими только дон Кихот мог возвращаться, и вблизи и вдали от замка, множество своих слуг, пеших и конных, с приказом волей либо неволей доставить дон Кихота в замок, если удастся его поймать. Они его поймали и известили об этом герцога, и тот, заранее все приготовив, как только услышал о прибытии нашего рыцаря, тотчас же велел зажечь во дворе факелы и плошки, а Альтисидору положить на катафалк, изготовленный со всеми перечисленными нами подробностями так искусно и натурально, что все это мало чем отличалось от действительности. По этому поводу Сид Амёт замечает, что шутники, по его мнению, были столь же безумны, как и те, кого они вышучивали, ибо усердие, с каким герцог и герцогиня высмеивали двух глупцов, делало их самих придурковатыми. А что до наших простофиль, то, один из них спал во всю сласть, а другой бодр-

ствовал, предаваясь бессвязному потоку своих мыслей, пока их не застиг рассвет и им не захотелось встать; потому что праздные перины пикогда не имели власти над дон Кихотом, бывал ли он побежденным, или победителем.

И вдруг в комнату дон Кихота вошла, исполняя выдумку своих господ, Альтисидора (которую наш рыцарь считал воскресшей из мертвых), с тем же венком на голове, в каком она лежала на катафалке, одетая в тунику из белой тафты, усыпанную золотыми цветами, с распушенными по плечам волосами и с посохом из дорогого эбенового дерева в руке. Дон Кихот, смущенный и изумленный ее появлением, съезился, почти с головой забрался под простыни и одеяла и онемел, не находя для нее ни одного любезного слова. Альтисидора села на стул около его изголовья и, испустив сначала глубокий вздох, заговорила нежным и слабым голосом:

— Когда знатные женщины или скромные девушки попирают свою честь и позволяют своему языку перейти все границы пристойности, в присутствии других выдавая тайны своего сердца, это значит, что они доведены до крайности. Я, сеньор дон Кихот, одна из таких девушек, сломленная, побежденная и влюбленная, но при всем том терпеливая и честная до такой степени, что вследствие этого сердце мое разорвалось от молчания, и я умерла. Два дня тому назад из-за суровости, проявленной ко мне

Тобою, что к мольбам жесточе камня,*

о, рыцарь с мраморным сердцем, я умерла: по крайней мере все, видевшие меня, сочли меня

мертвой; если бы Амур, сжалившийся надо мной, не указал мне спасительного средства, усмотрев его в муках этого доброго оруженосца, я так бы и осталась на том свете.

— Лучше бы Амур высмотрел муки для моего осла; я бы его очень поблагодарил за это. Но расскажите мне, сеньора, — и да пошлет вам небо более нежного друга, чем мой господин, — что вы видели на том свете? Что делается в аду? Ведь тот, кто умирает, впад в отчаяние, непременно попадает в преисподнюю.

— По правде сказать, — ответила Альтисидора, — я, видно, не совсем умерла, потому что в аду я не побывала: ведь если бы я попала туда, то уж ни за что бы обратно не выбралась. На самом же деле я дошла только до ворот, около которых играла в мяч дюжина чертей, все в штанах и в камзолах с трубчатыми воротниками, обшитыми фламандским кружевом и такими же рукавчиками, служившими им манжетами, из которых запястье выступало на целых четыре пальца для того, чтобы руки казались длиннее; а в руках они держали огненные ракетки; но что всего больше меня удивило, так это то, что вместо мячей, они перебрасывались — вещь изумительная и небывалая — книгами, наполненными, как казалось одними оческами и ветром; но и это не так еще меня удивило, как то, что, вопреки обыкновению всех игроков радоваться при выигрыше и огорчаться в случае проигрыша, они все время и все без исключения сердились, ворчали и ругали друг друга.

— В этом нет ничего странного, — заметил Санчо, — потому что дьяволы, — играют они или нет,

и выигрывают они или проигрывают, — никогда не бывают довольны.

— Так оно и есть, конечно, — ответила Альтисидора; — но была еще одна вещь, которая меня поражает (вернее сказать, поразила меня тогда), именно то, что с первого же удара мяч погибал и сразу же выходил из игры, и книги, старые и новые, с изумительной быстротой сменяли друг друга. Одну чистехонькую книгу, новую и в прекрасном переплете, они так треснули, что из нее вывалились все внутренности и листы разлетелись по ветру. Один из дьяволов сказал другому: «Посмотри, что это за книга?» А тот ответил: «Это — *Вторая часть истории дон Кихота Ламанчского*,* написанная однако не ее подлинным автором, Сидом Аметом, а каким-то арагонцем, якобы уроженцем Тордесильяс. «Выкиньте ее отсюда, — сказал первый дьявол, — и швырните ее в бездну ада, чтобы не видели ее мои глаза». — «Разве она так уж плоха?» — спросил второй дьявол. — «Так плоха, — ответил его собеседник, — что, если бы я сам постарался написать хуже, мне бы это не удалось». И они продолжали свою игру, перебрасываясь другими книгами, а я, услышав имя дон Кихота, которого так обожаю и люблю, постаралась хорошенько запомнить это видение.

— Безусловно, это было видение, — сказал дон Кихот, — потому что нет второго меня на свете; а между тем названная вами история переходит из рук в руки, но только нигде не находит приюта, потому что каждый дает ей пинка ногой. Но меня не печалит, что я брожу, как призрак, по мраку преисподней и по озаренной солнцем

земле, потому что я — не тот, о ком повествуется в этой истории. Если бы она была хороша, верна и правдива, она прожила бы века; но если она плоха, то путь ее от рождения до могилы недолог.

Альтисидора собралась было снова упрекать дон Кихота, но тот ее прервал:

— Уж много раз я вам говорил, сеньора, о том, как я жалею, что вы обратили ваши помыслы на меня, так как я могу ответить вам лишь благодарностью, но не взаимностью: я рожден для того, чтобы принадлежать Дульсинее Тобосской, и мой фатум (если только он вообще существует) обрек меня ей; полагать, что другая красавица может занять в моей душе место, принадлежащее Дульсинес, — значит допускать невозможное. Если сказанного мною достаточно, чтобы открыть вам глаза, пусть это побудит вас вернуться в пределы скромности, так как нельзя ни от кого требовать невозможного.

Услышав это, Альтисидора в порыве притворного гнева и досады воскликнула:

— Клянусь всевышним, дон Вяленая треска, чугушная душа, финиковая косточка, неподатливый и упрямый, как мужик, которого упрашиваешь, когда он втемяшит себе что-нибудь в башку, — если я накинусь на вас, то выцарапаю вам глаза! Вы, кажется, вообразили, в пух и прах разбитый и поколоченный дон, что я умираю от любви к вам? Все, что вы видели вчера вечером, была комедия; не такая я женщина, чтобы из-за подобного верблюда не то, что умирать, а даже переболеть душой хотя бы на один только черный край ногтя.

— Таким словам нельзя не поверить, — сказал Санчо, — потому что все эти умирения от любви — одна смехота; говорить об этом легко, а чтобы кто-нибудь действительно умер, — пусть Иуда-предатель этому верит.

Пока они так беседовали, вошел музыкант, певец и поэт, исполнивший два известных уже нам станса, и, низко поклонившись дон Кихоту, сказал:

— Прошу вашу милость, сеньор дон Кихот, внести и вписать меня в число своих самых верных слуг, потому что я уже давно восхищаюсь как вашей славой, так и вашими подвигами.

Дон Кихот ответил ему:

— Скажите, ваша милость, кто вы такой, чтобы я мог соразмерить свой ответ с вашими достоинствами.

Юноша сообщил, что он — музыкант и панегирист, певший накануне вечером.

— Нет сомнения, — сказал дон Кихот, — что у вашей милости превосходный голос; но только стихи, которые вы пели, кажутся мне неподходящими к данному случаю, ибо какое отношение, имеют стансы Гарсиласо к смерти этой сеньоры?

— Не удивляйтесь этому, ваша милость, — возразил музыкант, — потому что поэты-неучи наших дней ввели в обычай писать, что на ум взбредет, и красть, где попало, не заботясь о том, подходит ли это к делу; и нет такой глупости, написанной или пропетой, которую бы не оправдывали поэтической вольностью.

Дон Кихот хотел что-то ответить, но ему помешал приход герцогской четы, пожелавшей навестить его, и тут между ними завязался длин-

ный и приятнейший разговор, во время которого Санчо наговорил столько забавных и лукавых вещей, что герцог и герцогиня снова подивились и простоте его, и остроумию. Дон Кихот обратился к герцогской чете с просьбой разрешить ему в тот же день уехать на том основании, что побежденным рыцарям, как он, более приличествует жить в какой-нибудь берлоге, чем в королевских дворцах. Ему охотно дали требуемое решение, причем герцогиня спросила, не сердится ли он на Альтисидору. Дон Кихот ответил:

— Сеньора, да будет известно вашей милости, что весь недуг этой девушки проистекает от безделья, и лучшее лекарство против него — постоянный и честный труд. Она только что сообщила мне, что в аду наряжаются в кружева; она наверно умеет вязать их, а потому пусть она этим делом и занимается; пока ее пальцы будут заняты коклюшками, ее ум не будет занят образом или образами тех, кого она любит. Вот вам вся правда; таково мое мнение и мой совет.

— И мой тоже, — прибавил Санчо, — потому что в жизни моей я не встречал кружевницы, умершей от любви: ведь девушки, занятые работой, больше думают о том, чтобы ее окончить, чем о своей любви. Я сужу по себе: когда я копаю землю, я не думаю о моей хозяйке, то есть о Тересе Панса, которую я люблю однако больше, чем зеницу глаз моих.

— Вы вполне правы, Санчо, — сказала герцогиня, — и я с этого дня засажу Альтисидору за какую-нибудь беложивую работу, с которой она справляется в совершенстве.

— Незачем, сеньора, прибегать к этому сред-

ству,— возразила Альтисидора,— так как мысль о той жестокости, которую проявил ко мне этот подлый бродяга, изгонит его из моей памяти без помощи каких-либо других ухищрений. И с разрешения вашего высочества я удаляюсь отсюда, чтобы не иметь перед своими глазами, не скажу — его печального образа, а скажу — его гадкой и гнусной образины.

— Это напоминает мне, — сказал герцог, — известную поговорку:

Если кто браниться начал,
Значит, тот простить готов.

Альтисидора сделала вид, будто вытирает слезы платком, затем, сделав реверанс своим господам, вышла из комнаты.

— Ах, бедная девушка, — сказал Санчо, — ах, горемычная, а все потому, что связалась с этой тростниковой душой и дубовым сердцем. Кабы ты имела дело со мной, славно бы для нас петушок запел!

Беседа закончилась, дон Кихот оделся, пообедал с герцогской четой и в тот же вечер уехал.

ГЛАВА LXXI

о том, что случилось с дон Кихотом и его оруженосцем Санчо Пансой по дороге в их деревню



обежденный и гонимый судьбою дон Кихот ехал, отчасти крайне унылый, отчасти очень радостный. Печаль его была вызвана его поражением, а радость — мыслью о чудесной силе Санчо, проявленной им при воскрешении Альтисидоры, хотя нашему рыцарю стоило некоторого труда убедить себя, что влюбленная девушка была действительно мертва.

А Санчо ехал совсем не веселый: его очень огорчало то, что Альтисидора не сдержала своего слова и не дала ему обещанных рубашек; без конца размышляя об этом, он сказал своему господину:

— Право, сеньор, я самый несчастный лекарь на свете; есть же врачи, которые, даже убив больного, которого они лечили, получают деньги за работу, хотя весь труд их состоит в прописывании нескольких снадобий, которые изготовляют не сами они, а аптекарь: выморочил денежки — и был таков! А мне, который за чужое здоровье заплатил каплями собственной крови,

щелчками, шипками, уколами и поркой, не дают ни гроша. Но уж теперь, прах меня побери, коли мне попадется опять больной, так я, прежде чем лечить его, потребую, чтобы мне сперва руки помазали; поп обедней живет, и ясное дело, что небо наградило меня такой силой совсем не для того, чтобы я делился сю с другими ни за что, ни про что.

— Ты прав, мой друг Санчо,— ответил дон Кихот,— и Альтисидора поступила очень дурно, не дав тебе обещанных рубашек; и хотя чудесная сила твоя не стоила тебе никакой науки, будучи тебе *gratis data*,* все же можно считать, что полученное тобой наказание послужило тебе наукой. Про себя скажу только, что, если ты потребуешь платы за бичевание ради снятия чар с Дульсинеи, ты ее получишь сполна, хоть я и не уверен, что волшебное лечение совместимо с оплатой, и я не хотел бы, чтобы награда помешала действию лекарства. Но все-таки, мне думается, мы ничего не потеряем, если попробуем; решай, Санчо, сколько ты хочешь получить, и сейчас же начинай себя стегать; а после ты сам себе заплатишь наличными, потому что все мои деньги хранятся у тебя.

При этом предложении Санчо вытаращил глаза и широко развесил уши; и, решив в душе добросовестно отстегать себя, он сказал дон Кихоту:

— Ну, ладно, сеньор, я, так и быть, согласен услужить вашей милости и исполнить ваше желание себе на пользу; любовь моя к жене и детям заставит меня быть корыстолюбивым. Скажите же, ваша милость, сколько вы заплатите за каждый удар, который я себе панесу?

— Если бы я хотел наградить тебя, Санчо, — сказал дон Кихот, — сообразно с достоинством и величием этого средства то всех сокровищ Венеции и россыпей Потоси * не хватило бы, чтобы заплатить тебе. Прикинь, сколько у тебя моих денег, и сам назначь плату за каждый удар.

— Всего, — сказал Санчо, — мне полагается три тысячи триста с лишним ударов; из них я уже дал себе пять, а остальные — еще за мною. Отнесем эти пять ударов за счет «лишка», и будем считать три тысячи триста. Если оденить каждый удар в один квартильо (а меньше я не возьму, хотя бы весь мир меня упрашивал), то это составит три тысячи триста квартильо; три тысячи квартильо — это тысяча пятьсот полуреалов, то есть семьсот пятьдесят реалов; а триста квартильо составляют сто пятьдесят полуреалов, иначе говоря, семьдесят пять реалов, которые надо прибавить к семистам пятидесяти; всего, значит, послучается восемьсот двадцать пять реалов. Эту сумму я вычту из денег вашей милости и вернусь домой богатый и веселый, хоть и здорово избитый; ведь, не замочив штанов, форель не поймаешь.

— О благословенный Санчо! О возлюбленный мой Санчо! — воскликнул дон Кихот. — После этого я и Дульсинея будем считать себя обязанными служить тебе столько дней жизни, сколько отпустит нам небо! Если к ней снова возвратится утраченный ею облик (а иначе и быть не может), то ее несчастье станет счастьем, а мое поражение — величайшим торжеством. Решай же, Санчо, когда ты начнешь бичевать себя; и, чтобы ускорить дело, я прибавлю тебе еще сто реалов.

— Когда начну? — ответил Санчо. — Да не позже, чем этой ночью. Устройте так, ваша милость, чтобы мы провели сегодняшнюю ночь под открытым небом, в поле; а уж я себе все жилы открою.

Наступила ночь, которой дон Кихот ждал с величайшим нетерпением: ему казалось, что колеса Аполлоновой колесницы сломались, и день тянется дольше обычного, — совсем так, как это бывает с влюбленными, не знающими удерживать своих желаний. Наконец они въехали в прелестную рощицу, расположенную поодаль от дороги, и там, освободив Росинанта от седла, а серого от вьюка, они растянулись на зеленой травке и подкрепились припасами, какие были у Санчо. После этого Санчо, сбросив из узды Росинанта и недоуздки серого крепкую и гибкую плеть, отошел шагов на двадцать от своего господина под тень букowych деревьев. Видя, как бодро и решительно он идет, дон Кихот сказал:

— Смотри, мой друг, не избежь себя в конце; делай промежутки между ударами и не торопись в своем усердии, чтобы на полдороге у тебя не занялось дыхание; я хочу сказать, как бы ты, переусердствовав, не лишил себя жизни раньше, чем примешь все требуемые удары. А чтобы ты не проиграл игры из-за одного лишнего или недостающего очка, я буду стоять поблизости и считать на моих четках наносимые тобою удары. Да поможет тебе небо, как этого заслуживает твое благое намерение.

— Хорошему плательщику никакой залог не страшен, — ответил Санчо: — я буду бить себя больно, но не до смерти: ведь в этом и состоит вся суть этого чуда.

Затем он обнажился до пояса и, схватив плеть, принялся себя хлестать, а дон Кихот начал считать удары. Санчо нанес себе их штук шесть или восемь, но тут шутка показалась ему слишком крепкой, а цена чересчур дешевой; и, приостановившись на минуту, он объявил дону Кихоту, что ошибся в расчете и что за каждый такой удар следует платить не по кuartилью, а по пол-реала.

— Продолжай, друг мой Санчо, не смущаясь, — сказал дон Кихот, — я заплачу тебе вдвое.

— Если так, — ответил Санчо, — то помогай бог! Сейчас удары градом посыплются.

Но хитрец перестал стегать себя по спине, а принялся хлестать по деревьям, от времени до времени испуская такие тяжелые вздохи, что, казалось, с каждым из них душа у него улетала из тела. А так как у дон Кихота сердце было чувствительное, то он начал бояться, как бы Санчо и впрямь себя не прикончил, погубив своей неосторожностью все его планы; и потому он сказал ему:

— Ради бога, друг мой, прерви это занятие; очень уж суровым мне кажется это лекарство и требующим от времени до времени передышки: ведь и Самора* была взята не в один час. Ты уже нанес себе, если я не обчелся, более тысячи ударов; довольно пока: уж на что, грубо выражаясь, вынослив осел, а ведь и его нельзя нагружать свыше меры.

— Нет, нет, сеньор, — ответил Санчо, — я не хочу, чтобы про меня сказали: «денежки получил — и руки сложил». Отойдите еще подальше, ваша милость, и не мешайте мне нанести себе

вторую тысячу ударов; таким-то способом мы в два приема покончим с этим делом, и даже с избытком.

— Раз уж ты в таком хорошем расположении, — сказал дон Кихот, — да благословит тебя бог; продолжай свое дело, а я отойду в сторонку.

Санчо возобновил свое занятие с таким жаром, что содрал уж кору с множества деревьев: так жестоко он себя бичевал; и, наконец, нанеся отчаянный удар по буковому дереву, он громко вскричал:

— Здесь умер Самсон и все филистимляне!

Услышав этот жестокий удар и жалобный возглас Санчо, дон Кихот подбежал к нему и, выхватив из его рук узду, заменявшую плеть, сказал:

— Да не допустит бог, друг мой Санчо, чтобы в угоду мне ты лишился жизни, необходимой для поддержания твоей жены и детей; пусть Дульсинея потерпит до более благоприятного случая; а я удовольствуюсь надеждой на скорое завершение этого дела и подожду, пока ты наберешься новых сил, чтобы все закончилось к общему удовольствию.

— Если ваша милость, сеньор мой, этого желает, — ответил Санчо, — я согласен; только набросьте мне на плечи ваш плащ, потому что я вспотел и не хотел бы простудиться, как это бывает с бичующимися в первый раз.

Дон Кихот так и сделал, и, оставшись сам в одном камзоле, прикрыл плащом Санчо. А после того как тот проспал до тех пор, пока его не разбудило солнце, они продолжали свой путь и прервали его только тогда, когда прибыли в одно село, находившееся в расстоянии трех миль от-

туда. Они спешились около гостиницы, которую дон Кихот тоже принял за гостиницу, а не за замок с глубокими рвами, башнями, решетками и подъемным мостом; ибо с тех пор, как он был побежден, он стал судить обо всем более здраво, как это будет видно в дальнейшем. Ему отвели



комнату в нижнем этаже, стены которой, вместо тиспепных кож, были покрыты старыми росписными полотнами, как это водится в деревнях. На одном из них было грубо намалевано похищение Елены, именно та минута, когда дерзкий гость увозит супругу Менелая, а на другом — сцена из истории Дидоны и Энея: царица стоит на высокой башне и машет чуть ли не простыней

своему гостю-беглецу, уносящемуся по морю на фрегате или бригантине. Разглядывая эти картины, дон Кихот подметил, что Елена уезжала без особенного огорчения, потому что она плутовато и исподтишка улыбалась, между тем как прекрасная Дидона проливала слезы величиной с грецкой орех; увидев это, он сказал:

— Эти две сеньоры были до крайности несчастны оттого, что родились не в наш век, а я более всех в мире несчастен оттого, что родился не в их время; ибо, если бы я встретился с их поклонниками, Троя не была бы сожжена и Карфаген не был бы разрушен: мне достаточно было бы убить Париса, чтобы предотвратить все эти бедствия.

— Бьюсь об заклад, — промолвил Санчо, — что скоро не останется ни одного трактира, ни одной гостиницы, постоялого двора или лавки цырюльника, где не были бы изображены наши подвиги. Но я хотел бы, чтобы их изобразил художник покуснее этого.

— Ты прав, — сказал дон Кихот; — этот художник похож на Орбанеху, живописца из Убеды: когда его спрашивали, что он пишет, он отвечал: «А что выйдет», и нарисовав петуха, подписывал: «Се — петух», чтобы не приняли его за лиспду. В таком же роде, думается мне, Санчо, должен быть живописец или сочинитель, что — в сущности одно и то же, — опубликовавший историю этого нового, вышедшего в свет, дон Кихота: он ведь тоже писал и сочинял по способу: «а что выйдет!» И еще он напоминает мне одного поэта по имени Маулеон,* проживавшего недавно в столице: у него на все был готовый ответ; и когда

однажды кто-то спросил его, что значит *Deum de Deo*, он ответил: «будь, что будет». Но довольно об этом; скажи мне, расположен ли ты снова задать себе этой ночью порку, и если да, то где ты желаешь, чтобы это произошло: под крышей или под открытым небом.

— Честное слово, — ответил Санчо, — выполняемое мною дело таково, что мне все равно, где его производить — в доме или среди поля; а все-таки я предпочел бы, чтобы это было под деревьями: они мне словно товарищи и отлично помогают мне в моей работе.

— Нет, Санчо, сегодня этого не будет, — сказал дон Кихот; — и, чтобы ты побольше набрался сил, мы отложим это до нашего возвращения в деревню; мы приедем туда самое позднее послезавтра.

Санчо согласился, но прибавил, что хотел бы покончить с этим делом поскорее, «пока железо горячо и пока мельница на ходу», потому что «в промедлении часто таится опасность», и «бога проси, а молотком стучи», и лучше одно «хватай», чем два «ожидай», и «лучше воробей в руке, чем коршун на лету».

— Довольно пословиц, Санчо, ради господа бога! — вскричал дон Кихот. — Ты кажется снова принимаешься за *sicut erat**; говори просто, ясно, толково, как я уже много раз тебя учил, и ты увидишь, как одним хлебцем ты сто раз накормишься.

— Уж не знаю, право, — ответил Санчо, — что это за напасть такая, что я не могу сказать словечка без пословицы, и каждая пословица кажется мне подходящим словечком; но все же я постараюсь исправиться.

И на этом их разговор прекратился.

ГЛАВА LXXII

о том, как дон Кихот и Санчо прибыли в свою деревню



есь этот день дон Кихот и Санчо провели в деревне, дожидаясь наступления ночи, один — чтобы покончить в чистом поле со своим бичеванием, а другой — чтобы увидеть его конец, который должен был привести к исполнению его желаний. Между тем к гостинице подъехал верхом какой-то путешественник в сопровождении трех или четырех слуг, и один из них, обращаясь к всаднику, видимо их господину, сказал ему:

— Здесь, ваша милость, сеньор дон Альваро Тарфе, вы можете переждать полуденный зной; гостиница эта выглядит чистой и прохладной.

Услыхав это, дон Кихот сказал Санчо:

— А ведь знаешь, Санчо, когда я перелыстывал *Вторую часть дон Кихота*, мне там встретилось имя дон Альваро Тарфе.*

— Очень возможно, — ответил Санчо: — пусть он сойдет с коня, и тогда мы его спросим об этом.

Всадник спешимся, и хозяйка гостиницы от-

вела ему в нижнем этаже комнату, расположенную против комнаты дон Кихота и точно так же украшенную расписными полотнами. Вновь прибывший кабальеро переоделся в летнее платье и вышел на крытую галерею гостиницы, просторный и прохладную; встретив дон Кихота, который там прогуливался, он спросил его:

— Куда направляется ваша милость, сеньор кабальеро?

Дон Кихот ему ответил:

— В деревню, здесь поблизости, откуда я родом. А вы, ваша милость, куда едете?

— Я, сеньор, — ответил кабальеро, — еду в Гранаду: это — моя родина.

— Прекрасная родина! — воскликнул дон Кихот. — Но скажите, ваша милость, не сообщите ли вы мне ваше имя? Потому что мне до такой степени важно его узнать, что я даже не знаю, как это выразить.

— Мое имя — дон Альваро Тарфе, — ответил приезжий.

На это дон Кихот сказал:

— Для меня нет никакого сомнения, что ваша милость и есть тот самый дон Альваро Тарфе, который упоминается во *Второй части истории дон Кихота Ламанчского*, недавно напечатанной и изданной одним новейшим сочинителем.

— Я самый и есть, — ответил кабальеро, — и дон Кихот, главное лицо этой истории, был моим ближайшим другом, и именно я его извлек из его селенья, или по крайней мере побудил его отправиться на турнир в Сарагосу, куда я ехал сам; и, говоря истинную правду, я оказал ему много дружеских услуг и между прочим спас его

спину от плетей палача, который мог покарать его за чрезмерную дерзость.

— А теперь скажите, ваша милость, сеньор дон Альваро, похож ли я на того дон Кихота, о котором говорит ваша милость?

— Конечно, нет,— ответил приезжий,— ни чуточки не похожи.

— А ваш дон Кихот,— продолжал дон Кихот настоящий,— не имел ли при себе оруженосца по имени Санчо Панса?

— Да,— ответил дон Альваро:— и хотя этот оруженосец считался большим шутником, я никогда не слышал от него забавных острот.

— Охотно этому верю,— сказал тут Санчо,— потому что хорошо острить дано не каждому; и тот Санчо, о котором, сеньор кабальеро, говорит ваша милость, наверно — величайший плут, жулик и олух в придачу; а настоящий Санчо — это я, у которого острот больше, чем капель в дожде; и если вы сомневаетесь, то проверьте, ваша милость, на деле: поживите со мной годик, и вы увидите, что они сыплются из меня на каждом шагу, такие обильные и кругленькие, что все слушатели хохочут, хоть я и сам частенько не замечаю, того что говорю. А настоящий дон Кихот Ламагчский, знаменитый, доблестный, разумный, влюбленный, мстящий за чужие обиды, покровитель малолетних и сирот, прибежище вдов, гроза дев, знающий только одну владычицу, Дульсинею Тобосскую,— вот он, мой господин, стоящий перед вами; а всякий другой дон Кихот, как и всякий другой Санчо Панса,— чепуха и пустые выдумки.

— Честное слово,— вскричал дон Альваро,—

я вам верю, потому что в десятке ваших слов, дружок, заключено больше остроумия, чем во всем, что наговорил тот другой Санчо Панса, — а говорил он ужасно много! Он был большим обжорой, но никак не краснобаем, и скорее смахивал на дурака, чем на шутника; я уверен, что волшебники, преследующие дон Кихота Хорошего, вздумали преследовать и меня, навязав мне дон Кихота Плохого. Но, право, не знаю, что и подумать: я готов поклясться, что поместил его на излечение в Дом Нунция,* в Толедо, а теперь я вижу перед собой нового дон Кихота, право же, совсем не похожего на первого.

— Не знаю, — сказал дон Кихот, — Хороший ли я, но, посмею сказать, я во всяком случае не Плохой; и в доказательство этого сообщу вашей милости, сеньор дон Альваро Тарфе, что я никогда в жизни не был в Сарагосе; напротив, узнав, что тот мнимый дон Кихот участвовал в турнире этого города, я, с целью обличить перед всеми лживость сочинителя, решил не заезжать туда, а проследовал прямо в Барселону — хранилище учтивости, приют чужеземцев, убежище бедняков, отечество доблести, отшельниче обиженных, любезную обитель прочной дружбы, город, несравненный по красоте своего местоположения. И хотя то, что случилось там со мною, мало для меня радостно, а напротив крайне печально, я безропотно сношу это ради одного того, что видел Барселону. Словом, сеньор дон Альваро Тарфе, это я — дон Кихот Ламанчский, о котором гласит молва, а не тот несчастный, что пожелал похитить мое имя и прославить себя моими мыслями. Я прошу вашу милость, как истинного

кабальеро, оказать мне такую любезность: заявить здешнему алькальду, что ваша милость никогда в жизни меня до сих пор не видала и что я — не тот дон Кихот, о котором напечатано во *Второй части*, точно так же, как и Санчо — не тот, которого ваша милость знала.

— Я охотно это сделаю, — ответил дон Альваро, — по, право, удивительно мне видеть в одно и тоже время двух дон Кихотов и двух Санчо, столь же схожих по имени, сколь различных по поступкам. Снова повторяю: я готов утверждать, что не видел того, что видел, и что со мной не было того, что было,

— Без сомнения, — сказал Санчо, — ваша милость очарована, как сеньора Дульсинея Тобоская; и дай бог, чтобы можно было расколдовать вашу милость, назначив мне три тысячи с лишним ударов, как те три тысячи, что я напошу себе для ее расколдования; ради вас я готов принять их даром.

— Не понимаю, о каких ударах вы толкуете, — сказал дон Альваро.

Санчо ответил, что это длинная история, но что он ему расскажет все, если они поедут вместе. Между тем наступил час обеда, и дон Кихот и дон Альваро пообедали вместе. В это время в гостиницу случайно зашел местный алькальд с писцом, и дон Кихот попросил алькальда составить в защиту его законных интересов акт, в котором кабальеро дон Альваро Тарфе, здесь присутствующий, свидетельствовал перед его милостью сеньором алькальдом, что он никогда раньше не знал дон Кихота Ламапчского, точно так же здесь присутствующего, и что этот дон

Кихот — совсем не тот, который изображен в печатной книге под заглавием: *Вторая часть дон Кихота Ламанчского*, сочиненной неким Авельянедой, уроженцем Тордесильяс. Алькальд исполнил это в законном порядке и составил акт с соблюдением всех тех формальностей, какие требуются в таких случаях. Дон Кихот и Санчо очень этому обрадовались, словно они и вправду нуждались в этом акте и словно разница между обоими дон Кихотами и Санчами не была без того достаточна ясна.

Дон Альваро и дон Кихот обменялись множеством взаимных любезностей и предложений услуг; великий ламанчедь выказал при этом весь свой разум, и дон Альваро Тарфе вполне разубедился в своей ошибке: он готов был допустить существование чар, поскольку на деле перед ним оказались два различных дон Кихота.

Наступил вечер, и они выехали вместе из селения; но примерно в полумиле дорога разветвлялась: одна дорога вела в деревню дон Кихота, а другая туда, куда должен был ехать дон Альваро. За это короткое время дон Кихот рассказал дон Альваро о своем несчастном поражении, об очаровании Дульсиной и о способе ее расколдовать. Всему этому дон Альваро снова весьма подивился; затем он обнял дон Кихота и Санчо и поехал в одну сторону, а наш рыцарь со своим слугой — в другую.

Эту ночь дон Кихот провел в леске, чтобы дать возможность Санчо завершить свое бичевание, и тот закончил его таким же способом, как и в прошлую ночь, гораздо больше за счет буквой коры, чем своей спины, которую он так щадил,

что не прогнал бы плетью даже мухи, если бы она села ему на плечо. Обманутый дон Кихот подсчитал все удары, не пропустив ни одного: вместе с полученными Санчо в прошлый раз их составилось три тысячи двадцать девять. Солнце, казалось, взошло в тот день раньше, чтобы посмотреть на это жертвоприношение, и при первых лучах его наш рыцарь и его оруженосец снова двинулись в путь, беседуя о заблуждении дон Альваро и о том, как хорошо они сделали, взяв от него засвидетельствованное в судебном порядке показание.

Весь этот день и следующую ночь они провели в дороге, и за все это время с ними не случилось ничего такого, что заслуживало бы быть рассказанным, за исключением того, что Санчо в последнюю ночь докончил свое истязание. Крайне довольный этим, дон Кихот ждал наступления дня, чтобы посмотреть, не встретится ли ему на дороге расколдованная Дульсинея, его сеньора; и, продолжая свой путь, он всматривался в каждую встречную женщину, надеясь узнать в ней Дульсинею Тобосскую, ибо он считал непреложными обещания Мерлина. Томимый этими мыслями и желаниями, он вместе с Санчо поднялся на холм, с вершины которого открылся вид на их деревню; увидев ее, Санчо упал на колени и воскликнул:

— Открой глаза, желанная родина, и взгляни на своего сына Санчо Пансу, который возвращается если не разбогатевший, то сильно избитый плетью! Раскрой свои объятия и прими также своего сына дон Кихота, который едет домой, побежденный рукою другого, но за то победив самого себя,— а это, по его словам, высшая из всех

побед, какой только можно пожелать! Я везу денежки, потому что, хоть меня и приговорили к плеткам, зато я славно верхом прокатился!

— Брось молоть вздор, — сказал дон Кихот, — и въедем-ка с правой ноги в нашу деревню, где мы дадим простор нашим мечтам и придумаем плац пастушеской жизни, которую мы собираемся вести.

Тут они спустились с холма и направились в свое селение.

ГЛАВА LXXIII

о знаменьях, имевших место при въезде дон Кихота в его деревню, и о других происшествиях, украшающих и делающих достоверной эту великую историю



ри въезде в свое селение дон Кихот, как сообщает Сид Амел, увидел около деревенского гумна двух ссорившихся мальчишек, один из которых крикнул другому:
— Не старайся попусту, Перикиль: ты ее во всю свою жизнь больше не увидишь.

Услышав это, дон Кихот сказал Санчо:

— Ты заметил, мой друг, что сказал этот мальчишка: «ты ее во всю свою жизнь больше не увидишь»?

— Так что же из того? — спросил Санчо. — Мало ли что сболтнул мальчишка?

— Что из того? — воскликнул дон Кихот. — Разве тебе не ясно, что в применении к моим делам это значит, что я никогда больше не увижу Дульсинею?

Санчо хотел что-то ответить, но в эту минуту он увидел зайца, который удирает по полю от пре-

следовавших его охотников и своры борзых; испуганное животное кинулось к серому и спряталось между его ног. Санчо поймал его голыми руками и подал дон Кихоту, который на это сказал:

— *Malum signum! Malum signum!** Заяц бежит, за ним гонятся борзые: не увижу я больше Дульсинею.

— Дивлюсь я вашей милости,—сказал Санчо:— представим себе, что этот заяц — Дульсинея Тобосская, а эти псы, что гонятся за ней,—подлые волшебники, превратившие ее в крестьянку; она убегает, я ее ловлю и отдаю в руки вашей милости, которая ее держит в объятиях и всячески холит: так какой же это плохой знак, и какое дурное предзнаменование можно здесь усмотреть?

Оба упомянутых мальчика подошли посмотреть на зайца, и Санчо спросил одного из них, из-за чего они ссорились. Мальчуган,— тот самый, который сказал: «ты ее во всю свою жизнь больше не увидишь»,— ответил, что он отнял у другого мальчика клетку со сверчками и никогда ему ее не отдаст. Санчо вынул из кошеля четыре куарто и, получив в обмен на них клетку, протянул ее дон Кихоту со словами:

— Вот, сеньор, я отвел и устранил все эти дурные предзнаменования, которые, на мой дурацкий взгляд, имеют к нашим делам такое же отношение, как и прошлогодние тучи. Помните мне, наш священник говорил, что люди умные и истинные христиане не должны обращать внимание на такие глупости; да и ваша милость еще недавно мне говорила то же самое, доказывая, что христиане, верующие в приметы,— дураки. Так что нечего нам тут задер-

живаться: двинемся дальше и въедем в деревню.

Подъехали охотники, потребовали своего зайца, и дон Кихот отдал им его. Рыцарь и оруженосец отправились дальше и у самого въезда в деревню встретили на лужайке священника и бакалавра Карраско с трепниками в руках. А надо вам сказать, что Санчо Панса покрыл серого и связку с доспехами, вместо попоны, бумазейной мантией с огневыми языками, в которую его облачили в герцогском замке в ту ночь, когда ожила Альтисидора. Кроме того он напялил ему на голову колпак, вырядив и разукрасив осла самым необычайным и небывалым еще на свете образом.

Священник и бакалавр, сразу же узнав наших странников, бросились к ним с расprostертыми объятиями. Дон Кихот сошел с коня и крепко обнял друзей. А деревенские мальчишки своими неумолимыми рысьими глазами уже рассмотрели колпак на осле и сбежались поглазеть на него, крича друг другу:

— Эй, ребята, полюбуйте на осла Санчо Пансы, разряженного почище Минго,* и на клячу дон Кихота, которая еще больше отошала!

Так-то, окруженные ребятами, рыцарь и оруженосец вместе со священником и бакалавром въехали в село и направились к дому дон Кихота; а на пороге его уже стояли экономка и племянница, извещенные о прибытии рыцаря. Дошла эта весть и до Тересы Панса, жены Санчо Пансы, которая, с растрепанными волосами и полуодетая, таща за руку дочку свою Санчику, тоже прибежала встречать своего мужа; и, увидев его одетым беднее, чем полагалось, по ее мнению, быть обряженным губернатору, она вскричала:



— Что это, муженек, вы являетесь к нам не как следует? Вы как будто пешком идете, да и походка у вас совсем разбитая! Право, вид у вас вовсе не губернаторский!

— Молчи, Тереса, — ответил Санчо: — часто есть крючок, а окорока на нем и нету. Пойдем домой, я там тебе расскажу чудеса. Главное — то, что я принес с собой денешки, которые нажил своим умом-разумом, никого не обидев.

— Были бы деньги, милый муженек, — сказала Тереса, — а как они достались — не важно; какими бы путями вы их ни добыли, вы этим никого не удивите.

Санчика обняла отца и спросила, что он ей привез; она ждала его, как майского дождика. Жена взяла Санчо за руку, дочка с другого боку ухватила за его пояс, в то же время погоня осла, и все они направились домой, оставив дон Кихота в его доме на попечении экономки и племянницы, в обществе священника и бакалавра.

Дон Кихот, не желая терять ни дня ни часа, тотчас же заперся с бакалавром и священником и поведал им вкратце о своем поражении и о принятом им на себя обязательстве не выезжать из деревни в продолжение года, каковое обязательство он намеревался выполнить в точности, не отступая от него ни на шаг, как истинный странствующий рыцарь, строго соблюдающий устав и правила своего рыцарского ордена; а этот год он решил прожить пастухом — бродить в уединении полей, свободно предаваясь своим пылким любовным мечтам и упражняясь в добродетельной пастушеской жизни; и он их спросил, — если они не обременены делами и более важные заботы не удер-

живают их, не пожелают ли они присоединиться к нему; он купит стадо овец, вполне достаточное для того, чтобы они могли назваться пастухами, и он прибавил, что главное уже сделано, так как он придумал им имена, которые подойдут к ним как нельзя лучше. Священник попросил дон Кихота сообщить им эти имена. Тот ответил, что сам он будет называться пастухом *Кихотисом*, бакалавр — пастухом *Каррасконом*, священник — пастухом *Куриамбро*, а Санчо — пастушком *Пансино*. Оба друга были поражены этим новым безумством дон Кихота; однако, боясь, как бы он снова не выехал из деревни на рыцарские подвиги, и надеясь, что в течение этого года он излечится, они согласились на его новую затею и, одобрив эту нелепость как мысль разумную, обещали в ней участвовать.

— Это тем более кстати, — сказал Самсон Карраско, — что как всему миру известно, я знаменитый поэт: я на каждом шагу буду слагать стихи в пастушеском, столичном или в каком-нибудь ином роде на предмет нашего общего развлечения в тех труппах, где нам придется бродить. Но главное, сеньоры мои, вот что: необходимо, чтобы каждый из нас придумал имя для пастушки, которую он будет прославлять в своих стихах; и мы не оставим ни одного дерева как бы твердо оно ни было, на котором мы бы не написали и не вырезали имен наших пастушек, согласно правилу и обычаю влюбленных пастухов.

— Превосходно! — вскричал дон Кихот. — Но мне незачем изобретать имя для вымышленной пастушки, потому что у меня есть несравненная Дульсинея Тобосская, слава этих берегов, укра-

шение этих лугов, хранилище красоты, сливки изящества, словом та, к которой подойдет всякая хвала, как бы чрезмерна ни была она.

— Истинная правда, — сказал священник: — а мы поищем себе таких пастушек, чтобы были без норова: если они нам не подойдут, то по крайней мере брыкаться не станут.

А Самсон Карраско прибавил:

— И если не найдем, то возьмем имена, которые в печатных книгах гуляют по свету: Филида, Амарилис, Диана, Флернда, Галатея, Белисарда; они продаются на всех рынках, и мы свободно можем купить их и воспользоваться ими для себя. Если моя дама, вернее сказать, пастушка, будет называться Анна, я буду воспевать ее под именем *Анарды*; если это будет Франсиска, я назову ее *Франсией*; если Люсия — то *Люсидой*, и все будет в порядке. А Санчо Панса, если он вступит в наше содружество, пусть прославляет свою Тересу Панса под именем *Тересайны*.

Дон Кихот рассмеялся при этом последнем имени, а священник расхвалил его почтенное и добродетельное решение, снова обещав проводить вместе с ними все свободное время, какое будет у него оставаться после неотложных его обязанностей. Затем оба друга простились с дон Кихотом, посоветовав и попросив его заботиться о своем здоровье и делать все для этого необходимое.

Судьбе было угодно, чтобы весь этот разговор услышали племянница и экономка; и, как только священник и бакалавр удалились, они вошли вдвоем к дон Кихоту, и племянница ему сказала:

— Что это значит, сеньор мой дядя? В ту минуту, когда мы думали, что ваша милость вер-

нулась окончательно домой, чтобы вести здесь спокойную и почтенную жизнь, вы собираетесь броситься в новые лабиринты для того, чтобы из вас вышел —

Пастушок, идешь откуда,
Ты куда, пастух, идешь? *

Поверьте мне, ячменная солома слишком тверда, чтобы делать из нее свистульки. *

А экономка прибавила:

— И ваша милость в состоянии будет переносить полуденный зной летом, туманные вечера и завывание волков зимой? Конечно, нет; потому что это — обязанность и занятие для людей крепких и закаленных, приученных к этому делу, можно сказать, с пеленок. Если выбирать меньшее из зол, то уж лучше быть странствующим рыцарем, нежели пастухом. Одумайтесь, сеньор, и последуйте моему совету, который я даю вам не с перепоя и не с набитым брюхом, а натошак и прожив на свете полвека: оставайтесь дома, занимайтесь своим хозяйством, почаще исповедуйтесь, подавайте милостыню бедным, — и пусть грех падет на мою душу, если все не устроится к лучшему.

— Тише дочки, — сказал дон Кихот, — я сам знаю, что мне надо делать. Уложите меня в постель, мне что-то нездоровится, — и будьте уверены, что кем бы я ни был, странствующим рыцарем или, если удастся, пастухом, я всегда буду заботиться о ваших нуждах, как вы убедитесь в этом на деле.

И добрые дочки (ибо экономка и племянница действительно ими были) отвели его в постель, накормили его и окружили его наилучшим уходом.

ГЛАВА LXXIV

о том, как дон Кихот заболел, о составленном им завещании и о его смерти



Ичто в этом мире не вечно, по все, от самого своего начала, клонится к закату, в особенности человеческая жизнь; а так как жизнь дон Кихота не обладала чудесной способностью замедлить свой бег, то его смерть и кончина наступила в ту минуту, когда он меньше всего этого ждал. Произошло ли это вследствие меланхолии, в которую он впал после своего поражения, или таково было предопределение небес, но только он заболел лихорадкой, протдержавшей его в постели шесть дней, в продолжение которых его часто навещали друзья — священник, бакалавр и дырюльник, — а Санчо Панса, добрый его оруженосец, не отходил от его изголовья. Полагая, что ему мешает поправиться тоска, протстекающая от мыслей о постигшем его поражении и о том, что его желание увидеть Дульсиню освобожденной и расколдованной так и не исполнилось, они всячески старались развеселить дон Кихота; и бакалавр уговаривал его протбодриться и встать с постели, чтобы начать пастушескую жизнь,

для которой он, Самсон Карраско, уже сложил эклогу, долженствующую затмить все элоги, сочиненные Санпадаро, и уже купил на собственные деньги двух отличных собак, чтобы сторожить стадо: одна из них называлась Барсина, а другая Бутроп, и ему продал их один владелец стада из Кинтанара. Но все это не могло рассеять печали дон Кихота.

Его друзья позвали врача; тот пощупал дон Кихоту пульс, который мало ему понравился, и посоветовал нашему рыцарю на всякий случай подумать о своей душе, так как тело его было в опасности. Дон Кихот спокойно выслушал его, но не так отнеслись к этому экономка, племянница и оруженосец, которые припились горько плакать, как если бы дон Кихот уже лежал перед ними мертвый. По мнению врача дон Кихота убивала тоска и печаль. Дон Кихот попросил оставить его одного, так как ему захотелось поспать. Его желание было исполнено, и он проспал, как говорится, без просыпу, целых шесть часов, так что экономка и племянница уже стали бояться, не скончался ли он во сне. Однако по истечении указанного времени он проснулся и громко вскричал:

— Да будет благословен всемогущий бог, оказавший мне такую милость! Понстине, милосердие его безгранично, и грехи человеческие не могут ни ослабить, ни отворотить его!

Племянница, внимательно вслушавшись в слова своего дяди, которые показались ей более разумным, чем обычные его речи, по крайней мере во время этой болезни, спросила:

— О чем это говорит ваша милость, сеньор

мой? Разве случилось что-нибудь новенькое? О каком таком милосердии и о каких грехах человеческих вы толкуете?

— О том милосердии, племянница, — ответил дон Кихот, — которое в это мгновение проявил ко мне господь, — и мои собственные грехи не помешали этому. Сейчас я сужу обо всем трезво и ясно, потому что разум мой освободился от густого мрака неведения, которым его окутало злополучное и постоянное чтение презренных рыцарских романов. Теперь я признаю их нелепыми и лукавыми, и единственное, о чем я горюю, это то, что просветление пришло ко мне слишком поздно, и у меня уже нет времени возместить зло чтением других книг, которые являются светочами души. Я чувствую, племянница, что смерть близка, и мне хотелось бы умереть так, чтобы люди не считали мою жизнь очень плохой и чтобы за мной не утвердилась слава сумасшедшего; правда, я был им, но я не хочу подтверждать этого своей смертью. Позови, милая, наших добрых друзей: священника, бакалавра Самсона Карраско и цырюльника мастера Николаса, потому что я хочу исповедаться и составить завещание.

Однако племяннице не пришлось об этом хлопотать, так как все трое вошли в эту минуту. Как только дон Кихот их увидел, он сказал:

— Поздравьте меня, добрые сеньоры: я теперь уже не дон Кихот Ламанчский, а Алонсо Кихано, за свои поступки прозванный *Добрый*. Теперь я стал врагом Амадиса Гальского и всего несчетного полчища его потомков, и мне ненавистны все нечестивые истории страствующих рыцарей;

я познал свое неразумие и ту опасность, которой подверг себя, читая их; и ныне, когда милосердный господь просветил наконец мою голову, я предаю их осуждению.

Когда присутствующие услышали это, они решили, что какое-нибудь новое безумие овладело им, и Самсон сказал:

— Именно теперь, сеньор дон Кихот, когда прибыла весть о расколдовании сеньоры Дульсины, ваша милость совсем о другом заговорили? Теперь, когда мы уже приготовились стать пастухами и проводить нашу жизнь по-княжески, распевая все время песни, ваша милость решили сделаться отшельником? Замолчите, ради бога, одумайтесь и бросьте эти бредни.

— Бредни — то, что было до сих пор, — ответил дон Кихот, — ибо поистине они были губительными для меня бреднями; но в минуту смерти я, с божьей помощью, обращаю их себе на пользу. Я чувствую, сеньоры, что смерть моя, совсем близка; перестанем же шутить и приведите ко мне священника, чтобы я исповедался, и писца, чтобы я мог составить завещание; ибо в такую минуту не пристало человеку шутить со своей душой; поэтому прошу вас, пока сеньор священник будет меня исповедывать, пошлите за писцом.

Присутствующие переглянулись, дивясь речам дон Кихота, и, хотя они не могли победить своих сомнений, они все же были склонны ему поверить; это внезапное превращение его из безумца в здравомыслящего показалось им одним из признаков близости его смерти; ибо к уже упомянутым своим словам он прибавил много других, таких складных, поистине христианских и

разумных, что все сомнения рассеялись, и они окончательно поверили, что он находится в здравом уме.

Священник попросил всех выйти из комнаты и, оставшись с дон Кихотом наедине, исповедал его. Бакалавр, отправившийся за писцом, вскоре вернулся вместе с ним и с Санчо Пансой; и Санчо, уже узнавший от бакалавра, в каком состоянии находится его господин, застав экономку и племянницу плачущими, принялся рыдать и проливать слезы. Когда исповедь окончилась, священник вышел и сказал:

— Действительно Алонсо Кихано Добрый умирает, и действительно он в здравом уме; войдите к нему, чтобы присутствовать при составлении им завещания.

Эти слова вызвали новый поток слез из глаз экономки, племянницы и доброго оруженосца Санчо Пансы, разразившихся обильными рыданиями и глубокими бесчисленными вздохами; ибо поистине, как нами уже не раз было отмечено, дон Кихот, и в бытность свою просто Алонсо Кихано Добрым, и в бытность свою дон Кихотом Ламанчским, неизменно проявлял кроткий нрав и приветливый характер, за что его любили не только близкие, но и все, кто его знал. Вместе с другими вошел и писец. После того, как он написал заголовок завещания, дон Кихот, поручив свою душу богу, с соблюдением всех полагающихся при этом христианских правил, приступил к перечислению пунктов и начал так:

«Мен, * я желаю, чтобы денег моих, находящихся на руках у Санчо Пансы, которого во время моего безумия я сделал своим оруженосцем,

в виду того, что между мной и им были разные расчеты, получки и уплаты, с него не требовали и отчета в этих деньгах у него не спрашивали; а если после вычета из них того, что ему полагается, будет какой-нибудь остаток, то пусть он возьмет его себе, потому что деньги эти маленькие, а ему они весьма пригодятся. И если, будучи безумным, я помог ему получить в управление остров, то теперь, в здравом уме, я отдал бы ему, если бы мог, целое королевство, потому что этого заслуживают его простая душа и верное сердце».

И, обратясь к Санчо, он прибавил:

— Прости мне, мой друг, что из-за меня ты тоже прослыл сумасшедшим, ибо по моей вине ты впал в такое же заблуждение, как и я, поверив, что были на свете и сейчас еще есть странствующие рыцари.

— Ах,—воскликнул Санчо, заливаясь слезами,—не умирайте, ваша милость, мой сеньор, а послушайтесь моего совета—живите еще много лет! Потому что величайшее безумие, которое может сделать человек, это—умереть так, ни с того, ни с сего, когда никто его не убивал, и никто не изводил, кроме разве одной тоски. Прошу вас, не предавайтесь безделью, а встаньте с постели и пойдем бродить по полям, одевшись пастухами, как было у нас решено; может быть, за каким-нибудь кустом мы найдем расколдованную сеньору донью Дульсинею,—и тогда нам не останется желать ничего на свете. А если вы умираете от печали, что вас победили, то свалите вину на меня: скажите, что вас вышибли из седла потому, что я плохо подтянул подругу

Росинанта; и к тому же ваша милость сами читали в своих рыцарских книгах, какая это обыкновенная вещь, что один рыцарь вышибает другого из седла: побежденный сегодня, завтра сам оказывается победителем.

— Конечно, — сказал Самсон, — и добрый Санчо Панса судит об этих вещах вполне правильно.

— Тише, сеньоры, — сказал дон Кихот, — в прошлогодних гнездах не водятся молодые птенцы. Я был сумасшедшим, а теперь я в здравом уме; я был дон Кихотом Ламанчским, а сделался, как уже сказал вам, Алонсо Кихано Добрым. Пусть мое раскаяние и моя правдивость возвратят мне ваше прежнее уважение; а теперь, сеньор писец, пишите дальше.

«Итем, я завещаю все мое имущество, без всяких ограничений, моей племяннице Антонии Кихано, с тем, чтобы сначала из него было выключено, в наиболее удобной форме то, что я оставляю другим лицам; и в том числе я прежде всего прошу уплатить жалованье моей экономке за все время, которое она мне прослужила, и сверх того двадцать дукатов ей на платье. Душеприказчиками мои назначую сеньора священника и сеньора бакалавра Самсона Карраско, при сем присутствующих.

«Итем, я желаю, чтобы моя племянница Антония Кихано, если она захочет выйти замуж, избрала мужем человека, относительно которого будет сначала удостоверено, что он не знает, что такое рыцарские романы; если же выяснится, что он знает их, и тем не менее моя племянница все же пожелает выйти за него, я лишаю ее моего наследства, которое прошу моих душеприказчи-

ков употребить на добрые дела, по их усмотрению.

«Итак, я прошу пазванных сеньоров, моих душеприказчиков, если им случится когда-нибудь встретить сочинителя книги под пазванием *Вторая часть подвигов дон Кихота Ламанчского*, передать ему мою настоятельную просьбу простить меня за то, что я неумышленно дал ему случай написать также великие нелепости, какие содержатся в этой книге; ибо, расставаясь с жизнью, я испытываю угрызения совести, что дал ему повод написать их».

На этом дон Кихот окончил свое завещание и, лишившись чувств, вытянулся на постели. Все испугались и бросились к нему на помощь; и в продолжение трех дней, которые он еще прожил после того, как написал завещание, он почти все время лежал без сознания. Весь дом был в тревоге; тем не менее племянница кувшала, экономка пропускала стаканчик, и Санчо тоже убажала себя: так ожидание наследства смягчает и подавляет в наследниках естественную печаль, которую вызывает мысль о покойнике. Наконец, дон Кихот, по совершении над ним всех таинств, умер, высказав напоследок много дельных осудительных слов по поводу рыцарских романов. Писец, при этом присутствовавший, заметил, что ни в одном рыцарском романе он не читал, чтобы какой-нибудь странствующий рыцарь умер на своей постели так спокойно и по-христиански, как дон Кихот; а тот, среди сетований и рыданий всех окружающих, испустил дух, иначе сказать — умер.

Увидев это, священник попросил писца дать ему свидетельство, что Алоисо Кихано Добрый,

называемый обычно дон Кихотом Ламанчским, расстался с земной жизнью и умер естественной смертью: свидетельство это он хотел получить, чтобы помешать всякому другому сочинителю, кроме Сиды Амета, ложно воскресить дон Кихота и без конца писать истории его подвигов.

Таков был конец хитроумного ламанчского идадьго, деревню которого Сид Амет не захотел обозначить точно для того, чтобы все города и деревни Ламанчи спорили между собой, усьпывая каждая дон Кихота и предъявляя на него права, подобно тому, как семь греческих городов спорили из-за Гомера.

Не будем описывать слез Санчо, племянницы и экономки дон Кихота; не будем приводить и новых эпитафий, написанных на гробницу дон Кихота, за исключением лишь следующей, сочиненной Самсоном Карраско:

Здесь лежит идадьго смелый,
Чья отвага забрела
В столь высокие пределы,
Что и смерть не возмогла
Прах смирить похолодель.

Пренебрегши миром шумным,
Он бродил виденьем чумным,
Добрым людям на забаву,
И, стяжав навеки славу,
Умер мудрым, жив безумным.

Премудрый Сид Амет говорит, обращаясь к своему перу:

«Здесь, на этом крючке и медной проволоке, ты будешь висеть, о мое перо, не знаю, хорошо или

плохо очиненное. Ты проживешь на ней долгие века, если только какие-нибудь наглые и подлые историки не снимут тебя, чтобы осквернить.



Но, прежде чем они прикоснутся к тебе предостереги их, произнеся с надлежащим выражением:

Тише, тише, шалунишки,
Пусть никто меня не тронет,
Ибо только мне, король,
Уготован этот подвиг!*

Для меня одного родился дон Кихот, как и я — для него; ему дано действовать, мне — описывать. Вдвоем с ним мы составляем одно целое, вопреки и на зло лживому тордесильскому сочинителю, который дерзнул (или еще дерзнет) грубым и плохо очиненным страусовым пером* описать подвиги моего доблестного кабальера, — труд, непосильный для его плеч и для оледенелого его ума. И посоветуй ему, если тебе случится с ним встретиться, чтобы он оставил поживать в гробу усталые и уже постлевшие кости дон Кихота и не пытался, вопреки всем законам смерти, увозить его в Старую Кастилию,* извлеки его из могилы, в которой он, самым окончательным и непреложным образом, лежит, вытянувшись во весь свой рост, неспособный уже совершить третья* свое путешествие и новый выезд. Чтобы осмеять бесчисленные скитания бесчисленных странствующих рыцарей, вполне достаточно двух его выездов, совершенных им к великому удовольствию и развлечению всех тех (как из нашего королевства, так и из чужеземных), до кого только дошли сведения о них. И этим ты исполнишь свой христианский долг, подав благой совет желающему тебе зла, а я буду счастлив и горд, что первый в полной мере, как этого желал, наслаждался плодами своих писаний; ибо у меня не было иного желания, как только внушить людям отвращение к лживым и нелепым историям рыцарских романов, которые, благодаря моей подлинной истории о дон Кихоте, уже зашатались и, без сомнения, скоро совсем падут. Vale».*

ПРИМЕЧАНИЯ

ПОСВЯЩЕНИЕ

Страница 7, строка 2. Педро Фернандес де Кастро, граф Лемос, маркиз Саррья (1576—1622), родовитый аристократ и крупный сановник, был известным меценатом, поддержкой которого пользовался целый ряд талантливых испанских писателей XVI—XVII вв. Ко времени назначения своего в Неаполь, где он был вице-королем (1610—1615), он включил в свою свиту группу писателей, в число которых хотел попасть и Сервантес. Неуспех этой просьбы не отразился на отношениях последнего к Лемосу, которые до самой смерти Сервантеса оставались сердечными и дружественными. Кроме II ч. «Дон Кихота» Сервантес посвятил графу Лемосу свои «Назидательные новеллы» (1613), «Комедии» (1615) и роман «Персилес и Сихизмузда» (1617).

Страница 7, строка 4. Сервантес оговаривает этот факт потому, что обычно драматурги его эпохи поступали наоборот: сначала драматические произведения проходили через сцену и только после этого (иногда через 10—15 лет) попадали в печать.

Страница 7, строка 15. См. прим. к гл. LIX, страница 700, строка 20.

Страница 7, строка 17. Упоминание об императоре китайском объясняется еще свежим в памяти современников впечатлением, которое произвело в Мадриде прибытие (12 января 1612) дипломатического письма от богдыхана.

Страница 8, строка 16. Последний роман Сервантеса, над которым он тогда работал.

Страница 8, строка 16. «С божьей помощью» (латинское выражение).

Страница 8, строка 24. Граф Лемос должен был вскоре вернуться из Неаполя в Мадрид для принятия должности Президента особого совета по делам Италии.

ПРОЛОГ

Страница 11, строка 9. Книга Авельянеды (см. ниже первое примечание к гл. LIX.) была написана в г. Тордесильяс (родина автора) и напечатана в г. Таррагоне

Страница 11, строка 18. Безрукий (в смысле «увечный», «с искаленной рукой») — намек на то, что левая рука Сервантеса вследствие раны, полученной в битве при Лепанто, оказалась почти парализованной.

Страница 12, строка 18. Святейшее судилище — т. е. инквизиционный трибунал. Речь идет о драматурге Лопе де Веге.

Страница 14, строка 26. Перенденга — заглавие (или имя действующего лица) не дошедшей до нас интермедии. Приводимая цитата из нее, очевидно, была вложена в уста уличной торговки, выхвалявшей покладистого администратора, который потакал ее мошенничествам.

Страница 14, строка 28. *Veinticuatro* (букв. значит «двадцать четыре») — один из двадцати четырех выборных членов совета больших городов; указываемый здесь чиновник был обязан контролировать цены на рынке. Злоупотребления этих администраторов вошли в ту эпоху в поговорку.

Страница 14, строка 34. Крупный церковный сановник, бывший вместе с графом Лемосом деятельным покровителем Сервантеса.

Страница 15, строка 3. Стишки Минго Ревульго — сатирическая поэма XV в., направленная против короля Энрике IV (ум. 1474). Поэма состоит из 394 восьмисложных стихов (см. прим. к гл. LXXIII, страница 901, строка 36).

Глава I

Страница 19, строка 9. Сервантес имеет в виду тех планировщиков, или, вернее, прожектёров (*los arbitristas*), которые при постоянных банкротствах казны, имевших место в Испании XVI—XVII вв., заваливали королевские канцелярии горами самых нелепых финансовых предложений. Образчик одного из таких проектов Сервантес приводит в своей новелле «Беседа собак».

Страница 19, строка 31. «Ни королю, ни руху» — поговорка, построенная на названиях шахматных фигур

и имеющая смысл: «никому на свете». Арабское слово р у х, первоначально обозначавшее баснословную птицу (упоминаемую, между прочим, в сказках «Тысячи и одной ночи»), стало названием шахматной «ладьи» и перешло в этом значении в испанский язык в форме гоце.

Страница 19, строка 33. Цырюльник ссылается на романс (romance) анекдотического характера, в котором рассказывается о том, как вор, ограбивший священника, взял с него нерушимую клятву, что он никогда не выдаст виновника преступления. Однако священник прибегнул к следующей хитрости: вместо слов, которыми начинают мессу, он пропознес краткий рассказ о случившемся и попросил присутствовавшего на мессе короля арестовать находившегося в церкви вора.

Страница 21, строка 27. Университет в г. Осуна — основан в 1548 г. — (см. также гл. XLVII), был захудалым, как и иронически упоминаемый в т. I, гл. I, страница 30, университет г. Сигуэнсы (основ. в 1472 г.)

Страница 27, строка 34. Имена героев испанских рыцарских романов XVI в.; Фелисмарте — тоже самое, что Флорисмарте, упоминаемый в т. I, гл. VI, страница 83; Родамонте, Собрино, Рейнальдо, Роланд, Руджеро, Турпин — герои «Неистового Роланда» Ариосто. Имя архиепископа Турпина стало синонимом отъявленного враля. Упоминаемой здесь «Космографии» никогда не существовало.

Страница 29, строка 19. Сервантес в согласии со вкусами эпохи считает, что красивой бородой может быть только светлая и золотистая.

Страница 29, строка 32. Морганте — главное действующее лицо героикокомической поэмы Луиджи Пульчи «Morgante Maggiore» (окончат. редакция 1483 г.).

Страница 31, строка 21. Речь идет о главных действующих лицах «Неистового Роланда» (см. прим. к т. I, страница 817, строка 6 и 828, строка 17). Медор получил цитируемое Сервантесом прозвание за верность своему королю Дардинелу, труп которого он, с опасностью для собственной жизни, пытался вынести из боя, но получил, при этом жестокую рану (Ариосто, «Неистовый Роланд», песнь XIX, 1 — 16).

Страница 31, строка 29. Сервантес в шутку называет цитируемые им два стиха Ариосто («Неистовый Роланд», песнь XXX, 16) «пророческими», подразумевая под про-

изведениями этой «иной лиры» «посвященные героине Ариосто поэмы испанских поэтов: Луиса Бараона де Сото (Анджелика, ч. I, 1586; Сервантес называет эту повьму «Слезы Анджелики», см. упоминание в т. I, гл. IV, страница 90) и Лопе де Веги (Красота Анжелики — 1602 г.).

Страница 32, строка 29. С а к р и п а н т е — действующее лицо «Неистового Роланда», король Черкассии, сарацин, пламенный, но неудачливый поклонник Анджелики.

Глава II

Страница 36, строка 25. Первая часть латинской поговорки: «когда болит голова, тогда и все остальные члены болят».

Страница 38, строка 19. Y u g a d a букв. значит — запашка.

Страница 40, строка 21 В е г е н j e n a букв. значит — баклажан.

Глава III

Страница 42, строка 32, «О р д е н с к о е п л а т ь е с в я т о г о П е т р а» — одеяние священника (сутана, длинный плащ и черная шапочка), которое в те времена, было обязательной одеждой студентов. Апостола Петра первого «наместника христового» и, следовательно, первого папу, Карраско шутливо изображает как бы главой особого рыцарского ордена; первые четыре ученые степени, получаемые студентами, были: остиарий (привратник), лектор (чтец), экзорцист (заклинатель) и аколит (прислужник).

Страница 45, строка 9. Б р и а р е й — персонаж из античной мифологии, великан, имевший 50 голов и 100 рук.

Страница 48, строка 1. М а ф у с а и л — библейский персонаж, по преданию проживший около тысячи лет.

Страница 48, строка 18. Г р а м м а т и к а — средневековый научный термин, обозначающий книжный латинский язык.

Страница 50, строка 20. Часть настоящей главы представляет собою своеобразный монтаж из критических отзывов современников по поводу I части «Дон Ки-

хота»; приводя эти замечания, Сервантес тут же на них отвечает. То ста до — прозвище известного богослова Алонсо де Мадригаль, необычайная плодовитость которого (Собрание сочинений в 13 тт. in folio, Венеция 1569) вошла в пословицу.

Страница 51, строка 26. «Бывает, что и старик Гомер иногда подрёмывает», латинская поговорка, имеющая следующий смысл: «иногда даже у самого образованного автора попадаются вялые и неудачные места».

Страница 52, строка 6. «Количество глупцов — неисчислимо» — латинская поговорка.

Страница 52, строка 14. Этот авторский промах обычно отмечается всеми критиками, писавшими о Сервантесе, как явное доказательство поспешности и небрежности, с которой приходилось работать Сервантесу, не просматривавшему своих рукописей и корректур с должною тщательностью (См. прим. к т. I, гл. XXII, страница 317, строка 34).

Страница 52, строка 27. Поговорочное выражение, имеющее смысл: «совсем отошать», «превратиться в щепку».

Глава IV

Страница 56, строка 1. О Сакрипанте см. прим. к гл. I, страница 32, строка 29.

Страница 59, строка 24. См. прим. к гл. LVIII, страница 683, строка 26.

Страница 62, строка 4. Термины старинной испанской метрики: д е с и м а — строфа из 10 восьмисложных стихов (с обязательной паузой после четвертой строки), состоящая из двух пятистиший на две рифмы каждое; р о д о н д и л ь я — обозначала тогда строфу из 5 восьмисложных стихов на 2 рифмы.

Глава V

Страница 65, строка 4. О б а н д р и а к а х см. прим. к т. I, гл. XXV, страница 348, строка 2.

Страница 66, строка 1. Во времена Сервантеса в деревнях существовало несколько способов давать фамилии (прозвища) замужним женщинам и детям. Жена могла сохранить фамилию отца (см. т. I, гл. LI, страница 804 и примеч.; жена Санчо Пансы считает своим правиль-

ным наименованием: Тереса Каскахо, см. ниже страница 69, строка 8—9); принять фамилию мужа (ср. Тереса Панса) или же сделать своей фамилией имя мужа (ср. Тереса Санча II, гл. I). Наряду с своими крестными именами дети имели еще имена, являвшиеся либо составными с именем отца, либо уменьшительными от него, либо, наконец, его женской формой: крестное имя дочери Санчо Пансы Мария (уменьш. Марика), но кроме того в романе она называется еще: Мари-Санча (Мари-санча), и Санча Санчика (см. гл. LI, страница 626, и 627 строка 24 и 9. Ср. также гл. LIV, страница 651, строка 12, где старик Рикоте называет свою дочь «Рикота», и т. п.

Страница 68, строка 27. Санчо говорит о церковных статуях, которые в большие праздники носили на особых носилках с помостом.

Страница 70, строка 12. Уррака, дочь короля Фернандо I Кастильского (ум. 1065) — героиня старинного романа, в котором рассказывается о том, как она, будучи лишена отцом наследства, заявляет ему, что отправится блуждать по свету и торговать своим телом, причем вырученные ею деньги отдаст на упокоение души обидевшего ее родителя: таким образом, Уррака названа здесь как образец беспутной женщины.

Страница 70, строка 19. Непереводимая игра слов: вместо *Almohades de Marruecos* (Альмоады Марокские — династия мавритапских королей XII в. н. э.), Санчо произносит *Almohadas de Marruceos* (т. е. подушки марокские).

Глава VI

Страница 80, строка 21. Стихи из I элегии Гарсиласо де ла Веги (1503—1536).

Страница 80, строка 34. Мастерить клетки и выделывать зубочистки считалось в те времена вполне совместимым с званием идадьго, так как такого рода занятие не приравнивалось к ремеслу.

Глава VII

Страница 88, строка 9. «Отлично, превосходно» (латинское выражение).

Страница 89, строка 3. О смысле этой клятвы — см., прим. к т. I, гл. X, страница 126 и к т. I, гл. XXX страница 450.

Страница 92, строка 26. Шутник бакалавр нарочно коверкает фразу.

Глава VIII

Страница 96, строка 2. Сервантес имеет в виду Гарсиласо де ла Вега, в III эклоге которого воспеваются эти четыре пимфы.

Страница 97, строка 8. Искусственное разжигание вражды к евреям и маврам среди населения составляло предмет особой заботы со стороны испанской инквизиции XVI—XVII вв.

Страница 98, строка 5. Описываемый здесь храм — римский Пантеон, построенный в I в. н. э.

Страница 100, строка 27. В католических странах еще до сих пор распространен церковный обычай, на который намекает здесь Санчо: получившие мнимое исцеление от так наз. «чудотворных» икон, гробниц или статуй, в ознаменование этого события приносили в храм миниатюрное изображение излеченных членов тела или имеющих отношение к их болезням предметов; приношения подобного рода назывались экс-вото (лат. ex voto — «по обету»).

Страница 100, строка 33. Иглою святого Петра в народе прозвали египетский обелиск, поставленный против собора св. Петра в Риме. Сообщение о том, что обелиск этот заключает в себе останки Юлия Цезаря — досужий вымысел, не имеющий никакого основания.

Страница 101, строка 1. «Адрианова Громадина».

Глава IX

Страница 108, строка 26., Мавр Калайнос герой старинного ромansa, повествующего о том, как он добивался любви инфанты Себильи.

Глава X

Страница 115, строка 11. Санчо по своему обыкновению перевирает фразу.

Страница 115, строка 26. Строки из старинного ромansa о Бернардо дель Карпыо, вошедшие в поговорку.

Страница 116, строка 3. Санчо от волнения приводит поговорки, имеющие совершенно обратный смысл: найти Марито (самое распространенное имя) в г. Равенне (Италия) такое же легкое дело, как найти в Саламанке — бакалавра.

Страница 117, строка 28. Красным мелом студенты писали на всех стенах имя победившего на ученом конкурсе профессора.

Глава XI

Страница 130, строка 23. Насмешливая кличка, данная содержателю весьма посредственной труппы актеров для того, чтобы не смешивать его с одноименным перво-классным актером, прозванным Ангуло Хороший. Об Ангуло Плохом Сервантес вспоминает еще раз в своей новелле «Беседа собак».

Страница 130, строка 25. Действо, т. е. *auto sacramental* (букв. значит — представление в день святейшего таинства) — особый драматический жанр (пережиток средневекового «моралитё»), в аллегорической форме пропагандировавший догматы и основы христианского вероучения. С половины XVI в. постановка их была приурочена ко дню праздника «святейшего таинства» (*santísimo sacramento*), или иначе «тела христового» (*corpus cristi*), справлявшегося через неделю после вознесения. Названный здесь *ауто* (*Las Cortes de la Muerte*) приписывается Лопе де Веге и напечатан в III т. его «Сочинений», изд. испанской Академии наук.

Страница 131, строка 16. *Sarátula* (в тексте перевода: «театральная маска») и *farándula* (в переводе: «комедианты») термины, обозначавшие разновидности бродячих актерских трупп, являлись бытовым синонимом понятия «театр».

Глава XII

Страница 140, строка 12. Два стиха из романса, находящегося в популярном в ту эпоху романе Хинес Перес де Ита «Гражданские войны Гранады» (1595). Камышевые трости (в переводе: «тростники»), употреблявшиеся в потешных воинских играх — являются синонимом дружественного и ласкового отношения; копьё —

боевое и опасное оружие — символизируют вражду и зложелательность. Приводимую даьше поговорку Сервантес юмористически выдает за стих неведомого поэта.

Страница 140, строка 24. Эти своеобразные зоологические сведения восходят к «Естественной истории» Плиния Старшего (ум. 79 г. н. э.) и его испанским продолжателям.

Страница 143, строка 24. Вандальская — от имени завоевавшего юг Испании германского племени вандалов — в эпоху Сервантеса считалась древним названием испанской провинции Андалусии; та же провинция ниже именуется Тартесией.

Глава XIII

Страница 154, строка 31. Сьюдад Реаль — главный город провинции Ламанча, славившийся выделяваемым в его окрестностях вином.

Глава XIV

Страница 158, строка 3. Хиральда (исп. giralda — «флюгер») — колоссальный флюгер (3 метра в высоту), изображающий собою статую Победы, укрепленную (1568) на башне Севильского собора.

Страница 158, строка 11. Быками Гисандо называются пять огромных бесформенных каменных изваяний, покрытых плохо сохранившимися и не поддающимися расшифровке надписями. Изваяния эти находятся в деревне Гисандо (округ Мадрида). В XVI—XVII вв. их часто причисляли к достопримечательностям Испании.

Страница 158, строка 14. Пропасть Кабра (округ Кордовы) глубиною около 150 метров, считалась в это время великой диковинкой.

Страница 159, строка 6. Две не вполне точно процитированные строки из I песни эпической поэмы А. де Эрсилья «Араукана» (1597).

Глава XVI

Страница 190, строка 10. «Зарабатывая на хлеб» — латинская поговорка.

Страница 192, строка 2. Начало стиха (гекзаметра) из поэмы Овидия «Фасты», кн. VI, 5. Его полная форма: «Est deus in nobis, agitante calescimus illo» — «бог обитает в нас: мы, движимы им, пламенеем».

Страница 192, строка 34. Намек на судьбу Овидия, сосланного Августом на берега Черного моря (Понта).

Страница 193, строка 8. Т. е. лавра. Легендарное сведение это сообщается Плинием (см. прим. к гл. XII, страница 140, строка 24).

Глава XVII

Страница 202, строка 28. Мануэль де Леон — Прославленный свою храбростью рыцарь, изображенный в романе Х. Переса де Ита «Гражданские войны Гранады» (1595). Он бесстрашно вошел в клетку со львами, куда его дама по неосторожности уронила свою перчатку. Сюжет этот был разработан впоследствии в испанских романах и частично использован Лопе де Вега в комедии «Перчатка доньи Бланки»; позже он лег в основу известной баллады Шиллера «Перчатка».

Страница 203, строка 3. Речь идет о коротких и широких саблях, изготовлявшихся в XVI в. знаменитым оружейником г. Толедо, Хулианом дель Рей, фабричным клеймом которого являлось изображение собачки, намекавшее на мавританское происхождение мастера. Обиходной кличкой для мавров в эпоху жестоких религиозных преследований было слово «собака»; в последствии одиозность этой клички несколько смягчилась.

Глава XVIII

Страница 211, строка 12. В загородных дворцах и поместьях погреб в те времена сплошь и рядом устраивался перед входной дверью.

Страница 211, строка 19. Две строки из сонета любимого поэта Сервантеса, Гарсиласо де ла Веги.

Страница 212, строка 31. В эпоху Сервантеса, когда верховая езда была главным способом передвижения, всадники во время путешествия обычно пользовались мягкими сапогами (без толстых подметок и без каблуков); между тем как башмаки — типичная обувь пешехода. Дон Кихот, попав в семейную обстановку, поста-

рался припоровить свой наряд к мирному, оседлому укладу, и свою «воинскую» обувь восполнил «штатскими» башмаками. Эта комическая деталь усиливает забавное впечатление, производимое на окружающих всеми остальными подробностями костюма безумного рыцаря. Провошенная обувь изготовлялась из особого сорта кожи, которая в процессе обработки обильно пропитывалась воском. При отсутствии ваксы (тогда еще неизвестной) это был единственный способ придать кожаной обуви вполне опрятный вид.

Страница 212, строка 32. Указание на «симпатическое» лечебное средство: носить португую считалось особенно полезным для лиц, подверженных названной болезни.

Страница 215, строка 9. Г л о с с а (исп. *glosa*, букв. — «комментарий») — особый вид стихотворения, которое, отправляясь от какой-либо заданной строфы (в данном случае четверостишия), строится так, чтобы последние строки каждого его куплета полностью повторяли строки заданной строфы в том же самом порядке, в каком они даны в «глосслируемом» образце.

Страница 216, строка 3. Термины, заимствованные из «Этики» Аристотеля; д и с т р и б у т и в н о е (распределяющее) право назначает справедливую долю благ, причитающихся данному лицу; к о н м у т а т и в н о е (возмещающее) п р а в о — устанавливает эквиваленты, соответствующие размеру полученной ценности.

Страница 216, строка 19. Под богословскими добродетелями разумеются вера, надежда и милосердие; под кардинальными: благоразумие, справедливость, мужество, умеренность.

Страница 216, строка 22. Итал. *Pesce Nicolas* или *Cola* — фантастический пловец, полурыба, получеловек, легенда о котором возникла в XV в. в г. Мессине (Сицилия).

Страница 218, строка 13. Монахи Картезианского ордена соблюдали обет молчания и поэтому их монастыри сделались синонимом для выражения понятия «абсолютная тишина».

Страница 221, строка 2. Дон Кихот вставляет в свою речь один стих (Увенчанный на Кипре и в Гаэте) из сонета широко известного в эту эпоху поэта-импровизатора Баптиста де Вивар; этим стихом поэт характе-

ризует самого себя. Гаэта — см. прим. к т. I, гл. LI, страница 808, строка 2.

Страница 223, строка 13. Монте-синос — название довольно большой пещеры, находящейся в Ламанче.

Глава XIX

Страница 227, строка 14. Эти танцоры исполняли народную пляску полуакробатического типа, в которой за каждым ударом ноги о землю следовал удар ладонью по подошве башмака.

Страница 228, строка 2. Т. е. обладает большими природными талантами, но очень беден.

Страница 228, строка 5. О барре — см. прим. к т. I гл. XXV, страница 358, строка 2.

Страница 231, строка 18. Уроженцы области Сайяго (округ Саморы) по общему мнению эпохи говорили на самом неправильном и грубом языке, тогда как жители Толедо признавались обладателями образцовой кастильской речи.

Страница 231, строка 22. Кожевни и Сокодоверская площадь в Толедо были излюбленным местопребыванием бродяг, воров, картежников и прочего подозрительного люда. Дворик Толедского собора — место прогулки и встреч дерковной и светской интеллигенции этой поры.

Страница 231, строка 27. Махалаонда — название деревни (округ Мадрида), получившее значение глухого захолустья (ср. русские — Чухлома, Пошехонье).

Глава XXI

Страница 251, строка 19. Патена — широкая пластинка (из серебра или какого нибудь более дешевого металла), обычно с изображением святого, служившая украшением женского крестьянского наряда.

Страница 261, строка 6. Котлы, о которых евреи вспоминали в пустыне, выйдя из Египта (Исход, гл. XVI 3), и которые были для них символом обеспеченной и сытой жизни.

Глава XXII

Страница 263, строка 26. «Мудрая жена — венец своего мужа» — цитата из «Притчей Соломона» XIV, 4.

Страница 267, строка 3. Ангел Магдалины — бронзовая фигура, укрепленная в виде флюгера на церкви св. Магдалины в г. Саламанке. Каньо Весингерра (т. е. Висенте Герра) — канал, отводивший в Гвадалквивир сточные воды улицы Потро, был одним из самых зловонных и антигигиенических мест в г. Кордове. О быках Гисандо — см. прим. к гл. XIV, страница 873, строка 22. Сьерра-Морена — горная цепь, отделяющая Новую Кастилию от Андалусии, место действия гл. XXIII — XXXII, I. ч «Дон Кихота». Леганитос, Лавальёс, Пьюхо, Каньо Дорадо, Приора — фонтаны, сооруженные в XVII в. для снабжения жителей Мадрида питьевой водой и представлявшие по тому времени техническую достопримечательность, достойную специального описания.

Страница 267, строка 8. Полидор Виргилий — итальянский гуманист XV в., автор знаменитого в свое время трактата «Об изобретателях» (*De rerum invento-ribus*, 1499).

Страница 272, строка 10. Пенья де Франсия (букв. «Скала Франции») — гора между Саламанкой и Сьюдад Родриго. На этой горе был расположен доминиканский монастырь, где в 1409 г. был открыт «чудотворный» образ девы Марии, привлекавший в те времена множество паломников. См. прим. к гл. XLI, страница 482 строка 28.

Страница 273, строка 22. Монтесинос — герой старинного романа, так называемого «каролингского цикла», двоюродный брат Дурандарте и графа Дирлоса.

Глава XXIII

Страница 277, строка 25. Алькайд — комендант крепости или замка.

Страница 277, строка 33. Этот эпизод действительно имеет место в романсе о Дурандарте.

Страница 281, строка 3. О реке Гвадиане (Верхней) — см. прим. к т. I, гл. XVIII, стр. 224.

Страница 290, строка 1. Фуггеры — германский банкирский дом XVI—XVII вв., имевший свои отделения в Испании. Богатство Фуггеров вошло в пословицу.

Страница 290, строка 18. Педро Португальский, брат короля Энрике Мореплавателя, совершил кругосветное путешествие в 1424 г. Как гласит изданная об этом книга (*Libro del infante don Pedro de Portugal, que anduvo las quatro partidas del mundo, Zaragoza 1570*), он объехал четыре (см. прим. к т. I, гл. XLVIII, страница 752, строка 33) части света, но крылатая фраза превратила число четыре в семь, как это и повторено у Сервантеса.

Глава XXIV

Страница 295, строка 6. Очевидно, намек на щедрость графа Лемоса, о благодеяниях которого Сервантес говорит в посвящении ко II т. «Дон Кихота».

Страница 299, строка 20. Итальянское слово, означающее: «скупость», «скарденность».

Страница 300, строка 32. Во времена Сервантеса делались попытки обратить внимание правительства на бедственное положение инвалидов, но королевская власть систематически отклоняла все ходатайства такого рода. Только во второй половине XVIII в. было положено начало делу призрения увечных воинов.

Глава XXV

Страница 303, строка 9. Рехидор — член волостного или городского управления.

Страница 306, строка 32. Рух — см. примеч. к гл. I, страница 19, строка 31.

Страница 308, строка 9. Маэсе — «маэстро», «мастер».

Страница 309, строка 22. Гердог Альба (1508—1582), полководец и доверенное лицо Филиппа II, проявил чудовищную жестокость при подавлении восстания в Нидерландах и при насильственном захвате Португалии. Ссылка на его имя показывает, что много лет спустя после своей смерти он все еще представлялся

для современников Сервантеса воплощением всемогущего вельможи, «первого человека» в государстве.

Страница 309, строка 23. *Galantuomo* — итальянское слово, означающее: человек благородного происхождения, «барин».

Страница 309, строка 23. *buon compagno* — итальянское слово, означающее «добрый малый».

Страница 309, строка 33. *Che' pesce pigliato?* — итальянское выражение, означающее: «с чего бы нам начать?», «что мы будем делать?».

Страница 311, строка 17. *Андандопа* — безобразная и воинственная великанша, изображенная в рыцарском романе «Амадис Гальский» (книга III, гл. 3).

Страница 313, строка 20. Астронемическая фигура или гороскоп представляет собою чертёж, имеющий целью установить конкретное положение светил в момент рождения определенного лица для того, чтобы на основе влияния этих светил на жизнь и поступки человека (чему в эту эпоху придавали серьезную веру) предсказать его судьбу.

Страница 315, строка 33. «Делам верьте, а не словам» — латинская пословица.

Глава XXVI

Страница 317, строка 6. Неполная цитата, воспроизводящая первый стих II песни «Энеиды» Вергилия (*Conticuere omnes intentique ora tenebant*) в испанском переводе Г. Эрнандес Веласко (1557).

Страница 317, строка 20. Легенде о Гайферосе и Мелисендре посвящен особый цикл старинных романсов, источником которых является старо-французская хроника Псевдо-Турпина (XIII в.). Согласно романсам Гайферос — был племянником, а Мелисендра (точнее Мелисенда) — родной дочерью императора Карла Великого. Вскоре после помолвки с Гайферосом, Мелисендра была похищена маврами и увезена в Испанию.

Страница 317, строка 23. Романсы ошибочно приурочили название Сансуэнья (т. е. «Саксония») к городу Сарагосе. Мальчик в точности следует своему неверному источнику.

Страница 317, строка 26. Две строки из эпического стихотворения анонимного автсра. Впервые опубликовано в *Cançionero de Amberges*, 1573.

Страница 318, строка 15. Строка из старинного романа о дон Гайферосе, произносимая однако в самом романе не Карлом Великим, а другим, близким к герою лицом.

Страница 319, строка 24. Цитата из романа «*Escarpatán a la Méndez*», сочиненного в начале XVII в. известным писателем Франсиско Кеvedо.

Страница 325, строка 8. Цитата из старинного романа о короле Родриго, погубившем Испанию (Тема этого романа использована Пушкиным в стихотворении «На Испанию родную», 1833).

Глава XXVII

Страница 331, строка 21. О книге, сочиненной Хинесом де Пасамонте, см. т. I, гл. XXII, страница 298.

Страница 333, строка 30. Алькальд — деревенский староста, глава волостного управления.

Страница 337, строка 1. Этому эпизоду посвящена серия старинных романсов. В одном из них вызов имеет следующую, близкую к приводимой Сервантесом, редакцию: «Вызываю всех саморанцев, ибо все они находились в городе; Вызываю я хлеб и воду; Всех еще не родившихся, а равно и родившихся, живших тогда в Саморе; Всех от мала до велика; И тех, кто еще не был зачат.

Страница 337, строка 13. Местечко, удостоившееся прозвания Релоха, очевидно, г. Эспартинас (в округе Севильи); происхождение клички объясняется следующим анекдотом. Местный городской совет, обсудив предложение священника приобрести башенные часы, постановил купить не часы-самца (*el reloj* — мужск. род — часы), а часы-самку (*la reloja*), так как по невежеству принял часы за животное и рассудил, что выгоднее приобрести самку, потому что от нее может получиться приплод, который не трудно будет выгодно продать. «Кастрюльниками и баклажанниками» обзывали жителей Толедо за их пристрастие к тушеным овощам (блюдо это носило название *sazue* — что значит также «кастрюля») и баклажанам. К и т о л о в а м и именовали мадридцев вследствие того, что они будто бы

умудрились изловить в Мансанаресе (ничтожной речонке, на которой стоит Мадрид и которая имеет менее 2 метров в ширину) целого кита. Мыловарами звали жителей Севильи, где было много мыловаренных заводов.

Глава XXVIII

Страница 342, строка 10. «Крестное знамение» (латинское выражение). Дон Кихот хочет этим сказать, что крестьяне могли бы из мести нанести Санчо ножевую рану в форме креста, что широко практиковалось в ту эпоху.

Страница 347, строка 3. «Великое море» (латинское выражение).

Глава XXIX

Страница 350, строка 28. О босых монахах — см. прим. к т. I, гл. XXXII, страница 489.

Страница 351, строка 30. Вара — см. прим. к т. I, гл. XXXIX, страница 612, строка 7.

Страница 352, строка 14. Рифейские горы помещались античными космографами в северной части Скифии.

Страница 352, строка 20. В эпоху Сервантеса для измерения широты и долготы пользовались астролябией, вместо современных квадранта и секстанта.

Страница 354, строка 7. Это фантастическое сведение могло быть почерпнуто Сервантесом из книги Абрагама Ортелиуса «Theatrum orbis terrarum», испанский перевод которой вышел в Антверпене в 1612 г.

Глава XXX

Страница 362, строка 19. Вашей высокой соколинности — Санчо с непривычки путает титул гердигини (alteza — «высочество») с словом того же самого корня (altanería), которое значит «соколиная поуха», «охота с ловчими птицами».

Страница 363, строка 31. Комментаторы «Дон Кихота» считают, что оригиналом для выведенной в романе титулованной четы послужили — дон Карлос де Борха, герцог Вильяэрмоса и его жена — Мария — Луиса де Арагон.

Глава XXXI

Страница 373, строка 15. Тока — см. примеч. к гл. XXXVIII, страница 455, строка 8.

Глава XXXII

Страница 394, строка 22. Уроженцы Сайяго (см. примечание к гл. XIX, страница 231, строка 18) считались самыми дикими и невежественными из всех испанских крестьян.

Страница 396, строка 20. Аластрахарся — дочь Амадиса Гальского. Об Ориане и Мадасиме — см. прим. к т. I, Пролог, страница 18, строка 1, и т. I, гл. XXIV, страница 339.

Страница 396, строка 33. Виртуально — термин средневековой философии обозначающий «потенциально, в скрытом виде».

Страница 399, строка 27. О Каве — см. прим. т. I, гл. XLI, страница 652, строка 32.

Страница 400, строка 26. Ассесор — заседатель, помощник судьи.

Страница 401, строка 4. Пикаро — бродяга, плут, паразит. Целые полчища пикаро, бродившие по Испании, представляли собою настоящее народное бедствие и наглядно свидетельствовали о том параличе, в котором находились производительные силы страны. Это были деклассированные элементы сельского пролетариата, потянувшегося в крупные центры, не пристроившегося к ремеслу и обреченного на паразитарное или преступное существование.

Глава XXXIII

Страница 406, строка 18. Кресло Сиды.* Герцогиня имеет в виду драгоценное кресло (трон), которое Сид захватил при взятии Валенсии (1094 г.).

Страница 409, строка 30. Вамба, — один из королей Готской династии (672—680), по народному преданию, (опровергнутому, впрочем, уже в эпоху Сервантеса), был выходцем из крестьян.

Страница 410, строка 9. Строки из старинного романа о короле Родриго (см. прим. к т. I, гл. XLI, страница 652, строка 32). Эта легендарная пытка служила наказанием за грех сладострастия; дуэнья не уловила контекста, в котором даны эти два стиха и тем самым ее слова приобрели довольно игривый смысл.

Страница 414, строка 13. Герцогиня называет популярный сборник сентенций Микаэля Верино: «Книга двустийний» (Саламанка, 1496). Смерть автора, скончав-

шегося 17 лет от роду, была отмечена латинским стихотворением Анджело Полициана, начинающимся словами: «*Verinus Michael florentibus occidit annis*», т. е. «Микаэль Верино, опочивший в юношеском возрасте».

Глава XXXIV

Страница 420, строка 16. Фавила — король готской династии, удачно отразивший первые набеги арабов на Испанию, по преданию погиб в горах провинции Леон около 740 г.

Страница 423, строка 7. Греческий Командор — кличка знаменитого эллиниста, профессора Саламанкского университета Эрнана Нуньес де Гусман (Пинсиано), бывшего командором ордена Сант-Яго. Он был автором первого научно составленного и комментированного сборника народных пословиц и поговорок («*Keftanes o proverbios en romance*», 1555).

Глава XXXV

Страница 430, строка 32. Дйте в античной мифологии — одно из имен Плутона бога подземного царства.

Страница 433, строка 32. *Abrenuncio* (вместо правильной формы *abrenuncio*) — букв. значит «отрекаюсь», «зарекаюсь». В данном случае оно имеет смысл «ни за что на свете», «никогда».

Страница 434, строка 19. Постановка учебного дела и надзора в «Школе закона божьего» при коллегии св. Ильдефонса в Мадриде была так запущена и плоха, что оканчивающие ее, по большей части, увеличивали собою и без того уже многочисленные ряды нищих и бродяг Мадрида. Жестокость обращения с учениками этой школы, их невежество и крайняя нечистоплотность уже в XVII веке вошли в поговорку.

Страница 436, строка 22. «Разглядить коноплю» — поговорочное выражение, имеющее смысл «ублажить», «задобрить».

Страница 437, строка 4. Кадик — употребляется Санчо не в точном значении этого термина (владелец феода или князь у индейцев), а в общем смысле «индеец», «краснокожий».

Глава XXXVI

Страница 442, строка 9. «Дела милосердия, выполняемые нерадиво и незначительно, не имеют значения и никогда не зачитываются» — эта фраза, как идущая в разрез с взглядами церкви, попала в «Запретительный индекс» Севилья, 1632) кардинала Сапато и была вычеркнута католической цензурой. Любопытно отметить места, вычеркнутые португальскими властями по указанию «Индекса» (Лиссабон, 1624) епископа Машкареньяш; они находятся в I т. «Дон Кихота» и подверглись гонению за свой неблагопристойный и кощунственный характер. Эти места — следующие: гл. XII, страница 159, строки 19—23 (от слов «а те части тела» и кончая «сравнений»); гл. XVI от страницы 195, строка 8, и по страницу 200, строка 26 (от слов «Еще раньше того» и кончая «жи-вого места»); гл. XVII, страница 207, строки 15—19 (от слов «После этого он» и кончая «благословения гл. XX, страница 263, строки 8—10 (от слов «поручив себя»; и кончая «а попутно»); гл. XXVI, страница 371, строки 20—21 (от слов «от подола» и кончая «по ногам»); гл. XXVIII, от страницы 417, строка 9 и по страницу 423, строка 2 (от слов «однажды ночью» и кончая «Занятие»). Ссылки сделаны по I т. настоящего издания.

Страница 443, строка 21. Начиная со второй половины XVI в., кареты делаются излюбленным способом передвижения не только аристократов, но и всей буржуазии.

Глава XXXVII

Страница 451, строка 12. Аптекарь толеданец — см. прим. к гл. XIX, страница 231, строка 18.

Страница 451, строка 19. Dolorida — букв. значит «жалующаяся», «скорбящая».

Страница 452, строка 27. Пловучие доски т. е. — галеры.

Глава XXXVIII

Страница 455, строка 8. Тока — женский головной убор, состоявший из длинного полотняного платка, обычно дважды обернутого вокруг головы, причем концы его выпускались на плечи. Вдовы носили белые

токи, замужние женщины — черные. Токи дуэний были вычурного и сложного фасона и отличались огромными размерами, что сразу выделяло дуэний из среды других женщин.

Страница 455, строка 17. *Мартосская* горошина — т. е. очень крупная; *Мартос* (Андалусия) славился своими злаками и овощами.

Страница 455, строка 24. *Трифальди* — букв. «три шлейфа», «с тремя шлейфами». *Лобуна* (от исп. *lobo* — «волк») — букв. «волчья», «волчихина». *Сорруна* (от исп. *zorra* — «лисица»), букв. — «лисья», «лисицина».

Страница 460, строка 15. *Душа с бородой и усами* — т. е. мужественная, отважная душа, храбро отправляющаяся после смерти на небо; по мысли Санчо такое настроение у души может появиться только в том случае, если она удостоена спасения.

Страница 461, строка 2. Перечисление восточных местностей, пародирующее фантастическую географию рыцарских романов (*Кандайя* — город в Индии; *Трапобана* — остров Цейлон; мыс *Коморин* — Индостан), курьезно противопоставлено именам действующих лиц возвращающих нас на европейскую почву: королева *Магунсия* (г. Майнц), король *Арчипьела* (Архипелаг). Совершенно гротескно имя инфанты, обозначающее реторическую фигуру. Весь рассказ *Трифальди* выдержан в стиле злой пародии на тематику и фразеологию современной Сервантесу сентиментальной литературы.

Страница 462, строка 21. Строфа из итальянского поэта *Серафино Аквилано*, переведенная в 70-х годах XVI в. на испанский язык и получившая большую известность среди музыкантов и поэтов, перелагавших ее на музыку и писавших на нее глоссы (см. прим. к главе XVIII, страница 215, строка 32).

Страница 463, строка 5. Четверостишие это принадлежит поэту *Эскрива* (XV в.); впервые оно было напечатано в 1511 г.

Страница 463, строка 16. *Острова Ящериц* — шуточное название несуществующей страны (вроде нашего «у чорта на кулички»).

Страница 463, строка 27. *Венец Ариадны*, сделанный ее супругом, богом огня и кузнечного искусства, *Вулканом*, из золота и восточных драгоценных камней, удостоился чести быть превращенным в созвездие.

В понимании дуэньи Долориды слово «Т í б а р» превратилось в географическое название; на самом деле исп. *oro de tibar* (от арабск. *tibr* — чистое золото) значит «червонное золото». Сервантес строит на этой ошибке комический эффект. П а н к а й л а — область так наз. Счастливой Аравии, славившаяся редкими и изысканными благоуханиями.

Страница 465, строка 2. «Столичный альгуасил» — т. е. полицейский.

Глава XXXIX

Страница 467, строка 30. «Кто при этих словах мог бы удержаться от слез?» («Энеида», I, 6 — 8).

Глава XL

Страница 473, строка 11. Потосí — городок в Бolivии (Ю. Америка), знаменитый своими серебряными рудниками. Богатства его вошли в пословицу.

Страница 474, строка 30. Имя Клавильеньо состоит из двух слов: *slavija* — «колок», и *leno* — «балка». См. т. I, гл. XLIX, страница 769—770.

Страница 478, строка 6. Об обращении на «вы» см. примеч. к I т. гл. XX, страница 264, строка 28.

Глава XLI

Страница 482, строка 28. Троица Гаэтская — храм, посвященный Троице в г. Гаэта (см. прим. т. I, гл. LII, страница 808, строка 2).

Страница 486, строка 18. Перальвилио — городок неподалеку от г. Сьюдад Реаль, где Санта Эрмандада расстреливала преступников. Название его сделалось синонимом места пыток и ужасов.

Страница 486, строка 34. Дерзновенного юноши — т. е. Фаэтона.

Страница 488, строка 31. Космографические представления Дон Кихота относятся еще к до-коперниковой системе мира. Учение о небесных сферах (областях) принадлежит древне-греческому космографу Птолемею (II в. н. э.).

Страница 489, строка 16. Ученый лицензиат Евгений Торральба был заподозрен инквизицией в колдовстве и приговорен к казни в 1531 г.

Страница 489, строка 22. Одним из эпизодов борьбы за преобладание в Италии между испанцами и французами явилось взятие Рима войсками Карла V, сопровождавшееся смертью испанского полководца, герцога Бурбонского (6 мая 1527).

Страница 493, строка 21. Семь козочек — народное название созвездия Плеяд.

Страница 493, строка 1. Игра слов, основанная на двояком смысле испанского слова *cabrón*, означающего и «козел» и «рогач, рогатый муж»; Санчо хочет сказать, что ни одному рогатому мужу не достать (рогами) до рогов луны.

Глава XLII

Страница 494, строка 4. Хотя в одну могилу ложись — поговорочное выражение, означающее «мы с вами во всем решительно согласны».

Страница 498, строка 28. Словом «христос» обозначался крест, который обычно печатался перед первой буквой азбуки. Таким образом, выражение «христа не знать» равнозначно нашему: «ни аза не знать».

Страница 500, строка 5. Моральные «Двуступишия», ложно приписываемые римскому писателю Катону, имели огромное распространение в Испании XVI — XVII вв. вследствие чего имя его сделалось синонимом мудрого советчика в вопросах жизненного поведения

Глава XLIII

Страница 506, строка 14. Неряшливое платье, в котором Юлий Цезарь ходил в Риме во время выборов, современники объясняли как демагогический прием с целью привлечь выборщиков на свою сторону.

Страница 511, строка 29. Сервантес ради комического эффекта употребляет искаженную форму пословицы, которая первоначально гласила: «кто умеет во-время смолчать, тот — святой» (*santo*); это последнее слово, вследствие особенностей старинного начертания, было ошибочно изменено в *sancho*.

Глава XLIV

Страница 516, строка 13. «Ни обособленных ни приспособленных повелл». Сервантес

возвращается к обсуждению своей литературной техники, затронутой в критических отзывах современников (см. прим. к гл. III, страница 50, строка 20. и вступительную статью Б. А. Кржевского, т. I, страница LXV — LXVI). Пример о б о с о б л е н н о й новеллы — повесть о «Безрассудно любопытном» (т. I, XXXIII — XXV), совершенно не связанная с фабулой романа; пример п р и с п о с о б л е н н о й новеллы — повесть о любви Карденио, Люсинды, Фернандо и Доротеи, которая сначала излагается в рассказе Карденио (т. I, гл. XXIV и XXVII) и Доротеи (т. I, гл. XXVIII), а затем «разыгрывается в лицах» эпизодически введенными в роман участниками этого вставного повествования.

Страница 522, строка 15. Цитата из 227-й строфы сборника (Trescientas coplas) кордовского поэта Хуана де Мена (1411 — 1456).

Страница 522, строка 24. Цитата из послания апостола Павла к коринфянам (VII, 31).

Страница 525, строка 27. Хака — малозначительная горная делья (отроги Пиринеев), на которой расположен город того же названия (пров. Уэска).

Страница 526, строка 4. Энáрес и Мансанáрес — притоки Харамы; Харама — приток Тахо; Арланса — приток Писуэрги; пространства, омываемые этими реками, очень ограниченные.

Страница 526, строка 25. Тарпейская круч — см. прим. к гл. LIV, страница 644, строка 16.

Глава XLV

Страница 529, строка 8. Cantimplora — медный кувшин с длинным горлышком, который вращали в снегу для того, чтобы скорей остудить воду или вино. Сервантес, сознательно пародируя напыщенный стиль, хочет выразить весьма простую мысль: солнечная жара заставляет человека думать о кувшинах для охлаждения напитков.

Страница 529, строка 9. Т и м б р и и и Ф е б — другие имена Аполлона (бога солнца).

Страница 529, строка 24. Слово Barataria — того же корня, что прилагательное barato — «дешевый» и близко по смыслу к русскому — «дешевка».

Страница 533, строка 3. Сатирический выпад по поводу распространенного в ту эпоху обычая отсылать в тюрьмы, в виде подарков заключенным, никому ненужный хлам.

Глава XLVI

Страница 542, строка 25. В эпоху Сервантеса любители музыки не видели большой разницы между laúd (лютней, которую попросил дон Кихот) и vihuela (виола, которую ему на самом деле принесли) в виду большого сходства этих двух инструментов. Различие между ними заключалось в том, что лютня имела круглый и составленный из мелких частей резонансный ящик, тогда как у виолы этот ящик был плоский и состоял из крупных частей.

Страница 547, строка 7. Апарисево масло — лечебное средство, изобретенное испанским врачом Апарисио Субиа (XVI в.).

Глава XLVII

Страница 550, строка 1. Начинать обед горькими или кислыми фруктами рекомендовалось в эпоху Сервантеса лучшими врачами-гигиенистами.

Страница 551, строка 13. В своем афоризме Гиппократ говорит о хлебе, а не о куропатках. Доктор дурачит Санчо Пансу.

Страница 552, строка 1. Оляя подрида — упревшие овощи, горячий венигрет, — национальное блюдо в Испании.

Страница 552, строка 6. Латинское слово, означающее: «Убрать прочь!»

Страница 552, строка 29. Имя доктора Педро Ресидо де Агуэро по-русски можно переделать так: Петр Непокладистый Приметов (исп. resido — «суровый, строптивый», mal agüero — «дурная примета»). Тиртеафуэра (исп. tirte afuera) букв. значит «отправляйся на тот свет». Изменив ниже имя доктора и назвав его Мальагуэро Санчо тем самым переделал фамилию «Приметов» в «Дурноприметов».

Страница 552, строка 32. Об Осуне см. прим. к гл. I, страница 21, строка 27.

Страница 554, строка 4. Бискайцы славятся своей честностью, преданностью и твердостью харак-

тера, вследствие чего правители и вельможи часто избирали своих доверенных лиц из числа бискайцев.

Страница 557, строка 34 Крестьянин желал, таким образом, иметь в своей семье представителей всех трех ученых степеней: 1) бакалавр, 2) лицензиат, 3) доктор.

Страница 558, строка 15. Сервантес придает комический характер этой фамилии, сблизжая ее с словами *perla* (жемчужина) и *perlático* (параличный).

Глава XLVIII

Страница 567, строка 14. Швейка — см. примеч. к т. I, гл. XXVIII, страница 414, строка 12.

Страница 568, строка 12. Поцеловал себе руку — условный жест, свидетельствовавший о ненарушенной верности данному слову или обещанию.

Страница 568, строка 17. А ль м а л а ф а — см. примеч. к т. I, гл. XXXVII, страница 586, строка 14.

Страница 569, строка 8. Астурия Овьедская. В эпоху Сервантеса это название прилагалось к западной части Астурийской области (вернее принципата): восточная его часть называлась — Астурия Сантильдская.

Страница 569, строка 30. Уроженцы старинной провинции Монтанья (ныне округ Сантандера). Жители этой провинции (исп. *montañés* букв. — «горед»), избегнувшей арабского завоевания, считали себя самой родовитой и знатной частью населения и почти всегда настаивали на своих дворянских правах.

Страница 571, строка 11. Ворота Гвадалахары — торговая и очень оживленная часть старого Мадрида, всегда переполненная празднующимися и преступным людом.

Страница 574 строка 2. Босые монахи — см. примеч. к т. I, гл. XXXII, страница 489, строка 25.

Глава XLIX

Страница 578, строка 1. М о р о н и Л а в а х о с — местности в Андалусии, славившиеся дичью и домашней птицей.

Страница 578, строка 25. Дьяволы водятся и в Кантильяне — поговорка, имеющая в данном случае смысл русского присловья: «мы сами с усами».

Страница 581, строка 1. Говорящий — просто нарочно паразит игорных домов, примазывающийся к игрокам или состоящий в договоренности с шулерами-профессионалами.

Страница 581, строка 9. Как — мифологич., см. прим. гл. I, пролог, страница 9 строка 21.

Страница 581, строка 10. Андра дилья — имя хорошо известного в эту эпоху шулера.

Страница 589, строка 23. Карусель — пышная военно-аристократическая игра-празднество для всадников, состоявшая из «потешных» сражений, маскарада и пр.

Глава L

Страница 595, строка 31. Тереса Санча — см. примеч. к гл. V, страница 66, строка 1.

Страница 594, строка 6. Аранхуэс (см. прим. к т. I, гл. III, страница 808, строка 21) был знаменит своими великолепными фонтанами. Сервантес вводит игру слов: фонтан и фонтанель.

Страница 596, строка 32. Такое наказание, т. е. обривание юбки выше колен, действительно практиковалось в отношении женщин легкого поведения.

Страница 601, строка 9. Из этого замечания Тересы Панса видно, что присланная ей нитка кораллов представляла собою четки, которые при желании можно было надевать и на шею как ожерелье. Крупные зерна в такого рода четках, соответствовавшие наиболее важным молитвам, были сделаны из золота хорошей пробы.

Страница 603, строка 15. Для защиты лица от загара и пыли. См. I т., гл. XXXVI, страница 563, строка 14 и примечание.

Страница 606, строка 2. Латинское выражение, означающее: «Августин сомневается». Оно взято из студенческого жаргона и возникло из публичных теологических диспутов, разгоравшихся при толковании учения блаженного Августина о благодати. Смысл его: «в этом деле следует тщательно разобраться».

Страница 606, строка 6. Латинская пословица — см. прим. к гл. XXV, страница 315, строка 33.

Глава LI

Страница 613, строка 29. Тогда как в мужской штатской одежде той эпохи (во всех сословиях) преобладали темные тона (черный, коричневый, серый и их оттенки), военные носили пестрые и яркие костюмы, шляпы с пышными разноцветными перьями и массивные украшения из серебра и золота (часто поддельного).

Страница 615 строка 20. «Хоть я и дружен с Платоном, но еще больше дружу с истиной» — латинское изречение, являющееся переводом фразы из «Этики», I 4 Аристотеля.

Страница 616, строка 20. См. прим. к гл. XLVII страница 889, строка 22.

Страница 618, строка 5. Санчо говорит о той форме этого медицинского аппарата, которая была известна в те времена: камышевый наконечник, плотно вделанный в наполняемый водою бычий пузырь.

Глава LII

Страница 626, строка 24. Санча — см. примеч. к гл. V, страница 66, строка 1.

Страница 628, строка 16. Речь идет о тех же стенах, о которых выше упоминал Самсон Карраско (см. прим. к гл. III, страница 42, строка 32.)

Страница 629, строка 12. В городе Трончоне выделялись в ту эпоху самые вкусные сыры.

Глава LIII

Страница 634, строка 26, т. е. горшки, наполненные горячей смолой или дегтем (прототип позднейших гранат).

Страница 635, строка 18. «Прибьют гвоздем ко лбу» — в доказательство того, что такой неприятель существует в действительности, чему Санчо сам по себе не в состоянии поверить.

Глава LIV

Страница 641, строка 31. Гельте — искаженное немедкое слово *das Geld* («деньги»).

Страница 642, строка 30. Сходным словом (*franchote*) испанцы той поры обозначали всех вообще иностранцев, европейцев, а не только французов. Как видно из текста, спутники Рикоте были немцами, и сам он был одет в немецкое платье и ехал из Германии.

Страница 643, строка 29. Кушанье это не что иное, как черная икра (исп. *savia*, франц. *saviar*).

Страница 644, строка 16. Пародия на строки популярного романа, где говорится о том, с каким бесстрашием глядел Нерон на пожар им самим подожженного Рима: «Он глядел с высот Тарпея, И ничуть не сокрушался».

Страница 645, строка 4. Т. е. на земле.

Страница 646, строка 2. В числе других обвинений, выдвигавшихся против испанских мавров, особенно подчеркивалось то, что они намеревались восстать против испанской власти и, с помощью своих африканских собратьев, основать в Андалусии независимое мавританское государство.

Страница 646, строка 29. Совершенно ясно, что такой образ мыслей в корне расходился с настроениями большинства испанских мавров и, в частности, представителей средней буржуазии, к которой принадлежал Рикоте. Тенденциозность Сервантеса, увлеченного патриотической идеологией, побуждающей его восхвалять прелести режима Филиппа III и «свет истины», даруемый любезным ему католицизмом, — здесь слишком очевидна.

Страница 651, строка 2. Один из примеров рассеянности Сервантеса: названный здесь дон Педро Грегорио ниже (гл. LXIII, страница 761) превращается в дон Гаспара Грегорио, а еще дальше (см. гл. LXIII, страница 761 и LXIV, страница 768) в дон Грегорио.

Страница 651, строка 12. Рикота — см. прим. к гл. V, страница 66, строка 1.

Глава LV

Страница 656, строка 23. Дворцы Галианы — выражение, имеющее смысл нашего «царские палаты» или «райская обитель». Галиана, по старинным преданиям, была мавританской принцессой, принявшей христианство и сделавшейся женой Карла Великого. Отец ее выстроил для нее богатейший дворец на берегу Тахо, близ Толедо. Развалины, сохранившиеся неподалеку от

этого города, до сих пор называются «дворцами Галианы».

Глава LVI

Страница 665, строка 3. Святого собора — т. е. Тридентского собора (19-е постановление XXV заседания).

Страница 666, строка 23. Поделить солнце — т. е. поставить сражающихся на такие позиции, на которых лучи солнца будут одинаково бить им в глаза, не давая преимущества одной из сторон.

Глава LVII

Страница 673, строка 13. Эней, герой «Энеиды» Вергилия, и Бирено, персонаж из «Неистового Роланда» Арноста (песни 9 — 11), приводятся здесь как образцы бесчувственных и вероломных любовников, покинувших влюбленных в них женщин (Эней бросил Дидону; Бирено — Олимпию).

Страница 673, строка 22. Черненькие с белым — слова эти относятся к упоминающимся выше подвязкам.

Страница 674, строка 16. Марчена — город в округе Севильи; Лоха — город неподалеку от Гранады.

Страница 674, строка 20. «Сотня», «раньше всех», «королевство» — названия карточных игр.

Глава LVIII

Страница 681, строка 7. Матаморос букв. значит — «истребитель мавров». Сан-Диего или Сантьяго (другая форма того же имени) — апостол Иаков, считавшийся покровителем Испании).

Страница 682, строка 2. Цитата из евангелия Матфея, 11, 12.

Страница 683, строка 6. Грифон (т. е. «большой гриф») — баснословное животное, наполовину орел, наполовину лев.

Страница 683, строка 26. Слова, приводимые Санчо, — боевой клич старой Испании, вошедший в обиход с IX в. н. э: «Santiago, у cierra, España!» — «Св. Иаков! и рази

Испания!» Но *sie gga* может значить также — «защипай, замыкай». Отсюда комическая ошибка Санчо.

Страница 684, строка 2. Агарян — т. е. мавров — намек на библейское сказание о том, что арабы произошли будто бы от брака Агаря, изгнанной жены Авраама, и ее сына, Измаила.

Страница 686, строка 11. Ревнивый бог кузнецов — намек на Вулкана, заковавшего в тончайшую сетку жену свою Венеру в то время, как она изменяла ему с богом Марсом.

Страница 693, строка 17. Харáма — приток реки Тахо, славившийся своими пышными пастбищами, где выращивались самые лучшие быки, применявшиеся для «боя быков».

Страница 693, строка 24. Таких обученных волов нарочно пускали в стадо для того, чтобы они увлекали буйных быков туда, куда было нужно погонщикам.

Глава LIX

Страница 699, строка 23. На телячьих ножки они были похожи своею нежностью, а на коровьи копыта — своею велличиной.

Страница 700, строка 20. Здесь Сервантес впервые упоминает про подложную II ч. «Дон Кихота» (1614) — анонимного автора, скрывшегося под именем Алонсо Фернандес де Авельянеда, уроженца г. Тордесильяс (Арагон). Книга эта представляет собою грубое подражание Сервантесу. Настоящий автор до сих пор неизвестен. Подделка без достаточных оснований приписывалась Лопе де Вега, Л. Архенсоле, Тирсо де Молине, Аларкону и др. То обстоятельство, что в предыдущих главах Сервантес не говорит об Авельянеде (посвящение Лемосу и пролог к II ч. были им написаны уже после окончания всего романа), дает основание думать, что до написания LIX главы он еще не был знаком с произведением своего плагиатора.

Страница 702, строка 6. Термин частицы (*artículos*) Сервантес, повидимому, употребляет в более широком смысле, чем тот, который ему придается в школьной грамматике, где *artículo* — определенный член (*el, la*). В тексте Авельянеды пропусков определенного члена

нет, зато наблюдается характерное для области Арагона опущение некоторых союзов.

Страница 702, строка 34. Упрек этот несправедлив и только лишний раз свидетельствует о рассеянности Сервантеса; в конце VII гл. I ч. (см. т. I, страница 99) Санчо называет свою жену Мари Гутьеррес (а несколькими строками выше Хуана Гутьеррес). Ср. еще I т., страница 804, строка 5, где она названа Хуана Санча.

Страница 706, строка 23. Авельянеда в данном случае ничего не присочинил, а просто воспользовался соответствующим указанием Сервантеса в конце I ч. (см. т. I, гл. LII, страница 806), где сделана ссылка на ламанчские предания о великих деяниях дон Кихота на Сарагосском турнире, совершенных им во время третьего выезда (в I ч. у Сервантеса были изображены два первых выезда героя). Состязание с кольцами (исп. *sortija* — «перстень», «кольцо») — военно-спортивная игра, состоявшая в том, что всадники на всем скаку ловили копьями высоко подвешенные кольца.

Глава LX

Страница 711, строка 6. Заключительные строки старинного романа из цикла «Инфанты Лара» (Мударра убивает изменника Р. Веласкеса).

Страница 713, строка 5. Роке Гинарт вследствие сходства имен смешивает здесь легендарного сицилийского тирана Бузириса (умерщвлявшего всех чужеземцев, попадавших в его страну) с египетским богом Озирисом.

Страница 713, строка 6. Роке Гинарт — историческое лицо. Его шайка получила широкую известность в 1610 г.; вскоре он был арестован и после присутствия к смертной казни помилован и выслан в Неаполь (1611).

Страница 717, строка 28. Любопытная бытовая черта эпохи: при исключительных обстоятельствах (близость смерти, неминуемая военная опасность и т. п.) пожатие руки в присутствии свидетелей и одновременно высказываемое обеими сторонами желание стать мужем и женой — было равносильно официальному заключению брака.

Страница 720, строка 7. Дистрибутивное право — см. примеч. к гл. XVIII, страница 216, строка 3.

Страница 727, строка 7 и 9. Ни́арры (друзья Р. Гинарта) и Каде́лли (его враги) — фамилии феодальных родов, находившихся между собой в состоянии войны наподобие Монтекки и Капулетти, изображенных в «Ромео и Джульетте» Шекспира.

Глава LXI

Страница 729, строка 15. Намек на ту музыку, которой, согласно античной легенде, статуя Мемнона встречала каждое утро появление на небе своей матери-зари (Мемнон — сын Авроры).

Страница 730, строка 27. О смысле этой клятвы см. т. I, гл. X, страница 126, строка 9 и примечание, а также прим. к I т., гл. XXX, страница 450, строка 7.

Глава LXII

Страница 734, строка 16. Выпад против Авельянеды в XII гл. его романа Санчо прячет за пазуху указанную здесь еду.

Страница 736, строка 25. Эскотильо — имя известного в то время шарлатана, жившего в Италии (в Парме) в конце XVI в.

Страница 741, строка 10. «Сгиньте, нечистые силы» — формула церковного заклинания бесов.

Страница 741, строка 29. Об этой пляске см. прим. к гл. XIX, страница 876, строка 6.

Страница 745, строка 17. П е р о Г р у л ь о — анекдотический персонаж, делающий само собою разумющиеся предсказания и пророчества.

Страница 748, строка 7. Тосканский язык — т. е. итальянский.

Страница 748, строка 26. Итал. *pignatta* букв. значит «печной горшок».

Страница 749, строка 27. «Верный Пастух» (1590), пасторальная траги-комедия итальянского поэта Б. Гварини, была переведена на исп. язык в 1602 г. известным писателем К. Су́арес де Фигеро́а. «А м и н т а» (1573) Т. Тассо — пастораль, переведенная в 1607 г. юным другом Сервантеса, Х. Хáуреги.

Страница 750, строка 23. Речь идет о книге монаха Фелипе де Менесес, впервые напечатанной в Севилье в 1555 г., «Светоч души христианской, побеждающий слепоту и неведение».

Страница 751, строка 5. По стародавнему деревенскому обычаю, свишей кололи в день св. Мартына (11 ноября).

Глава LXIII

Страница 754, строка 3. Белым камнем древние римляне имели обыкновенно отмечать особенно благоприятные и счастливые дни.

Страница 756, строка 15. Монжу́йк — укрепленный замок на холме, господствующем над Барселоной.

Страница 757, строка 6. Арра́эс — см. прим. к т. I, гл. ХLI, страница 645, строка 28.

Страница 757, строка 13. Тора́кí — слово арабского происхождения, означющее — «турок».

Страница 762, строка 2. Круса́до — португальская золотая монета, имевшая хождение в Испании. Название ее происходит от слова cruz — «крест», который был на ней выбит.

Страница 765, строка 21. Анна-Феликс — букв. значит Анна-Счастливая.

Глава LXIV

Страница 774, строка 27. В подлиннике игра словами: deslocado — «вылеченный от сумасшествия» и dislocado — «вывихнутый».

Глава LXV

Страница 781, строка 8. По поручению Филиппа III этот сановник руководил в 1609 и 1610 гг. насильственной эвакуацией мавританского населения из Ламанчи. Свидетельство Сервантеса расходится с отзывами авторитетных его современников, изображающих Бернардино де Веласко грубым и безжалостным администратором.

Глава LXVI

Страница 785, строка 10: См. прим. к т. I, гл. ХIII, страница 160, строка 8—9.

Страница 786, строка 9. Арроба — см. прим. к т. I, гл. IX, страница 118, строка 9.

Страница 788, строка 6. Жезл был внешним признаком, по которому узнавали представителей администрации.

Страница 790, строка 33. Игра слов. Фразу «debe de ser loco» Санчо, желая состричь, понимает еще в другом возможном значении: «должен (находится в долгу) за свое сумасшествие».

Глава LXVII

Страница 796, строка 10. Такого рода литературно-бытовые маскарады и игра в пастораль были распространены в эпоху Сервантеса. Один из родоначальников пастушеской лирики в Испании — Хуан Боскán (ум. 1542), считался вместе с тем и лучшим мастером в области этого жанра. Неморосо (от лат. *nemus* «роща») — перевод на латинский язык фамилии Боскána (исп. *bosque* «роща»).

Страница 796, строка 13. Имя Куриабро составлено из слова *cura* — «священник» и окончания — *ambro* .

Страница 796, строка 22. Прибавление окончания -она сообщает имени увеличительную форму (Терсона — «Тересище»). Любопытно по этому поводу отметить новый пример забывчивости Сервантеса: Тереса, жена Санчо в гл. L (см. страница 596), изображена автором жилистой и худошавой.

Страница 797, строка 2. Слово это в обиходном языке прилагалось к двум разным инструментам: к медным тарелкам (как в данном месте у Сервантеса) и к медной трубе (единств. число альбог).

Страница 797, строка 8. С бронзовыми подсвечниками автор сравнивает их потому, что подсвечники эти в его время имели форму плоской тарелки с углублением в середине.

Страница 797, строка 17. Эти филологические наблюдения не полны даже для эпохи, в которую пишет Сервантес (ср. Хуан Вальдес, «Диалог о языке», 1534). Приставка *al* встречается иногда в словах и не арабского происхождения. Значение приводимых слов (по порядку): «скребища», «завтракать», «ковер», «полицейский», «лаванда», «магазин», «копилка» («шаровидный сосуд»).

Страница 797, строка 21. Слов, оканчивающихся на ударяемое *i*, в испанском языке значительно больше. Значение пяти приводимых здесь слов (по порядку): «мягкий сапог», «лачуга», «мараведис» (монета), «левой», «законовед» (у арабов).

Глава LXXIII

Страница 891, строка 34. Латинская цитата из Библии (Кн. Иова, гл. XVII): «после мрака на свет уповаю». Это изречение, напечатанное вокруг изображения сокола с клубочком на голове, с конца XVI в. служило иногда некоторым типографам в качестве типографской марки. Печатник Хуан де ла Куэста украсил ею обе части «Дон-Кихота» Сервантеса.

Глава LXIX

Страница 808, строка 15. Вара — см. прим. к I т., гл. XXXIX, страница 612, строка 7.

Страница 808, строка 24. Обычай хоронить девственниц с пальмой в руке восходит в Испании еще к римской эпохе.

Страница 810, строка 23. Фракийский певец — Орфей, чарами музыки освободивший свою возлюбленную, Эвридику, из царства мертвых.

Страница 810, строка 24. Эта вторая октава целиком заимствована из II эклоги Гарсиласо де ла Веги (1503 — 1536), любимого поэта Сервантеса. См. ниже замечание дон Кихота (гл. LXX, страница 824).

Страница 811, строка 5. Радамант, Минос и Эак, в античной мифологии — судьи подземного царства. Относительно Дйте — см. прим. к гл. XXXV, страница 431, строка 27.

Страница 813, строка 6. Медовый уксус — туалетная вода. Пристрастие к притираниям и всякого рода косметике было характерной слабостью дуэний и давало повод к постоянным насмешкам над ними.

Глава LXX

Страница 820, строка 31. Стих из I эклоги Гарсиласо де ла Веги.

Страница 822, строка 15. Новый сатирический выпад Сервантеса против ненавистного ему автора II подложной части «Дон Кихота» (см. прим. к гл. LIX, страница 700, строка 20). Сценка эта представляет собою материализацию ходких метафор: «книгу эту черти в ад уташили»; «хуже сам черт не напишет»; «книга эта — хлам» («очески») и «пустота» («ветер») и т. д.

Глава LXXI

Страница 828, строка 13. Латинское выражение, означающее — «дана даром».

Страница 831, строка 25. Пословица, основанная на реальном историческом факте: именно — на долгой осаде г. Саморы, взятие которой разрешило вопрос о престолонаследии. См. примеч. к I т., гл. XXVII, страница 392, строка 3.

Страница 834, строка 33. Маулеон — мадридский стихоплет эпохи Сервантеса, жалкие произведения которого снискали ему печальную известность. По невежеству своему он не понял латинского выражения «... deum de deo» (из католического символа веры «... бога от бога») и истолковал его как испанское со смыслом: «будь, что будет, валяй куда пошло».

Страница 835, строка 26. См. т. I, гл. XLVI, страница 726, строка 17 и примечание.

Глава LXXII

Страница 836, строка 30. Выпад против Авельянеды (см. прим. к гл. LIX, страница 700, строка 20.) Сервантес платит своему плагиатору его же монетой, выводя в своем романе его героя Альваро Тарфе.

Страница 839, строка 11. Дом Нундия — дом для умалишенных, выстроенный в Толедо в 1483 г. папским нунцием Франсиско Ортисом.

Глава LXXIII

Страница 845, строка 5. Латинское выражение, означающее: «дурная примета, дурная примета».

Страница 846, строка 22. Речь идет о герое сатирических «Стишков Минго Ревульго» (см. прим. к Прологу

II т., страница 15, строка 3). В первой строфе их говорится о крестьянских нарядах Минго: синий кафтан и малиновая куртка.

Страница 851, строка 6. Строки из популярной песенки «вильянико» (см. прим. к т. I, гл. XII, страница 145, строка 4).

Страница 851, строка 8. Пословицей этой племянница хочет сказать, что дон Кихот слишком стар для того, чтобы сделаться пастухом.

Г л а в а LXXIV

Страница 853, строка 3. Джакомо Салливаро (1458 — 1530) — итальянский писатель, автор знаменитого в эпоху возрождения пасторального романа «Аркадия» (1504).

Страница 856, строка 32. Латинское слово, которое букв. значит: «также», «а кроме того» (употребляется в документах, содержащих разного рода перечисления).

Страница 861, строка 34. Последние две строки этой строфы воспроизводят стихи из романа Хинеса Переса де Ита «Гражданские войны Гранады» (1595).

Страница 861, строка 6. Еще один, последний на этот раз, выпад по адресу Авельянеды («писатель из г. Тордесильяс»). Стр а у с о в о е п е р о — огромное и грубое по сравнению с гусиными, какими писали в то время, — намек на неуклюжий и варварский стиль плагиатора.

Страница 862, строка 13. В конце своего романа Авельянеда обещает дать продолжение своей книги, где должны были быть изображены приключения дон Кихота в Старой Кастилии (Саламанка, Авила, Вальядолид).

Страница 862, строка 16. Сервантес ошибается в счете «выездов» дон Кихота: в I ч. изображены первый и второй выезды героя, во II ч. — третий. Поэтому здесь было бы уместнее говорить о невозможности совершить четвертый выезд и о достаточности состоявшихся уже трех.

Страница 862, строка 32. Vale — см. примеч. к I т., пролог, страница 12, строка 28.

ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ ВО ВТОРОМ ТОМЕ СТИХИ СПЕЦИАЛЬНО ПЕРЕВЕДЕНЫ ДЛЯ НАСТОЯЩЕГО ИЗДАНИЯ М. А. Кузминым и М. Л. Лозинским, именно: М. А. Кузминым переведены стихи к главам I, VI, IX, X, XII XIV, XVIII (двустипшие и совет), XX, XXIII, XXIV, XXVI, XXVII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVIII, XLIV (одностипшие), LX, LXVIII, LXIX, LXX и LXXIII; М. Л. Лозинским — стихи к главам XVIII (тема с глоссой), XLIV (песнь Альтисидоры), XLVI, LVII и LXXIV. ПРИМЕЧАНИЯ К ПЕРВОМУ ТОМУ СОСТАВИЛ А. А. Смирнов, ко второму тому — Б. А. Кржевский.

ОГЛАВЛЕНИЕ

	СТР.
Посвящение графу де Лемос	7
Пролог	11

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава I, о том, что произошло между священником, дыряульником и дон Кихотом во время его болезни	16
Глава II, в которой рассказывается о великом препирательстве Санчо Пансы с племянницей и экономкой дон Кихота и о других забавных предметах	33
Глава III, о смешном разговоре, происшедшем между дон Кихотом, Санчо Пансой и бакалавром Самсоном Карраско	41
Глава IV, в которой рассказывается о том, как Санчо Панса разрешил недоуменные вопросы бакалавра Самсона Карраско, а также о других событиях, о которых стоит узнать и рассказать	54
Глава V, о рассудительном и забавном разговоре, происшедшем между Санчо Пансой и его женой Тересой Пансой, и о других событиях, заслуживающих счастливого упоминания	63
Глава VI, о том, что произошло между дон Кихотом, его племянницей и экономкой, — одна из самых важных глав во всей истории	73
Глава VII, о том, что произошло между дон Кихотом и его оруженосцем и о других поразительнейших событиях	82
Глава VIII, в которой рассказывается о том, что случилось с дон Кихотом во время поездки его к сеньоре Дульсинее Тобосской	93
Глава IX, в которой рассказывается то, что вы сами увидите	104

	СТР.
Глава X, в которой рассказывается, каким хитрым способом Санчо околдовал сеньору Дульсинею и какие еще произошли события, столь же смешные, сколь и истинные	112
Глава XI, о странном приключении, случившемся у доблестного дон Кихота с колесницей или тележкой «Дворца Смерти»	126
Глава XII, о странном приключении, случившемся у доблестного дон Кихота с отважным рыцарем Зеркал	136
Глава XIII, в которой продолжается приключение с рыцарем Леса и рассказывается о разумной, необычной и усладительной беседе, прошедшей между двумя оруженосцами	147
Глава XIV, в которой продолжается приключение с рыцарем Леса	157
Глава XV, в которой рассказывается и сообщается о том, кто такие были рыцарь Зеркал и его оруженосец	176
Глава XVI, о том, что произошло между дон Кихотом и одним разумным рыцарем из Ламанчи	180
Глава XVII, в которой обнаруживается, до какого последнего и крайнего предела могло пойти и дошло неслыханное мужество дон Кихота в благополучно законченном им приключении со львами	194
Глава XVIII, о том, что случилось с дон Кихотом в замке или доме рыцаря Зеленого плаща и о других необычайных вещах	211
Глава XIX, в которой рассказывается о приключении с влюбленным пастухом и о других поистине забавных происшествиях	223
Глава XX, в которой рассказывается о свадьбе богача Камачо и об участи бедняка Басилио	237
Глава XXI, где продолжается рассказ о свадьбе Камачо и о других интересных событиях	251
Глава XXII, в которой рассказывается о великом приключении в пещере Монтесинос, находящейся в самом сердце Ламанчи, и о том, как доблестный дон Кихот Ламанчский счастливо завершил его	262

О Г Л А В Л Е Н И Е

907

стр.

<p>Глава XXIII, об удивительных вещах, которые дерзновенный дон Кихот видел в глубокой пещере Монтесиноса и которые столь невероятны и величественны, что есть основание считать это приключение подложным</p>	275
<p>Глава XXIV, в которой рассказывается о тысяче разных пустяков, столь же вздорных, сколь и необходимых для правильного понимания этой великой истории</p>	292
<p>Глава XXV, в которой описывается происшествие с ослиным ревом и забавное приключение с кукольным театром, а также достопримечательные прорицания обезьяны предсказательницы . .</p>	302
<p>Глава XXVI, в которой продолжается забавное приключение с кукольным театром, а также рассказывается о других вещах, поистине превосходных</p>	317
<p>Глава XXVII, в которой объясняется, кто такие были маэсе Педро и его обезьяна, и рассказывается о неудачном для дон Кихота исходе приключения с ослиным ревом, кончившегося не так, как он хотел и рассчитывал</p>	330
<p>Глава XXVIII, о событиях, которые, по словам Бенехели, станут известны читателю, если он прочитает о них внимательно</p>	341
<p>Глава XXIX, о славном приключении с заколдованной лодкой</p>	349
<p>Глава XXX, о том, что произошло между дон Кихотом и прекрасной охотницей</p>	360
<p>Глава XXXI, в которой повествуется о многих великих событиях</p>	369
<p>Глава XXXII, о том, как дон Кихот ответил своему обидчику, и о других важных и забавных происшествиях</p>	383
<p>Глава XXXIII, о приятной беседе герцогини и ее девушек с Санчо Пансой, достойной быть прочитанной и отмеченной</p>	406
<p>Глава XXXIV, в которой рассказывается о том, как был найден способ расколдовать несравненную Дульсинею Тобосскую, а это приключение — одно из самых знаменитых в нашей книге</p>	417

	СТР.
Глава XXXV, где продолжается рассказ о том, как дон Кихот узнал о способе расколдовать Дульсинею и о других удивительных происшествиях	429
Глава XXXVI, в которой рассказывается о необычном и трудно вообразимом приключении с дуэньей Долоридой, сиречь графиней Трифальди, а также о письме, которое Санчо Панса написал своей жене Тересе Панса	441
Глава XXXVII, в которой продолжается рассказ о знаменитом приключении с дуэньей Долоридой	451
Глава XXXVIII, в которой передается рассказ дуэньи Долориды о ее злоключениях	455
Глава XXXIX, в которой графиня Трифальди продолжает свою изумительную и достопамятную историю	466
Глава XL, о вещах, относящихся и касающихся до этого приключения и этой достопамятной истории	470
Глава XLI, о появлении Клавильню и о конце этого пространного приключения	479
Глава XLII, о советах, которые дон Кихот передал Санчо Пансе перед тем, как тот отправился управлять островом, и о других многозначительных вещах	496
Глава XLIII, о второй части советов, преподанных дон Кихотом Санчо Пансе	505
Глава XLIV, о том, как Санчо Панса отбыл на остров, и о странном приключении дон Кихота в герцогском замке	515
Глава XLV, о том, как великий Санчо Панса вступил во владение своим островом и каким образом он начал управлять им	529
Глава XLVI, об ужасном переполохе с колокольчиками и котами, выпавшем на долю дон Кихота во время его любовных объяснений с влюбленной Альтисидорой	541
Глава XLVII, которая содержит продолжение рассказа о том, как вел себя Санчо Панса в должности губернатора	549

О Г Л А В Л Е Н И Е

909

	СТР.
Глава XLVIII, о том, что произошло между дон Кихотом и дуэньей гердогини, доньей Родригес, и о других происшествиях, достойных записи и увековечения	562
Глава XLIX, о том, что случилось с Санчо Пансой во время обхода острова	576
Глава L, в которой выясняется, кто такие были волшебники и палачи, высекшие дуэнью и исщипавшие и подаравшие дон Кихота, а также рассказывается о том, как паж гердогини отвозил письмо жене Санчо Пансы, Тересе Санче	594
Глава LI, о дальнейшем управлении Санчо и о других поистине занятых событиях	608
Глава LII, в которой рассказывается о приключении второй скорбящей или, вернее, утешенной дуэньи, именуемой также доньей Родригес	620
Глава LIII, о прискорбном конце и завершении губернаторства Санчо Пансы	630
Глава LIV, в которой говорится о вещах, касающихся именно этой истории и никакой другой	640
Глава LV, о том, что случилось с Санчо в дороге, и о других вещах, лучше которых и не выдумаешь	652
Глава LVI, о неслыханном и невиданном поединке между дон Кихотом Ламанчским и лакеем Тосилосом в защиту дочери дуэньи доньи Родригес	664
Глава LVII, в которой повествуется о том, как дон Кихот расстался с гердогом, и о том, что у него произошло со служанкой гердогини, развязной разумницей Альтисидорой	671
Глава LVIII, повествующая о приключениях, посыпавшихся на дон Кихота так, что одно обгоняло другое	678
Глава LIX, где рассказывается о необычайном происшествии, постигшем дон Кихота и могшем сойти за приключение	695
Глава LX, о том, что случилось с дон Кихотом на пути в Барселону	708
Глава LXI, о том, что случилось с дон Кихотом при въезде в Барселону, и о других вещах, более правдивых, чем разумных	728

	СТР.
Глава LXII, повествующая о приключении с волшебной головой и о другой чепухе, о которой нельзя не рассказать	733
Глава LXIII, о беде, случившейся с Санчо Пансой во время осмотра галер, и необычайное приключение с прекрасной мавританкой	752
Глава LXIV, повествующая о приключении, которое доставило дон Кихоту больше горя, чем все, что с ним случилось до сих пор	768
Глава LXV, где разъясняется, кто был рыцарь Белой Луны, а также рассказывается об освобождении дон Грегорио и о других происшествиях	775
Глава LXVI, рассказывающая о том, о чем читатель прочтет, а слушатель услышит	783
Глава LXVII, о решении дон Кихота сделаться пастухом и вести жизнь среди полей до истечения положенного ему года и о других происшествиях, поистине занятных и веселых	792
Глава LXVIII, о колющем приключении, случившемся с дон Кихотом	800
Глава LXIX, о самом редкостном и необычайном происшествии из всех случившихся с дон Кихотом на протяжении этой великой истории	808
Глава LXX, следующая за шестьдесят девятой и повествующая о вещах, не лишняя для ясного понимания этой истории	816
Глава LXXI, о том, что случилось с дон Кихотом и его оруженосцем Санчо Пансой по дороге в их деревню	827
Глава LXXII, о том, как дон Кихот и Санчо прибыли в свою деревню	836
Глава LXXIII, о знамениях, имевших место при въезде дон Кихота в его деревню, и о других происшествиях, украшающих и делающих достоверной эту великую историю	844
Глава LXXIV, о том, как дон Кихот заболел, о составленном им завещании и о его смерти	852
Примечания	865

Редактор *А. Смирнов*. Техн. редактор *Н. Филиппов*.
Книга сдана в набор 4 февраля 1931 года. Подписана
к печати 31 июля 1931 года. Тираж 10 000 экз.
Ленгорлит № 10355. Заказ №.56. Бумага 73×104 см.
28¹/₂ л. Тип. знак. на 1 бум. л. 60 000.

Тип. «Печатный Двор», Ленинград, Гатчинская, 26.



